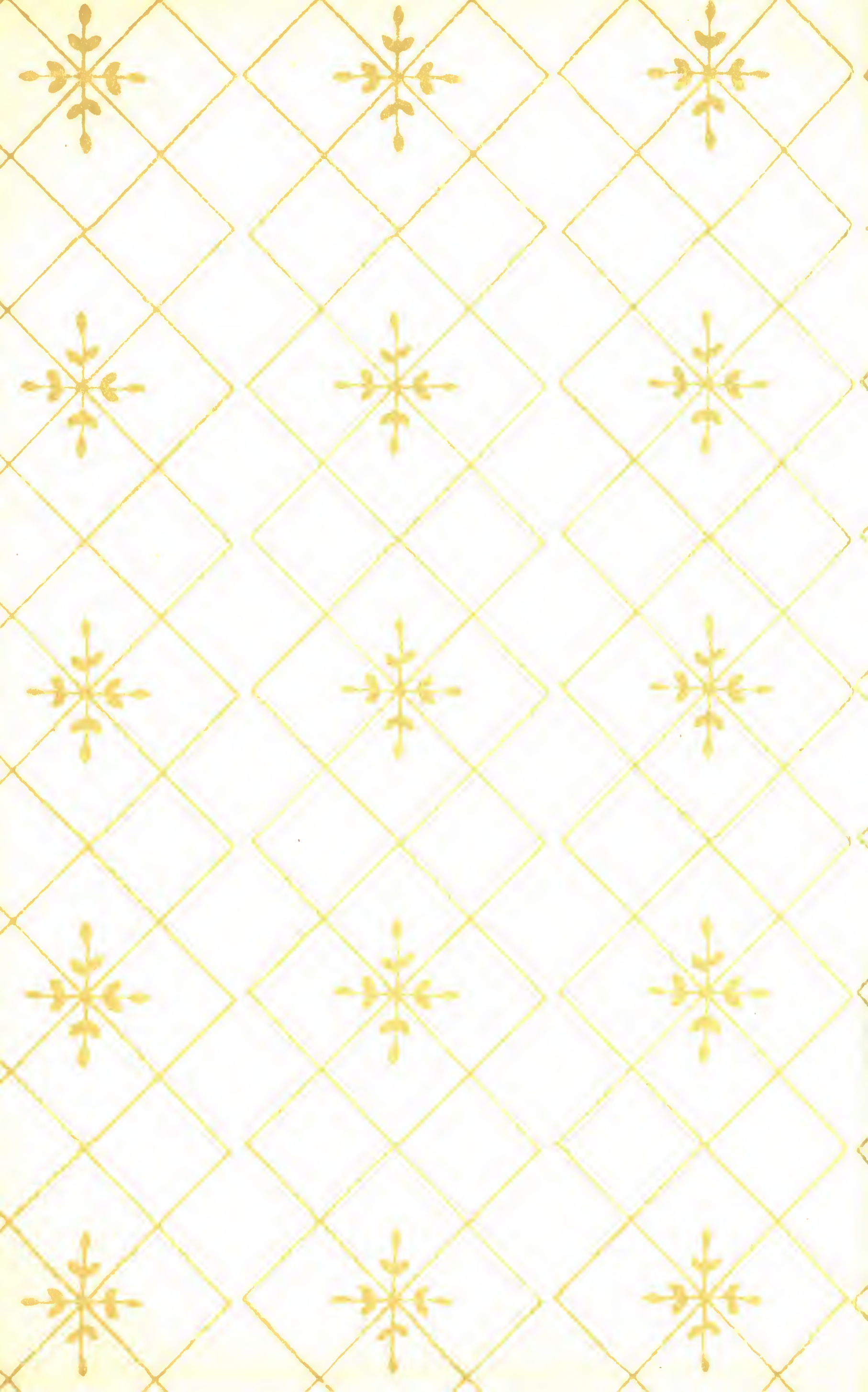
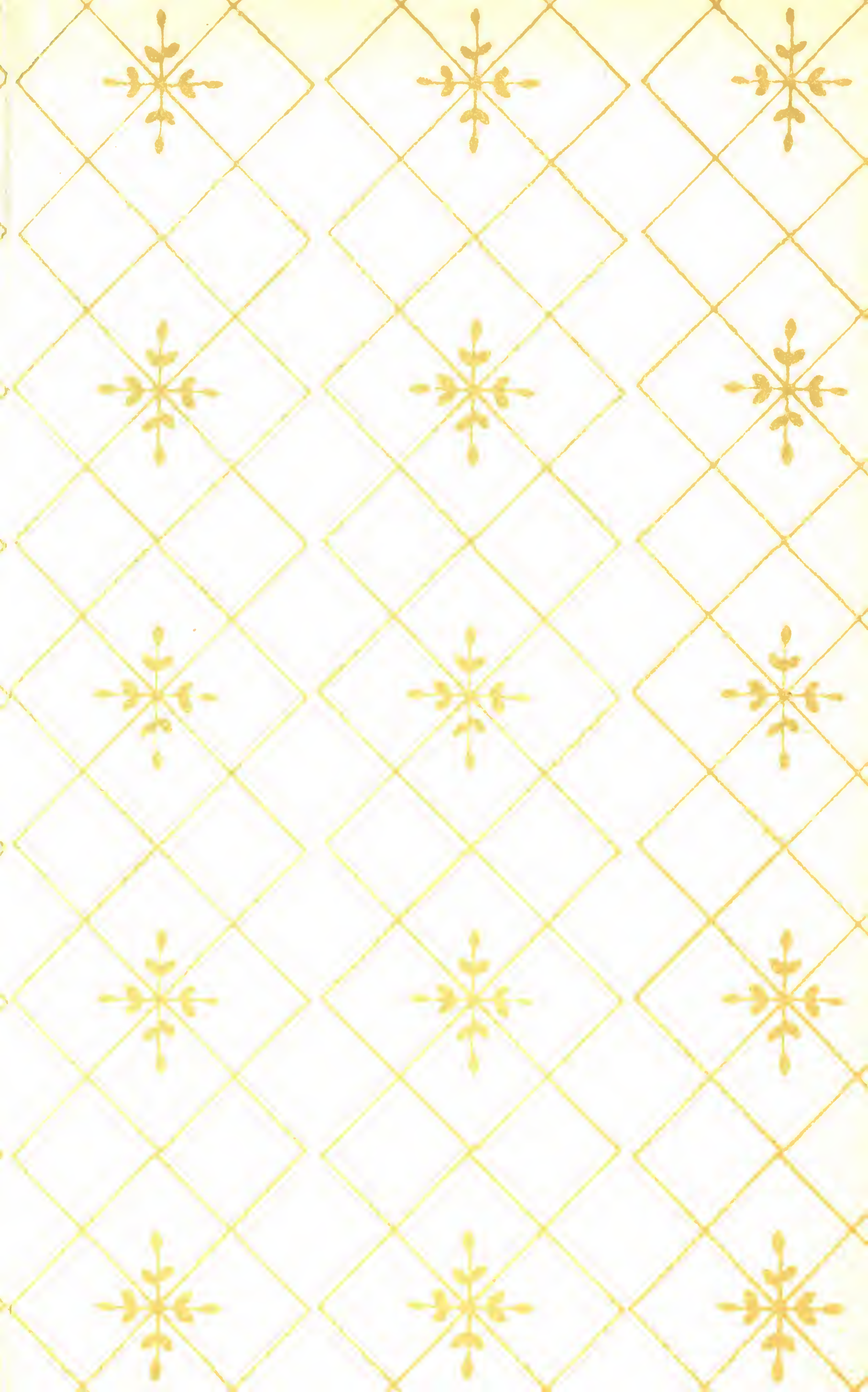
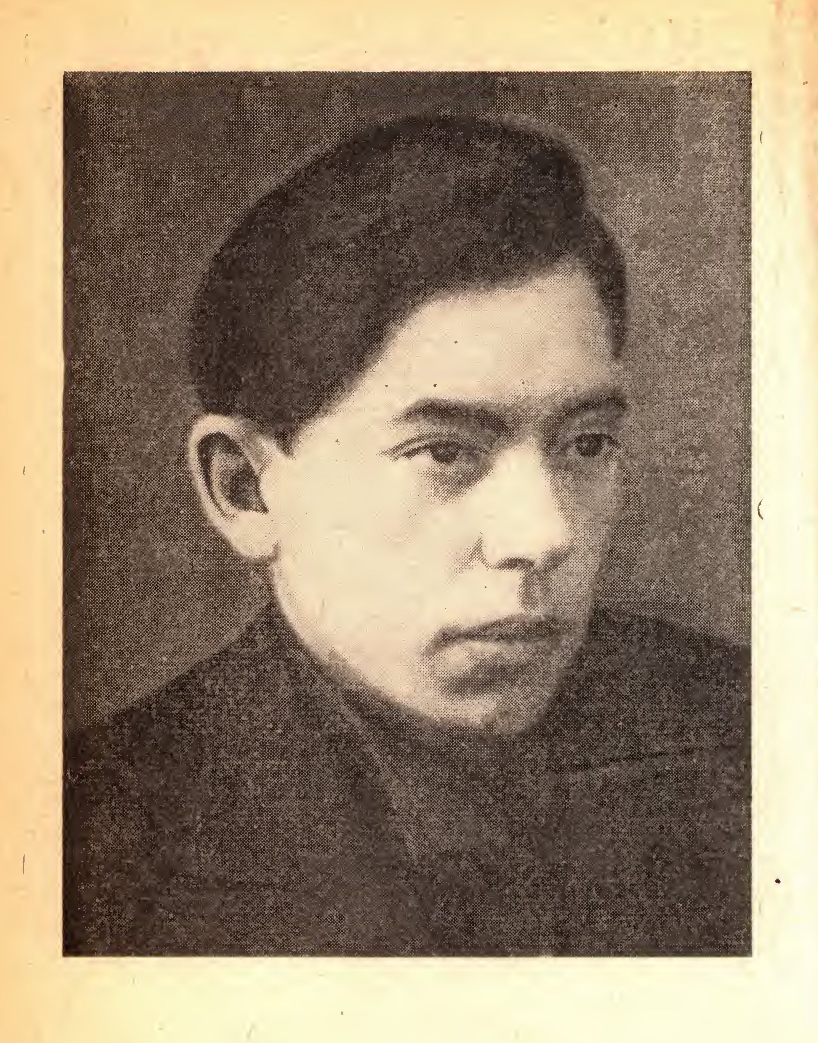
ИВАН ШУХОВ





Собрание сочинений
в пяти
томах

Ш



ИВАН ШУХОВ

Собрание сочинений
Том
второй

НЕНАВИСТЬ

роман

Алма-Ата
Издательство „Жазушы"
1981

Составление, подготовка
текста и примечания
ИЛЬИ ШУХОВА

Оформление художника
Л. ТЕТЕНКО

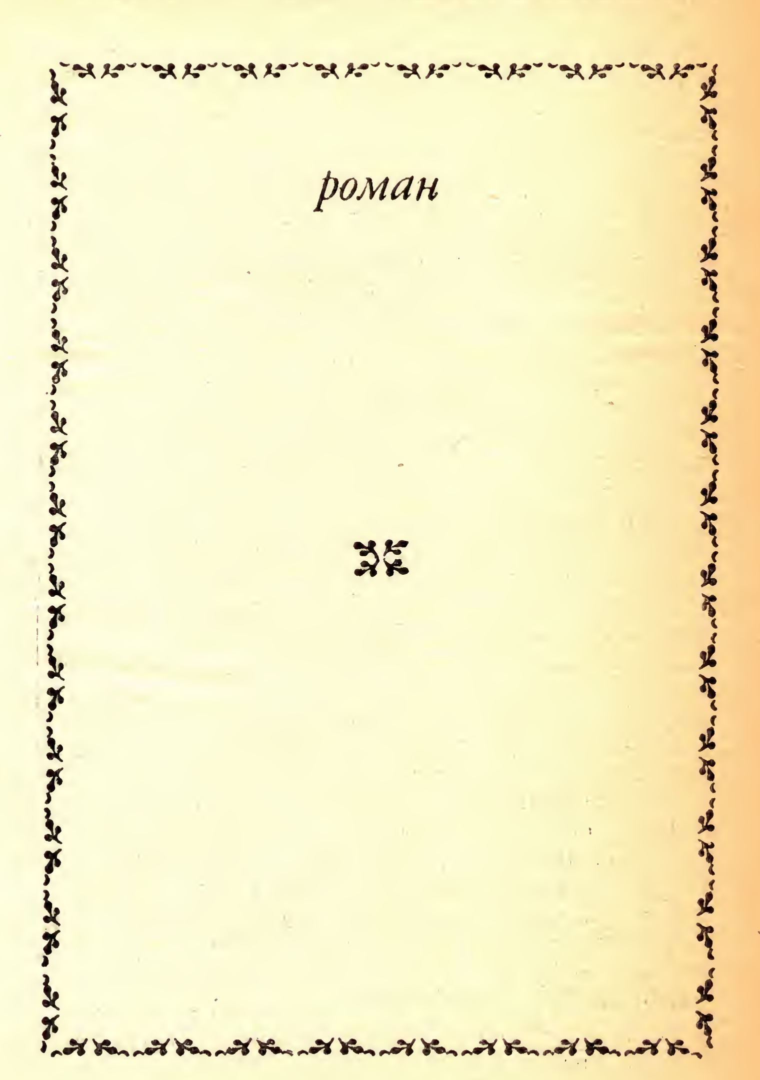
Шухов Иван.
Ш 98 Собрание сочинений в пяти томах. /Сост., прим. Ильи Шухова.— Алма-Ата: Жазушы, 1981.
Т. 2. Ненависть: Роман.— 592 с.

В том вошел известный роман писателя «Ненависть» — о жизни сибирского казачества в период коллективизации.

Р 2

Ш $\frac{70302-149}{402(05)81}$ 17—81 4702230200

НЕНАВИСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В один из жарких июньских вечеров, когда бушевали над степью мятежные краски недоброго, предвещавшего суховей заката, по широкому скотопрогонному тракту пылила старомодная, с ракитовым кузовком, пролетка. Серый, в яблочных накрапах конь, дерзко задрав под высокий выгиб дуги голову, шел сдержанной, ровной иноходью, и седок подбадривал его лишь едва заметным движением ременных вожжей да негромким поощрительным свистом.

Высоко в нежно-зеленоватом, не остывшем от дневного накала небе дрались орлы. Огромные, позолотевшие от заката птицы, круто развернувшись с кругового полета над присмиревшей вечерней степью, то и дело стремительно бросались один на другого в лобовую атаку. С разлета ударившись грудь в грудь, они на мгновение как бы замирали в воздухе, а затем, кувыркаясь, штопором падали вниз, и ржавые перья их вперемешку с пепельно-серым пушком разлетались в разные стороны. Камнями падая с огромных подоблачных высот, птицы, казалось, должны бы вот-вот в прах разбиться о землю. Однако за мгновение до этой как будто неизбежной гибели они, разминувшись, вновь взмывали под облака. Там, маневрируя в круговых полетах, зорко присматриваясь друг к другу, они снова сходились в яростную атаку.

А в стороне от тракта, вблизи от полуразвалившихся глинобитных стен древних степных мавзолеев, показался всадник. По-беркутиному выпорхнув откуда-то из-за увала на вершину плоского, посеребренного ковылем кургана, он, гарцуя на злом гнедом маштачке киргизской породы, рывком поставил его под собой на дыбы, и в этой на мгновение застывшей позе всадник на вздыбленном коне походил на изваянный из меди памятник. Зорко осмотревшись вокруг и увидев пылившую по тракту

пролетку, он встрепенулся, как птица, и ринулся с места в карьер вслед за путником. Это уже походило на погоню!

Путник, правивший породистым рысаком, заметив всадника, внезапно охваченный чувством тревоги, невольно гикнул на своего и без того резвого на побежку коня, дав ему полные вожжи. И серо-сивый рысак, заносчиво вскинув красивую голову, еще резвее заработал сухими, жилистыми ногами, и жесткая грунтовая дорога зарокотала, как бубен, под его коваными копытами. Седок же тем временем, тревожно оглядываясь на настигавшего его всадника, торопливо извлек из-под беседки пролетки завернутый в грубую холщовую тряпку новенький браунинг и еще торопливее сунул его в правый карман потертых своих галифе защитного цвета.

Как ни рысист, ни резв был серый в яблоках конь, а гнедой, неказистый на вид маштачок, пришпоренный всадником, оказался, видать, порезвее. Не прошло и десяти минут, как всадник, ринувшийся в погоню за путником, уже готов был, как говорят кавалеристы, «повиснуть на его плечах», и тот, не видя, а чувствуя его стремительное приближение, подумал: «А зачем это, собственно, я удираю? Глупо!» И, трезво подумав так, он резко осадил разгоряченного до бешенства иноходца и в это же мгновение встретился взглядом с поравнявшимся всадником.

Было что-то тревожно-напряженное в их коротких, испытующе-настороженных взглядах, в молчаливой заминке и даже в вымученных улыбках, которыми обменялись они в первое мгновение встречи.

Пожилой, похожий на матерого ярмарочного конокрада чернобородый человек, молодцевато сидевший в добротном казачьем седле, слегка привстав на стременах, вместо приветствия сказал, кивнув на серо-сивого иноходца:

— Хорош, ничего не скажешь! Донских али орловских кровей?

— Метис. Середка на половинке...— с деланным равнодушием ответил путник.

— Ну-с, тогда — мое вам почтение!— сказал всадник, церемонно приподняв над тронутой проседью головой широкополую войлочную шляпу.

— Здравия желаю...— холодновато откликнулся путник.

— А я на орлов сейчас любовался. Вот битва — страсти!

— Да, схватка смертельная. Я тоже глядел.

— Жуткое дело, как они друг дружку соборуют — дух захватывает!

— Любопытно, какую добычу они не поделили?

— Дело не в добыче — в ярости!

— Что ж, известное дело — хищники. Птица дурная. Так сказать, кровожадная.

— Не дурней и не кровожадней нашего брата...

— Это как понимать?— спросил путник с пролетки, инстинктивно касаясь правой рукой спрятанного браунинга.

— Понятие немудреное. Мало ли в нашей степи варначья с такой же орлиной хваткой?

— Да. Это так, конечно. Коли водятся курицы, найдутся на них и беркуты...— охотно согласился со всадником путник, посмотрев на него при этом чуть прищуренными, зеленовато-бутылочными глазами.

Они ехали теперь шагом. Добыв из-за пазухи некогда роскошный бархатный кисет с потускневшей бисерной вышивкой, всадник набил из него желтым листовым табаком немудрую, хорошо обкуренную трубку, а затем, протянув кисет спутнику, предложил:

— Потчуйтесь. Табачок — я те дам! Доморощенный. С девятой гряды — от бани. На экспорт идет, не шутите. За золотую валюту!

— Покорно благодарствую. Не занимаюсь.

— Во как! Аль старовер?

— Никак нет. Православный. Русский.

— Православный — это хорошо. Русский — еще лучше. И далеконько, полюбопытствую, путь держите?

— Не ахти как далеко. В райцентр, как говорится. В станицу.

— И издалека?

— Да. Не близкое дело...

— Не с хутора Арлагуля?— все настойчивее допытывался всадник.

— Примерно да.

— Это как же — примерно?

— Постоянного жительства там не имею...

— А где же постоянное?

— А вы, собственно, кто таков? Сперва полагалось бы познакомиться,— назидательно оговорил он всадника.

— Знакомство наше теперь от нас не уйдет,— проговорил с многозначительной усмешкой всадник и тут же спросил:— А арлагульского дурака Епифана Окатова знаете?

— Отчего ж дурака? Скорее наоборот.

— Ну, нет. Дурак. Сам рехнулся по старости лет — туда ему и дорога. Да ведь он, подлец, и чадо свое в рисковую игру впутать, есть слух, задумал.

— О какой игре речь? Этого я ничего не знаю...

— Неужли? Ну ладно. Не в этом дело. Вы правильно меня осадили. Сперва полагалось бы нам назваться... Я-то, к примеру, насчет вас, может быть, и догадываюсь. А вот вы насчет меня — вряд ли,— развязно протянул всадник, и опять многозначительная усмешка скривила спекшиеся полные его губы, а в темных глазах вспыхнули и погасли не то злые, не то озорные огоньки.

— Помилуйте, я вас впервые вижу. Думаю, и вы меня тоже?— заметил на это спутник.

— Видывать не приходилось. Это правильно. А слышать — слыхивал. Не Татарников?— коротко, в упор, чуть приглушенным голосом спросил всадник.

Едва уловимая тень тревоги скользнула по худому, монгольского склада лицу седока в пролетке, и всадник, заметив это, тотчас отвел от него свои темные, глубоко запавшие глаза.

— Да, Татарников,— твердо выговорил тот в ответ.— Но, позвольте, откуда вы могли узнать меня?

— Слухом земля полнится. Особенно — наша, степная. Знаете про узун-кулак — длинное ухо? Таков уж закон степей — не хранить долго тайны... А меня, значит, не признали?— спросил всадник, скосившись на спутника.

— Я же сказал. Впервые вижу.

— Ага. Ну, теперь пора и мне назваться. Я — Бобров, Лука Лукич. Старожил тутошний. Станишник. Бывший казак линейного Сибирского войска. Это — по прежнему, так сказать, сословью. А по нынешним временам — зажиточный человек. Мужик себе на уме. Плюс — с достатком,— не поймешь как, в шутку или всерьез, сказал всадник, протягивая спутнику тяжелую, с тупыми, короткими пальцами руку.

— Татарников, Алексей Ильич,— назвал себя полностью спутник, ответив Боброву слабым рукопожатием.

Некоторое время они ехали молча. Мерно покачиваясь в седле, Лука Лукич озирался по сторонам, точно

пытаясь разглядеть в подернутой сиреневым сумраком степи нечто видимое ему одному. Потом он негромко заговорил, будто вслух размышляя сам с собою:

— А я вот все на своей фамильной каторге день-деньской маюсь. Да и ночь придет — ни сна ни покоя. С ног сбился. Голова как чертова мельница гудит. Вот лихое время пришло! Куды ни сунься — там и беда. Тут табаки не пасынкуются — экспортный сорт теряют. Там дюжину баранов в отаре нынешней ночью волки опять задрали... С паровой мельницы доносят — жернова лопнули... А сейчас вот с дальней своей заимки скачу. Там — надо же притче такой случиться!— мои дураки работники мертвое тело в степи нашли. Вместо того чтобы с миром втихую его земле предать, они, язви их в рот, хай на всю степь подняли. Благо, сам вовремя подоспел. Зарыли мы его, благословясь, в одном лесном овраге, и концы в воду! Дело обыкновенное. Не в диковинку...

— Интересно. Кто же это?— не глядя на Луку Лукича, спросил с подчеркнутым равнодушием Татарников.

— А блудный сын. Так я полагаю.

— Как это так — блудный?

— Да возвращенец, сказать проще. Из Китая. По всем признакам — наш линейный казачишка. Никаких бумаг при покойнике мы, правда, не нашли. Но по облику, да и по одеже сразу можно смекнуть — нашенский. Не впервой таких залетных соколиков в степях последнее время вижу... Шлепнут, видать, исподтишка — в затылок. Огнестрельная рана навылет. Однако не из простой корысти. И карманные часы «Павел Буре» оказались при нем. И капитал — в наличии: пятьдесят два рубля совзнаками и около двух десятков американских долларов. Я уж эти заморские ассигнации, слава тебе господи, изучил!

— Так, так. Значит, возвращаются беглые казаки из Китая?— уже с некоторым оживлением спросил Татарников.

— Есть такие орлы — рискуют! Даже у нас лично в станице недавно один такой объявился. Золотарев по фамилии. Максим Иванович. Не приходилось слыхивать про такого? Он у моего покойного родителя три срока сряду в работниках при старом режиме выжил. Казачишка — так себе, шурум-бурум, не из видных. А в колчаковскую — с дивизией нашего отпетого землячка генерала

Федьки Глебова тоже, как порядочный, в Китай утянулся. Ну а теперь вот, спустя десять лет, с повинной явился.

— Ну и как?

— Что как?

— В чека не таскают?

— Не слышно пока. Да ведь это же нижний чин. А таких нынешняя наша матушка-власть не шибко карает. Это белому офицерству ни прощенья, ни милости нету,— сказал Лука Лукич с преувеличенно горестным вздохом.

— Неужели приходят и офицеры?— с непритворным удивлением спросил Татарников.

— Находятся, сказывают, и такие дураки...

— Скажите на милость! На что же они рассчитывают?

— А об этом надо у них спросить.

— Странно, странно...— пробормотал Татарников, бесцельно передергивая вожжами и тем самым тревожа прядающего ушами, готового к порывистой рыси жеребца.

За разговором спутники и не заметили, как въехали в один из окраинных переулков древней линейной станицы. Смеркалось. Был канун воскресенья, звонили к вечерне. Глухо, с печальным подвывом гудел старый колокол на шатровой колокольне старенькой церкви. Еще печальней и глуше мычала вблизи огородного плетня чья-то корова. Нехотя, будто спросонок, перелаивались в дальнем краю собаки.

И сердце Татарникова вдруг сжалось в комок не то от приступа острой тоски, не то от смутного предчувствия нависшей над ним беды. Неподвижно сидя в тесноватом кузовке пролетки, он тупо смотрел узкими монгольскими глазами в потонувшую в сумраке степь, что неясно угадывалась по ту сторону большого станичного озера. Тусклый и призрачный, как волчий зрачок, мерцал в этой мглистой дали костер, и что-то бесконечно горькое, обреченное мнилось Татарникову в этом неверном, слабо мерцающем огоньке. Не решаясь поднять усталых от напряжения, словно воспаленных затяжной бессонницей глаз на спутника, в безмолвии ехавшего с ним рядом, Алексей Ильич думал только о том, как бы поскорей от него отвязаться.

Когда миновали просторную станичную площадь, Татарников остановил своего коня. Остановился и Бобров,

слегка подавшись на своем маштачке вперед, как бы норовя загородить Татарникову дорогу.

— Ну-с, что же, Лука Лукич? За попутное знакомство спасибо. А теперь по домам, выходит?— сказал Татарников, колеблясь, стоит ли протягивать на прощание Боброву руку.

— Ну нет, Алексей Ильич. Теперь-то уж я вас не отпущу. Давайте ко мне гостить. В моем доме места для хорошего человека хватит,— решительно проговорил Лука Лукич.

— Благодарствую. У меня есть здесь знакомая квартира.

— Ничего. Не знакомее моей...

— Помилуйте! Я и дома-то вашего ни разу не видел.

— А вот привел бог — увидите.

— Возможно. Но как-нибудь в другой раз...

— Нет уж, сделайте милость пожаловать сегодня,— уже более строго, почти повелительно сказал Бобров.

— Не понимаю вашей настойчивости...— признался с плохо скрытым раздражением Татарников.

Бобров, придвинувшись на своем маштачке вплотную к кузову пролетки, склонился с седла к Татарникову и скороговоркой выпалил ему чуть не в самое ухо заговорщическим полушепотом:

— Важное дело имею к тебе, Алексей Ильич. И мешкать тут недосуг. Айда, айда. Поворачивай!

И Татарников, зябко передернув плечами, покорно тронулся вслед за Бобровым.

Минут пять спустя они остановились возле наглухо закрытых старинных тесовых ворот с шатровым верхом, искусно украшенным по карнизу накладным орнаментом. Рядом с воротами возвышался обшитый в елочку огромный крестовый дом, крытый железом. Заслоненный от улицы плотным строем могучих тополей, кустами сирени, акации, дом с закрытыми на засовы ставнями выглядел мрачным, глухим, как тюрьма. При виде этого дома и массивных, грузно осевших набок ворот у Татарникова с такой болью сжалось сердце, что он прикрыл глаза и едва удержался от стона.

Хозяин, браво спешившись со своего маштачка, негромко стукнул три раза черенком степной казахской нагайки в крайнюю ставню и воровски прислушался. Прислушался и Татарников. Из дома послышался такой же троекратный и осторожный ответный стук,

— Порядок!— вполголоса сказал Лука Лукич.

Через две-три минуты внутри двора раздались частые, поспешные шаги. Певуче звякнул в замочной скважине повернутый на два оборота ключ. Прогромыхала выдернутая с явным усилием из скоб задвижка. И наконец хозяин, посторонившись, пропустил гостя в настежь распахнувшиеся ворота.

Очутившись на просторном, опрятно убранном под метелку дворе, Татарников заметил громадного, похожего на льва цепного волкодава огненно-рыжей масти. Свирепый с виду кобель ни разу даже не зарычал, а только строго следил за каждым его движением. Удивили Алексея Ильича и кирпичные, похожие на купеческие лабазы амбары с железными дверьми и пудовыми замками на них. И по-острожному высокий бревенчатый забор, густо унизанный двухвершковыми гвоздями, торчавшими остриями вверх.

«Вот это крепость!»— подумал Татарников.

— Пошли чаевать, Ильич. С конями у меня есть кому управиться,— сказал Лука Лукич, точно давным-давно были они с Татарниковым на короткую ногу.

2

Кузьма Андреевич Азаров выехал из Москвы к месту своего назначения в отличном купированном вагоне транссибирского экспресса. Азаров чувствовал себя, как он любил в таких случаях говорить, в превосходной спортивной форме. Внутренне собранный, подтянутый, он и в самом деле выглядел моложе своих пятидесяти с лишним лет. Посеребренные сединой виски не только не старили, а, наоборот, придавали открытому, добродушному лицу особую свежесть и чистоту. И это наиболее заметно было в его облике в тот момент, когда губы Азарова трогала еле приметная, свойственная ему полузастенчивая, полувиноватая улыбка...

Новое назначение и тревожило и радовало Кузьму Азарова. Польщенный доверием, оказанным ему партией, он был встревожен принятой на свои плечи громадной ответственностью за успех нового, необыкновенно трудного дела, которое предстояло ему свершить с коллективом людей, ни одного из которых пока он не знал лично. Там, в неблизких от Москвы Северо-Казахстанских степях, где в канун революции провел он два года на

положении политического поселенца, административно высланного из Екатеринбурга,— в этом полудиком тогда, да и теперь еще почти безлюдном крае ему предстояло организовать впервые земледельческое хозяйство — зерновую фабрику с посевной площадью в двадцать тысяч гектаров. Не менее половины вековой целины надо было успеть распахать к осени этого года. Имея представление о тех условиях, в которых ему придется работать, Азаров отлично понимал, что сделать это будет не так-то легко и просто. Страна, приступавшая к организации первых в истории государственных фабрик зерна, не имела в этом новаторском деле никакого опыта, как равно не имел его и он, потомственный токарь Кузьма Азаров — нынешний директор организуемого степного зерносовхоза, ни те люди, с которыми предстояло ему создать это новое хозяйство.

Шел тысяча девятьсот двадцать восьмой год.

Стояла первая половина мая. А между тем эшелон с тракторами, прицепным инвентарем и грузовыми автомашинами, отправленный по разнарядке наркомата в адрес зерносовхоза, все еще находился где-то в пути. И в связи с этим выяснившимся уже в дороге обстоятельством Азарову на вторые сутки после выезда из Москвы пришлось распроститься с комфортабельным транссибирским экспрессом. Сделав остановку на одном из крупных железнодорожных узлов, где он обнаружил часть застрявших в тупиках грузов, адресованных зерносовхозу, Азаров потратил немало времени и усилий, чтобы вагоны и открытые платформы с грузом были прицеплены к одному из маршрутных поездов, следующих в сибирском направлении. По этим же причинам задержался он в Кунгуре, в Свердловске и в Кургане, где тоже пришлось браниться со станционным начальством, обращаться за помощью в областной и городской комитеты партии, проталкивая платформы с прицепным инвентарем и цистерны с горючим.

На девятые сутки после выезда из Москвы добрался наконец Азаров до глухого полустанка Раздольного. Здесь директора должны были поджидать присланные за ним из районного центра лошади, на которых предстояло ему совершить стоверстное путешествие в глубь полупустынной, малообжитой степи — к месту организации зерносовхоза.

Измотанный бесконечными пересадками, усталый от пережитого в пути нервного напряжения, заметно постаревший и осунувшийся, Азаров покинул на глухом полустанке душный вагон.

Поезд после пятиминутной остановки ушел. Азаров стоял на пустынном, посыпанном светлым озерным песком перроне, любуясь бескрайней степью и маячившими вдали юртами казахских кочевников и чуть приметным на горизонте призрачным, как мираж, караваном верблюдов.

Живительный степной воздух с горьковато-бражным ароматом ранних майских цветов и трав и необыкновенная тишина окрестной степи, щедро залитой потоками тепла и света, тотчас преобразили его.

Азарова ждали уже четвертые сутки. Ямщик — невзрачный с виду, как будто на всю жизнь запуганный мужичок с жиденькой выцветшей бороденкой клином,— подогнал пару бойких меринов местной породы, запряженных в легкие дрожки с ракитовым кузовом, обшитым по бортам полувытертой жеребячьей шкурой.

Азаров поздоровался с возницей, назвал себя. Уложив нехитрые дорожные пожитки в кузов дрожек, уселся и сам. Ямщик, ни слова не говоря, припугнул шустрых саврасых меринков приподнятым кнутовищем, и они, дружно тронув с места, резво затропотили по ровной и пыльной степной дороге.

— Далеко, отец, до райцентра-то?— пытаясь втянуть в разговор явно неразговорчивого ямщика, спросил Азаров.

— Не ахти. Сто двадцать верст.

— Вот так «не ахти»!

— Обыкновенное дело...

— А до окружного города сколько от вас?

— Через паром али бродом?

— Я уж не знаю, как вы тут ездите.

— Верст триста с гаком. Обыкновенное дело...

Перебросившись с малоречивым ямщиком еще двумя-тремя фразами, Азаров решил пока не тревожить его расспросами. Удобно полуразвалясь в кузове, он то дремал, то, очнувшись, подолгу любовался степью. Проходили часы за часами. Но все та же пыльная проселочная дорога, вольнолюбиво петляя вокруг изредка попадавшихся в этих краях светлоствольных березовых перелесков, текла и текла под колесами дрожек. Все так же без-

людно было в этом древнем царстве ковылей и непуганых птиц, одиноких придорожных курганов и застенчиво спрятавшихся в камыши озер. Извечные старожилы этих равнин — сурки, встав в круговой караул, строго оберегали обжитые ими пригорки. Подобно граду внезапно ударивших лучных стрел проносились временами стороной и мгновенно исчезали из глаз плотные стаи диких степных косуль — сайгаков. И молодые орлята, только что поднявшиеся на крыло, изнемогая от первого кругового полета над степью, храбро забирали все выше и выше вслед за громадным бронзовокрылым орлом, уводившим их в безоблачное, полыхавшее голубым огнем небо...

Было что-то богатырское, бесконечно древнее в сторожевом безмолвии этих равнин, в угрюмом молчании приземистых курганов, обремененных тяжким грузом времен, в медлительном полете орлов, царственно взиравших с подвластной им высоты на далекую, дремотно присмиревшую землю. И Азаров, глядя на землю, столетиями не тронутую ни горемычной русской сохой, ни азиатской мотыгой, ни бойким железным плугом, думал о нерастраченном плодородии, которое веками ревниво копила земля под упругим панцирным дерном целины, густо поросшей бессмертником и жестким, звенящим от ветра седым ковылем. И ничуть бы, казалось, не удивили в эту минуту Азарова три былинных богатыря, появись они на своих дремучих конях вблизи одного из окрестных курганов — современника ратных их подвигов во славу земли русской...

Часов через пять после выезда с полустанка молчаливый ямщик, круто свернув с дороги к озерцу с парой белых лебедей, плававших на средине, сказал, легко спрыгнув с козел:

— Лошадей пора подкормить, гражданин.

— Правильно. И коней время покормить, и нам с тобой, отец, не грех подкрепиться,— с живостью отозвался Азаров.

И пока ямщик отпрягал и пускал на подножный корм лошадей, Азаров, устроившись в тени под дрожками, добыл из рюкзака дорожные харчи: краюшку черствого серого хлеба, банку рыбных консервов и две золотистые луковки. Потом, лукаво покосившись на примостившегося в сторонке возницу, достал из рюкзака и поллитровку.

— Ну что же, земляк, трахнем, что ли, по посошку для знакомства?— предложил Азаров угрюмому ямщику.

— Кушайте на здоровье...

— А ты что же — не пьешь?

— Как не пить? Обыкновенное дело...

— Правильно. Ну, садись поближе.

И Азаров протянул спутнику наполненную до краев граненую стопку.

— Благодарствую. Вы бы сперва сами,— смущенно пробормотал ямщик, нерешительно придвигаясь, однако, поближе к Азарову.

— Держи, держи. Я себя тоже не обижу.

Ямщик, рывком сдернув с головы потерявшую всякий цвет и форму солдатскую фуражонку времен гражданской войны, провел тылом ладони по своим вяло ухмыльнувшимся губам и двумя негибкими пальцами бережно принял стопку с водкой из рук Азарова.

Отвернув с термоса алюминиевый колпачок и честно наполнив его вровень с краями, Азаров чокнулся с ямщиком.

— Ну, будем живы!

— Ваше здоровье!— сказал ямщик, выжидая, пока выпьет Азаров.

Но тот не заставил ждать себя, и ямщик, вздохнув, последовал его примеру. Выпив, он утер губы обтрепанным рукавом грубошерстной рубахи, но закусывать не стал. Только когда выпили по второй, он осторожно взял с полевого стола луковицу и, закусив ею, с таким наслаждением крякнул, что Азаров понял: разговор, пожалуй, теперь состоится!

— Ты бы, отец, хоть сказал, как тебя зовут,— исподволь начал новую беседу Азаров.

Ямщик пренебрежительно отмахнулся:

— Насчет званья — лучше не спрашивай. Зовут меня — хуже некуды.

— Вот тебе раз! В русском языке худых имен нет.

— А вот для меня поп никудышное отыскал. Окрестил, варнак, с перепою — страм слушать!

— Ну и как все же?— спросил с любопытством Азаров.

— Фитой меня зовут. Не поверите? Обыкновенное дело...

— Фита? Имя довольно странное. Такого и в святцах, сдается, нет.

— По святцам-то, сказывают, и по метрикам я — Филарет. Тоже не мужицкое имя, но терпеть можно. А меня как сызмальства приучились домашние и деревенские ребятишки Фитой крестить, так я с этим званьем и до седых волос дожил. Ведь до чего доходило?— расcловоохотился после третьей рюмки ямщик.— Я при старом режиме прошение на гербовой бумаге в высочайший синод подавал. Нетель из-за этого дела продал — расходовался. Сами знаете прежние времена: то волостному письмоводителю три рубля, то отцу благочинному пятерку. Богом просил и епархию и синод перекрестить меня хоть в Кузьму на худой конец...

— На худой конец? Выходит, по-твоему, Кузьма тоже последнее имя?— придирчиво перебил ямщика Азаров.

— Не из царских. Обыкновенное дело...

— А я вот, к примеру, доволен, что меня Кузьмой окрестили. По-русски!— ошарашил Азаров смутившегося возницу и, смеясь, подал ему четвертую стопку.

— Да Фита — что! У меня есть прозвище почище,— с веселым отчаянием сказал ямщик. А выпив стопку и опять утерев губы рукавом, добавил:— По прозвищу я — Нашатырь. Моей фамилии на хуторе скрозь никто не знает. А спроси про Нашатыря — пожалуйста. Любой недоносок пальцем покажет. Обыкновенное дело...

— Да, тут тебе, отец, смотрю я, и в самом деле не повезло,— сказал с добродушной усмешкой Азаров.

— Хе! Это ишо не все про себя я расшифровал. Ведь я же, плюс на минус, к тому же лишенец!

— То есть как это лишенец?

— По закону. Как дважды два — четыре. Лишенный всех прав голоса.

— Позволь, ты из зажиточных?

— В том-то и дело, самой беднейшей нации. В одном кармане — вошь на аркане, в другом — блоха на цепи. Кругом — рубль двадцать. Кобыленку, правда, имею.

— Ничего не пойму. Тогда за что же тебя голоса лишили?

— А за культ.

— За какой культ?

— По первому разряду в сельсовете расписали как служителя церковного культа.

— Как попа, что ли?

— Как попова попутчика... Звонарем я при церкви

числился. У меня и покойный родитель в этой должности всю жизнь состоял. Вот и меня, царство ему небесное, на беду с малых лет пристрастил к колокольному звону. Я на этих колоколах, как на духовой музыке, играл. Вот и доигрался...

— Значит, звонарь был? Только и всего?

— Звонарь — природный. Каюсь. Обыкновенное дело.

— Черт знает что такое! И только за это одно лишенец?

— Натурально, только за это. Вместе с попом Ипатом под монастырь меня подвели.

— Да у вас Советская-то власть есть на хуторе?

— Все честь по форме. Даже милиционер завелся.

— Фокусы!.. Ну, а кроме вас с попом, еще кого-нибудь на вашем хуторе прав лишили?— забыв о еде, продолжал допытываться Азаров.

— Норовили было ишо одного нашего жителя вместе с нами отпеть. А он — не будь дурак — родовой крестовый домик хуторянам под школу дарственно отдал! Мало того, от всего движимого имущества в пользу общества пригрозил отречься. Ну его и помиловали. Даже благодарственную грамоту на гербовой бумаге посулили!

— Вот это номер! Кто же он, такой ловкий?

— Фамилии заменитой — Окатов. Епифаном Ионычем величается. Мужик — с царем в голове!

— Не дурак, вижу. Определенно не дурак!— охотно согласился Азаров.

— Было время — тыщами ворочал играючи. Рогатым скотом промышлял. От перекупки шерсти и кож на степных ярмарках тоже в убытках не был. Словом, прасолом слыл — на славу.

— А теперь в бедняки записался?— спросил с ехидной усмешкой Азаров.

— Кровного сына по миру грозился пустить.

— Силен... Вы что, на каком-то диком острове, что ли, живете?

— Похоже на то. Хутор наш невелик. А вокруг — одна матушка-степь, как твой океян-море...

— И далеко от райцентра?

— Не рукой подать. Ну и не за горами.

— Все же примерно — сколько?

— Так себе. Верст сто. Не больше.

— Сто верст это у вас — так себе?

— Обыкновенное дело...

— Как же ты в ямщики из райцентра ко мне попал?

— Свояку под руку подвернулся. У него — грыжа. Уговорил подменить. Дело свойское — уважил.

Когда поллитровка была опорожнена, Азаров заметил, что охота к разговору так же быстро пошла на убыль у Нашатыря, как внезапно и стремительно она появилась. На все дальнейшие прямые и окольные вопросы стал теперь отвечать ямщик все отрывочней, суше и уклончивее. Было очевидно, что он, трезвея, мрачнел, впадал в прежнюю замкнутость и ко всякому разговору не только выказывал явную неохоту, но и прямую подозрительность, близкую к враждебной настороженности.

Позднее, когда повеселевшие после полуторачасового отдыха лошади снова дружно понесли легкие на ходу дрожки по пыльной степной дороге, Азаров, желая втянуть угрюмого Нашатыря в продолжение разговора, решил рассказать ему о строительстве первого в крае зернового совхоза. Но и к рассказу разговорчивого седока ямщик отнесся сперва безучастно, а потом и с нескрываемым недоверием. Азарову было ясно, что этому пришибленному бесчинством старику было уже немало надуто в уши всякого вздора и вражеской клеветы в связи со слухами о предстоящей организации совхоза.

— Рисковые люди!— не то удивленно, не то насмешливо сказал Нашатырь, выслушав рассказ Азарова.— Весь белый свет готовы перепахать...

— Придет время — перепашем.

— Пока солнце взойдет, роса очи выест...

— Это тебе Епифан Окатов подсказал?

— Своим умом живу. Обыкновенное дело...

— Вот этого я пока, батя, не вижу.

— Хлебнул бы с мое горького до слез — не то бы увидел!— озлобленно пробормотал Нашатырь, с яростью хлестнув кнутом по заплясавшей пристяжке.

— Что горя ты выхлебал в жизни полную чашу — это я знаю,— горячо подхватил Азаров.

— Знахари!— с презрением, граничащим с ненавистью, пробормотал Нашатырь и снова огрел кнутом пристяжку.

Азарову были понятны причины предельного озлобления Нашатыря, который в минуту такого вот душевного ожесточения презирал всех, кто приставал к нему с подобными разговорами. Но сам Нашатырь, видимо, худо разбирался в том сложном переплете, в который брала

его несладкая жизнь. Смутное, неосознанное чувство классовой ненависти, обостряясь в нем, однолошадном мужике, выливалось в глухое озлобление против каждого, кто бередил его душу расспросами и советами.

Они долго ехали молча. В залитой потоками тепла и света степи стоял густой, медово-бражный аромат диких цветов и трав. Томительно-горек и нежен был запах придорожной голубой полыни — древней красы степных равнин. Чуть начинали серебриться матовым блеском полуоперившиеся ковыли. И степь, как море в часы мертвой зыби, тяжело колыхалась.

Это была вековая целина, и Азаров, любуясь ею, не мог удержаться от вопроса:

— Хороша здесь, старина, земля?

— Земля — золотое дно.

— Да. Это верно — золотое дно. Только вот тебя, гляжу я, что-то не богато это дно-то озолотило...— Азаров опять невольно задел за живое Нашатыря.

— Обо мне разговор особый...

— Это тоже правильно. Тут — разговор особый... Перебирайся со своего хутора к нам в совхоз. Вот где золотое-то дно мы откроем, батя!

— Нет уж, благодарствую,— сказал Нашатырь, сердито заерзав на облучке и передернув опять без всякой нужды вожжами.— Я свое отбатрачил. Хватит.

— В советском хозяйстве батраков нет, а есть сельскохозяйственные рабочие. Это тебе не барская экономия! Для твоих лет и дело найдем посильное. А права твои, будь уверен, мы тебе воротим!— твердо посулил Азаров.

— Я не Епифан Ионыч Окатов. Мне это ни к чему...— равнодушно ответил Нашатырь.

— Ну, ты это брось, старик. Вот тебе-то они как раз и к чему. Теперь мы с тобой командовать Окатовым будем, а не он нами. Это ты запомни!

— Попробуйте...— сказал с усмешкой Нашатырь.

— Попробуем, отец. Попробуем,— многозначительно проговорил Азаров, скорее думая в эту минуту вслух, чем отвечая малодоверчивому вознице.

И они опять замолчали.

Уже вечерело. Неподвижные беркуты дремали на вершинах придорожных курганов. Печально пересвистывались кулики. И степная тишина на исходе погожего майского дня становилась физически ощутимой. Перед

закатом показались наконец вдали неясные очертания вольно раскинувшегося в степном просторе селения, потонувшего в буйной зелени палисадников. То была старинная линейная казачья станица Светозаровская — центр глубинного степного района, на территории которого находилась центральная усадьба нового зерносовхоза.

Лошади, почуяв близость человеческого жилья, пошли веселее. Азаров, поглядывая на худую, черную от загара, изборожденную глубокими морщинами шею Нашатыря, на пришибленно-сутуловатую его фигуру, думал: «Да, нелегкое дело — распахать вековые степи. Но все это еще полбеды. А вот поднять душевную целину народа к активному вторжению в жизнь — это уже дело, равное подвигу на поле боя. Бои в этих краях за новый порядок жизни предстоят нам, чую, жаркие. И даже ты, Нашатырь, вряд ли теперь отсидишься в тылу!»

И Нашатырь, будто догадавшись о размышлениях седока, вдруг оживился при виде станицы и, подогрев кнутом коренного, а вожжой — пристяжку, весело крикнул вдогонку рванувшимся коням:

— Ну, залетные! Не последний денек живем — выноси!

Ободренные этой показной ямщицкой удалью кони полетели, как вспорхнувшие под выстрелом птицы, не чуя уже ни жесткой грунтовой дороги, ни ощутимой доселе тяжести дрожек, чечетисто застучавших медными втулками.

3

В горнице с наглухо закрытыми на засовы ставнями, скудно освещенной десятилинейной лампой, сидели глубокой ночью Лука Бобров и Алексей Татарников за круглым столом, покрытым дореволюционной клеенкой, украшенной портретами царской четы и чад дома Романовых. Вперемежку с крепким, как смола, кирпичным чаем со сливками пили они лютую, цвета вяленых табаков домашнюю настойку.

Побагровевший от крепкого чая и огнеподобной, как самогонный первач, водки, потный, похожий на палача в своей кумачовой шелковой косоворотке с настежь распахнутым воротом, обнажившим густо заросшую жестким волосом грудь, Лука Лукич, вплотную придвинувшись к захмелевшему гостю, вполголоса говорил:

— Сам по канату хожу. Сам башкой каждый день у бога рискую... Правда, табаки у меня пока на экспорт идут. И баранов не на сторону, а в казну — Казгосторгу по сходной цене уступаю. И рабочий класс на золотых рудниках белой мучкой со своей мельницы чуть ли не в прямой убыток себе снабжаю. Словом, лажу, как могу и умею, с дорогой нашей властью. С начальством все эти годы жил запанибрата, с самой милицией — на короткую ногу. Пожалуйста, три похвальных листа — наградные грамоты за экспортные сорта моих табаков от районного Табакторга на божнице храню... Ан шабаш! Вижу, нету тебе, Лука Бобров, в родимой степи былого разгону. Отказаковали, открасовались, выходит, мы, линейные сибирские казачки, в родной стороне. Приходит каюк всему: накопленному добру, наживе, воле. До чего дошло: киргизню — неумытую орду — к власти над нашим братом разные там ячеешники допустили!.. Нет, брат, шалишь! Не на таких нарвались! Руки связывать нам не позволим. Час пробьет, мы — линейные старожилы — о себе напомним!— грохнув по столу кулаком, заключил, задыхаясь от приступа бешенства, Лука Лукич.

Татарников, вольно откинувшись на спинку венского стула, слушал хозяина. Смуглое неподвижное лицо его не выражало ничего, кроме тупого равнодушия и усталости. И это еще больше ожесточало Луку Боброва, и без того остервеневшего от черной злобы к своим смертельным врагам.

— Руки зудятся — сил нет. Да довериться до сих пор было некому,— продолжал уже более ровным тоном Лука Лукич, рывком дочиста осушив очередную рюмку настойки.— Казачишки на нашей линии, по правде сказать, измельчали. Прямо диву даешься, как их ловко Советская власть за короткое время к рукам прибрала. Ведь умели же насмерть, как черти, драться они в девятнадцатом году с красными дьяволами из железной дивизии Стеньки Разина? Умели! Да и как: до девяти раз, к примеру, станица наша из рук в руки переходила — это не в орел и решку играть! А теперь и самые отпетые поджали крылья. Живут — тише воды ниже травы. А некоторые даже в партийные ячеешники позаписались. Но поднять ловкому вожаку казачество не такое уж трудное дело. Надо только суметь улучить пороховое время. А такое время — не за горами. Это я тебе, Алексей Ильич, тайно, как на духу, говорю,— сказал Лука Лукич, дове-

рительно полуобняв тяжелой потной рукой острые плечи своего молчаливого, не повеселевшего даже после изрядной выпивки гостя.

Татарников слушал Луку Лукича настороженно, чутко. Но, хмелея, он временами даже плохо понимал, о чем говорит хозяин. Его угнетала духота сумрачной горницы, тесно заставленной окованными медью сундуками, раздражал тусклый свет привернутой лампы. Временами, поднимая на Луку Лукича выцветшие, отдававшие свинцовым блеском, косо поставленные глаза, Татарников снова и снова с тревожным изумлением рассматривал этого неуклюже-угловатого человека. По мере того как начал откровенничать хозяин, стало потягивать на разговор и гостя. Хмель, будоража сознание, влек Татарникова к исповеди, к раскаянию. Но как только он собирался с мыслями и, точно очнувшись от минутного забытья, пытался что-то сказать, Лука Лукич тотчас перебивал его.

— В тебе я примерно все понимаю,— пытливо приглядываясь к внешне равнодушному лицу Татарникова, говорил Лука пророчески-властным тоном.— Карта выпала тебе, что и говорить, не фартовая. Выбор — короток. И умыслы твои справедливы...

— О каких умыслах речь? Я вас не совсем понимаю...— пробормотал наконец Татарников.

Но Лука Лукич, опять перебив его, сказал:

— Погоди. Не мешай мне. Сейчас поймешь... Я в тебя, Алексей Ильич, как в господа бога верую. У меня собачье чутье. Я в этом деле — палач. Нужного человека всегда по следу чую... Знаю, что широкая спина нужна тебе. А меня в плечах, как видишь, господь не обидел: будь за ними в полной надежде — не выдам, не подведу. Ну, по рукам?— заключил Лука Лукич, протянув гостю широкую, как весовая чаша, ладонь с влажными пальцами.

Татарников, смутно понимая, к чему клонит Бобров, начал догадываться, что какие-то незримые нити попутали его с Лукой, столь грубо и властно вторгнувшимся в его судьбу. Но в одурманенном хмелем сознании не было ясного представления о том, что это были за нити и как, при каких обстоятельствах связали они его с человеком, злая воля которого способна подавить, смять любое сопротивление, каким бы упорным оно ни было.

Татарников то на мгновение пьянел, то вдруг трезвел и, трезвея, еще больше робел, покрываясь противным хо-

лодным потом. И тогда он снова пил, уже не чокаясь с Лукой Лукичом. А тот только снисходительно ухмылялся, почесывая пятерней свою воронуую, тронутую легкой проседью бороду.

Однако хмель брал свое. И Татарникову хотелось, улучив подходящую минуту, открыться Луке во всем с той наигранной простотой, которая могла бы прикрыть его смятение и робость, близкую к страху перед этим человеком. Татарников был почему-то убежден, что это раскаяние в своем грехе вернет его к тому душевному равновесию, которое обрел он в этой степной стороне после нелегального перехода китайской границы. Самое страшное, как он думал, было там, позади. От погранпостов он благополучно ушел. Документы у него были в полном порядке — не придерешься. Никто его тут не знал, кроме вдовы покойного земского врача Кармацкого — Ларисы Аркадьевны Кармацкой, проживавшей в степной усадьбе мужа. Оставалось одно: определиться поскорей на работу сообразно с обозначенной в его дипломе профессией — инженера-механика по сельхозмашинам. На его счастье, создавался теперь поблизости зерносовхоз, и там дозарезу нужны были кадры высокой технической квалификации. Словом, ему до сих пор везло. И вот случайное столкновение с Бобровым разом вышибло Алексея Ильича из седла. И он, как кавалерийский офицер, лишившийся строевого коня, чувствовал себя обескураженным, жалким.

Лука Лукич не пьянел. Так, по крайней мере, казалось Татарникову. Кроме того, ему мнилось, что бесцеремонный хозяин, затащивший его почти насильно в свой подозрительно тихий, пропитанный какими-то странными, сложными запахами дом, отлично знает о нем, Татарникове, всю подноготную. Вот почему, когда хозяин о чем-то задумался, Татарников, залпом осушив для смелости чайный стакан настойки, заговорил с напускной развязностью не столь пьяного, сколь донельзя напуганного, но старающегося скрыть свой испуг человека:

— Часы фирмы «Павел Буре» и американские доллары, говорите? Точно. Он — по приметам... Ну что ж, иду ва-банк: моя работа.

Пьян был Татарников, но и он удивился до протрезвления тому непритворному спокойствию, с каким воспринял его развязно-покаянное признание Бобров.

На секунду задержав на Татарникове взгляд темных, глубоко сидящих глаз, Лука Лукич заметил:

— Чистая работа!

Но Татарников, словно не слыша его замечания, продолжал говорить почти с упоением:

— ...По войску мы с ним — сродичи. Оба — оренбургские. И станицы у нас почти рядом. Я — из Звериноголовской. Он — из Боровской, что под Кустанаем. Только в чинах у нас, как советские товарищи говорят, некоторая неувязка вышла. Он рядовой. Я есаул. Это — в прошлом, конечно... Ну да и родители наши друг от дружки в отличку жили. Его папаша, например, на общественные деньги в полк уходил: и строевого коня и амуницию станичники ему справили. А мой родитель в полку не служил: откупился за полторы тыщи ассигнациями от действительной службы. Душа у него к ратным подвигам не лежала. Все страсти в коннозаводское дело ушли. Донских рысаков разводил. Поставщиком коней двора его императорского величества числился. На наших конях кавалергарды перед императором в Царском Селе гарцевали!— все с той же притворной развязностью продолжал Татарников.

Лука Лукич слушал его молча. Он не пил, но подливать гостю не забывал, тот не отказывался и, не закусывая, пил рюмку за рюмкой. Порою обрывая свою исповедь на полуслове, Татарников сидел некоторое время с полузакрытыми глазами, стараясь, видимо, сообразить: то ли он говорит? Вот и сейчас, помолчав, пожевав бескровными, вялыми губами после выпитой рюмки, он снова заговорил, но уже в более ровном, спокойном тоне.

— Вот так, Лука Лукич... Мы с ним в четырнадцатом году в одном полку в действующую армию уходили. Вместе в Августовских лесах при разгроме армии Самсонова едва не погибли. Потом — гражданская война. Служба у Колчака. Затем — под черными знаменами атамана Анненкова. И так далее... Как видите, крепко, крест-накрест связала нас с ним судьба. Не разлучила она нас и там, за кордоном — в Маньчжурии, в Харбине. Тут мы на первых порах и в чинах, пожалуй, сравнялись — оба долгое время не у дел были. Пока к атаману Семенову не попали: Года два в ресторане «Ша нуар»— черный кот по-русски — на равных правах трудились: я — официантом, он — на вешалке. Шикарный был ресторан. Вроде московского «Яра» или петербургской «Стрельны». С цы-

ганским хором. И цыганки — без дураков — высокой пробы! Там и певица была — Маша Незнамова — не хуже Вари Паниной. Ее тоже на руках носили!

— И я одну цыганку знавал!— с живостью откликнулся Лука Лукич.— В молодости. На Ирбитской ярманке. Совсем башку было с ней потерял. Двух родительских рысаков в дар ей за песни принес. Всю выручку за оптовую продажу бараньих курдюков за кутеж с этой дамой в меблированных комнатах «Зауралье» оставил. Чуть с ума не сошел от ее песни «Эх, да запрягай-ка пару серых!» Вот пела — одуреть можно! Да я и одурел. Спасибо, родитель вовремя явился. Выпорол меня ременным кнутом с махрами и препроводил восвояси с трояком в кармане!— сказал с усмешкой Лука Лукич и, облокотясь на стол, задумался, объятый минутной грустью о минувшей молодости...

А Татарников, уже не обращая внимания на то, слушает его Бобров или нет, продолжал вполголоса, в том же исповедном тоне говорить о себе:

— Были мы с ним люди одной судьбы.Так во всяком случае было там — за границей. Да по-разному встретила нас родная степь!— вдруг почти вскрикнул Татарников, и Бобров на мгновение уловил в узких глазах гостя вспышку злых искорок.

— Во как?!— с удивлением сказал Лука Лукич.

— Сволочи!— выругался Татарников.

Это явно понравилось хозяину. Он понимал, кого имел в виду Татарников, и потому с готовностью подхватил:

— Еще какие!... То-то, дорогой мой. Поживешь здесь с ними — увидишь небо с овчинку!

— А я уже вижу...— так же глухо проговорил Татарников, чувствуя легкий озноб во всем теле.

Бобров налил гостю чашку крепкого чаю. Тот, обжигаясь, с жадностью замученного жаждой человека выпил ее и, несколько успокоившись, продолжал свой рассказ:

— Мы втихую перешли с ним границу. Повезло. Не задержали. А когда перебрались уже в глубь наших степей, тут я вдруг понял, что ворочаться мне в свои края нельзя, не то что моему спутнику... Ему — что? Он — рядовой. Нижний чин. Полуграмотный, дескать. Несознательный. Бывший батрак. Такие советским товарищам ко двору. С него все — как с гуся вода. А каково мне, бывшему есаулу? Да к тому же кавалеру трех степеней «Георгия»? Плюс — сыну коннозаводчика?

— Понимаю,— сочувственно сказал Лука Лукич.

— Спутничек мой повел себя со мной вдруг весьма подозрительно и предерзко. Что ни день, то грубей становился, что ни час — то наглее. Тут я понял: дело мое табак. Пора было опускать концы в воду. Разговор по душам со следователями чека мне не очень-то улыбался...

— Я думаю! Сохрани и помилуй!— поспешно откликнулся Лука Лукич, воровски озираясь вокруг и настороженно прислушиваясь.

И Татарников, заметив настороженность Луки Лукича, решил, что неробкий его хозяин не очень-то доверял стенам своего подозрительно тихого дома.

Они молча выпили по стакану какого-то дурного вина неопределенного вкуса и цвета. И Татарников, вдруг ощутив приступ смертельной усталости и тоски, уронил тронутую сединой голову на простертые вдоль стола руки и заговорил глухо, с надрывом:

— Вот закрою глаза, а станица наша передо мной как наяву. И крутой берег Урала. И родимые степи. И курганы за Илецким сыртом. И сады, сады — весной от черемухи задохнуться можно! И девичьи хороводы по вечерам. И эти их протяжные, берущие за душу песни. Помните?— спросил Татарников и вдруг тихо запел чистым грудным баритоном:

Погасло солнце за горою.
Сидит казачка у ворот.
Она сидит и горько плачет...

Запнувшись на последнем слове этой песни, Татарников умолк и прошептал с горьким вздохом:

— Забыл... Как же это дальше-то поется про эту самую нашу казачку?

— Она сидит и горько плачет, и льются слезы из очей,— равнодушным голосом подсказал Лука Лукич.

— Да. Да. И льются слезы из очей,— повторил Татарников.— Горькие слезы. Из ясных очей. А я вот и песню даже забыл. И казачку теперь уже плохо помню. И о том, какие слова говорила она тогда на прощанье мне, тоже забыл. Только звук ее голоса не умирает и никогда, наверно, не умрет во мне. Печальный — на низкой ноте — звук. Да, да. Печальный, робкий, трепетный звук, как любовный шепот спросонок...

Татарников говорил эти слова тихо и тоже как бы в

полусне, не заботясь о том, слушает его Лука Лукич или нет. А Бобров, полунасмешливо-полупрезрительно поглядывая на изрядно захмелевшего гостя, все только покрякивал да поводил развернутыми плечами, точно готовясь к удару, для которого не хватало пока должной решимости.

Очнувшись после довольно продолжительного забытья, Татарников резко отпрянул на спинку стула, с диковатой подозрительностью осмотрелся вокруг. Он не сразу сообразил, что с ним, где он находится и с кем пьет он это скверное вино.

— На вот, понюхай нашатырю — в момент продерет... А слюней распускать не стоит. Нам с тобой, есаул, сейчас не до этого,— твердо сказал Лука Лукич и сунул под нос гостю пузырек с нашатырным спиртом.

Но, к великому изумлению Луки Лукича, Татарников выбил из его рук пузырек и сказал совершенно трезвым голосом:

— А идите вы к чертовой матери с этой отравой. Я уже давным-давно отравлен. У меня — иммунитет. Поняли?

— Понятно,— сказал Лука Лукич, деловито поднимая с полу пузырек.

— Вот тебе и родина! В родном краю — как собака на пожаре... Нет, устал я, Лука Лукич. Устал. Да и старею, должно быть,— признался Татарников, и подобие жалкой улыбки тронуло на миг его дряблые губы.

— Перепивать не надо!— строго сказал Бобров.

Но Татарников вновь заговорил о себе, словно продолжал вслух свои отравленные горечью мысли:

— Там, за кордоном, от тоски по родной стороне места не находил. Правильно: выбор — короток. Или — или. Или самому отправиться в ваше райгепеу, или пулю в лоб, и это, пожалуй, вернее. Вот так, одним махом из этой вот штучки,— сказал Татарников, с цирковой ловкостью подбросив на ладони выхваченный из-за пазухи старомодного двубортного пиджака почти игрушечный, холодно блеснувший полированной сталью браунинг.

— Дурак!— коротко бросил Лука Лукич, еще более ловко вырвав из его руки пистолет и по-хозяйски пряча его в карман своих широких плисовых шаровар.

Вспыльчивый Татарников привскочил со стула.

— Ну, вы эти штучки бросьте. Прошу вернуть мое оружие.

Но Лука Лукич, властно отстранив нетвердо стоявшего на ногах гостя, строго сказал ему:

— Не шуми. Оно тебе пока ни к чему. А случай придет, могу ссудить тебе пушку понадежнее этой... А теперь садись. Да хлебнем-ка лучше еще по чашке горяченького чайку. Серьезный разговор предстоит. Отдохни. Может, граммофон завести? Какую пластинку больше уважаете: Бим-Бомов али, к примеру, Варю Панину? Вяльцева тоже есть: с одной стороны —«Гей да тройка!», с другой —«Пара гнедых». Какую изволите?

— Варю Панину,— сказал Татарников, роняя на стол взъерошенную жидковолосую голову.

Разыскав пластинку, Лука Лукич завел граммофон и повернул его огромную оранжево-голубую трубу в сторону гостя. Низкий, искаженный механической записью женский голос, рыдая, запел под нервический аккомпанемент струнного ансамбля:

Так ветер осенью ненастной
Сухие листья оборвет,
И по тропам пустынным сада
Он их развеет, разнесет.
Их далеко разгонит вьюга
Глухой осеннею порой,
Навек разлучит друг от друга.
Закроет белой пеленой...

Бобров, придвинув Татарникову чашку чаю, налил затем и себе. Татарников, слушая рыдания Вари Паниной, пил чай обжигаясь, жадными глотками. Лука Лукич, наоборот, пил не спеша, по-русски, с сахаром вприкуску, из блюдечка, церемонно поддерживаемого всеми пятью широко растопыренными пальцами. Так, не торопясь, без суеты, осилив третью чашку, он перевернул ее кверху дном и, бросив недогрызенный кусок сахару в сахарницу, сказал, утираясь вышитым гарусными нитками полотенцем:

— Ну-с, а теперь ближе к делу, Алексей Ильич. Короче говоря, не узнал я нынче тебя, есаул. Краснеть за твои речи приходится. Не чаял. Не предполагал. А ведь какой офицер был — Георгий Победоносец с мечом с живописной иконы! Помнишь девятнадцатый год? Август месяц? Двадцать второе число? Пятницу? Лихо ты в тот самый памятный вечер саблей орудовал. Я с церковной паперти тогда тобой любовался. Полагаю, и ты про эту черную пятницу не забыл?

— Ничего я не помню...— стиснув зубы, сказал Татарников, хотя и отлично понял, что хозяин намекает на памятную расправу головорезов татарниковской сотни над членами ревкома станицы Пресногорьковской и, в частности, над председателем этого ревкома Андреем Скуратовым.

— Ловко ты его тогда на скаку рубанул, как лозу на армейском плацу — со свистом! Веселое дело: ты ему башку, как переспелый арбуз, напополам клинком развалил, а он сгоряча-то еще сажен пять рысью резал! Так ведь с яру в Урал-батюшку вниз и брякнулся. Поминай теперь, одним словом, как его там звали!

— Кто про старое помянет, тому глаз вон,— сказал с невеселой усмешкой Татарников.

— А кто про такое забывает, тому в пору — оба.

— Я не забыл. Правильно. Был такой грех...

— Грех?!— переспросил Лука Лукич с веселым недоумением.— Ну, какой же в этом грех? Нынче без такого греха не проживешь. Я смолоду, когда был покойным родителем к делу приставлен, тоже грехов по первинке побаивался. А потом пообтерся, уразумел, что наш товарищ, как говорится, вострый нож, сабля-лиходейка. Пропадешь сам ни за грош, если жизнь — копейка.

— Нельзя ли без притч?— попросил Татарников с нескрываемым раздражением, вызывающе посмотрев на Боброва.

— Можно,— с живой готовностью ответил хозяин.— Я и сам терпеть не могу разных там присказок. В самом деле, разводим с тобой десятую воду на киселе — слушать нечего.

Решительно поднявшись из-за стола, Лука Лукич, словно желая испытать твердость шага, прошелся из угла в угол по горнице — размял кости. А затем, остановившись вдруг перед поникшим гостем, запросто сказал:

— Сволочь одну нам с тобой хлопнуть надо. И — не мешкая. Но втихую. С умом. Как полагается.

Не поднимая головы, Татарников, помедлив, глухо спросил:

— Кого именно?

— Крупный зверь. Вот в чем наша беда... Не мы его, он нас сомнет — одно мокрое место от таких, как мы с тобой, есаул, завтра останется... Я — про Азарова. Слышал, новый советский помещик на смену нашему брату в казачьи степи прибыл. Целину тракторами собираются

поднимать. Каюк вековым пастбищам и степям. Каюк и нам — вольным хозяевам прежней жизни.

— Не понимаю, при чем здесь Азаров?

— Директор зерносовхоза.

— Да-да. Директор зерносовхоза. Сегодня, допустим, шлепнете его, а завтра другой товарищ нагрянет. Свято место, как известно, не бывает пусто.

— Это — другой разговор. А у нас с Азаровым свои давнишние счеты. Он еще покойному батюшке, когда в ссылке здесь находился, немало насолил. Покойного земского доктора Кармацкого публично грабителем величал. Так что теперь и докторской вдовушке несдобровать, которая тебя, говорят, пригрела. А мне, грешному, и подавно. Такие дела, господин есаул. Выручай. Сразу, как видишь, три карты убьешь. Полагаю, не подведешь?

— Подведу,— признался после некоторого молчания Татарников.

— Во как? И отчего же?

— Не могу. Вы уж меня извините, Лука Лукич. Не девятнадцатый год...

— Надвигаются годы похлеще, Татарников! Нынче грозы были в апреле — это не к добру.

— Я в приметы не верю. И вообще стрелять, связываться с Азаровым не стану. Неумно.

— Что ты говоришь?! Тогда придется прежде всего тебя убрать. Вот это будет, пожалуй, умнее,— сказал Лука Лукич и отбросил в сторону стоявший на дороге стул. Повернувшись спиной к Татарникову, он торопливо застегнул свой широкополый мешковатый пиджак на все пуговицы.

Татарников встал и, придерживаясь за спинку стула, настороженно следил за лихорадочно-быстрыми движениями Луки Лукича. Странное равнодушие охватило его в эту полную душевного и физического напряжения минуту. И если бы Бобров повернулся сейчас к нему с поднятым на него браунингом, Татарников едва ли бы выказал признаки смертельного страха или малодушия. Его отрешенность, внешне похожая на спокойствие, близкое к мужеству, смутила Луку Лукича, когда тот, обернувшись к Татарникову, встретился с его холодным и стойким взглядом.

«Ого, да ты, оказывается, еще силен!»— подумал Лука Лукич и, подойдя к столу, долил две рюмки остатками настойки.

— Третьи петухи поют. Выпьем по посошку,— сказал Лука Лукич, протягивая Татарникову одну из рюмок.

Деловито чокнувшись и молча кивнув друг другу, они оба враз в один глоток осушили рюмки. И Татарников, так же молча и сухо поклонившись Луке Лукичу, вышел из горницы по-строевому четким, твердым шагом.

Лука Лукич остался стоять у окна, выходящего во двор и оттого, видимо, не закрытого ставнями. Приподняв занавеску, он наблюдал за тем, как Татарников, расторопно заложив своего серого в яблоках рысака в пролетку, приказал разбуженному под навесом бобровскому работнику открыть ворота. Когда ворота были распахнуты, Татарников, вырвавшись со двора на волю, припугнул жеребца кнутом и погнал вдоль пустынной улицы в степь, за станицу.

Все это произошло в ночь под воскресенье. А в понедельник, в первом часу пополуночи, Боброва, придремнувшего за столом, разбудил троекратный требовательный стук в дверь дома с черного хода.

Заслышав условный стук, Лука Лукич вышел в сени с зажженным стеариновым огарком в руках. Он открыл гостю без спроса и ничуть, казалось, не удивился его приходу.

То был Татарников.

4

В один из дней жители хутора Арлагуля были огорошены внезапно разбушевавшимся, как степной пожар, гульбищем — пышной свадьбой кооперативного продавца Аристарха Бутяшкина, тайно обвенчавшегося с единственной дочерью-перестаркой бывшего прасола Епифана Ионыча Окатова, плоской и редкозубой Лушей. В свадебном поезде загнали двух выездных окатовских полукровок, и жених, доселе крайне застенчивый, робкий юноша — он был моложе своей двадцатишестилетней невесты,— железной лопатой отсек по пьяному делу правое ухо дружке.

А на пятые сутки бурной свадебной кутерьмы не проспавшийся с многодневного перепоя Епифан Окатов еще похлеще дочки удивил хуторян. Взобравшись на каланчу с живописным шатровым верхом, он в мгновение ока всполошил набатом пожарного колокола весь хутор, собрал на площади перепуганную до смятения толпу. Мужики, как заведено было искони при пожарах, сбежа-

лись с пешнями, вилами, заступами и топорами, бабы — с пустыми ведрами на коромыслах. Близнецы Куликовы, сидя верхом на пестро раскрашенной бочке, прикатили на шустром игреневом жеребчике, запряженном в водовозные дроги.

Когда сбежавшиеся на площадь люди поняли, что вместо пожара тут что-то другое, и смятение в толпе несколько улеглось, Епифан Окатов, потрясая над седой взлохмаченной головой длинной, похожей на библейский посох палкой, крикнул с каланчи столпившимся внизу хуторянам:

— Все ли хорошо видят меня?

Из толпы наперебой дружно и весело закричали:

— Куды ишо лучше?!

— Лучше некуды!

— Прямо как на живой картине!

— Фокусы даже можешь показывать!

— Все меня видят, да не все, наверное, знают...— глухо проговорил Епифан Окатов.

В ответ ему из толпы опять бойко, с озорством закричали:

— Что ты, Христос тебе встречи, Ионыч!

— Окрестись да выспись!..

— Мы ведь не с похмелья — масти в картах путать!

— Факт. На бешеной свадьбе с тобой не пировали...

— Самогонки, сдобренной листовым табачком, не пробовали!

Властным жестом призвав шумную толпу к тишине и спокойствию, Епифан Окатов с величественной медлительностью высоко поднял над головой зацепленную посохом старомодную глубокую калошу, и, когда изумленные люди, задрав головы и полуоткрыв рты, замерли в неподвижности, он торжественно произнес:

— Вы хорошо видите, дорогие гражданы хуторяне, эту мою калошу? Я купил ее в Куяндах. На ярманке. В одна тыща девятьсот четырнадцатом году. В день успенья пресвятой богородицы. Всем известно, что был я в ту пору прасолом. Закупал у киргизов рогатый скот.

— Почем с головы?— крикнул подвыпивший Филарет Нашатырь.

На него прицыкнули:

— Замри, Фита!

— Не перебивай, лишенец, оратура!

— Посмотрим, куда его кривая выведет.

— Я скупал в Куяндах на ярманке у разных киргизов рогатый скот,— продолжал все в том же торжественно-приподнятом, покаянном тоне свою речь Епифан Окатов.— Покупал рогатый скот в Куяндах. Продавал — в городе Ирбите. Каюсь. Был грех. Наживал капитал немалый: копейку — к копейке. А иного диковатого азиата и обсчитать при случае не робел. Было — не утаю.

— Ты, Ионыч, скорее калошу нам свою расшифруй!— крикнул Филарет Нашатырь.

— Какая в калоше притча?

— А то наводит тень на плетень!

— Тихо, тихо, граждáны хуторяне!— властно призвал толпу к порядку Епифан Окатов.— В сей секунд расшифрую всю мою жизнь, как эту калошу. Она осталась одна у меня. Другую я потерял, как позорный беженец от красных в одна тыща девятьсот девятнадцатом году где-то под городом Атбасаром. А эту вот приберег и уподобляю ее теперь публично всей моей неразумной и, прямо скажем, вредной в прошлом жизни. И вот глядите, что я с ней теперь делаю, с этой самой довоенной моей калошей. Я бросаю ее с высоты каланчи прямо под трудовые ваши ноги, дорогие граждáны хуторяне!— И при этих словах, размахнувшись посохом, он запустил калошей в ошарашенных хуторян.

— В чем дело?— заорал охрипшим с перепою голосом хуторской милиционер Серафим Левкин, рукояткой заржавленного нагана энергично прокладывая себе дорогу в толпе.

Пробившись вперед и увидев валявшуюся в пыли старую калошу, на которую с опаской поглядывали хуторяне, Серафим Левкин пнул ее ногой.

— Браво и бис, гражданин представитель Советской власти!— закричал с каланчи, захлопав в ладоши, Епифан Окатов.— Правильно! Браво и бис! Пинай и топчи ее, к чертовой матери! Топчите и вы ее, граждáны хуторяне! Так вот и я на миру, у вас на глазах, топчу и пинаю всю свою прошлую жизнь. От всего отрекаюсь, как граф Лев Толстой. Одеваюсь в рубище и беру в руки только один вот этот посох. И пойду по градам и весям, как говорится в Писании...

— В чем дело, гражданин Окатов?! Предлагаю вам прекратить всякую данную пропаганду. В чем дело? Я могу выстрелить!— задрав голову, закричал Серафим Левкин, воинственно размахивая наганом.

Близнецы — Агафон и Ефим — Куликовы, сидя верхом на ярко окрашенной бочке, угрожающе заорали на милиционера:

— Не пужай ты его, убивец, своей пушкой! Ослеп, что человек и без твоей поганой оружии скоропостижно ударить в темю может!

— Спрячь, полудурок, тебе говорят, паршивый свой самострел, пока в тебе ребра на сегодняшний день ишо целы!

Толпа снова заволновалась:

— Сымать его надо оттудова, гражданы!

— Конешное дело снять. А то брякнется вниз башкой, и поминай как звали.

— Еще как брякнется-то — по частям не соберешь. Наломает дров. Обыкновенное дело.

— Братцы, это он в самогонку листового табаку немножко лишку переложил. Вот затменье на его и накатило.

— Знаем, что на него накатило. Советскую власть решил одурачить,— сказала вполголоса, сверкнув темными глазами, похожая на цыганку девушка в заштопанном ситцевом платьице и стоптанных опорках на босу ногу.

— Помалкивай пока, Фешка. Поглядим, что из этих фокусов дальше будет,— сказал стоявший рядом босой парень с выгоревшими на солнце льняными волосами.

— А я и так насквозь всего его вижу, Егор.

Между тем Серафим Левкин, не утерпев, выстрелил в воздух. И Епифан Окатов, воспользовавшись замешательством обескураженной толпы, не спеша спустился на землю по винтовой лестнице. И тут он, ни слова не вымолвив больше перед молча расступившейся толпой хуторян, медленно направился к своему дому.

Мужики, бабы и стая босоногих, черных от загара ребятишек двинулись на почтительном расстоянии следом за Епифаном Окатовым. Окруженный сородичами и собутыльниками по свадьбе, он шел, как библейский пророк со своими учениками, печатая плоскими ступнями босых ног следы в белесой мягкой пыли. Серафим Левкин, так и не спрятав нагана в кобуру, следовал позади этой странной процессии.

Дойдя до своего старинного крестового дома, украшенного замысловатым резным орнаментом по карнизу, Епифан Окатов, поднявшись на высокое, похожее на трон

крыльцо с фигурными балясинами, повернулся лицом к столпившимся хуторянам и сказал:

— Вот так, дорогие гражданы хуторяне. Пробил мой час. Настало время мое... Мне отмщение, и аз воздам. Так говорится в Писании. Не успел и петух прокричать трижды, как я отрекся на миру от своей позорной прежней жизни. И еще раз говорю вам, как на духу, в час последнего покаяния: прошлой жизни моей — аминь! От всего отрекаюсь. От скота. От дому. От всего имущества. Ухожу с этим посохом, в рубищах, босиком, как граф Лев Толстой, к берегам новой жизни. На этом и речи моей — аминь!

И при этих словах поклонившись в пояс на три стороны мужикам и бабам, Епифан Окатов удалился в свой дом, наглухо захлопнув двери перед самым носом ринувшегося было за ним Серафима Левкина.

Потоптавшись на крыльце перед закрытой дверью, Левкин вдруг набросился на продолжавших торчать у крыльца хуторян. Размахивая наганом, он кричал:

— А ну, давайте не будем! Ра-зой-дись, покудова я обратно не выстрелил! Вам тут што, балаган с фокусами? Рас-хо-ди-ись!.. В чем дело? Я всегда имею право, находясь на посту, выстрелить!

Толпа мало-помалу разбрелась по хутору. Серафим Левкин, спрятав наган в кобуру, отправился домой писать рапорт о происшествии на имя начальника районного отделения милиции. Донесение свое он намеревался отправить в райцентр тотчас же с верховым нарочным. А растревоженный непонятным событием хутор не спал в этот вечер, вопреки обыкновению, до глубокой полуночи. Мужики, толпясь возле пожарной каланчи и около сельсовета, а бабы, гнездясь по завалинкам, судили-рядили Епифана Окатова, толкуя о его сегодняшней выходке всяк по-своему. Вездесущий Филарет Нашатырь утверждал, например, клятвенно осеняя тощую грудь крестным знамением, что все это натворил Епифан Окатов с явного перепоя на свадьбе. Нашатырь уверял хуторян, что бывший прасол, отоспавшись, сделает вид, что не помнит того, что творил сегодня спьяна, и снова примется ворочать делами в крепком своем хозяйстве.

Близнецы Куликовы, доводившиеся дальними родственниками Окатову, говорили наперебой всем встречным, что Епифан действовал нынче в здравом уме и ясном рассудке. По их словам выходило, что Епифан Окатов

чуть ли еще не с первых дней революции помышлял о передаче в пользу государства всего своего движимого и недвижимого имущества и, будучи человеком твердого характера и ясного рассудка, в конце концов и решился на это...

Бабы вполголоса тараторили, что все это дело рук молодожена Аристарха Бутяшкина, опоившего тестя таинственным зельем, чтобы завладеть под шумок львиной долей капитала, нажитого смекалистым прасолом, и накопленного им за долгие годы имущества.

Мужики, озадаченно почесывая затылки, терялись в догадках, не понимая истинной подоплеки этого необычайного происшествия: в шутку или всерьез отрекся от богатства Епифан Окатов, столь всегда рачительный к своему добру хозяин и редкостно оборотистый и изобретательный в любых делах человек.

Хутор Арлагуль, в котором произошло это весьма озадачившее всех событие, был одним из тех глухих, отстоящих иногда на сотни верст друг от друга русских селений, которые были основаны осевшими в казахстанских степях переселенцами из центральных губерний России. В конце прошлого века заповедные степи бывшего Киргиз-Кайсацкого края были открыты для переселения. Десятки тысяч доведенных до отчаяния безземельем и голодом орловских, курских, воронежских и тамбовских мужиков, снявшись со своими семьями с насиженных родных мест, тронулись сюда, на край света, в неведомые, богатые черноземной целиной, рыбой, дичью и зверем необжитые степи.

Немало соблазнительных благ было сулено новоселам на далекой целинной земле. И свободный выбор земельных участков. И льготы по податным платежам. И бесплатно сто лесин на двор для обзаведения постройкой. И по двадцать целковых безвозмездной ссуды на каждую семью, осевшую на новой земле. Но ничего из обещанного большинство из российских пришельцев здесь так и не получило. Бесплодно проблуждав все лето среди пустынных, одичавших от безлюдья степей в поисках отведенных для заселения земельных участков, тысячи новоселов, очутившись под осень без крова, без куска хлеба, без гроша за душой, встретили грозную зиму в жалких времянках и шалашах. Некоторые нашли приют в зимовках окрестных казахских аулов, другие — у старожилов линейных казачьих станиц, третьи умирали

в открытой степи, цепляясь в тифозном бреду одеревеневшими пальцами за скупую для них на счастье и радости, неласковую целинную землю.

Будущим арлагульцам повезло: благодаря изворотливому родителю Епифана Окатова, Ионе Ионычу — сельскому старосте и торговцу красным товаром,— всучившему межевикам солидную взятку, им был прирезан земельный участок верстах в ста двадцати от станицы Светозаровской, вблизи живописного урочища с казахским названием — Арлагуль. По имени этого урочища был назван и нынешний хутор, просторно и вольно раскинувшийся на высоком увале, окаймленном цепью спрятавшихся в дремучие камыши озер.

Отдаленное от старожильских казачьих станиц, затерявшееся в глуби необжитых степей место это, с легкой руки Ионы Окатова обжитое новоселами, оказалось, однако, довольно бойким, потому что лежало оно на перекрестке трех древних скотопрогонных дорог, имевших большое торговое значение для всего степного края. Ежегодно в июле неподалеку от хутора Арлагуля, в урочище Куянды, происходила знаменитая на всю степь Куяндинская ярмарка. На это многонациональное, необычайно шумное и красочное, как ярмарочные карусели, торжище съезжались иноземные купцы из Персии, Китая и Афганистана, скотопромышленники и фальшивомонетчики, оптовые скупщики шерсти и конокрады, торговцы поддельными драгоценностями и картежные шулера, полуоперившиеся молодые купчики третьей гильдии и известные всей России миллионеры, богатые странствующие шалопаи и тысячные толпы зевак переселенческой и казахской бедноты из раскиданных вокруг на многие версты аулов, русских сел и хуторов.

Покойный родитель Епифана Окатова, быстро освоившись на новом месте, оставил мелкую свою торговлишку красным товаром и, помимо пашни на возделанной чужими руками целине, занялся оптовой скупкой и перепродажей лошадей местной степной породы. Кочуя зиму и лето по окрестным ярмаркам, старик на глазах у изумленных хуторян все жарче и жарче начал раздувать кадило, ворочал уже десятками тысяч рублей. Но, запутавшись в темных делах со своими дружками, степными конокрадами-барымтачами, был убит и ограблен ими же на пустынной степной дороге.

Однако Епифан, оплакав убиенного родителя, не пал духом, не растерялся. Унаследовав от покойного батюшки незаурядную его сноровку и хватку, он взялся за оптовую торговлю рогатым скотом и так умело и бойко повел свое дело, что в канун революции уже не имел конкурентов в степной округе и диктовал цены на скот на любой из окрестных ярмарок.

После революции волей-неволей пришлось Епифану Окатову свернуть дело и определиться на службу в должности заготовителя шерсти и кож от районной конторы Казгосторга.

Епифан Окатов вскоре добился безграничного доверия районного и окружного начальства и, широко и деятельно использовав права государственного заготовителя кожевенного сырья и шерсти, занялся спекулятивными махинациями: сплавлял заготовленные кожи на сторону через руки залетных из соседнего Зауралья пронырливых дельцов. Преуспевая в этих жульнических аферах, он вскоре до того расхрабрился, что почти уже не делал из этого особой тайны, тем более что планы заготовок всегда перевыполнял не только первым в районе, но и во всем округе, за что был даже премирован начальством. О подозрительных связях расторопного, но нечистого на руку заготовителя с влиятельными степными баями-феодалами и с барымтачами-конокрадами догадывались многие и в районе, и в окружном центре, но долго не могли уличить его в прямых преступлениях. И Епифан Окатов, твердо уверовав в новую свою звезду, нередко хвалился во хмелю: «Да, грею на государственном дельце руки — это правильно. Ворую, где можно. Не отрицаю. Ну, а кто меня уличил в этом! Никто! И не уличить никому. Извиняйте. Я поумней и похитрее вас, товарищи прокуроры и уездные Шерлок Холмсы! Я — стреляный воробей: меня не проведешь на мякине. А потом, ежли с умом воровать — государству не в убыток. Так я свою новую должность при Советской власти понимаю!»— философски заключал Епифан Окатов под одобрительное хихиканье восхищенных слушателей.

Однако сколько веревочка ни вилась, а конец нашелся! Уличенный однажды районными властями в спекуляции государственной шерстью, Епифан Окатов был отстранен от должности заготовителя. Но от суда ему удалось уйти. На время присмирев, он снова решил взяться за пашню. Надоумил его давнишний дружок,

самый богатый в окрестной степи земледелец и табаковод — Лука Бобров, с которым Епифан был связан тайным грехом убийства екатеринбургского скотопромышленника Арсения Бронского, грозного их конкурента на Куяндинской ярмарке.

Неглупые, весьма осторожные люди Епифан Окатов и Лука Бобров избегали в последние годы взаимных общений на людях и виделись друг с другом, в случае острой нужды, в открытой степи или у общих степных тамыров-дружков в глухих, далеких от русских селений аулах. Так и на этот раз, встретившись по предварительному уговору на отдаленной заимке Луки Боброва, Епифан Окатов, угостив дружка первачом, прихваченным из дома, завел доверительный разговор о том, что́ ему делать дальше, чем заняться.

— Пашней,— решительно ответил Лука Бобров.— Сам понимаешь, Ионыч, времена для твоих былых рисковых дел миновали. Торговые операции теперь для нас с тобой не с руки: сразу в спекулянты запишут. А вот хлеб сеять — это другое дело. Земля у нас — золотое дно. Нищеты вокруг — невпроворот: полударовых рабочих рук хватит. На сложные машины тоже незачем попусту тратиться. Словом, сей больше пшеницы по целине — озолотишься. А налог досрочно заплатишь — от властей почет! Видишь, я при Советской власти не хуже, чем при старом режиме, живу. Что ни год, то мне и почетная грамота из района иль округа на гербовой бумаге! А чем ты хуже меня? Тебя не учить. А тут тебе и все козыри в руки!

И Епифан, приняв рассудительные слова дружка к сердцу, взялся со свойственной ему энергией и решимостью за новое дело. Обзаведясь рабочими лошадьми, волами и необходимым сельхозинвентарем, он в то же лето поднял при помощи наемных рук свыше ста десятин вековой целинной земли, а на следующий, не скупой на урожай год засыпался хлебом. Не дожидаясь окладного листа, он, как советовал Лука Бобров, досрочно с лихвой выплатил весь причитавшийся с него сельхозналог, за что и был отмечен в корреспонденции, напечатанной в окружной газете «Смычка», как передовой сознательный гражданин и образцовый хозяин. С тех пор так и пошло из года в год. Снимая с поднятой целины ежегодные высокие урожаи, Епифан Окатов был назван районными властями культурным хлеборобом, и образцы его пшени-

цы занимали почетное место на осенних сельскохозяйственных выставках в районе и в округе. Как Лука Бобров и все прочие хлебные заправилы, слывшие в этих местах в канун тридцатых годов за «хлеборобов-культурников», Окатов являлся непременным участником всех земледельческих съездов, слетов и совещаний. Епифан получал ежегодно то похвальный лист, то почетную грамоту, то диплом за представленные им экспонаты высокоурожайных или особо морозоустойчивых сортов пшеницы. А воротясь с наградными листами и грамотами восвояси, учинял он в Арлагуле шумные гульбища.

Добрая половина хутора была у Епифана Окатова в долгу как в шелку, и каждый из должников старался отработать долг то на его обширном, богатом скотом и хлебом дворе, то на его еще более обширной и еще более богатой урожаями пашне. Он никогда и никому не отказывал в хлебной ссуде, в денежном кредите, никого не торопил с возвращением долга, чем и снискал уважение хуторян, которые, впрочем, с лихвой отрабатывали ему в посевную или страдную пору, отставляя свои неотложные домашние дела.

Так велось последнее время из года в год. И вдруг — на тебе — такой крутой поворот: Епифан Окатов отрекся на миру от всего своего образцового хозяйства, засыпанного наградными листами и грамотами, поставленного воистину на широкую ногу! Вместо полной чаши в доме — сума. Вместо пары выездных полукровок с рессорной на дутых шинах пролеткой — посох. Вместо покойной старости под родимым кровом — незавидная участь бездомного странника...

Фешка Сурова, чутьем не верившая ни одному слову Епифана Окатова, запальчиво говорила хуторскому пастуху, застенчивому, светловолосому Егору Клюшкину:

— Я знаю! Не сдуру, не с бухты-барахты выкинул он этот фокус, вражина!

— Больно много ты стала знать...— сказал со своей полувиноватой улыбкой пастух. Он давно был тайно влюблен в Фешку, но не смел ей признаться в этом.

— Не столько стала знать, сколько — много чуять...

— Ну и что ты учуяла?

— Беду над окатовской головой. Оттого он и задурил, что сухим из воды хочет выбраться.

— Ну и пущай выбирается на здоровье. А тебе до него что за дело?

— Дурак ты. А еще в комсомольцах ходил.

— Не дурнее тебя. Откажусь коров пасти. Подамся в совхоз. Там на все сто заживу. Двухрядку куплю. Женюсь.

— На ком же это?

— Там видно будет...

— А я бы за тебя — озолоти меня — не пошла!

— Почему это?

— Ты — трус!

— Новое дело! Кого это я испугался?

— Кулачья нашего. Кабы они тебя не припугнули, ты бы из комсомольской ячейки позорно не выписался.

— А, иди ты! Вам каждый месяц взносы разные подавай. А я что, буржуй — платить звонкой монетой?

— А я буржуйка — плачу?

— Ты за жалованье у Пикулина живешь. Я пасу — за натуру.

— Подавился бы мой хозяин этим жалованьем!.. И взносами ты, Егор, не прикрывайся... Вот и сейчас в совхоз за длинным рублем собрался.

— А ты откажешься поехать со мной, если там лучше платят?— спросил с лукавой усмешкой Егор.

— Откажусь.

— Значит, тебе и у Пикулиных не худо приходится.

— Ладно. Замри. Ты-то знаешь, как сладко нашему брату, батрачкам, в чужих людях живется. Собачья жизнь: спи и вздрагивай!.. Я и сама рада была бы на край света из этой дыры убежать с завязанными глазами. Да злость меня не пускает.

— Злая ты стала, Фешка,— это точно. Не пойму только: на кого злишься?

— А на весь белый свет!— проговорила с ожесточением Фешка.— На кулачье наше. На подкулачников. На тебя, дьявола!..

— Интересно девки пляшут! А я при чем?

— В прятки любишь играть...

— Опять двадцать пять! Дите я тебе, что ли?— не на шутку обиделся Егор.

— Хуже. Как только дело до драки, ты — за угол.

— Никаких драк у нас пока как будто и не было.

— Пока — никаких! А дело до них доходит... Видел, Окатов, как зверь при облаве, рыщет — выхода ищет. Ишь, как ловко придумал народ одурачить. Не от хорошей жизни он на рожон попер. Приперло его что-то,

стало быть... Значит, и нам пора засучивать рукава. Стенка на стенку, как в кулачном бою... А мы, вместо того чтобы стоять за себя артельно,— порознь в кусты! Вот и берет меня злость, что одна я здесь с этими гадами много не навоюю... Ну ничего. В открытой драке найдутся и на нашей улице неробкого десятка ребята. Не все же будут труса праздновать перед этой сволочью!— жестко сказала Фешка на прощание пастуху и, не подав Егору своей маленькой горячей руки, с сердцем захлопнула за собой калитку пикулинской ограды — крепости, в которой батрачила, как каторжанка, третий год.

5

Четверо суток отсиживался Епифан Окатов в своем наглухо затворенном доме. На хуторе никто не знал, дома ли был в эти дни старик или, как грозился, тайно исчез из хутора странствовать с сумою и посохом, босым и сирым. Не показывались на глаза ни сын Епифана — Иннокентий, ни молодожены Бутяшкины — Аристарх с Лушей, ни одна живая душа из наиболее близких окатовских родичей. Среди хуторян ходили разные толки. Одни утверждали, что родичи задурившего старика насильно закрыли его под замок, отговаривали от сумасбродной затеи, втемяшившейся в его хмельную башку. Другие говорили, будто единственный наследник окатовского добра, Иннокентий, объявил родителя тронувшимся и ночью увез его в Омск для водворения в сумасшедший дом. Третьи вполголоса сообщали, что, прижатый неженатым сыном и замужней дочкой, папаша вынужден был подписать завещание: все движимое и недвижимое имущество разделил поровну между сыном и дочерью. Подписав завещание, Епифан якобы в ту же ночь повесился на сыромятной супони прямо посреди горницы.

И вдруг — это было уже на пятые сутки после покаянных речей Окатова — он появился поутру, к великому удивлению ахнувших хуторян, в хуторском сельском Совете. Босой, с нечесаной головой, в старом малиновом бешмете степного покроя и длинным посохом в руке, он, робко полуоткрыв сельсоветскую дверь, столь же робко спросил:

— Дозволите?

Мужики и бабы, оказавшиеся в этот ранний утренний

час в Совете, остолбенели от неожиданности и пялили на Епифана глаза.

А председатель Совета Корней Селезнев, маленький вертлявый мужичонка с тусклыми от куриной слепоты бегающими глазками, увидев Окатова, аж присел, точно у него подкосились ноги.

— Дозволите, я спрашиваю?— смелее, почти требовательно переспросил неожиданный посетитель. И, не дожидаясь ответа от точно проглотившего аршин председателя, Епифан медленно прошел вперед, поближе к изумленным хуторянам, сказал:— Ну, вот теперь я, как вы видите, сограждани хуторяны, как на духу — не выпивши.

— Все видят. Как стеклушко!— поспешно подтвердил тощий, с рыженькой бороденкой клином Силантий Пикулин.

Корней Селезнев привскочил с табуретки, прицыкнул на Силантия, властно ударив о стол ладонью:

— К порядку. Не перебивать оратура!

— А поскольку я не пьяный и не с похмелья, то прошу выслушать мою последнюю речь со вниманием,— продолжал Епифан Окатов.— Это — одно. Другое — прошу писаря слова мои занести в протокол. Тут не каланча — слова на ветер бросать неловко.

— Так точно. Бери лист бумаги и фиксируй все дочисто, Киря,— сказал Серафим Левкин, обращаясь к секретарю сельсовета, юному, с девичьим румянцем подростку, Кирьке Суржикову.

Кирька, вооружившись карандашом и раздобыв бумагу, приготовился к записи. Епифан Окатов, откашлявшись, принялся диктовать секретарю:

— Итак, давайте запишем, граждане. Все по порядку. Стрезва. Каялся я на миру с каланчи тоже не с большого похмелья. И от покаяния того не отрекаюсь и здесь, в конторе Советской власти. Дом мой крестовый я, как всем известно, давно обрек под школу. Запиши, Кирюшка, что сие и сейчас подтверждаю. Так? Пойдем дальше. Хлебишко, какой про черный день приберег, жертвую государству: сто пудов пшеницы «кубанки» и семьдесят пудов шатиловского овса. Записал? Хорошо. Пиши дальше. Некоторую мою, значит, инвентарь: плуги пароконные, бороны «зигзаг», сенокосилку фирмы «мак-кормик» и чистодающую молотилку с соломотрясом — все сие дарствую моему дорогому обществу.

— А лошадей куда?— спросил, хитровато прищурившись, мужик в посконной до колен рубахе, Проня Скориков.

— С лошадями он уже умыл руки. Своим верным тамырам в степи сплавил,— прозвучал из угла битком набитого людьми сельсовета въедливый голос пикулинской батрачки Фешки Суровой.

— К порядку! Молчать, кому слова не дадено!— строго прикрикнул на выскочку понаторевший в руководстве собраниями Корней Селезнев.

— Отвечу и за лошадушек,— продолжал Епифан Окатов с невозмутимым спокойствием.— Каюсь. Был грех. Некоторых маток, рабочих меринов, а также жеребчиков я, натурально, продал в степь. Но это было ишо на масленицу и великим постом. Теперь бы я государству и нашему обществу такого урону не нанес. Позор мне, ясное дело, за такой проступок!.. А теперь поехали, письмоводитель, дальше. Буланого меринка приношу я в дар безлошадному гражданину Прокопию Скорикову.

— Как это в дар? Прямо — даром?!— изумленно воскликнул, торопливо сорвав с головы рваный картузишко, Проня Скориков.

— А то за деньги, что ли, дурак? Падай в ноги, дубина!— шепнул ему Силантий Пикулин.

— И плюс — нетель ему же для приплода запиши, Киря. Она уже стельная, поскольку обегалась нынче весной,— продолжал диктовать Епифан лихо строчившему протокол секретарю.— Комолую корову Маньку — на племя — беднейшей вдове нашей Соломее Дворниковой.

— Упаси бог! Я и без твоей комолой проживу,— пугливо отпрянула та от щедрого доброхота.

— Правильно, тетя Солоня!— снова подала голос Фешка.

— Напрасно кобенишься, Соломея. Тебе ль с твоей оравой — мал мала меньше — отрекаться от такой кормилицы?!— шепнул ей с укоризной Силантий Пикулин.

Епифан Окатов, словно не слыша этих реплик, продолжал диктовать вспотевшему от духоты, красному, как вареный рак, секретарю:

— Двух кобыл жеребых — детскому райприюту.

— Райдетдому,— поправил его секретарь.

— Ну, райдетдому. Для меня это бара-берь — все равно, если сказать по-киргизски... Остальную живность

пущай разделит сельсовет промеж беднейшей нации наших хуторян. Я сам себя ликвидирую как класс. Хватит. Поплутничал. Потемнил. Пообмеривал. Пообвешивал. Позагребал жар чужими трудовыми руками. Пора и с повинной к народу прийти. Пора, если ты совесть совсем не потерял, и покаяться. И я пришел. Покаялся. И трижды отрекся от себя, от всего неправедным трудом нажитого имущества...

— Вот, гад, откудова и куда подъехал!— вполголоса проговорила Фешка, ткнув локотком пастуха Клюшкина.

— Разряшитя! Разряшитя!— запальчиво закричал бабьим голосом Силантий Пикулин.— Разряшитя мне задать один вопрос Епифану Ионычу. Дом — под школу. Это — хорошо. Движимо имущество — в жертву беднейшему классу. Это — ишо краше. Благодарствуем! Сам Ионыч, допустим, на старости лет подаянием прокормится. Это его дело. Но извиняйте меня, у его же ишо и единоутробные чада в наличии. Дочь Луша. И единственный сын на возрасте, Иннокентий.

— Луша — отрезанный ломоть!

— Факт. Она замужем.

— Вот именно. Она приданое получила.

— А вот Иннокентий — это другое дело!— зашумели окружавшие Епифана мужики.

И вдруг снова все замерли. Сквозь ряды столпившихся в сенях и в небольшом зальце Совета мужиков и баб, сбежавшихся сюда, как по набату, со всего хутора, с трудом протиснулся вперед и стал рядом с отцом Иннокентий, высокий смуглолицый парень с презрительно прищуренными агатово-черными глазами. В зеленой, лихо заломленной набекрень фуражке над пышным чубом смолисто-черных волос, в новенькой, защитного цвета гимнастерке, плотно облегавшей крепко сбитую, литую его фигуру, он был красив, похож на мастерски выполненный плакатный портрет героя красноармейца. И даже Фешка, как и все прочие хуторские девчата, втайне любуясь им, с раздражением подумала: «А все-таки хорош, собака!»

Встав плечом к плечу со своим тоже еще здоровым и статным для его возраста родителем, Иннокентий сказал приглушенным, грудным голосом:

— И мне от папаши тоже ни духу не надо. Я на сегодняшний день тоже отрезанный ломоть. Постольку по-

скольку я ухожу по осени в Рабоче-Крестьянскую Красную нашу Армию.

— Ну это ты брось загинать! Лишенцам в Красной Армии места нету!— крикнула привставшая на цыпочках Фешка.

— Извиняйте. Нисколько не загинаю. Постольку поскольку никакой я в данный момент не лишенец. Это папашу могли бы кое-чего лишить, кабы он добровольно сам всего не лишился. Папаша отрекся от нажитого добра. Я отрекаюсь от папаши. Разрываю всякую кровную связь с ним как с бывшим классовым врагом. Вот вам и бабки с кону! Пожалуйста. Это я не только здесь заявляю и прошу зафиксировать в протокол, но и дальше махну. В газете «Смычка» данное слово отречения напечатаю. Крупным шрифтом. Пожалуйста. Мне терять на сегодняшний день нечего!— презрительно покосившись на невозмутимого родителя, сказал Иннокентий Окатов.

— Вот гады! Вот сволочи!— задыхаясь от гнева, шептала Фешка.

— Тише ты. Не кипи...— пытался утихомирить ее Егор Клюшкин.

Огромный, малоповоротливый, обрюзгший, как баба, церковный староста Антип Карманов, стоявший позади Епифана Окатова, сказал:

— Благодарствие от нашего общества надо бы в приговор записать Ионычу, гражданы хуторяны.

— За что?— осторожно спросил кто-то из сенок.

— За дом, который добровольно выдан нам в дар под школу. Опять же за дарственных лошадей и коров сирым детям и гражданам, которых беднее в нашем хуторе нету.

— Точно! Об этом рапорт надо подать в окружную газету «Смычка». Я могу лично сочинить,— сказал благодушно настроенный на сей раз Серафим Левкин.

Увидев, что милиционер принял его сторону, Антип Карманов, взликовав, закричал:

— А ну, качнем Ионыча, гражданы хуторяне!

— Качать — правильно! Пущай раскошелится для общества!

— На бочоночек...

— Тут бочонком не отыграется. Пущай пожарную бочку на площадь выкатыват!

Окрыленные внезапной возможностью попировать вдосталь всем миром за счет дарового угощения с жиру,

должно быть, задурившего на старости лет первого богатея в хуторе, мужики скопом ринулись к Епифану Окатову, мигом подняли его на руки и с хохотом, с гиком выволокли на улицу. И тут, у сельсоветского крылечка, на глазах у возбужденной, улюлюкавшей от восторга толпы хуторских бабенок и девок, мужики принялись лихо подбрасывать в воздух большое рыхлое тело старика в потрепанном малиновом бешмете. Яростно, с каким-то переходящим в буйство злорадством, мужики подбрасывали высоко над головой Епифана, нестройно полунапевая, полуприговаривая при этом обычную в таких случаях полупесню, полуприсказку:

Эх, чарушка моя серебряная!
Матушка ль моя позлащенная!
Кому чару пить?
Кому выпивать?
Ах, и пить ее нам,
И осушить ее нам
За здравие твое
Миром-обществом!

Как ни старалась Фешка удержать Егора Клюшкина, тот тоже ринулся качать Окатова.

Затертая толпой хуторских баб и девок, Фешка, привстав на цыпочки, смотрела чуть прищуренными, жарко горевшими глазами на угодливую суетню мужиков, обрадованных предстоявшей даровой попойкой. Больше всего злило Фешку то, что среди горлопанивших окатовских родичей — толстосумов и прихлебателей — крутились и хуторские жители из малоимущих — полубатраков, полухозяев, на поясные поклоны которых Епифан Окатов не отвечал даже малоприметным, небрежным кивком гордо поставленной головы. Тут вертелись и притворно-восторженно горланили вместе со всеми окатовскими лизоблюдами безлошадный Проня Скориков, Филарет Нашатырь, кузнец и церковный регент — Лавра Тырин, и прижившийся в хуторе казах-подпасок Аблай, и пастух Егор Клюшкин.

В стороне от этой наигранно веселой кутерьмы оставались только степенные, самостоятельные мужики. Держась поодаль от бабенок и девок, глазевших на затеянную Антипом Кармановым забаву, эти мужики строго, без улыбки, поглядывали на взлетавшего в воздух Окатова, хмурились, молчали. Среди них выделялся своим богатырским ростом — косая сажень — Елизар Ды-

бин, старик с мятежной бородой, и рядом с ним — невысокий крепкий мужик, какой-то необыкновенно уютный и спокойный на вид хуторянин среднего достатка, Мирон Викулыч Караганов. Около Елизара Дыбина все время вертелся его сын, такой же здоровенный, лить не вылить — в родителя, русоволосый парень. Он все время засучивал сползавшие длинные, до кистей, рукава бордовой сатиновой рубахи. Елизар, заметив эти неспокойные движения порывистого, вспыльчивого, как порох, сына, с плохо скрытой усмешкой вполголоса спросил его:

— У тебя руки зудятся, Митрий?

— Прямо терпения нету, батя. Будь моя воля, наломал бы я сейчас из этих окатовских прихвостней дров!— признался Митька, не сводя быстрых веселых глаз с толпы хуторян, качавших Епифана.

В пир, устроенный на прощание Епифаном Окатовым в большом доме близнецов Куликовых, включилась половина зажиточных мужиков хутора. Это были те, что рядили своих выездных полукровок в тяжелую сбрую с тройным посеребренным набором, те, что шумели воскресными днями сатином рубах и роднились с зажиточным казачеством. Забушевали крикливые пьяные песни. Силантий Пикулин катал по хутору на буланом иноходце очумевших от перепоя председателя Совета и Иннокентия Окатова. Полулежа в пролетке, играл Иннокентий на дорогой гармони, а Корней Селезнев выкрикивал не в лад вздорные припевки.

Церковный староста Антип Карманов колесил всю ночь по хутору, крикливо прославляя подвиг Епифана Окатова, отрекшегося от своего состояния. Тех мужиков и баб, которые ему не перечили, Антип покрывал лобзаниями, а тех, кто пытался возразить, грозил согнуть в бараний рог. Он выбил окошко в землянке вдовы Соломеи Дворниковой, оглушил осиновым колом бобыля Климушку за то, что они усмотрели в поступке Епифана Окатова некий недобрый замысел.

6

Фешка чувствовала себя на хуторе одинокой. Организатор и секретарь хуторской комсомольской ячейки Роман Каргополов ушел с двумя комсомольцами на Турксиб и не слал обещанных писем. Правда, в комсомольской ячейке кроме Фешки числилось еще двое ребят, но

один из них все лето безвыездно жил в батраках на дальней заимке, а другой — пастух Егор Клюшкин — испугался кулацких угроз, стал просить не числить его комсомольцем, и Фешка после длительных и мучительных раздумий вычеркнула его фамилию из поименного ячейкового списка.

Потрепанную картонную папку с делами ячейки Фешка ревниво хранила на дне своей старой корзинки, под тяжелым ржавым замком. Это было все, что осталось ей в наследство от недавно еще веселой и шумной комсомольской компании. И вот в редкие свободные, обычно непогожие вечера, когда Силантий Пикулин отпускал ее с пашни на хутор, Фешка, уединившись в амбаре, перекладывала с затаенной гордостью это нехитрое комсомольское имущество. Она долго разглядывала пожелтевшую плохую фотографию Романа и свой потрепанный комсомольский билет. Опасаясь, как бы не разучиться читать, она подолгу сидела над старыми протоколами ячейковых собраний, твердя полушепотом давно заученные строки, написанные неуклюжим каргополовским почерком.

Не было у Фешки ни угла, ни родных, ни близких. Жила она обычно в избе вдовы Соломеи Дворниковой, работала на поденщине. В это знойное и ветреное лето она перед молотьбой снова вернулась к старому хозяину Силантию Пикулину и нанялась к нему в батрачки.

Силантий был скуп с Фешкой на слова, по-хозяйски строг и требователен, но в харчах не скупился, а по большим праздникам, после обедни, все чаще, строже и отрывистее говорил ей:

— Я тебе вот что скажу, батрачка. У меня живи, ешь, пей, да только не зевай на работе. И мой уговор помни: держи язык за зубами. Я длинноязыких терпеть не могу. Там, где тебя не спрашивают, не суйся. Замри...

И Фешка сдерживала свой порывистый, вспыльчивый нрав. Старалась молчать. Однако в свободные минуты она не могла усидеть в одиночестве, ее тянуло на мир, к людям. И если ей иногда по праздникам удавалось ускользнуть с хозяйской заимки на хутор, она воровато пробиралась на шумные и крикливые праздничные сходки. Здесь, забившись в угол, она подолгу молча просиживала вместе с ехидно помалкивающими мужиками из бедноты, которые, как и она, бог знает зачем, любили приходить в Совет и терпеливо высиживать там с утра до

глубокой ночи. До одури накурившись крепкой суворовской самосадки и вдоволь намолчавшись, мужики уходили из Совета всегда почему-то взаимно озлобленными, дерзко и грубо подшучивая друг над другом.

На следующий день после шумного пира, устроенного на даровые деньги Епифана Окатова, Силантий Пикулин поднял Фешку чуть свет и грозно заорал на нее:

— Так ты помнишь о нашем уговоре?! Кто тебя вчера тянул за язык? Чем тебе помешал Иннокентий Окатов?

Фешка виновато теребила огрубевшими пальцами концы рваного полушалка и молчала. Что она могла ответить еще не протрезвевшему после вчерашнего гульбища хозяину? Ведь все, что она думала об Иннокентии Окатове, она высказала вчера в Совете, сама толком не зная, как у нее сорвались с языка эти полные обиды и гнева слова, рожденные в ее сердце глухой и словно даже беспричинной ненавистью к Окатову.

Пьяный и мрачный Силантий Пикулин стоял в вызывающей позе перед батрачкой, долго ждал ее ответа. Но Фешка молчала. И Силантий понял, что не дождется от нее ни слова. Он решительно бросил к ногам Фешки ее вещевую корзинку и, сатанея от нового приступа злобы, прохрипел:

— Катись к чертовой матери на все четыре стороны.

Фешка, наспех натянув на босые ноги ссохшиеся, одеревеневшие от грязи сапоги и прикрыв голову косынкой, схватила корзинку и побежала с пикулинского двора к Соломее Дворниковой. Вдова встретила ее недоверчиво-презрительной усмешкой:

— Чего это тебе нигде места нет, девушка?..

— Талан мой такой, тетенька Соломея...— глухо проговорила Фешка и, уронив бедовую голову на ладони, заплакала.

— Ну, пенять не на кого. Язычок нас губит...— сказала со вздохом Соломея, намекая на вчерашнее поведение Фешки в Совете.

Фешка смолчала, утерла концом полушалка слезы и, вся внутренне сжавшись от обиды и гнева, посмотрела на Соломею большими, по-детски ясными и чистыми глазами.

Но Соломея сердито загремела самоварной трубой, отвернулась от Фешки и сухо проговорила:

— Придется тебе, голубушка, искать другую квар-

тиру. Угла-то мне для тебя не жаль, а вот уж насчет харчей — извини. Сама знаешь, какие теперь времена...

Наступило тягостное молчание. Соломея долго возилась в кути, избегая встретиться взглядом с Фешкой. А Фешка, поникнув, долго сидела в безмолвии над корзиной, делая вид, что не может закрыть замок. Наконец глубоко вздохнув, она выпрямилась и сказала:

— Ну что ж, уйду куда-нибудь. Обузой не буду. Я все понимаю, тетенька. Прощайте. Не поминайте лихом.

— Бог простит...— сухо ответила Соломея и повернулась к ней спиной.

Фешка снова оказалась на улице. Стояло хмурое, ветреное и дождливое утро. Фешка шла вдоль переулка, сама не ведая, зачем и куда идет.

Вдруг она услышала чей-то негромкий, притворно-ласковый оклик:

— Одну минутку! Я к вам обращаюсь, гражданка Сурова.

Обернувшись, Фешка увидела Иннокентия и, похолодев, остановилась. Иннокентий шел к ней крупным, решительным шагом. Он был в новой касторовой фуражке, заломленной на висок, и выглядел еще более молодцеватым, подтянутым и картинным.

— Разрешите вас проводить?— протягивая ей руку, наигранно деликатно проговорил Иннокентий и попытался обнять девушку.

Но Фешка вдруг откинулась и со всего размаха наотмашь ударила Иннокентия по багровому виску. Она ударила его с такой силой, что он покачнулся и, едва удержавшись на ногах, все же ловко схватил слетевшую с головы фуражку.

— Какая же ты сволочь!— презрительно прищурившись, сквозь зубы проговорила Фешка. И, схватив поставленную на землю корзинку, порывистой походкой пошла от него прочь.

Иннокентий остался стоять на месте. Губы его судорожно дрожали. Лицо багровело от обиды, стыда и гнева. Он хотел броситься за уходящей девушкой и уже рванулся вперед, но, оглянувшись, замер: на плетне, уцепившись пухлыми руками за колья, висела школьная сторожиха Кланька. Иннокентий понял, что Кланька все видела и теперь беззвучно смеется над ним.

Фешка долго блуждала без всякой цели вокруг хуторских гумен, а затем выбилась на широкую дорогу и

пошла по ней в помутневшую от мелкого дождика степь. Отшагав от хутора добрых два десятка верст, усталая и до нитки промокшая Фешка остановилась около придорожного стога и, зарывшись в пахучее свежее сено, заснула.

На другой день к вечеру Фешка добралась до большого пыльного села. Здесь в голубом бывшем атаманском доме с мезонином помещался теперь райком комсомола. Отдохнув и перекусив (в корзинке нашелся кусок черствого хлеба), она с жадностью перечитала все яркие плакаты, расклеенные в простенках, и затем присела на подоконник в ожидании прихода секретаря.

Был воскресный день. В безлюдных комнатах райкома от свежевыкрашенных полов пахло олифой, где-то в дальней комнате пела печальную песню занятая делами приветливая сторожиха. Но вот наконец в дверях показался вихрастый, франтоватый и болезненный на вид юноша. Он был в белой рубашке с крылатым воротом, в модных, хорошо отутюженных брюках и в белых брезентовых туфлях. Покосившись на спрыгнувшую с подоконника девушку, молодой человек назвал себя агитпропом райкома комсомола Геннадием Коркиным.

— А меня зовут Фешка. По фамилии — Сурова. Я комсомолка с хутора Арлагуль,— густо покраснев, отрекомендовалась Фешка.

— В таком случае прошу пройти в мой кабинет,— сказал агитпроп, предупредительно распахнув перед ней филенчатые двери.

Он усадил ее перед своим столом в деревянное неустойчивое кресло и, пытливо приглядываясь к Фешке, спросил:

— Ну, в чем дело, дорогой товарищ? Как вы живете?

— Живем как сычи. А от вас ни людей, ни бумажек.

— Я не совсем понимаю вас.

— Ну я не знаю, что тут непонятного. Говорю — как сычи. Я там одна. И вот попробуй поборись с ними. Они всю власть к рукам прибрали, а ты и пикнуть не смей.

— Погодите, погодите, голубушка. Вы рассказывайте все по порядку,— перебил ее агитпроп.— Значит, вы комсомолка?

— Ну да.

— Ваш билет?

— Билет при мне. Билет-то имеется...— смущенно проговорила Фешка и, вынув из-за лифа припрятанный

там комсомольский билет, протянула его агитпропу. И пока тот внимательно, с брезгливой улыбкой разглядывал изрядно потрепанный комсомольский билет, девушка продолжала объяснять молодому человеку причины ее появления в райкоме:

— Были у нас комсомольцы в ячейке. Были, да все вышли. Каргополов подался на Турксиб. И второй год о нем ни слуху ни духу. Другие наши ребята тоже разбрелись кто куда. А что я одна могу там поделать с ними?

— Это с кем же с ними?— продолжая разглядывать билет, глухо и безучастно спросил Коркин.

— С ними — с Окатовыми. Старый-то в блажь ударился. Хозяйство свое размотал. Нищим прикинулся. Я, говорит, сам себя ликвидирую как класс. А молодой, подлец, в Красную Армию метит...

— Погоди, погоди, товарищ,— торопливо остановил ее Коркин, закрывая билет.— Ты, собственно, девушка, устав знаешь?

— А? Устав? Знаю, знаю,— откликнулась обрадованная Фешка.— Мы его наизусть учили.

— Ну, плохо, вижу, учили,— осуждающе-строго проговорил Коркин.— Плохо!— резко повторил он.— У тебя с марта членские взносы не плачены. Выходит, что ты выбыла из комсомола механически. Это — во-первых. Во-вторых, арлагульская ячейка распущена за бездеятельность еще старым составом бюро райкома. Это было в начале мая. Позволительно спросить, откуда же у тебя этот билет, девушка? И вообще, что это за разгильдяйство?

Растерянная, сбитая с толку Фешка протянула было руку за своим билетом. Но Коркин, отпрянув от стола, вдруг сунул Фешкин билет в свой разбухший от бумаг портфель и проговорил:

— Ну это вы бросьте. Ваш билет недействителен. И вообще вы вне рядов комсомола. Ясно?

Глядя на Коркина детски ясными, изумленными глазами, Фешка не могла вымолвить ни слова. Нет, она ничего не понимала. Ей ничего не было ясно. Она ждала, она еще надеялась, что этот франтоватый молодой человек поговорит с ней по душам, поймет и расскажет толком, как же ей быть и что делать дальше. Однако ничего этого не случилось. Коркин тотчас же забыл о присутствии Фешки, уже не видел и не слышал ее. Вот

он стремительно схватил телефонную трубку и стал кричать о заседании какой-то комиссии. Вот он стал поспешно набивать и без того распухший портфель бумагами, собираясь покинуть кабинет...

А Фешка сидела по-прежнему, не спуская глаз с этого непонятного для нее человека. Жесткая прядь волос выбилась из-под рваной косынки и упала на выпуклый лоб. Ее обветренные, по-детски припухлые и полураскрытые губы как будто таили неясную улыбку, готовую на мгновение озарить все ее смуглое, загоревшее лицо. Она ждала, что скажет ей напоследок этот возбужденный и, видимо, очень занятой человек. И вот Коркин, точно впервые заметив ее, удивленно сказал:

— А вы, собственно, чего еще ждете от меня, девушка? Я же вам разъяснил, что комсомольской организации на хуторе не существует — это раз. Вы механически выбыли из комсомола — это два. Стало быть, вопрос с вами исчерпан. И вообще я тороплюсь на заседание!

Коркин, точно ужаленный, сорвался с места и, распахнув перед собой обе половинки двери, проговорил, приглашая Фешку жестом к выходу:

— Прошу...

Фешка, не проронив ни слова, покорно поднялась и прошла мимо него...

7

Около трех суток в предбаннике близнецов Куликовых гнали самогонку. День и ночь дымил там и булькал сложный самогонный агрегат. Бродила в огромных бочках густая хмельная брага. От этой браги пьянели даже куликовские коровы. Слоняясь по деннику и пошатываясь на неверных ногах, они пялили огромные, налившиеся слезой глаза на божий мир, тоскливо мычали и шарахались от доярок. Анисим сидел над аппаратом целые ночи, притихший и торжественный. Он сжимал мертвенно-синие губы и бесстрастным шепотом пересчитывал батареи бутылок с прозрачно-желтым первачом. А Силантий Пикулин тем временем колесил по ближайшим переселенческим хуторам и отрубам, скупая у шинкарок горькую. Зажиточные мужики Арлагуля готовились к традиционному престольному гульбищу и проводам новобранцев.

В канун отправки на станичный сборочный пункт Иннокентий Окатов появился на улице в праздничных лакированных сапогах и в новой шевиотовой поддевке. Над лакированным козырьком его касторовой фуражки пылал огромный шелковый бант. В бортовых петлицах шевиотовой поддевки полыхали острокрылые малиновые ленты. Он шел вдоль улицы с полузакрытыми глазами, заложив руки за спину, торжественный и надменный. Пышный чуб его трепетал на ветру, и хуторские девки, ахая от умиления, заглядывались на красавца. Он шел по улице так, точно боялся уронить чудом державшуюся на плечах голову, скупо отвечая на приветствия хуторян едва уловимым кивком.

Явившись в Совет, Иннокентий осторожно перешагнул порог и, не разгибаясь, как деревянный, сел рядом с подслеповатым Корнеем Селезневым. Присутствующие в Совете мужики удивленно переглянулись, засопели и, присмирев, положили на колени свои самокрутки.

Выдержав минутную паузу, Иннокентий поднялся из-за стола и, оглядевшись вокруг, вполголоса проговорил:

— Дорогие граждане хуторяне! Настал час, когда ваши дети уходят в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Это торжественная минута в нашей скоротечной жизни. А почему, вижу я, вы надулись, как барсуки, в данную минуту? Или вы не хотите идти по заветам товарища Ленина или Карла Маркса? Всем известно, что товарищ Карл Маркс говорил: «Сдавайте свои хлебные излишки на элеватор Союзхлеба сроком в двадцать четыре часа — и вы будете достойными гражданами республики!» Видите, как вас словесно предупреждал Маркс! А вот вы сопите и гнете другую линию. Вы продолжаете саботировать хлебозаготовку. Говорят, вы занимаетесь потайным размолом зерна на крупчатку. Крупчатка первого сорта идет на продажу спекулянтам. Это же известно. Куда же это ведет, граждане хуторяне?!

— А туда и ведет, куда твой родитель вывозит!— вдруг закричал сорвавшийся с места Филарет Нашатырь.

— Я извиняюсь. При чем тут мой родитель? Вы хотите сказать — мой бывший родитель?— недоуменно проговорил Иннокентий Окатов.

— Обыкновенное дело!— подтвердил Филарет Нашатырь, испугавшись собственного голоса.— Факт, что

твой батя отправил недавно на Акмолинск пять подвод потайной крупчатки.

— Позорный случай!— сказал Иннокентий с отлично разыгранным негодованием.— Да, отправил папаша обоз крупчатки. И я, узнав об этом позорном деле, заявил своему родителю: «Отныне ты враг мой, папаша!» И вам заявляю, граждане хуторяне, что я не имею больше сыновних чувств к моему бывшему бате. Уходя в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я агитирую перед вами: долой спекуляцию трудовым зерном!

— А ты бы лучше признался здесь, на миру, все ли зерно сдал государству твой родитель?— подал Иннокентию совет осмелевший пастух Егор Клюшкин.

— Факт. Сам-то много вывез?— поддержал Клюшкина Филарет Нашатырь.

— Довольно смешной и странный ваш вопрос, гражданин Клюшкин,— сказал Иннокентий.— Вы спрашиваете, все ли я вывез? А я спрошу вас теперь: что у нас с вами имеется? На какие мы с вами живем дивиденты? У вас двор, можно сказать, небом крыт, белым светом горожен, а у меня и того чище. Все вы помните мое заявление, что мне ничего не надо...

— Это факт,— подтвердил Филарет Нашатырь, только что протестовавший против речей Иннокентия.

Остальные мужики насупясь молчали.

Иннокентий, снова выдержав приличествовавшую моменту паузу, бережно сдвинул набекрень роскошную касторовую фуражку, поправил над козырьком пылающий бант и на носках, словно боясь спугнуть тишину, вышел за дверь.

8

В душных горницах куликовского дома еще с вечера собрались гости, званные на проводы Иннокентия. В превеликой тесноте разместились окатовские сородичи вокруг столов, накрытых скатертями. Вороха вареной и жареной в вольном печном жару баранины красовались на блюдах. Столы ломились от пирогов с серебристыми окунями и карасями, от нежно-розоватых груздей домашней засолки. Все было к услугам дорогих гостей, полутайно собравшихся под куликовским кровом. Море напитков и горы закусок. Пшеничные, величиной с решето, калачи и сдобные творожные шаньги. Замыслова-

тые ватрушки, густо припудренные сахарной пудрой, и маринованная, розовая, как невинный румянец степных красавиц, капуста. А капуста, как говорится,— на столе не пусто: доброму гостю в честь и чужому не жалко!

В переднем углу под тяжелым резным киотом сидел скорбный и тихий Епифан Окатов. Он смотрел сузившимися мутными глазами на крестовину оконной рамы, на которой пухлый паук яростно сучил длинными ногами. Глядя на паука, Окатов шептал что-то бескровными губами, то и дело сморкаясь в красный с белыми горошинами платок.

Было тягостно, тоскливо, душно. Продавец Аристарх Бутяшкин целый вечер танцевал с молодой женой тустеп, а потом, когда Луша, обливаясь потом, вырвалась из цепких рук мужа и бессильно опустилась на софу, Аристарх развернул дорогую гармонь и завел песню:

Поднялись над степями туманы,
В чистом поле белым-то бело.

Гости дружно подхватили:

Ах, куда вы ушли, атаманы?
Диким ветром ваш след замело.
Порастеряны сабли и плети,
Ни чубов на башках, ни погон,
Доживаем денечки на свете,
Допиваем шальной самогон!
Пики ржавые. Повод обрезан:
Не свернешь на обратную путь.
За пропавшую жизнь обрезом
Голосуй в ненавистную грудь!

Епифан Окатов, слушая эту песню, беспрестанно тер красным платком горевшие от скрытых слез глаза. Изредка исподлобья он поглядывал на самозабвенно поющих гостей. Как ни скрывал он своей скорби, обиды и гнева, но многие в этом доме чувствовали и понимали его состояние.

И в тот момент, когда Силантий Пикулин откупорил новую бутыль самогонки, в горницу ввалилась вслед за Иннокентием толпа мужиков, бывших окатовских батраков, однолошадников,— людей, которых не баловала жизнь ни достатком, ни обилием, для которых она была такой скупой на маленькие мужичьи радости.

— Шире двери! Принимайте дорогих гостей!— крикнул, словно отдавая команду, Иннокентий.

Мужики толпились за широкой спиной Иннокентия. Они громко крякали, теребили бороды и завистливо косились на столы с ворохами баранины, с колоннами самогонных четвертей и соблазнительным блеском дорогих, расписанных розами тарелок.

— Прошу не сумлеваться, граждане мужики. Будьте у нас дорогими гостями. Разделите с нами нашу хлеб-соль,— суетясь вокруг непрошеных гостей, приглашал их к столам Силантий Пикулин.

После некоторого замешательства первым подошел к столу Капитон Норкин. Быстро сорвав с головы свой жалкий картузишко, он повернулся к мужикам, столпившимся у порога, и, низко поклонившись им, запросто сказал:

— Не робей, мужики. Проходи к столам. Потчуйся даровыми харчами. Угощайся...

Филарет Нашатырь рысцой пробежал от порога вперед и присел на краешек скамьи за столом, рядом с хозяином — Ефимом Куликовым.

Иннокентий Окатов хлопотливо метался по горнице, принимая от пухлой куликовской снохи табуретки и венские стулья и услужливо подсовывая их мужикам.

— Сделайте честь столу. Отведайте наших кушаньев. Не обессудьте...

Когда гости были уже за столом, присутствующие обратили внимание на стоявшего в дверях пастуха Клюшкина. Непринужденно притулясь к косяку, он наблюдал за всеми. Иннокентий Окатов, заметив его недобрый, иронический взгляд, суетливо закружился вокруг него, приглашая к столу:

— Милости просим, гражданин Клюшкин. Не ломайте, ради бога, стола. За вами, можно сказать, все дело...— подобострастно извиваясь перед Егором, говорил Иннокентий.

Егор, выслушав его, заломил на затылок дырявую соломенную шляпу и, ни слова не вымолвив в ответ, решительно повернулся и вышел, резко хлопнув за собой дверью.

Иннокентий обескураженно махнул рукой и, вырвав из рук Аристарха Бутяшкина гармонь, огласил горницу замысловатой и озорной игрой.

Иннокентий не расставался весь вечер со стобасовой гармонью. Он залпом выпивал стакан водки и, не закусывая, продолжал самозабвенно и яростно рвать мали-

новые мехи гармони. Баб словно ветром срывало с мест. Все смешалось в чудовищном вертепе вспыхнувшей, как пожар, всеобщей бешеной пляски. Подобно стае вспугнутых выстрелом голубей, заметались, запорхали по жаркой горнице батистовые и шелковые платочки баб. В дробную иноходь бросились мужики, отбивая такт коваными подборами шагреневых и хромовых сапог. Один, путаясь в красочном, как павлиний хвост, бабьем подоле, отрывал замысловатые колена вприсядку. Другой обхаживал разомлевшую в пляске хуторскую красавицу, тропотя на одних носках. Третий работал, упав брюхом на пол, одними локтями.

И только Епифан Окатов, который тоже был в крепком хмелю, сторонился этой сатанинской пляски, смотря на все отчужденными, злыми глазами. Босой, в ситцевой рубахе, сидел он в углу на старинной цветной софе в обнимку с Капитоном и грозно кричал, потрясая посохом:

— Гражданин Норкин, скажите им, чем вас обидел когда-нибудь Епифан Окатов?!

Капитон Норкин бессмысленно улыбался, пялил зеленые глаза на потолок и глухо бубнил:

— Меня никто в жизни не обижает.

— Вот это библейский ответ. Стало быть, ты настоящий пророк, гражданин Норкин!— провозглашал Епифан Окатов, цепко удерживая за плечи порывавшегося уйти Капитона.

Осмелевший от хмеля бедный мужичонка Проня Скориков загнал окатовского родича, зажиточного мужика с больными глазами, которого все звали трахомный Анисим, за посудный шкаф и, занося над ним пудовый кулак, говорил с презрительным спокойствием:

— Я тебя, суку, ненавижу, Анисим. Я тебя могу убить.

— За что же ты меня можешь убить, Проня?— умоляюще глядя в багровое лицо Скорикова, сразу протрезвев, спрашивал Анисим.

— А за то самое, что я тебя ненавижу.

— За что же ты меня ненавидишь, Прокопий?

А спустя пять минут Проня Скориков уже сидел рядом с Филаретом Нашатырем и ревел во всю глотку какую-то песню.

К рассвету в опустевшей горнице остались только Иннокентий Окатов и милиционер Серафим Левкин.

На столах валялись мертвенно-синие четверти и бутыли. Знаменитая калоша Епифана Окатова стояла на блюде, залитом пивом. Трахомный Анисим спал в обнимку с Ефимом Куликовым под столом. Ненастное утро скупо светилось в окнах.

9

После того как агитпроп Коркин бесцеременно лишил Фешку ее комсомольского билета, она дважды наведывалась в райком. Она хотела решительно поговорить с Коркиным. Но в первый день он, просидев на бюро, незаметно исчез из райкома, а на второй день, случайно столкнувшись с Фешкой в коридоре, раздраженно огрызнулся:

— Что ты, девушка, пристала ко мне? Тебе что, комсомол — игрушка? Пора бы знать, что такое союзная дисциплина, барышня!

Фешка опять стояла перед Коркиным пришибленная и немая. Она хотела от чистого сердца поведать агитпропу и о себе, и о Романе, и об Иннокентии. Все продумала Фешка и все могла бы рассказать по порядку. Но, встретившись с Коркиным, она вдруг утратила решимость и дар слова. Смотря на строгий профиль самодовольного и франтоватого парня печальными черными глазами, она отчетливо поняла теперь, что никогда не поймет ее этот бесконечно чужой для нее человек. А почувствовав это, она резко повернулась к нему спиной и вышла из райкома на улицу.

И вот опять, как в то ненастное утро на хуторе, вновь бежала она, закусив нижнюю губу, по широкой улице районного центра, плохо соображая, зачем и куда бежит. Сердце ее сжалось в комок. «Ну и черт с тобой, с дураком!»— подумала Фешка об агитпропе и тотчас же забыла о нем. Но вдруг она вспомнила о Романе, и у нее посветлело на душе. Случайное воспоминание о Романе сразу окрылило ее, наполнило новой и светлой верой в себя, в будущее. Што ж! В конце концов не навсегда же покинул Роман родной хутор. Фешка знала, как горячо любил он глухое родное селение. Вернется Роман с далекого Турксиба, и она расскажет ему все начистую. Он ее выслушает и поймет. Стало быть, и с комсомольским билетом, вырванным грубой рукой Коркина из самого ее сердца, еще не все потеряно.

— Ах, дурак, дурак!— проговорила вслух Фешка, снова вспомнив о Коркине. Затем, в последний раз оглянувшись на голубой дом райкома, она уже спокойнее и увереннее зашагала по широкой пыльной дороге вслед за караваном уходящих в степную даль телефонных столбов.

Фешка шла на железнодорожную станцию, однажды виденную ею еще в детстве. В ее памяти станция выглядела красивой и опрятной, с аккуратными желтыми домиками и кустами красиво подстриженных акаций. И ей почему-то казалось, что именно там найдет она желанный приют, работу и кусок хлеба. Ей было все равно куда идти, но только не назад, только не на хутор!

...Станционное село, утопающее в зелени, и в самом деле выглядело очень уютно. По улицам сновали грузовые автомобили, гремели фургоны, бойко перекликались на железнодорожной линии паровозы. Фешке все казалось здесь новым и приветливым. Она шла по улице, перечитывала яркие вывески, с детским любопытством вслушивалась в оживленный шум большого населенного пункта.

— Не зевай, не зевай, поберегись, девушка!— гаркнул близко чей-то высокий и резкий голос.

Оглянувшись, Фешка увидела двух рослых парней и девушку в кожаной куртке. «Куртка точь-в-точь, как у Романа!»— с грустью подумала Фешка.

Парни несли на плечах железную балку. Девушка, поравнявшись с Фешкой, мимоходом спросила ее:

— Ты, случайно, не в совхоз, товарищ?

— Чего?— откликнулась, не поняв вопроса, Фешка.

— Не в совхоз, спрашиваю? Что-то уж больно неуверенно смотришь по сторонам. Вот я и подумала: может, бродит тут девушка в поисках нашего совхоза. К нам много народу идет сейчас из окрестных сел на работу,— приветливо улыбаясь, сказала незнакомая девушка.

— Ну да, ну да! Я хочу на работу. Мне надо. Мне очень и очень надо найти работу...— взволнованно проговорила Фешка.

— Тогда марш за нами. Мы доведем,— сказала незнакомка.

Фешка шла и со все возрастающим любопытством озиралась по сторонам. Вот ее внимание привлекла шеренга

доселе не виданных машин, похожих на автомобили. И незнакомая подружка, поймав ее недоуменный взгляд, тотчас же пояснила:

— А это новая партия тракторов. Мы только что вчера сгрузили их с платформ. Все это тракторы нашего совхоза.

Тракторы! Фешка слышала об этих чудесных машинах, но никогда не видела их. И вот теперь она с полуоткрытым ртом наивного, изумленного ребенка разглядывала диковинные машины.

— А ты что, здесь работаешь?— робко спросила она спутницу.

— Ну да, здесь, в совхозе. Я трактористка!— не без гордости ответила незнакомка.

— А-а-а...— протянула нараспев Фешка, плохо еще веря в то, что рядом с ней идет настоящая трактористка. Нечаянно споткнувшись о валявшуюся под ногами какую-то металлическую деталь, Фешка припомнила рассказ Романа о коммуне «Ильич», получившей трактор от государства.

— Трактористка! Неужели ты трактористка?!— недоверчиво спросила Фешка.

— Ну конечно, трактористка. Вот тебе и на. Еще не верит.

— Нет, почему же, я верю...

— А если веришь, то пойдем со мной в рабочком. Там поговорим о твоей работе...— сказала незнакомка, увлекая за собой Фешку в небольшой, наскоро собранный из необструганных бревен домик.

Они вошли в маленькую квадратную комнатку; стены, оклеенные желтой оберточной бумагой, делали ее похожей на большую картонную коробку. Около некрашеного, наскоро сколоченного стола толпились парни и девушки в замасленных комбинезонах. Молодежь, поговорив о чем-то с рослым огненно-рыжим парнем, который, как видно, был здесь начальником, тотчас же гурьбой вывалила за двери. Фешка и незнакомка остались наедине с огненно-рыжим парнем, который назвался председателем сельрабочкома Уваром Канахиным. С трудом подавив охватившее ее волнение, Фешка рассказала ему о хуторе Арлагуль, о Епифане Окатове, о Романе Карголове и о своем отобранном в райкоме комсомольском билете...

Увар Канахин, внимательно выслушав Фешку, сказал, приветливо улыбаясь:

— Ну-с, точка. Все ясно. Определим тебя пока на пятую экономию. Там у нас на днях начинается зяблевая вспашка. Поработаешь около кухни, поварихой, а там будет видно. Может быть, прицепом заинтересуешься. А быть может, в будущем, девка, станешь мировой нашей трактористкой.

— Ну уж сразу и трактористкой!..— зардевшись как маков цвет, смущенно пробормотала Фешка.

— А что ты думаешь? Кто умеет, это у нас недолго!— заверил Увар Канахин, протягивая ей четвертушку бумаги, на которой он успел что-то написать своим стремительным, размашистым почерком.

— Вот, получай-ка эту путевку и дуй с ней к месту назначения. Впрочем, я тебя сам провожу. Пошли!— сказал он, тронув Фешку за локоть.

В тот же день к вечеру Фешке выдали из склада зерносовхоза новое «обмундирование»: приятно поскрипывающие сапоги, грубошерстную суконную юбку и не по росту широкий и длиннополый парусиновый пиджак. Затем Увар Канахин усадил ее в кузов полуторки, и Фешка выехала на пятую экономию зерносовхоза.

Стоял погожий летний вечер со всей неувядаемой прелестью его красок и запахов. Фешка сидела в кузове грузовика и смотрела черными, полными тепла и света глазами на порозовевшие от заката окрестные озера, на дремавших по вершинам придорожных курганов беркутов, и весь сегодняшний день казался ей в эту минуту каким-то запутанным сновидением.

10

Тревожное лето выдалось для Луки Лукича Боброва. Беспокойные, полные тяжких забот, непредвиденных бед и горьких обид летние дни томили его и своей тишиной, и ослепительно-ярким светом. Никогда прежде не знавший ни страха, ни сомнений, стал бояться Лука Лукич подчас того, на что в былую пору не обращал никакого внимания.

Он страшился неторных степных проселков, заросших дремучими камышами займищ, древних часовен на перекрестках дорог, полуразрушенных мавзолеев на могилах кочевников.

В канун троицы в мглисто-багровый перед ночным ураганом вечер вышел слегка захмелевший Лука Лукич из своего просторного, всегда тихого дома в глухой, давно одичавший сад. На душе у него от трех рюмок вишневой настойки было необыкновенно тепло и дремотно. Присев на полусгнившую скамейку под сенью молодой белостволой березы, он прислушивался к странному, неясному шуму. Подняв вверх голову, увидел он кружившегося над садом ворона. Огромная траурно-черная птица молча парила над пышными кронами тополей и берез, опускаясь все ниже и ниже. И Лука Лукич, не отрывая от птицы расширившихся от беспричинного страха глаз, вдруг оробел, внутренне сжался. Холодный пот выступил на выпуклом лбу Луки Лукича, когда над его головой раздались глухие, похожие на заклинания, гортанные крики ворона.

— Кыш, проклятый!— закричал не своим голосом Бобров. Насмерть перепуганный, он бросился со всех ног в дом и с лихорадочной поспешностью запер на все засовы дверь. Затворившись затем в душной, пропахшей кожей и ворванью спальне, он провел эту памятную ночь в мучительной бессоннице и в злобной, требовательной молитве.

Побледневший, с холодным потом на лбу стоял он на коленях перед сумрачным, скупо озаренным лампадой кпотом, прося бога оградить его дом от лихих бед и потрясений.

А за окнами старинного, в лапу срубленного из вековой лиственницы дома всю ночь напролет ревел невесть откуда сорвавшийся ураган. Зловеще и грозно выло в печных трубах. По крыше, словно перекатывались вприпрыжку чугунные ядра, глухо грохотали сорванные шквальным ветром железные листы кровли. С треском ломались вершины тополей, с глухим, тяжким гулом падали наземь вырванные с корнем березы.

Чудовищный ураган затих так же внезапно, как и разыгрался. Постаревший за одну ночь на добрый десяток лет, пожелтевший, осунувшийся Лука Лукич вышел из дому и ахнул при виде жестоко покореженного бурей сада. Глядя угрюмым, отчужденно-холодным взглядом на вырванные с корнем, плашмя упавшие на землю тополи и березы, на растерзанные кусты сирени и акации, Лука Лукич с обреченной горечью думал: «Вот так, придет час, суждено и мне грохнуть на землю. И все тогда пой-

дет прахом. И дом — полная чаша. И степные мои заимки. И амбары с пшеницей. И табачные плантации — золотая валюта, и ни к чему будут мне три с половиной тысячи золотых червонцев, зарытых про черный день в подполье!»

Да, Луке Лукичу не везло! Беды шли толпами, обиды и горечи — табунами. Словно по сговору, одновременно сдохли два рысака, не раз бравшие призы на областных и краевых ипподромах. А спустя день Луке Лукичу донесли о нападении волков на его двухтысячную отару овец, о потраве хлебов на дальних участках, о двадцати пяти десятинах выбитой градом высокосортной, сулившей высокие урожаи пшеницы.

Так вот все и пошло — одно к одному. Ослабла вдруг, сдала былая звериная воля Боброва, опустились его непраздные, цепкие, как железные клещи, руки после пережитых потрясений в ураганную ночь. Нет, не спорилась в этом году у Боброва жизнь, не клеилось, на ладилось дело в хозяйстве. В голый убыток ввел его нынче и высокосортный табак, взращенный на плантациях, не выдержал табак экспортной марки, и пришлось сплавить его перекупщикам за полцены. Вырвали немало денег для прибавки к зарплате постоянные его батраки и поденщики, забастовавшие в самый разгар полевых работ. Вчетверо больше прежнего обложил его райфинотдел подоходным налогом. И Лука Лукич понял, что для него наступила пора трудная: на былые поблажки от местной власти теперь уже не приходится рассчитывать. И потому нередко в отчаянии думал: «А не махнуть ли мне все к чертовой матери с молотка за полцены да не податься ли с припрятанным золотишком туда, поближе к китайской границе? Чем я хуже степных князьков и баев? Удалось же уйти от репрессий некоторым этим пройдохам в дни ликвидации байства в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Не один из моих дружков-тамыров благополучно миновал границу и зажил припеваючи где-то вблизи китайско-уйгурского города Урумчи. Да и перебрались-то они не в одиночку, а всем аюром — с гуртами рогатого скота, с конскими косяками. Почему бы и мне не попытать на старости лет счастья там — на чужой стороне, под чужим азиатским небом?!»

Но подумав так, Лука Лукич тотчас же упрекал себя в слабодумии и безволии. Страсть к обогащению, звериная жажда наживы вновь овладевала всем его существом,

подавляла минутную душевную слабость. И он, охваченный новым приступом бешенства и черной ненависти к своим притеснителям — представителям новой, крепко, видать, вставшей на ноги власти, мысленно клялся: не отступать, не сдаваться, не просить милости у властей!

Лука Лукич не слезал теперь целыми днями с шустрого гнедого полукровка, летая как угорелый из одного владения в другое. С табачной плантации — на зерновые массивы. С пашен — на отгонные пастбища отар. От отар — в конские табуны. С конских выпасов — на паровую мельницу. С мельницы — на заимку. Но, крутясь днем и ночью в степи, зачастую забывая о сне и еде, все больше и больше ожесточаясь против нерадивых батраков и малоретивых поденщиков, не находил уже Лука Лукич в этом активном деянии былого душевного удовольствия. И чувство отрешенности, неизбежного крушения всех замыслов и чаяний не только не шло на убыль, а наоборот, с каждым днем, с каждым часом обострялось.

Проверив пасущихся лошадей, косяки которых выгуливались на подножном корму, побывав на пашне и у пастухов овечьих отар, заглядывал Лука Лукич на заимку, расположенную в тридцати верстах от станицы. Появлялся он там поздно вечером, а то и глухой ночью. Не спешиваясь с коня, он стучал плетью в дверь войлочной казахской юрты и каждый раз вел один и тот же разговор со своей не по годам рыхлой и вечно сонной дочкой-разженкой:

— Марфа!

— Ау...— сонно откликалась дочь.

— С кем нынче спишь?

— Обратно с Ефимом.

— Масло сбито?

— Сбито, тятенька.

— Ну, спи. Христос с тобой, дура! Только, смотри, недоноска не выспи!— наставлял свое чадо мрачно подшучивавший родитель и, пришпорив подборами коня, скакал прочь от юрты в ночную мглу, в станицу.

Однако как ни изворачивался верткий, словно черт, Лука Лукич, забывая о сне, о лакомом куске, о чарке вишневой настойки, а ни его присутствие на табачных плантациях, ни частые набеги на пашни и выпасы — ничто уже не могло сохранить строгий и ладный порядок, который прежде царил в его хозяйстве.

А ведь раньше, бывало, и пировал Лука Лукич в эту

жаркую пору не менее, чем зимой на святках или на масленице, и по ярмаркам шлялся вволю, и месяцами не показывался батракам и поденщикам. Но дело шло своим чередом. Вовремя поливались и пасынковались табаки, бесперебойно и весело постукивала жерновами паровая мельница. На славу плодились и множились овечьи отары и конские табуны. А в доме, дремотном от изобилия, кротко мигала и тлела неугасимая лампада перед иконой древнего суздальского письма. Прочно установившийся запах воска, кожи, лампадного масла умиротворяюще действовал на Луку Лукича в часы короткого отдыха после беспокойных верховых скитаний. Да, добросовестно батрачила на него фартовая жизнь, предугадывая самые сокровенные замыслы и надежды! В ту пору он верил покойной матушке, некогда утверждавшей, что она родила сынка «в рубашке» и что жизнь ни в чем не обидит, не обделит его...

Да всему, видно, выписан свой срок на роду! Скорее не разумом, а чутьем вдруг понял Бобров, что недалек конец былому благополучию. Исподволь, но все крепче и крепче стали поджимать его налогами. Он платил исправно. Приобрел государственных займов тысяч на десять. Но от новых бед и напастей все же не откупился. Нагрянуло в начале весны в райцентр грозное краевое начальство и сразу же подрезало крылышки Луке Лукичу, лишив его ста десятин отменной земли, арендованной у соседних аулов. С этой превосходной земли снял он всего один урожай. И было о чем скорбеть Боброву, когда он узнал, что вся эта земля отошла к создававшемуся зерновому совхозу.

Попытался Лука Лукич сделать ход конем. Навестив землеустроительную партию, работавшую на разбивке земельных участков будущего зерносовхоза, Бобров решил взять быка за рога. Оставшись с главным землеустроителем наедине, он без обиняков завел такой разговор:

— Напрасно меня обижаете, дорогой гражданин землемер. Не заслужил я такой обиды.

— Чем же я обидел вас?

— Земли — золотого дна — лишили.

— Вы об участке, прирезанном зерносовхозу?

— Так точно.

— Так это же земля не ваша.

— Я ее обрабатывал. Двух урожаев не снял. Потрудитесь оставить за мной. В долгу не буду...

— Позвольте, я не совсем понимаю вас,— признался начальник землеустроительной партии. Он и в самом деле не понимал, к чему клонил этот мужик в широкополой войлочной шляпе.

— Все, по-моему, ясно как божий день. Деньги на бочку — и делу конец,— сказал Лука Лукич, извлекая из-за пазухи потертый, туго набитый кожаный бумажник. Но, заметив гнев на лице землеустроителя, он на секунду опешил и, придерживая рукой полуоткрытый бумажник, спросил:— Тысячи хватит? Аль маловато? Да вы не тушуйтесь. Мы же с вами — один на один. Без свидетелей. Ежели маловато, полтыщи еще прикину. Я не из скупых. Не еврей. Православный человек. Душа нараспашку!

Смолоду приученный покойным родителем, крупным скотопромышленником, легко покупать за деньги нужных людей — от полударовых батраков до дорогих уездных и губернских начальников,— Лука Лукич был обескуражен неожиданной реакцией, которую вызвала у землеустроителя бесцеремонно предложенная взятка.

Землеустроитель побледнел и не в силах был вымолвить слова. Наконец, собравшись с духом, он с такой яростью рванул взяткодателя за борт потертой кожаной куртки, что вырвал с мясом две медные пуговицы.

Лука Лукич потом не мог припомнить, при каких обстоятельствах оказался он за дверью.

Попытка купить землеустроителя окончилась крахом. Но после этого скандального случая Бобров твердо решил постоять за себя, а если и придется ему уйти, то с таким грохотом на прощание хлопнуть дверью, чтобы многие не забыли об этом долгие годы...

11

В канун встречи с Алексеем Татарниковым, о котором Бобров немало уже успел вызнать и сближения с которым искал давно, выехал он на степную заимку.

Было жарко. Томилась распятая под знойным небом степь. Тихо звенели на ветру мечи прибрежной озерной осоки. В голубом небесном огне плавились редкие невесомые облака. Сонно кружились над степью беркуты.

Мерно покачиваясь в казачьем седле в такт четкой

иноходи гнедого, Лука Лукич хищно поглядывал на позолотевшие волны спелой пшеницы, на гарцевавшие вдали конские косяки, на пасшиеся по увалам овечьи отары.

Охмелевший от бражных ароматов табачной плантации и медовых запахов степного разнотравья, Лука Лукич был настроен на грустный лад. Смежив лиловые веки, он отдался беспокойным думам о диковато-яркой красоте непокорной девятнадцатилетней поденщицы Любки.

Не впервые влекла его к себе нездешней, бросавшей в оторопь красотой эта, прибившаяся к поденщикам с дальнего хутора, молчаливая, безответная в работе девка. В строгом, смуглом, не совсем русском лице ее, как и во всей гибкой фигуре с приподнятыми под ситцевой кофточкой маленькими грудями, было что-то полудикое, властное, что и смущало людей, и влекло к ней с необоримой силой.

Поражала всех в Любке и трогательная ее опрятность. Работая от зари до зари на бобровских плантациях, задыхаясь в угарном табачном чаду, Любка всегда выглядела в красной с белыми крапинками ситцевой кофточке, в бордовой с оборками юбке праздничной и нарядной. И подружки, товарки по поденным работам, втайне любуясь ею, завидовали ее красоте и опрятности.

Любка чуралась девичьей дружбы. Работая на табачных плантациях, она старалась держаться поближе к ребятам и мужикам, и те охотно принимали ее в свои бригады.

Работница, правда, из Любки была не ахти какая. Но молодые парни и пожилые мужики любили ее за доброту, отзывчивость, а главное, за удивительно чистый, как родниковый ручей, прозрачный, серебряный голос.

По вечерам на полевом таборе поденщиков, когда пахло от соседнего озера камышом и птицей и замирал на плесе страстный гагарий шум, Любка присаживалась с девушками к костру, заводила хоровую протяжную песню. Чуть склонив набок непокрытую темноволосую голову, полуприкрыв позолотевшие от костра глаза, запевала она негромким грудным голосом любимую песню:

Я у матушки выросла в холе,
Не видала кручинушки злой,
Да счастливой девической доле
Позавидовал недруг людской!

И за трепетно-светлым голосом Любки высоко поднималась над степью стайка таких же светлых и трепетных девичьих голосов. И песня, с лету подхваченная трубными мужицкими голосами и юношескими подголосками, разливалась в вечернем степном просторе широкой вольной рекой:

Речи сладкие он мне лукавил
И нашептывал ночью и днем.
Мне наскучили игры-забавы,
Мне наскучил родительский дом.

Озаренная неяркими отблесками медленно угасающего костра, самозабвенно поющая Любка казалась еще более чистой, тревожно-похорошевшей. С особенной страстью и силой звучал ее голос в конце этой похожей на невинную девичью исповедь песни:

По ночам я вставала с постели
И, босая, всю ночь напролет
У окна дожидалась кого-то,
Все казалось, что кто-то идет...

А позднее, ближе к полуночи, когда у костров оставались одни мужики и парни, Любка, притворившись в своем шалаше спящей, любила послушать, что они болтали между собой.

Первую скрипку во всех этих побасках и россказнях играл Тимка Ситохин. Невзрачный, вечно страдающий животом и икотой линейный казачишка слыл среди поденщиков краснобаем, хвастуном, умелым на вымыслы рассказчиком. Сочинял Тимка свои рассказы с ходу, выдавая их за сущую правду. И, рассказывая, сам глубоко верил в то, что лихо плел. Других он слушал с полубрезгливой улыбкой, подчеркивая свое превосходство над рассказчиком, и, не вытерпев, зачастую перебивал его на полуслове:

— Стоп! Хватит абы что буровить. Ты послушай-ка лучше, как я сейчас одну свою любовную биографию расшифрую.

И малоопытные рассказчики, в смущении умолкнув, уступали Тимке дорогу. А он, возбужденно ерзая на месте, поминутно встряхиваясь, как птица, бойко начинал с места в карьер:

— Был я, братцы, в городе Фергане. И вот, послушайте, какая у меня астролябия с одной там кралей вы-

шла. Все сущая быль. Клянусь богом и честью. Не верите?

— Валяй мели. Там видно будет...— подбадривали его слушатели.

— Тогда — смирно. Руки по швам. Слушай дальше мою команду... Дело это было давно, если не соврать, в тыща девятьсот двенадцатом году. Нет. Нет, извиняйте, в тринадцатом. На четвертом году моей действительной службы в Четвертом Сибирском казачьем полку. В ноябре месяце. Находился я в ту пору при нашем полковом лазарете письмоводителем. Вот была должность — нисколько не хуже губернаторской. Почерк у меня был — чистая живопись. Так, бывало, истории болезни в журнале распишу, сам не налюбуюсь. Особенно силен я был в заглавных буквах. Я их, как гербы с вензелями, разукрашивал. Ну да ладно, дело тут не в заглавных буквах. Тут другая история. Я вам сейчас про главную нашу госпитальную докторицу расскажу. Поняли али тупо?

— Давай, давай говори. Не томи, Тима,— торопили нетерпеливые слушатели.

— Так вот, слушайте. Служба была у меня — куды с добром! С канцелярией я разделывался под орех в полчаса. На харч обижаться было нельзя. Деньжонки при мне не переводились. Урюк — три копейки фунт. Я его, язви те, пудами кушал!

— Ну это ты врешь, Тимка. Пуда этой фрукты не сожрать,— возразил долговязый, нескладный парень.

— Тебе не скушать, а я наторел... Ну черт его бей, этот самый урюк. Не в нем ишо тут дело... Слушайте, какую теорему я тут вам дальше докажу,— продолжал Тимка, щурясь от удовольствия.— Так вот, жил я кум королю, свояк министру! Карманные именные часы имел. Фирма «Павел Буре». На двадцати четырех камнях. С месячным заводом. И весом — полфунта. Мне эти часы, бывали случаи, за холодное оружие при самообороне сходили. Брякнул я ими как-то по лбу полкового каптенармуса Никудыкина. И што бы вы думали? Он только через два дня в полковом лазарете в сознание пришел, а дар речи вернулся к нему через неделю.

— Вот это механизма была!— сказал с восторгом какой-то парень.

— Каптенармуса Никудыкина я знавал. Гнида была! Правильно сделал, Тимка, что часами его изувечил,— по-

хвалил рассказчика Корней Чепрунов, саженного роста казачина, однослуживец Тимки.

— Хватит про каптенармусов буровить. Ты давай про главную докторицу,— донимали Тимку слушатели.

— Ладно, ладно. Теперь про главную докторицу,— заговорил, оживляясь, рассказчик.— Вот дама была! Не дама — чистая фисгармония! Это я к тому, что пела она на разные голоса в Офицерском собрании. То самым тонюсеньким дискантом. То — как труба в полковом оркестре — басом. А из себя была справная. С лица — воду пей. Красивше ее я только во сне один раз бабу видел. Не дама была — картина в масляных красках! Там, язви те, все ротные фершала на нее любовались. К ней даже сам командир полка, их высокоблагородие полковник Стрепетов, не один раз подъезжал. Да и тот на бобах остался. В дураках. В отставку вышел. Ясно?

— Как божий день!

— Ну вот. Сидел я раз в полковом лазарете. Умственной деятельностью занимался. Исходящие реляции нумеровал. И вдруг хвать — под руками записка! Кто ее мне подсунул — и сейчас ни сном ни духом не знаю. Развернул я эту записку — батюшки, мне! Сейчас от строки до строки наизусть все как есть помню. А пишется мне, братцы, так: «Разрешите с вами познакомиться, премногоуважаемый, распроналюбезный господин полковой письмоводитель! А если вы согласны на мое предложение, то покорнейше прошу пожаловать в восьмом часу вечера сего дня в мой собственный каменный дом на Талгарской улице номер двадцать пять на чашку чая. Я тем временем буду на самокатке вдоль арыка ездить и вас лично встречу!» Видали?!

— Ого! Вот язва!— с восхищением глядя на рассказчика большими искрящимися глазами, сказал Корней.

— И опять врешь. Бабы на самокатках сроду не ездят,— авторитетно заявил долговязый парень.

Но Тимка, увлеченный своим рассказом, не обращая никакого внимания на ехидные реплики слушателей, продолжал:

— Прочитал я записку и аж оробел. В пояснице заныло. Эх, думаю, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Рискну! Дождался вечера. В журнале входящих и исходящих бумаг все номера к чертовой матери перепутал. Мне потом взбучка от начальника канцелярии за это была. Три наряда вне очере-

ди. Картошку на кухне чистил. Ну ладно. Дождался я вечера. Выщелкнулся, понятное дело, в парадную форму. Диагоналевые шаровары с лампасами, мундир со всеми регалиями. При шашке. В белых перчатках. И так там и далее. Подбрился. Подфабрился. Оросил себя духами «Букет моей бабушки». Повернулся перед зеркалом, как полудурок, и айда на Талгарскую. Иду и вижу — правильно: жмет она на своей самокатке. Вся в шелку. На голове шляпа с дурацкими перьями.

— Известно с какими — от штрауса!— сказал Корней Чепрунов.— Я в драбантах у сотника пять лет отслужил. Знаю, какие перья полковые барыни в шляпы втыкают.

— Погоди, Корней, не мешай,— нетерпеливо оговорил его парень.

— Словом, жмет она на своей самокатке и нахально смеется. Я — оробел. Стою — ни живой ни мертвый. Луплю на нее глаза, а сам — ни тяти, ни мамы. А она, стерва, крутит вокруг меня, как на карусели, и все время твердит: «Вы, пожалуйста, не тушуйтесь. Я робких не уважаю». Ах, язви те! Раз так, я и решил идти напрямки в атаку. Сдуру возьми да и брякни ей: «Вот если бы вы, госпожа-барыня, на самокатке меня научили ездить — это да!» А она мне в ответ шьет-порет: «А вы, господин письмоводитель, пожалуйте ко мне в дом. Выпьем кофию. Попотчуемся. А к утру — видно будет. Я, вполне возможно, вам не только эту заграничную самокатку, а всю себя вместе с домом подпишу!» Поняли, куда я заехал? На какую кралю нарвался?!

— Стой, Тимка! А какой капитал у этой крали был?— хрипло закричал, точно упав с печки, заспанный мужичонка Ермил Куцый, которого во всех любовных историях интересовало только одно — состояние любовниц.

— Сорок две тыщи в банке. На тридцать две тыщи векселей. Плюс каменный дом с парадным подъездом,— ответил с притворным равнодушием Тимка.

— Не шибко богато,— разочарованно промычал Ермил, привыкший слушать в таких случаях про миллионы.

Разметавшись на узкой жесткой постели под крышей дернового шалаша, Любка чутко прислушивалась к рассказу Тимки Ситохина. Чувство стыда и жгучего любопытства томило ее и, затаив дыхание, она старалась уло-

вить каждое слово рассказчика о тайне его близости с распутно-красивой, богатой любовницей.

Однако он, как всякий опытный рассказчик, дойдя до самого интересного места, понизил голос до полушепота, и Любка, сколько ни напрягала чуткого слуха, так и не уловила последних слов Тимки, заглушенных взрывом дружного хохота слушателей...

Пела ли Любка с девчатами задушевные, то полные тревоги и грусти, то искрящиеся озорством и задором русские песни, прислушивалась ли к тайне мужичьих вымыслов о их любовных похождениях в молодости,— всегда с тревогой и болью думала о себе, о своей судьбе. Рано поняла она, какими жадными глазами смотрели на нее почти все парни и мужики, чего хотели они от нее, заводя при встречах окольные, а нередко и откровенно-бесстыжие разговоры. Рано почуяла она женским чутьем тревожную свою красоту и навсегда запомнила слова матери.

Забитая, безответная, раньше времени постаревшая от нужды и вдовьего одиночества, мать, ревниво любившая Любку, убила недолгий свой век на бесплодные мечты о богатом приданом для единственной дочери-красавицы. Неделями не отходя от корыта, перестирала она вороха чужого белья, пережала серпом тысячи десятин чужой тучной пшеницы. Не разгибая спины, работая на чужих людей, норовила она на трудовые скудные медяки купить дочери и подвенечное платье, и кашемировый полушалок, и плюшевую шубку. Отказывая себе в самом насущном, мать сумела кое-что припасти для Любки. И нередко, залюбовавшись небудничной красотой дочери, она говорила тревожившие Любку слова, смысл которых открылся для нее не сразу. «Хороша! Беда как хороша, цветок ты лазоревый мой!— говорила мать.— Да только смотри не продешеви своей красоты, доченька, когда придет твой час, твое время».

И вот время это приблизилось. Оно, кажется, наступило. И то, о чем говорила мать, только теперь обретало для дочери строгий смысл и вещую значимость. Зная цену себе, хорошо понимая, сколько ловких и сильных охотников воровски, как сайгу, стерегут ее в степи, среди березовых перелесков, в хуторских переулках, на пустынных дорогах, Любка смертельно боялась одного: как бы с ней не случилось того, в чем предостерегала ее по-

койная мать, как бы и в самом деле не загубить своей красоты, случайно попав в нелюбимые руки.

Лежа в душные летние ночи в шалаше, отдавшись тревожным думам о своей судьбе, Любка пробовала даже молиться. Но молилась она хоть и искренне, да бестолково, то прося страстным шепотом бога оградить ее от замужества, то, наоборот, выражала в этих горячих молитвах всю жаркую жажду сближения с тем, кого она, как временами казалось ей, столь пылко любила.

Однако как ни пыталась представить Любка этого человека, образ его не возникал в ее воображении! А между тем она ждала его нетерпеливо, как ждала в любимой песне близкая ей по судьбе, по душевному складу девушка, выросшая у матушки в холе. Она ждала его даже там, на затерянном хуторишке Белоградовском, где зимой от зари до зари бушевали метели, а летом царила такая глушь, томило душу такое запустение, что даже теперь, вспоминая, Любка готова была разрыдаться от жалости к себе...

Появившись нынешним летом на табачных плантациях Луки Боброва, Любка сразу привлекла к себе внимание всех старых и молодых поденщиков. Но она довольно равнодушно относилась к этому. И только пристальные приглядки Луки Лукича, который все чаще и чаще заговаривал с ней при появлении на плантациях, сначала несколько удивили, а затем встревожили и насторожили. Она поняла, как будет трудно ей устоять перед властной и жестокой волей этого угрюмого, неробкого в любых делах человека.

Преследуемая загоравшимся при встрече с ней взглядом Боброва, Любка, оробев, собралась тайком покинуть плантацию. Но потом, когда о явных умыслах и намерениях хозяина вслух заговорили все поденщики, когда над Любкой стали подтрунивать парни, пророча ее неизбежное падение, когда заметно стали сторониться ее девки,— с этой поры Любка все настойчивее стала убеждать себя в том, что и она сильна и властна не меньше своего хозяина и что не так-то легко и просто дастся она ему, как он, должно быть, предполагает!

Во время мимолетных встреч с ним, которые происходили обычно на людях, Любка, открыто глядя в темные, глубоко запавшие глаза Луки, мысленно рассуждала: «Ну и что ж! А вот захочу и подчиню себе этого никому,

говорят, не покорного человека. Войду в его дом на правах хозяйки и переверну все вверх тормашками!»

Тщеславные мысли все чаще возникали в ее голове, и Любка, ощущая избыток озорства и молодости, готова была в эти минуты выйти с гордо поднятой головой навстречу Луке Лукичу и сказать:

— Вот она я. Вся здесь. Без утайки. Без обмана. Хороша? Бери меня, коли по вкусу!

Однажды в сумерках, когда Любка возвращалась с озера после купанья в розовой от заката воде, Лука Лукич неожиданно настиг ее около березовой рощицы на пути к полевому табору поденщиков. Вынырнув из гущи берез на гнедом иноходце, он молодцевато спешился на ходу с коня и преградил Любке дорогу.

Погруженная в сокровенные мысли, Любка не сразу узнала точно из-под земли выросшего перед ней хозяина. Невольно дрогнув, она отступила на полушаг, но затем, внутренне собравшись, выпрямилась перед хозяином и замерла, вольно сложив за спиной гибкие смуглые руки.

— Здравствуй, красавица!— глухо, почти полушепотом, сказал Лука Лукич, несмело протягивая ей свою тяжелую руку.

— Здравствуйте,— сухо ответила Любка, не приняв это рукопожатие.

Наступило неловкое молчание. Бобров волновался.

Любка, чувствуя это, спросила его с плохо прикрытой издевкой:

— За вами, кажись, гнались?

— Помилуй бог. Я не конокрад. Наоборот, мне приходится всю жизнь других догонять, за фартом гоняться...

— Ну и как — ловите?

— Всяко приходится... Такую вот шуструю птицу, как ты, не скоро догонишь...— сказал Лука Лукич и хотел было прикоснуться рукой к ее смуглому обнаженному плечу с жемчужными каплями не высохшей после купанья воды.

Но Любка, поведя плечом, устранилась. И Лука Лукич безвольно опустил руку.

— Иноходца не загоните. Он у вас в мыле,— сказала с усмешкой Любка.

— Ради тебя и загнать не жалко,— сказал Лука Лукич.

А Любка, кокетливо покачиваясь на невысоких каблучках грубых растоптанных башмаков, спросила:

— А по полтине поденщикам на день к субботе прикинете?

— Я же прикинул на прошлой неделе по четвертаку.

— То на прошлой неделе, а то теперь. И потом, что четвертак? Мы, я думаю, подороже стоим,— с многозначительной улыбкой сказала Любка.

— Кто это — мы? Ты — это да. С тобой бы я торговаться не стал. А про остальных не нам с тобой говорить!

— Нет, давайте сначала насчет всех дотолкуемся. А обо мне — разговор особый,— сказала Любка.

Лука Лукич, поняв ее слова как намек на возможную ее уступчивость, оживился, волнение вновь охватило его. И, переходя на заговорщицкий полушепот, он сказал, горячо дыхнув в ухо Любке:

— Ладно. Ладно. Говори, сказывай, что еще нужно.

— Так я же сказала. Прибавку. По полтиннику на день. Не меньше,— твердо отрубила Любка.

— По полтиннику не могу. Видит бог, многовато, сударыня,— не то в шутку, не то всерьез сказал Лука Лукич.

— Дело хозяйское. Так я народу и доложу,— сказала с притворным равнодушием Любка и сделала попытку обойти хозяина, стоявшего на дороге.

Лука Лукич, разбросив руки, снова загородил ей путь.

— Ну, что еще?— угрюмо, почти озлобленно спросила Любка.

— Погоди. Не уходи. Послушай меня,— зашептал как в беспамятстве Лука Лукич.

— Слушаю,— глухо сказала Любка.

— Погоди. Я тебе про главное не сказал. У меня с тобой особый разговор. У меня к тебе особое дело,— продолжал бормотать Лука Лукич, мысленно ловя момент, чтобы внезапно и ловко привлечь к себе Любку.

Любка держалась настороже, внутренне готовая к сопротивлению. Внешнее ее спокойствие и непринужденность, граничащая с дерзостью, обезоружили Луку Лукича.

— Значит, в прибавке отказываете?

— Не про прибавку речь. Погоди. Сперва про тебя поговорим. Один на один. Без свидетелей,— сказал Лука Лукич, вновь вплотную приблизившись к девушке, пытаясь схватить ее поспешно спрятанную за спину смуглую руку.

— Сказывайте. Я слушаю,— все тем же глуховатым,

сводящим с ума голосом сказала Любка, устраняясь быстрым движением плеча от него.

Но утративший последнее самообладание Бобров, вдруг изловчившись, порывисто-резким движением привлек к себе упругое тело Любки, наглухо замкнув вокруг нее железное кольцо рук.

Любка, очутившись во властных объятиях Луки Лукича, быстро сообразила, что сопротивляться, бороться с ним куда рискованнее, чем притвориться податливой, хотя и не совсем готовой к уступкам, которых ждал и требовал от нее хозяин. Собранная, сжавшаяся, как тугая пружинка, она смотрела в упор немигающими, чуть прищуренными глазами в жалкое его лицо. И Лука Лукич, словно заколдованный ее неподвижным взглядом, замер, чувствуя, как земля уходит из-под его ног.

— Что, правда хороша я? Очень? Дух захватывает?

— С ума свела. Свету не вижу. Места не нахожу. Пропал я. Любезная! Фартовая ты моя!

— Правду сказываете?

— Богом клянусь. Нательным крестом. Честью! На все для тебя решусь. Ничего не пожалею. На престол, как царицу, тебя посажу. Стельную корову отдам...

— Стельной коровы мало, Лука Лукич!

— Кашемиру на платье...

— Я вишневый бархат люблю.

— И пять аршин вишневого бархату. Материя — высший сорт. Заграничная марка. Шанхайская... Меховую шубку с кенгуровым воротником к зиме с Куяндинской ярманки привезу.

— А сережки?

— И серьги. Из чистого золота. Кашмирские. Дутые. И суперик с гранатом. И браслетку с рубинами. Цены тебе нет. Изумрудинка. Птица залетная. Бедовая ты моя. Былинка!— продолжал, как в бреду, как в полузабытьи, бормотать, задыхаясь, Лука Лукич. В то мгновение, когда он, покачнувшись, потерял равновесие, девушка гибким, вольным движением с удивительной ловкостью выскользнула из его безвольно разомкнувшихся рук и в мгновение ока очутилась на свободе.

Отпрянув от Луки Лукича, она легким движением вскинутых над головой рук поправила растрепавшиеся волосы. Затем, одернув смятую кофточку, снова спокойно и непринужденно стала перед обескураженным Бобровым.

— Чувствительно вам благодарна, Лука Лукич. За все ваши милости и приятности. Цену вы мне набили хорошую. Ничего не скажешь. Не поскупились... Только с ответом я погожу. На уме прикину. Боюсь, как бы сгоряча, сдуру не продешевить себя. А с вами до такого греха недолго!

Она обошла стремительным шагом Луку Лукича и пошла, не оглядываясь, легкой пружинистой походкой навстречу показавшемуся вдали всаднику — пастуху конского косяка, пригнанного с выпасов к озерному водопою.

С этой-то памятной встречи с Лукой Лукичом Любка, прочно уверовав в силу своей власти над ним, повела себя с ним на людях вызывающе дерзко, отчаянно. Открыто грубя ему, она издевалась над нескладной, мешковатой фигурой и неприглядным обликом хозяина и в то же самое время не переставала вольно заигрывать с ним, чем и дала повод некоторым досужим бабенкам назвать ее бобровской любовницей. А вскоре и в станице и в хуторах стали болтать о том, что Любка прибрала к рукам не только Луку Лукича, но и его немалое состояние, начиная с дома и кончая золотом, зарытым в потайном, известном ей месте. Поговаривали уже и о том, что не далее осени, в мясоед, должна загреметь на всю степь небывало пышная свадьба Любки с Лукой Бобровым.

Не отвергая и не оспаривая этих слухов, Любка, играя в молчанку, делала вид, что ее ничуть не трогают все эти разговоры, хотя на самом деле они явно льстили ей.

Между тем Лука Лукич продолжал все изворотливее и увереннее искать встреч с Любкой где-нибудь наедине в укромном месте. То он подкарауливал ее в лесу, где она любила бродить по вечерам после работы, собирая ягоды или грибы. То встречался с ней у дальнего степного колодца, куда она приходила с ведрами на коромысле за студеной ключевой водой. И каждая встреча эта, начинавшаяся с упреков девушки в скупости Луки Лукича, завершалась неопределенными посулами и намеками Любки, от которых у хозяина замирало сердце и гудело в хмельной, терявшей последний рассудок башке.

— Дом для меня пожалел? Скупишься? Ну и Христос тебе судья да пречистая дева Мария!— говорила Любка, уклоняясь от объятий Луки Лукича.

— Любонька! Былинка моя!— горячо шептал Лука Лукич, пытаясь схватить ее за руки.— Да ведь у меня же семейство. У меня двое непутевых чад на руках. Как же их ради тебя обездолю? Ну, мельницу тебе подпишу. Ну, заимку не пожалею...

— Нет, подписывай дом. По заимкам да хуторам я и в девках намыкалась вволю. Хочу в станице пожить. В райцентре. Для меня и двухэтажный дворец с балконом не грех построить. А то заимку!

— Ты погоди. Ты послушай, дай мне помозговать. Дай одуматься,— стараясь удержать около себя Любку, умолял Лука.

— Ладно. Ладно. Погожу. Обмозгуй,— соглашалась Любка, ловко ускользая из его рук.

А Лука Бобров, оставшись один, убеждался в том, что ему страшно навсегда потерять эту девушку. И как обложенный зверь, пофыркивая влажными ноздрями, смутно предчувствуя неминуемую беду, не находил себе места ни под кровлей родного дома, ни в степи, веруя, что былой душевный покой может вернуть ему только близость Любки.

Однако, несмотря на частые встречи с Любкой и на доверительно-полуинтимные разговоры с нею наедине, она казалась ему еще более далекой и недоступной, чем прежде, когда он видывал ее мельком, втайне любуясь полудикой, яркой ее красотой.

12

В канун троицы на хуторе Белоградовском, по соседству с которым простирались табачные плантации Луки Боброва, появился бродячий жестянщик Ванька Чемасов. И, как на грех, дернуло Луку завязать с парнем деловой узелок: отдал ему в ремонт ведра и лейки.

С тех пор и повадился Ванька Чемасов шляться к Луке Лукичу сперва на заимку, а затем и на полевой табор к поденщикам. Это был кудрявый, нерослый, но ладно сбитый крепыш. По вечерам появлялся он на полевом таборе в малиновой, расшитой по вороту оранжевым гарусом рубахе, в широких плисовых шароварах, заправленных в сапоги с лакированными голенищами, с черной, как вороново крыло, двухрядной гармошкой, подвешенной на желтом ремне через плечо. Он был наряден и, по мнению девок, красив, как картинка. Ванька знал

это и часто заглядывал в круглое зеркальце, рисуясь перед девками.

Вдоволь наглядевшись в зеркальце, Ванька, ни на кого не глядя, не замечая окружающих его девчат, парней, пожилых мужиков, садился на услужливо подсунутый кем-то круглый чурбак и разводил мехи дорогой гармошки. Пробежав для пробы трепетными пальцами по отзывчивым ладам двухрядки, он на мгновение замирал, словно прислушиваясь к этим выпорхнувшим из-под его пальцев звукам. А потом, дремотно покачиваясь в такт спокойному, медлительному потоку новых звуков, начинал игру на двухрядке вальсом «Осенний сон».

Как заколдованные, слушали поденщики берущую за душу музыку. А потом, после вальса, выдержав небольшую паузу, гармонист, задорно тряхнув каштановыми кудрями, с яростью ударял по ладам, и завзятые плясуны, невольно дрогнув, начинали лихо работать ногами, выходя один за другим на круг.

На диво всем держала себя Любка в присутствии приблудного гармониста. Жадная прежде до пляски даже под нехитрые дудочки и свистульки, которые мастерил Тимка Ситохин из камыша или бересты, Любка оставалась равнодушной и к гармошке и к ее владельцу. Необычно смирная, притихшая, похожая на подбитую птицу-подранка, скромно присаживалась она поодаль от Ваньки и застенчиво отворачивалась от его дерзких взглядов, прикрывая лицо стареньким кашемировым платком.

Так продолжалось несколько вечеров. Любку будто подменили. Она не только ни разу не вышла на круг даже при групповых плясках — в шестифигурной кадрили или «Метелице», которые прежде любила, но даже не спела с подружками ни одной любимой песни. И эти неожиданные крутые перемены в характере и повадках Любки вновь были истолкованы многими по-своему. Одни шептались о полном разрыве Любки с Лукой Лукичом и позорном ее падении. Другие втихомолку говорили уже о тайных связях ее с гармонистом.

И вот однажды, дело было в субботний вечер,— после того как Ванька сыграл в заключение марш «Тоска по родине» и, взяв под мышку свою двухрядку, отправился восвояси, на хутор,— Любка вскочила со своего насиженного, привычного места и на глазах у всех направилась следом за гармонистом.

Все притихли. Это было до того дерзко и неожиданно, что самые злые на язык, завистливые товарки Любки не нашлись, что сказать.

А позднее, далеко за полночь, когда поденщики, разбредясь по шалашам и палаткам, уже дремали и над землей поднялся высокий ущербный месяц, донеслись из далекой степи негромкие, словно спросонок залепетавшие звуки гармошки, вторившие в лад такой же негромкой девичьей песне:

Прощаюсь, ангел мой, с тобою,
Прощаюсь, счастие мое...

И все узнали сочный, светлый, как родниковая струя, голос Любки. То замирая, то вновь воскресая под звуки двухрядки, голос звенел над потонувшей в лунной полумгле степью, как звенит колокольчик удаляющейся ямщицкой тройки.

Ты едешь от меня теперь далеко,
Быть может, едешь, милый, навсегда...

Было похоже, что Любка, рыдая, прощалась с бесконечно близким, дорогим ей человеком, и у притихших в шалашах и палатках поденщиков, слушавших ее песню, невольно сжались сердца, когда до них долетели слова:

И солнце греть меня уже не будет,
И ночь росой меня не освежит,
Зарей меня уже не нарумянит,
И ночь меня не усыпит!

...Вернулась Любка с ночной прогулки в полевой табор уже на рассвете. Легкой, скользящей походкой прошла она к своему шалашу и тотчас же заснула как убитая. Подружки видели, как счастливо улыбалась она во сне. А поутру, выйдя с поденщиками на плантацию, Любка принялась за пасынкование табаков с каким-то близким к ярости ожесточением и весь день потом презрительно отмалчивалась от не совсем невинных расспросов подруг.

Гармонист же, к великому огорчению поденщиков, на следующий вечер в таборе не появился. И это обстоятельство еще больше озлобило против Любки недоброжелательных ее подруг. Теперь уже, перестав злоязычить о Любкиной связи с Лукой Лукичом, все в голос заговорили о гармонисте. Но Любка по-прежнему, казалось,

не обращала внимания на разговоры и только загадочно улыбалась.

В полдень старая девка Морька Звонцова, говорившая басом, решив зацепить молчаливую Любку за живое, спросила ее за обедом в присутствии всех подруг:

— Говорят, ты, Любка, нового ухажера нашла?

— Не я нашла. Сам нашелся,— поправила ее Любка.

— А для меня это бара-берь — все равно, сказать тебе по-русски.

— Для тебя это так. А для меня не все равно, голубушка. Не я их ищу. А они меня. Понятно?

— Куда понятнее!.. Стало быть, Луку — по боку?

— Стало быть, так.

— Куда же ему теперь на старости лет податься?

— Как куда? К тебе. Ты у нас девка фартовая — в два обхвата, всех подберешь,— сверкнув сухими глазами на Морьку, сказала без улыбки Любка под недружный смех подруг.

Гармонист на таборе не появлялся. Поденщики, ревниво приглядываясь к Любке, не замечали в ней никаких следов беспокойства. По-прежнему были легки и пружинисты ее шаги, порывисты движения; не блекнул мглистый, припекшийся, как на вызревшем яблоке, румянец на смуглом лице.

И вдруг спустя неделю появился совсем было пропавший без вести гармонист. Появился он в неурочное время — в полдень, когда поденщики еще работали на плантации. Это удивило всех, но еще больше поразил всех непривычный его наряд: пропитанная мазутом брезентовая куртка и такие же грубые холщовые штаны, небрежно заправленные в стоптанные сапоги. Необыкновенно суматошный, взъерошенный, он на ходу приветствовал поденщиков и, завидев работавшую на отшибе от всех Любку, бросился к ней со всех ног.

А Любка при виде его выпрямилась, глядя на него широко раскрытыми, полными радости глазами. Гармонист, порывисто пожав Любкину руку и полуобняв ее за плечи, стал горячо что-то говорить ей. А потом они пошли вместе с плантации к табору. Поравнявшись с собравшимися на меже поденщиками, Ванька сказал:

— А ну веселей, братцы, собирайся до табора. Хорошие новости есть. Поговорим по душам. Помитингуем!

Пять минут спустя все были в сборе. Окружив плот-

ным кольцом Ваньку Чемасова, выжидающе поглядывая на замешкавшихся на плантациях мужиков, люди вполголоса переговаривались между собой:

— Што это он как с неба свалился?

— Похоже, выпивши...

— Не плети. Он ее в рот, говорят, не берет.

— Перестаньте вы барахлить. Дайте человеку в себя прийти. Видите, запыхался.

— Не иначе о свадьбе с Любкой сейчас объявит.

— Уж больно не жениховский видок у него.

— Это не беда, если человеку приспичило...

Около Ваньки Чемасова беспокойно вертелся низкорослый шустрый мужичок Анфис Тарбаган — сторож бобровских плантаций. В отсутствие хозяина он выполнял роль его доверенного. Тарбаган, проработав у Боброва около двадцати лет, служа ему верой и правдой, не нажил ни собственной лошади, о которой всю жизнь мечтал, ни своего дома. Целое лето — с ранней весны до глубокой осени — ютился он в покрытом дерном шалаше, а долгую зиму коротал в полузавалившейся саманушке.

Лука Лукич был с Тарбаганом в меру строг, в меру обходителен, а иногда даже и ласков. Он баловал его мелочными подачками, не обносил по праздникам водкой. Тарбаган уважал хозяина, побаивался его и только иногда, в часы горьких раздумий о невеселой своей судьбе, приходил в отчаяние, понимая, что мечты его о доме и лошади так и останутся до гроба мечтами. Как бы честно и ревностно ни служил он хозяину, однако к покрову, когда приходил срок расчета, Тарбаган не получал и десятой доли тех денег, которые ему причитались: часть из них удерживалась за харчи, часть — за справленную Тарбагану одежду, часть — за штрафы, к которым не стеснялся прибегать Лука Лукич в тех случаях, когда уличал своих доверенных в недостаточной строгости и распорядительности по хозяйству. Тарбаган понимал, что хозяин из года в год обдуривал его, но протестовать не смел. Скрепя сердце вынужден был он мириться с незавидной судьбой; вечный страх оказаться без куска хлеба удерживал его от протеста.

Появление на плантациях будто полухмельного Ваньки Чемасова встревожило и насторожило Тарбагана. Почуяв неладное, он вертелся возле гармониста, опасливо поглядывая то на него, то на стоявшую рядом с ним

весело посверкивающую глазами Любку, то на толпу выжидающе притихших поденщиков.

К табору подошли задержавшиеся на плантации мужики. Ванька Чемасов, тряхнув каштановыми кудрями, сказал:

— Теперь прошу слушать меня, братва. Прибыл я к вам неспроста. По срочному делу. Даже вот переодеться было недосуг. Спасибо, попутчик подвернулся — почтовый ямщик. Подбросил меня за трешку к вам в спешном порядке. А дело такое, друзья. Прежде всего такой вопрос: расчет с хозяина получили?

Ему хором, наперебой, ответили:

— Получили, два белых, третий — как снег.

— Получишь с нашего хозяина, разевай рот пошире.

— К покрову авось разочтется.

— Ясно. Понятно. Тише, ребята. К порядку,— сказал Ванька Чемасов.— Деньги, я думаю, не пропадут. Мы их выкрутим у этого живодера. Вырвем. Наша власть нас в обиду не даст. Это — раз. Во-вторых, предлагаю всем немедленно бросать к чертовой матери эту каторгу — и за мной: в совхоз. Я вас сам туда поведу. За каждую душу головой отвечаю. Почертомелили на этого ирода — хватит. С завтрашнего дня вы не батраки, не поденщики, а рабочий класс — кадры зернового совхоза!— торжественно объявил Чемасов.

Слух об организации зернового совхоза доходил до бобровских батраков и раньше. Но никто из них не знал, что это за предприятие и найдется ли там для них какая-нибудь работа. Наоборот, ходило немало темных слухов в степи о том, что в связи с организацией совхоза мужиков лишат земельных наделов, выселят из насиженных мест на бесплодные солончаки, а многих силой заставят работать в совхозе за грошовую плату. Об этом не раз болтал и Тарбаган, ссылаясь на хозяина, который якобы передавал ему такие новости по большому секрету.

Сообщение Ваньки Чемасова о зерносовхозе не столько обрадовало, сколько насторожило большинство поденщиков.

В толпе послышались голоса:

— Совхоз — это дело хорошее, если подвоху нет.

— А какой может быть подвох? Это тебе не Лука Бобров.

— Погоди, не шуми. Дайте парня толком послушать,— прозвучал звонкий бабий голос.

— Тихо, тихо, друзья. К порядку. Я не кончил. Я сейчас все доложу,— сказал Ванька Чемасов, подняв запачканную мазутом руку.— Я прибыл сюда как доверенное лицо дирекции нового зерносовхоза. Меня в этом сам председатель рабочего комитета товарищ Канахин уполномочил. По душам поговорить с вами поручил. Так вот, слушайте. Зерносовхоз — это целая фабрика. К осени сорок тысяч га целины будет поднято в наших степях. На днях подойдут трактора, плюс другие там всякие машины, а рабочих в совхозе — раз, два и обчелся. С кадрами — беда. Людей не хватает. И каждому из вас там найдется работа. Не только работа, но и жилье. Не чета вот этим земляным балаганам и шалашам. Там в степи шатры — как дворцы, и у каждого рабочего отдельная койка с казенной постелью. Это — пока, до осени. А к зиме на центральной усадьбе целый городок вырастет. Дома — один к одному, под тесовой или черепичной крышей. Видели, какое дело выходит? Голова кружится!

— Ну, ты ври, да не завирайся. Откуда взяться к зиме домам в чистом поле?— крикнул Тарбаган.

— Дома мы построим сами. Саманов набьем. Лес подвезут. Словом, будет полный порядок. В шатрах зимовать не будем. Головой ручаюсь. Стройка горячая. Для всех дело найдется. Позарез там нужны плотники и печники, землекопы и саманщики, гуртоправы и возчики, сторожа и поварихи. Успевай — разворачивайся. И харч — не бобровскому чета. И заработки — без дураков. Это — одно дело. Другое дело — мы, например, вот с Любкой с завтрашнего дня на курсы трактористов идем. А кто из ребят и девчат вместе с нами такую охотку имеют — пожалуйста. Пиши заявление — и квиты. Вот и весь мой вам сказ, дорогие товарищи. На этом я кончил. А теперь, кто надумает, прошу у меня записаться. Утром в организованном порядке — на хутор. Завтра под вечер туда подойдут грузовые автомашины и доставят вас на базу центральной усадьбы. Все. Точка,— заключил Ванька Чемасов и, присев на чурбан, расправил на коленке смятую ученическую тетрадку, извлеченную из бокового кармана брезентовой куртки: стал записывать имена и фамилии поденщиков, изъявивших желание идти на работу в зерносовхоз.

Первой Ванька Чемасов записал Любку. За Любкой записались Тимка Ситохин и шестеро хуторских девчат. Остальные поденщики, нерешительно потоптавшись во-

круг Ваньки Чемасова, разбрелись мало-помалу по шалашам, продолжая горячо обсуждать поразившую всех новость. Одни из них — это были в основном молодые парни и девушки — стали собирать немудрые пожитки, твердо решив уйти поутру с плантации вслед за вербовщиком. Другие — люди постарше — не торопились с решением своей судьбы. Уж слишком крутой, рискованный надо было совершить поворот. А это пугало людей, не избалованных удачей и счастьем.

Вторую половину дня поденщики работали спустя рукава. Перепуганный Анфис Тарбаган, волчком крутясь на плантациях, шушукался с поденщиками:

— Не слушайте вы, ради бога, этого дуропляса-жестянщика. Завербует он вас — каюк вольной жизни.

— Это пошто те — каюк?

— А потому, что в казну перейдете. И станете вроде крепостных мужиков. Вроде оброчных.

— Ну, это уж ты не бреши.

— За што купил, за то и продаю. От верных людей слышал.

— Не от Луки ли Лукича?

— А хотя бы и от него! Что ж, он мужик с царем в голове. Подальше нас, дураков, все насквозь видит. Недаром по секрету предупредил он меня об этой беде еще с месяц тому назад. Да я воды в рот набрал — до поры до времени помалкивал. Не хотел народ зря смущать. А теперь вот пришлось открыться. Не верьте вы этому вертопраху с двухрядкой. Это Любка с ним голову потеряла. Так той туда и дорога. Молодо-зелено. А ведь мы-то люди с рассудком. Нам стыдно крутить на старости лет башкой и верить залетному болтуну,— точил Тарбаган мужиков, у которых и без того голова кругом ходила от тревожных дум и сомнений.

Наутро Ванька Чемасов снова собрал поденщиков, попробовал уговорить их скопом бросить плантации и немедля идти вслед за ним на хутор. Молодежь ответила дружным согласием, но пожилые люди по-прежнему угрюмо молчали.

— Кто со мной, выходи!— скомандовал Ванька Чемасов.

И его окружили девушки и парни с деревянными сундучками в руках, с котомками за плечами.

Построив их попарно, Ванька Чемасов, как заправский боевой командир, отдал команду:

— Справа по два, за мной. В ногу. С песней. Марш!

Песни, правда, ребята и девушки не запели, но тронулись с места, подчиняясь команде, дружно, в ногу. И толпа пожилых поденщиков, оставшихся на полевом таборе, долго потом стояла на месте, провожая уходящую в степную даль колонну пристальным, тревожно-завистливым взглядом.

Солнце уже поднялось высоко и изрядно начало припекать, когда ребята и девушки, предводительствуемые Ванькой Чемасовым, отмахав верст около десяти от табачных плантаций, поднялись на высокий, посеребренный ковылем увал, где и решили сделать остановку для десятиминутного отдыха и перекура. Облюбовав уютное место вблизи придорожного кургана, ребята стали было уже усаживаться, как кто-то из них, заметив мчавшегося по направлению к ним всадника, крикнул:

— Братва! Сам Лука Бобров в атаку на нас летит. Занимай круговую оборону!

— Ну нет, извиняйте. Нам не обороняться, а нападать надо,— заметила Любка, не спуская глаз с Боброва, вихрем летевшего на них на своем гнедом иноходце.

— Это правильно, Люба. Это резон,— живо согласился с ней Ванька Чемасов. И он стал посреди дороги — руки в карманы, грудь нараспашку.

Лука Лукич, признав в издалека замеченной им толпе молодых людей своих поденщиков, среди которых, к его радости и тревоге, оказалась и Любка,— резким движением осадил шедшегоброской иноходью коня, сразу же догадавшись, что случилось нечто неладное. Подъехав к ним шагом, Лука Лукич, слегка привстав на стременах, спросил:

— Это что еще за ярманка?

— Сначала полагалось бы поздороваться,— заметил с усмешкой Ванька Чемасов.

— Уж не с тобой ли, босяк?— спросил хозяин, презрительно меряя взглядом жестянщика и потемнев от приступа гнева.

— А хотя бы и со мной. Мы ведь не первый день с вами, слава богу, знакомы.

— Плевал я на тебя, оборванец. Ты кто здесь такой?

— Могу доложить. Уполномоченный рабочкома Степного зерносовхоза Иван Иванович Чемасов. А это,— сказал Ванька, указывая на стоявших вокруг него спутни-

ков,— мои ребята. Рабочие зерносовхоза. Будущие трактористы и слесари, плотники и землекопы. Ясно?

— Что-то не очень,— признался Лука Лукич, ошарашенный столь неожиданным оборотом дела. И, встретившись с насмешливым взглядом Любки, он только сейчас понял, что произошло, а поняв это, благоразумно решил вовремя перейти от наступления к обороне.

— Значит, в совхоз подались, говорите? Ну что же. Хорошее дело. С богом. Я не держу,— сказал Лука Лукич притворно развязным тоном.

— Что вы говорите?! А я думал, вы нас обратно сейчас на свои плантации, как баранов, погоните,— ответил ему на это Ванька Чемасов, подмигивая спутникам.

— Ну, я не помещик, а вы у меня не крепостные. Воля ваша. В любую минуту можете уходить на все четыре стороны,— сказал Бобров, и жалкое подобие деланной улыбки на мгновение отразилось на его сумрачном лице, наглухо обложенном черной с проседью бородой.

— С сегодняшнего дня — да. Мы сами хозяева своей судьбы. Это — факт,— сказал Ванька Чемасов.

— Очень приятно,— сказал Бобров.— Но с бухты-барахты с работы не уходят. Совесть бы надо иметь!

— А вы вот лучше скажите по совести: когда расчет ребятам дадите?

— Это уж не твоя, сударь, забота.

— Мне поручено, я и спрашиваю.

— Кем же это, интересуюсь?

— Нами,— коротко ответила на вопрос выступившая вперед Любка.

— Да что тут долго с ним разговаривать. Спешивай его с коня, ребята!— крикнул кто-то.

— Правильно, спешивай его.

— Пусть выложит, с места не сходя, деньги на бочку!

— Душу из него вытрясти, подлеца!

— Не давать ему ходу отсюда, товарищи!— хором, наперебой, закричали парни и девушки.

Тимка Ситохин ловко схватил под уздцы испуганно попятившегося назад бобровского иноходца.

Лука Лукич побледнел. Озираясь по сторонам быстрым, близким к смятению взглядом, он напоминал матерого волка, готового к смертельной схватке с обложившими его охотниками.

На какую-то долю минуты все замолчали. Было так тихо, что многим ребятам и девушкам показалось, что они

слышат стук собственного сердца. Ощущал, слышал неровный, с перебоями, глуховатый бой своего сердца и Лука Лукич.

Поняв, что дело может принять неожиданно крутой оборот, Ванька Чемасов решил разрядить напряжение. Протиснувшись сквозь толпу, он сказал Боброву резко и твердо:

— Прошу запомнить. Расчет с поденщиками должен быть произведен не позднее завтрашнего дня. Вчистую. Сполна. Деньги доставите лично на базу будущей центральной усадьбы Степного зерносовхоза. Это верстах в тридцати от хутора Белоградовского. На берегу озера Тарангула. Ясно?

— Понимаю. Понимаю...— поспешно забормотал Лука Лукич, с таким нетерпением тормоша в руках повод, словно он жег ему руки.

— Это наше первое условие. Рассчитать к субботе сполна и всех остальных поденщиков — это второе.

— Понимаю. Понимаю...— бормотал Лука Лукич, воровски озираясь по сторонам.

— Тогда — все. Точка. Договорились,— коротко заключил Ванька Чемасов, и все его спутники, повинуясь его требовательному жесту, тотчас же расступились, открывая дорогу Луке Лукичу.

Лука Лукич рывком тронул с места иноходца и сперва дробным шагом, а затем крупной рысью пошел прочь от молчаливой толпы своих вчерашних батраков. И это было похоже на бегство.

Назад Лука Лукич не оглядывался.

13

Лето грозило засухой. По ночам грохотали грозы. И голубые от мятежного огня непрерывных цепных молний степные просторы, казалось, вот-вот потонут в бурных потоках ливня. Но дождя не было. Душные ночи сменялись знойными днями. По дорогам, по черным парам и пашням бесновались в веселых плясках смерчи. А по вечерам вся даль утопала в тяжелом дыму, принесенном издалека жаркими суховеями. Где-то вторую неделю горели степи, и грозный огненный вал неудержимо катился по равнинам, подходил к границам линейных казачьих станиц, к пашням и пастбищам хуторов и отрубов.

Тоскливо в такую пору в степи. Казалось, только и

живности в ней, что одни сурки, неподвижно стоявшие по буграм, как врытые в землю обрубки, и печален был их слабый заунывный свист. Не веселее в станицах, селах и хуторах. Они будто вымерли. Ни одной души нельзя встретить на улицах и в переулках селений. Отчаявшись в бесплодном ожидании дождей, устрашась засухи, многие мужики, безнадежно махнув на сожженные солнцем пашни, стали мало-помалу разбредаться из сел. Одни подавались в город. Другие тянулись на железнодорожную станцию. Третьи уходили в Зауралье, где, по слухам, ожидался в этом году более сносный урожай. И те, и другие, и третьи надеялись найти вдали от родных хуторов и сел случайные заработки для поддержки семей, оставленных без куска хлеба.

И опять, как лет пятнадцать тому назад, все чаще и чаще стали появляться в селах запыленные, не в меру болтливые шустроглазые странники. Объявившись на хуторе или на глухом отрубе, наговорив бабам много слов, полных темного, грозного смысла о грядущих скорбях и бедах, они исчезали так же тихо и незаметно, как и объявлялись неприметно, забывая при этом на постое то грубый библейский посох, то потрепанную монашескую скуфью, то ветхозаветную картинку.

В эти дни откуда-то из Зауралья толпа полуоборванных калек в сопровождении монахов и юродивых носила по линейным станицам новоявленную икону богоматери. Шествие с иконой двигалось в обход городков и крупных районных центров по хуторам и отрубам. Число приблудных монахов и монахинь, запыленных странников, калек и юродивых, присоединившихся в пути к этому крестному ходу, росло не по дням, а по часам, и демонстрация уродов с двойными горбами, кликуш и юродивых выглядела все страшнее, все внушительнее.

На хуторе Арлагуле тоже готовились к встрече новоявленной иконы. И местный поп-расстрига, он же отличный бондарь и лихой гитарист, отец Аркадий сбился с ног, готовя причет к предстоящему молебствию с торжественным выносом из церкви всех икон и хоругвей в степь, под открытое небо.

Дня за два до ожидавшегося молебствия к звонарю Филарету Нашатырю попросился на ночлег странник, похожий на одного из тех бродячих монахов, которые шатались до революции по Руси, то собирая в припечатанную сургучной печаткой жестяную кружку трудовые медяки

на постройку якобы сгоревшего храма, а то и просто так, ради обета, данного ими богу. Это был рослый, широкий в плечах человек с неуклюже длинными руками, богатырь, каких часто показывали на ярмарках праздным зевакам за пятак.

С трудом протиснувшись в маленькую, узкую дверь полувросшей в землю избушки Нашатыря, странник, осенив размашистым крестом распахнутую волосатую грудь, почтительно поклонился хозяину и тут же назвал себя игуменом Гермогеном, настоятелем бывшей степной обители — так называемого Преснoредутского мужского монастыря.

Растерявшийся Нашатырь, усадив незваного гостя на лавку в передний угол, тут же хотел побежать по неотложным делам к соседу. На самом же деле он хотел, урвав время, переброситься двумя-тремя словами с попом Аркадием насчет пришельца и спросить у батюшки совета, как ему держать себя.

Однако непрошеный постоялец не отпустил от себя хозяина, сославшись на то, что он забрел в его избушку лишь на минутку.

Филарет Нашатырь был хуторским старожилом. Вместе со своим уже престарелым родителем он переселился в эти края в канун первой мировой войны из Тамбовской губернии. Похоронив вскоре отца и потеряв вслед за этим единственную в хозяйстве лошадь, Филарет не в силах был обработать новый земельный надел и вынужден был долгие годы батрачить у зажиточных отрубных мужиков и станичных скотопромышленников. Затем, случайно попав однажды в расположенный верстах в сорока от хутора Арлагуля Преснoредутский мужской монастырь, Филарет Нашатырь определился там в звонари. Обладая врожденным музыкальным слухом, он вскоре так лихо наторел работать враз всеми двенадцатью большими и малыми колоколами монастырской звонницы, что пришелся по душе настоятелю этого монастыря, игумену Гермогену.

Покоренный искусством приблудного звонаря, игумен пожелал навсегда оставить его при монастыре, положив ему за труд три рубля серебром помесячно и даровые харчи в монастырской трапезной. В годы гражданской войны монастырь был закрыт за участие в контрреволюционном мятеже, а часть рядовых монахов и вольнонаемных людей разбрелась в разные стороны, кто куда. Нашатырь снова

вернулся на хутор. Местный комитет бедноты вскоре помог ему обзавестись лошадью. И Нашатырь в складчину с соседом-бедняком Проней Скориковым занялся обработкой собственной пашни. Сеял он на поднятой с грехом пополам целине от двух до трех десятин, и это в урожайный год позволяло ему и его напарнику сводить концы с концами от урожая до урожая.

Хозяйство Нашатыря совсем уже было пошло на лад. Но вот в тысяча девятьсот двадцать седьмом году как снег на голову свалилась на него новая беда. В предвыборную кампанию его, как служителя религиозного культа, местные власти лишили права голоса, а затем все пошло одно к одному: и в кредите на приобретение однолемешного плуга ему отказали, и овдовел он в канун Нового года, и неурожай подремизил на следующий год.

Неожиданное появление бывшего игумена, которого Нашатырь считал расстрелянным за руководство черносотенным мятежом в дни кулацкого восстания весной тысяча девятьсот двадцать первого года, до того ошеломило звонаря, что он долго не мог взять себя в руки и сидел, ощущая в спине противный озноб.

Стемнело. Но вздувать огня гость не позволил.

— Посумерничаем. Впотьмах беседа душевнее,— сказал он.

— Это как вам угодно,— смиренно вздохнув, согласился хозяин, отодвигая от себя поставленную на стол лампу.

— Так что же, выходит, ты не сразу признал меня, брат?— спросил после некоторого молчания гость.

— Каюсь, владыко. Не сразу.

— Ничего удивительного. Воды за это время немало утекло. Пути господни неисповедимы.

— Да, неисповедимы. Это точно так, владыко,— согласился Нашатырь. И тут же спросил:— А вы, осмелюсь полюбопытствовать, где сейчас пребывать изволите?

— Странствую, брат. Брожу по градам и весям. На мир божий дивлюсь. Хорошо! На господа бога пока не ропщу.

— А мы ведь вас, грех сказать, усопшим давно почитали. Я даже, не в укор богу, панихидку по вас заказывал. Литию пели,— неожиданно для самого себя соврал Нашатырь.

— Даже литию?!— насмешливо переспросил гость.—

Ну нет. Насчет литии надо повременить. Нас пока отпевать рановато...

Нашатырь, беспокойно ерзая на лавке, все поглядывал в куть, где под шестком у него была припрятана бутылка с самогонкой — спиртоподобным первачом. Ему хотелось выпить по такому случаю и самому, еще было лестнее сделать это, чокнувшись с таким хоть и страшноватым, но как-никак знатным гостем. И наконец, набравшись смелости, он все же сказал игумену о прибереженной бутылке; тот к вящему удовольствию хозяина с живостью отозвался:

— Что ж, братец. Не побрезгую. Сие, как говорится, и монаси приемлют!

По первой выпили они, благословясь, молчком. А после второй снова разговорились, и на этот раз, как слегка уже захмелевшие люди, в более доверительном тоне.

— Как же это вас господь от неминуемой кары увел? Диву даюсь, владыко. Ведь ваше преподобие, помнится, к высшей мере приговорили.

— Не вспоминай, брат. Было дело. Приговорили к такому прямому сообщению на тот свет. Оставалось одно: помилование у ЦИКа просить. Да разве бы меня помиловали?! Я и не стал дожидаться такой высшей милости от Всесоюзного старосты. Ушел из камеры смертников. А какими путями ушел — лучше не вспоминать. Пронесло — и слава богу!

Они опять замолчали. Долго сидели, настороженно прислушиваясь к тревожным ночным шорохам и звукам за крошечными окнами избушки, к далеким, гулко рокотавшим грозовым раскатам. И голубые вспышки частых молний, озаряя окна, давали возможность и хозяину и гостю на мгновение взглянуть друг другу в лицо и как бы попытаться разгадать при этом какую-то общую, тревожившую их тайну.

Когда выпили по третьей, гость, словно продолжая прерванный рассказ, сказал:

— Так вот, брат. Вырвавшись с помощью верных людей из омской тюрьмы, подался я тайными тропами на Украину. Вид на жительство, как говаривалось прежде, был мне выправлен теми же верными людьми. Все было на этот счет в аккурате! Комар носа не подточит. Хорошо. Оградил меня бог, благополучно достиг я Белой Церкви. А там спустя месяц был, с благословения епископа Мефодия, рукоположен в благочинные в один из пригородных

приходов данной епархии. Именем, понятное дело, был наречен иным. Не Гермогеном, а отцом Кириллом назвался... Чудное было место! Сады, боже мой, просто райские! Служил я там два года и пять месяцев. Все шло по порядку. Но вот стал меня искушать лукавый. Начал внушать он мне всякие сомнения. Стал точить, как червь, меня денно и нощно. За душеспасительное чтение, бывало, берусь, а меня то к Марксу, то к Ленину тянет. Ты понимаешь, братец, куда дело пошло? До проповедников коммунизма! До апостолов революции! Ты понимаешь?!

— Сочувствую. Сочувствую,— пробормотал Нашатырь, совершенно, впрочем, не понимая, что такое апостолы революции и к чему вообще клонил этот странный гость, не захмелевший и после третьей и после четвертой рюмки.

— Да, дошел до апостолов революции!— повторил пришелец.— Не устоял перед искушением. Достал я все сочинения Владимира Ленина. И что же ты думаешь? Не поверишь, походя, аж в алтаре читал. Все отчеты в епархию по своему приходу запустил. Три выговора от епископа получил. Даже с требой по своему приходу месяца три не ездил. Вникаю я в учение Ленина и думаю: «Религия — настоящий опиум для народа!»

И вот выхожу я однажды из алтаря, становлюсь для проповеди перед амвоном и на глазах у православных моих христиан публично разоблачаюсь от ризы. Верующие ахнули. А я им: так, мол, и так. Вот вам хомут и дуга, а я в этом божьем храме больше не слуга! Разоблачился — и вон из храма. Затем в областной газете письмо напечатал — публичное отречение от сана. И тут же, дней этак через пяток, место главного бухгалтера в городской конторе Заготживсырье получил. Бухгалтерию и до этого-то я знал назубок. Я ведь до духовной семинарии в киевском училище окончил курс. А тут, когда практически учетом занялся, совсем профессором себя почувствовал. За годовой отчет меня премировали полугодовалым поросенком и парой опойковых сапог на спиртовой подошве. Но бухгалтерия бухгалтерией, а общественная нагрузка особая статья. И тут я сразу же показал себя не хуже другого тертого партийца. Стенгазету насобачился выпускать. До меня она всегда два раза в год выходила, да и то абы как — через пень колоду! Один нумер — к Первому мая, другой — к Октябрьским праздникам. А у меня каждую субботу по свежему нумеру красовалось. И в каждом нумере то мой

стишок, то раешничек, то с подковыркой заметочка. А помимо собственной стенгазеты я затем стал и в окружную прессу стихами и прозой писать. Самым активным селькором стал значиться. На меня кулаки покушение хотели организовать. Ну и травили — спасу нет. Но окружная пресса, спасибо ей, заступилась, в обиду меня не дала. И в профсоюз меня приняли под аплодисменты. А премии за годовые и полугодовые отчеты стал получать я исправно, как часы. То, глядишь, дождевик с капюшоном подбросят, то граммофон с набором пластинок. Я и в духовном-то звании, будучи еще настоятелем, страсть как светское пение любил. Дело прошлое, греха таить нечего. Запрусь, бывало, в келье в глухую ночь и покручиваю граммофон: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня!»

— Песня — куды с добром. Голова кружится. А есть еще лучше: «Ах вы, сашки-канашки мои, разменяйте бумажки мои!»— сказал захмелевший Нашатырь.

— Ну вот,— продолжал свой похожий на исповедь рассказ гость, не торопясь попивая самогонку.— Так и работал я в мирском звании главного бухгалтера Райзаготживсырья до самой весны нынешнего года. И тут вдруг потянуло меня в родные края. Спасу нет, как потянуло! Сплю и во сне вижу Приишимские наши степи. Вспомню про березовые колки, про наши озера — сердце заходит. Стареть стал я, что ли. Словом, потянуло — мочи нет — восвояси. Подал я прошение об увольнении — отказ. Подал второе — то же самое. И только после третьего заявления уволило меня окружное начальство. Получил я выписку из приказа, получил наградные — сто двадцать рубликов совзнаками — и в путь. Вот и прибыл в родные пенаты. Да, совсем забыл отрекомендоваться. Имею честь представиться: Федор Федорыч Полуянов. Так и в паспорте значится,— поспешно сказал гость полушепотом.

— Очень хорошо. Очень хорошо все это я, Федор Федорыч, понимаю,— с усилием пробормотал Нашатырь.

Время перевалило далеко за полночь. Все глуше и глуше и все как бы зловеще грохотал в отдалении гром. Все реже освещались мгновенными вспышками молний окна звонарской избушки. И Филарета Нашатыря, когда бутылка была допита, потянуло ко сну. Хозяину стало смертельно скучно без самогонки с болтливым, непонятным гостем, и он, борясь с тяжелой дремотой, почти равнодушно слушал глуховато-вкрадчивую речь бывшего игумена.

Гость, выпивший наравне с хозяином огнеподобную самогонку, не выказывал никаких знаков опьянения и со все возрастающей активностью продолжал разговор, искусно и тонко вовлекая в него изрядно осоловевшего хозяина. И когда гость свел речь к местным порядкам, к жизни на хуторе, хозяин стал охотнее отвечать на его расспросы, и беседа почти совсем отрезвила Филарета.

— Ну, а как вам-то тут живется в нынешние времена?— участливо спросил пришелец.

— Да как вам сказать, владыко? Извиняйте, оговорился, Федор Федорыч,— поспешно поправился звонарь.— Перемены у нас в нашем житье-бытье супротив прежнего не ахти как заметные.

— Вот как? Любопытно. Что же это у вас Советской властью не пахнет?

— Не знаю — как кто, а я, к примеру, как при старом режиме из кулька в рогожку перебивался, так и нынче ничуть не краше живу. Одни, как и прежде, в гору идут, на глазах пухнут. Другие перебиваются с хлеба на воду.

— Удивительно. Удивительно. Что же, власть обижает?— тоном горячего участия спросил гость.

— Тут без второй бутылки не разберешь что к чему. С одной стороны, на власть как будто и обижаться нашему брату не приходится. Земли у нас вдоволь. У меня вот ее три десятины. Не земля — золотое дно. Да разве голыми руками ее возьмешь? Правда, конь у меня теперь, спасибо Советской власти, налицо. Комбед в свое время помог. Это верно. Но разве сподручно однолошадному одолеть вековую целину? Это — одна беда. А тут к тому же местные власти меня кровно обидели. Голосу в прошлом году лишили. За мой церковный культ. А какой, вы сами подумайте, я культ? На колокольне звонил — это правильно. Был такой грех. Так ведь я это потому, что музыки всякой любитель. Я на этих самых колоколах не только «Достойную» могу отработать, но даже и кадриль в праздник холостым ребятам и девкам за милую душу сыграть...

— На это ты мастер. Что там и говорить. По сей день вспоминаю, как ты в оное время лихую полечку с поддергом на монастырской звоннице отработал. Мне на тебя тогда донос поступил. Да я из любви к твоему мастерству замял дело,— сказал с улыбкой гость.

— Был такой грех, каюсь. Созорничал я однажды в монастыре под пьяную руку,— признался с виноватой

улыбкой Нашатырь.— А теперь вот попал в лишенцы. Здравствуйте! Не хуже Луки Боброва али арлагульского воротилы Епифана Окатова. Так Луке-то Боброву и Епифану Окатову на эти выборные права наплевать. Им и без них ни жарко ни холодно. У них права — в капитале. А у меня где? Вот в этих голых руках?— сказал Нашатырь, рассматривая немолодые, затавренные шрамами и мозолями руки.

— Да, братец. Вижу, Советской властью у вас и близко не пахнет,— убежденно сказал пришелец.— Подумать надо — голоса лишили! И кого? Первоклассного бедняка. Потомственного пролетария, так сказать. Кровного союзника рабочего класса! Боже мой, разве этому Маркс их, дураков, учил?! За такую ли политику ратовал в своих сочинениях Владимир Ленин?! Вот тебе и марксистская диалектика! Да они ни Маркса, ни Ленина не читали. Клянусь богом — нет. Иначе откуда же подобные извращения? Бедняков в классовые враги окрестили! Смешно сказать, грех подумать.

Помолчав, побарабанив по столешнице пальцами, гость со вздохом молвил:

— Да, фокусы! А тут вот и последних радостей вашего брата лишают. Это уж совсем произвол.

— Это вы о чем?— поспешно спросил Нашатырь.

— Как, а ты ничего не слышал?

— О чем?

— О новом зерносовхозе.

— Ах, о совхозе? Ну как же, знаем... Что ж, это нашего брата радует. Тракторов, говорят, тьма в степь придет. Целину начнут поднимать. Степи хлебом засыплют. И мы, выходит, сложа руки не станем сидеть. Будет где и нам развернуться на старости лет. Не чертомелить же веки-повеки на Епифана да Луку.

— Правильно. Бедноте деревенской это на руку. Лучше уж в советском хозяйстве трудовую копейку добыть, чем грош на каторге у Луки Боброва. Это — так. Это и я приветствую. Но только, извиняюсь, без перегибов! Помилуйте, разве это дело — целые хутора с насиженных мест в пески аюром сгонять? Разве это резон — лишать крестьян добротной земли и совать им взамен солонцы, на которых не только хлеб, а и трава-то добром не растет?

— Неужели будут выселять?— спросил Нашатырь с тревогой.

— В том-то и дело, братец, что собираются...

— Целыми хуторами?

— Похоже, что так. И в первую очередь, говорят, начнут с хутора Белоградовского. А потом доберутся и до Арлагуля.

— А нас куда?

— На выселки. К Батыеву займищу.

— К Батыеву займищу?! На солончаки? Там — ни пашен, ни выпасов, ни доброй воды. Да разве мало целинных степей? На тыщи верст — чернозем в пол-аршина!— закричал протрезвевший Нашатырь.

— Эк ты, какой шустрый! За морем телушка — полушка, да перевоз дорог,— сказал с усмешкой бывший игумен.— От вас-то до ближней железнодорожной станции не ахти как далеко — немногим больше ста верст. Здесь для совхоза и горючее, можно сказать, под руками, и до элеватора рукой подать. С этим, брат, с хозяйственной точки зрения государству тоже считаться надо. Это — резон, конечно. Тут возмущает другое. Целины хватило бы им, положим, и без ваших наделов — по соседству с вами. Но вот опять перегибы. Больше того — прямое вредительство, разумеется. Произвол — ни больше ни меньше.

— Хорошо, а если народ упрется?

— Пожалуйста. Упирайтесь. А они пригонят десятка два тракторов и весь ваш хутор опашут.

— Как это так — опашут?

— Очень просто. Тракторами, железной конницей... Ты как ребенок, братец. Им поднять каких-то там пять тысяч гектаров — раз чихнуть. А переселить, скажем, хутор ваш — и того легче.

— Но не к Батыеву же займищу!

— А вот это дело другое. Это — скандал. Глумление над трудовым народом!

И они опять замолчали. Тревога, близкая к смятению, охватила Нашатыря, и хмель вылетел из его головы. Гость снова заговорил приглушенно-вкрадчивым голосом:

— Да, пробил, видимо, час. Подошла пора развернутого социалистического наступления в деревне. Так, по крайней мере, пишут в газетах. И это хорошо! Дух захватывает, когда вообразишь себе столь живописную картину. В степях, на вековой целине, зашумит на горячем летнем ветру разливное море спелой пшеницы. Это же красота! И вот поплывут по этому морю степные корабли — комбайны. Умнейшие машины, скажу я тебе, бра-

тец! И хлынут потоки золотого зерна в закрома нашего государства. А на месте вашего хутора будет красоваться механизированный ток с ворохами пшеницы, овса, ячменя и прочих злаков. Да, все это превосходно. Только зачем лишать мужика его насиженных мест, его последнего коня и повозки ради такого зерносовхоза? Вот этого я, признаться, и сам толком не понимаю. Правда, Ленин утверждал, что революция требует жертв. Он призывал покончить с идиотизмом деревенской жизни. Лозунги правильные. К прошлому возврата больше нет. Так любила певать когда-то божественная Варя Панина. Но стирать с лица земли целые хутора — это же разбой, дорогие товарищи коммунисты из районного центра!

— Ну нет. Власть до этого не допустит. Не верю я в это,— сказал Нашатырь с озлобленным упрямством.

— Трудно поверить, конечно. Но все может статься. Перегибщиков в наше время, как дураков, не сеют и не жнут. Они сами плодятся...

— Так на них тоже небось управа есть. Москва нашего брата в обиду не даст. До Кремля дойдем. До Всесоюзного старосты достучимся. Михаил Иванович Калинин на что?!— с вызовом напомнил гостю Нашатырь это хорошо знакомое деревенскому миру имя.

— Эх, братец ты мой! До Москвы далеко, до Калинина высоко...

— Другие же мужики до него доходят. Я сам в «Бедноте» читал.

— Не всему верь, дружок, что в газетах пишут... И потом подумай, что значит ваш хуторок по сравнению с совхозом — зерновым гигантом? Жертвы, видимо, будут в эру социалистического переустройства деревни. Они неизбежны, как рок!— воскликнул пророческим голосом гость, угрожающе погрозив перстом в пространство.

Нашатырь не понимал, что такое эра. Ему было ясно только одно — родному хутору грозит беда, если верить этому человеку, и повинны во всем этом темные, враждебные силы, действующие, видимо, вопреки всякому здравому смыслу, скрытно от правительственных властей.

А гость заговорил еще горячее, таинственнее и, как показалось Нашатырю, озлобленнее:

— Эра социалистического преобразования деревни — это не шутка. Это я понимаю и принимаю. Четыреста тракторов поднимут завтра рев на вековой целине. Это же — гимн коммунизма! Вообрази, ринется такая желез-

ная конница в нашу матушку-степь и разделает все под орех. Ни былых дорог не останется, ни дедовских могил не найдешь на стертом с лица земли погосте.

— А погосты при чем?

— Опять за рыбу деньги!— с досадой сказал бывший игумен.— Ты, я вижу, братец, вконец отупел. Никакой политграмотой тебя не образуешь...

Нашатырь смотрел на гостя горячими, немигающими глазами, хотя едва различал в темноте его лицо. Из смутного внутреннего протеста он не хотел верить этому человеку и в то же время зримо уже представлял себе страшный завтрашний день, когда на месте их хутора, их пашен и пастбищ и даже родного хуторского погоста будет чернеть сплошное поле поднятой целины. И странно, но, кажется, впервые в жизни вдруг увидел воочию Нашатырь огромную степь, богатую хлебами, рыбой, солью и зверем. И будто сейчас, сию минуту, понял он, ощутил всем существом кровное родство с этой землей, столь к нему прежде нещедрой, но все же бесконечно дорогой и близкой ему со всеми ее разбросанными в степи древними курганами и светлоствольными березами, с задумчиво-тихими озерами и застенчивыми речушками, прятавшимися в ракитовых зарослях, с неторными, прочно заросшими голубым полынком и бессмертником проселочными дорожками, с печальными девичьими песнями, доносившимися в хутор из подернутых сиреневым сумраком далей.

Всю жизнь, скупую на счастье, радости и удачи, равнодушен был Нашатырь к земле, на которой вырос. Он жил, не замечая ее красот и скрытого в ней богатства. Мало баловала его земля урожаями и не засыпала сусеки его амбара отборным, литым из чистого золота пшеничным зерном. Но, работая от зари до зари на чужих людей, он радовался хорошим видам на урожай, в засушливое лето горячо молил бога о дожде, жадно мечтал стать настоящим хозяином степей и пашен. И вот — на́ тебе!— теперь, когда Нашатырь, обзаведясь наконец собственной лошадью, стал выбиваться в люди, распахав до трех десятин целины и взрастив на них добрый урожай пшеницы, теперь, когда у него была уже своя пашня и свой собственный дерновый шалаш на ней,— все грозило рухнуть прахом, провалиться на глазах у него в тартарары!

Недоверчиво, почти уж откровенно-злобно глядючи исподлобья на позднего гостя, Нашатырь думал теперь о

том, что не в добрый час и неспроста, наверно, забрел к нему этот нескупой на красное слово, с запыленным лицом и затемненным сердцем человек в полусюртуке, полурясе. И, вспомнив сейчас о дурном вчерашнем сне (ему приснился провалившийся потолок в избе), Нашатырь связал этот сон с неожиданным появлением незваного гостя и, уловив эту связь, уверовал, что и сон в руку, и гость к одному и тому же лиху — беде. Сложное чувство скованности и смущения перед бывшим игуменом и все нараставшего озлобления против него овладело Нашатырем, и он уже был готов вышвырнуть вон из избы гостя.

Дело, однако, приближалось к рассвету. Бывший игумен, умолкнув, искоса поглядывал на притихшего в глубоком раздумье хозяина и, барабаня по столешнице костлявыми, будто железными пальцами, чего-то ждал: или того, что скажет хозяин, или сам приберегал на прощание что-то такое, о чем не смел пока говорить.

— Когда же нас начнут выселять?

— Полагаю, что долго ждать не придется. Совхоз уже базируется на месте центральной усадьбы. Я вчера там проходил. Шатры ставят. Походные кухни дымят. Не совхоз — военный бивак, лагерь Батыя! И трактора уже погрохатывают. Должны начать штурм целины. Стало быть, и за выселками вашего брата дело не станет.

— Так ведь осень не за горами. Разве мы успеем на новом месте обстроиться?

— А уж это дело хозяйское. Зима — не тетка. Придется торопиться...

— Нет, шабаш. Я из своей избы не уйду. Умру — не выйду!— твердо заявил Нашатырь.

— Ничего. С одним с тобой справятся. Не велика птица. Пинком вышибут,— презрительно усмехнулся гость.

— Да и не я один. Мы всем миром упремся. Все до одного в хатах закроемся. Как в крепости при осаде.

— Все до одного? А вот это уже другой разговор!— сказал, оживляясь, бывший игумен.

И гость быстро придвинулся поближе к оторопевшему от этого воровского движения хозяину и заговорил тем глухим, переходящим в полушепот голосом, каким разговаривают люди, нечистые сердцем, замыслив недоброе:

— Эк ведь ты какой, гляжу на тебя, огнеопасный! Так с тобой и пожару в степях наделать недолго. Так вот что я скажу тебе напоследок. Дело тут сурьезное. Пороховое.

Катастрофой, конечно, пахнет... Я уже сказывал тебе, что про подобные издевательства над мужиком на скрижалях апостолов коммунизма ничего не написано. Ни у Маркса, ни у Ленина никаких цитат на этот счет не найдешь. Классики марксизма об этом умалчивают... А что касается вашего хутора, то тут вы, конечно, будете вправе постоять за себя. Но при условии — всем миром. Короче говоря, оказать организованное сопротивление. Открыть массовую контратаку. Но — тише. Тише,— горячо прошептал гость, торопливо хватая за плечо хозяина, хотя тот сидел за столом весьма смирно и не пытался шуметь.

Снова оглядевшись по сторонам, напряженно прислушавшись к неясным ночным шорохам за окном, гость прошептал:

— Вот мой совет. Собери поутру с десяток верных однохуторян и объяви им тревожные вести. На меня, разумеется, не ссылаться. Обо мне никому ни гугу. Ясно?

— Понятно,— коротко ответил Нашатырь, вновь ощутив при этом противный озноб на спине.

— Словом, твоя задача — народ предупредить. Лишь бы беда врасплох не застала, а там увидите, что делать.— И гость заспешил, собираясь в дорогу.

— Куда вы так торопитесь? Отдохнули бы часок-другой,— сказал звонарь, хотя в душе был рад уходу гостя.

— Нет, нет. Благодарствую. Пойду. Решил по холодку до райцентра добраться. Там у меня деловое свидание с надежным человеком.

— А в случае чего где вас искать?— спросил Нашатырь.

— Вопрос к месту. Да ты не тужи, братец. В нужную минуту я сам тебя навещу. Гора с горой не сходится. Мы же с тобой — живые люди. Ну, прощай. Не робей. Веруй, брат!— сказал бывший игумен. И, слегка коснувшись правой рукой плеча хозяина, дрогнувшего от его прикосновения, он поспешно метнулся в низкую, узкую дверь избушки и тотчас же исчез как привидение.

Выскочив следом за гостем, Нашатырь не нашел его ни на дворе, ни на улице.

Светало.

Мерцая неяркими звездами, кренилось над хутором очистившееся от облаков небо. Настороженная, почти физически ощутимая тишина сковывала пустынные улицы. Только где-то далеко-далеко в степи неистово ржали и

яростно били землю копытами кони, должно быть почуявшие близость зверя.

И Нашатырь, прислушиваясь к тревожному ржанию и гулу конских копыт, долго стоял на перекрестке, рассеянно озираясь по сторонам, словно не знал, куда ему надо было повернуть в эту минуту.

14

На заседание бюро райкома партии Азаров запоздал. Он не спал двое суток подряд. Прободрствовав прошлую ночь на строительстве центральной усадьбы зерносовхоза, он провел утром производственные совещания со строительными бригадами и с трактористами, только что прибывшими с курсов. Потом, позднее — это было уже к вечеру — он засел за скопившуюся почту и, роясь в бумагах, все же не выдержал — заснул за столом.

Очнувшись, он долго смотрел на карманные часы со светящимся в темноте циферблатом, но не в силах был сообразить, который час, хотя и отчетливо видел золотистые усики стрелок.

Наконец убедившись, что было уже без четверти десять вечера, и вспомнив, что к девяти надо было быть в райцентре на бюро районного комитета партии, Азаров наскоро набил полевую армейскую сумку заранее подготовленными сводками о строительстве, о завезенном горючем, о тракторах и прицепном инвентаре, о кадрах механизаторов и строительных рабочих и поспешно вышел к дежурившему круглые сутки у окошка директорской конторки-времянки газику. Он приказал шоферу Жоре Бровкину, демобилизованному кавалеристу с лихо закрученными усами, пулей лететь в район.

Ворвавшись без стука в битком набитый людьми кабинет первого секретаря райкома партии, Азаров с виноватой улыбкой поспешно присел на первый попавшийся стул.

С первой же секунды Азаров понял, что к главному вопросу повестки дня бюро приступило только сейчас, когда секретарь райкома Николай Чукреев предоставил слово помощнику директора совхоза по производственной части, медлительному в движениях, атлетически сложенному украинцу Алиму Старожуку. Старожук, видимо никак не ожидавший того, что ему придется докладывать, долго рылся в засаленной записной книжке,

отыскивая какие-то цифры, и наконец ограничился тем, что зачитал подвернувшиеся под руку сводки о ходе строительства центральной усадьбы, да и то это сделал кое-как, маловнятной скороговоркой.

Азаров ждал, что вслед за Старожуком Чукреев предоставит слово ему — директору совхоза. Однако секретарь райкома, пристально посмотрев на Азарова и пожевав тонкими вялыми губами, вдруг сказал, повернувшись к секретарю партийной организации совхоза Уразу Тургаеву:

— Послушаем теперь вас, товарищ Тургаев.

Зная слабость своего парторга, любившего поговорить запальчиво и длинно, Азаров украдкой вздохнул, с раскаянием подумав при этом: «А опаздывать-то мне все-таки не следовало!»

Тургаев, поднявшись с места, начал выступление с общих фраз, вполне, впрочем, гладких и порою даже красноречивых. Слегка раскосые узкие глаза его при этом смотрели напряженно в какую-то точку. Наголо бритую голову он держал тоже несколько косо и так же упрямо, как держит ее боксер, готовясь к решительному нокауту противника.

— Попрошу поконкретнее, товарищ Тургаев,— перебив парторга, заметил Чукреев.

— Хорошо. Постараюсь. Первая наша заповедь — сказать вам по-русски — дать государству дешевый хлеб. А это значит — выбить почву из-под кулака. Стало быть, зерновую фабрику — первый наш совхоз на целине — мы должны строить и быстро и дешево. Это — вторая из наших заповедей.

— Волга впадает в Каспийское море, Тургаев! Ты говоришь пока о том, что всем нам не хуже тебя известно,— насмешливо заметил ему секретарь райкома.

— Прошу извинить... Теперь — к вопросу о кадрах! Надеюсь, что тут некоторым членам бюро не все известно,— продолжал Тургаев.— Месяца два тому назад некоторые из руководящих работников района немало паниковали: «Ай, с кадрами зарез! Ах, ах, трактористов из-за границы придется выписывать! Ой-бой, ой-пур мой!» И так далее... А сегодня я могу доложить членам бюро, что в совхозе у нас налицо уже семьдесят пять трактористов. С неба они свалились к нам или мы их в самом деле из Америки выписали?

— Что это за кадры? Доложи,— строго сказал Чукреев.

— Докладываю. В основном наш народ.

— Что значит наш?— перебил его член бюро, заведующий районным земельным отделом, Макар Шмурыгин.

— Наш. Степной. Коренной. Одни из них вчера байские табуны пасли. Другие у кулаков батрачили. У таких, как Лука Бобров или Епифан Окатов.

— Скороспелые кадры!— заметил с ехидной улыбочкой Шмурыгин.

И хотя Тургаев не слышал ехидной реплики заврайзо, однако получилось так, будто он ответил на его замечание, когда сказал:

— Это же не секрет, что некоторые из руководящих работников района походя твердили, да, возможно, и сейчас твердят,— заметил как бы в скобках, покосившись на Шмурыгина, Тургаев,— что из бывших кочевников рабочих ведущих профессий в совхозе не сделаешь. Это же, дескать, еще в конце концов дикари, которые в силу культурной отсталости, патриархально-бытовых и религиозных предрассудков не смогут освоить сложной импортной техники — разных там «фордзонов» и «катерпиллеров». С арканом, говорили они, за такими кадрами придется в степи охотиться. Но, как видите, дело обошлось без арканов. Из семидесяти трактористов первого выпуска — тридцать четыре казаха. Эти ребята сумели взнуздать стальных коней, и наездники — слово даю — из них будут неплохие!

— Опять ты митингуешь, парторг. Закругляйся. Поближе к делу,— требовательно постучал карандашом по столу секретарь райкома.

— Вот именно. Крутишь вокруг да около, как конь на одном копыте. А по существу — ни слова. Ты лучше давай о землеустройстве совхоза членам бюро доложи,— сказал следователь Голун, рыхлый человек с сонными, неопределенного цвета глазами.

— По-моему, парторгу следовало бы о партийно-массовой работе здесь говорить, а не о тракторах и землемерах,— заметил председатель райисполкома Арефий Старцев.

— Тихо, тихо, товарищи. Я никому пока слова, кроме Тургаева, не давал. Продолжай, Тургаев. Да покороче,— кинул Чукреев умолкнувшему было парторгу.

— Ну ладно, жерайды,— сказать по-казахски. За-

кругляюсь,— живо кивнул бритой головой парторг.— Всего два слова о землеустройстве. Землеустроительные работы в зерносовхозе в основном закончены. Но это только по форме. А по существу тут полный тарарам. Темный лес. Крутые горы. Как известно, совхозу отведено около ста тысяч гектаров земли из специальных государственных фондов. Нам предстоит на будущий год посеять сорок тысяч га по поднятой целине. Понятное дело, что все земельные участки должны быть сосредоточены в одном месте. Во всяком случае, не далее чем в двадцати — тридцати километрах от будущей нашей центральной усадьбы. А что у нас получается? Под третье отделение зерносовхоза прирезан, например, земельный массив по ту сторону озера Май-Балык. Это — в семидесяти пяти километрах от центральной усадьбы, за полтораста верст от железной дороги. И потом, дело поехало дальше. Ни с того ни с сего нам почему-то прирезали весь земельный надел хутора Белоградовского. Плюс — часть земельных угодий хутора Арлагуля. Это уж совсем не тот номер. Ведь к югу от центральной усадьбы на сотни километров тянутся вековые целинные земли. Их там невпроворот. При чем же тут, спрашивается, хутора?

— Ты погоди, погоди. Вопрос о переселении хутора давно решен в высших правительственных инстанциях. В крае. На это отпущены соответствующие ассигнования. О чем же еще разговор?— нетерпеливо перебил Тургаева Чукреев.

— Его еще не поздно перерешить,— заметил с места Азаров.

— Совершенно верно,— живо откликнулся на замечание Азарова Тургаев.— Очень не поздно. Легче этот грех исправить сейчас, чем потом всем аюром за него каяться.

— Вы что же, против переселения?— спросил, нахмурив брови, Чукреев.

— Да, мы считаем, что это ненужная затея,— ответил парторг.

— Кто это — вы?— с вызовом спросил Чукреев.

— Мы — руководство зерносовхоза. Его треугольник. То есть — дирекция, партком, рабочком.

— Стало быть, вы не признаете решения вышестоящих партийных и директивных организаций центра?— стал наседать на парторга Чукреев.

— Нет, мы просто считаем своим долгом исправить допущенную кем-то ошибку,— сказал парторг.

— Иначе говоря, вы с Азаровым и плюс рабочком Канахин за ревизию партийных решений?— спросил, щурясь на парторга, секретарь райкома, и тонкие вялые губы его тронуло подобие не очень доброй усмешки.

— При чем тут ревизия? Повторяю, мы — за исправление грубой ошибки. У нас достаточно целинных земель и без полуосвоенных уже наделов хуторов Белоградовского или Арлагуля.

— Товарищ Чукреев, а вы потребуйте от парторга с директором показать нам на почвенной карте нашего района свободные целинные земли,— запальчиво проговорил, привскочив со стула, блестя своими очками, заврайзо Макар Шмурыгин.

— А при чем здесь карта? Вот возьмем, скажем, для примера целинные степи к северу от дачи Кармацких. Там же около десяти тысяч га вековой нетронутой целины,— ответил на реплику Шмурыгина Тургаев, глядя при этом на Чукреева.

— Позвольте! Позвольте! Но вы знакомы с химическим анализом почвы данной местности?— спросил, опять привскочив со стула, Макар Шмурыгин.

— Вполне!— спокойно произнес Азаров, развертывая на коленях большой лист ватманской бумаги — схемы почвенной карты района, составленной профессором почвоведения Румянцевым.

Наступила пауза. Секретарь райкома кивнул Тургаеву, чтобы тот садился. И Тургаев, не спуская глаз с Азарова, нерешительно присел на краешек стула.

— Можно мне?— спросил Азаров.

— Ну, ну. Только прошу — покороче,— сказал Чукреев, попрочнее усаживаясь в широкое полужесткое кресло.

— Хорошо. Постараюсь,— сказал Азаров. Встав со своего места, он несколько продвинулся вперед, поближе к столу секретаря, и, оглядев всех присутствующих беглым изучающим взглядом, продолжал:— Парторг наш прав. Видно, землеустроители при нарезке земельных участков совхозу руководствовались принципом: «Шей да пори — не будет пустой поры!» Это черт знает что!

— Вы хотите сказать, вредительство?— спросил с явной иронией Чукреев.

— А бог его знает. С такими выводами пока спешить не будем,— продолжал все в том же спокойно-уверенном тоне Азаров.— Но если это были даже не вредители, а просто-напросто дураки, то нам от этого нисколько не легче... В самом деле, под руками у нас десятки, больше — сотни тысяч гектаров целины. И какой целины — чернозем в полметра! А нам отводят участок за тридевять земель, почти в ста километрах от центральной усадьбы. Как это, позвольте спросить, называется?

— Это вы все о бывшем участке Кармацких? А, извиняюсь, вы случайно не репу собрались в совхозе сеять?— спросил беспокойно ерзавший все время на стуле заврайзо Макар Шмурыгин.

— А вы не паясничайте. Здесь не Куяндинская ярмарка, а бюро районного комитета. Это — во-первых,— строго сказал Азаров, на мгновение поглядев в упор на Шмурыгина.— Теперь — во-вторых. Очень печально, что с первых же шагов мы с парторгом оказались на этом бюро в какой-то мере в оппозиции к районному комитету, что ли. Однако я считаю своим долгом сказать здесь честно и прямо, что, вопреки вытекающей отсюда установке, дирекция вынуждена будет принять решительные контрмеры.

— О каких контрмерах речь?— спросил насторожившийся Чукреев.

— Мы переселять хуторов не будем,— коротко и просто ответил Азаров.

— Сильны!— послышался чей-то голос. Было неясно, прозвучало ли это в осуждение или в одобрение позиции, занятой Азаровым и его товарищами.

— Ни в коем случае. И прежде всего потому, что это не вызвано причинами политического и экономического порядка. А еще проще сказать — потому, что все это просто-напросто глупо,— продолжал Азаров.— И потом, еще одно важное обстоятельство. Зачем же без видимой нужды тратить сотни тысяч рублей государственных денег на переселение двух русских хуторов за сотню километров в степь и в то же время бок о бок с зерносовхозом благоустраивать точки оседания бывших кочевников — казахов?

— А вы что же, против политики оседания казахов?— спрятавшись за широкой спиной председателя райисполкома, снова поддел Азарова Макар Шмурыгин.

— Помилуйте, я не глупее вас,— огрызнулся Азаров

и, заметив, что Чукреев готов его перебить, поспешно добавил:— Я уже не говорю о том, что самим фактом ничем не оправданного переселения хуторов с их обжитого места в глубинную степь мы даем лишний козырь в руки классового врага против нас же с вами, против нашей партии, против народа.

— Товарищ Азаров!— повысил голос Чукреев, предупреждающе постучав о стол зажатыми в горсть карандашами, поспешно схваченными из подставки.— Вы начинаете забываться. Это уже похоже на политическое обвинение бюро районного комитета партии. Считаю долгом напомнить вам, что земельный массив, о котором вы так горячо и не очень доказательно твердите здесь со своим парторгом,— это солончаки. Непахотоспособная земля. Вы, видимо, плохо знакомы с почвенной картой почвоведа Румянцева.

— А у меня есть основания не доверять этой карте,— сказал Азаров.

— Ну, это уж слишком,— прошипел, заерзав за спиной председателя райисполкома, Макар Шмурыгин.

— Да, есть основания не доверять почвенной карте профессора Румянцева,— повторил Азаров.

— На чем же это недоверие основано?— спросил Чукреев тоном следователя.

— На собственном моем опыте,— ответил Азаров.

— Насколько мне известно, вы не агроном и не почвовед,— заметил Чукреев.

— Я сам в свое время батрачил в усадьбе Кармацких. Было дело. Сам пахал эту землю. Кармацкие снимали, помню, до ста пудов с десятины по целине и такой же урожай на парах. Что это, солончаки?! Непахотоспособная почва?!

— Товарищ Чукреев! Напомните ему, пожалуйста, о химическом анализе этой почвы,— умоляющим тоном попросил секретаря райкома Макар Шмурыгин.

— Дайте мне ваш анализ!— требовательно протянув к Шмурыгину руку, сказал Азаров и тут же убежденно добавил:— Вздор это все. Не существует никакого анализа. А впрочем, тут и без лабораторной возни, на глаз, на вкус, черт возьми, видно, чем попахивают так называемые румянцевские солончаки!

— На глаз?!— переспросил с усмешкой Чукреев.— Ну, это определеньице довольно кустарное, Азаров.

— Во-во, на глаз вижу. Мне пока, слава богу, зрение

не изменяло... А действовать в практике руководства строительством зерносовхоза на целине я буду так, как мне подсказывают моя политическая совесть и производственные соображения, с государственной точки зрения. Мешкать нам некогда. Осень не за горами. Надо успеть поднять до сорока тысяч гектаров целинных земель. Никто не осудит нас, если мы распашем в степи лишних пять тысяч га целины, не тронув с обжитого места хутор Белоградовский или хутор Арлагуль. Тем более что целины этой здесь — невпроворот. Вместо сорока тысяч, будь у нашей страны возможность, здесь можно было бы поднять миллион гектаров. И время придет — они будут подняты!

— Короче говоря, что вы предлагаете?— спросил Чукреев.

— А я уже сказал. Хуторов переселять мы не будем. Вместо этого распашем целинные земли на ближнем к нам бывшем участке Кармацких.

— Все?— спросил Чукреев.

— Все, пожалуй,— сказал Азаров, садясь на свое место.

Наступившая затем напряженная пауза затянулась. Чукреев, поспешно записывая что-то в своем блокноте и не глядя ни на кого, спросил:

— Кто будет говорить?

Присутствующие на бюро ответили ему на это только некоторым малозаметным оживлением и сдержанным покашливанием. Но когда Чукреев, покончив с записями, вопросительно посмотрел на сидевших вблизи него членов бюро, Макар Шмурыгин привскочил с места и сказал, недоуменно пожимая плечами:

— Собственно, о чем говорить? С выводами профессора Румянцева мы все обстоятельно знакомы. Установка районного партийного комитета одобрена свыше и признана политически правильной. Оспаривать научные данные мы голословно, «на глазок», как выразился товарищ Азаров, разумеется, не можем. Все, кажется, предельно ясно...

— Так,— сказал Чукреев, грубовато перебивая Макара Шмурыгина, и поднялся со своего кресла, как это он всегда делал, произнося заключительное слово на заседаниях бюро.

Все притихли.

Выдержав небольшую паузу,— это тоже был его

излюбленный прием, которым он молча подчеркивал значимость своего выступления,— Чукреев сказал:

— Два слова к порядку прений по заслушанным сообщениям. Во-первых, не будем возвращаться к вопросу уже решенному. Я имею в виду вопрос о переселении хутора Белоградовского... Во-вторых, считаю долгом напомнить товарищу Азарову, что зерносовхоз расположен в районе, политическую ответственность за который несет в первую голову бюро районного партийного комитета. Отсюда — позвольте нам, товарищ Азаров, делать соответствующие выводы... За хозяйство же перед партией отвечаете персонально вы — директор, член партии, к тому же еще с дореволюционным стажем!— почти по складам произнес Чукреев последние слова и, переводя тяжелый, порицающий взгляд с Азарова на Тургаева, продолжал все в том же назидательно-обличительном тоне:— Партия не потерпит подобных анархических замашек и административных заскоков. И не простит этого своеволия никому... Массивы пахотоспособных земель зерносовхоза определены высокоавторитетной комиссией специалистов, которые руководствовались в своей работе, надо думать, более совершенным инструментом, чем, скажем, азаровский глаз или тургаевское ухо!

При этих словах Чукреева Шмурыгин, подобострастно хихикнув, зачем-то пересел с одного стула на другой, не без злорадства посмотрев на спокойное лицо Азарова с насмешливо приподнятыми бровями.

А Чукреев, снова выдержав паузу, продолжал:

— Я полагаю, что запоздалые и ничем не обоснованные доводы дирекции за присоединение к границе землепользования зерносовхоза явно непригодного, сознательно обойденного массива целины мы вправе будем считать неудовлетворительными. Это — раз,— заключил Чукреев, внушительно стукнув карандашом по столу.

— Это совершенно правильно,— прозвучал бабий тенорок Макара Шмурыгина.

— Предлагаю,— продолжал все тем же исключающим возражения тоном Чукреев,— в подтверждение ранее принятого нами решения обязать товарища Азарова под его личную ответственность переселить жителей хутора Белоградовского на отведенный им участок. Это — два.

— Точно,— прозвучал чей-то глуховатый голос.

— Командировать уполномоченного районного коми-

тета партии товарища Шмурыгина в хутор Белоградовский для проведения массово-разъяснительной работы среди подлежащих переселению крестьян. Это — три.

Чукреев снова помолчал, делая вид, что выжидает, пока технический секретарь, ведший протокол заседания бюро, успеет записать его резолютивные формулировки. Затем, остановив взгляд на спокойном, не к месту добродушном и как будто простоватом лице Азарова, веско заключил:

— А от имени бюро районного комитета партии предупредить товарища Азарова, что подобное администрирование с его стороны может повлечь за собой весьма тяжелые для него последствия. Мы на старые заслуги его перед партией не посмотрим.

И Чукреев вновь замолчал, мысленно прикидывая, насколько сильное впечатление произвел он своим заключением на членов бюро, а главное — на Азарова, перед которым он, собственно, и хотел порисоваться своей политической принципиальностью и деланным хладнокровием. Однако к тайному его огорчению Азаров не выказывал никаких признаков явного беспокойства, раскаяния или гнева. Сидел он в той же свободной позе, придерживая на коленях туго набитую бумагами полевую сумку. И только напряженно пульсирующие жилки на посеребренных сединой висках Азарова могли бы выдать внутреннее его волнение. Но близорукий Чукреев этого не заметил и был поражен в душе удивительным спокойствием директора в этот не такой уж, как видно, спокойный в его жизни час.

— Другие замечания будут?— совершенно иным уже тоном, мимолетной, как бы ничего не значащей скороговоркой, спросил Чукреев, бегло оглядывая поникнувших членов бюро.

Одни из них отмалчивались. Другие глухо пробормотали себе под нос:

— Нет. Все ясно.

— В таком случае заседание бюро считаю закрытым. Членов бюро прошу задержаться. Вас, товарищ Азаров, тоже. Попрошу пока обождать в приемной,— строго официальным тоном сказал, обращаясь к Азарову, Чукреев.

— Слушаюсь,— учтиво ответил Азаров и, легонько вздохнув, покинул кабинет.

Секретарь райкома партии оказался «на высоте».

Продержав Азарова в приемной полтора часа, он наконец пригласил его к себе. Азарову было не до этих издевательских отсидок в приемных— его ждали неотложные дела и на станции, где шла разгрузка платформ с тракторами и прицепным инвентарем, и в каменном карьере, где что-то не ладилось с заготовкой камня для фундаментов новостроек центральной усадьбы. Но, несмотря на все это, он терпеливо выждал, пока его позовет секретарь, и предстал перед ним все тем же внешне сдержанным и собранным.

Спокойно, не перебивая, выслушал он бесцветную, полную нудных нравоучений и азбучных истин речь Чукреева. Но когда Чукреев стал снова грозить Азарову суровыми мерами партийного взыскания, если тот воспротивится переселению хутора в глубинную степь, Азаров не выдержал. Не очень вежливо прервав секретаря на полуслове, он сказал ему:

— Вот что, Чукреев. Мы здесь одни. И кривить с глазу на глаз душой незачем. Если тебя опутали политические прощелыги или дураки — это еще полбеды. Вовремя одумаешься — хвала и честь за такое дело. А если ты и сам вместе с ними норовишь меня одурачить, заранее скажу: не выйдет! Так что давай договоримся напрямки. Или — или. Я у тебя на поводу не пойду. Извини. Не та школа. И не тот...

— Много на себя берешь, Азаров. Выходит, взнуздать меня хочешь?— спросил с недоброй усмешкой Чукреев.

— Что ж, норовистому коню иногда шенкеля в пользу...

— Ты не груби, не кичись своим дореволюционным партийным стажем,— заметил Азарову потемневший в лице Чукреев.

— Вздор говоришь. Вот уж этим-то я никогда не кичился. Просто я говорю это по праву возраста. И если хочешь — из уважения к тебе. Из молодых ты, а вижу — ранний. И говори спасибо, что я напомнил один на один тебе об этом. Если не сейчас, так придет время — благодарить за науку будешь,— сказал Азаров.

— Спасибо. Спасибо,— кивнул с усмешкой Чукреев, вставая из-за стола и давая этим понять Азарову, что неудавшийся разговор по душам окончен.

— И еще одно,— добавил после некоторого раздумья собравшийся уходить Азаров.— Мне, например, не совсем понятна позиция районного комитета партии и твоя

позиция, в частности, по отношению к местному кулачью. Оно, я вижу, тут совсем за последнее время обнаглело, распоясалось. Одни из них — кто, видать, поумнее — начинают хитрить, заигрывать с Советской властью. Другие прут в открытую на рожон.

— Это ты опять про арлагульского прасола Епифана Окатова и станичного волка Луку Боброва?— спросил Чукреев.

— Да. В первую очередь о них, конечно. Оба — примеры, так сказать, классические.

— Окатов у нас самораскулачился. Дом под школу отдал. Движимое имущество с инвентарем — обществу. Все это мы впоследствии передадим коммуне или артели. Какие же могут быть еще претензии к бывшему прасолу? Вот Бобров — это другое дело. Но до него мы, придет время, еще доберемся.

— Значит, по-твоему, такое время еще не пришло?

— А что же, Бобров — мужик деловитый. Ну, волк — это верно. Однако формальных поводов для репрессий над ним у нас тоже пока не имеется. Налоги он платит исправно, даже досрочно. Хлеба, мяса, шерсти и молока сдает государству вдосталь...

— Черт знает, что ты говоришь, Чукреев!— сказал с непритворным негодованием Азаров.— Неужели ни ты, ни члены бюро райкома не понимаете, что Окатов всех вас тонко и умно дурачит — шьет белыми нитками? А Бобров — поизворотливее, позлей, похитрей, он темнит. Вы ждете формальных поводов для репрессий над тайными и явными классовыми врагами? Смотри, Чукреев, как бы тем временем сами не очутились вы у этих врагов в западне!

— Ну, ты меня не учи — во-первых. Не пугай — во-вторых. Я не из пугливых!— заносчиво проговорил Чукреев, рывком протягивая Азарову на прощание плотную руку.

— Помилуй, я и не думал пугать. Я предупредить тебя хотел по-товарищески,— ответил Азаров, застегивая свой парусиновый китель на все пуговицы.

— Благодарю,— сухо сказал Чукреев, и снова еле приметная ироническая усмешка тронула его тонкие вялые губы.

Азаров укоризненно посмотрел на Чукреева, молча кивнул ему и вышел из прокуренного кабинета секретаря райкома.

15

Предки Луки Боброва, как и предки всех его одностаничников, были беглыми яицкими казаками, осевшими в степи во второй половине позапрошлого века. Братья Бобровы, впавшие в немилость яицкого наказного атамана, были разжалованы из офицерских чинов. Собрав внушительную ватагу недовольных — сабель в полтыщи,— они подались на Иртыш. Лет пять колесили братья по степям Киргизского края, опустошая и грабя аулы кочевников, а потом, согласно государевой грамоте, были призваны к основанию казачьих форпостов на так называемой Ишимской линии, дабы лихо стеречь скотопрогонные и торговые тракты от набегов немирных соседей.

Место в ту пору выбрали себе беглецы бойкое — на стыке великих караванных дорог из Персии, Индии и Китая в Россию. Крепость заложили на холме, вблизи трех безымянных курганов, и далеко был приметен дымок сторожевых ее постов.

Младшего из Бобровых, подхорунжего Феоктиста Боброва, убили при первой же стычке с персами, везшими караванным путем из Тегерана на Ирбитскую ярмарку фрукты и пряности. Старший Бобров и в преклонных годах не утратил хватки. Командуя станичным гарнизоном, ежегодно водил он лихих усачей к торговым дорогам и трактам. Там, хоронясь по дремучим займищам, выжидала казачья вольница проходящие мимо иноземные караваны. С гиком нападали казаки на смуглолицых водителей караванов, истребляли их и возвращались в крепость с богатой добычей — хмельные, крикливые, удалые.

После таких набегов рядились станичники в заморские ткани, одевали в шелка жен и наложниц, полоненных в кочевьях, балуя полуприрученных дикарок сладким вином и подарками.

От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну — из поколения в поколение передавалась потомству линейных старожилов удаль и воля предков, жажда к даровому рублю, любовь к коню, к чубам и нагайкам. Родитель Луки Лукича за некороткую жизнь дважды сказочно богател, дважды в пух разорялся, дважды постригался в монахи, но, не выдержав добровольного заточения в монастырь, бежал весной из обители, а на прихваченные

по пути монастырские деньги вновь мало-помалу раздул торговое кадило. Скупал по аулам конский волос, кожу и шерсть, сажал табаки, молол на ветрянках муку и года через два располагал уже доверием крупнейших в Сибири и Зауралье банков.

Кончил родитель Луки Лукича тем, что убил закадычного дружка — скотопромышленника Павла Перекатова, воздвиг в степи в память убиенного часовню и, откупившись от следователей, догадался вскоре скоропостижно скончаться на руках возмужавшего к тому времени сына — Луки, оставив ему в наследство ворох неоплаченных векселей и заложенный банку дом с движимым и недвижимым имуществом.

Узнав из завещания, подписанного покойным родителем, о незавидном наследстве, Лука Лукич без вести сгинул из станицы. Года два пропадал он бесследно — по слухам, где-то вблизи китайской границы, где вел довольно рискованную жизнь, связавшись с контрабандистами. Потом, вернувшись в крепость, Лука Лукич жил первое время тише воды ниже травы. От действительной службы отошел он, как тогда говорили, «по статье». Но поговаривали, что он просто откупился. Сначала перебиваясь мелочной торговлишкой в передвижной галантерейной лавчонке, постепенно Лука Лукич стал входить в силу. Он вошел в доверие к влиятельному степному князьку Садзасаку — крупнейшему конокраду и богачу Приишимских степей. Дружба Луки Лукича с нечистым на руку Кармацким и отпетым разбойником — баем Садзасаком вызвала у одностаничников разные кривотолки. Судачили, будто пошаливал молодой Бобров в союзе с княжескими джигитами в глуби степей, не очень милостиво встречая ярмарочных купцов, скотопромышленников и оптовых скупщиков кож. Но разговоры так и остались разговорами: прямых улик ни у кого не было.

Женился Лука Бобров как-то странно: крадучись от одностаничников, неслышно обвенчался с беглой из монастыря молчаливой инокиней Устиньей, которая на второй год замужества померла от родов, разрешившись двойней — Марфой и Симой. Лука Лукич устроил пышные — похлеще свадьбы — поминки.

И не успела еще остыть земля на гробе покойной, как женился Лука Лукич на вдове станичного писаря Пелагее Ветлугиной — женщине весьма тихонравной и столь красивой, что казаки при встрече с ней смущались

и робели, как мальчишки. А женившись вторично, откупил Лука Лукич у казны приобретенный ею с молотка родительский дом и обнес его высоким и неприступным, как острожная стена, бревенчатым забором. Тут взявший силу Лука Лукич вновь стремительно стал богатеть. Исподволь прибрав к рукам магазин обанкротившегося Корнея Коретина, Бобров вскоре вместо торговли красным товаром занялся сбытом водки, затем открыл погреб рейнских заморских вин и попутно занялся торговлей скотом и разведением табачных плантаций.

С одностаничниками он норовил жить в мире: охотно открывал кредит в монопольном заведении, без слов ссужал взаймы деньги, не беря при этом расписок, и годами не спрашивал долга. Он охотно и много пировал в станице со всеми, не гнушаясь даже и последним в крепости человеком — писарем станичного правления Санькой Судариковым. Но доступ к домашнему столу — пиру-беседе — Луки Боброва имели не многие станичники. Разгульные попойки для казаков Лука Лукич устраивал обычно в поле, на сенокосе или в чужом доме. И после каждой такой попойки, впадая в смиренное раскаяние, он заказывал в станичной церкви пышный молебен с акафистом и усердно бил выпуклым лбом о каменный пол древней церкви.

Одностаничникам казалось, что и кредитовал их и потчевал заморскими винами Лука Лукич бескорыстно, по завету родителя (так, по крайней мере, он сам утверждал), с распахнутым сердцем, из любви к землякам. И потому в канун колчаковщины, когда вышел срок выборной службы старому станичному атаману Тимофею Белоусову, мир долго и дружно упрашивал Луку принять из рук выборочных атаманскую булаву с серебряным набалдашником, увенчанным двуглавым орлом,— символ власти.

Церемонно поклонившись выборным в пояс, как требовал этикет, Бобров сказал короткую речь с высокого нарядного крыльца станичного правления:

— За честь и доверие покорно вас благодарствую, господа казаки, а принять такой долг перед вами не могу и за это нижайше прошу прощения. Атаманской булавы я не подыму — слишком тяжела она для моих слабых рук и к тому же не шибко праздных...

И Лука Лукич поспешно покинул крыльцо, почтительно уступив место старому атаману.

Вторая жена Луки Лукича, Пелагея Ветлугина, привела с собой в дом шестилетнего сына от первого мужа — Алексея. Это был весь в мать, тихий, застенчивый мальчик. Молодая, но будто всегда чем-то напуганная мать его, не чаявшая души в ребенке, всячески баловала его и лакомила втайне от второго мужа. Но, занятая с утра до поздней ночи бесконечными заботами по хозяйству, Пелагея все меньше и меньше стала заниматься сыном, и он мало-помалу так же стал чуждаться родной матери, как и отчима. Во время частых отлучек Луки Лукича, пропадавшего по неделям то в уездном городе, то в степи, то по ярмаркам, Алексей оживал, занимался строго запретными отчимом забавами: то гонял в просторном дворе голубей, то злил цепного кобеля Пирата, то, как индюка, травил свистом гонявшегося за ним по саду с батожком Симу. Оставшись один в доме, Алексей без устали носился по полутемным, пропахшим кожей и нафталином комнатам, нередко проникая даже в святая святых отчима — в спальню, где все казалось страшным и непонятным ребенку — от темных ликов угодников на оправленных в позолоченные и фольговые ризы иконах древнего письма до тяжелых, в кожаных переплетах, конторских книг, залитых чернилами и закапанных воском.

Годы шли. Алексей подрос, выровнялся.

И вот как-то, вернувшись с Куяндинской ярмарки, весь пропыленный, помятый и злой, Лука Лукич, неожиданно ввалившись в спальню, застиг там перепуганного насмерть пасынка.

— Эк ведь ты выдурел!— раздраженно сказал Бобров, разглядывая Алексея.— Даровой хлеб, видать, в пользу... Ну что же, женю тебя, дурака. Хватит — покрасовался. А ежели почитать меня будешь, наследником узаконю.

— Смилуйтесь, папенька. Отпустите меня на сторону. Уйду я в город Кустанай,— сказал пасынок.

— Это тебе зачем?— опешил отчим.

— К наукам склонность имею.

— Вот и вышел дурак!— сказал с усмешкой Лука Лукич.— Тоже нашел мне, где учиться — в Кустанае! Впрочем, опять, в какую науку пойдешь. Если в конокрады тянет, тогда — правильно, лучше этого города на свете нету. А я думаю тебя завтра же доверенным на табаки отправить. Вот где твоя настоящая академия!

И Лука Лукич вскоре выполнил обещание, данное

пасынку: отправил его на плантации, где и застрял Алексей на все лето, причинив отчиму немало тяжелых хлопот и огорчений своей неопытностью в деле обсчета поденщиков... А на следующий год Алексей был заподозрен отчимом в соучастии в заговоре рабочих, требовавших надбавку к поденной оплате.

Лука Лукич жестоко выдрал у всех на глазах Алексея кнутом и, прогнав навсегда с плантации, наглухо запер его в доме.

Отбывая домашний арест с карцерным режимом, Алексей стал подумывать о побеге. Но от этой затеи удерживала его мать. По ее испуганному, рано поблекшему лицу чувствовал Алексей, что живет в душе этой женщины некая горькая тайна. По многим признакам Алексей догадывался, что мать его стала отчиму в тягость. Тот уже не скрывал нечистоплотных связей с женщинами, был близок к тому, чтобы выгнать жену, введя в дом одну из любовниц.

Смутное, подернутое горьковатым дымком неясных воспоминаний, вставало перед Алексеем детство, и многое казалось теперь в нем чужим и непонятным. Чужим и непонятным был для него родной его отец — неуживчивый волостной писарь. Умер он на глазах пятилетнего сына — за утренним чаепитием.

Смерть его была непонятна мальчику, который думал, что умирают только одни старики на лавке под образами в белых, чистых рубахах, с восковой свечой в руках,— умирают так же хорошо и опрятно, как умер однажды дедушка Матвей. Не понимал Алексей и того, как случилось, что полунищая мать его стала хозяйкой большого, полного тлетворных запахов и нежилой прохлады бобровского дома, где скорбно горели всю ночь перед киотами лампады и сытые мыши резвились в пустынных комнатах.

Только позднее, уже возмужав, заметил Алексей открытые, полные голубого света глаза родительницы, крутой изгиб ее тонких приподнятых бровей, неясную, как полунамек, печальную улыбку, на мгновение озарявшую еще хранившее следы былой прелести лицо.

16

Однажды, вернувшись с табачных плантаций, Лука Лукич приказал позвать к столу пасынка. И когда Алексей, робко переступив порог малоуютной, сумрачной

столовой, почтительно поклонился отчиму, тот усадил его рядом, налил рюмку рябиновой настойки и, чокаясь с пасынком, сказал:

— Твое здоровье, Алексей. Невесту нашел тебе — ослепнешь!

Поспешно поставив на стол непригубленную рюмку с рябиновкой, Алексей забормотал что-то невнятное о своей молодости. Но отчим подсек его косым взглядом, собрал в кулак махровую скатерть, накрывавшую стол, и твердо заявил:

— Пей. Не робей. Завтра смотрины. Подстриги лохмы-то!

А через неделю с поразившей всех поспешностью закрутил Лука Лукич небывало пышную свадьбу пасынка.

До брачного вечера Алексей виделся с невестой только раз. Она была ростом на голову выше Алексея. При встрече с молодым женихом она взглянула на него холодными, зеленовато-выпуклыми глазами и чуть слышно назвалась Софьей.

Побыв в присутствии отчима с Софьей несколько минут, Алексей обрадовался, когда она собралась уходить. Прощаясь с ней, он почувствовал неприятный холодок ее узкой, тонкой руки, по-змеиному выскользнувшей из его ладони. А когда невеста уехала, Алексей незаметно тоже ушел из дому. Целый вечер пробродил он за крепостными валами станицы, не находя себе места от смертельной тоски, беспричинного озлобления к этой чужой непокорно-красивой женщине, будущая близость с которой была для него более страшна, чем желанна.

На брачный вечер были выписаны из Омска знаменитые на всю Сибирь музыканты-лилипуты братья Коверкотовы — четыре гармониста и барабанщик.

Как горячий, удушливый степной пожар, занялось над бобровским домом, а затем перекинулось на станицу, на соседние хутора неслыханное гульбище. В пляс ударились одурелые от застоя выездные бобровские рысаки, запряженные в дорогие фаэтоны, взятые напрокат в Омске. В свадебном поезде рядом с шикарными городскими каретами гремели расписные, в розах, фургоны отрубных кулаков и легкие рессорные пролетки станичных богатеев. Сотня верховых казаков, обнажив для куража клинки, провожала молодоженов от церкви до бобровского дома.

Лука Лукич выкатил на станичную площадь бочку

дешевого красного вина, разведенного сырой болотной водой, и поставил для дарового угощения мирян три ведра сдобренной табаком водки.

На брачном вечере бледным и трезвым сидел Алексей рядом с Софьей. Огромный, обильно заставленный водкой, пивом, винами и яствами стол, багровые, потные лица гостей — все плыло, мелькало в глазах Алексея, подернутых мутным туманом. За весь вечер Софья не взглянула на жениха и, только случайно задев его локтем, жеманно сказала вполголоса:

— Вы уж извиняйте меня на этом...

— Ничего... ничего...— несмело улыбнувшись, вежливо ответил жених и потупил глаза, еще острее ощутив ту неловкость, граничащую со стыдом, которую испытывал он, сидя рядом с Софьей весь этот вечер.

Уступая настойчивым просьбам станичников, тянувшихся к нему с рюмками водки и бокалами вина, Алексей залпом выпил два тяжелых граненых бокала с лимонно-желтым, искрометно пенившимся вином. Тотчас же опьянев, он с такой страстной силой сжал сухими, горячими пальцами узкую руку невесты, что Софья легонько вскрикнула и, чуть отодвинувшись от жениха, посмотрела на него, как ему показалось, позеленевшими от злобы глазами.

Мать Алексея, не спуская глаз, смотрела на сына. Лицо у нее было усталое, грустное и оттого казалось иным, похорошевшим. И Алексей при взгляде на мать почему-то краснел, опуская глаза, ему хотелось встать из-за стола, нежно обнять хрупкие материнские плечи, сказать ей что-то необыкновенно ласковое.

Высокий, сутуловатый казак Ермолай Прахов, оседлав стул, властно махнул рукой:

— Запевалы, ко мне!

Около дюжины таких же рослых станичников мгновенно окружили бывшего хорунжего — знаменитого полкового певца. И Ермолай, занеся над головой высоко поднятую руку, взмахнул ею, как выхваченным из ножен клинком, и, тряхнув табачным с проседью чубом, крикнул:

— А ну, вспомним старину, грянем, ребята, так, чтобы лампы потухли!

И, запрокинув голову, рявкнул он на весь дом могучим, гикающим от хмельного накала басом:

За Уралом, за рекой
Казаки гуляют,
Они всю-то ночь не спят —
В поле разъезжают.

И, то замирая на полутонах, то вновь стремительно взлетая на головокружительную высоту, повел за собой чей-то прозрачный, как серебряный колокольчик, подголосок всю голосистую стаю. И вот как бы закачалась на седлах в походном строю былая походная песня:

Казаки не простаки,
Славные ребята.
На них шапки-тумаки,
Все живут богато.

Песня гремела на весь огромный бобровский дом, где настежь были распахнуты все двери и окна. И многие из старых станичников, слушавшие ее, вспоминали походы и марши по пескам Туркестана, на сопках Маньчжурии и в Августовских лесах.

Как сибирские купцы
Едут с соболями,
А мы, хваты-молодцы,
Налетим орлами!

Всю добычу разнесем,
Сядем попируем.
Бражный ковш пойдет вокруг —
Все горе забудем!

Казаки пели. И было похоже, что опять звенели на встречном, горячем, пропахнувшем дымом далеких странствий ветру добела раскаленные зноем обнаженные сабли. И бывалые воины воскрешали в затуманенной хмелем памяти и мятежный гул идущей в атаку конницы, и шум полоскавшихся над головами полковых знамен, и мгновенный, как молния, блеск клинков, порозовевших не то от крови, не то от заката...

Лихо трубили травленые глотки полковых песенников старую, вынесенную из прадедовских походов песню сибирских казаков:

Наш товарищ — вострый нож,
Сабля-лиходейка.
Пропадем ни за грош,
Жизнь наша — копейка!

Трое седовласых станичников, крепко обнявшись друг с другом, переговаривались:

— Эх, и жили же прежде — не тужили!

— Не вспоминай. Не трави душу...

— Да, погарцевали, покрасовались мы, линейные казачки, в свое время.

— А мне сызнова квиток вчера на твердое задание выписали, сват.

— Зевать будем — скоро и на тот свет квитки от Советской власти получим.

— Кум, а кум! У меня трехлинейная винтовочка вся чисто в земле проржавела.

— Чистить, кум, надо. По уставному порядку. Я свою сепаратным маслом пока соблюдаю.

— Тсс!

И шепотом:

— А я, сват, с винтовкой японского образца чисто замучился; третий день никак собрать не могу.

— У меня на примете есть один человек. Большого ума. Инженер. Татарников. Сведу тебя с ним — он любую оружию понимает.

— Слышали, совхоз в степях создают. Трактора гудят. Каюк нам. Всю родимую степь вверх тормашками перебуровят.

— Ну и останутся в дураках. Кто же трактором степь пашет? Керосином землю протравят, рази тут хлеб родится?!

— А сват Бобров ничего не боится. Рискует. На широкую ногу живет. Ему эти самые квитки с твердым заданием — пампушки.

— Погоди, скоро и он дорискуется. Подрежут крылья и этому беркуту!

— Такому не скоро подрежешь.

— Ничего, Советская власть не из робких...

— На Дону, говорят, казаки мятеж подняли.

— Не диво. Там ребята — хваты. Те все могут...

— Эх, атамана бы нам, сват, боевого.

— Не буровь, сват. Тут всякий сброд — подслушают.

— Все возможно. Вон, видишь, по ту сторону сватьи мужлан сидит. Сразу видно — ГПУ!

— Какое там ГПУ. Это — крестник Луки Лукича. На днях только из острога вышел. Конокрад — я те дам!

Пальцы лилипутов врассыпную ринулись по перламутровым ладам гармоник. И старый бобровский дом

заходил ходуном во всеобщем вихре пляски. Прошелся Лука Лукич по горнице вслед за легко порхающей, раскрасневшейся, как свекла, бойкой бабенкой, браво отрабатывая подборами старомодных лакированных сапог стремительный такт пляски. Пылали яркими радугами разноцветные, красочные бабьи подолы. Легко, почти не касаясь носочками пола, то будто плыли по воздуху, то, взмывая кверху, порхали вокруг жестоких танцоров бабы, и сочные их, сдобренные винцом уста кривились в порочных улыбках. Дружно, с грохотом, рывками работали кованные железом подборы казачьих сапог, и в глазах завзятых плясунов, залитых хмелем и потом, мерк свет, каруселила горница, плыли зеленые, красные, радужные круги. А в полутемном углу горницы сидел, блуждая по сторонам равнодушно-холодным взглядом, Алексей Татарников. Выпил он за вечер много. Пил не морщась, не закусывая, уклоняясь от попыток пьяных гостей завязать с ним разговор. За такую нелюдимость он никому из присутствующих не понравился. Однако на диво всем хозяин дома, Лука Лукич, был необыкновенно учтив с этим несловоохотливым и угрюмым, никому не знакомым гостем.

В одной из соседних комнат снова вспыхнула походная казачья песня:

Мы когда тебя, поле, пройдем,
Когда, чистое, прокатимся,
Через речку переправимся,
Через речку-ручей быструю,
Через степь-ковыль широкую?

Алексей Татарников слушал песню, и далеко, в пустынное сумеречное поле, увела она его. Вспомнилась пыльная степная дорога, по которой в последний раз уходил он в тысяча девятьсот девятнадцатом году на восток из своей станицы. И опять сердце сжалось в комок. Со звериной тоской ощутил он прилив такой же звериной злобы против тех, кто мешал ему сейчас вернуться в родные края, а главное — против Луки Лукича, властно перегородившего ему дорогу...

Между тем свадебный вечер подходил к концу. Одуревшие от перепоя гости били посуду, целовались, пели и кричали во всю глотку:

— Горько!

Охмелевший Алексей, дрогнув от этих криков, повернулся к своей невесте и опешил: Софьи рядом с ним не

было. Растерянно оглядевшись вокруг и не найдя ее среди гостей в горнице, он выскочил из-за стола, опрометью бросился на поиски пропавшей невесты. Трижды обежав весь дом и нигде не найдя Софьи, он вдруг вспомнил, что за это время не видел и отчима. Тогда он бросился вон из дому.

Плохо соображая, что делает, Алексей, пав на первую попавшуюся оседланную лошадь, вихрем вылетел в настежь распахнутые ворота и наметом помчался вдоль улицы в степь. Только спустя минут десять, когда конь вдруг резко бросился в сторону и, переходя с карьера на рысь, понес седока целинной степью, Алексей пришел в себя, огляделся и понял, что слева от него тукло поблескивала под месяцем степная речушка. Осадив коня у обрыва, он спешился.

Бросив лошадь, Алексей побрел вдоль извилистого, крутого берега речушки. Шел он как слепой, то и дело останавливаясь, соображая, туда ли идет. Наконец он добрел до давно одичавшего, заброшенного отчимом прадедовского сада, примыкавшего к самому берегу реки. Это было место глухое, заросшее акацией, бузиной, смородиной и жимолостью. В саду стоял тот неясный и тревожный шум, какой можно всегда услышать в лесу перед погожим летним рассветом. С трудом продираясь сквозь дремучие дебри зарослей, Алексей выбрался на небольшую полянку, окруженную полувысохшими тополями, и тут у него подкосились ноги.

В глуби поляны, под старым, опаленным недавней грозой тополем Алексей увидел отчима и Софью. На мгновение отупев от гнева и обиды, он стоял как вкопанный, тупо глядя на отчима и невесту в белом подвенечном платье со смятой фатой. Доверчиво прижимаясь грудью к свекру, Софья что-то шептала ему.

«Убью! Обоих!»— твердо решил Алексей. Судорожным движением руки нащупал в кармане нож-складенец. Затаив дыхание, он стал пробираться кустами к отчиму и невесте. Ему удалось подкрасться к ним почти вплотную. На секунду очнувшись, он услышал горячий шепот Софьи, и это подстегнуло Алексея,— слегка присев, как это делают люди, готовясь к рискованному прыжку, и отнеся назад руку со стиснутым в ней ножом, он бросился на отчима, рассчитывая всадить ему нож в спину.

Но Лука Лукич, ловко выскользнув из-под прямого

расчетливого удара пасынка, схватил на лету его руку и с такой чудовищной силой сжал ее в запястье железными пальцами, что Алексей, слабо крикнув от боли, повалился к ногам отчима. Ткнувшись лицом в прохладную от росы траву, он замер.

Прижав пасынка к земле ногой, Лука Лукич вполголоса молвил:

— Замри!.. Извиняй уж меня, Алеша. Пьяное, так сказать, дело! Ну, а ежели пикнешь — на меня не пеняй. Не прогневайся. Убью. Убью,— повторил тихо и внятно Лука Лукич и, по-хозяйски обтерев красным носовым платком отобранный у пасынка нож-складенец, положил его в карман нарядного бешмета из тонкого довоенного сукна. Затем он не спеша пошел прочь следом за исчезнувшей уже Софьей.

На пятые сутки, когда затих после шалого гульбища старый бобровский дом, Алексей, осунувшийся, похудевший, желтый, будто после долгой болезни, простился в сумерках с перепуганной, ничего не понимавшей матерью и, сутулясь под встречным ветром, не оглядываясь назад, пошел искать доли и счастья.

Пелагея, проводив Алексея до окраины станицы, стояла у старого, осевшего на один бок ветряка и, до боли напрягая подернутые влагой глаза, долго смотрела вслед уходившему в степную вечернюю полумглу сыну. И по тому, как он шел — твердо и ходко, и по тому, как дрогнули при прощальном поцелуе теплые запекшиеся губы его, поняла мать, почуяла сердцем, что уходил он отсюда, из этой станицы, от нее — родной матери — навсегда.

Позднее, ближе к полуночи, Пелагея, вернувшись в дом, застала мужа и невестку в столовой. Они сидели за самоваром — друг против друга. Лука Лукич, картинно придерживая пальцами блюдечко, пил чай. Софья, положив на стол обнаженные по локоть белые руки, молча смотрела на свекра зеленоватыми навыкате глазами, и неясная порочная улыбка таилась в уголках ее полных, подрагивающих губ. И Пелагея обо всем догадалась при одном мимолетном взгляде на мужа и Софью.

17

В Белоградовский из райцентра прискакал верхом очумевший от запальной езды Антип Карманов и мгновенно поднял на дыбы весь хутор. Настигнутый тревогой

врасплох, Антип не успел даже обуть сапог и так, босой, в грязной шелковой рубахе с настежь распахнутым воротом, пролетел он карьером по хуторской улице и, на всем скаку спешившись около церкви, закричал:

— Караул! Беда!

В Белоградовском был базарный день, и по этому случаю большинство арлагульских мужиков и баб съехалось сюда чуть свет, расположившись на церковной площади.

Очутился здесь и Филарет Нашатырь. День был воскресный, и звонарь явился в Белоградовский отзвонить по всем правилам «Достойную» на колокольне старой церкви, колокола которой славились своей необыкновенной звучностью. Как и всегда, Нашатырь нашел себе надежный приют в избушке церковного сторожа, давнего своего дружка-приятеля, девяностолетнего старика Емельяна Зыкова. Нашатырь первым услышал тревожные вопли Антипа Карманова и бросился со всех ног к церкви.

— В набат! Бей в набат, звонарь!— крикнул, завидев насмерть перепуганного Нашатыря, Антип Карманов.

— Пожар?— спросил Нашатырь, хватаясь за канат, спущенный с колокольни.

— Бей, тебе говорят, в набат. Тут похуже огня и воды!— прохрипел Карманов, суетясь вокруг Нашатыря, лихорадочно распутывавшего канат, привязанный калмыцким узлом к железной скобе у паперти церкви.

Взвыл колокол. И дробный, трубный гул его поднял в мгновение ока на ноги и старых и малых белоградовцев и съехавшихся на базар арлагульцев. С баграми, вилами, ведрами и лопатами сбегались на церковную площадь поднятые шальным звоном мужики и бабы. Близнецы Агафон и Ефим Куликовы прилетели, сидя верхом на одной лошади.

Толпа, битком набившись в просторную церковную ограду, вплотную окружила Карманова, стоявшего на паперти неподвижно, как памятник. Антип, подав знак рукой, призвал мир к порядку:

— Тихо, дорогие сограждане! Тихо!.. Теперь слушайте меня. Пожара, говорите, испугались? Не видите, где горит? А кругом все горит! Все родные степи наши в огне. С четырех сторон идет на нас, мужики, огонь, и укрыться нам некуда...

В толпе раздались выкрики:
— Да он что, белены объелся?
— В насмешку народ взбулгачил!
— Дурь ему в башку с перепою ударила.
— Худо его, варнака, били на троице!
Братья Куликовы, почуяв возможность подраться, уже запаслись на всякий случай дубинками.
— Тише, ради Христа. Тише, граждане!— закричал Карманов, пытаясь угомонить взбудораженную толпу.— Выслушайте меня. Страшные вести для нас с вами имеются. Не зря я коня чуть не запалил. Не зря в набат звонаря бить заставил. Тише... Вы требуете пожар? Пожару на хуторе, как видите, пока, слава богу, нет. А вот земля у нас горит под ногами.
Люди притихли. Насторожились, по-гусиному вытянув шеи, бабы. Замерли выжидательно мужики.
Близнецы Куликовы, положив на плечи дубинки, в голос крикнули Карманову:
— Говори короче. Без притчей!
— Притча немудрая, граждане. Отстрадовались мы, видит бог, на родной земле. Плакали наши пашни с покосами. Все идет в тартарары. Все — вверх тормашками. Все — прахом. Выселяют нас с насиженных мест. Всех, подчистую. Всем каюк. Для всех одна дорога — на пески, на солончаки, в голодные степи!
— Это за что?
— За какие грехи?— крикнули один за другим Ефим и Агафон Куликовы.
— В сей секунд все дочиста доложу. Прошу не сумлеваться,— крикнул в ответ Антип и, пройдясь по паперти, продолжал:— Новых пахарей в степи Советская власть разыскала. А мы с вами, выходит, не хлеборобы. Киргизье нашей землей ублаготворяют. А нас — на выселки! Их на отборные земли сажают. Для них крестовые дома с парадными крылечками в совхозе ставят. А русского человека из родного гнезда вон. Вся наша земля в казну отходит. А нас солонцами хотят кормить — пустыней, песками. Измором хотят взять!
— Ну, это ты врешь!
— Это ты с перепою, видать, буровишь!— опять один за другим закричали близнецы Куликовы, зловеще потряхивая дубинками.
— Не верите мне, придется поверить райуполномоченному. Он сегодня сюда прибудет. Он тут золотые горы

будет сулить — приговор на выселки от нас требовать. Но, извиняйте, такого приговора мы не дадим!

— Не дадим!

— Не подпишемся!

— Не позволим себя дурачить!

— Правильно. Не давать такой подписки — и шабаш!—запальчиво закричал Антип Карманов.— Денег по тысяче на двор посулит — покорно вас благодарствуем, не надо! Мы подачками мир соблазнять не позволим. Все, как один, поперек дороги под самые трактора их ляжем, а родимый хутор не предадим. Без нашего согласу с места не выживут. Стеной станем — не пошатнемся!

В толпе, пришедшей в движение, показался Елизар Дыбин. Бесцеремонно расталкивая локтями плотно стоявших друг к другу белоградовских и арлагульских хуторян, он, повернувшись вперед, поднялся на паперть и с ходу схватил могучей пятерней за грудки Карманова.

— Замри, выродок! Я тебя в один момент за такие слова зашибу. Душу из тебя с вывертом выну!

Толпа снова притихла. Елизар Дыбин, брезгливо отшвырнув от себя перепуганного Карманова, сказал, обращаясь к ошарашенным хуторянам:

— Слушайте меня, граждане мужики, а также и гражданки бабы. Все это — чистая фальшь. Я за верное слово свое башку на дровосек положу! Не слушайте вы его, вражину. Не верьте ему, граждане. Пущай он с этой паперти сейчас же отречется от своей брехни, или я его у всех на глазах убью!

— А ты откуда такой праведный взялся?

— Чем докажешь, что он брешет?

— Кто тебе поверит?— загудела на разные голоса встрепенувшаяся толпа.

— Что?!— спросил гневным полушепотом Елизар Дыбин.— Это в мое-то слово никто не поверит?! Да я на всем миру перед божьим храмом клятву дам! Я все докажу. Я за все головой отвечу. С цепи он, сукин сын, сорвался — лай на заре поднял: «В пески! На солончаки! В голодные степи выселят!» Враки. Фальшь. Так я наперекор его бреху всем отвечаю. Никто нас не тронет. Ни один волос с головы не упадет против нашей воли... На это я верные факты имею.

— Какие такие факты?

— А ну-ка, выкладывай!— снова крикнули один за другим близнецы Куликовы.

— Извольте. Сейчас выложу,— мгновенно отозвался на эти требовательные выкрики Елизар Дыбин.— Ходил я вчера в станицу. По делу. Метрики Митьке, сыну, хлопотал. Отмахал я верст двадцать в жару — ноги начали млеть. Дело шло к вечеру...

— Короче!— крикнул милиционер Серафим Левкин, который позднее всех прибежал на церковную площадь и не мог понять до сих пор, что здесь происходит.

Но Елизар Дыбин, будто не слыша визгливого милицейского окрика, продолжал:

— Присел я возле дороги перевести дух, переобуться. И вдруг слышу — гудит! Что такое? Батюшки! Пылит по тракту на всех парах машина. Пригляделся — автомобиль. Катит что есть духу прямо на меня. Я в сторону. А машина подкатила ко мне — и стоп. В чем дело? Стою, как в строю — руки по швам, грудь вперед, весь навытяжку. И вдруг, смотрю, открывается дверка в машине и меня кличут: «Садись, гражданин. Довезем — попутное дело!» Присмотрелся я к человеку в автомобиле, глазам своим не верю — что за притча?

— Али кого признал?

— Знакомое обличье увидел?— спросили один за другим близнецы Куликовы, мирно опираясь на свои дубинки.

— Слушайте, братцы, дальше, какая оказия со мной приключилась,— продолжал, волнуясь, Елизар Дыбин.— Пригляделся я к этому человеку, у меня и ноги врозь — подсеклись. Батюшки, да ведь это Кузьма Андреич Азаров! Сукин ты сын! Дружка! Ну, тут я со всех ног — к нему. Он меня тоже не сразу признал. Еще бы! Сколько лет, сколько зим! Обнялись мы. Расцеловались. Усадил он меня рядом с собой в автомобиль — и айда, покатили. Едем. На первых порах — ни слов у нас, ни речей. Только глядим друг на друга да, как малые дети, смеемся... Потом закурили. Тары-бары. Слово за слово. И разговорились.

— А кто он такой?

— Что за Азаров?— послышались голоса из толпы.

— Да наш человек. Свойский. Ссылку здесь при старом режиме отбывал. Мы с ним вместе на пашне у дохтура Кармацкого круглое лето чертомелили. А потом я — было дело — помог ему незаметно восвояси отсюда

податься. Ну, да это долгая песня. Об этом я вам доложу как-нибудь на завалинке — на досуге... А в сей секунд я насчет кармановской брехни отвечу. К позорному столбу его гвоздями пришью. У меня факты все налицо,— сказал Елизар Дыбин, простирая к толпе зажатые в кулаки руки.— Совхоз у нас строится — это факт. Это, как пить дать, правда. Второй факт — никто ни ваш, ни наш хутор с места не стронет. Это тоже — вернее некуда. А совхоз — бедовое дело. Одних тракторов целый табун и разных там всяких машин — тьма! Целину будут поднимать всю насквозь — десятин, говорят, тысяч сорок на первый случай. И Кузьма Андреич Азаров всему этому делу — голова. Ну я, конечно, полюбопытствовал: а как же, дескать, с крестьянским наделом — мужиков не обидите? Он и руками на меня замахал: «Что ты, Елизар! Окрестись да выспись. Мы не помещики — мужиков с земли выживать! Целины нам и без ваших наделов больше чем хватит. Окроме помощи вы, ребята, от совхоза ничего не ждите!»

— Суму надеть помогут,— сказал Карманов, опасливо покосившись на Елизара Дыбина.

Но Дыбин, презрительно взглянув на него, продолжал:

— А ежели, говорит, вы на хуторе артель сколотите, мы тракторами коллективную пашню распашем вам на целине.

— Так и сказал?

— Не врешь?— спросили опять один за другим братья Ефим и Агафон Куликовы.

— Это я-то вру?!— повернулся к близнецам Елизар Дыбин.— Это я-то на резонного человека клепать стану?! Да я за него в огонь и в воду! Башку на дровосек положу, ежели в поклепе меня уличите. Я таков. Мне все едино. Совру, выйдет не по-моему, рубанете меня — и концы в воду!

— Стало быть, выселять нас не будут?

— Это точно?— спросили братья Куликовы.

— Это — факт,— твердо ответил Елизар Дыбин.

— И даже тракторами нам целину подымут?— недоверчиво спросил арлагульский однолошадник Проня Скориков.

— В точности, если в артель запишемся...

— И на работу в совхоз можно определиться?

— В момент.

— Поклянись!— выступая вперед, требовательно, почти грозно сказали братья Куликовы.— А то нахвастал, а припрет — отрекаться вздумаешь.

— Что?!— вполголоса спросил, смерив братьев с ног до головы строгим взглядом, Елизар Дыбин.— Это я-то нахвастаю?! Это я-то от своих слов отрекаться стану?! Тогда вот вам — нате!— сказал Елизар. И он, повернувшись к церковным дверям, пал на колени и, размашисто осенив себя крестным знамением, торжественно произнес:— Клянусь крестом, богом и матерью за партийного человека Кузьму Азарова!

— Ты про дровосек помяни!— вполголоса подсказали Куликовы.

— Я и так под любой топор лягу, ежели какая фальшь выйдет,— ответил голосом, далеким от шутки, Елизар Дыбин.

— Ладно. Запомним.

— Сказано: рубанете — и концы в воду. Мне все едино.

Притихшая было толпа снова пришла в движение.

— Смотрите, вершный на хутор летит!

— Ух ты, карьером!

— Видать, нарочный. Со срочным пакетом.

А спустя несколько минут толпа мужиков и баб, высыпавшая из-за церковной ограды на площадь, шарахнулась в стороны, давая дорогу всаднику на взмыленной, звонко екавшей селезенкой лошадке мухорчатой масти.

Всадник, осадив конька-горбунка, привстал на стременах, настороженно огляделся вокруг и, задержав взгляд водянистых глаз на вытянувшемся в струнку милиционере Серафиме Левкине, сурово сказал:

— Это еще что тут, товарищ милиционер, за ярмарка?

— Не могу знать, товарищ Шмурыгин. Сам поспел к шапошному разбору. Завели тут без спросу обедню, и толку не дашь — что к чему. Может, прикажете в воздух выстрелить?— закончил рапорт милиционер, расстегивая новенькую желтую кобуру.

— По какому поводу сборище? Что это все значит? Багры, ведра, бочки, лопаты? Пожар, что ли, был?.. А это что там за балаганщик?— спросил Шмурыгин, заметив стоявшего на паперти на коленях Елизара Дыбина.

Ефим Куликов шепнул Елизару:

— Похоже, ты проиграл, земляк. Вставай.

— Послушаем, что гонец из райцентра скажет,— заметил Агафон Куликов.

— Я прошу объяснить: что все это значит? Кто ответит? Вот хотя бы вы, гражданин,— обратился Шмурыгин к приободрившемуся при его появлении Антипу Карманову.

— Позвольте?— подняв руку, как школьник, спросил тенорком Антип и в ответ на одобрительный кивок Шмурыгина заговорил с ухмылкой, с опасливыми оглядочками на Елизара Дыбина:— Спор тут у нас зашел на миру — выселят нас с хутора или нет? А гражданин Дыбин даже вот до богохульства дошел. Перед божьим храмом на паперти поклялся, что хутора нашего не тронут. Божился, что сам директор совхоза в этом его уверил.

— Ого! Полпред Азарова?!— близоруко приглядываясь к Елизару, спросил с ехидцей Шмурыгин.

Дыбин, не зная, что значит слово «полпред», поправил Шмурыгина:

— Никакой не полпред. У нас — старая дружба.

— Все понятно. Все ясно,— заговорил, ерзая в седле, Шмурыгин.— Вполне прозрачная картина. Хорош коммунист!— воскликнул он, имея в виду Азарова.— За спиной руководящих районных организаций с ходу своей агентурой, оказывается, обзаводится... Это что же, Азаров уполномочил тебя, гражданин, агитировать? Против мероприятий партии и Советской власти? Номер!.. Я, как уполномоченный районных директивных организаций, категорически заявляю, что номер этот не выйдет. А за подобную контрреволюционную агитацию мы будем беспощадно бить кулацких отголосков по рукам. Меня командировали к вам для проведения массовой работы среди населения, и разговор у меня будет короток. Мы кулацкого саботажа не потерпим. И если на то пошло, десять таких хуторов в двадцать четыре часа сметем!

По толпе прокатился глухой, злобно сдержанный ропот:

— Круто замахивается!

— Пуп сорвать может!

— Ты только здесь не грози, товарищ уполномоченный. Дело раннее: испугать нас спросонок можешь,— съязвил Проня Скориков.

— Извините. Я не пугаю. А разъясняю вам в массовом порядке. Надо очистить дорогу социалистическому

наступлению тракторной конницы. А хутор ваш на дороге. Это надо понять... А потом, имейте в виду, граждане, что либеральничать, то есть волынить с вами, у нас нет ни времени, ни резону. Мы на алтарь социалистического строительства приносить из-за вас в жертву интересы советского хозяйства — зерновой фабрики — не намерены. Советую сегодня же получить ссуду — представители банка сюда прибудут — и безоговорочно отступить в сторону.

— Это в какую же сторону, сынок?— спросил самый древний на хуторе дед, церковный сторож Емельян Зыков.

— На высел, папаша. На высел. У тебя, к примеру, какое хозяйство?

— Сын у меня хозяевует. Изба собственная. Огород опять же. Баня,— с запинкой стал перечислять дед.

— Ну вот, отец, все это ваше единоличное, мелкобуржуазное, так сказать, барахло будет переброшено на другое место. Не бесплатно, конечно. За государственный счет. А пашни ваши и выпасы отойдут совхозу. Придут трактора и все сплошь распашут. Ясно?— спросил Шмурыгин, обращаясь к хуторянам.

Люди молчали.

Елизар Дыбин готов был провалиться сквозь паперть. Облизывая языком запекшиеся от жажды и зноя губы, он со щемящей болью в сердце думал: «Ах, Кузьма Андреич, Кузьма Андреич! Что же это такое? Так ты мне за все добро отплатил? Пропал я теперь. На всем миру из-за тебя осрамился. А за что? За какие грехи?» В то же время Елизар не верил, что все будет так, как объявил во всеуслышание народу гонец из райцентра: Азаров не мог так зло подшутить над ним, не мог выставить его перед хуторянами хвастуном, слово которого теперь никто не примет на веру.

— Итак, вопрос, кажется, ясен?— спросил Шмурыгин, приподнимаясь во весь свой незавидный рост на стременах.— В таком случае есть предложение. Прошу всех сознательных хуторян сейчас же собраться в школе. Там мы выберем президиум. Оформим общественный приговор. Все вы распишетесь. И у нас с вами будет полный порядок.

— Мужики!— отчаянно закричал Филарет Нашатырь.

Все в изумлении посмотрели на звонаря.

— Молчать, звонарь! Ты слова лишенный,— крикнул ему милиционер Левкин, угрожающе размахивая наганом.

Но Нашатырь, не обращая внимания на грозный окрик, крикнул:

— Не подписывать приговора!

И голос его потонул в дружных, одобрительных возгласах:

— Правильно! Не давать им такой бумаги!

— Не дадим согласия — и баста!

— Расписаться — не беда. Лишь бы штемпеля на бумагу не ставить,— сказал дедушка Зыков.

— Без штемпелей казенная бумага — пшик,— авторитетно подтвердил Проня Скориков.

— Давайте сюда главного из совхоза!

— Правильно! Подать дружка Елизара Дыбина — Азарова!

— Айдате сами в совхоз, мужики!

Милиционер Левкин, с трудом протиснувшись сквозь толпу к стоявшему на стременах Шмурыгину, сказал ему, кивая на Нашатыря:

— Это у нас — лишенец. Духовный культ.

— Устранить его со схода!— коротко распорядился Шмурыгин.

Серафим Левкин, подняв над головой наган, бросился к Нашатырю. Уцепив звонаря за рукав холщовой рубахи, милиционер поволок его за собой. Но за Филарета Нашатыря заступился Елизар Дыбин. Вырвав его из рук Левкина, Елизар с силой швырнул в сторону милиционера.

Возбуждение, охватившее толпу, нарастало с каждой минутой. Мужики горланили каждый свое — кто во что горазд. Им вторили крикливые бабы. Агафон и Ефим Куликовы, вновь подняв дубинки, как обнаженные клинки, лихорадочно блестя глазами, стояли чуть поодаль от бурлящей толпы в ожидании драки.

Шмурыгин завопил что-то о происках классового врага и кулацких подголосков. Из озорства или от злобы кто-то ткнул палкой под хвост задремавшего под всадником конька-горбунка, и тот, взыграв под своим седоком, резко рванул в сторону, а утративший равновесие Шмурыгин пулей вылетел из седла.

Под озорной разбойничий свист и улюлюканье ребятишек шустрый шмурыгинской рысачок, задрав укра-

шенную месяцеобразной лысиной голову, перемахнул через штабеля сгруженных посреди площади бревен и со свернутым набок седлом помчался из хутора в степь.

Шмурыгин, вскочив на ноги, закричал растерянно топтавшемуся около него милиционеру Левкину:

— Чего рот разинул, дурак! Стреляй! Это же разбой. Покушение!

И не успел Шмурыгин как следует прийти в себя, как площадь в мгновение ока опустела. Всех белоградовских и арлагульских хуторян как ветром сдуло.

— Пиши рапорт начальнику раймилиции о покушении на меня с попыткой убийства,— сказал уполномоченный Серафиму Левкину.

— Слушаюсь,— козырнув в ответ Шмурыгину, ответил милиционер, извлекая из своей планшетки химический карандаш и ученическую тетрадку.

Они присели на бревна, и Левкин, послюнявив карандаш, вопросительно посмотрел на сидевшего рядом Шмурыгина.

— Пиши,— сказал тот.— Я сам тебе продиктую.

18

Воротясь во второй половине дня домой, в Арлагуль, Елизар Дыбин, потрясенный своей ложной клятвой, выпил на спор с Филаретом Нашатырем бутылку самогонки, омерзительно пахнувшей дымом и чугунком. Затем он поймал на дворе у Нашатыря выигранного гусака и отнес его домой, приказав Митьке зарубить гуся и сварить к ужину. Но спустя полчаса Елизар, почувствовав тяжелое опьянение, поспешно скрылся из хутора подальше от сторонних глаз, в степь. Битых четыре часа прокружил он вокруг большого горько-соленого озера, трижды выкупался в зеленовато-прозрачной воде.

Затем, возвращаясь на хутор, Елизар добрался до Батыева кургана, прилег там передохнуть. Лежал он навзничь, как распятый, широко разбросав могучие руки. Чуть раскосые полуоткрытые глаза его заливала горячая голубизна небес.

И, должно быть, впервые в жизни ощутил Елизар круглое свое одиночество в этом огромном просторе, и сердце его до боли сжалось от непривычной смертельной тоски. Он смыкал ресницы, и перед глазами тотчас же возникали какие-то странные видения. То ему мерещи-

лось спокойное улыбчивое лицо Азарова, то, как сквозь туман, видел багровую, налитую кровью морду Карманова, то требовательно нашептывали ему в один голос близнецы Куликовы: «Поклянись! Поклянись!»

Несмотря на крутой, вспыльчивый характер Елизара, мужики на хуторе уважали его за прямоту, за бескорыстное мастерство коновала, за богатырскую силу. Рослый, неуклюжий, с косой прорезью нерусских насмешливых глаз, Елизар любил в хмелю прихвастнуть, как однажды признал его помещик Протасов за потомка какого-то монгольского завоевателя — не то Батыя, не то Чингис-хана. Любил он, подвыпив, рассказывать и о том, как какой-то знаменитый, похожий на старуху петербургский ученый, пригласив Елизара к себе, долго ощупывал его мускулы и могучую, густо поросшую волосами грудь. Потом Елизар был трижды сфотографирован, получил золотой пятирублевик, и похожий на старуху ученый пообещал Дыбину — по блаженной кончине последнего — купить для столичного музея его скелет.

— Триста целковых давал. Да я уперся — пятьсот, ни полушки меньше! Скупердяй был этот переученый. Так мы в цене и не сошлись. А теперь жалею. На триста целковых при старом режиме можно было разыграться. Дурак был я в ту пору — костяк свой переоценил! И при деньгах был бы, и после смерти в Петербургской академии красовался бы, пожалуй! — говаривал он не раз с непритворным сожалением.

Работал Елизар Дыбин в молодости как зверь — за десятерых. Без устали, словно играючи, кидал он с утра до вечера на барском току пятипудовые мешки с зерном. А подвыпив, порою хаживал — опять же на спор — в открытую на свирепого цепного барского волкодава. Мертвой хваткой брал встававшего на дыбы кобеля в замок и, стиснув под мышкой разъяренную морду собаки, гордо говорил окружавшим его зевакам:

— Видали?! Любого медведя так вот прижму — не пикнет.

В тот памятный год, когда в центральной полосе России от голода начали вымирать целые деревни, на Тамбовщине прошел слух о переселении крестьян в далекие Приишимские степи, и Елизар Дыбин решил покинуть родные места, уйти на поиски обетованной земли, богатой целиной, рыбой и зверем. Душно и тесно было ему

там, на родине под Тамбовом. В мир горячей и спорой работы влекла его шальная мечта.

По вечерам, в легком хмелю, увлекаясь полувымыслом-полуправдой, рассказывал Елизар Дыбин односельчанам о волшебных сокровищах далекой сибирской земли.

— Богом клянусь, через год все богачами там станем. Хлебом засыплемся. Выездных рысаков заведем. Бабы, как сибирские купчихи, в шелку ходить у нас станут. Во!

— Шутишь ты, Елизар, за тыщи верст от родимых мест подаваться? А капитал — звонкая монета — где?— спрашивали его мужики.

— Казна — она, брат, за нас! По сто целковых серебром на кормильца на новом месте дадут. Это вам раз. По дойной корове на двор в кредит на три года — два. По сотне строевых бревен на каждое хозяйство — три. Это вам мало?— вызывающе кричал Елизар Дыбин на озадаченных односельчан.

Захваченный мечтой о переселении в сибирские степи, Елизар Дыбин, потеряв сон и покой, летал как угорелый по убогой и сирой тамбовской деревне, горячо ратуя перед односельчанами за немедленный уход на новые места.

Погрузив нехитрый скарб и малых ребятишек на немудрые, полурассохшиеся прадедовские телеги, тронулись весной тамбовские земледельцы на поиски обетованной земли.

В пути, на дальних подступах к новым местам, потерял Елизар Дыбин единственного дряхлого мерина, а на новом месте — маленькую, похожую на подростка, молчаливую жену, обновившую новосельский погост гробом, грубо сколоченным из неоструганных досок.

А дальше, как водится, все пошло одно к одному. Земский банк отказал новоселам в ссуде. Коров казна, оказывается, и не сулила. Со ста строевыми лесинами для жилья на новом месте тоже вышла заминка. И овдовевший Елизар Дыбин, с полугодовалым сыном Митькой на руках, в ту же осень, заложив свой надел целинной земли за грошовую аренду Епифану Окатову, а сам поручив сына двоюродной тетке, подался в батраки.

Край тут и в самом деле был богатый: чернозем в пол-аршина, густая медовая трава, рыба, птица. И крепко стоявшие на ногах новоселы, которым по зубам оказа-

лась эта веками не знавшая плуга земля, через два-три года, глядишь, уже сорили на шумных ярмарках деньгами, подражая разгульным сибирским купцам, прасолам и хлебным королям.

Вот в эти-то давние годы и познакомился Елизар Дыбин на пашне господ Кармацких с человеком, к которому привязался всей детски доверчивой, жадной до верной дружбы душой. Человеком этим был екатеринбургский слесарь Кузьма Азаров, с которым спустя долгие годы так нежданно-негаданно вновь свела его судьба.

С тех пор воды утекло немало. Но Елизар не забыл Азарова и, чувствуя в нем ту надежную жизненную опору, которой нигде ни в ком не находил прежде, хранил память о нем долгие годы. Елизар не мог бы и сейчас ответить, что именно так сроднило, сблизило их в те далекие, ушедшие в прошлое дни. Мало ли с кем на своем веку не батрачил на чужих людей Елизар Дыбин? Мало ли с кем не делил он и последний кусок черствого хлеба, и кружку воды? Но с такой теплотой, сердечной грустью вспоминал Елизар в минуты горьких раздумий только Кузьму Азарова! Мало ли хороших, добрых к нему людей окружало Елизара? Но ни в родном хуторе, ни в казачьих станицах и селах все же не имел он и по сей день такого друга, на которого мог бы положиться в беде, к которому мог бы обратиться в черный день за добрым словом, за помощью. Правда, пировал Елизар охотно и много, когда заводились деньги, и с односельчанами и с линейными казаками. Были у него тамыры-приятели и среди степных старожилов казахов. Но все это, как любил он говаривать, «было только для формы», и ни одного из этих случайных приятелей не считал он достойным глубокого доверия.

В пятнадцатом году попал Елизар Дыбин на русско-германский фронт, где в битве за Перемышль проявил такую диковинную храбрость, что был награжден солдатским Георгиевским крестом, а затем произведен в унтер-офицеры. Во время посещения действующей армии Николаем Вторым был представлен, как один из героев Перемышля, императору. Царь не произвел на Елизара должного впечатления. Поразительное сходство императора с придурковатым, на редкость трусливым ротным фельдфебелем Лиходзеевым, которого всей душой прези-

рал Елизар Дыбин, ошеломило его, и он, принимая из рук поздравившего его царя маленькую из польского серебра икону, даже не нашелся что ответить, вызвав тем заметное неудовольствие российского самодержца.

Фронтовые подвиги Елизара Дыбина завершились дезертирством в тысяча девятьсот семнадцатом году. Вернувшись на родной хутор, Дыбин вскоре ушел с партизанами громить колчаковцев. А позднее, когда партизанский отряд влился в регулярные части Красной Армии, дошел Елизар со своей железной дивизией имени Стеньки Разина до самого Забайкалья, где и застрял надолго. Подружившись с охотником удэгейцем, Елизар пристрастился к промыслу таежного зверя, немало поколесил по Приамурской тайге, дошел до берегов Тихого океана, но потом, вдруг смертельно затосковав по оставленному на хуторе сыну, вернулся в родное Приишимье. На пути к дому с Елизаром опять приключилась беда, едва не стоившая ему жизни. Случайно очутившись на знаменитой ярмарке в Куяндах, он, подвыпив, как всегда, решил показать свою удаль. Выйдя на поединок с прославленным степным силачом Кенесары Мурзаевым, он, лихо бросив на землю аульного бойца, насмерть зашиб его. От самосуда оскорбленных сородичей Кенесары он спасся затем бегством.

Вернувшись в Приишимье, Елизар Дыбин не нашел здесь больших перемен. Все та же бескрайняя на тысячи верст в округе, безмолвно лежала глухая, безлюдная степь. Все так же перебивалась с хлеба на воду летом и голодала долгой сибирской зимой семья Ульяны Кичигиной. Все так же мыкал горе незадачливый звонарь Нашатырь и нисколько не разбогател однолошадный Проня Скориков.

— Я до самого края света дошел. Разных разностей навидался. А у нас, гляжу, все едино...— говорил, безнадежно махая рукой, при встрече с арлагульцами Елизар Дыбин.

В душе он понимал, что, сколько ни колесил по белому свету, сколько ни метался из конца в конец по Руси, а обетованной земли, о которой горячо и жадно мечтал всю жизнь, так и не нашел, не увидел. Воротясь на хутор, Дыбин вновь с былым ожесточением принялся за привычный нелегкий труд. Теперь уже на пару с подросшим, проворным и вертким сыном Митькой брал он по хуторам и станицам подряды на рытье глубоких в этих

местах двадцатиметровых колодцев. Вместе с сыном копали они оградительные канавы вокруг бобровских бахчей и табачных плантаций. Плотничали и клали русские печки, коновалили и промышляли рыбой. Мастер на все руки, Елизар Дыбин, пристрастив к труду, сделав умельцем смышленого сына, искренне радовался, когда видел, что тот смело брался за любое рисковое дело и не хуже родителя преуспевал в нем.

Но как бы ни спорилось в непраздных руках Елизара Дыбина и его сына любое дело, как бы много и ладно ни трудились они, выбиться из вечной нужды так и не могли. На трудовые гроши они едва сводили концы с концами. Частично виной тому была врожденная непрактичность в житейских делах доверчивого, как ребенок, Елизара и застарелая слабость его к выпивке. Правда, выпивал он не так уж часто и, как правило, только на спор, часто из озорства, желания похвастаться на миру недюжинной силой. То, поспорив, выходил он на рискованный поединок со свирепым Бисмарком, смиряя страшного быка одним ударом пудового кулака. То крестился, играючи, двухпудовой гирей. То шел, разбросав руки, в лобовую атаку на лютого цепного пса, отважно зажимая его в железных объятиях.

Вот и сегодня на спор с Филаретом хватил Елизар в один дых — через горлышко — бутылку самогонного первача, выиграв зато у Нашатыря рослого, злого, как собака, гусака. Однако и охмелел почему-то на сей раз необычайно.

Очнувшись от недолгого тяжелого забытья, Елизар увидел над собой необыкновенно высокое, умиротворяюще спокойное, не омраченное ни единым облачком небо.

Елизар почувствовал, что был еще изрядно хмелен. «Эк ведь как меня шибануло — опьянел, дурак! Не иначе на табаке первач настоял, вражина. А то бы за здорово живешь ему меня бутылкой так не усобоновать!» — подумал он о Нашатыре и, вспомнив выигранного гусака, улыбнулся.

Поразмявшись, перекурив, он нехотя поднялся и лениво побрел к хутору.

Вечерело.

До сумерек было еще далеко, но день заметно клонился к исходу: пахло горячей пылью, сухим сеном и парным молоком от стада коров, возвращавшегося с дневных пастбищ на хутор.

Войдя в пустой двор с настежь распахнутыми, косо осевшими старенькими воротами, Елизар постоял среди чисто подметенного Митькой двора, а потом присел на дровосек и стал было крутить вокруг пальца косоножку из газеты.

В это время в воротах показались близнецы Агафон и Ефим Куликовы. Они были явно навеселе. Нетвердо ступая, они приблизились к Елизару и сказали, кланяясь хозяину:

— А мы к тебе, земляк.

— К тебе, сусед, по одному делу...

— Милости просим,— кивнул Елизар и отодвинулся в сторонку на дровосеке, давая гостям место.

Но братья продолжали стоять. Они, видимо, не знали, как приступить к делу, за которым явились.

И Елизар, заметив их заминку, сказал:

— Вы, я вижу, того — недопили?

— С нас хватит...— загадочно ухмыльнулся Ефим.

— Для такого дела вполне достаточно,— подтвердил Агафон.

— Для какого же дела?— спросил Елизар, чувствуя, что у него озноб пошел по коже.

— Уговор дороже денег. Мы с братом помним клятву перед божьим храмом!— мрачно потупясь в землю, пояснил Ефим.

— Я все скрозь помню!— с вызовом глядя на близнецов, сказал Дыбин.

— Фальшивая клятва, значит, вышла? Покривил перед господом богом на старости лет душой? Через неделю, сказывают, Белоградовский хутор на песочек переселяют. А там очередь и за нашим Арлагулем. Вот тебе и клятва твоя — одно богохульство. А раз так — ложись, как уговаривались. Башку на дровосек, концы — в воду!— строго сказал Агафон.

— Как договаривались,— поддержал Ефим.

— Это как так — ложись?— спросил Елизар чужим голосом, заметив в руках Ефима топор, насаженный на новое, грубо обделанное топорище.

— Очень просто. Дровосек под тобой. Ложись.

— Ого! Стало быть, вот этим самым топором, земляки?

— Этим. Не бойсь, он у нас как бритва. Я его на наждачном точиле сегодня выправил — осечки не будет,— заверил без тени на шутку Ефим.

— Ну, это вы бросьте!— сказал Елизар, чувствуя противный озноб в позвоночнике.

— Ага, трусишь?!— крикнул с торжествующим злорадством Агафон.

— Душа в пятки ушла?— подхватил в том же тоне Ефим.

— Это я-то — трусить?!— глуховатым от гнева голосом спросил Елизар Дыбин, медленно поднимаясь с дровосека.— Это я-то трушу?!— повторил он, точно задыхаясь.— Да я вас, варнаков, как кобелей, обоих сейчас прижму — не пикнете! У меня на таких, как вы, недоносков, силы хватит. Да только рук марать не хочу, а пуще всего — своей совести. Посмотрим, кто из нас трусоватей.

Смерив братьев с ног до головы полным презрения взглядом, Елизар рывком расстегнул ворот чистой холщовой рубахи. Потом он встал на колени и положил голову на дровосек. В упор глядя на побледневших близнецов немигающими глазами, Елизар требовательно проговорил:

— Рубайте!

Ефим Куликов сделал нерешительное движение вперед и тихо сказал:

— Закрой глаза.

— Ну нет, шалишь, сусед. Такого уговору не было.

— Закрой, тебе говорят, богохульник!— крикнул Агафон Куликов из-за спины стоявшего с топором в руках брата.

— Рубай, выродок. Не томи душу,— сказал Елизар Дыбин, продолжая смотреть в упор на Ефима.

— Ты зажмуришься али нет? В последний раз говорю,— заявил Ефим и, не выпуская из рук топора, деловито принялся засучивать рукава залатанной ситцевой рубахи.

Елизар, сдерживая гулкое, порывистое дыхание, продолжал смотреть в упор на близнецов.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, не появись в распахнутых воротах сын Елизара — Митька Дыбин. Митька бросился со всех ног к отцу.

Елизар при виде сына спокойно сказал ему:

— Подай-ка мне, Митрий, оглоблю. А сам берись за пешню. Мы сейчас с тобой этих выродков бить станем...

И, стремительно встав на ноги, выпрямившись во весь

богатырский рост, Елизар решительно двинулся на своего палача.

Ефим Куликов, попятившись от Елизара, наступил на ногу хоронившегося за его спиной брата. Агафон, взвыв от боли, ринулся, прихрамывая, наутек. А следом за братом, бросив топор с необделанным топорищем, бойко заработал босыми ногами и Ефим Куликов. Весь съежившись, втянув клинообразную лохматую голову в узкие плечи, он улепетывал вдоль хуторской улицы с такой прытью, что его немыслимо было догнать и на самом резвом окатовском рысаке!

Позднее, когда Елизар Дыбин ужинал с Митькой среди открытого двора, уплетая зажаренного сыном дарового гусака, Митька сказал отцу:

— Не подойди я, они бы, пожалуй, сдуру тебя зарубили, тятя.

— Вполне могли, выродки. Да я на них за это сердца не имею. Такие мне по душе. Придется нам выпить с ними мировую. Теперь мы квиты.

— А как же насчет Азарова? Подвел он тебя под монастырь, тятя, выходит?— спросил Митька.

— С Азаровым у меня разговор будет теперь особый...— обгладывая гусиную ножку, сказал, уклоняясь от прямого ответа, Дыбин.

19

Председатель сельрабочкома Увар Канахин глубокой ночью возвращался с партсобрания. Брел он окольными путями, неровным шагом, как полупьяный, поминутно спотыкаясь о придорожные кочки. В горле было сухо и горько, словно он наглотался желтой полынной пыли. В голове стоял тот тошнотный угар, которым дурманят человека цветущие табаки. Как обожженные, горели ладони. А в ушах все еще звучал высокий голос секретаря партячейки Ивана Надеева, мучительно медленно диктовавшего секретарю партсобрания слова единогласно принятого решения.

А она, собственная жена Увара, Дашка Канахина, старательно выводила в протоколе строчки, порочившие ее собственного мужа... Мало того, она одна из первых решительно подняла руку и дольше всех продержала ее, голосуя за предложение секретаря ячейки Надеева.

И как полчаса тому назад, так и сию минуту видел Увар перед глазами только одну эту упрямо поднятую руку жены. Отчетливо различая на Дашкиной ладони застаревшую мозоль, Увар никак не мог представить, что это была та самая рука, которая вчера еще так крепко и нежно обнимала его. Рука эта заботливо пододвигала ему за ужином кружку парного молока, ловко штопала протертые в коленях брюки, а сегодня вдруг поднялась против него на глазах всей ячейки так упрямо и дерзко, что Канахин не поверил сперва своим глазам.

Позднее, когда закрылось собрание и наполовину опустела просторная изба-читальня, Дашка, словно не замечая мужа, деловито толковала с Надеевым о разных общественных делах, смеялась, запрокинув голову, над какой-то карикатурой в стенгазете. Словом, вела себя как ни в чем не бывало. А Увар сидел, притулясь спиной к подоконнику, не смея поднять поруганной головы. Он долго не мог свернуть даже привычной косой цигарки из газеты. Наконец, собравшись с силами, он, сутулясь, вышел из избы-читальни.

Около получаса бесцельно бродил Увар в эту темную летнюю ночь по окраинам сонной станицы. И только когда очутился вблизи табачных складов Луки Боброва, он, как бы очнувшись от затянувшегося забытья, пришел в себя.

У одного из амбаров дремал в обнимку с полупудовой фузеей — старинным пороховым ружьем — сторож Тарбаган. В ногах у него, свернувшись калачиком, спал безмятежным сном, слабо поскуливая во сне, верный его друг и помощник, густо усыпанный репьями кобель Тузик. А рядом с сонным сторожем стояла недопитая поллитровка самогонки.

Приблизившись вплотную к безмятежно-сонной охране, Увар бережно взял в руки недопитую поллитровку и не спеша выпил через горлышко остатки второсортной самогонки. Ощутив приятное опьянение, Увар присел рядом со сторожем на подмостки амбара и глубоко задумался, ласково поглаживая по спине проснувшегося кобеля.

От пережитого ли потрясения, от чрезмерной ли усталости, от жгучего ли желания опьянеть, но после выпитой самогонки Увар почувствовал томящую тяжесть в теле и тоску в душе.

Как всякому человеку в минуты первого опьянения, Увару хотелось говорить. И он, приласкав прижавшуюся к нему собаку, обратился к ней с горьким вздохом:

— Кулацкие табаки, дурак, бережешь? Кто ты таков есть? Одно слово — бессловесная тварь. Ну, все равно, зря ты врагу-плантатору со своим дедом служишь. Идейной линии, вижу я, вы не имеете. Был у нас в кавдивизионе пес — тонкое сознание имел и боевую службу нес. Он супротив белопогонных гадов целых три года вместе с нами дрался. Мы его Шариком звали. И что же ты думаешь? Его у нас ни огонь, ни вода, ни буря не брали. Бывало, обложат нас колчаковцы, а он — пакет в зубы да в штаб с донесением. А лучшего разведчика, чем Шарик, во всем дивизионе у нас не было: по следу, подлец, врага чуял. Он даже бинты под беглым огнем раненым нашим бойцам в зубах подносил. Вот, скажу я тебе, идейный пес был! А когда сразила его белогвардейская пуля в бою под городом Уральском, не поверишь, мы его под духовую музыку земле предавали. Еще бы! Это был пес с сознанием. А ты — дурак,— сказал Увар Канахин, грубо отталкивая от себя ластившуюся к нему собаку.— А ты — дурак. Потому что кулацкое зелье оберегаешь. Да и хозяин твой не лучше тебя — безыдейная вы масса. Этот самый Лука Бобров всю кровь из нашего брата выпил. Весь батрацкий мир табаками отравил. А меня, красного партизана, верного защитника трудового народа, перед всей партией опорочил. Подумаешь, превышение власти! Беззаконные действия! Мне за это они выговор сегодня на ячейке вкатили. Нет, уж извиняйте меня — убью!

В эту минуту Увар вспомнил о чем-то главном, быстро вскочил на ноги и застегнул потрепанный армейский френч на пуговицы. «Пристрелю я этого выродка, как дурную собаку, у всех на виду. А потом и сам с собой расквитаюсь. Вот тогда и поймут все мою идейную линию! Батраки мне за это благодарную речь на могиле скажут! Сам себя решу, ну и этому супостату белый свет в копеечку под моим наганом покажется...»

Недолгая летняя ночь подходила к концу. В станице горланили петухи. Заспанные казачки выгоняли коров. Но Увар не слышал петухов и не замечал встречных казачек. Крепко стиснув ладонью рукоятку нагана, спрятанного в просторном боковом кармане френча, он сначала шел быстрым шагом, а затем, все ускоряя и ус-

коряя его, почти бежал, петляя по переулкам станицы, чтобы сократить путь.

У ворот бобровского дома Канахин столкнулся с бодрствующим в этот ранний час Симой. Дурак, сидя на корточках, мерно покачивался из стороны в сторону, как маятник, и потихоньку скулил, мечтательно глядя вдаль печальными глазами.

Увар, грубо оттолкнув от ворот Симу, нетерпеливо постучал. Он был бледен. Давно не бритое, осунувшееся лицо его выглядело болезненно искаженным. Бескровные, сухие губы дрожали. Кружилась голова. Противно ныли в коленях неверные ноги. Но Увар крепился. Он был твердо уверен, что на его требовательный стук непременно выйдет сам хмурый, заспанный хозяин дома.

И Увар не ошибся.

— Что там за ранний гость? Кому это так не терпится?— прозвучал по ту сторону ворот густой, хриплый спросонок голос.

— Отворяй. Срочное дело...— с трудом подавив в себе желание крикнуть, сквозь зубы сказал Канахин и, стиснув наган в кармане, отступил на шаг от притвора.

Стоя по ту сторону ворот, Увар отчетливо слышал тяжелую знакомую поступь Луки Лукича и, казалось, ощущал его порывистое дыхание.

— Поживей. Поживей отворяй!— торопил хозяина шепотом Увар Канахин.

— Эк ведь ты там какой горячий,— раздраженно ворчал заспанным голосом Лука Лукич, гремя тяжелыми ключами.— У меня, брат, замки хитрые. Их с маху не враз откроешь. Да кто же это ко мне в такой ранний час — любопытствую. Случайно, не ты, Алексей Ильич?— переходя на полушепот, спросил Бобров.

— Я, я. Отворяй,— таким же глухим полушепотом сказал Канахин.

Прошли две-три напряженные секунды. Лука Лукич, должно быть почуяв неладное, стоял в нерешительности по ту сторону ворот. Наконец он осторожно полуоткрыл калитку и обомлел, увидев Канахина.

Увар ударил плечом в калитку и, настежь распахнув ее, в мгновение ока оказался внутри бобровского двора перед лицом опешившего Луки Лукича. Попятясь назад от Увара, Лука Лукич слегка присел на перевернутую вверх дном порожнюю бочку и открыл рот — не то от страха, не то от изумления. А Увар Канахин, выхватив

из кармана наган, сказал, направив дуло в лицо Боброва:

— Становись на колени, вражина. Я тебе смертный приговор сейчас прочитаю.

По лицу Луки Лукича промелькнуло нечто похожее на жалкое подобие улыбки. Темными, глубоко запавшими глазами он смотрел на дуло канахинского нагана.

— Становись, тебе говорят, на колени!— повторил Увар.

Лука Лукич обронил ключи и вместо того, чтобы встать на колени, все же нашел в себе силы отпрянуть от бочки и даже выпрямиться.

— Трусишь?!— спросил Увар, не сводя покрасневших глаз с лица Луки Лукича и отлично видя при этом, что тот не так-то уж трусит.— Ну ладно. Я тебя и стоячего в один момент успокою. Да скажи спасибо, гад, что я в двадцатом году тебя не прикончил. А теперь пробил твой час. Все. Словом, точка. Это я тебе массово разъясняю... Мы без тебя построим нашу светлую жизнь практически. Пора и нашему брату, твоим батракам и работникам, божий свет без вас, варнаков, увидеть. Довольно и мне за кулацкую твою биографию страдание от партии принимать! Я за партию, за Советскую власть пять лет под вражьим огнем кровью на поле брани умывался. А сейчас без двух ребер в правом боку в трудовой жизни состою. А ты...— почернев от гнева, едва держась на ногах, продолжал Канахин,— а ты, кулацкая твоя природа, порочить меня перед ВКП за мою идейную линию будешь?! Святой партбилет мой из-за тебя будут выговорами марать?! Нет, шабаш. Точка. Умри, дух из тебя вон!..— проговорил Увар, беря на мушку Луку Лукича.

И в это мгновение в глазах у Канахина потемнело. Ощутив во рту обилие сладковатой слюны — верный признак знакомого близкого припадка,— Канахин с трудом удержался на ногах.

Бобров, отлично знавший слабость Увара Канахина, понял, что опасная минута миновала и что пришло время перейти ему, Луке Лукичу, от пассивной обороны к решительному наступлению. Так он и сделал: фамильярно хлопнув председателя сельрабочкома по плечу, он сказал, заискивающе ухмыляясь:

— Хе-хе-хе, душевный, вижу я, человек ты, Увар Игнатыч! Да горяч больно, спасу нет... Давай-ка лучше загляни ко мне вечерком — перцовочки трахнем. Бог

милует, и без оружия обойдемся. Зачем же меня пистолетом стращать?! Партийному человеку это не пристало. Справедливо тебя ячеешники за такой пылкий ндрав осуждают. Ты зря на них обижаешься. Двадцатый годок, Увар Игнатыч, давно миновал!

— Для тебя, гада, он еще возвернется!— пообещал слабым голосом Увар Канахин.— Запомни, придет час, я до тебя все же публично доберусь. Это я тебе массово разъясняю...

Между тем Лука Лукич, почувствовав себя в выигрыше, издевательски низко поклонился едва стоявшему на ногах Увару Канахину и сказал с наигранной любезностью:

— Ну, хватит нам ссориться. Я не судьей тебя к себе — для душевного разговора приглашаю. Для тебя у меня всегда на столе хлеб-соль найдется.

— И обрез за пазухой!— подсказал ослабевшим голосом Увар Канахин.

— Ну, зачем мне обрез? Не казачье это оружие...— ответил Лука Лукич с хитроватой усмешкой и, повернувшись широкой спиной к Увару, пошел прочь от него к дому.

Увар, опустившись на бревно, лежавшее у ворот, перевел дух. Посидев некоторое время с закрытыми глазами, чувствуя невероятную слабость в теле, какую испытывал он только после припадков, Увар наконец собрался с силами и снова поднялся на неверные, противно подрагивающие ноги. Спрятав поставленный на предохранитель наган в боковой карман френча, он понуро побрел от бобровского дома.

В полдень, вконец измученный усталостью и пережитым потрясением, Увар, встретившись с Дашкой в воротах незавидного своего двора, был огорошен новым, не очень приятным для него сообщением жены.

— Где это ты опять пропадал? За тобой два раза уже посыльный из райкома прибегал — вызывают прямо к Чукрееву,— многозначительно подчеркнула Дашка.

«В райком? Ну, все понятно. Уже донесли. Стало быть, опять меня за кулацкую шкуру под монастырь подведут. Не иначе, из партии увольнять собрались»,— подумал Увар и твердо решил не ходить. Однако после минутного колебания он все же отправился по вызову.

Вопреки ожиданиям Увара, секретарь райкома Чукреев встретил его на этот раз довольно приветливо. Под-

нявшись навстречу Увару из-за письменного стола, Чукреев усадил его на потертый дерматиновый диванчик, угостил папиросой и участливо спросил:

— Говорят, там тебе строгача вчера партячейка вкатила?

— Было такое дело,— мрачно проговорил Увар.

— Ну что ж. Выговор — по заслугам. За подобную противозаконную практику борьбы с Бобровым ты, между нами говоря, дешево еще отделался. Отстаивать права батраков с наганом в руках всякий сумеет. Пойми наконец, Увар, что метод индивидульного террора — не большевистский метод. Партия никогда не оправдывала подобных антиреволюционных действий. Это партизанщина... А потом не сгущай краски, Канахин. Не так уж страшен черт, каким ты его малюешь. С таким человеком, как Бобров, действовать надо поумнее, поосторожнее,— сказал Чукреев.

Не сводя потупленного взгляда с конца дымящейся, бережно зажатой между пальцами папиросы, Увар хотел было сказать Чукрееву, что Бобров наотрез отказался страховать батраков, что вновь урезал он поденщикам и без того мизерную поденную плату и что при известном попустительстве к нему со стороны районных организаций обнаглевший плантатор распояшется окончательно. Хотел сказать, что рано или поздно он, Увар Канахин, не потерпит кулацкого произвола и расквитается с Лукой Лукичом практически...

Но Чукреев, опередив Канахина, сказал, дружески хлопнув его по плечу:

— А теперь — по существу вопроса... Придется тебе, Увар, поработать на новом посту. Невзирая на твои заскоки, на твою партизанщину, бюро райкома партии решило выдвинуть тебя на большой и почетный пост — на пост председателя совхозного рабочкома. У тебя имеется некоторый опыт профсоюзной работы среди батраков. Только смотри, обстановка в зерносовхозе довольно сложная. А масштабы работ — обширнее. Короче говоря, от тебя требуются боевые качества: быстрая ориентировка, смелое решение вопросов, находчивость, предприимчивость, инициатива, острый слух и глаз...

— Я, товарищ Чукреев, всю неверную политику насквозь вижу,— заговорил Увар, просветлев от чукреевских слов.— У меня фронтовая закалка. Я из боев с кол-

чаковцами, как вам известно из моего личного дела, всю гражданскую войну не вылазил. Мы однажды под городом Уральском накрыли своим кавдивизионом полк оренбургских казачков. Дело это было, как сейчас помню, в тыща девятьсот девятнадцатом году. В августе месяце. Как раз двадцать второго числа по старому стилю...

— Погоди, Увар,— перебил его слегка нахмурившийся Чукреев,— мы после с тобой вечер воспоминаний устроим. А сейчас давай поговорим о политической дальнозоркости. И вообще имей в виду, Канахин, что директор зерносовхоза — я говорю об Азарове — в основном мужик хороший. Не без головы. С умом. С хозяйственной жилкой. Но... в некоторых случаях этот товарищ не прочь перегнуть административную палку. Властолюбив он, по-моему,— вот беда. А поэтому твой долг — глядеть за ним в оба. За интересы рабочих зерносовхоза ты должен стоять горой. И в этом райком партии, а в частности я, всегда тебе поможем. Есть вопросы? По рукам? Надеюсь, справишься!— протягивая Канахину руку, заключил Чукреев.

— Что ж! Чувствительно благодарствую за доверие,— сказал со смущенной улыбкой Увар Канахин.— Кровного батрака, извиняйте меня, я никогда и никому в обиду не дам. Вот от такого гада целую трудовую армию батраков семь лет грудью защищал — не дрогнул!— сказал, потемнев при мысли о Боброве, Увар Канахин.

— Вот именно. Интересы рабочей массы должны у тебя стоять на первом плане. Тут будь с Азаровым начеку,— живо откликнулся Чукреев.

— Понимаю. Понимаю,— кивнул Увар.— Вы мне, товарищ Чукреев, все это массово разъяснили. А с новой моей должностью я практически справлюсь. В чем заверяю дорогую нашу партию. Я от генеральной линии никуда не сверну — ни влево, ни вправо... Опять же за грамоту я теперь особенно не болею. Даже дробя разделить и помножить могу.

— Ну, тогда ты у нас совсем силен,— сказал полушутя-полусерьезно Чукреев.— В таком случае — договорились. Крой сейчас к нашему заворгу, оформляй направление. И завтра же в совхоз. Дело не терпит. Там теперь заваруха такая — черт знает что.

— Ясно!— коротко, по-военному ответил на прощание заметно оживившийся Увар Канахин.

А в сумерках этого суматошного, наполненного событиями дня сидел Увар вдвоем с Дашкой в своей из-

бушке, мирно ужиная парным молоком. Дремотный голос сверчка за печкой, запах годами обжитой хатенки с ее привычным уютом, близость тихой, присмиревшей жены — все это влекло Увара к примирению с Дашкой.

Ужинали молча. Дашку явно томило молчание. Но первая она не заговаривала. Увара злило, что она не заговаривала. Увара злило, что она не спрашивала, зачем его вызывали в райком, да еще к самому Чукрееву. И Канахин тоже упорно отмалчивался, втайне выжидая расспросов жены. А та не выказывала ни малейших признаков любопытства. Увара подмывало сказать Дашке: «Знаешь, на какой пост меня постановила партия? Вот тебе и ваш выговор с занесением в личную карточку!» Но Дашка опередила его, сказав притворно-равнодушным тоном:

— А я и забыла сказать тебе, что на курсы трактористов собралась. В новый зерносовхоз хочу податься. Чем я хуже других? Как ты думаешь, выйдет из меня трактористка?

Отхлебнув за один глоток добрую половину вместительной чайной чашки парного молока, пахнувшего степью, Увар вытер тылом ладони потный лоб и, беспечно откинувшись к простенку, с достоинством молвил:

— Подавай к нам в рабочком заявление. Там — посмотрим.

20

Все попытки заврайзо Макара Шмурыгина добиться от хуторян официального согласия на добровольное переселение хутора Белоградовского ни к чему не привели.

Двое суток гонялись сельисполнители за односельцами и, пускаясь на всяческие уловки, сторожили их по закоулкам, выслеживали по дворам, но созвать полномочного собрания так и не удалось: одни притворялись замертво хворыми, другие пали на коней и развеялись по пашням, а третьи, избегая встреч с напористыми послами, хоронились по гумнам или беспечно отсиживались в тени густо заросших бузиной и акацией палисадников.

С легкой руки Антипа Карманова пробовали всполошить среди ночи мужиков набатом, но и из этой затеи ничего путного не вышло. Взбулгаченные хуторяне осовело покружились около своих дворов и, убедившись, что большой бедой не пахнет, махнули рукой:

— А пущай горит. Один нам конец — выселки...

А Шмурыгин, желтый и немощный от недосыпания, одиноко сидел в сельсовете, грыз ногти, придумывал оправдательную записку в райком и, свирепея от сознания своей беспомощности, на что-то еще надеялся, чего-то ждал...

На другой день в сумерках забрел в Совет Антип Карманов. Он понял, что его отсутствие может показаться уполномоченному подозрительным и, во избежание дурных кривотолков, решил пойти в сельсовет. С нарочитой неуклюжестью перетянул он грязным полотенцем лицо и, сославшись на тяжкую зубную боль, долго вздыхал и охал перед Шмурыгиным, понося на чем свет стоит хуторян за их бычье упрямство, и с раздраженным недоумением говорил Селезневу:

— Прямо ума не приложу, Корней, и чего бы им упираться? Ведь не на Сахалин-остров ссылать совецка власть нашего брата хочет. Смешно, дорогие товарищи... Землей нас снабжают взамен хорошей. Всю домашность на автомобилях к новому выселу бесплатно перевезут. Деньгами ублаготворят. Кредитами обеспечат. Что же еще нужно? Удивительный вопрос...

— Самому на диво...— смущенно бормотал, потупясь, Селезнев.— У меня в обществе такого греха в жизнь еще не бывало, на чем я в точности удостоверяю...

— Да нам ли на совецку управу обижаться?!— повысив голос, продолжал Карманов.— Нам ли ее не благодарствовать! Ведь мы с ней как у Христа за пазухой блаженствуем — вникать в это надобно... Не-ет, зря мужики смущаются. Зря... Организовать тебе их надо, Корней. Согласовать массу надо,— урезонивал Антип Карманов председателя сельсовета.

— Правильная установка,— охотно согласился Шмурыгин.— Влияния органов власти у вас не чувствуется.

— Кто как, а я свою подпись под приговором о выселении хоть сейчас поставлю,— словно не слыша слов Шмурыгина, продолжал Карманов.— Я любую нужду нашего государства всегда понимаю. Все налоги досрочно плачу. А за государственные интересы аж в голодные степи хоть сейчас, хоть маленько погодя поеду.

Макар Шмурыгин с недоумением посмотрел на него — видел, что тот слишком начал забалтываться. И Карманов, поймав недоуменный шмурыгинский взгляд, вспомнил про речи, произнесенные им в памятное утро с цер-

ковной паперти, и с притворным недоумением спросил председельсовета:

— Али правда, Корней, говорят, будто я тогда с перепою неподобное у церкви брехал?— И, не дождавшись ответа, икая от хохота, с притворным веселым отчаянием размахивая длинными руками, продолжал:— Ах, и дурной же я, ах же и заполошный! Черт-те што с пьяных-то глаз накуролесил! Да я и взаправду, убей меня, ничего не помню,— сказал он, глянув на Шмурыгина исподлобья.— Извиняйте уж меня за такой характер. Я за пьяную брехню не ответчик. Мало ли что набуровишь в угаре!

— Случается. Случается,— отозвался со вздохом Шмурыгин.

И Карманов еще бойчее и развязней повел разговор:

— Мы-то выселиться и душой бы рады, да не за нами, как видите, дело. Не за нами, дорогой наш товарищ райуполномоченный...

— Вредит, стало быть, у вас тут кто-то?— спросил тоном следователя Шмурыгин.

— А что же вы думали? Найдутся в нашем миру и такие...— загадочно жмурясь, почти нараспев произнес Антип Карманов.

— Кто же именно?— продолжал допрашивать Шмурыгин, протягивая Карманову дорогую, с позолотой на мундштуке папиросу.

— Ах, да мало ли их, господи!— воскликнул Карманов, нерешительно прикасаясь кончиками двух пальцев к протянутой папиросе, и, раскурив ее от председательской зажигалки, сладко затянувшись ароматным дымком, продолжал:— Сами понимаете, классовая проистекает теперь борьба. Куда ни повернись — там или лишенцы, или тому подобные чужаки. Вот хотя бы, к примеру, кто такой Филарет Нашатырь, житель хутора Арлагуля? Церковный культ! А его однохуторянин Елизар Дыбин? Тоже одного поля ягода. Подумать надо, георгиевский кавалер! Зазря его бы в унтер-офицеры не произвели. Хуже того, он и по сей день на миру своими заслугами с пьяных глаз хвалится. Звонаря, правда, в прошлые перевыборы голоса лишили. Да разве ему это впрок? Он, безголосый-то, еще злей стал. Против хлебозаготовок бунтует. Государственных займов не признает. В колокола на праздник звонит — хуторян вместе с попом Аркадием дурачит. А с Дыбиным у них дружба калмыцким узлом

завязана. Там — рука руку моет. Там — водой не разольешь.

Помолчав, пожевав губами, Карманов вполголоса спросил Шмурыгина:

— Труп в степи у нас недавно подняли — слышали?

— Был такой слух. Темное, говорят, это дело.

— Хе-хе. Темное!—загадочно подмигнув председателю сельсовета, сказал Карманов.— Не так темное дело, как чистая работа. Жалко только, что наши райвласти этим дельцем не занялись, убиенным не поинтересовались. А зря. Перед прямыми уликами кровь убиенного в убийцах заговорила бы! Вот, к примеру, спросить бы того же звонаря или попытать Елизара Дыбина: чисты ли, дескать, ваши руки? На какие-то вы дивиденты, с каких радостей всю весну пировали? С каких это пор спаяла вас круговая порука? Эх, да что там говорить — малому дитю понятно, ежели райвластям невдомек, кто пожился на убиенном. Теперь, ясное дело, прах поздно трясти, сызнова за следствие приниматься. Это ж я просто так — к слову... Нет, дорогой наш товарищ райуполномоченный, теперь толстопузых кулаков только на картинках рисуют. А в живности они — другие. Более поджаристые,— сказал Карманов с усмешкой.

— И тут вам не возражу. Правильно, в жизни кулак мало похож на плакатного,— охотно согласился со своим собеседником заврайзо.

— Это факт, что не похож на свои патреты. Нынешний кулак куда поумнее и похитрее живописного. Так вот и Нашатырь с дружком Дыбиным. Ай да и тонкие же это политиканы! А вот некоторые члены районной партии веру в таких людей имеют. Черт знает какие проходимцы в наших степях появляются — ум за разум заходит,— сказал Карманов, явно намекая при этом на директора зерносовхоза Азарова.

Слушая Антипа Карманова, Шмурыгин, втайне дивясь его недюжинному уму и проницательности, подумал: «А ведь это умнейший мужик! И тонкое классовое чутье налицо. Вот каких выдвиженцев на низовую власть направлять надо. Насквозь человека видит. Это не беда, что он из середняков. Не беда, что в нем еще жив дух мелкособственнических противоречий. Он порой способен поносить Советскую власть за лишний налоговый рубль, который ей платит. Но, рассуждая диалектически, он — союзник власти, крепкая наша опора!»

— А то как же вы думали?!— точно угадав его мысли, сказал Карманов.— Нынешний кулак, как Иван-дурак в сказке, умней всех под конец получается. Нет, прежнему кулаку теперь не орудовать. Неспособно ему в наше время богатством кичиться — в один момент твердым заданием память вышибут. Хе-хе. Потому-то они в лохмотья и рядятся. Бочком к социализму идут.

— Правильно, правильно, Антип Федорыч,— горячо подхватил Шмурыгин.

— Это вон один Лука Бобров у нас бесится!— продолжал оживленно Карманов.— Тому ништо нипочем. Ни властей не признает. Ни законы ему не писаны. Варнак варнаком, и грудь нараспашку! Не поймешь таких людей сразу. Все хозяйство под ним, как любимый его гнедой рысак, вьюном, иноходью ходит. Вот это кулак! А тут вот и в горьком хмелю похвалиться нечем,— обидчиво тряхнув залатанным подолом нечистой миткалевой рубахи, сказал Карманов. Правда, я на судьбу пока не обижаюсь. Примерную жизнь веду. В кулаки попасть не боюсь. Да и чего мне бояться? Четырех коров? Высоких удоев? Али культурной пашни на пятнадцати десятинах? Нет уж, покорно вас благодарствую. Я за эту самую культурную пашню похвалу из Омской академии имею. Мне в прошлый год сам профессор Бусыгин из города Омска благодарственную телеграмму отбил.

— Позвольте,— прервал собеседника Шмурыгин и, откинувшись на спинку венского стула, заговорил поучающе:— Вот вы типичный середняк. Человек, вижу, на хуторе начитанный и бывалый. Все это так. Все это ясно. Так почему бы вам не возглавить всю эту бесформенную и малокультурную массу односельцев? Почему бы вам, пожилому хлеборобу-культурнику, не занять на хуторе крайне ответственный, но и весьма благородный пост?

— Это... как же?— растерянно спросил Карманов.

— Ну, очень просто... При наличии вашего хозяйственного опыта вы бы смогли оказать немалую услугу партии и Советской власти. Почему бы вам не развернуть культурное поле до более широких масштабов? Я понимаю, одному такая задача несподручна. Но ведь вам же известно, что партия берет сейчас курс...

— Ах, понимаю!— перебив Шмурыгина, оживленно заговорил Карманов.— Это вы о колхозах? Хорошее дело задумано. Не возражаю. От души благодарствую

за такое предложение... Вот это — разговор. Это — я понимаю. А то был у нас один уполномоченный по хлебозаготовкам — Джунусов, киргиз, извиняюсь. Смотреть не на кого. Бывший пастух. Я его с малолетства знавал. А теперь — грехи на него!— в заместители председателя рика вышел. Так этот Джунусов все квитки мне на твердое задание выписывал. Вот подлец! Кулака нашел во мне, всем известном культурнике! Ну, я не растерялся. Шарахнул на него прошение в округ — жарко же ему было после. Его чуть, говорят, за тому подобные квитки из партии не уволили...

— Ну еще бы! Это же первый у нас в районе левак и перегибщик. А за такое левацкое отношение к середняку партия нашего брата по головке не гладит,— сказал Шмурыгин.

— Да что там квитки! Разрешите выступить дальше... Тут с ним биография вышла почище. Он ведь тоже про колхоз заикался. Правда, не на нашем хуторе. Собрал одну голь перекатную и ну митинговать с ними. Я в ту пору тоже там очутился. Смотрю на народ — у них ни одеться, ни подпоясаться. Собрались — один к одному — лодыри с подкулачниками, а то и со скрытыми врагами. Ну, тары-бары — слушать нечего. Плюнул я на эту обедню — и ходу. А за мной половина собрания — вон.

— Здорово!— оживленно сказал Шмурыгин.— Да, я припоминаю этот скандальный случай. Припоминаю это грубейшее извращение партийных директив. Но ведь я не Джунусов. Я говорю с вами с полной ответственностью. У меня левацких установок в данном случае нет. Я не намерен закрывать перед середняком ворота в коллективное хозяйство. Поэтому позволю себе поставить перед вами вопрос напрямую. Устраивает ли вас мое предложение? Готовы ли вы передать свой хозяйственный опыт культурника колхозу?

Вместо ответа Антип развязно протянул руку к раскрытому Шмурыгиным портсигару. Бережно взяв папиросу, он не спеша раскурил ее от собственной спички и, затмив лицо веерком папиросного дыма, сказал:

— Я Советской власти пока ничем не прогневал. Ничем перед ней не согрешил. А насчет колхоза сам немало дум передумал. Вертишься днем, как береста на огне, в единоличном хозяйстве, а ночью тоже — ни сна тебе, ни покоя. Разумом я в новую жизнь давно уверовал, а

душа — скажу прямо — этой жизни побаивалась. Словом, не жил я последний год, а день и ночь колебался. Да ведь так положено каждому середняку. Какой же из меня середняк, если я колебаться не стану?

— Что верно, то верно. Спасибо за откровенность,— сказал Шмурыгин, пожимая Карманову руку.— Спасибо за вашу готовность взять на себя ведущую роль в деле социалистического переустройства данного хутора.

— Не стоит благодарности...— пробормотал с деланным смущением Карманов.

— Стало быть, можно надеяться, что в случае переселения хутор ваш объединится на новом месте в колхоз?

— Это — как пить дать. Моментально объединимся. Будьте уверены. Я своему слову хозяин. Перед Советской властью душой кривить не привык.

— В таком случае позвольте мне от имени районного комитета партии пожелать вам, как одному из организаторов будущего колхоза, стопроцентных успехов в сквозной коллективизации данного хутора. Это — во-первых,— сказал Шмурыгин, уже стоя за столом в такой позе, в какой он привык стоять, проводя собрания.— Во-вторых, предлагаю вам, не мешкая, обобществить весь крупный и мелкий рогатый скот, всю птицу и прочую живность. В-третьих, было бы совсем хорошо, если бы вы представили нам в райзо в недельный срок протокол первого собрания вновь организованного колхоза со списком колхозников, а также список тайных и явных кулаков, дабы лишить их возможности проникновения в социалистический сектор... В случае успеха гарантирую вам от имени руководящих организаций райцентра всемерную помощь как морального, так и материального порядка. Ясно?

— Вполне, дорогой товарищ уполномоченный районной партией. Покорно благодарствуем за доверие. За колхоз мы и в огонь и в воду. Так и всей районной партии во главе с товарищем Чукреевым передайте — послужим верой и правдой,— забормотал с притворным волнением Карманов, неспокойно переступая с ноги на ногу.

— Отлично. Будет передано,— сказал на прощание Шмурыгин, крепко пожимая руку Антипу Карманову.

Когда Шмурыгин сидел уже в седле, Корней Селезнев спросил его, угодливо улыбаясь:

— Я извиняюсь, а как мы колхоз назовем?

— Я думаю: «Легкий труд»,— поспешно подсказал Карманов.

— А может быть, «Веселая жизнь»?— предложил Шмурыгин.

— И это не худо. Знаменитое название. Вполне к нам подходит,— одобрил Антип Карманов.

— Не возражаю. Не возражаю,— утвердительно кивнув, сказал Шмурыгин и тронул застоявшуюся, немудреную на вид, но шуструю, похожую на конька-горбунка лошадку.

21

За две недели работы в зерносовхозе Увар Канахин заметно похудел, еще больше оброс, осунулся. Поднимался он с первыми петухами. И до глубокой полуночи метался как угорелый по бесконечным заседаниям, совещаниям, летучкам, собраниям. И везде выступал в прениях, давал справки, вносил внеочередные предложения и бесчисленные поправки к многословным решениям и бесконечно длинным резолюциям. А по ночам, потеряв сон и трогательную нежность к Дашке, которая готовилась стать трактористкой, он переписывал протоколы, циркуляры, сводки или готовил проекты очередных решений.

В карманах потрепанной, давно утратившей боевой облик походной кавалерийской шинели, с которой не расставался он даже в полуденную жару, в перетянутом бечевкой брезентовом портфелишке и даже за голенищами стоптанных опойковых сапог — везде и всюду торчали у него бумаги. Слово «заседание» действовало на Увара, как набат во время пожара или наводнения. Нередко вконец измотанный, охрипший от запальчивых речей, взъерошенный и потный, брел он в сумерках, едва переставляя ноги, к новой квартире в центральной усадьбе зерносовхоза и вдруг, вспомнив о новом собрании, летел туда сломя голову.

Увар дошел до того, что место тех или иных заседаний угадывал чуть ли не чутьем. Он так и говаривал, подозрительно косясь на какое-нибудь общественное здание центральной усадьбы зерносовхоза: «А ведь там, кажись, черт возьми, заседают!» И был прав — там действительно заседали.

Кидаясь с одного собрания на другое, Увар Кана-

хин искренне желал разобраться в той непривычно шумной, многогранной жизни, в бурный водоворот которой попал он из медлительного, полусонного потока дней, проведенных им в такой же медлительной и полусонной линейной станице. Внимательно приглядываясь к Азарову, Увар удивлялся тому, с какой уверенностью и смелостью управлял директор зерносовхоза громадным, раскиданным в степи хозяйством.

С каждым новым днем становился зерносовхоз все шумнее, все многолюднее. Груды строительных материалов, бойкий стук плотницких топоров, неистовое взвизгивание циркульных пил на стройке, веселый возбуждающий шум механосборочных мастерских, ритмичный рокот автомобильных и тракторных моторов, вечная давка в конторе дирекции, суетня в парткоме и рабочкоме — это и ошеломляло и возбуждало Увара, иногда доводя до граничащей со смятением растерянности. Он видел перед собой громадный механизм, но основная пружина, движущая сложную систему беспрерывно вращающихся колесиков, была для него скрыта. Увар смотрел на эту машину и, чувствуя себя одной из ее основных шестерен, все же не мог определить собственного значения и места. Он хотел видеть и знать все, а из-за груды вопросов, событий и фактов часто не различал главного.

Но мало-помалу Увар стал понимать, что жизнь громадного нового хозяйства начинает распадаться перед ним на протокольно-заседательскую и какую-то особую, живую, настоящую жизнь, в которой он не мог толком разобраться. Он все чаще и чаще стал ревниво приглядываться к трактористам, шоферам, прицепщикам и другим механизаторам, втайне завидуя им и мечтая стать на их место. «Поеду в райком на курсы трактористов проситься»,— нередко думал Увар. Но, пораскинув умом, тут же себя упрекал: «А какой же ты после этого выдвиженец? Нет, дорогой Канахин, тебя партия, как красного партизана, из трудовых батраков на самую главную генеральную линию поставила, а ты, выходит, на попятную, в кусты?!»

Не давала Увару покоя и еще одна навязчивая мысль — мысль о расплате с Лукой Бобровым. Именно движимый этой мыслью, решился он в свое время овладеть грамотой. Было это два года тому назад. В один из отравленных злобой к Луке Лукичу непогожих осенних дней, когда не знал Канахин, куда себя деть от бездея-

тельности, от внутреннего опустошения, забрел он в станичную школу и полушутя-полусерьезно заявил шустрой учительнице:

— В ножки к вам, Марья Захаровна! Обучите меня практически...

— Вы ли это, Увар Игнатыч?!— изумленно спросила учительница.

— Как видите...

— Опомнились, значит? Ну что ж. Очень рада за вас. Очень рада.

— Скучно мне стало что-то. Вот и пришел для смеху...— сказал Увар, садясь с притворной развязностью за детскую школьную парту. А сам подумал: «Вот обучусь письму. Тогда я уж этого гада Боброва не устной, а письменной пропагандой достигну. Я про него сам во все московские газеты напишу!»

Занимался Увар с прилежностью на редкость старательного и способного школьника. Втянувшись в учебу, просидел он за партой зиму. А к весне уже не только бегло читал, но и довольно бойко писал диктанты. Он искренне был поражен, когда узнал на первых уроках, что ему предстоит запомнить всего-навсего тридцать две буквы алфавита, ибо был убежден до этого, что букв этих тысячи. Однако сила этой величайшей человеческой мудрости, оказывается, была в простоте, и вот тридцать два оживших в сознании знака внезапно раскрыли перед Уваром иной, настежь распахнутый мир. Канахин смотрел на этот мир ребячески жадными от любопытства глазами. Все окружающее — степь и станица, деревья и люди,— все это обрело для него некий особый смысл и великую значимость. Точно из мелководной степной реки вдруг вынесло его на широкий, многоводный простор, и Увар, ощутив под собой глубину могучего потока, ошеломленно барахтался в нем, плохо порой соображая, куда плывет. Словно выше поднялось над ним просветленно голубеющее небо, воскресив в помолодевшем Уваре былую страсть к бунтарству и великую любовь к жизни. Недаром целыми днями метался теперь Увар по приятелям, от приятелей — в стансовет, из стансовета — в ячейку, где неестественно крикливо читал, томительно запинаясь на слогах, все, что попадало на глаза: старые плакаты, лозунги, прошлогоднюю стенгазету. А при встрече с неграмотными красноармейцами и стариками неизменно предлагал:

— Ежели, к примеру, в письме нужду заимеете, не робейте, я в момент теперь отпишу практически!

В самый разгар табачной посадки носился Увар по бобровским полям и огородам, проводил среди поденщиков летучие митинги, набивал руку на воззваниях, листовках и резолюциях.

Нынешней весной две недели готовился он к забастовке поденщиков. Ночь напролет писал сумбурные от непослушного языка, полустихотворные, полупрозаические воззвания и прокламации, призывая поденщиков бросить работу и с пением «Интернационала» навсегда покинуть кулацкие огороды и опостылевшие поля. Потрясенная замыслами мужа, Дашка, к великому его изумлению, охотно перешила свое венчальное блекло-розовое платье на знамена, а Увар разукрасил их ликующими и грозными лозунгами.

Ночами, в непокойном и коротком сне, бредил Увар небывалой демонстрацией, гневными речами и, просыпаясь нежным к жене и непривычно ласковым, возбужденно шептал ей в теплое ухо:

— У меня теперь, Даша, аж вокруг все светит и внутре как будто горит. Я ведь только через эту грамоту и жизню свою определил практически... А с гадом Бобровым расквитаемся мы на днях массово! Его от одних наших лозунгов паралич вдарит! И о платье тебе горевать недостойно: пускай трепыхается оно на наших трудовых знаменах! Пускай встанут под него единогласные батраки и бессознательные товарищи поденщики! И пускай почитает на нем враг Бобров наши плакаты! Пусть, душа из него вон, сгинет он на корню вместе с погаными табаками! Это я тебе массово разъясняю...

Мятежная демонстрация должна была состояться, по расчетам Канахина, в канун троицы. Но Увара вызвал в райком Чукреев и, как всегда, беспорядочно роясь в своем портфеле, сурово покосился на Канахина и сказал:

— Опять ты там у меня мировую бузу затеял? Что? Садись,— кивком указал он на стул.— Никак, брат, с тобой не споешься, Канахин,— огорченно вздохнул секретарь.— А все же придется, видимо, раз навсегда из тебя этот бунтарский дух выбить... Ну, хорошо, снимешь ты поденщиков, приведешь с песнями в станицу, отлично,— дружески взял Чукреев похолодевшую руку Канахина и вполголоса спросил:— А дальше что? Куда ты денешь их дальше? Ну, отвечай! Не знаешь?

— Мы и без этого врага проживем,— глухо ответил Канахин.

— Да ты не виляй, говори прямо, что ты будешь с ними делать?— строго спросил Чукреев.

— Проживем... практически!— со злобным упрямством отрезал Канахин. И, не сдержав себя от запала, крикнул:— Н-на, расстреляй меня! Реши меня жизни за этого гада! Бейте, ежели кулак вам дороже кровного коммуниста! Казните!

— Та-та-та-та...— примиряюще обнял за плечи Канахина и чуть улыбнулся ему Чукреев.— Экую ведь околесицу опять понес!

— Горой за кулачье стоите!— не унимаясь, кричал Канахин.

Но Чукреев резким движением придержал его на стуле и сурово, почти угрожающе оборвал:

— Брось!— и, выжидательно помолчав, поучающе заговорил:— Партия знает, когда будет нужно расправиться с кулаком, и партизанщина тут неуместна. Пока мы еще не имеем условий для этой расправы. Подумаешь, как революционно — под красными знаменами поденщиков с кулацких полей уведет! А вот над созданием условий, при которых мужик не пошел бы в кулацкую кабалу, ты небось не подумал. Э-э! То-то, дорогой товарищ! Словом, затевать тебе нелепую демонстрацию решительно запрещаю, во-первых,— захлопнул портфель Чукреев.— В случае же неподчинения требованиям райкома вынужден буду поставить на бюро вопрос о твоем пребывании в партии — во-вторых. Будь здоров, Канахин!— стремительно протянул он ему руку и, точно мгновенно забыв о нем, крикнул в смежную комнату:— Следующий! Кто там на очереди?

Возражать было бесполезно, и Канахин нерешительно поднялся с места и, комкая в руках фуражку, вышел из кабинета.

Так разрушил Чукреев все лихие замыслы Канахина о разгроме бобровского произвола. И только впоследствии начал смутно догадываться Увар, почему показалась преждевременной его затея Чукрееву. Увар знал, какое трудное наступает для Боброва время, какие великие потрясения несут ему нарождавшийся в степи зерносовхоз и грядущая коллективизация. Понимал Канахин и то, что дешево Бобров, конечно, не дастся. По случайным обмолвкам станичников, по угрожающим намекам встре-

воженных людей можно было догадаться, откуда шли все эти разговоры о сопротивлении, о подготовке к назревающей борьбе.

Недаром же денно и нощно кружился Лука Лукич по окрестным хуторам, аулам и селам, принимал по ночам неизвестных всадников, держал на дворе нерасседланных лошадей. «А ведь он, гад, живого и мертвого подымет!»— зная о силе пагубного влияния кулака в степи, настороженно думал Канахин и убеждал себя, что только немедленным уничтожением Боброва можно избавиться от беды, которая может ударить по зерносовхозу. Но ни говорить об этом, ни советоваться Канахин больше ни с кем не решался. «Теперь уж выговором-то не отбояриться,— мысленно урезонивал он себя.— Нет уж, ежели его и стукнуть практически, так втихомолку, один на один, а там пусть пытают...»

Единственный человек, с которым хотелось Увару поделиться замыслами, был Кузьма Азаров. Правда, впечатление о нем у Канахина как-то двоилось. Памятуя об установке, какую дал ему при посылке в зерносовхоз секретарь райкома, Увар первое время относился ко всем директорским распоряжениям с некоторой настороженностью. Но он был немало поражен отечески-строгой заботой этого человека о рабочих. И мало-помалу чувство недоверия к Азарову сменилось нарастающей привязанностью к нему и потребностью в дружеской близости и откровенности. Но за все время ни разу не удалось Канахину столкнуться с директором один на один, поговорить с ним легко и просто, как говаривал в редкие минуты только с Дашкой.

Выдался как-то у Канахина неудачный день — ни одного заседания. Организационное собрание ОДН срывалось — его негде было проводить. В помещении рабочкома шел спешный ремонт. И пять оторванных от работы энтузиастов — два счетовода, дорожный техник Улиткин, машинистка Ванда и сторож Иван — часа четыре метались следом за Канахиным в поисках пристанища. Но все конторы и помещения зерносовхоза до отказа были забиты суетящимися, беспокойно-крикливыми людьми, а открывать собрание посреди улицы было все же неудобно. Наконец воспользовавшись отлучкой Азарова, забрался Канахин с измотанными общественниками в директорский кабинет. Приказав сторожу зорко следить за появлением директорской машины, Увар не-

медля приступил к докладу о целях и задачах общества. Но на первом же десятке вводных слов панические ужимки и жесты сторожа до того ошеломили Канахина, что, остолбенев, понял он роковое их значение только в момент появления директора в распахнутых дверях.

Воспользовавшись некоторым замешательством, все канахинские энтузиасты мгновенно исчезли. Увар же ни жив ни мертв стоял за директорским столом и, комкая в руках заготовленную резолюцию, изумленно смотрел на Азарова.

— А-а! Так вот ты где у меня спасаешься! Опять митингуешь в неурочное время?— сразу же раскусив Увара, насел на него Азаров.

И не успел растерявшийся Канахин раскрыть рта, как Азаров, вплотную приблизившись к нему, засыпал его градом вопросов:

— Почему не видят тебя ребята на участках? Ты у меня брось эту музыку, художник! Почему до сих пор ты не удосужился побывать в мастерских, бригадах, в общежитии трактористов? Почему на третьем участке перед выходом в поле никто не знает ни норм, ни расценок? Почему на седьмой базе заглох громкоговоритель? Почему, черт бы вас побрал, трактористы пятой бригады по сию пору без комбинезонов, а трактористы второго звена дуют сырую воду?.. Спецовок нет? И это неправда, Увар. Я их сам в прошлую декаду на станции видел.

— А где же они? На складу таковых не значится. Я уж любопытствовал...— осмелев, робко заявил Канахин.

— Ну тут-то уж ты мне не заливай!— возразил Азаров и, бросившись к телефону, долго и яростно крутил ручку.

— Склад! Завхоза!.. Товарищ Вихреев?.. Директор. Ты когда принял спецовки? Что-о-о? Как не принимал? А? Погоди... Что? При чем тут бухгалтерия? Дорогой мой! А где ж у тебя собственная голова? Почему не поставил в известность дирекцию?.. Что? Да ведь это же глупости! Правильно. Ответишь. Давай сейчас же ко мне. Мигом!— Азаров бросил трубку и, позабыв дать отбой, распахнул дверь в соседнюю комнату и строго сказал кому-то:— Позовите ко мне главбуха. Да, да. Федор Федорыча. Полуянова. Сейчас же! Срочно.— Он захлопнул дверь и долго стоял потупясь, точно вспоминая о чем-то. Потом решительно подошел к столу, примостился на

краешек кресла с широкими разводами, передние ножки которого грубо белели свежевыструганной сосной, и, облокотясь на правую руку, поник над картой.

Увар зорко смотрел на директора и думал о том, как похудел, потемнел тот в лице — от забот, от бессонницы, от непривычных горячих суховеев, покрывших щеки темным румянцем. Резче выступили сурово сомкнутые спекшиеся губы. Явственно обозначились на выпуклом лбу крупные изгибы морщин. И словно еще длинней и тоньше стали пальцы его рук, беспокойно теребящие чертежную кальку.

«Должно, ночей пять сряду не спал»,— ощутив прилив неизъяснимой нежности к этому только что накричавшему на него человеку, подумал Канахин и хотел было напомнить о себе, но директор, сорвав с рычажка трубку, снова долго кричал кому-то о кругляке, о дисковых боронах и фильтрах тонкой очистки, не заметив даже главбуха, бесшумно появившегося в дверях кабинета.

Главбух, почтительно ожидая конца телефонного разговора, сосредоточенно протирал носовым платком старомодное пенсне и, делая вид, что не слушает директора, пристально озирал стены кабинета. Трудно было узнать в главбухе того неприятно юркого, не в меру словоохотливого странника Гермогена, который провел бессонную ночь наедине с Филаретом Нашатырем, наговорив ему немало темных, грозных по смыслу притч! Свежевыбритый, помолодевший, в синей сатиновой косоворотке, в ярко начищенных модных ботинках, был он опрятен и строг. Ладно сидел на нем и черный шевиотовый пиджак. И словно никогда не свисали до широких плеч Гермогена каштановые, слегка вьющиеся волосы, словно никогда не носил он роскошной муаровой рясы настоятеля древнего монастыря. Нынешняя внешняя представительность главбуха должна была внушать, по его мнению, веру людям в его безукоризненные качества высокого специалиста учета. Но Азаров, не подозревая о скрытом прошлом этого человека, тем не менее почему-то в душе относился к нему с беспричинной, на первый взгляд, настороженностью, хотя и ценил в своем бухгалтере редкую среди людей такой профессии разносторонность мышления, его иронический ум.

Покончив с телефонным разговором про кругляки и фильтры тонкой очистки, Азаров заметил главбуха и жестом пригласил его присесть к столу.

— Вы не в курсе дела, Федор Федорыч, что там ерундят опять со спецовками для трактористов? Я сам видел наряд. Спецовки были отгружены со станции и приняты экспедицией зернотреста. Мы должны были давным-давно снабдить ими рабочих. В чем тут дело? Решительно ничего не понимаю. Звоню сию минуту завхозу, а он ссылается на бухгалтерию, на вас.

— Я тут, строго говоря, Кузьма Андреевич, совсем ни при чем,— ответил главбух, беспомощно разводя руками.— Наряд на спецодежду для трактористов, насколько мне известно, получен. Но мы не в состоянии оплатить счета. Вы же отлично знаете, как нас подсиживает трест.

— Вздор говорите. Деньги у нас имеются!— побагровев, грубо перебил главбуха Азаров.

— Деньги, предусмотренные другими статьями,— это да. Но вы меня извините, Кузьма Андреевич, расходовать эти деньги не по назначению я не вправе даже и в том случае, если будет на то ваше устное распоряжение. Без второй вашей письменной визы снимать деньги с других статей я не могу.

— Без второй визы? Извольте — хоть три. Но я называю это формализмом,— опять довольно грубо прервал его Азаров.

— Помилуйте, я от требований государственного закона отступать не намерен.

— А я называю это казенщиной!— глухим от гневного накала голосом сказал Азаров.— Подумайте — средства не ассигнованы! Так их надо отыскать. Перекачать из других фондов — невелико преступление. На то вы и бухгалтер.

— Нет, это преступление!— сказал со злобным упрямством главбух, резко приподымаясь со стула.— И персональную ответственность за подобное преступление несу я, ваш главбух.

— Не глупите!— оборвал его Азаров.— А выпускать рабочих, вчерашних батраков, на пахоту разутых и раздетых — это не преступление?

— И это преступление. Но за это преступление будете, видимо, отвечать персонально вы,— сказал главбух, с наглым спокойствием уставившись на Азарова, и, предупредительно улыбнувшись, спросил:— Надеюсь, вы не обидитесь, Кузьма Андреевич, за шутку?..

Но, точно и не расслышав его заискивающего вопроса,

Азаров размашисто написал на подвернувшемся под руку клочке бумаги официальное распоряжение о немедленной оплате счетов из статьи культфонда и, протянув бумажку главбуху, строго сказал:

— Вот вам моя виза. Для срочного исполнения. Извольте.

— А, это — другое дело!— бегло прострочив глазами написанное, сказал главбух с притворным удовлетворением.

Затем Азаров спросил, как бы спохватившись:

— И еще вопрос. Почему вы, отказавши в деньгах, не предупредили меня об этом?

— Считал излишним затруднять вас подобными вопросами. Я же не предполагал, Кузьма Андреевич, что вы рискнете пойти на такую, по сути, противозаконную операцию...

«Финтишь ты что-то у меня сегодня, дьявол!»—подозрительно подумал Азаров и, немного помолчав, сказал:

— Это непростительная для вас халатность. Я вынужден поставить на вид вам в приказе...

— Воля ваша. Извините...— с наигранной обидой тихо ответил главбух и, почтительно поклонившись, вышел.

Комкая в руках какую-то бумажку, Азаров стоял потупясь в таком напряженном оцепенении, точно ломал голову над замысловатой загадкой. Потом, словно очнувшись, бросил взгляд на присмиревшего Канахина и спросил:

— Ну-с, а ты чего еще дожидаешься?

— Я думал, что для вас, товарищ директор, буду нужный...— растерянно пробормотал Канахин.

— Не мне ты нужен, Увар. Не мне — рабочим. Трактористам и прицепщикам в бригадах. Там — в степи, на целине твое место. Как, впрочем, и мое, скажу тебе,— заметил с усмешкой Азаров. И, тут же переменив тон, сторого добавил:— А ты вот черт знает чем занимаешься. Все заседаешь. Воззвания пишешь. А в степи за нас с тобой кулацкие агитаторы работают. Не дали вовремя механизаторам спецодежды — вот тебе и лишний козырь врагу! Случился вчера перебой с выпечкой хлеба — уже нехорошие слухи на целине! Враг хитер и умен. Он переключается с ходу. И мы, большевики, должны быть бдительными. Ты знаешь, как напряженно чувствуешь себя ночью в открытой степи, когда остаешься один! Идешь,

думаешь о чем-то другом, забудешь порой, что ты один, что пусто и темно вокруг тебя на сотни, на тысячи верст. Однако, помимо твоей воли, у тебя необычайно напряжено все. И слух. И зрение. И каждый твой мускул. Подобное напряжение должны испытывать мы, коммунисты, и сейчас, в эту горячую пору первого нашего вторжения на целину. А целина здесь — сам видишь — вековая, нетронутая. И нелегко нам, пионерам ее освоения, будет поднимать здесь первые пласты богатой нерастраченным плодородием земли. В степях этих не так уж тихо и пусто, Увар, как на первый взгляд кажется. Вокруг нас немало тайных и явных врагов. И мы должны улавливать каждый недобрый шорох и звук...

— Стрелять их, гадов, на месте надо. Прямое им на тот свет сообщение!— запальчиво проговорил Увар Канахин.— Я их, товарищ директор, за версту чую. Все их вредные мысли наскрозь с ходу читаю. Вот хотя бы, к примеру, этот самый главбух. Да это же, как пить дать, стопроцентная гидра контрреволюции! Я бы его за подобные действия публично прикончил и на духу не раскаялся...

— Ну, тихо, дружок,— с отеческой теплотой проговорил Азаров, касаясь рукой плеча Увара.— Что касается главбуха, так это, на мой взгляд, прежде всего большой специалист, опытный работник. А без таких нам пока не обойтись. Не знаю, но мне кажется, что пока ничто не говорит о его враждебности. И в этих делах нам надо быть осторожными, Канахин. Честных и преданных мастеров-специалистов мы должны уважать и ценить. Согласен?

— Понимаю...

— То-то, дорогой товарищ... А теперь вот что,— продолжал Азаров более строгим тоном.— Должен предупредить тебя, заруби себе на носу, что, если, не ровен час, застукаю я тебя еще в рабочую пору на заседании,— не помилую. И это понятно?

— Вполне...— пробормотал смущенно Увар.

— Тогда на, закури!— сказал Азаров, протягивая Канахину помятую пачку «Пушки».— Закури — и поехали. Ты — в бригады трактористов. Я — на станцию. Надо там за отгрузкой стройматериалов проследить. Осень не за горами, а строительство жилых домов на центральной усадьбе у нас пока идет с горем пополам, да и пахота — не ахти. Боюсь, как бы не сорвать нам план подъема

сорока тысяч га целины. Земля как броня — стальные лемеха ломаются. А тут еще с прицепами кавардак: заводские задержали где-то в пути. Из доморощенных конструкций у нас пока ни черта не выходит. Валяй скорей в степь к трактористам. Валяй,— повторил Азаров, протягивая на прощанье Увару загорелую, пропахшую солнцем и техническим маслом руку.

Распрощавшись с Азаровым, Увар Канахин опрометью вылетел из кабинета, растеряв по дороге в гараж добрую половину протоколов и резолюций. А через четверть часа, даже на заглянув домой, он, повеселевший и возбужденный, выехал в кузове битком набитой рабочими полуторки в тракторные бригады зерносовхоза, раскиданные на десятки верст в степи.

22

В девятом часу вечера все были в сборе. Последним приехал промокший до нитки за неблизкую дорогу Алексей Татарников. Был он слегка хмелен и то неловок и застенчив, то не в меру рассеян, то подчеркнуто дерзок и вызывающе груб. Небрежно поцеловав обнаженную пухлую руку Ларисы Кармацкой, он уселся в глубокое, под белым чехлом, старомодное кресло и как бы забылся, притих. Потом он жадно и долго курил, тянул скупыми глотками дешевый портвейн из хрустального фужера и односложно, вполголоса отвечал на вопросы тоже не очень-то словоохотливых собеседников.

В столовой, где расположились гости Ларисы Аркадьевны Кармацкой, было душно и сумрачно. Слабо мерцали над старым раскрытым роялем свечи. Тускло и холодно отсвечивал изразцовый камин в углу. Завывал на все лады шарообразный — в татарском стиле — серебряный самовар.

А на улице творилось черт знает что! Пятый час бушевал с нарастающей яростной силой грозовой ливень. От страшного, в гулких, дробных наплывах, грома угрожающе сотрясался весь старый бревенчатый дом. Зловеще дребезжали стекла в оконных рамах, и в решетчатых просветах кружевных гардин играли лиловые блики почти беспрерывных молний. Мятежный шум дождя сливался с порывистым ревом ветра.

Разговор не клеился.

Гости, сидя за круглым столом, пили кто крепкий, как

смола, чай с сахаром вприкуску, кто недорогое кисловато-сладенькое винцо. И вид был у всех такой, словно каждый из них ждал с минуты на минуту чего-то значительного, о чем все думали, но никто не решался заговорить вслух. Ни один из гостей не смеялся армейским остротам, как всегда, полупьяного и веселого попа Аркадия. Непривычно мрачноватым и вялым был на сей раз Лука Бобров. Безуспешно пыталась рессеять дурное настроение своих гостей и севшая за рояль хозяйка. Когда, неуверенно проиграв две страницы из так и не разученной за сорокадвухлетнюю жизнь второй рапсодии Листа, виновато улыбаясь, переключилась она на полонез Огинского, насторожился только один Татарников. Он залпом выпил чужой стакан самодельного ликера, и лицо его обрело мрачную решимость. Глаза его были воспалены и неподвижны. На бескровно-вялых губах — жалкое подобие улыбки. Тяжело приподнявшись, он, не сгибая в коленях ноги, подошел к Кармацкой и опустился на оттоманку. Кармацкая почувствовала его близость, чуть замедлила темп игры и, не глядя на Татарникова, тихо спросила:

— Не пора ли нам, милый?

— Как?!— отозвался он, изумленный вопросом. И, осторожно коснувшись ее руки, прощептал:— Играйте. Это отлично. Ведь это же... ну как это называется?... Полонез Огинского. Я вспоминаю: «Прощание с родиной»!

Бережно трогая холодные клавиши, Кармацкая ответила ему строгим утвердительным кивком.

— Ну да...— прикрыв лицо ладонью, повторил Татарников.

Потом, стремясь уловить знакомый мотив, запел сквозь зубы, но, сфальшивив на первой же ноте, тихо сказал:

— Этот полонез играл на флейте сотник Бронский, Витька Бронский. Он квартировал в доме моего дядюшки — станичного атамана Ананьева. Дом Ананьевых!.. Лариса! Это старый, добротный атаманский дом по-над самым Уралом. Палисад над рекой. Клен в два обхвата... Послушайте, Лариса!— сказал он, коснувшись ее руки.

— Слушаю,— строго отозвалась Лариса Аркадьевна, зло оборвав музыкальную фразу.— Слушаю, офицер.

— Я любил этот дом! — сказал он с тупым отчаянием, преданно глядя в блекло-синие глаза Кармацкой.

— Какая тоска с вами, господи! — огорченно вздохнула она, коснувшись его виска горячей ладонью.

— Лариса... — потянулся к ней Татарников.

— Замолчите! — сурово оборвала она, резко отстранив от себя его длинные и тонкие руки. — Ну что вы, ейбогу, воете? Дом! Палисад! Клен в два обхвата! У меня вон усадьбу разносят. Костры из моих построек жгут. Грязные оборванцы, хохлы и киргизы, руки на моем огне греют. А вы знаете, какая тут древняя лежала еще вчера степь! Какие чудные цвели ковыли и ромашки! Полюбуйтесь, дорогой, как они расписали своими тракторами вековой и заветный мой выгон. Ну что ж... — злобно кусая неяркие губы, повела плечами Кармацкая. — Ну что ж... — тупо повторила она, и вдруг голос ее зазвучал напряженнее и жестче: — Я рыдать, господин офицер, не буду. У меня слезы не потекут, глаза от злобы уже давно высохли... Каюсь, первые ночи как нагрянули тракторы и подняли под самыми окнами грохот и скрежет, становилось страшно. Я зарывалась в подушки, глушила себя вином, думала принять морфий... Конец усадьбе и дому. Конец, быть может, и мне. Но не всему еще конец, господин Татарников, нет! — злым шепотом заключила она. Потом обняла Татарникова и, мечтательно полузакрыв глаза, спросила: — До конца еще далеко, правда?

Но Татарников, покорно притихнув, жевал сигарету и молчал.

Кармацкая приподняла в ладонях прилизанно-потную его голову, порицающе глянула в лицо и сказала, брезгливо оттолкнув его:

— Пьян. От двух рюмок скверного портвейна! Встаньте и помните, что у нас на сегодня еще покер, а к тому же и серьезный разговор...

Татарников, повинуясь воле хозяйки, поднялся и, пытаясь казаться трезвым, неестественно пялил глаза, поджимал губы, старался вернуть былую выправку. Он хотел заговорить о чем-то деловом, серьезном. Однако под дурманящим впечатлением все еще звучащей в его ушах музыки, воскресившей в нем столько горьких воспоминаний, заговорил о недавних днях своей эмиграции. Чувствуя, что Кармацкая слушает его нетерпеливо, и опасаясь быть грубо прерванным ею, говорил он торопливо, точно задыхаясь, глотая концы слов и фраз.

— И еще раз, один раз я слышал этот полонез в Харбине. Ресторан «Ша нуар»! Вы знаете, в эстрадном оркестре была пианистка княжна Тарханова. Мари, Маша. Манечка Тарханова. Вы знаете... Она хорошо играла, и потом, она совсем неплохо прирабатывала с посетителями. Да. Мы дружили. По ночам мы мечтали с ней о России, о Петербурге...— понизив голос, сказал чуть слышно Татарников.

— Какая еще там княжна! Довольно,— строго-пренебрежительно прервала, поддерживая под локоть Татарникова, Кармацкая.— Пошли-ка, дорогой мой, к столу. А потом — вам нужно срочно оформить брак с этой... ну, как ее? Катей, Катюшей Кичигиной. Это необходимо в интересах дела. Потомственная беднячка застрахует вас от лишних подозрений. Нельзя упускать момента. Слышите? То-то. Завтра же поезжайте в загс.

— Слушаюсь,— не то шутя, не то серьезно отчеканил Татарников.

И Кармацкая, взяв его под руку, увлекла к столу, за которым гости, морщась, пили какую-то смесь и приглушенно, с оглядками вели меж собой разговор.

Минут через пять, по предложению хозяйки, все перешли из столовой в крохотную смежную комнату с наглухо задрапированными окнами, которая служила, как видно, местом для уединенных встреч и интимных разговоров. Гости привычно заняли за китайским столиком свои места и в глухом, напряженном молчании деловито начали первую партию в покер.

Эта вынесенная Татарниковым из Шанхая игра до того поработила его партнеров, что все они — и Лука Лукич, и Гермоген, и инженер Стрельников, и поп Аркадий, и даже сама хозяйка,— утратив страсть к преферансу, играли теперь ночами с хищным азартом затравленных шулеров, нередко спуская в один присест немалые ценности, осыпая в пылу игры карточный стол брызгами золотых монет царской чеканки...

Раньше всех продулся поп Аркадий. Помимо полутора сотен целковых наличными он проиграл Луке Лукичу под троекратную клятву пред образами и кое-что из поставленного им на кон церковного имущества: наперсный серебряный крест в полтора фунта весом и каракалпакский ковер из алтаря, некогда принесенный в дар божьему храму самим же Лукой Бобровым.

Однако к дальнейшей игре его не допустили. И теперь,

злой, одурманенный тоской и хмелем, уныло сидел он в углу, пил настойку и вполголоса гнусавил: «Блаженни нищие духом, яко тии утешатся...»

Везло только одному Луке Боброву. Беспрестанно сметал он банк за банком. Обнаглевший и решительный, приводил он в трепет всех партнеров. Жестоко и дерзко наступал на них, заставлял пасовать даже при наличии в их руках на редкость высоких, по сути беспроигрышных, комбинаций.

Гермоген вот уже сряду третий вечер играл на совхозные деньги.

Инженер Стрельников просадил последние занятые у главбуха пятьсот рублей и озабоченно держался за оставшиеся еще золотые часы.

Игра шла сегодня, как никогда, напряженно и бойко.

Лариса Кармацкая рывком сдернула с безымянного пальца и бросила в требовательно протянутую руку Боброва проигранный именной перстень. Потом, покусывая губы, выложила на стол старинный, червонного золота, медальон и вновь начала торговаться с Бобровым...

— А мы опять на своих рискуем...— смиренно сказал Бобров, отрекаясь от прикупа.

И трудно было понять, притворяется ли он или в самом деле имеет высокую комбинацию.

— Ну-с?— выжидающе озирая партнера, вполголоса спросил Лука Лукич и, хищно раздувая ноздри, насторожился.

— Четвертная!— слабо надеясь на свою комбинацию, открыла торговлю Кармацкая.

— Пятьдесят!— чуть слышно откликнулся уверенный в проигрыше Гермоген, с головой выдавая бессильную свою карту.

— Сто пятьдесят! Отвечаю!— звучно прихлопнув ладонью, пробасил на весь дом Бобров.— Сто пятьдесят, супостаты! А ну! Рискуй!

— Пас...— прошептал осторожный Татарников и, брезгливо отбросив в сторону карты, повторил:— Пас, понимаете...

— А ну? Кто насупротив меня рискует?— все злей и решительней наседал Бобров на своих партнеров.

Гермоген молча бросил свои карты и выпил очередную стопку настойки.

Инженер Стрельников, панически озираясь, ерзал на стуле, и вид у него был такой, точно надеялся он на совет

соседа — пасовать ему или же торговаться. Наконец и он, растерянно улыбаясь, бережно отложил в сторону карты.

Кармацкая сдалась только на пятой сотне. Бесцеремонно выудив из ее слабо зажатой в кулак руки выигранный медальон, Бобров поспешно спрятал его во внутренний карман чесучового пиджака и, тяжело откинувшись на спинку стула, вытер усталым жестом потный лоб. Он приготовился было к новой партии: уже занес над старательно перетасованной колодой волосатую руку, как вдруг осекся на полуслове и замер.

Насторожились, притихли и все остальные.

Сквозь ураганный свист ветра, дробный треск отдаленной грозы и шум деревьев за окнами отчетливо послышался требовательный стук в ставню. И на мгновение в комнате стало так тихо, что выпавшая из дрогнувших рук Луки Лукича дама пик звучно шлепнулась на пол.

Татарников зачем-то задул одну свечку и с вороватой поспешностью переложил из кармана в карман моментально снятый с предохранителя браунинг.

Бегло взглянув на Татарникова, то же самое механически проделал со своим кольтом и Лука Бобров.

Стук повторился; он показался теперь более злым и настойчивым.

— Кто?— спросил полушепотом Бобров оробевшую Кармацкую.

Но она только недоуменно повела плечами. Потом одним лишь взглядом да кивком головы в сторону окошка спросила:

— Открывать?

— Надо узнать, кто...— почти одновременно шепотом ответили Бобров и Гермоген.

— А ну, пошли,— позвал Лука Лукич Татарникова, и вслед за хозяйкой они вышли на цыпочках через столовую в коридор.

Прислонившись к двери, Кармацкая певуче-тонко воскликнула:

— Кто та-а-ам?!

Прошло с полминуты щемяще напряженного ожидания, пока послышались за дверью торопливые шаги, учащенно-порывистое дыхание и густой, перехваченный ветром голос:

— Извините за беспокойство. Не укроете ли вы нас

на часок от непогоды? Проезжие люди... Случайно попали в переплет. Завязла машина. Промокли, понимаете ли, как черти. А тут вот еще, как на грех, юная спутница. Гости непрошеные, но явите уже этакую милость... А вообще-то мы соседи. Я директор зерносовхоза. Заочно рекомендуюсь — Азаров!

Рука Кармацкой дрогнула от ожога упавшей со свечи стеариновой капли.

Произошло минутное замешательство.

Татарников взглянул на Луку Лукича, отступил на шаг в глубь коридора и, направив браунинг в притвор двери, приготовился к выстрелу. Но Бобров схватил его за руку и, пятясь, осторожно ступая по предательски скрипящим половицам, потянул за собой в дом.

Кармацкая метнулась было за ними.

— Впусти. О нас ни слова...— только и успел шепнуть ей Бобров, мгновенно исчезнув с Татарниковым за дверью.

— Ну так как же, хозяйка?! Или раздумала?— глуше прозвучал голос с улицы.

— Ах, что вы, что вы... ради бога! Я очень рада... Да вот ведь экий дурацкий запор у нас — никак сразу-то и не откроешь...— умышленно долго возясь с крюком, говорила впопыхах Кармацкая. Наконец распахнув дверь и прикрыв от ветра ладонью мерцающее пламя свечки, она предупредительно отступила в сторону и, жеманно улыбаясь, преувеличенно низко поклонилась возникнувшей на пороге маленькой, с головой накрывшейся прорезиненным плащом фигурке подростка, а затем и Азарову.

— Куда прикажете следовать?— спросил он, сухо поклонившись хозяйке.

— Пожалуйте, пожалуйте...— забормотала Кармацкая, неловко опережая непрошеных гостей и плохо соображая, куда же их проводить: в спальню — неудобно, в столовую — рискованно. Но деться некуда, людей надо было принимать, а главное — не выдать бы собственного волнения, переходящего в страх.

— За мной... сюда... за мной, дорогие товарищи...— точно задыхаясь, глотала она невнятные слова, нерешительно продвигаясь по узкой прихожей в столовую. И при виде наглухо приспущенных портьер над дверями в гостиную, где хоронились ее картежники-гости, у Кармацкой сразу полегчало на сердце. На мгновение она окину-

ла зорким оком комнату: ничего, кажется, предосудительного в ней, слава богу, не оказалось. С наигранной искренностью хозяйки, обрадованной приходом нежданных гостей, Кармацкая, заискивающе улыбаясь, частила:

— Ах, как вы промокли! Ужасен путь в этакое ненастье! Как из ведра полощет... А какая гроза, вы только подумайте!.. Вот вам диван, оттоманка, располагайтесь. Прошу чувствовать себя как дома... Кошмар!— всплеснув руками, сказала она, глядя на Азарова.— Да ведь у вас и рубашку хоть выжми. Позвольте вам предложить халат моего покойного мужа.

— Нет, нет, нет! Освободите. Не извольте беспокоиться. Я уж как-нибудь без халата...— с холодной учтивостью наотрез отказался Азаров. Потом, заметив на оттоманке пачку забытых Татарниковым английских сигарет, насторожился и сказал, оживляясь:— А вот выкурю я с премногим удовольствием. Разрешите?— испытующе глянул он в побагровевшее лицо Кармацкой и, не дожидаясь ответа, решительно протянул руку за золотисто-дымчатой заморской сигаретой.

— Ах, ну да, ну да. Пожалуйста!— еще больше краснея и панически озираясь вокруг: не предадут ли ее разбросанные неряхой вещи?— подавленно пробормотала Кармацкая.

Но и тут мгновенно нашла выход из рискованного положения.

— А я, знаете ли, все эти дни с гостями,— сказала она притворно возбужденно и радостно.— Вчера побывал проездом на Балхашстрой давнишний приятель инженер Скоробогатов. Это друг покойного моего мужа. Очень крупный специалист. Возвращается сейчас из-за границы на стройку Балхашского комбината. Провел двухгодичную командировку в Европе. Посетил Америку... Коммунист... Обаятельный человек, честное слово... Хорошие сигареты?— изумляясь своей находчивости, спросила она тоном беспокойно молодящейся женщины.

Слово за слово, и Кармацкая, входя в роль гостеприимной хозяйки, держалась все непринужденнее и увереннее. Но волновало ее теперь только одно — наглухо занавешенная портьерами гостиная. Хватит ли у них мужества и выдержки? Не погубят ли ее Бобров и Татарников? А вдруг им придет в голову осуществить давние свои замыслы именно сейчас, именно в этой комнате?

Однако, как ни напрягала Кармацкая и без того обостренный в эту минуту слух, как ни старалась она уловить хоть слабейшие признаки подозрительного движения, шепотка или шума за дверью,— ни вздоха не донеслось до нее из этой, ревниво хранившей столько опасностей комнаты.

А за тревогой, за страхом Кармацкая сначала как-то даже и не обратила внимания на закутанного в мужской прорезиненный плащ подростка. И только по-девичьи застенчивый голос, неясно прозвучавший в ответ на какие-то слова Азарова, заставил хозяйку прислушаться. И, впервые взглянув на присмиревшего у косяка директорского спутника, дрогнув, закусила Кармацкая полупоблекшие губы и, с трудом отводя в сторону округлившиеся от страха глаза, сказала:

— Ах, да вы, оказывается, с женщиной! Простите за невнимательность...— виновато улыбнулась она Азарову. И, нагловато, в упор разглядывая Катюшу, заувивалась вокруг нее, защебетала:— Ну, проходите же, милая незнакомка! Да что же это вы стесняетесь-то, голубушка. Будьте как дома... Ну, прошу, прошу... Ах!— всплеснув руками, отпрянула от нее Кармацкая.— Какой ужас! Да вы, кажется, босая?! И это в такую ночь?! Господи! Я не могу!.. Туфли! Где мои туфли?— заметалась она по столовой и, схватив пару лакированных лодочек, умоляюще принялась просить девушку обуться.

Но Катюша, пунцовая от смущения, протестующе крутила мокрой головой и, настойчиво отстраняя хозяйские туфли, смотрела на Азарова серыми, широко раскрытыми глазами.

— Ну послушайте! Золотая моя! Ну нельзя... Неприлично же быть, в конце концов, такой упрямой. Я могу обидеться. Умоляю вас...— не отступала Кармацкая.

«Вот уж черт тебя ко мне привязал! Да мне твои копытца и не влезут»,— хмурясь, подумала Катюша. Но потом, неожиданно осмелев, сказала, стараясь быть вежливой:

— Покорно вам благодарна. Только зря вы беспокоитесь... Мне и так хорошо. Вот только ежели наследим вам тут немного...— Катюша осторожно коснулась ступней прикрытого ковровой дорожкой пола. Потом прошла в глубь комнаты, мимолетно заглянула в огромное зеркало, покосилась на открытый, впервые увиденный ею рояль, бережно дотронулась пальцем до слабо прозвучавшего

клавиша и, отпрянув, села за стол спиной к хозяйке, которая не переставала следить за ней недобрым взглядом.

Подали бурно клокотавший самовар.

Азаров был зол на непогоду, на покинутого ими в застрявшем в грязи автомобиле ротозея — шофера Яшу, на то, что ему не удастся теперь, пожалуй, попасть к рассвету в пятое отделение зерносовхоза, где никак не клеилось с пуском двух колесных тракторов. Злило его и вынужденное посещение дома Кармацкой, приторная вежливость хозяйки и нудное чаепитие. Кроме всего, чувствовал он себя беспричинно подавленным. «Устал, дьявол. Никак ведь не приучусь спать в машине, а пора бы привыкнуть...»— с горечью подумал он, стараясь оправдать напряженно-тягостное состояние.

Дождь между тем прошел.

Ровнее и глуше шумели деревья в саду, убаюканные затихающим предрассветным ветром. Заунывно посвистывал присмиревший на столе самовар. Покойно догорали в тяжелых подсвечниках чуть потрескивающие свечи. Мягко пружинил при малейшем движении ковровый диван. Азаров чувствовал, как тяжело, точно свинцом, наливалось тело, застилал, заволакивал глаза дурманно-сладкий дымок. И властные руки сна бережно приподнимали директора, покачивали его над падающим в бездну полом. Смутно мелькало перед Азаровым лицо хозяйки. Откуда-то из полумглы, из тумана наплывал и мгновенно меркнул строгий профиль Катюши Кичигиной и все глуше звучал отдаленный ее голос:

— Он мне шарф подарил поднебесного цвета. Девичник справили. Приданым запаслась. Человек мастеровой. Только я вот немного боюсь его отчего-то... Вспомню, как руки у него дрожат,— страшусь, да и баста. Вот ведь, скажете, дура какая!.. Ну что ж, свадьба на носу, а мне — ни сна, ни покоя. Мамынька со мной извелась. Ведь подумать только — одной муки у жениха пуда четыре забрали, какие уж тут могут быть отказы? Боись не боись, а по рукам ударено — выходит, надо. Я реву горючими... А куда деваться? Стали было меня лечить: и траву-притку пила, и вокруг погоста по ночам двенадцать раз с воскресной молитвой ходила — страсти! Только вижу — все для меня это непользительно. Встренусь с ним — во рту холодеет, сама себе чужой делаюсь. И вот дошел до нас слух про зерносовхоз...

Азаров, напрягая слух, на мгновение открыл отяго-

щенные веки, явственно различил в зыбком сумраке четкий профиль Катюши и опять услышал ее таинственный полушепот.

— Тут я чисто воскресла! Господи, неужели на место в этом совхозе не определюсь?! Думать недосуг, молиться — тоже. Перекрестилась я да прямо с постели через окошко — и ходу. Скрылась из хутора перед утром. Шмыгнула к озеру, переплыла курью, а там камышами, через березники, через займища, да и в степи. Бегу, озираюсь: как бы в погоню он за мной не погнался — жизни решит али к себе вернет... Миновал бог. Ушла я за день-то далеко. Выбилась к ночи на тракт. Тучи нашли. Ураган взыгрался. Тьма. Святители! Я от ужасти глаза зажмурила, бегу — земли не чую...

Голос Катюши замирал, удалялся, таял.

И Азаров, чуть улыбаясь, не то припоминал, не то видел уже в тревожном, раздробленном явью сне и то, о чем рассказывала Катюша Кармацкой, и то, что случилось два или три часа назад на пустынной степной дороге в эту глухую, непогожую ночь.

Он видел, как настигнутая его автомашиной девушка бросилась с тракта в сторону и пыталась скрыться в степи. С трудом вернул ее Азаров, усадил рядом с собой в крытый автомобиль. Сначала Катюша упиралась, а потом вдруг по-кошачьи легко и гибко нырнула в распахнутые двери кабинки. Автомобиль рванулся вперед и стремительно помчался по степи под проливным дождем и грозой. Катюша, подобрав под себя босые ноги, притихла, точно ожидая чего-то еще более удивительного, невероятного. Чувствовалось, что и видит она машину, и едет на ней впервые... Она упрямо отмалчивалась от перекрестных вопросов ее спутников — Азарова и шофера. Присмирев, просидела она безмолвно до тех пор, пока не застряла машина в размытом ухабе.

После бесплодных усилий выручить фордик из рытвины Азаров предложил Катюше добраться пешком до мерцающего вблизи огонька неведомого степного жилища и там переждать ненастье до утра, обсохнуть, согреться, заснуть. Ни слова не говоря, она решительно выпрыгнула из кабинки под ливень. Азаров, оставшись в одной гимнастерке, накрыл девушку своим плащом и, как ребенка, повел ее за руку на багряно рдеющий волчьим зрачком огонек неведомого дома. И только тут, доверчиво шагая за ним, крепясь под ударами встречного вет-

ра и дождя, обрывками фраз и полунамеков рассказала она ему о своей беде...

Теперь же, точно после первого опьянения, потянуло Катюшу на откровенность и в доме Кармацкой. Пережитое: страх, непогода, стужа — все было позади. Здесь было покойно и безопасно. Хорошо сидеть в просторном кресле, пить вприкуску чай и вполголоса рассказывать о себе... Катюша доверчиво рассказала Кармацкой о своем бегстве, о брошенном женихе, к которому, упаси ее бог, уж никогда она не вернется!

Азаров все слабее сопротивлялся сну. Он все глубже и глубже тонул в диване, все безучастнее смотрел на Катюшу. А она, неумолчно болтая, даже и не подозревала, с каким хищным напряжением следили за ней и за полуспящим директором несколько пар сузившихся от злобы глаз, каким страшным было лицо вороватo озиравшейся на смежную дверь хозяйки.

Было около трех утра.

В комнате, где спасались застигнутые Азаровым партнеры Кармацкой, потухли догоревшие свечи, и в окна сквозь чуть откинутые гардины сочился свет. Шумно вели себя под выцветшими, некогда дорогими обоями проснувшиеся тараканы. Резвились в подполье проголодавшиеся мыши. Было слышно, как бойко тикали чьи-то не то карманные, не то ручные часы.

В переднем углу, под образом Христа древнего письма, сидел Татарников. Как и все остальные, в целях предосторожности — боялись предательского скрипа сапог — он был бос.

Лука Лукич подал знак, и все присутствующие, бесшумно приблизившись к нему, наглухо замкнули его в кольцо.

За дверями закашлял спросонок Азаров. Послышался неясный девичий лепет Катюши Кичигиной, раздался протяжный вздох, ровное могучее дыхание человека, как видно давно не спавшего покойным предутренним сном.

В чуть скрипнувшем притворе дверей, ведущих в столовую, показалась голова Кармацкой. Хозяйка поднесла к губам палец и, слегка качнувшись, прикрыла веки:

— Тсс!

Лука Лукич привычным движением засунул кольт за пазуху, а отобранный во время безмолвной возни с Татарниковым браунинг спрятал в карман по-цыгански просторных плисовых шаровар.

Татарников смотрел на все это тупо и безучастно. А еще полчаса тому назад, потрясенный нечаянной встречей с беглой своей невестой, хотел было он мгновенно расправиться и с Азаровым и с Катюшей. И он наверняка бы пристрелил их, если б не скрутили его по рукам и ногам присутствующие партнеры, не зажал ему наглухо рот Бобров.

Лука Лукич, выглянув из притвора дверей, жестом подозвал Кармацкую. Уверенная в том, что время развязки приблизилось, она подошла к Боброву и горячо шепнула ему на ухо:

— Спят. Оба. Пора.

— Ну и слава тебе богу...— сказал, бегло окинув взглядом присутствующих, Лука Лукич.— Обувайся, братцы. А ты, господин полковник,— вполголоса сказал он, обращаясь к Татарникову,— заруби себе на носу: впредь орудовать только согласно приказу. Поспеши на этой неделе определиться в зерносовхоз. Люди там у нас свои — помогут. Вникаешь? В слесаря поступишь. Руки у тебя золотые. Сам понимаешь — совхоз, работы там для таких мастеров по горло. А пистолет твой я пока при себе сохраню: невыгодно нам допрежь сроку пушкой орудовать, на душу грех до время мотать — так я определяю...— выжидающе оглядев присутствующих, заключил Лука Лукич.

— Умно...— подтвердил инженер Стрельников.

— Бог не обидел — умный!— без малейшего шутовства согласился Лука Лукич и, небрежно тряхнув за плечо очнувшегося Татарникова, добавил:— О невесте не горюй, Алексей Ильич. Мы тебе, придет срок, княжну из Харбина выпишем...

Потом, скупо улыбнувшись Кармацкой, Бобров распорядился бесшумно следовать за ним через столовую, где замертво спали вольно раскинувшийся на диване Азаров и свернувшаяся в глубоком кресле, совсем маленькая и хрупкая, как подросток, Катюша.

23

Алексей Татарников без особого труда устроился в зерносовхоз.

Приказом директора он был зачислен механиком при ремонтно-сборочных мастерских центральной усадьбы. По требовательному совету Луки Боброва, поселился он

не в общежитии зерносовхоза, а в полутора километрах от центральной усадьбы — на одинокой заимке Ермолая Прахова, с которым встречался ранее на шумной бобровской свадьбе.

Древний, но добротный — на четыре комнаты — дом Прахова стоял на особи от строгих кварталов станицы, в наглухо обсаженном кленом и тополем переулке. Комната же, которую отвели постояльцу, выходила окнами в сад, и сквозь листья деревьев виднелись призрачно-пепельная степь, древний тракт, уползающий на юго-запад, смутно сияющие на горизонте курганы.

Жил Татарников одиноко и замкнуто. С хозяином дома он почти не встречался. Поднявшись чуть свет, уходил в мастерские. Возвратившись с работы, закрывался у себя на крючок и дотемна, безмолвный и сгорбленный, отсиживался у окна.

А ночами, когда наглухо закрывались на железные болты дубовые ставни, подобно зверю в неволе, лихорадочно сновал он из угла в угол или садился на кровать, брал почтовую бумагу и, поджав босые ноги, писал косым и мелким рассыпчатым почерком:

«Маша! Милая!

Опять пишу и опять не знаю — когда и куда отправлю я это письмо. Может быть, давно закрыт «Ша нуар», арестован полицией за долги ваш дядюшка, и средь неживого блеска неоновых реклам в фешенебельных кварталах Харбина почтальон не найдет уже вашего имени... Я прошу извинить мне эти злые догадки. Но что ж поделаешь, когда везде и всюду преследует нас безнадежная мгла, безучастное небо, чужой мир. Знаете ли вы, откуда пишу я вам это письмо? Да и знаю ли я сам — откуда?

...Комната с низким бревенчатым потолком. Веер семейных фотографий в простенке. Легкое трепетание кружевных занавесок в настежь распахнутых створчатых окнах. Веселая игра солнечных бликов на крашенном охрой полу. Сложный, нежнейший аромат омытых озорным грозовым дождем кустов жимолости, черемухи и сирени, разросшихся в палисаднике. Тишина. Покой.

Ах, какой первобытный покой в этом старинном, переходящем из рода в род доме! Как хорошо было после нелегкой, но веселой работы в степи, залитой потоками тепла и света, вернуться в сумерках в этот дом, в его тихую горницу, неярко озаренную шафранно-желтым огонь-

ком семилинейной керосиновой лампы, где дремотно скрипят под ногами старые половицы. Как хорошо лежать на прадедовской софе, смотреть на тускло поблескивающий на стене эфес родительской сабли, старомодный парадный мундир с позументом и нарукавниками. И, глядя на все эти атрибуты былой доблести казака, мечтать, засыпая, о дальних походах, о битвах и сечах, написанных нам на роду...

Я пишу вам глубокой ночью.

Лимонный свет керосиновой лампешки чуть внятно мерцает над головой. И такая за окнами тишина, что, кажется, слышно, как опадают в саду кленовые листья. Я, почти не дыша, ревниво прислушиваюсь к каждому звуку, и чуть заскребется где-нибудь мышь — у меня холодеют руки. Непонятный и дикий, неоправданный страх преследует меня здесь каждую ночь. Откуда же он, этот мистический ужас? Скажите, чего страшиться мне в краю, который называем мы нашей родиной, о котором мечтали мы с вами, Мари, в том далеком, отравленном кокаином и морфием «Ша нуаре»?

Полночь.

Точно захлебываясь, прокуковала в смежной комнате двенадцать раз кукушка. Я слушал ее не дыша — даже бой старинных часов напомнил мне о былом, о предпраздничной тишине родительского дома, о его безмятежном покое...

25 августа

Я проснулся, разбуженный оглушительным грохотом канонады в четвертом часу утра. Казалось, огненные ракеты сотрясают весь дом: ходуном ходили вековые стены, трещали готовые рухнуть потолки. Окоченевший, в ознобе, с холодным потом на лбу, долго сидел в ожидании страшного рокового взрыва и был, наверное, страшен. Потом, придя в себя, понял, что галлюцинация эта вызвана колонной промаршировавших мимо только что полученных зерносовхозом тракторов.

Не сплю.

Скоро рассвет, и надо будет напяливать на себя промасленный, грубый и грязный, опротивевший мне комбинезон, идти в мастерские, становиться к станку, притворяться этаким энтузиастом, или, как здесь говорят, ударником. Впрочем, фанатизм большевиков поражает. Утопические идеи социализма поработили все молодое

поколение. Если бы видели вы, как жадны и неутомимы они в работе, как азартно набрасываются они на каждую новую машину, с какой поразительной настойчивостью изучают каждую техническую деталь!..

Гудок! Пора в мастерские.

Открываются ставни. Слава богу — рассвет. Родимая, как и прежде, встает за окном овеянная осенним туманом степь. Дымятся остуженные озера. И только пронзительный рев сирены да гулкие залпы газующих на обкатке тракторов терзают на клочья эту древнюю и священную тишину степного рассвета.

Нет былого покоя, Мария!

28 августа

Машенька! Маша!

Сегодня ночью был у меня Бобров и с ним — инженер Стрельников, тоже не менее зловещая и роковая (для меня) фигура. Пришли они во втором часу ночи.

Я сидел на постели в одном белье. Напуганный стуком в дверь, второпях я так вывернул фитиль в лампе, что она, кроваво дымясь, коптила стекло, но ни «гости», ни я не замечали этого. Кончилось все это глупым, но страшным для меня в такую минуту фарсом.

За время моей работы в мастерских я не вывел из строя ни одного трактора, ни одной машины. У меня не хватает сил. У меня опускаются руки. Я чувствую, что малейший неверный жест будет разоблачен тотчас же. Я не смею смотреть в глаза рабочим. Я опасаюсь встречи с директором... Но я знаю и то, что медлить больше нельзя, что, не подчинись я Боброву, он убьет меня, как трусливого пса, убьет вот здесь же, в кровати, при таком же кровавом пламени лампы, в такую же вот шальную ночь...

— Если, полковник, в ближайшее время не навредишь — я тебя мигом на небеси отправлю, там за меня, грешного, помолишься!— сказал он мне сквозь зубы.

Сейчас они ушли. Опять я один. И опять тишина. Чуть внятный лепет разбуженных предрассветным залетным ветром деревьев в кленовом садике. Дремотное верещание сверчка в запечье.

Покой!

Но как страшен этот покой, Мария!

5 сентября

Может быть, это и скучно, но, умоляю, выслушайте меня. Вчера было первое боевое крещение. Я дал заведомо неверный расчет по фрезеровке одной детали. Деталь эта называется средним валиком коробки скоростей. Вместо тридцати пяти миллиметров в диаметре я распорядился давать тридцать шесть. За смену мы дали девятнадцать таких деталей. Инженер С. взглядом одобрил мой почин и крепко пожал мне руку. Но, вернувшись домой, я до рассвета не сомкнул воспаленных глаз. Всю ночь гулко гудел сад, рокотала под ураганом железная крыша, хлопали сорванные с шарниров ставни. И всю ночь, коченея от страха, ждал я стука в дверь, сурового, обличительного окрика. Я ждал, что за мной придут люди, уличившие меня во вредительстве...

В эту ночь я не в силах был даже писать вам, Мария. Перед строгим суздальским ликом спасителя я зажег почерневший огарок и пробовал молиться. Но ни полузабытые псалмы и молитвы, ни думы о вас — ничто не рассеяло лютого страха, пока не затих ураган на рассвете, пока не глянуло в окна заголубевшее, умытое ливнем утро.

А в полдень близ мастерских меня окликнул директор. Подойдя ко мне, он посмотрел на меня в упор необычайно светлыми, проникновенными глазами. Он, должно быть, впервые видел меня — я понял это по проницательному взгляду, по смущенной, мгновенно вспорхнувшей с его лица улыбке. Секунды две-три стояли мы друг против друга молча. Я растерялся. Но он протянул мне руку и, осуждающе качнув головой, сказал:

— Нечисто работаете, товарищ механик!..

— Виноват. Расчеты неверные поставил, товарищ директор. Всего только на один миллиметр...— поражаясь своему спокойствию и натуральности голоса, начал длинно оправдываться я.

Он терпеливо выслушал меня. Но в пытливых глазах его заметил я недоверие, скрытую приглядку.

— Отлично,— сказал он, прощаясь.— Я непременно загляну вечерком в мастерские. Но имейте в виду, что брак в следующий раз будет списан на вас. Пока же ограничиваюсь выговором...— закончил он и так вдруг холодно посмотрел на меня, что я побагровел и потупился.

Потом, глядя ему вслед, я думал, что с такими людьми в открытую, лицом к лицу, не сразишься — их можно уничтожать только из-за угла и только в затылок!

22 сентября

Как я завидую этому человеку!

Да. Да. Да. Это настоящий, хоть и обреченный на гибель, но злобный и страшный враг большевиков. Втайне предчувствуя свой бесславный конец, он отлично владеет собой, делает вид перед нами, что отнюдь не сомневается в успехе задуманного им предприятия. Он совсем не похож на тех кулаков, о которых знаем мы с вами из советских книг и советской прессы. Он ничуть не пытается, как выражаются правые оппозиционеры, «врастать в социализм» и цинично, в открытую бравирует своими социальными «пороками».

— Кулак!— с каким-то восторженным изумлением говорит он о себе.— Эксплуататор! Сотни людей на меня, слава богу, работали — имел таковую власть! И на большевиков до поры до времени не обижался, на мировую ладили. Советскую казну через свои табаки валютой снабжал... Да шабаш, расходятся пути наши. Другой, лихой маршрут надобно мне выбирать!..— заявил он на днях районному коммунисту.

Неведомо как, но он уже знает о готовящихся репрессиях против людей его класса и потому неравную, страшную затевает игру...

Пятница (без даты)

Всю прошлую ночь совещались в доме Боброва.

На этот раз, слава богу, без карт, без вина, без истерик. Он был краток в словах, скуп в откровениях и, как всегда, суров. Итак, окончательно решился вопрос о вооруженном выступлении, намеченном на весну будущего года. Надо признать, что ежели и дальнейший ход событий будет развиваться в плане еще более обостренных социальных осложнений в стране, то обстановка для внутреннего мятежа создастся именно к началу весны крайне благоприятная. Оказывается, у зажиточной части линейного и оренбургского казачества, у белых сподвижников трех казачьих атаманов Сибирского войска — Калмыкова, Анненкова, Дутова — сохранилось замурованное со времен Колчака холодное и огнестрельное оружие. Сбережены казачьи шашки и японские шпаги, винтовки

английского и французского образца, а кое-где даже и добротные мундиры союзников.

Кого из нас не вдохновит, не увлечет эта игра? Вчера, слушая взволнованно-отрывочную речь Боброва, я впервые за последние годы на мгновение вновь почувствовал себя молодым, сильным, отлично подтянутым офицером, и чуть подрагивали и горели у меня от напряжения икры, точно сидел я не на дрянненьком стуле, а в новом, слегка поскрипывающем седле, готовый обнажить клинок и ринуться в атаку...

Сумею ли я прорваться сквозь этот последний фронт?

5 октября

Дождь.

Вторые сутки, мелкий и мглистый, дымится он над неприглядно-пустынной степью, и студеное дыхание осени оставляет на окнах обильный, в бисерных накрапах, пот. Блеклые, немощно желтеют в саду последние астры. Тяжелей и глуше шумит теперь медлительно опадающий наземь кленовый лист. Тупо ноют простуженные в давнишних походах ноги. Странный, печальный звон в ушах...

Осень.

Медленно умирает над пепельной степью серый, тусклый денек. Непогодь. Свист раздетой ветрами осени. Пью противную теплую водку. Недозрелые помидоры, протухшие огурцы, разварная картошка — закуска и... такая тоска!

Пью.

Мокрая, вся в репьях, собака, сидя посреди улицы, поднимает в небо тупую морду и робко, точно позевывая, принимается выть.

Темнеет.

Мелкий, как сквозь частое сито, осенний дождь сыплет и сыплет за окном. Вспоминается Бунин:

> Что ж! Камин затоплю, буду пить...
> Хорошо бы собаку купить.

Может, лучше уйти в монастырь и молиться у темных притворов? Или, может, совсем не молиться, а эту же песенку петь?.. Ах, коня бы, коня бы мне сейчас строевого! Да казачье седло с тороками, с переметной сумой! Да клинок наголо — и в атаку в конном строю!

«Сегодня перечел невеселую свою исповедь и долго сидел у раскрытой лежанки в раздумье: на запустить ли этот сверток земных страстей в огонь? Однако сделать это почему-то не решился — не поднялась рука. Запал прошел. И, как истинно русский интеллигент, я потом жалею, что не подчинил чувства разуму... Впрочем, не все ли равно? Иногда охватывает такое равнодушие, что становится совершенно безразлично — друг ли раскроет эту тетрадь, недруг ли. Страшны такие минуты, Маша!

Но не выдумал ли и вас я, княжна? Были ли вы когда-нибудь рядом со мной? Мечтали ли вслух о родине, о медовых запахах степных трав, о мерцающих в знойные полдни в родимом краю озерах? Касался ли я своими губами ваших узких прелестных рук, ваших милых смуглых щек, пахнущих — как казалось мне — российским загаром? И на каком перекрестке сведет нас судьба, и сведет ли когда-либо?»

Густо исписанные вкривь и вкось разрозненные листки тетради упрятал Татарников под тонкими стельками просторных своих опойковых харбинских сапог.

И затем мало-помалу стал даже забывать об этих сокровенных своих записках, все прочнее и увереннее ступая по советской земле.

24

Шли дни. А между тем слухи о предстоящем переселении хуторов Белоградовского и Арлагуля не утихали. Прошел по степи хабар — молва, что в дело вмешался ВЦИК и будто бы сам Михаил Иванович Калинин распорядился по телеграфу об отмене противозаконных действий районных властей.

Тогда Нашатырь надоумил жителей обоих хуторов отправить в район совместную делегацию. Мир дружно согласился с звонарем, и делегация во главе с близнецами Куликовыми была отправлена в райцентр.

По пути в станицу ходоки решили прежде всего заглянуть в центральную усадьбу нового зерносовхоза, к директору совхоза Азарову. Азаров принял их так тепло и участливо, что ходоки вдруг стали подозрительно переглядываться, и никто из них не захотел докладывать первым о том, зачем они пришли. Когда же делегатам были поданы чай, сахар и брынза, они долго отнекива-

лись от неожиданного угощения и втайне решили, что гостеприимен директор неспроста, что тут непременно готовят для них какой-то подвох, что дело их наверняка обречено на провал.

Словом, было не до чая. Правда, некоторые из хуторян, не дотронувшись до стаканов с чаем, все же украдкой сунули в карманы куска по три сахару, но к брынзе не прикоснулись. Подозрительно и хитро поглядывая на директора, мужики ждали, затаив дыхание, решающего его слова. Наконец близнецы Агафон и Ефим Куликовы, вскочив на ноги, немногословно и путано заявили о претензиях двух хуторов. Остальные ходоки вслед за своими главарями понемногу развязали языки и тоже заговорили наперебой.

Азаров внимательно выслушал их.

— Зря вы волнуетесь, дорогие друзья! Зря! Ни того, ни другого хутора переселять мы не будем. Вековой целины в этих степях хватит зерносовхозу и без вашей земли. Да и не только нашему — не одному десятку, если не сотням, новых зерносовхозов, которые — придет такое время — будут построены по велению партии в этом плодородном, но малообжитом пока крае. Так что слухи о переселении — чистейший вздор. Уверяю вас, дорогие товарищи. Это кулацкая провокация. Ни больше, ни меньше. Честно вам говорю,— весело заключил Азаров.

Сказано все это было таким тоном, что нельзя было усомниться в правдивости этих слов, в искренности директора. И ходоки, дружно отблагодарив Азарова, распрощавшись с ним за руку, покинули директорский кабинет в самом хорошем настроении.

Но совсем по-другому встретил их на другой день председатель райисполкома Старцев. В его полусумрачном от папиросного дыма кабинете оказался в ту пору и секретарь райкома Чукреев. Полулежа в ободранном дерматиновом кресле, секретарь райкома близоруко разглядывал какие-то бумаги и не сразу обратил внимание на появившихся в дверях ходоков. И только тогда, когда близнецы Куликовы снова, как и в кабинете Азарова, перебивая друг друга, заговорили о цели своего визита к председателю райисполкома, встрепенувшийся Чукреев, недоверчиво приглядевшись к ходокам, прервал невразумительные речи Куликовых.

— Стоп, братцы. Говори кто-нибудь один, толковее и покороче,— сказал Чукреев.

— Это во-первых,— в тон Чукрееву продолжал председатель райисполкома.— А во-вторых, насколько мне стало известно, гражданин, присутствующий среди вас,— он указал кивком на Филарета Нашатыря,— лишен права голоса. Поэтому я вынужден попросить его удалиться из кабинета.

Среди делегатов произошло некоторое замешательство. Нашатырь неловко переминался с ноги на ногу, и виноватая улыбка на мгновение озарила его загорелое, испещренное морщинами лицо. Кто-то из ходоков, открыв дверь, требовательно шепнул Нашатырю: «Давай, давай, выходи. Постой за дверью, раз велят!» И Нашатырь, пятясь, вышел из кабинета.

Чукреев, отложив в сторону свои бумаги, сказал, глядя на близнецов Куликовых:

— Итак, продолжайте. Мы слушаем.

— Разрешите...— начал Ефим Куликов.— Мир наш в расстройстве. Земля у нас не первый год обрабатывается. Земля, обжитая и нами, и отцами нашими. Так что переселяться с нее не к лицу.

— Не к лицу,— бодро подтвердил вслед за братом Агафон Куликов.

— Эк ведь вы какие, поглядишь на вас, шустрые,— насмешливо сказал Чукреев.

— Кулаки — не дураки: знают, кого в свои ходоки выбирать,— таким же насмешливым тоном сказал вслед за Чукреевым и предрайисполкома Старцев.

— Вот именно. Сразу видно, в чью дудочку они дуют. Смотрите-ка, переселение им не к лицу! Это кому же, позвольте вас спросить, не к лицу?— сказал, быстро вставая с кресла, Чукреев.

— Нам. Мужикам. Хуторянам,— один за другим повторяя одни и те же слова, сказали братья Куликовы.

Но Чукреев, не слушая их, заговорил тем строгим, внушительным тоном, каким он привык разговаривать с подчиненными людьми в минуты крайнего раздражения.

— Черт знает что! За кого вы пришли сюда ратовать? За кулаков? За классовых врагов? Здорово же они вас опутали! Вместо того чтобы вам, активу бедноты, содействовать организованному переселению, вы выступаете вроде саботажников. Позор, позор, дорогие товарищи! Мы этого не потерпим. Прямо вам говорю...

Оскорбленно потупясь, мужики молча слушали Чукреева. Говорил он внушительно, и выходило, что он со-

вершенно прав, а они и в самом деле зря, должно быть, уперлись. Может, и вправду обмануло их общество? Хотелось только напомнить Чукрееву о том, что землемеры вырезали под новый участок явно непригодную землю — сплошной подсолонок. Они бы, пожалуй отнюдь не против переселения, ежели участок будет заменен добротной землей, но сказать этого сейчас никто не посмел.

Завороженные рассудительной речью Чукреева, слушали его мужики, не шевелясь, и не понимали теперь только одного: как же мог очутиться на стороне врагов, о которых говорил секретарь райкома, такой человек, как директор зерносовхоза Азаров?

— Стыдно!— упрекал Чукреев.— Бедняки, передовые люди на хуторе, лучшая наша опора — и вдруг на тебе, пришли защищать кулацкую политику! Мало того — лишенца с собой привели!

Заключительные слова Чукреева окончательно ошеломили ходоков.

— Короче говоря,— заявил Чукреев,— решение районных организаций о переселении остается в силе. Об отмене такового не может быть и речи. Весной придется сниматься с насиженных мест. Ничего не поделаешь. Вот так... Ходатайствовать же за классовых врагов в дальнейшем я вам, ребята, дружески не советую. Понятно?— хлопнув по плечу Куликова Ефима, спросил, улыбаясь, Чукреев.

— Куды с добром...

— Лучше некуды...— ответили один за другим близнецы Куликовы.

— Ну вот и отлично. Договорились. Бывайте здоровы,— сказал Чукреев, кивая обескураженным ходокам.

В канун успения — престольного праздника на хуторах — ходоки не солоно хлебавши вернулись восвояси. Но доложить миру толково о результатах своего похода в райцентр ни один из них так и не смог. Однако из путаных, крикливо противоречивых объяснений всем стало ясно, что переселения не миновать.

Подавленные сидели хуторяне в Совете.

Только один Антип Карманов извивался ужом среди односельцев и беспрестанно говорил одно и то же:

— Ну вот видели! Я же говорил. Киргизов ублаготворяют, а русского человека на выселки шлют. Помяните меня, по весне не только нас — все окрестные хутора в голодные степи отправят. Увидите!

Мужики молчали. Как всегда, они на этот раз охотно согласились с предложением Карманова учинить ради праздника общественную выпивку. Решено было пропить деньги, собранные по самообложению на оборудование пожарного обоза, на что с восторгом пошел и председатель сельсовета Корней Селезнев.

— Все равно один конец — выселки!— крикнул Антип Карманов.

— Факт. Обыкновенное дело!— подтвердил Нашатырь.

— Нам теперь осталось одно — заливать горе!

— Правильно. Завьем его веревочкой — и концы в воду.

И хуторяне запили. А во хмелю пели обидчиво и крикливо тоскливые песни.

В то время когда, багровый от натуги, выносил подголосок фальцетом слова горько волнующей песни, поднималось над степью до головокружения высокое, голубое от полуденных накалов небо, плыли в солнечном мареве степные орлы и стрепеты, петляли окрест озер и родимых пашен подернутые легкой пылью дороги. И трудно было смириться с мыслью, что все это, издавна привычное и родное, становится теперь чужим и даже враждебным.

Люто пил в эту ночь и Елизар Дыбин. И хотя бутыль была уже ополовинена, опьянение к нему не приходило.

В сумерках Елизар вышел на улицу.

В конце хутора горланили пирующие мужики.

Тихо хныкал где-то ребенок. Стоя у ворот, Елизар долго и чутко прислушивался к этому детскому голосу, и вместе с приливом неизъяснимой нежности к плачущему ребенку сердце сжалось такой обидой, что он вернулся в избу, залпом осушил стопку и сразу же почувствовал себя в тяжелом, вдруг отравившем волю хмелю.

«Ослабел. Старею, старею, дурак!»— грустно заключил он.

В душе было неуютно и пусто, как в собственной малоопрятной избушке. Брань, слезные вопли и нескладные песни мужиков, доносившиеся с улицы, раздражали Елизара. Досадовал он и на то, что, учинив пропой общественных денег, односельцы забыли позвать его к столу. Хотя он все равно бы никогда не связался с ними: не любил Елизар пить с людьми, дуреющими от одной рюмки, придирчивыми и болтливыми, которых издавна

презирал он за слабосилие, за пьяные слезы, за вечные жалобы на нужду. «Уж кому бы, как не мне, при моей силе и уме,— думал он,— не пенять на свою судьбу?!» Однако никому не плакался он на свои неудачи и ненавидел тех, кто по-бабьи скулил о пустячном несчастье.

Елизар считал себя глубоко несчастным человеком вовсе не потому, что жизнь проходила в тяжелой нужде, в беспрерывных, сызмала привычных нехватках, а потому, что много потрачено было им сил и лет на бесплодные поиски страны изобилия. И вот уходили впустую растраченные годы, угасало прежнее буйство в раскосых глазах, а мечты о земле обетованной так и оставались мечтами...

Было скучно сидеть одному в сумрачной, едва озаренной блеклым светом месяца избе, слушать хмельные песни хуторян, тяготиться своим одиночеством. Елизар задумался, пытаясь осмыслить прожитую жизнь, хотел припомнить что-нибудь яркое, интересное. Но поток воспоминаний был до того беспорядочен и быстр, что в глазах вставало самое незначительное, второстепенное. Назойливо возникал в памяти шорник Стукач, с которым бог весть когда, в ранней молодости, пропили они за ночь пять новых хомутов и зачем-то украли у попа голландского петуха.

Потом, вспомнив о полном банте четырех Георгиевских крестов, полученных за храбрость в боях под Гродно и Перемышлем, Елизар вытащил из-под печки пыльный фанерный ящичек, доверху набитый всякой дрянью. Были в нем сегменты от сенокосилки, связка разнокалиберных ключей, сломанное зубило, жестяная коробочка из-под монпансье «ландрин» с сапожными шпильками, пучок щетины, ворвань, а на самом дне лежали прикрепленные к репсовым желто-черным, в полоску, бантикам серебряные Георгиевские кресты. Сколько лет провалялись среди этой рухляди забытые знаки отличия! Значась по статуту «кавалером креста первой степени», Елизар и прежде-то не очень вспоминал о них.

А сейчас, случайно обнаружив кресты, он от нечего делать нацепил их на грудь и, сразу же забыв об этом, вышел на улицу.

От тоски ли, от долгого ли сидения в удушливо-сумрачной избе хмель разобрал его на свежем вечернем воздухе еще больше. Захотелось сделать что-нибудь не-

обыкновенное: выпить на спор ведро квасу, или вынудить мужиков на кулачный бой, или поразить их выдумкой о неслыханном чуде...

Близ сельсовета колесили в обнимку очумевшие от перепоя хуторяне. А на площади около церкви шумела толпа. В центре, едва держась на ногах, стоял франтоватый заведующий районной базой центроспирта Венедикт Уткин.

Звонарь Нашатырь кричал, перекинувшись через перила колокольни:

— Чего изволите, гражданы хуторяне,— кадрель или польку с поддергом?

— А вальс «Оборваны струны» можешь?— спросил его Венедикт Уткин.

— Вальсов не игрывал. Пол-литра спирту поставишь — попробую и вальс оттрезвонить,— сказал Нашатырь.

— Шпарь — ставлю!— крикнул ему Венедикт Уткин, сорвав с головы касторовую казачью фуражку.

Но не успел Нашатырь разобраться в сложном переплете звонницких веревок, чтобы ударить во все большие и малые колокола, как долетел до него с земли знакомый окрик Елизара Дыбина:

— Стоп, звонарь. Слушай мою команду! Брось ты этого дурака тешить. Слазь с колокольни. Я тебе на прощание даром четверть поставлю.

— Как это на прощание, сусед?

— А вот так, что последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья.

— Батюшки, да он, никак, умом рехнулся — при крестах!— крикнула Марфа Пикулина, вытаращив на Елизара совиные глаза.

— Факт, при крестах. Обыкновенное дело...— подтвердил мигом спустившийся с колокольни Нашатырь.

Толпа хмельных хуторян, окружив Елизара, загудела:

— Гляди-ко, какой герой — унтер, ваше благородие!

— Бери выше: не унтер — генерал Скобелев!

— Ваше высоко — не долезешь...

— Не хуже Кузьмы Крючкова!

— А што вы думали, и не хуже Кузьмы!— вызывающе расправляя могучую грудь, сказал Елизар Дыбин хмельным хуторским зевакам.— Я под городом Гродным один целый полк от верного разгрома спас — из немецкого окружения вывел. Видали? Полюбуйтесь на храброго

воина. А вы думали, мне эти Георгиевские кресты так себе, за здорово живешь на грудь надели? Извиняюсь. Было дело под Полтавой! Труса не праздновали. Дрались я те дам! Матушку-Россию на поле брани не посрамили. А потому и регалий своих не стыжусь. Наоборот, горжусь ими! Понятно?

— Нашел чем гордиться — старорежимными побрякушками!— сказал с ухмылочкой Венедикт Уткин.

— За такие регалии нонче одна дорожка — прямое сообщение на Соловки,— подал голос трахомный Анисим.

— Некому на него в райгепеу донести,— мрачно проговорил Силантий Пикулин.

— Как это так — некому? А ты на што? Валяй донеси за рупь двадцать,— сказал с презрительной усмешкой Елизар.

— И донесу, не побрезгаю.

— Насчет этого не сомневаюсь. Брезговать ты этим не привык — это так точно. Да я не робкого десятка — не струшу и в райцентр завтра при этих крестах публично явлюсь — видали такого?!— сказал Елизар, рисуясь своими крестами.

— Факт, не видали. Обыкновенное дело,— подтвердил Нашатырь.

— А с тобой, сусед, мы сей секунд разопьем на прощанье по посошку, и поминай потом, как меня звали,— сказал Елизар, дружески обнимая звонаря за узкие плечи.

— Это как — на прощанье?— спросил Нашатырь.

— А так, что ухожу завтра с хутора — и концы в воду.

— Куды же опять это?

— В каки таки Палестины?— спросили один за другим близнецы Куликовы, стоявшие в толпе хуторян с дубинками на плечах.

— А на край света. В солнечную сторону — Даурию. Слыхали про такую? Вот земля — голова кружится! Земной рай — не вру, ей-богу. Мне вчера телеграмму по прямому проводу оттуда в райцентр один старый мой друг, китаец, отбил. Фамилия ему — Хео Цзы. Мы с ним вместе на шхуне не раз в открытое океан-море рыбалить ходили. Душевный был человек — с чудинкой, как и я же. Двадцать восемь лет кряду женьшень — корень жизни — в долине Трех тигров искал. И что же вы думаете, нашел

ведь-таки, подлец. Добился. Вырыл. А корень — тот самый, знаменитый, в три вершка в длину. С таким корнем — ни старость, ни хворь нипочем. Вот мы теперь и уйдем с Хео Цзы в обетованную землю. В страну Белых Вод. Дойдем до заветного Вертограда! Что? Не верите? Клянусь богом, не вру. Прощайте, братья мои, сестры. Прощай, родимая семья! Пошли, звонарь, трахнем по посошку напоследок,— сказал Елизар, увлекая за собой друга.

Вечером, когда донельзя обрадованные скорым отъездом шального наместника степного края мужики учинили складчинный мирской запой, захмелевший Елизар Дыбин вдруг помрачнел, заскорбел душой. А потом, побагровев от внезапного приступа внешне беспричинного гнева, сорвал с груди полный бант своих «Гоергиев» и на глазах у протрезвевших от изумления односумов наотмашь запустил кресты в кусты захилевшей за огородным плетнем бузины. Нашатырь, скорбно вздыхая, вполголоса говорил, мечтательно вглядываясь печальными глазами в какую-то одному ему приметную точку:

— Пропали мы здесь без тебя, Елизар. Погибли. Совсем нам капут. Замордуют. Взял бы ты меня с кобыленкой на эти Белые Воды. Втроем в пути — дорога повеселее. Оно ведь, как ни суди, конь! Хозяйством бы там обзавелись. Я бы бричку на железном ходу купил. Самовар бы приобрел. А там, глядишь, и женился,— мечтательно говорил звонарь.

— Правильно,— одобрил Елизар Дыбин.— Бабы там справедливые. Обиходки. Красавицы — ослепнуть можно!.. Только взять я тебя, звонарь, пока с собой не могу — анбиция не позволяет. Ты вот еще, как на грех, с кобылой просишься!

— Без кобылы я не могу...— сказал Нашатырь.

— Ну вот видишь, какой ты своенравный!— осуждающе покачал головой Елизар Дыбин.— Подумал бы, кому там нужна твоя вертихвостка?! Да там каждый мужик на собственном автомобиле ездит. Нет, грешно такую кралю с собой на Белые Воды вести!

— Она у меня на приплод способная!..— не унимался Нашатырь.— Куда же я без ней? Скука! И так один как перст, а тут еще и последней живности лишиться...

— Ну ладно,— участливо сказал Елизар,— черт ее бей, примем и кобылу. Согласный. Уважу твоему ндраву.

Я для друга, сам знаешь, на любой риск иду. Хорошо, так уж и быть. Через двадцать пять ден отобью я вам с Амура телеграмму. Сотню целковых на дорогу пошлю. Только тогда не медли — садись верхом и приезжай. Адрес я тебе словесный оставлю. Помни, что открывать этот адрес никому нельзя, а выболтаешь — вместе с кобыленкой в дороге погибнешь! Приедешь — я вас на пути с духовой музыкой встречу. Там такие порядки, что каждого нового члена с духовыми трубами встречают, словесно приветствуют и в барабаны бьют... Веруешь в меня, звонарь? А теперь давай трахнем по чаре. Выпьем за дружбу до гробовой доски.

Потом, крепко обнявшись, вполголоса, мягко и стройно запели они издавна петую песню:

Взойдет ли красно солнышко,
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка,
Кто будет защищать?

И задушевно-рыдающим голосом подпевая Нашатырю, Елизар закрыл воспаленные глаза. Он даже и не подозревал, как горячо говорил о нем в эту минуту тот, кто казался когда-то самым дорогим, единственным другом, за кого бесстрашно ложился Елизар под топор и кто так непонятно и дико вдруг обманул, опорочил его в глазах односельцев, вывел хвастуном и болтушей...

На центральной усадьбе зерносовхоза, в кабинете Азарова, происходило в эту минуту вот что.

В сумрачном от слабо накаленных электролампочек кабинете директора, около стола, загруженного ворохом газет, образцами семенного материала, телеграммами треста, рапортами и сводками производственных участков, сидели три человека: директор Азаров, секретарь парткома Ураз Тургаев и предрабочкома Увар Канахин. Притихнув, все трое долго и озабоченно о чем-то думали. Наконец точно очнувшись, Азаров, вопросительно глянув на Тургаева, спросил:

— Ну-с, как же нам быть, Ураз, надумал?

— Бельмейм — не знаю,— со вздохом ответил тот по-казахски и по-русски.— Ничего путного не придумаю. Пост большой, люди приходят на память — мал мала меньше... Как тут быть — ума не приложу, если по-русски сказать, Кузьма Андреич!

— А ты что скажешь?— обратился Азаров к Увару.

— Чисто из ума вышибает, товарищ директор,— оживленно отозвался Увар Канахин.— Человека тут надо поставить башковитого. Сами знаете, участок образцовый... Был, конечно, у меня на примете один боевой товарищ, фамильи — Сидор Рак, мы с ним при одном отдельном кавэскадроне числились. Он за операцию против дутовской сотни вместе со мной словесное благодарствие от комдива товарища Вострецова под станицей Пресногорьковской получил. Интересное было дело. Дутовцы прорвали фронт...

— Погоди, погоди,— вовремя осек его Азаров.— Ты что же, выдвигаешь кандидатуру Рака, что ли?

— Нету...— смутился Канахин.— Только он бы вполне соответствовал на данную должность. Грамотный. Десятичные дроби знал.

— Так в чем же дело-то? Где он?— наседал на Увара Азаров.

— Зарубили его в бою под Кокчетавом,— скорбно вздохнул Канахин.

— Эх ты!— участливо изумился Азаров.— Жалко. Только нам-то ведь нужен сейчас, Увар, человек живой. Вот загвоздка!

Канахин сконфуженно смолк.

Азаров, поднявшись из-за стола, прошелся по кабинету. Потом, подойдя к окну, долго потирал ладонью виски, напряженно думал. Вдруг он повернулся к столу и, мгновенно просветлевший и радостный, сказал:

— Стоп, ребята, нашел!

Он стремительно обошел стол, опустился в кресло и, озирая собеседников, продолжал:

— Нашел. Замечательная, скажу я вам, кандидатура. Да его давно бы следовало вытащить в зерносовхоз. Это же незаурядный, скажу вам, человек. Ей-богу, находка! Я расскажу вам о нем потрясающие вещи...

— Ага, знаю, знаю, о ком речь, Кузьма Андреич,— сказал оживленно Увар Канахин и, обращаясь уже к Тургаеву, восторженно добавил:— Вот, понимаешь, мужик! Четверть водки за раз один выпивает!

Тургаев недоуменно посмотрел на Канахина, точно хотел спросить: «А какое же, собственно говоря, отношение имеют столь богатырские качества к посту заведующего образцовым производственным отделением зерносовхоза?»

И, словно угадав мысли Тургаева, Азаров сказал:

— Не в водке, конечно, дело. Он, например, был георгиевским кавалером в царской армии. За храбрость, проявленную в боях против немцев, награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Был вызван в ставку и принят царем...

— Во даже как?!— изумился Тургаев.

— Да, кавалер «Георгия» всех четырех степеней. Это уже герой, как ни судите,— подтвердил Азаров.— Но и это не суть важно. Дело отнюдь не в крестах, а в классовой сущности этого человека... Это глубоко преданный нам человек.

— Можно проверить...— осторожно намекнул Тургаев.

— То есть?— насторожился Азаров.

— Поставить его на не шибко высокий пост,— сказал Тургаев.

— Например?

— Мало ли не шибко высоких постов в совхозе? Сторожем на участок или заправщиком в тракторной бригаде...

— Ну уж это ты вздор говоришь, Тургаев. Какой смысл мариновать способного, полного сил человека, ежели он с успехом может руководить целым цехом? Он бросит эту ничтожную работу. Я считаю, что людей надобно выдвигать смелей! Я в него верю. Убежден, что большие масштабы, огромное доверие, оказанное ему, вдохновят его, и он вырастет в большого человека.

— Все может быть...— уклончиво отозвался с улыбкой Тургаев.

— Ну, ты — бельмейм, а я — беледы. Я знаю,— отчеканил ему Азаров. И тоном, исключающим возражения, сказал:— Словом, увидим. Сегодня же я вызываю его к себе и отдаю приказ о назначении заведующим пятым отделением.

— Дело хозяйское,— с притворной покорностью сказал Тургаев.— Только я бы рисковать, Кузьма Андреич, в таком деле не стал.

— А мы рискнем, Ураз. Попытка — не пытка,— точно нарочно подзадоривая недовольно насупившегося секретаря, сказал Азаров. Потом, крепко тряхнув протянутую на прощание руку Тургаева, сразу же, как только тот шумно захлопнул за собой кабинетную дверь, распахнул блокнот и стал писать своим косым, быстрым почерком:

«Хутор Арлагуль, тов. Е. Дыбину.

Дорогой старый мой друг!

Дирекция Степного зерносовхоза решила доверить тебе ответственное дело. Мы рекомендуем тебя на пост управляющего пятым отделением нашего зерносовхоза. Этот участок с десятью тысячами га поднимаемой нами под весенний сев будущего года целины. Там у нас работает и будет работать молодежь, и отделение это называем мы комсомольско-молодежным. Но это пусть тебя не смущает. Знаю, ты молод душой, и работа с озорной, горячей оравой будет тебе с руки.

Зная тебя как человека деятельного, преданного всем сердцем народу, нашей партии, я горячо поддержал предложение о твоем выдвижении и верю — ты не подведешь меня.

Помню беспокойную мечту твою об обетованной земле. Что ж, она, надо думать, сбудется! Такую землю ты найдешь — в этом я убежден — в нашем зерносовхозе. Словом, жду тебя. Приезжай не мешкая, на машине, которую за тобой высылаю. Здесь, при встрече, поговорим подробнее.

Крепко жму руку.

К. Азаров».

В эту же ночь на легковой машине директора Увар Канахин выехал с азаровским письмом на хутор Арлагуль к Елизару Дыбину.

На рассвете запыленный, видавший виды директорский фордик, гулко сигналя на перекрестках, пронесся по хуторской улице и со всего хода как вкопанный остановился близ избы Елизара Дыбина. Несмотря на столь неурочное время, Увар застал Елизара Дыбина за выпивкой. Хозяин сидел за столом вдвоем с Филаретом Нашатырем. Оба были навеселе. Сидя друг против друга за столом, на котором стояла полуопорожненная бутылка самогонки, друзья вполголоса напевали:

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах.
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах!

Заметив постороннего человека с пакетом в руках, певцы насторожились и смолкли.

Тотчас же узнав Елизара, Увар молча подал ему плотный большой конверт с запиской директора.

Приняв в руки конверт, Елизар испытующе долгим взглядом осмотрел Увара Канахина. Потом, подойдя к порозовевшему от восхода окну, он так же долго разглядывал конверт и, наконец осторожно разорвав его, извлек записку и стал читать ее, беззвучно шевеля чуть подрагивающими от волнения губами.

Увар и Филарет с ревнивым вниманием следили за Елизаром и видели, как зябко подрагивали его большие, согнутые в локтях руки, как все беспокойнее покашливал этот могучий — косая сажень в плечах — человек с изумленно смотревшими на мир широко раскрытыми глазами ребенка.

Покончив с чтением записки, которое, как видно, давалось ему нелегко, Елизар облегченно вздохнул, вытер тыльной частью ладони крупные капли пота с высокого лба. и, бережно вчетверо свернув записку, спрятал ее вместе с конвертом в нагрудный карман старенькой — со времен гражданской войны — выцветшей гимнастерки. Затем, присев на лавку, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот это задача: на все четыре действия. Што ж, придется решать!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Роман Каргополов плохо помнил отца. Не знал он и родных мест. По рассказам матери, родом были они с Поволжья, а в степи Северного Казахстана пришли с переселенческой партией. Выгнали из Поволжья нужда и жестокое безземелье. В ту пору, когда после длительного гужевого пути, обнищавшие и голодные, дошли переселенцы до этих степей, минуло Роману два с половиной года. Отец его на пути потерял последнюю лошадь. Там же он бросил посреди пыльного проселка разбитую телегу, уложил малолетнего сына в чужую повозку и, чудом дотянувшись до облюбованного ходоками места, тотчас занемог. Затем, оправившись кое-как от недуга, он пошел по кабальным поденщинам.

Дальнейший ход событий, определивший судьбу отца, долгие годы был загадкой для Романа. Слышал он от людей, что отец был человеком безобидным, безукоризненно честным и необыкновенно набожным. Выпив, он старался уйти от пьяных дебошей и побоищ, до которых были так охочи его односельчане. Но все это в корне противоречило тому, что вдруг случилось с отцом. Работая на поденщине у местного торговца, он похитил из лавки три напильника, был пойман с поличным и судим самосудом по местным неписаным законам. Говорят, его водили, увешанного этими напильниками, по улицам хутора, били в заслонки, осыпали золой, не жалели для Каргополова скверного слова. Тогда, вырвавшись из беснующейся толпы, он бросился на торговца и прямым ударом по темени навсегда лишил его рассудка, а сам тут же бесследно исчез. Мать не раз говорила Роману, что его отец ушел на родину, но, не достигнув ее, умер без покаяния в какой-то глухой уральской деревне.

И вот с тех пор, как только стал помнить Роман свое босоногое, бесприютное детство, как пошел он из-за куска

хлеба по чужим людям, росла в нем глухая, неосознанная ненависть к спесивой, сытой жизни хозяев. Он бессознательно повиновался неукротимой силе этого глухого, внутреннего протеста, и нередко бывало так, что доселе покорный и исполнительный работник Роман Каргополов вдруг ни с того ни с сего уходил из-под жестокой хозяйской воли, бросал опостылевшую ему чужую работу. Целыми днями, а то и неделями, в самое горячее, страдное время он безвыходно сидел в своей вросшей в землю избушке и стойко выслушивал горькие материнские сетования на нужду.

Но, несмотря на это, слыл Роман парнем работящим и дюжим. Ценили зажиточные мужики его непомерную, не по летам развитую силу, сноровку и сообразительность.

Грамоте Роман обучился мимоходом, урывками: был нетерпелив, неусидчив. Его широкий, любознательный ум не терпел никакого насилия со стороны учителя — кузнеца, одновременно выполнявшего обязанности регента в церковном хоре.

О революции Роман, как, впрочем, и весь затерянный в степи хутор, знал только понаслышке. Правда, он помнил, как в девятнадцатом году шли где-то в районе железнодорожной полосы жестокие бои: красные теснили разгромленные колчаковские части на восток, и по вечерам на хуторе были слышны глухие, похожие на отдаленную грозу раскаты орудийной канонады. Однако смена местной власти прошла на хуторе в сугубо будничной обстановке. Однажды приехал на хутор человек в кожаной куртке, с багровой лентой на груди и, собрав на сходку хуторской народ, запросто объявил миру о приходе Советской власти: вместо старосты стал у власти ревком.

Человек в кожаной куртке уехал, новая власть приступила к исполнению обязанностей. Потянулись дни за днями, но мало было перемен на хуторе. Беднота томилась в кабальной батрацкой доле. В чести и почете пребывали всемогущий скотопромышленник Епифан Окатов и станичный богатей Лука Бобров. Все уважали их, заискивали перед ними, боялись их.

Позднее, спустя лет пяток, один из районных уполномоченных, приехав на хутор, собрал молодежь и произвел запись в комсомольскую ячейку. Но потом в течение целого года из районного центра никто на хутор не заглядывал, и молодые комсомольцы были оставлены на произвол судьбы. Ребята, правда, аккуратно сходились на

воскресные собрания, наизусть вызубрили устав комсомола и трижды поставили спектакль — одноактную пьесу о пленении красными белогвардейского генерала. Но других пьес не было, а одну и ту же смотреть в четвертый раз хуторяне не захотели. Что было делать дальше — комсомольцы не знали. Не знал и их секретарь — Роман. Не удивительно, что воскресные собрания вскоре стали казаться комсомольцам скучными. Не увлекали они и Романа. И вот после долгого раздумья Роман решил, что ему следует на время уйти из хутора, присмотреться к незнакомым местам, к новой, неведомой жизни, к новым людям и, набравшись среди этих людей ума-разума, вернуться затем в родные края.

И Роман ушел с двумя товарищами, батраками-комсомольцами, на строительство Туркестано-Сибирской магистрали. Там, на строительстве новой железной дороги, он вместе со спутниками определился в бригаду землекопов, а затем — при укладке рельсов — перешел в костыльщики. Здесь — работали они неподалеку от Алма-Аты — впервые в жизни свела судьба Романа Каргополова с коллективом новых людей. На строительстве магистрали он прошел хорошую школу жизни, открывшую для него иной мир.

Вернувшись после длительного отсутствия в родные края, Роман почувствовал себя на голову выше того парня, каким он ушел отсюда два года назад. Теперь он уже понимал то, что казалось ему прежде неразрешимой головоломкой: понимал, какая нужна здесь упорная, организованная и умная борьба с враждебными силами.

Прошло несколько дней после возвращения Романа на хутор — это было ранней весной тысяча девятьсот двадцать восьмого,— но волнение, охватившее Романа в час приближения к родным местам, не покидало его.

Стоял теплый, овеянный дыханием весны вечер. Над еще заснеженной степью медленно и торжественно угасал закат, обещавший на завтра погожую погоду.

Роман сидел на подоконнике в сумеречном школьном классе. Притулясь к оконному косяку, он смотрел на степь, на белые мазанки хутора и испытывал чувство, близкое к легкому опьянению. Да, немало постранствовал, побродил он за эти два года. Немало видел живописных, надолго запавших в память мест. Но по-прежнему всего дороже и ближе были для него знакомые с детства просторы с цепью горько-соленых озер, курганами, покры-

тыми снегами, ветряками, молитвенно простершими к небу свои древние крылья.

Никогда, ни в детстве, ни в ранней юности, не мог он без волнения смотреть на овеянную предвесенними сумерками степь. Он смотрел, и неясная, блуждающая улыбка озаряла его широкое, опаленное ветрами и зноем лицо. Взгляд Романа упал на вековую березу. Одиноко стояла она с причудливо изогнутым, похожим на древний лук стволом на отшибе от хутора. И при виде ее обнаженной, беспокойно трепещущей на вечернем ветру вершины у Романа сильнее и горше забилось сердце.

Он смотрел на высокую, похожую на минарет хуторскую каланчу, на хуторскую площадь и испытывал такое чувство, словно перечитывал страницы случайно раскрывшейся перед ним полузабытой, но по-прежнему дорогой книги. Так читаем мы в зрелые годы попавшую под руку хрестоматийную книжку, по которой учились в далеком детстве. Мы навеки запомнили теплый, солнечный запах пожелтевшей ее бумаги, трогательную прелесть затейливых виньеток и неповторимый медовый аромат удивительно прозрачных и ясных, заученных за школьной партой стихов.

Медленно угасал над степью сумрачный вечер. Роман, не поднимая полусмеженных век, слушал рассказы примостившихся вокруг него на партах ребят о том, что случилось за время его двухлетнего отсутствия.

Слушая сбивчивые рассказы хуторских комсомольцев и не отрывая слегка потускневших глаз от тонувшей в сумерках степи, Роман не заметил, как в класс неслышно вошла секретарь вновь организованной комсомольской ячейки — учительница Елена Андреевна Кронина, которую комсомольцы запросто звали Линкой. Войдя в класс, она присела на парту и молча слушала рассказы ребят о хуторских событиях.

Роман скорее почувствовал, чем заметил присутствие Линки, но, не желая перебивать рассказчиков, делал вид, что не замечает ее.

Линка была обыкновенная, внешне как будто ничем не примечательная девушка. И ничто, пожалуй, кроме ее мохнатых и длинных ресниц да тяжелых пшеничных кос, не выделяло ее среди девушек, виденных Романом. Нет, неприметной и тихой была ее спокойная красота. И скорее можно было почувствовать, чем приметить, всю не-

крикливую ее прелесть, всю глубину затаившегося в серых глазах очарования.

Строгая сидела Линка вблизи Романа на парте. На ее плечах лежала пунцовая косынка. Когда кто-то из ребят заговорил о бесследно исчезнувшей с хутора Фешке, Линка, заметно оживившись, подняла на Романа серые искрящиеся глаза и, улыбаясь, сказала:

— А ведь я ее знаю.

— Откуда же?!— удивленно спросил Роман.

— В старых протоколах ячейки я случайно нашла ее записку и фотографию... Хорошая девушка, должно быть.

— Да,— сказал Роман.— Это была хорошая девушка.

Все замолчали.

Роман побарабанил пальцами по розовому от заката окну.

— Интересно, куда же она могла сгинуть?

Все знали, что он говорит о Фешке, но никто не ответил ему. Ребята хором заговорили о вновь организованном на хуторе колхозе.

— Какой это колхоз? Худой колхоз!— резко махнув рукой, заявил Аблай.— Сам подумай, какой будет толк, раз туда и Пикулин пришел, и трахомный Анисим. Сами дурака валяют, сами кричат потом дурным голосом: «Ой-пурмой, пропадем!» Сами же нам, бедному классу, говорят: «Не ходи в колхоз — помирать там будешь!»

— Ну, трахомного и Пикулина надо выгнать. Я это дело так разумею,— сказал пастух Клюшкин.

— Зачем выгонять? Не понравится — сами уйдут,— подала голос Линка.

— Ага, жди, когда они уйдут. Уйдут, когда весь наш колхоз к чертовой матери развалят,— злобно сверкнув глазами, возразил пастух Егор Клюшкин.

— Ого! Анисим с Пикулиным крепкий корень пустили. Очень глубокий корень. Я так понимаю...— сказал Аблай.

— Все это чепуха, дорогие товарищи!— задорно подмигнув комсомольцам, заговорил Роман.— Надо нам только покруче быть на расправу. Вот Аблай говорит, что корень они тут глубоко пустили. Ну что ж! А мы попробуем вырвать с корнем. У нас, понимаешь, силы хватит! Мы люди с вами молодые, здоровые.

— Хорошие слова говоришь, Роман! Люди мы молодые, сильные, верно!— возбужденно откликнулся Аблай.

Заговорили о Епифане Окатове. Вдруг Линка, глубоко вздохнув, скорбным голосом произнесла:

— Да, жалко смотреть на него. Был человек в достатке, в силе. И вот все пошло прахом. Ходит в рваных калошах. Посох в руках. Псалтырь по усопшим читает...

— Жалко смотреть?!— пытливо приглядываясь к ней, строго спросил Роман.

— Ну да, жалко.

— Ах, вот как! Ну, этого я от вас, товарищ педагог, не ожидал. Этого я не понимаю...— сухо проговорил Роман, тотчас же спрыгнул с подоконника и направился к выходу, буркнув на прощание:— Пока, товарищи! До следующей встречи!

Подавленный и взволнованный рассказами ребят и встревоженный до глубины души последними словами Линки, Роман долго не находил себе места в неприветливой и жалкой избушке. Он был хмурым и неразговорчивым с матерью в этот вечер. Наскоро выпив кружку молока, он пошел побродить по хутору. Прежде всего его потянуло заглянуть в колхозный денник, куда две недели тому назад согнали крупный рогатый скот со всего хутора. Скот был обобществлен по приказу прибывшего на хутор районного уполномоченного товарища Нипоркина.

Скот ютился в огромном деннике, наскоро огороженном жердями в открытом поле. Хотя дело близилось к весне, в степи лежал еще снег, а по ночам держались крепкие заморозки. Роман, обойдя окрест денник, не обнаружил ни клочка сена, за исключением небольшой полуразваленной скирды прелой соломы. Перепрыгнув через прясло, Роман стал приглядываться к скотине. Согнан был в одну кучу и рогатый скот и лошади. Хоть и не очень было светло, но Роман разглядел в неверном лунном полусвете тощих коров и на редкость худых — кожа да кости — лошаденок. Скот был голодный.

Пробравшись в глубь денника, Роман наткнулся на колоду, около которой привязано было несколько упитанных лошадей. Колода была наполнена отборным овсом. Сытые кони, почувствовав близость человека, захрапели, повернув теплые добрые морды. «Странное дело!— подумал Роман.— Что за фокус? Чьи это лошади? Почему они стоят на овсе, а остальной скот едва держится на ногах?» Но тут он случайно наткнулся на притулившегося около соломенной скирды сонного человека.

Очнувшись, человек встрепенулся, вскочил на ноги и закричал не своим голосом на Романа:

— Кто ты такой? Что тебе здесь надо?

Роман, узнав по голосу Силантия Пикулина, откликнулся вопросом на его вопрос:

— А ты лучше мне ответь, почему скот моришь голодом?

— Ну это не твоего ишо ума дело,— зло отозвался Силантий.— Не тебе в колхозные порядки вмешиваться. Тоже мне указчик нашелся!

— А ты не ори!— прикрикнул на него Роман.— Я тебя толком спрашиваю. Почему скот голодом мрет? На одних лошадей смотреть больно, а другие тут же в особом загоне на овсе стоят?

— Ты на меня не кричи, Ромка!— узнав, в свою очередь, Романа, угрожающе крикнул Силантий. И вдруг, метнувшись в сторону, он завопил не своим голосом:— Караул, мужики! Караул, граждане колхозники!

Роман растерялся, опешил. Он не знал, что ему предпринять — наброситься ли на Силантия и заткнуть ему рот или скрыться от греха подальше.

На вопли Силантия из темноты вынырнули два мужика с зажженными фонарями. Один из них, невысокий крепкий мужик, подняв над головой фонарь, осветил прямую фигуру Романа. Затем мужик удивленно воскликнул:

— Роман? Али я обознался?

— Точно. Это я — Роман, Мирон Викулыч!— откликнулся Роман, узнав Мирона Караганова.

Точно из-под земли выросло еще несколько заспанных мужиков.

— Что за происшествие?

— Силантий! Ты где?

— Что тут случилось?

Однако Силантий, заметив, как тепло и участливо говорят сбежавшиеся на его крик мужики с непрошеным полуночным гостем, предпочел не откликаться.

Роман рассказал о случившемся. Выслушав его, Мирон Викулыч бросился с фонарем в руках в денник. Мужики и Роман последовали за ним. Кинулись к колоде. Но кормушка была уже пустой, а лошади кулацкие сыто похрапывали среди общего стада.

Силантий Пикулин, державшийся в стороне, наконец

подошел к мужикам и, ехидно ухмыляясь в бороду, сказал:

— А вы в самом деле поверили, что я тут по ночам своих лошадей овсом кормлю?

— Факт!— крикнул Нашатырь.

— А ты протри глаза и загляни в кормушку,— посоветовал ему Силантий Пикулин.

— Ну, это ты брось, Силантий. Воробья на мякине не проведешь. Я, брат, и так все вижу,— сказал Мирон Викулыч.

— Факт, не проведешь!— кричал Нашатырь.— Хоть и нет овса, а дно у колоды мокрое. Факт, что его кони хлебом и сейчас ишо пахнут.

— Вот какая сволочь...— глухо проговорил Мирон Викулыч. И всем стало ясно, что эти слова относились к Пикулину.

Роман сидел в просторной и опрятной избе Мирона Викулыча. В этом человеке он с детских лет привык видеть отца и старшего друга. На столе мирно ворчал ярко начищенный медный самовар. В чашках стыл густой ароматный чай, Роман, задумавшись, смотрел, не спуская глаз, на небольшой, в строгий раме, портрет Ленина.

О многом переговорили Роман и Мирон Викулыч в уютной, как и сам хозяин, избе.

— ...Вот и заварили кашу,— говорил Мирон Викулыч, посасывая чубук обуглившейся трубки.— Крепко они, брат, стоят на земле — обеими ногами. У Куликовых и сейчас, поди, сотни пудов хлеба в земле гниют. В колхозто они вошли, а скотину нашу угробили. Своих лошадей по ночам овсом кормят, а сами в первую очередь колхозного пайка требуют. Что скажешь на это?

Помолчав, Роман твердо ответил:

— Сказ тут простой: хлеб у них взять надо.

— А ты думаешь, это так просто?

— Нет, я не думаю этого, дядя Мирон. Но мы возьмем. У нас силы хватит,— заключил Роман, крепко пожав на прощание большую узловатую руку хозяина. И это рукопожатие было для них верным, как клятва, нерушимым союзом.

2

Спустя неделю забушевал над степью теплый и влажный весенний ветер. Он разбил на озерах льды и поднял полую воду, освободил от снежных покровов курганы. Потянуло густым и пряным полынным запахом. И все вокруг — и обнажившееся от снега желтое жнивье, и не омраченное ни единой приблудной тучкой небо, и расточительные песни жаворонка — полно было очарования, юности, чистоты.

На улицах хутора царило необычайное оживление. Мужики и бабы сновали со двора во двор, крикливые, как в канун свадьбы. По улице прогрохотал дорогой расписной фургон, и трое пьяных парней, сидевших в обнимку в нем, куражно ревели во весь голос частушки.

Однолошадник Капитон Норкин крутился посреди хуторской площади на своем горбатом меринке и хрипло кричал, угрожающе потрясая бескозырной фуражкой:

— Вот она, моя воля! Я верхом на сей секунд нахожусь!— И, лихо задирая костлявую морду мерина кверху, он гарцевал перед толпой мужиков, продолжая горланить во всю глотку:— Да! Моя воля! Куда хочу,— туда ворочу! На что мне твой коллектив, боже ты мой?! Разве мы не проживем без колхоза?

— Факт,— подтверждал подвыпивший Филарет Нашатырь.

А Епифан Окатов, в малиновом бешмете, с неизменным библейским посохом в руке, сказал, потрясая псалтырем, пропитанным воском:

— Правильно. Вы, гражданин Норкин, говорите священную истину. Вы настоящий пророк!

— Факт, пророк Еремей,— ехидно хихикнул Филарет.

— Не Еремей, а пророк Капитоний,— сурово пресек Нашатыря Окатов.— Слушайте, что извергают уста Капитона. Он речет настоящую библейскую мудрость: «На что же, боже мой, мне твой колхоз?!» Так мог сказать только пророк!

Капитон Норкин смущенно надвинул бескозырку на плоский лоб и, вихрем сорвавшись с места, полетел галопом по улице.

На крыше бывшего окатовского амбара стоял Силантий Пикулин. Он был без шапки, в одном черном жилете с вишневыми пуговицами поверх широкой малиновой с белыми горошинками рубахи. Две беременные бабы, стоя около колодца, таращили на него глаза.

— Кто не помнит красивого пикулинского борова? Семь пудов двадцать пять фунтов голимого сала! Клянусь,— истово крестился Силантий, все время проваливаясь то одной, то другой ногой сквозь решетчатую крышу повети,— клянусь, боров сдох! Довели, сукины дети, такого красавца! Доколхозничали!

— Боже мой, да такому ли борову подыхать, девки?!— взвизгнула рябая баба, стоявшая у колодца.

— Он бы не подох без колхоза!— кричал Силантий.— Это колхоз довел до гибели красавца.

Пикулин еще долго кружился по повети, все неистовее крича о сдохшем борове. Наконец он поскользнулся и, нелепо взмахнув над поветью руками, нырнул, как утопающий, внутрь двора.

Через минуту Силантий Пикулин стоял уже у ворот и потрясал волосатым кулаком:

— Ага, отстрадовались, отколхозничали. Конец!— И, схватив на колхозном дворе свой хомут со шлеей, он ринулся вдоль улицы.

3

А к вечеру установилась на хуторе напряженная тишина. Только одиноко колесил на коньке Капитон Норкин и упрямо бубнил:

— Мне ваш коллектив ни к чему. Мы с мерином сами прокорм добудем.

В это время Роман вышел за ворота дома и долго стоял, приглядываясь к сиреневым сумеркам. Далеко за хутором мерцали костры аулов. Из степи доносились гортанные песни казахских пастухов.

Постояв около своей избушки, Роман направился к разгромленному колхозному деннику, который казался теперь еще бесприютнее. Скота, обобществленного по распоряжению районного уполномоченного, здесь уже не было. Его развели по домам хуторяне. Только три захудалые лошади теребили из повети почерневшую прелую солому да понуро сновал по огромному деннику тощий белоногий жеребенок пастуха Аблая. Жевали свою жвачку две коровы.

Ласково похлопав по холке аблаевского жеребенка, Роман принялся собирать объедья сена. Голодные лошади жадно протягивали морды к его рукам. Роман, собрав все оставшиеся на дворе объедья, распределил их между скотом.

«Да, немудрое наследство осталось нам для начала большого дела!»— думал Роман, с грустью поглядывая на проголодавшихся лошаденок и тощих коров.

Горькие мысли Романа прервал Капитон Норкин. Увидев Романа, Капитон закричал ему, теребя поводьями измотанного за день мерина:

— Ты меня теперь в колхоз калачом не заманишь. Лучше и не думай, не затевай нового дела, Ромка!

— Да что ты, бог с тобой, дядя Капитон. Что ты пристал ко мне? Никто тебя насильно в колхоз не тянет,— спокойно возразил Роман.

— Нет, врешь! Я все знаю! Я вижу!— запальчиво кричал Капитон.— Я все знаю. Один колхоз развалился, а ты уже другой задумал. Меня не затащишь. Я со своим конем без вас проживу. Понял?

— Все понятно, дядя Капитон. Успокойся, пожалуйста. Никто тебя силой в нашу артель не потянет, если сам не придешь...— с чуть приметной улыбкой отвечал Роман.

Стоя среди опустевшего денника, Роман приглядывался к Капитону Норкину насмешливыми, слегка прищуренными глазами. Он знал, что все это у Капитона не свое, а наигранное, напускное. «Ну, куда он от нас денется? Никуда не денется, беспокойный и вздорный человек. Успел за две недели получить из колхоза двухмесячный рабочий паек и трижды подать заявление в правление артели, прося отпустить его с хутора на отхожий промысел».

В сумерках у ворот денника появился Силантий Пикулин. Повиснув на пряслах, пялил он на Романа остекленевшие от хмеля алтынные глаза и визжал рыдающим бабьим голосом:

— Я своего красавца борова вовеки не позабуду! Я найду концы...

— Валяй ищи. А здесь зенки на нас не пяль. Катись отсюда, пока цел, к чертовой матери!— крикнул ему в ответ появившийся Мирон Викулыч.

— Нет, ты ответь мне, Мирон, где мой боров? Сдох?! Так точно. Сдох. Сыграл по вашей милости заместо орла — в решку. И я вам, варнакам, этого не прощу!— грозя перстом Мирону Викулычу, продолжал слезливым голосом Силантий Пикулин.

— А где он подох, твой боров, вражина?

— Как — где? В собственном моем хлеву.

— Ага, в собственном хлеву, говоришь? Так при чем

же тут колхоз, я тебя спрашиваю?— едва сдерживая себя от желания вцепиться в ненавистную бороду Пикулина, закричал Мирон Викулыч.

— Как — при чем колхоз?! А кто, как не колхоз, довел моего борова до гибели? Отруби на прокорм шли из вашего колхозного амбара?

— Плюнь ты на него, дядя Мирон,— сказал Роман.— Пойдем лучше, дело одно есть...

И Мирон, сплюнув в сторону паясничавшего на пряслах Пикулина, пошел прочь.

— Ага, попляшете теперь без нас! На мироновских-то рысаках далеко не ускачете. Тоже мне — коллективисты! Да я до самого Калинина дойду, а вас доконаю. Я верну своего борова...

Было уже совсем темно, когда Роман, оставив Мирона Викулыча на ночное дежурство около обобществленного скота хуторской бедноты, направился домой. Погруженный в невеселое раздумье о завтрашнем дне, он шел, прислушиваясь к ночной тишине. Далеко в степи глухо грохотал фургон. Тонкий ледок на лужах хрустел под ногами. Роман на мгновение замедлил шаг, остановился, почувствовав едва уловимое головокружение. «Да, я, кажется, притомился за эти дни...»— подумал он. И впервые за суматошные сутки он вспомнил о папиросе, которую заботливо засунула ему в карман Линка на вчерашнем объединенном собрании русской и казахской комсомольских ячеек. Он достал папиросу и закурил. Глубоко затянувшись ароматным дымком и охмелев от дыма, он подумал: «Ах да... Ведь я совсем забыл, что мне надо идти в аул. Собрание бедняцкого актива. А я спать...»— упрекнул он себя.

Нет, не до сна было Роману Каргополову, не до отдыха. Дойдя до избушки, он присел на валявшееся под окнами бревно и принялся мысленно подсчитывать оставшееся в колхозном хозяйстве имущество. «Да, бедное наследство оставила нам сплошная коллективизация! Нелегко будет целину поднимать. Очень нелегко. Это ясно...» С трудом борясь с усталостью и одолевавшим сном, он думал о будущем колхозе, который твердо решил создать при помощи двух комсомольских ячеек — хутора и соседнего казахского аула, о ремонте трех плугов, об устройстве на хуторе артезианского колодца, о бесследно сгинувшей Фешке, о тяжелых пшеничных косах Линки. Но все эти думы, беспорядочно кружась, так же мгновен-

но исчезали, как и возникали в его сознании. Да, он устал. Ему очень хотелось спать. Но вот он увидел, как вдали вспыхнуло и затрепетало в ночи крылатое пламя лампы: это зажегся огонь в школе. «Ах да, Линка меня ждет. Ведь мы договорились, что я зайду за ней, чтобы вместе пойти на собрание в ауле»,— вспомнил Роман и, очнувшись от забытья, быстро поднялся и направился к школе.

4

Ветхий верх пастушьей юрты был усыпан алмазами. То горели в высоком ночном небе яркие звезды, просвечивающие сквозь дырявый войлок юрты. Пахло овчинами, кизяком и куртом — сухим творогом.

Аульная беднота — пастухи и безлошадные джатаки — сидели вокруг слабо тлевшего очага, поджав ноги. Их смуглые, неярко озаренные отблесками костра скуластые лица казались в полусумраке бронзовыми. Тут были аксакалы — белобородые старцы и пожилые джигиты степи, безусые юноши и шустрые, подвижные подросткиподпаски. Люди сидели вокруг очага неподвижно и молча. Запрокинув головы, они смотрели на алмазную россыпь звезд, на бойкую, как глаз молодого беркутенка, луну, поднявшуюся над верхним отверстием куполообразной юрты.

На почетном месте этого невзрачного пастушьего жилища, над грудами стареньких сундуков, прикрытых всяческой рухлядью, к деревянному остову юрты прикреплен был портрет Ленина, вправленный в самодельную, выкрашенную охрой раму.

Подпасок Ералла, не спуская сияющих глаз, пристально смотрел в чуть прищуренные пытливые глаза Ильича, и казалось, что Ленин отвечал ему отечески доброй улыбкой...

Линка, сидевшая в кругу пастухов и подпасков рядом с Романом, тоже не сводила позолотевших от костра глаз с ленинского портрета, и ей тоже казалось, что Ильич тепло, одобрительно улыбался в эту минуту каждому, кто смотрел на него.

— Пастухи! Сегодня за дальним курганом видел я всадника в лисьем малахае,— сказал Аблай после длительного молчания.

И все сидящие вокруг очага пастухи и подпаски по-

вернулись к рассказчику, заинтересованные его хабаром — степной вестью.

— Я видел сегодня всадника в лисьем малахае, и я слышал, что говорил он жителям аула Джаман-Туз,— продолжал Аблай спокойно-сдержанным тоном.— Он говорил им о том, что всемогущие баи-аксакалы увели из колхоза рогатый скот и всех лошадей и джатаки-пастухи и подпаски из аула Аксу — это мы с вами — сидят в худой юрте у потухшего очага и не знают теперь, как им быть и что им делать: у них ни хлеба, ни мяса, ни курта. Они — в страхе. Они сидят у холодного очага и молчат.

— Это неправда. Это он врет все про нас, шайтан, чертов сын, всадник!— крикнул сорвавшимся на высокой ноте голосом подпасок Ералла.

— Неправда! Неправда! Мы знаем, что делать!— горячо подхватил молодой джигит Бектурган.

— Это верно, джигиты. Мы знаем, что делать нам!— прозвучал решительный голос самого старого и самого почетного из пастухов — аксакала Койчи.

При словах старого Койчи в очаге вдруг само собой вспыхнуло яркое пламя. Яростно забушевав, оно затмило алмазную россыпь звезд над раскрытым куполом юрты. И, подобно мятежному огню, вдруг так же внезапно и яростно забушевали в юрте гневные возгласы словно очнувшихся от тяжкого забытья пастухов и подпасков:

— Да, мы знаем, что нам делать!

— Мы не пойдем к Наурбеку. Пусть он сам гонит завтра табун на пастбище!

— Пусть сам попробует пасти свой скот!

— Пусть сам стережет по ночам от волков косяки своих кобылиц!

— Правильно!— кричали люди, и лохмотья их бешметов отсвечивали в ярком пламени костра.

Аблай стоял, озаренный костром, прямой и строгий. Он стоял с широко распростертыми руками, похожий на большую птицу, готовую к взлету.

Пастухи и подпаски огласили юрту криками, полными гнева:

— Не пойдем пастухами к Наурбеку!

— Без него проживем!

— Мы сами хозяева нашей судьбы!

— Правильно, дорогие товарищи! Правильно!— кри-

чали вместе с пастухами и подпасками Роман Каргополов и Линка.

— Молодцы! Молодцы! Боже мой, как это все здорово!— поддавшись всеобщему возбуждению, твердила Линка, тормоша Романа за рукав гимнастерки.

— Жолдастар! Товарищи!— пытаясь перекричать пастухов и подпасков, призывал к порядку Аблай.— Жолдастар! Товарищи!— крикнул Аблай с такой силой, что в ушах зазвенело.

В юрте воцарилась тишина. Пастухи и подпаски, повинуясь требовательному окрику Аблая, покорно опустились на рваные кошмы. Аблай приблизился к очагу. Пламя костра вновь начало медленно угасать, и в дымоходе снова заблестела юркая луна.

Подпасок Ералла сел рядом со старым Койчей и, не разжимая своих литых, как свинчатка, до боли сжатых маленьких кулачишек, смотрел сверкающими глазами в лицо Аблая, жадно прислушиваясь к каждому его слову. Когда Аблай умолк, Ералла убежденно и горячо заявил под всеобщий одобрительный гул:

— Только с русскими пастухами нам будет хорошо. Только в артели с русскими — не с Наурбеком!

Тогда вновь поднялся на ноги медлительный белобородый Койча, и все почтительно смолкли. Внимательно оглядев присутствующих, старик спокойно сказал:

— Да, только вместе с русскими бедняками нам будет хорошо. Вместе — мы будем большая сила. И Наурбеку нас тогда не сломить!

И пастухи и подпаски хором подтвердили:

— Друс. Правильно.

— Дорогие товарищи!— с жаром заговорил Роман.— Хорошие речи вы говорите. Вместе мы действительно большая сила. Вместе мы не дадим в обиду и наши права и наш колхоз. Вместе мы выйдем на пашню. И никто не посмеет тронуть нас.

Секретари этого необычного собрания, Линка и Бектурган, торопливо писали в две руки протоколы — один на русском, другой на казахском языке — о единодушном решении аульной бедноты.

Тихо было в юрте. Тихо было и за ее войлочными стенами, в степи, над которой занимался рассвет погожего весеннего утра.

5

Семилинейная лампа, выпучив свой воспаленный совиный глаз, задыхалась и часто меркла от духоты и копоти. Треснувшее стекло ее покрывалось бархатными лоскутьями сажи. В школьном классе тесно и душно. Крылатые тени трепетали под низким потолком, падая на острые шапки казахских пастухов и на картузы русской хуторской бедноты.

На столе президиума стояло большое ведро с желтой болотной водой, пахнущей камышом и птицей. Класс был битком набит людьми, а народ все прибывал.

Анисим сидел верхом на рассохшейся пожарной бочке, стоявшей около школьного крыльца, и издевательски кричал приходящим:

— Слыхали?! Киргизня на наших комсомольцах пахать собралась!

— Они напашут. Целину на коровах поднимать начнут!— злорадствуя, в тон Анисиму, выкрикивал Силантий Пикулин.

А в классе, вблизи стола президиума, сидели на полу и на партах аульные батраки, пастухи и подпаски, сидели комсомольцы хутора и бездольные, безлошадные бедняки.

Собрание билось в спорах, в неистовой перебранке, в криках. Никто уже не замечал меркнущей то и дело семилинейной лампы.

— Нет, шабаш. Мы на нашу землю немаканых азиатов не пустим. Факт!— громче всех кричал Филарет Нашатырь.

— Именно. Попробуй пусти — они тут наробят...

— Степному человеку только кумыс лакать да по гостям шататься — это ладно. Степной человек не дурак — землю ворочать!— звучали охрипшие голоса Пикулина и Куликовых.

Аблай взволнованно теребил козырек русской фуражки. Ему казалось, что тощая фигура Силантия Пикулина поднимается над людьми на огромных ходулях.

На потном лбу Романа слиплись взмокшие волосы. Он то и дело стучал карандашом по жестяной ручке лампы и, стараясь навести порядок, в сотый раз повторял:

— Граждане! О чем спор, товарищи! Ведь силой мы никого в нашу артель не тянем. Дело это полюбовное.

Силантий Пикулин взобрался на подоконник и, разма-

хивая длинными, как грабли, руками, кричал что есть мочи бабьим голосом:

— Граждане хуторяне, боров мой был оставлен для общественного приплода. Это я могу на всем миру заявить. Это ж — как пить дать! Советская власть стоит за культуру! За культурное свиноводство!.. А почему меня кулаком именуют?! Какой же я, господи боже мой, кулак? Я есть высшего класса культурник! У меня для этого все справки при себе налицо. Меня от кулацкого класса бог миловал. Я твердых разверсток на хлебозаготовках не исполнял. Пронес бог, стало быть...

— Факт, пронес! Факт. Обыкновенное дело...— поддакнул под запал Нашатырь.

Роман долго слушал вздорные, нелепые выкрики. Наконец он, не выдержав, ударил со всего размаху кулаком по столу. Консервная банка с чернилами, лихо подпрыгнув, с грохотом повалилась на пол. Семилинейная лампа, озарив весь класс ярким светом, потухла. Люди притихли.

Расторопная Линка быстро наладила свет. И Роман объявил:

— Слово от имени наших казахских товарищей — от пастухов и подпасков — имеет товарищ Аблай.

— Мое слово такое,— сказал Аблай, поднимая, как школьник, руку.— Есть у нас бай Наурбек. Есть у вас бай Пикулин. Приходил бай Пикулин к баю Наурбеку и говорил ему так: «Пропадем мы с тобой, бай Наурбек. Твои пастухи пошли в колхоз. Мои батраки пошли в колхоз. Бедняк ушел. Середняк с ним ушел. Мы с тобой, бай Наурбек, одни теперь в степи остались...»

— Ийе, ийе!— подтвердил хор казахов.

— Тише. Я дальше буду говорить,— требовательно, почти угрожающе сказал Аблай.— Наш бай Наурбек баранов колхозных воровал, баранов колхозных кушал. А потом всем говорил: «Пастухи баранов воровали». Ваш бай Пикулин борова резал. Потом говорил: «В колхозе пропал». Правильно?

— Друс!— дружно, в голос откликнулись аульные пастухи.

— Правильно! Правильно!— поддержали Аблая и все хуторские комсомольцы.

— Нет, разрешите,— вновь завопил Силантий Пикулин.— Разрешите мне досказать правду про борова, граждане хуторяне. Всем известно, что боров был у меня

не простой породы. Хряк — я те дам. Не хряк — картинка!.. Разрешите.

— Нет, не разрешаю. Слова вам больше не даю,— прервал его Роман.

— Видали, граждены хуторяне?!— еще истошнее завопил Пикулин.— Видали? В родном обществе рта разинуть не дают, а киргизне — полная воля! Дожили до свободы!

В это мгновение за одной из парт встал бобыль Климушка.

Это был весьма несловоохотливый, неказистый, напуганный мужичонка. На былых мирских сходках и хуторских собраниях вел он себя тише воды, ниже травы. А вот сейчас, к удивлению присутствующих, Климушка вдруг заговорил:

— Правильно! Не вам, не вашему брату, а нам теперь полная воля. Толкуй, говори, гражданин Аблай. Я сроду речей не говаривал, а теперь могу сказать. И мне запрету нету. Я кончил...

— Варнакам теперь первое место!— огрызнулся Силантий.

— А ты заткни глотку, Силантий!— прикрикнул на него Климушка.— Тебя с ворованной сметаной в чужом погребу поймали? Поймали. Тебя, сукина сына, за казнокрадство общественного фуража мужики били? Били. Что ты мне можешь на такие речи ответить? А?

В классе поднялись грохот и шум. Беднота хутора, перемешавшись с аульными пастухами, джатаками и подпасками, тесным кольцом окружила Романа и Аблая и заглушила грозными криками голоса Пикулина и Куликовых:

— Долой кулаков с собрания!

— Лишай их, варнаков, слова!

— Заткни кулацкую глотку!

Опасливо озираясь, к столу подошел Михей Ситохин, мужик среднего достатка. Слыл он на хуторе за смирного трудолюбивого человека, любителя песен, скупого на слово и злого на работу труженика. Михей Ситохин густо пробасил Роману в самое ухо:

— Запиши меня, ради бога, Роман, обратно в колхозную артель. Приведу с собой двух меринов. Одного стригунка. Три коровы. Паров у меня две десятины...

Долго еще петушились братья Куликовы, грозно потрясая кулаками, орали о хомутах и постромках, будто

бы похищенных у них бедняцкой сельхозартелью. Толпа куликовских и пикулинских единомышленников, хлынув к выходу, толкалась в дверях и злобно гудела.

Наконец, когда в классе остались вместе с комсомольцами только аульные пастухи да хуторские бедняки и несколько решивших присоединиться к бедняцкой сельхозартели середняков, Роман, закончив составление списка членов артели, сказал:

— Итого двадцать девять хозяйств. Из них одиннадцать казахских, восемнадцать русских. Интернационал, в общем и целом...

Линка, подняв усталые глаза на Романа, чуть слышно повторила:

— Да. Интернационал.

6

Мирон Викулыч был неграмотным. Он знал только три начальных буквы из русского алфавита. Еще в пору далекой молодости покаялся как-то ему волостной писарь Устин Редькин, что может за одни сутки обучить любого человека грамоте. Ударили по рукам. Послали за бутылкой, и писарь, засучив рукава сарпинковой рубахи, подсел к слегка испуганному Мирону, грозно зарычав на него:

— Разевай шире рот — за душой полезу!

Мирон Викулыч послушно раскрыл рот.

— Подожми нижнюю губу и реки: аз-буки-веди!

Вспотевший от усердия Мирон старательно рек, как было велено писарем. А писарь чертил при этом огрызком намусленного химического карандаша на клочке бумаги одну за другой три этих буквы, строго наказывая ученику запоминать их.

Но посланный в кабак бобыль Климушка не замедлил явиться с бутылкой, и урок был тотчас же прекращен. А прерванные занятия никогда в жизни больше не возобновлялись.

В колхоз Мирон привел пару крепких мохноногих меринов, отдал однолемешный плуг и довольно заезженную сенокосилку «мак-кормик». С первых дней деятельности в сельхозартели проявил Мирон Викулыч строгую распорядительность. Он по-хозяйски покрикивал на веснушчатого кандидата комсомола Кенку, который не ахти как ладно на первых порах исполнял поручения старших. Маленький ростом и самолюбивый кандидат комсомола

сначала дулся за это на Мирона Викулыча, но со временем пообмяк, пообтерся, попривык к делу и начал отличаться сообразительностью в выполнении любого мироновского поручения.

Небольшой, но по-хозяйски опрятный двор Мирона Викулыча походил на кузницу: был битком набит необтянутыми колесами от телег, ржавыми сошниками, оглоблями, вальками, заступами. Здесь был свален весь объединенный сельскохозяйственный инвентарь новой артели.

Мирон Викулыч вместе с Аблаем с утра до вечера крутились на этом дворе. Приглядываясь к артельному имуществу, они примеряли, прикидывали на глазок, как сподручнее и ловчее выгадать им из этого барахла три-четыре сносных тележных ската или лишний однолемешный плуг.

На станционный элеватор надо было отправить пять подвод за сортовыми протравленными семенами, а в колхозе оказались на ходу две телеги да казахская арба. Роман по этому случаю был раздражен не в меру...

— Точка, выходит, в общем и целом. Завтра на пашню, а у нас ничего...— говорил он, хмурясь на жалкие тележные одры и некованые колеса. Нервничая, Роман перебрасывал с места на место всю эту рухлядь.— Что нам теперь делать, дядя Мирон? А?

— А прежде всего — не зудеть. Знаешь, торопилась кума Сидора, да напоролась...— косясь на нетерпеливого Романа, строго оговаривал Мирон Викулыч.

— Я всурьез говорю, дядя Мирон.

— Я с тобой тоже толкую не шутейно.

— Но ведь пора за семенами ехать.

— Поедем,— с непритворным спокойствием отвечал Мирон Викулыч, не забывая о деле: он то прилаживал к телеге оглоблю, то ловко забивал спицы в рассохшееся колесо.

В течение двух-трех дней были приведены в порядок плуги, бороны, телеги, сбруя и прочий немудрый хозяйственный инвентарь.

С утра до вечера здесь было оживленно. Бывшие батраки, пастухи и подпаски суетливо сновали по двору, спорили, бойко и весело перекликались, и этот суматошный гомон радовал сердце Мирона Викулыча и ободрял Романа. Непривычно бурно и напряженно бился здесь пульс новой жизни, и это не могло не волновать, не будо-

ражить души людей, впервые объединившихся в артели пастухов — бывших кочевников и природных хуторских хлеборобов.

Только бобыль Климушка по-прежнему оставался медлительным в движениях и невозмутимым на понукания и подбадривания, сыпавшиеся на него с разных сторон. Взялся он было совместно с косомольцем Бектурганом строгать бровки для дрог, но вскоре бросил эту работу, перекочевал под навес, поковырял шилом разбитый подхомутник и наконец, скрестив на коленях волосатые руки, задремал. Подпасок Ералла с дружком Кенкой решили подшутить над стариком: надели на Климушку старую шлею. Но Климушка, ничуть не обидевшись на беззлобную шутку ребят, снял с себя шлею и снова задремал, выронив шило.

Роман целыми днями метался по хутору, разыскивая по колхозным дворам дополнительный инвентарь. Дел у него было теперь по горло. Долго гонялся он за неуловимым кооперативным продавцом Аристархом Бутяшкиным. Наконец напал на его след — тот опохмелялся у шинкарки. Роман попробовал вытащить Аристарха из шинка в кооператив.

— Я извиняюсь, гражданин Бутяшкин,— сказал Роман.— День сегодня рабочий, и ваше место в кооперативе.

Бутяшкин, меланхолично тренькая на старенькой балалайке, тупо смотрел на него.

— Мне позарез надо пять кило воровины для нашего колхоза. Завтра на пашню, а мы без постромок,— объяснил Роман.

— Это для какого, извиняюсь, такого колхоза?— осведомился, продолжая тренькать на балалайке, Бутяшкин.

— Для нашего колхоза «Интернационал».

— Я извиняюсь,— сказал Аристарх Бутяшкин.— Но данная воровина, на основании циркуляра за номером триста восемьдесят пять, дается только под заготовку яиц и сливочного масла.

— Ну, вы это бросьте. Обобществленного сектора циркуляры не касаются,— возразил Роман.

— Не вам, молодой человек, меня учить. Я лучше вас знаю дела. Государство воровиной у нас не бросается...— сказал Бутяшкин, лихо подбрасывая над коленями балалайку.

— Да пойми ты, садовая твоя голова, что мы есть

колхоз. Нам завтра на пашню, а у нас ни постромок, ни вожжей...

— Эвон, какие вы быстрые! Как на охоту ехать, так и собак кормить? Плохие, вижу я, вы хозяева. Добрые-то люди заранее снасть припасают,—поучительно сказал Бутяшкин. Затем, лихо ударив по струнам, захохотал:— Постромок нет! Колхоз без вожжей и постромок! А зачем вам постромки? Колхозы же тракторами пахать собираются?

— Это точно. Придет время — будем пахать тракторами. А пока приходится отыгрываться на клячах и плугах.

— Ну, да вы сами запрягетесь. Аблайка — в корень, Климушка — на пристяжку, и пошел рвать. Пахота начнется, все пигалки со смеху подохнут!— издевательски хихикал продавец.

Роман стоял перед ним, до боли сжав обветренные губы. Потом, резко повернувшись, он с такой силой ударил дверью, что старая балалайка жалобно задребезжала.

Роман направился в школу. Линка еще занималась с вечерней сменой. Вызвав из класса учительницу, он вдруг взволнованно заговорил с ней о колхозе:

— А что ты думаешь? Ты думаешь — мы подкачаем? Пойди посмотри, что во дворе у Мирона Викулыча делается. Телеги на полном ходу. Все вальки уже окованы. Плуги хоть сейчас в борозду. Половину хомутов перетянули.

— Молодцы, молодцы,— говорила Линка, откидывая на спину тяжелые косы и улыбаясь Роману.— Молодцы! Аблай уже мне хвалился... Через четверть часа я отпущу ребят и мигом к вам приду. Надо составить производственный план. Ты не забыл об этом?

— Ничего я не забыл, Линка. Ничего я не забыл...— повторил Роман, глядя в упор на нее.

Он чувствовал, что девушка становилась ему с каждым днем все желанней. И в то же время ему казалось, что к артельным делам Линка относится со скрытым недоверием. Но, украдкой поглядывая в усталое лицо Линки, Роман думал: «Ну что ж тут плохого? Она и мужиков-то настоящих видит здесь первый год. Вот покрутится, пооботрется среди нас, хлебнет горького до слез из общей чаши и станет, пожалуй, на все сто нашей...»

7

Правление колхоза заседает долгими часами. В лихорадочных спорах, бесконечных и путаных расчетах уходит стремительное время. Романа атакуют колонны непримиримых цифр. И он, как школьник, впервые познавший волнующую радость счета, упрямо потеет над замысловатыми и хитро задуманными жизнью задачами. Каждое арифметическое число обретает в его глазах совсем иной смысл. Блуждает Роман в суровом частоколе цифровых изгородей, и вместе с ним слепо, на ощупь, бродят Мирон Викулыч и Аблай, старый Койча и Линка. А цифры с неотразимой настойчивостью лезут навстречу всяким безобидным, на первый взгляд, хозяйским расчетам и замыслам. Цифры растут, множатся на газетных полях, на клочках папиросной бумаги. Они гудят, как живые существа, в утомленных головах членов правления, в головах, отравленных горячкой и бессонницей. Мало хомутов, мало плугов, постромок. Нехватки назойливо и дерзко вылезают из всех щелей и расползаются подобно вешнему палу по сухой, прошлогодней осоке: сколько ты ни туши его, сколько ни трудись, а глянь — он ловко проскользнул под ногами и перекидывается уже то на тот, то на другой куст...

Романа начинает раздражать непоколебимое спокойствие Мирона Викулыча, который сидит за столом, посасывая обуглившуюся трубку. Он сладко причмокивает губами и ни одним движением покойно лежащих на столе рук, ни взглядом, ни голосом — ничем не выдает волнения, тревоги. Он молча выслушивает порывистый рассказ Романа о продавце Аристархе Бутяшкине и рассудительно говорит:

— Бутяшкин — гнида! Прижми к ногтю — ни пыли, ни вони.

— А вот возьмет и подрежет нас с воровиной,— кипятится Роман.

— Не подрежет! Мы из старых тяжей постромки навяжем. Есть у меня такие на примете.

— Ну хорошо, постромки добудем. Но ведь, кроме постромок, нам бороны «зигзаг», дядя Мирон, нужны.

— Нужны,— отвечает Мирон.

— А садилку надо?

— Слов нет — и садилку надо. Больше скажу, Роман: нам и трактор-машину надо. Больше того: четыре трак-

тора надо! Да ведь их пока нет? Нет. А на нет и суда нет. Стало быть, зубами рвать целину придется. Ну что ж, понатужимся, попробуем и зубами. Мы ведь народ не из робких. Как ты думаешь?

— Это верно, дядя Мирон, не из робких,— соглашается Роман. Но мечта о тракторе, о боронах «зигзаг», о новых садилках не покидает его, не перестает думать Роман о сложной механической силе, такой необходимой в хозяйстве.

...Отправив подводы за семенами на станционный элеватор, Роман поздним вечером решил пойти в районный центр зарегистрировать новую сельскохозяйственную артель, организованную им из аульных пастухов и бедноты хутора Арлагуля. Перед тем как покинуть хутор, он заглянул в школу.

Линка уже спала. Роман, осторожно постучавшись в окно, разбудил ее. Сквозь холодное мглистое стекло он увидел неясный облик девушки.

— Пока, Линка!— крикнул он через одинарную оконную раму.— Иду в райцентр регистрировать нашу артель. Попробую там похлопотать насчет сеялки...

Линка что-то крикнула ему в ответ, но он не расслышал слов, хотя ему показалось, что он уловил ее теплое дыхание. И, согретый этим кротким девичьим дыханием, он бодро зашагал навстречу ветру, бушевавшему в степи.

8

Мирон Викулыч затемно возвращался домой с колхозного двора. Деловитый и требовательный на людях, дома он становился тише воды, ниже травы: овладевала им та беспричинная робость, которую привык он испытывать смолоду перед своей сварливой и вспыльчивой, как порох, женой — Арсентьевной. Нельзя сказать, что Арсентьевна имела полную власть над мужем, что он безропотно подчинялся бабьей воле во всех житейских делах. Взаимные словесные перепалки между супругами кончались, как правило, тем, что Мирон делал все по-своему, а Арсентьевна молча мирилась с этим. Однако Мирон Викулыч всегда старался не раздражать жену, отвести от себя лишний грех.

Нелепо было, конечно, в его зрелом возрасте вести себя дома, как провинившемуся мальчишке. Но вел он себя именно так. Запоздно возвратившись домой, когда

Арсентьевна, управившись по хозяйству, отдыхала на любимой лежанке. Мирон впотьмах сновал по кухне, бесшумно и как бы не дыша.

Разувшись у порога — не наследить бы по чистому полу!— Мирон Викулыч пробирался бочком к столу. Здесь он ощупью находил прикрытый холщовым полотенцем горшок топленого молока, заварные калачики или каральку, заботливо припасенные для него женой. Мирон Викулыч совершал запоздалую трапезу в полном безмолвии и, наспех осенив себя крестным знамением, отправлялся на покой.

Спал он зиму и лето на полу, бросив посреди горницы старенькую жесткую кошомку и положив в изголовье полушубок. Подушек он недолюбливал, да и жалко было трогать их в буднее время с высокой, прибранной деревянной кровати.

Повалившись снопом после ужина на привычное жесткое ложе, Мирон, однако, засыпал не сразу. Он любил этот глухой, поздний час обжитого домашнего тепла и покоя. Хорошо полежать после долгого трудового дня посреди чистой и тихой горницы, где пахло геранью, новыми кожаными передами и заткнутой за божницу степной травой. Хорошо дать полный отдых вольно раскинутым по полу, гудящим от усталости, уже не молодым, но все еще сильным, жадным до работы рукам.

Хлопот и забот за последние дни и недели был у него полон рот. Мирон Викулыч всегда хорошо себя чувствовал не в уединении со своими мыслями, а на миру, на народе. Его тянуло к людям, и работа вдвойне спорилась, если рядом трудился другой человек. Вот почему лучшей порой в году он считал осеннюю молотьбу, когда мужики, объединясь вокруг единственной на хуторе конной молотилки, производили артелью обмолот урожая хлебов. Трудовая сутолока односельчан на току всегда будоражила, как легкий хмель, веселую от природы и деятельную натуру Мирона. Все его здесь радовало: и неистовый грозный рев захлебывающегося розвязью молотильного барабана, и озорные крики примостившихся на конном приводе подростков-погонщиков, и неутомимое мелькание бабьих рук, проворно работающих у молотилки.

Мирон Викулыч подавал в барабан увесистые снопы пшеницы. В залатанной сатиновой рубахе, в громадных дымчатых окулярах, защищавших глаза от бушующих вокруг вихрей зерна и половы, стоял он на подмостках бара-

бана. Он чувствовал себя в разгар дружной артельной работы как бы крепче сбитым и ладнее скроенным. Светло и жарко было у Викулыча в такие дни на душе, словно вновь разгорался в нем, кидаясь по жилкам, былой огонь озорства, силы и молодости, когда и сам черт ему не брат и любое море по колено...

В такой час, то и дело поглядывая сквозь окуляры на работающих баб, Мирон, будто играючи, с каким-то веселым ожесточением бросал в ревущую пасть барабана растерзанные на пряди снопы. Барабан, на мгновение захлебываясь непрожеванной розвязью, то дико и грозно ревел на густой, низкой ноте, то с яростью вырывал из рук Мирона золотые пряди пшеницы, глотал их с лихим присвистом и поливал людей, копошившихся на току, золотым фонтаном зерна, перемешанного с соломой и горькой горячей пылью.

Мирон слыл за лучшего подавальщика, и мужики не знали ему цены. Нарасхват рвали его в молотьбу, потому что от умелой подачи в барабан снопа или розвязи зависел примолот хлеба. А Мирон в этом деле так наторел, что по праву народ называл его мастером — золотые руки.

Мирон Викулыч охотно кочевал с чужой молотилкой по гумнам и неутомимо трудился у барабана. Дело тут было не только в заработке, сколотить рублишко-другой на разживу он мог и сидя в избе: был он неплохим умельцем в бондарном и шорном деле, в два счета мог смастерить бабе шайку или кадушку, а то сварганить для справного мужика искусно украшенную медным набором уздечку или тонко сработанную шлею. Однако горячий артельный труд на миру, под открытым небом он всегда предпочитал уединенному сидячему ремеслу и занимался им только в длинные зимние вечера или в осеннюю непогодь.

События последних дней и недель, перевернувшие вверх дном всю доселе внешне спокойную жизнь хутора, не прошли мимо Мирона Викулыча. От природы жадный и любознательный до всего нового, он не мог стоять в стороне от людей теперь, когда они засучив рукава смело взялись за решение своей судьбы. Всем миром, артелью — стена стеной, готовились они к поединку с врагами новой жизни. Бой предстоял не из легких. Немалые силы и с той и с другой стороны вдруг поднялись на дыбы. События на хуторе можно было сравнить только с ледо-

ходом на внезапно взломанной ураганным ветром реке. С пушечной пальбой, с чудовищным воем и грохотом кромсались и рушились в порошок разбитые льдины, и озорная река, сбросив с себя броню, буйно зашумела в степи, широко и вольно даруя простору светлые воды.

Можно ли было высидеть в такую пору в избе?! И Мирон Викулыч одним из первых хуторян очутился в самом центре водоворота. Но, подхваченный с лету стремительным и бурным его потоком, он не утратил природной душевной силы и стойкости, не растерялся, не пал духом, а, повинуясь властному зову собственного чутья, тотчас же стал прибиваться к берегу, на котором уже стоял Роман Каргополов в окружении невеликой, но дружной и верной артели. Однако, прибившись к берегу, Мирон не обрел того душевного спокойствия, какое обычно овладевало им на миру, в кругу занятых общим делом людей. И на это были причины, хотя Мирон Викулыч далеко не сразу разгадал и осмыслил их.

Одной из главных причин душевного смятения Мирона была Арсентьевна. Случилось так, что впервые в жизни решился Мирон Викулыч на рискованно смелый шаг без предварительного обсуждения значительного события с женой. Не спросясь ее, он записался в колхоз, попустился движимой и недвижимой собственностью — от любовно выхоленных меринов до новенькой брички.

Записавшись в артель, он, ни слова не говоря Арсентьевне, погрузил чуть свет на бричку однолемешный плуг с бороной «зигзаг» и отвез на хозяйственный двор артели. Сделано все это было им так просто и буднично, точно он совершал обычный в хозяйстве выезд в поле. Арсентьевна, молча наблюдая за всеми действиями как всегда деловитого и рассудительного мужа, только диву давалась — сколь легко, без единого оха, расстался он с собственным добром. А ведь было, казалось, о чем повздыхать в такой час! Не с неба свалилось к ним в дом добро, нажитое за долгие годы каторжного труда и оплаченное недешевой ценой убитых лет, сил и пролитого пота.

Между тем Мирон дивился втайне, как хватило сил у несдержанной на язык Арсентьевны, казалось, безучастно наблюдать за его поступками. Ни слова не сказала она ему в то раннее утро, когда отводил он лошадей на хозяйственный двор артели. Ни словом не обмолвилась она и позднее, когда о необыкновенных событиях последних

дней говорил без умолку весь хутор, гудевший, как растревоженный улей. Упорное помалкивание Арсентьевны не давало ни сна, ни покоя мужу и казалось ему недобрым признаком грядущей семейной бури.

Так шел день за днем, один тревожнее другого. Уходил Мирон Викулыч из дому чуть свет, возвращался глубокой ночью. Жены он почти не видел. Завтракал в одиночестве, когда она доила и затем отгоняла в стадо корову. Ужинал старик в том же одиночестве, когда старуха уже спала или делала вид, что спала,— разве когда-нибудь раскусишь бабу!

Словом, мелькали, летели насыщенные заботами и хлопотами по артельному делу суматошные дни.

Как заводной крутился Мирон Викулыч день-деньской на колхозном дворе среди не ахти еще как дотошных в хозяйстве членов артели. Время шло своим чередом, а подходящего случая для решительного разговора с супругой не находилось. Впрочем, дело было, конечно, не в случае: он всегда бы мог подвернуться, прояви они обоюдную охоту отвести, как бывало, в семейной беседе душу. Вся беда в том, что ни Арсентьевна, ни Мирон Викулыч не решались заговорить о случившемся. Прожив много лет под одной кровлей, они, к великому своему удивлению, даже и не подозревали, какую железную стойкость и сатанинскую выдержку может проявить каждый из них в минуты исключительного душевного испытания. Именно такое испытание и выпало теперь на их долю.

«Нашла коса на камень!— думал Мирон Викулыч, тяготясь зловещим помалкиванием жены.— Нет, не к месту затеяла ты игру в молчанки, голубушка. Ну, а уж если дело на то пошло, то и я тебя не уважу. Извиняй, сударыня. Лучше божьего дара — речи — лишусь, чем заговорю с тобой!» Но не устоял Мирон перед дьявольской бабьей пыткой.

И вот как это случилось.

9

Однажды Мирон Викулыч не дотронулся до припасенного ему ужина. То ли сказалась нечеловеческая усталость, то ли было это признаком некоторого недомогания, но есть ему не хотелось. И он, разувшись у порога, неслышно пробрался на цыпочках в горницу. Разостлав на

голом полу кошомку, кинув в изголовье потрепанный бешмет, он примостился на привычном ложе и попытался заснуть. Но ему не спалось.

В горнице было полусветло от блестевшего в окне месяца, и все простое убранство комнаты обретало в этом рассеянном свете особенно уютный вид. Все здесь было, как прежде.

Старомодный, грубовато сработанный резной комод громоздился в простенке. Небольшое зеркальце, тускло отсвечивая отраженным месячным блеском, красовалось над комодом. Герань украшала подоконники. Терпкий и горький запах сухой травы, заткнутой за божницу, стойко держался в горнице. Сверчок деловито и бойко верещал в ночи, укрывшись где-то под русской печкой.

Все было, как прежде, но не было одного — душевного равновесия, которое ранее испытывал Мирон Викулыч в часы полуночных бдений в родном доме. Что так его тревожило и томило? Нелады с Арсентьевной? Но ведь случался иногда с ними такой грех и раньше.

И вот впервые вдруг понял Мирон Викулыч, в чем крылась причина его небывалого смятения и непривычной скорби, смущавшей его. Причина была, оказывается, простой и как божий день ясной. Не разлад с женой, а глухая тоска по собственному добру, столь бездумно и просто отданному в пользу артели, — вот что томило его по ночам, вот что наполняло беспокойством и скорбью его сердце. Мучительно жалко было Мирону всего: и пары меринов, и новенькой брички, и сбереженного от ржавчины однолемешного плуга, и на редкость добротной, сработанной собственными руками сбруи...

Он не понимал теперь, как с такой легкой душой вдруг расстался он со всем этим кровно дорогим для него имуществом. Непонятное было это дело для Мирона. А тем более, думал он, непонятно и обидно было все это для Арсентьевны. Еще бы! Разве меньше мужа трудилась она, наживая годами добро, с маху отданное им в чужие руки? Разве не гнула она в три погибели спину, зарабатывая трудовую копейку? Разве не отказывала она себе вместе с ним и в лишнем лакомом куске и в сладком глотке, сберегая грош на разживу? Как же он мог, не спросив ее, лишиться в одно утро всего добра, нажитого ими совместно за годы труда и лишений?!

А какой ответ за все это держать теперь перед женой — одному богу известно...

Ответ держать, однако, приходилось. Рокового разговора не избежать. Рано ли, поздно ли, разговор должен состояться. А на хороший исход его теперь старик не рассчитывал. Нечего на это, зная суровый нрав и характер старухи, и рассчитывать. Виноват он перед ней, и нечего кривить душой и вертеться берестой на огне, а следует поговорить с ней по душам.

Рубеж перейден. Дело сделано. И худо ли, хорошо ли он поступил — судить и рядить об этом было уже, по его мнению, бесполезно и поздно. Нет, возврата к прошлому для него теперь не осталось. Это он хорошо понимал, как ни горько было втайне в этом признаться.

Но одно дело — он, другое дело — Арсентьевна. Мирон Викулыч отлично чувствовал, что ни о каком примирении ее с его самовольным поступком не могло быть и речи. На попятную он перед ней не пойдет и позорить себя в глазах артели не станет. А она никогда не смирится, конечно, с полным крахом собственного хозяйства, крахом, которым наградил ее за труды выживший из ума муж, сдуру примкнувший к этой ни шаткой ни валкой артели.

Но Мирон Викулыч пришел к выводу, что мучительная для него игра с женой в молчанку продолжаться дальше не может. Пора положить всему конец и разрубить этот чертов узел! И чем скорее он это сделает, тем будет лучше. Пан или пропал! Не надо будет без конца томить себя в смутной тоске и тревоге, не зная ни сна, ни отдыха. Раз умел бросить жребий — сумей его и принять. А труса праздновать перед непримиримой супругой было не к лицу.

«Баста, Мирон! Не робей. Не малое дите, слава богу. С рассудком. В здравом уме. Хозяин. Пора выложить все карты на стол. Игра в темную — не моя игра. Выскажу все ей начистоту. Покажу ишо раз этой сударыне свой характер. Знай наших!»

Но, мысленно приободрив самого себя такими лихими словами и бойко вскочив было с постели, Мирон вдруг оробел и снова пал духом.

10

Шутка сказать — разбудить среди ночи жену! По горькому опыту супружеской жизни Мирон Викулыч хорошо знал, чем могла окончиться для него эта храбрая

попытка к примирению с Арсентьевной. Попытка эта была для него, вопреки поговорке, куда хуже пытки. «Факт, плакал по мне сегодня твой сковородник, сударыня! Чую — быть пыли до потолка. Это как пить дать, отдубасишь ты меня ночным делом за мои грехи в лучшем виде...»— думал он, озадаченно почесывая затылок и не решаясь двинуться с места.

В доме стояла та мертвая тишина, какая бывает в деревенских домах только в канун рассвета, когда все наполнено глубоким сном и покоем.

Ни звука. Ни шороха. Молчал старый дом. Молчал сверчок, очевидно вздремнувший под печкой.

Слышалось только доносившееся из распахнутых настежь дверей кухни ровное, едва уловимое дыхание мирно спавшей на лежанке Арсентьевны.

Наконец снова собравшись с духом, старик все же решился — будь что будет — поднять Арсентьевну. Но, сделав уже воровски осторожный шаг к порогу, он вдруг вспомнил про шкалик водки, припрятанный для него старухой в комоде. Нечаянно обнаружив однажды этот клад, Мирон Викулыч долго скрепя сердце держал его на примете. Хитра и сметлива была в этих делах Арсентьевна — не проведешь бабу! Но не давал маху при случае и Мирон Викулыч. Почти три недели поджидал он удобной минуты прибрать заветный шкалик к рукам и втихомолку выпить потом за доброе здоровье жены.

Вот подходящая минута для свершения этого таинства! И Мирон Викулыч, не колеблясь и ни секунды не мешкая, энергично приступил к делу.

Он подкрался на цыпочках к комоду и с величайшими предосторожностями принялся открывать ящик. На беду, ящик оказался таким капризным и неподатливым, а весь громоздкий и дряхлый корпус комода так немилосердно скрипел на весь дом, что у Мирона, от страха быть услышанным и, не дай бог, застигнутым за этим делом проснувшейся Арсентьевной, холодели руки и ныл коренной зуб.

Долго ли, коротко ли кряхтел, возясь с ненавистным ящиком, закусивши от злобы и напряжения нижнюю губу, Мирон Викулыч, он этого не знал. Но вот, потеряв всякое терпение и ожесточившись, он с силой рванул на себя застрявший в проеме ящик. Рванул и обомлел...

Медвежий его рывок потряс загрохотавший комод, битком набитый разной хозяйственной рухлядью: порож-

ними аптекарскими пузырьками, бутылками, тарелками и прочей посудой. И все это так вдруг загрохотало, завыло, запело на все лады в затрещавшей по швам утробе комода, что на секунду Мирону подумалось: уж не дрогнул ли его дом от удара молнии или землетрясения?

Сидя среди горшечных черепков, вывалившихся из ящика пузырьков и бутылок, Мирон Викулыч так свирепо чихал на весь дом, что не заметил даже показавшейся в дверях Арсентьевны.

11

— Будьте здоровы!— таким голосом проговорила Арсентьевна, что муж, ошарашенно взглянув на нее, вдруг перестал чихать.

— Благодарствую, матушка...— вполне серьезно и бодро откликнулся Мирон Викулыч. Опасливо поглядывая на жену, он проворно вскочил с пола, поддернул для порядка подштанники и смирно встал в сторону, поняв свое безусловно незавидное стратегическое положение. Арсентьевна стояла в дверях, полностью отрезав Мирону Викулычу выход из горницы. Створчатые окна, как назло, были заставлены чертовыми горшками с геранью. Стало быть, и выход на улицу, в случае острой нужды, через окно тоже был для него закрыт. Оставалось одно — готовиться к обороне. Старик ждал лобового удара.

«Словом, пиши пропало. Достукался... Дернули меня черти позариться на ее шкалик! Теперь держись. Таку мне ярмарку откроет — святых выноси!...»— мысленно рассуждал не без горечи Мирон Викулыч.

Секунды две-три стояли они молча, глядя один на другого.

За окнами занимался уже погожий рассвет весеннего дня, и в горнице было светло и неприглядно от раскатившихся по полу дурацких аптекарских пузырьков, черепков разбитого вдребезги цветочного горшка, перемешанных с землей лепестков герани. Проснувшиеся в палисаднике воробьи лихо озоровали, и их щебет казался сейчас Мирону Викулычу таким неуместным и даже кощунственным, что он готов был запустить в них злополучными черепками. Только еще воробьиного песнопения не хватало!

Арсентьевна, посмотрев в упор на стоящего перед ней навытяжку мужа, перевела недобрый взгляд на пол, на

валявшиеся жалкие останки роскошной герани и, ни слова не вымолвив, вышла с глубоким вздохом из горницы.

«Не иначе — за сковородником. Факт»,— решил Мирон, сделав несмелый шаг к двери. Он все еще не терял слабой надежды изловчиться и боком выскользнуть в дверь мимо вооружившейся старухи. Но не успел он об этом подумать, как в дверях снова появилась Арсентьевна. Вооружена она была на этот раз увесистым железным совком и мокрым полынным веником.

«Совсем хорошо. Не крестила она еще меня железным совком и не парила грязным веником!»— подумал Мирон Викулыч, невольно попятившись в тыл горницы.

Однако Арсентьевна принялась с присущей ей расторопностью молча и деловито подметать пол.

Подметя чисто-начисто горницу, Арсентьевна столь же быстро и деловито накрыла комод чистой, вынутой из сундука гарусной скатертью, переставила на него с подоконника новый горшок с роскошной геранью. Потом, несколько отступив от прибранного комода, придирчиво приглядывалась к нему, как бы стараясь проверить на глаз, на прежнем ли месте стояли поставленные ею вещи. И все это делала она с таким обидным и оскорбительным безразличием к присутствию мужа, словно его и не было в горнице.

Непонятно вела себя жена. Хуже того — коварно, загадочно. Бог ее знает, что у нее на уме?

Арсентьевна, поправив на столе сбитую холщовую скатерть, не по летам стремительной и легкой походкой вышла из горницы.

Мирон Викулыч, озадаченный поведением своей супруги, продолжал стоять смирно, слушая суетливую возню Арсентьевны, звякающей в кухне посудой. Он не знал, что ему делать: прилечь ли с миром на кошомку, затеять ли наконец на свой страх и риск худой или добрый разговор с женой, или незаметно улизнуть от греха подальше из дому.

Но и тут не проявив должной решительности, Мирон Викулыч снова столкнулся лицом к лицу с женой и совсем опешил. Да и было, по правде сказать, отчего опешить: он увидел в руках вошедшей в горницу не в меру строгой и важной супруги тот самый роковой шкалик с водкой, из-за которого и натворил он столько бед.

Поставив шкалик на стол, Арсентьевна подала затем

и закуску: румяную краюшку пшеничного хлеба и эмалированную тарелку нежных, матово-белых груздей.

Мирон Викулыч наспех оделся.

Накрыв на стол, Арсентьевна впервые за все это время подняла спокойные, ясные глаза на ошарашенного вконец Мирона и потом совсем запросто сказала:

— Ну, милости прошу к столу. Потчуйся...

— Покорно благодарны,— отозвался Мирон Викулыч.

— Благодарствовать после будешь. Угощайся.

— А с каких же таких радостей, матушка?— осмелился спросить Мирон Викулыч.

— Ну ладно, ладно, не криви душой. Не наводи на грех ради воскресного праздника... Не знаю уж, отчего там — с горя ли, с радости ли тебя в комод потянуло, не в том суть. Потчуйся, если угощаю,— все тем же полустрогим тоном проговорила Арсентьевна.

— Не смею отказаться. Благодарствую, мать. Благодарствую...— бойко ответил заметно расхрабрившийся Мирон Викулыч и бочком подошел к столу.

Помедлив, как положено для приличия, он не спеша налил рюмку. Но, прежде чем выпить, снова помедлил. Затем поднял глаза на Арсентьевну и сказал, доверительно поведя рукою:

— Приглашаю, мать, за компанию. Не побрезгуй.

— Потчуйся сам. Не охотница,— отказалась старуха и присела к столу напротив Мирона Викулыча.

— Ну что ж, первую — за твое здоровье, матушка!— сказал Мирон Викулыч, поднимая рюмку.

— Спаси тебя бог. Одно могу сказать на это...

«Все-таки она в сердцах на меня!»— подумал Мирон Викулыч и лихо выпил первую рюмку. Затем, закусив похрустывающими на зубах груздиками, он налил вторую. Но пить не стал. Резковатым, несколько сердитым движением старик отставил рюмку и шкалик в сторону и, сложив на столе отяжелевшие руки, задумался. В голове у него слегка уже начинали шуметь золотые шмели, и умиротворяющее тепло растекалось по жилам. Хорошо! Полузакрыв на минуту веки, он как бы прислушивался к великой внутренней тишине, которую ощущал теперь всем своим покойно и мирно бьющимся сердцем. Приятен был старику этот необыкновенный душевный покой, впервые возникший в нем за последние суматошные дни и бессонные ночи. И бог весть, отчего вдруг хорошо у него стало на душе — от легкого ли опьянения после пер-

вой, с удовольствием выпитой рюмки водки, или от соседства мирно сидящей напротив жены. Но как бы там ни было, а чувствовал он себя необыкновенно хорошо, и его потянуло на откровенность. И, помолчав, пожевав губами, он наконец сказал, прямо, честно глядя в спокойные и ясные глаза жены:

— В обиде ты, мать, на меня. Понимаю.

— Ну, слава богу...

— Что слава богу?

— А то, что понимать на старости лет научился.

— Ну, как же не понимать. Живность-то вместе своим горбом наживали...— повел Мирон разговор напрямую.

— Выходит — вместе...— проговорила, согласно кивнув головой, Арсентьевна.

— А распорядился я ей в кой миг один.

— Выходит — один.

— А ты как думаешь, мне-то своего добра не жалко?

— Ох, не в этом дело, мужик,— откликнулась после некоторого раздумья со скорбным вздохом Арсентьевна.

— Нет, в этом все дело, мать,— возразил ей с упрямым ожесточением Мирон Викулыч.— На миру о том не скажу. А перед тобой, как на духу, покаюсь: жалко мне меринов. Смерть как жалко.

— Не в меринах дело! Время такое пришло, что нам с тобой о них жалеть не приходится...— строго и рассудительно сказала Арсентьевна.

— Во как!— воскликнул с трезвым изумлением старик.

— Да, не приходится...— повторила старуха, глядя куда-то в сторону.

— Непонятны мне твои речи, матушка.

— Чую, что непонятны. Доканчивай шкалик — скорее поймешь.

— А ты без шуток...

— Какие там шутки! Всерьез говорю. Допей поживей, что положено, да на боковую. Не двужильный. В такой заварухе тебя ненадолго хватит. Об отдыхе тоже надо думать. Так я своим бабьим умом рассуждаю. Крутое время настало. Все колесом. А нам с тобой надо бы ишо пожить...

— Надо бы, мать. Я помирать не собираюсь.

— И я не думаю. Не то время...

— Время бедовое. Как на пожаре — не знаешь, куда податься. Треснул наш хутор, как грецкий орех, надвое.

Артель наша из голых рабочих рук: ни запрячь, ни поехать не на чем. Вот тут и выбирай, сударыня!

— У нас с тобой выбор, старик, короткий. Век прожили — на чужое добро не зарились, а в такой час нам оно совсем ни к чему.

— Это ты о чем, мать?— не понял старик Арсентьевны.

— Все о том самом, что достаток да сила Окатовых нам с тобой не с руки. А уж если пробил час для раздела, будем держаться за свою кровную сторону. Мы ведь с тобой не пропадем. С одной нетелью в отдел от покойных родителей пошли. А вот и дом своим трудом сколотили. И хозяйство и живность нажили. Не чужими руками жар загребали — свою силушку ложили... Так вот теперь и с артелью. Народ, я вижу, там подобрался один к одному — работники. С такой силой артельно любую гору можно перевернуть.

— Я тоже так определяю...— всё больше и больше трезвел от рассудительных речей жены Мирон Викулыч.

— И правильно определил...— заметно оживляясь, подтвердила Арсентьевна.— Сейчас можно признаться. Таиться не стану. В душе я сразу была с тобой в артельных делах согласная и, благословясь, проводила с конями тогда тебя со двора. И не за меринов, не за плуг, не за бричку была я на тебя в кровной обиде, Мирон, хотя и мне нелегко было расставаться с таким имуществом. Нет, бог с ним, с добром. Живы будем — наживем, может статься, артельным трудом не это. Видно будет... А смертельно обидел ты меня тем, что пошел на такое дело, не спросясь моего совету. Выходит, ты — в артель, а я — в сторону? Нет, извиняй, отец. Худо ли, бедно ли, а век прожили вместе. Давай же вместе и коротать его в новой жизни. Я на отшибе жить не хочу. Нитка тянется, говорят, за иглой. Сам знаешь. Сказывать тебе нечего.

Слушая строгую речь Арсентьевны, Мирон Викулыч испытывал такое волнение, что ни слова не мог вымолвить ей в ответ. Ни одного достойного слова не находил он, чтобы выразить то огромное, непривычно сложное чувство, которое овладело всем его существом и точно озарило душу теплым и ярким светом. Не отрывая своих блестевших, точно налитых слезами глаз от простого, строгого лица жены, он молча, беспокойно крутил пальцами и расплескивал стоявшую перед ним рюмку, забыв

и о недопитой водке, и о недоеденных груздях. Он испытывал прилив такой нежности и благодарности к Арсентьевне, что это чувство, знакомое ему только в молодости, смущало его. И хотя ему очень хотелось встать и бережно обнять худые плечи своей подруги, сделать это он не решился.

— Ну допивай. Допивай, отец. Да приляг на ча́сок. А мне пора корову доить. Пойду,— сказала Арсентьевна, взглянув с напускной строгостью на мужа, и вышла из горницы.

Оставшись один, Мирон Викулыч сидел за столом и как завороженный смотрел на порозовевшее от восхода, необыкновенно высокое, безмятежное небо, клочок которого он видел в окно. Воробьи, по-прежнему, озоруя, буйно резвились в кустах акации.

12

Двое суток крутилась и гудела, как бубен, степь обожженная суровым дыханием свирепого ледяного вихря. Пропитанный солью и ядовитым запахом солончака ветер поднимал с далеких зе́мных окраин снежные смерчи и грозно нес их в степь, казалось лишенную всего живого. Кружились, порхали в воздухе сухие стебли и листья чернобыльника, и солнце, закрытое пепельным сумраком, зловеще и скупо просвечивало из холодной небесной мглы.

А в полночь, когда погасли по юртам жаркие семейные очаги, ударил вдруг с глухим мертвым гулом забесновавшийся ледяной дождь. И поднялся тогда безысходный протяжный коровий рев, понеслось над степью пронзительное ржание кобылиц, точно напуганных налетом волчьей стаи. Сто буланых кобыл бая Наурбека, сбившись в кучу, прикрывали горячими и сильными телами беззащитных жеребят. Они закрывали своих детенышей так, как закрывали их всегда в часы опасности и несчастья. По дорогам, напрямик целиной, от аула к аулу вихрем мчалась крылатая весть — хабар. И всадники, привстав на стременах, растеряв на ветру свои малахаи, до крови разодрав удилами губы взбесившихся от скачки коней, задыхались на встречном ветру и летели из аула в аул, припадая к фигурным лукам седла. Подобно ястребам мчались они по степи, пронося сквозь ледяную мглу черную весть:

— Джут!

Высоко задрав опаленные стужей морды, лошади мчались, не чуя земли, напуганные этим кратким и резким, как свист плетей, словом.

— Джут!

Беркут, сорвавшись с кургана, вдруг замер в косом полете. Злобный порыв ветра ударил его по загудевшему крылу, и огромная птица, как камень, стремглав полетела вниз.

— Джут!

— Ой-бой! Вы слышите, люди? Вблизи Кокчетавских гор погибли от гололедицы табуны восемнадцати окрестных аулов!

— Джут!

Ледяной дождь зловеще и глухо барабанил по войлоку юрты. Вместе с дождем валил мокрый, тяжелый снег, и степь покрывалась ледяной коркой, наглухо закрывавшей травы прозрачным колпаком.

А на рассвете опустилась над степными просторами мертвая тишина. Умолкли отчаянно ревевшие ночью коровы. Не слышно было и конского ржания. Молчала и неживая, подернувшаяся гололедицей великая степная равнина. Юрты кочевников походили на огромные глыбы льда, разбросанные штормовой непогодой в безбрежном море. Неподвижны были одетые в ледяные панцири редкие березы.

Сатанинская буря из ветра, дождя и снега затихла, завершившись самым страшным бедствием кочевого народа — гололедицей.

В степи стало тихо.

На вершине кургана сидел ледяной беркут. Он сидел, подняв сломанное крыло, точно вглядываясь остекленевшими зрачками вослед исчезнувшему безумию ночи.

В эти дни члены сельхозартели «Интернационал» толклись во дворе Мирона Викулыча, перебрасывали без всякой нужды с места на место стасканное сюда со всех подворий нехитрое добро: вилы и лопаты, грабли и ржавые мотыги, тяпки и заступы. Мирон Викулыч перевез сюда с пашни свою сенокосилку. Она стояла посреди двора, вытянув подгнившее дышло и беспомощно распластав крылья таких же вальков. На ее беседке посменно ерзали ребятишки. Вокруг этой старой машины толклись и любопытные аульные пастухи и подпаски. Они недоверчиво ощупывали каждый зуб поднятой рамы,

каждую шестеренку, точно впервые видели сенокосилку.

Отремонтированные бороны рядком стояли около повихнувшегося плетня. Рядом с боронами вытянулись в затылок, гуськом, приведенные в порядок однолемешные плуги.

Мирон Викулыч неустанно сновал по двору, стремясь найти какое-нибудь дело. Но делать было, в сущности, нечего. Весь артельный инвентарь, какой можно было отремонтировать, был приведен за эти дни в порядок, и артель была уже готова к выходу в поле. Однако подводы, посланные за семенами, до сих пор не возвращались, хотя по расчетам Мирона Викулыча им пора бы уж быть обратно. Не вернулся и ушедший в районный центр Роман. Все это не могло не волновать Мирона Викулыча и его новых товарищей по сельхозартели. А тут еще эта неслыханная за последние годы гололедица! По хутору и окрестным аулам поползли тревожные, черные слухи о предстоящем неурожае. Епифан Окатов, завернув однажды под вечер на двор к Мирону Викулычу, завел разговор о джуте. Говорил он вскользь, намеками, недомолвками. Голос его был зловеще глухим.

— В одна тыща восемьсот девяносто восьмом году,— вещал Епифан Окатов, потрясая посохом,— прошел такой джут в страстную субботу. И тогда, вы слышите, люди, погиб весь скот на Куяндинской ярмарке. И тогда вся великая Западно-Сибирская равнина пострадала от засухи.

Силантий Пикулин кликушеским голосом кричал на перекрестке:

— Степь варом подернулась. Варом! Грядет голод и мор, гражданы хуторяне!

— Факт,— подтверждал Филарет Нашатырь.— Факт. Гололедица — к голоду. Обыкновенное дело.

— Прогневили мы тебя, всемогущий,— потрясая псалтырем и посохом, провозглашал Епифан Окатов, появляясь перед вечерней службой на церковной паперти.

— Чем же, батюшка, мы прогневили его?— хором спрашивали Епифана старухи.

— Неподобными земными деяниями,— отвечал им пророческим голосом Епифан.

По вечерам досужие бабы, гнездясь на завалинках или собираясь стайками у колодцев, шептались:

— Ромка-то как в воду канул; в бегах, говорят, от своей артели...

— Слух идет, будто степные пастухи на русских девках в колхозе переженились.

— А Соломея Дворникова с Аблайкой схлестнулась. Скоро киргизенка принесет.

— Говорят, на хуторе Май-Балык колхозных баб насильно с киргизами спать кладут. Коммунально...

А Епифан Окатов, шляясь по хутору, нередко вмешиваясь в бабьи сплетни и пересуды, хрипел:

— Слушайте, бабы, что говорит пророк Лука. Он говорит: «И подернутся степи пепелищем, и падут обреченные народы ниц перед лицом твоим!» Быть в этом году гладу и мору в наших краях, бабы.

— Колхозы не до этого доведут,— поддакивала Епифану беременная сноха Куликовых.— Ить подумать надо, какого борова у Силантия Пикулина с голоду заморили!

Неспокойной, суетной жизнью жил в эти дни маленький хутор.

Оживленно бывало по вечерам около куликовского дома. Там вертелись на быстроногих скакунах всадники. Ерзая в седлах, они присматривались, прислушивались и, пригнув головы, вполголоса переговаривались. И в глубокую полночь не гас огонь за наглухо закрытыми ставнями в доме братьев Куликовых. В хуторе знали, что каждую ночь собирались там потайные недобрые сборища, но о чем говорилось в горнице куликовского дома — об этом никто не ведал.

13

С каждым новым днем, с каждым часом чувствовал Мирон Викулыч нарастающую большую тревогу. Плохо спалось ему по ночам. Часто за полночь, перед глухим рассветом, тайком от жены уходил он из дому в колхозный денник. Подбросив корму скоту и проверив бодрствующую ночную охрану, он возвращался домой, не ощущая, однако, ни желанного покоя, ни просветления. В пору таких прогулок, случалось, он останавливался вдруг как вкопанный среди улицы и, потупившись, долго думал. Что же в конце концов тревожит его? Беспокоило многое: затянувшееся отсутствие Романа, неизвестная судьба подвод с семенным зерном. Да что там говорить! Полные пригоршни забот теперь у Мирона Викулыча. Ведь в артели выходила последняя мука, и неизвестно было, с чем же начнет колхоз полевые работы. Нехватка была во всем: в сбруе, в тягловой силе, в инвентаре. Ми-

рон Викулыч, поразмыслив, старался успокоить себя: «Все это дело наживное. Это ерунда. Главное — народ у нас подобрался молодец к молодцу!». Нет, не это вносило в его сердце столько тревоги, а смутное, неосознанное толком предчувствие чего-то недоброго. Не случайно все чаще и чаще влекло его по ночам к мрачному дому братьев Куликовых, где сквозь наглухо закрытые ставни просачивался едва уловимый, немеркнущий свет.

Не раз Мирон Викулыч неслышно подкрадывался к этому дому. Не раз, притулясь около окна, пытался он ревниво и чутко прислушаться к разговорам, которые велись в неприветливом с виду доме. Не раз он пробовал заглянуть сквозь щели ставней. Но так и не удавалось ему узнать, что происходило в эти глухие ночи в куликовской горнице.

Вот и сегодняшней ночью Мирон Викулыч пробрался окольными переулками к дому Куликовых. Но на этот раз ему повезло: он заметил приоткрытую половину ставен в окне, выходящем в переулок. Неслышно подкравшись к этому окну, сквозь запотевшее стекло он увидел квадратное лицо Епифана Окатова. Епифан сидел у стола, полуразвалившись на венском стуле. Был он без скуфейки, которую теперь носил, без псалтыря и без посоха, с которыми не расставался на людях. По всему было видно — свободно и просто держал он себя среди окружающих его в этом доме людей. Бок о бок с Епифаном сидел, вздернув бороду, Силантий Пикулин, а рядом с Силантием — бай Наурбек. По горнице сновал из угла в угол подпрыгивающей походкой продавец Аристарх Бутяшкин. На столе стояла полуопорожненная четвертная бутыль с самогоном. Силантий Пикулин, прислушиваясь к чему-то, поглаживал длинными волосатыми руками четвертную бутыль, искоса поглядывая на ее содержимое. Мирон Викулыч увидел здесь и председателя Совета Корнея Селезнева. «Ага, и ты здесь?» И вот, до боли напрягая слух и неотрывно следя за губами Епифана Окатова, Мирон Викулыч понял наконец, о чем тот говорит. Злобно сжав кулак и веско опустив его на столешницу, Епифан сказал,— это явственно расслышал Мирон Викулыч сквозь стекло одинарной рамы: «Сила в наших руках. Сожжем. Никуда они из-под нашей власти не денутся. Пришпилим».

Мирона Викулыча больше всего поразило и кольнуло это шипящее окатовское слово «пришпилим».

— Ха, пришпилим!— невольно повторил Мирон Викулыч вполголоса это омерзительное шипящее слово. И тут же, загоревшись от гнева, твердо отрезал:— Нет, врете, нас голыми-то руками не скоро возьмешь. Врете, подлецы,— повторил он.

Но потом, сколько ни старался прислушаться к тому, о чем говорили Куликов и Пикулин, ничего больше Мирону Викулычу разобрать не удалось. И он, презрительно плюнув в сторону заговорщиков, пошел прочь.

Стояла глубокая ночь. На хуторе было тихо. Глухо и дробно прозвучала несколько раз колотушка кооперативного сторожа да тявкнула спросонок где-то собака. Мирон Викулыч, возвращаясь домой, пытался разгадать скрытый смысл слов, уловленных сквозь окно куликовского дома. Теперь он твердо уверился, что глухая тревога, томившая его последние дни и ночи, явилась простым предчувствием того, что происходило в доме Куликовых. Внешнее спокойствие и притворное примирение этих людей стали теперь ему понятны. Ему было ясно сейчас, что все они на время затихли, спрятались только для того, чтобы лучше и толковее продумать дальнейшие действия. Но о чем же они могли говорить и спорить напролет целые ночи? Какие хитрые сети плели они до рассвета за глухими, надежными ставнями? На эти вопросы Мирон Викулыч не мог дать ясного ответа. Правда, он видел багрового от гнева, ко всему готового Епифана Окатова, видел его таким, каким знал всегда, за исключением последнего времени: в прежней сатиновой косоворотке, в старинном касторовом пиджаке, в высоких прасольских сапогах, какие носили в давние годы только знаменитые на всю округу скотопромышленники и ярмарочные конокрады.

И вот, уже приближаясь к своему дому, Мирон Викулыч неожиданно вспомнил еще одну фразу, услышанную из уст Епифана в эту ночь, фразу обрывочную и неясную. Но Викулычу стало понятно, что Епифан вел речь о каком-то участке. И, присев на завалинку своего дома, Мирон вдруг понял, что речь шла, видимо, о захвате этими людьми лучшей земли. «Уж не думают ли они организоваться против нас в свой колхоз? Ведь артелью им сподручнее будет завладеть лучшей на хуторе землей. Уж не об этом ли они там сговариваются?»— подумал Мирон Викулыч, весь похолодев от догадки.

Земельный надел хутора Арлагуля врезался клином в худосочные степные солончаки и подсолонки.

На хуторе часто бывал представитель райземотдела агроном Нипоркин. Собственно, кроме Нипоркина бывал здесь еще и агитпроп райкома комсомола Геннадий Коркин. Они неизменно настаивали затем на пересмотре административных границ района. Нипоркин, иллюстрируя доводы цифровыми выкладками, доказывал, что хутор Арлагуль имеет большое экономическое и территориальное тяготение к соседнему Айдабульскому району и поэтому проводить там землеустройство пока не следует. Доводам агронома не шибко доверяли, однако в районе были уверены, что рано или поздно отдаленный хутор будет снят с административной карты.

Причины неприязненного отношения к Арлагулю со стороны административных властей райцентра крылись не только в отдаленности хутора. Однако и это обстоятельство имело немаловажное значение для Коркина, состояние здоровья коего не позволяло ему переносить столь длительные маршруты. От долгой езды у Коркина возникали головокружения, и он — юноша крайне нервный и экспансивный — утрачивал спартанскую бодрость духа, впадал в меланхолию, в результате которой сочинял длинные стихи. По иронии судьбы точно такую же слабость характера имел агроном товарищ Нипоркин, с той лишь разницей, что стихи он писал ежедневно, по утрам, до службы, независимо от состояния духа, погоды и местонахождения. Но Нипоркин, будучи человеком образованным и лишенным предрассудков, не мог освободиться от одной, по его собственному признанию, неприличной привычки, унаследованной им от покойного дядюшки, некогда разъездного агента по реализации швейных машин компании «Зингер». А привычка эта была такова: отправляясь в длительную дорогу, товарищ Нипоркин тайком от ямщика засовывал в сани или телегу банный веник, предварительно вываренный в щелоке, и был твердо убежден, что благодаря магической силе веника его поездки проходят благополучно.

Товарищ Нипоркин ежегодно проводил общее собрание граждан хутора Арлагуля и теперь вяло пытался убедить хуторян в целесообразности землеустройства. Братья Куликовы, одобряемые единодушными выкрика-

ми состоятельных мужиков, не давали говорить Нипоркину:

— Не надо! Не надо этого делать. Жили, слава богу, целый век, пахали, косили, и сеяли, и убытки не терпели.

— Мы знаем, к чему ведет этот передел — к новому сельхозналогу.

— В тринадцатом году вырезали нам клин. А он и посейчас на нашей шее сидит,— кричал Силантий Пикулин.

— Факт!— поддакивал Нашатырь, хотя, как и всегда, плохо соображал, будет ли выгода обществу или вред от земельного передела.

Товарищ Нипоркин пытался что-то возразить, топырил мокрые полуобвислые губы, но пришибленно умолкал, оглушенный неистовым ревом братьев Куликовых.

...Земельный клин хутора Арлагуля был усеян горько-солеными озерами и плешинами солончаков. Ленты тучного чернозема уходили в глубь степи, перемежаясь с подзолистой почвой. Самый плодородный южный клин хуторского надела лежал под заимками Епифана Окатова, где на подножном корму зимовали раньше гурты рогатого скота. Этот участок земли был закуплен Епифаном Окатовым у местных мужиков в канун революции, и бывший скотопромышленник считал его священной собственностью вплоть до того времени, когда вместе с домом милостиво благословил хутору и этот участок. Но Силантий Пикулин совместно со своим свояком, зажиточным изворотливым мужиком Архипом Струковым перенесли на бывший окатовский участок старые заимки и хвалились потом спьяна, что построят там вальцовую мельницу на два постава и откроют конный завод. В прошлом году, когда хуторяне — Капитон Норкин и Проня Скориков — самовольно запахали по десятине бывшей окатовской залежи, рассвирепевший Архип тайно изрубил у незваных гостей постромки, а летом запустил на их полосы лошадей и в одну ночь стравил выросшую на славу пшеницу. После этого случая хуторяне не смели совать нос на участок. Архип Струков и Пикулин почувствовали себя законными владельцами земельного участка. В хуторе мало-помалу все привыкли к этому странному обстоятельству, хотя в поземельных списках сельского Совета участок числился общественным достоянием.

В беспрерывной беготне и спешке Мирону Викулычу даже и в голову не приходила мысль о злополучном участке. Слишком уж много было забот и неполадок, требовав-

ших его неотложного внимания. Но, случайно уловив фразу Окатова о земельном участке, Мирон Викулыч припомнил слова Романа, мимоходом сказанные на колхозном собрании. «Хорошая там земля. Полыни пустошные выжечь — вот тебе и пар тут, и удобрение»,— сказал тогда Каргополов.

Мирон уже не мог больше думать ни о чем, кроме окатовского участка. Да, круто, сплеча, одним хозяйским окриком вопроса тут не разрешишь! Силантий Пикулин и Архип Струков вцепятся в землю обеими руками. «Нет, без района нам этого дела не поднять»,— подумал Мирон Викулыч.

Он с нетерпением ждал возвращения Романа. «Участок! Участок! Не мы будем, ежели не отвоюем его»,— мысленно твердил Мирон Викулыч.

Мирон Викулыч зашел в школу.

— Вот что, Елена Андреевна,— сказал он учительнице, сурово смыкая дремучие брови.— Садись и пишика мне просьбу.

— Куда и о чем, Мирон Викулыч?— спросила Линка.

— Районным властям. Земля нам нужна, нашему колхозу.

— О какой земле речь, Мирон Викулыч?

— О хорошей, о лучшей земле, какая имеется на нашем хуторе.

— Позвольте, уж не пикулинско-струковский ли участок имеете вы в виду?

— Ну да, он самый.

— А стоит ли нам наживать из-за этой земли лишние неприятности, Мирон Викулыч?— настороженно покосившись на старика, спросила Линка.

— Без неприятностей, девушка, мы, конечно, не обойдемся.

— Да, без неприятностей не обойдемся, а их у нас и без этого вдоволь,— сказала со вздохом Линка.— А вообще я посоветовала бы вам подождать Романа. Вернется он из райцентра, соберемся в правлении и поговорим.

— Романа, говоришь, подождать? Ну что ж, подождем Романа,— согласился Мирон Викулыч.

Уходя, он задержался около порога и твердо заявил:

— Хоть ты и боишься неприятностей, девушка, а без них нам тут не обойтись. Земли этой мы Силантию Пикулину и Архипу Струкову не отдадим. Я на любой грех пойду ради артельного дела, а участком не попущусь.

Оставшись одна, учительница проговорила со вздохом:

— Боже мой, какие упрямые люди. Боже мой!..

Линка не понимала, зачем понадобилась старику именно куликовская земля, когда в распоряжении артели находилось около двухсот гектаров пустошных и залежных угодий. «Опять начнутся перебранки, грубости и обиды. Наживем себе непримиримых врагов. Господи боже мой! Неужели нельзя обойтись без споров? Почему же нельзя делать все спокойнее, тише?!»

Роман тоже казался ей слишком уж прямолинейным, несдержанным на слова, несговорчиво упрямым человеком. Зачем ему из-за любой мелочи обострять и без того не очень ладные отношения с массой? Линка давно собиралась поговорить с ним об этом по душам. Сейчас, обдумав и взвесив все, она твердо решила объясниться с Романом начистоту, как только он вернется из райцентра.

15

Гололедица была затяжной. Она держалась неделю. Но вот ночью загудел над хутором могучий и теплый ветер. А на рассвете прошел по-весеннему бурный, веселый дождь, размыл, раскрошил ледяную корку, и вновь ожила, воскресла, заблагоухала живительной и благотворной влагой точно проснувшаяся от зимней спячки земля. Зашумели в низинах и балках ручьи. Лошади, разломав прясло колхозного денника, бросились сломя голову в степь. Коровы, захлебываясь ревом, жадно хватали губами прошлогоднюю жесткую ковыльную щетку. И великий, торжествующий гомон птичьих стай неумолчно вновь загремел над займищами и озерами. Потянуло из степи хмельным запахом полыни и ароматом земли, пригретой солнцем.

Пришли наконец и подводы со станционного элеватора, нагруженные сортовым семенным зерном. Задержались они в пути из-за половодья.

Дружно и весело работали люди на разгрузке семян. Радостный кружился около амбара Мирон Викулыч, подбадривая народ окриками:

— Поживей, ребятушки, пошевеливайся! Попроворнее, милые... А мы уж тут вас ждали-ждали, да и жданы все съели. Бог знает что я тут о вас не перегадал, не передумал.

— Ничего, дядя Мирон, мы из любой воды сухими вылезем,— откликался Кенка.

Семена выгрузили в добротный деревянный амбар Михея Ситохина. Амбар стоял на отшибе от хутора. И Ералла с другом Кенкой вызвались нести ночной караул у амбара.

— Ну хорошо, орлы. Ежели есть охота стоять на боевом посту, доверяем вам это великое дело,— согласился на просьбу ребят Мирон Викулыч.

И вот два друга, вооруженные — один старой ржавой фузеей Мирона Викулыча, другой пастушьим посошком,— стали на пост в первую ночь.

Они стояли на ветру, нарочно распахнув вороты своих зипунишек. Оба гордились доверием, оказанным им старшими соратниками по артели.

Ребята стояли около амбара, ни слова не говоря, чутко прислушиваясь к завываниям весеннего ветра. Кенка знал по занятиям военного кружка, что разговаривать военным людям на посту строго воспрещается. Он предупредил об этом и Ераллу. И оба честно молчали.

Только изредка, напуганные мнимым приближением чьих-то шагов, они настораживались и замирали.

Кенка, грозно бася, выкрикивал:

— Стой! Кто идет? Стрелять буду!

Ералла повторял, поднимая посошок:

— Вместе стрелять будем!

Но никто не откликался на грозные крики ребят. Никого они не могли заметить в кромешной ненастной мгле непогожей весенней ночи. И стало им в конце концов скучно молчать.

Нарушив воинский устав, Кенка вполголоса обратился к приятелю:

— Эй, Ералла, ты птицу-зверя видел?

— Уй-бой!— испуганным шепотом воскликнул Ералла.— Какого такого птицу-зверя?

— А я видел,— хвастливо сказал Кенка.

— Врешь ты все.

— Ей-богу. Вот тебе святая икона, видел.

— Где?

— В камышах. На озере Кучум-бай. Ее зовут выпь. Я у Силантия Пикулина в третьем году свиней пас. Летом было дело. Жарища. Ну, пригнал я свиней купаться, а сам штаны с себя сдернул да в воду. Рожки тянуть полез. Рожки знаешь?

— Рожки? Знаю.

— Ну вот. Полез я за рожками. Нырнул в воду. Зацепил один здоровенный рожок. Вытянул. Вынырнул. Перевел дух. Смотрю, а на меня из камыша глядит...

— Уй-бой? Зверь-птица глядит?

— Она.

— Большая?

— С волка.

— Уй-бой! Страшно.

— Страшно,—согласился Кенка.

Они помолчали, чутко прислушиваясь к подозрительному свисту и шороху. Это, должно быть, шумел карагач за плетнем. Ералла присел на корточки и, весь собравшись в комок, усердно тер стынущие на ветру пальцы. Да и спать, по правде говоря, ему хотелось порядком. Он на секунду прикрыл глаза и почувствовал, как тяжелы его набрякшие веки. Вешний ветер ровно и убаюкивающе гудел над крышей амбара. Хорошо бы сейчас маленько соснуть. Кенке тоже хотелось спать, но он считал себя старшим в карауле и крепился из последних сил. Он держался еще на ногах, с завистью поглядывая на присевшего на корточки друга.

— А ты, дорогой товарищ, не спи. Мы с тобой на воинском посту находимся. Это ты помни.

— Я помню. Я нарочно маленько заснул.

— Все равно и маленько спать нельзя,— твердо сказал Кенка.

Ералла встрепенулся, подбодрился и снова затих. Минуту спустя, приглядевшись к другу, Кенка понял, что Ералла опять заснул. «Ну и пусть маленько подремлет. А я уж как-нибудь устою»,— решил он. Но стоять одному среди этой непогожей ночи было невмоготу. Ноги одеревенели, и все Кенкино тело начинало томиться и млеть от усталости. Кенка тоже решил на минутку присесть на бревно, лежавшее возле амбара. А присев, он прижался всем телом к амбарной стене и тотчас же на секунду прикрыл глаза. Боже мой, как хорошо, оказывается, было здесь сидеть! И, поерзав на бревне, Кенка начал терять всякую власть над своей волей и телом. Ему показалось, что он закружился на медленной ярмарочной карусели. Нет, он совсем не спал. Он ясно различал смутный скрип раскачиваемого ветром карагача и слабый дребезжащий звук оторванной ветром дощечки на крыше амбара. Он отлично понимал, что спать ему не годится, и

потому, уже засыпая, напряженно прислушивался ко всем шорохам и звукам. Но вот тишина глухой волной охватила Кенку, он, все быстрей кружась на померещившейся ему карусели, стал терять собственный вес и исчезать в воздухе.

Он не знал, долго ли продолжалось блаженное забытье, это стремительное кружение на волшебной, украшенной коврами и бубенчиками карусели. Очнувшись будто от неожиданного толчка в спину, он встрепенулся и попытался вглядеться в кромешную мглу. Однако он ничего не увидел. Только лунный серп на секунду показался в разрыве облаков. И снова гулкий ветер вольно гулял по степи да скрипел карагач за крышей амбара.

Крепко стиснув в руках грозное оружие, Кенка вдруг ясно услышал сухой шорох соломы и чьи-то торопливые, вкрадчивые, похожие на короткую перебежку шаги. Кто-то крался к амбару или возился по ту сторону его. Испуганно покосясь на приятеля, Кенка увидел, что Beралла спал, притулившись к стене амбара. Кенке стало так страшно, что он даже не осмелился шепотом окликнуть приятеля. Тотчас же, вскочив на ноги, он взвел тугой курок фузеи, затем, взяв ружье наперевес, замер. И вновь явственно различил хруст соломы и резкий прыжок человека. В это мгновение пунцовый взрыв пламени озарил человеческую фигуру, бросившуюся со всех ног от амбара в степь. И Кенка, не размышляя уже, мгновенно взял тяжелое ружье на прицел, нажал на спуск.

Грохнул выстрел.

Тупой и сильный удар отдачи в плечо опрокинул Кенку. Глаза ему залил багровый свет. Но, очнувшись от мгновенного забытья, Кенка вскочил, отбросил фузею и, сорвав с себя зипунишко, принялся исступленно хлестать им по огненным змейкам, хищно заплясавшим по деревянному остову амбара.

— Горим! Горим, Ералла!— крикнул Кенка.

До́ смерти перепуганный спросонок, Ералла крепко стиснул в руках сорванную с головы казахскую шапку, не зная, что ему делать.

Огонь уже стремительно подбирался под крышу. Тогда Кенка с разбегу бросился на стенку, с кошачьей ловкостью вскарабкался по бревнам вверх и смахнул уже тлеющими полами своего зипунишки злые языки пламени. Но, не удержавшись на стене, Кенка сорвался и камнем грохнулся на землю.

И тогда Ералла, опомнившись, начал тушить сорванным с себя зипуном последние огоньки пламени, плясавшие у нижних венцов амбара. Загасив огонь, Ералла несколько раз обежал вокруг амбара и, убедившись, что пожар потушен, подошел к неподвижно лежавшему на земле Кенке. Склонившись на другом, Ералла легонько потряс его за плечо и вполголоса сказал:

— Вставай, вставай. Пожара больше нет.

Но Кенка не отвечал ни словом, ни движением.

Над степью занимался рассвет. Перегоняя друг друга, мчались раскиданные ночным ветром облака. Оглядевшись вокруг, Ералла ахнул. Шагах в пяти от амбара валялась фуражка. Обомлев от страха, Ералла не мог вымолвить ни слова даже и тогда, когда услышал неясные и отрывистые слова Кенки:

— Ах, Ералла... Беги скорее туда, к дяде Мирону. Беги скорей.

— Ой-бой! Я боюсь его. Он помирал, наверно...— прошептал, прижимаясь к Кенке, Ералла.

— Ах, Ералла... Скорей к дяде Мирону.

— Я боюсь его. Он мертвый,— бормотал Ералла.

— Ты чего?— с трудом приподняв голову, спросил Кенка обезумевшего от страха друга. И, наткнувшись взглядом на фигуру распростертого невдалеке человека, все понял. Забыв о немилосердной боли в плече, Кенка обнял правой рукой прижавшегося к нему Ераллу. С минуту сидели они не двигаясь, ошеломленные случившимся.

— Пропали мы...— прошептал заплетающимся языком Ералла.

— Пропали...— согласился Кенка.

— Давай убежим?— предложил Ералла.

— Куда убежим? Ты с ума сошел. К дяде Мирону надо!..

— В аул надо бежать. Мы его убили. Он мертвый...— бормотал, как в беспамятстве, Ералла. Он вскочил и, забыв о зипуне и потерянной впопыхах шапке, ринулся со всех ног в степь.

Кенка, тоже не помня себя от страха, бросился со всех ног на хутор.

Добежав до дома Мирона Викулыча, Кенка упал пластом вблизи покосившегося мироновского крылечка. Сказать что-нибудь толком о случившемся он уже не мог. Его обожженные руки, покрытые вздувшимися волдырями,

судорожно подрагивали. Сбежавшиеся к мироновскому дому люди бережно подняли стонущего паренька, внесли в горницу и уложили на кровать. Затем, раздев Кенку, облили его, по совету старых людей, квашеным молоком — первым средством от сильных ожогов, и он понемногу затих.

Мирон Викулыч, Аблай и Линка побежали к амбару. Ветер уже успел разметать обгоревшую солому, откатил от амбара пустую флягу из-под керосина. А шагах в пяти от амбара по-прежнему лежал человек. Мирон Викулыч, Аблай, а за ними и Линка осторожно подошли к нему. Он лежал, подогнув колени, точно пытаясь подняться. Лицо его было строгим, окаменевшим. Это был Архип Струков.

16

В полночь Линку разбудил настойчивый стук в дверь. Она выпрыгнула из-под одеяла и спросила:

— Кто там?

— Вставай быстрее. Машину из района везут,— послышался в ответ торопливый охрипший голос.

— Какую машину? Кто это?!

Ответа не последовало. Она различила чьи-то легкие, удаляющиеся шаги. Накинув на плечи материнский сак, Линка выскочила на крыльцо.

Было темно и ветрено. Из степи доносилось конское ржание. Заспанная школьная сторожиха Кланька, выскочив следом за учительницей на крыльцо, долго зевала и, торопливо крестясь, говорила басом:

— А я только засыпать начала, слышу — стучат, черти.

— Да кто же это мог быть?— недоуменно спросила Линка.

— Ну кто, как не Ромка. Он, милая, он. Весь хутор теперь подымет.

— Это почему? Что случилось?

— Да ничего не случилось. Сдуру радуется. Сеялку из райцентра привезли.

Линка, к великому удивлению Кланьки, встрепенулась, как птица, и в калошах, наспех надетых на босые ноги, в старом саке, накинутом на голые плечи, стремглав помчалась к дому Мирона Викулыча.

Во дворе у него толпились почти все члены сельхозартели. В центре двора стояла новая сеялка, привезен-

ная Романом из района. Казахи и русские обступили машину, ощупывали ее сияющие диски и рычаги.

Роман, встретив Линку в воротах, взял ее за руку и увел в горницу Мирона Викулыча. Они сели за стол, и Роман, улыбаясь, говорил:

— Ну, вот мы и с машиной. Теперь — живем. Правильно, дядя Мирон?

— Конешно, будет повеселее,— ответил Мирон Викулыч.

— Можно начинать пахоту в боевой готовности,— сказал Роман.— Завтра получим из кооператива воровину на постромки. Я привез отношение из райцентра.

Затем, потолковав с Мироном Викулычем о текущих делах артели, о сроках выезда в поле, о продовольственном пайке на дни пахоты, Роман пошел проводить Линку до школы. Взяв ее под руку, он молча слушал ее рассказ о событиях, случившихся за время его отсутствия. К великому удивлению Линки, убийство Архипа Струкова, казалось, нисколько не поразило Романа.

— Странно, Роман, ты как будто ждал этого.

— Всего надо ждать...— уклончиво ответил он.

— Неужели они хотели спалить амбар?

— А ты как думаешь?— спросил в свою очередь Роман.— Следствие установит.

Помолчав, Линка сказала:

— Это не так. Ты знаешь, встретилась я вчера с Окатовым. Возвращалась ночью от Мирона Викулыча домой и вот вижу: стоит Епифан в раздумье посреди площади. Ты знаешь, очень волнует меня этот старик. Подумай только — от всего отрекся. Один как перст!

— М-да,— неопределенно протянул Роман.

— И потом, он говорит удивительные слова,— продолжала взволнованно Линка.— Удивительные слова... Словом, у меня сердце сжимается при виде его. Я знаю, что ты не доверяешь ему.

— А ты?— поспешно спросил Роман.

— Я?— переспросила Линка и с запинкой ответила:— А я ему, знаешь ли, верю...

— А мне ты веришь, Линка?— спросил ее опять Роман.

— И тебе верю.

— И мне веришь, и Епифану Окатову веришь?

Линка промолчала. Они подошли к школе и присели на ступеньку крыльца. Минут пять они сидели в глубоком

безмолвии. Роман держал в своей руке ее легкую теплую руку. Он ощущал запах девичьих волос и впервые испытывал непривычное внутреннее волнение. А Линка, вдруг порывисто прижавшись к Роману, сказала:

— Ничего я не понимаю, Роман. Не знаю я, кто виноват и кто прав. Кто же в конце концов Окатовы, Пикулины, Куликовы?

— Наши враги,— глухо проговорил Роман.

— Скорей всего это так,— протянула Линка.— Но почему живет во мне чувство жалости к Епифану?

— Глупая ты...— проговорил уже мягче Роман, все теснее, все крепче прижимая к себе трепетное тело девушки. Порывисто поцеловав ее маленькие руки, сказал, задыхаясь:— Ну, ничего, ничего. Все равно ты у меня хорошая. Все равно...

17

Хоронили Архипа Струкова «с выносом». Весь день скорбно перекликались колокола обомшелой церкви и кружились над хутором встревоженные колокольным звоном галки.

Епифан Окатов целый день шатался по хутору из двора во двор и таинственно спрашивал каждого встречного:

— А вы знаете, кто убил Архипа? Вы думаете, его убили подпаски из колхоза «Интернационал»? Нет.

— А кто же?— удивленно спрашивали Окатова люди.

— Нет, убийца Архипа Струкова незрим. Он ходит здесь, среди нас, как антихрист. Он метит многих из нас железным перстом.

Хуторяне с недоумением сторонились Епифана Окатова.

Он явился в Совет. Там толпились мужики. Милиционер Левкин допрашивал пастуха Аблая.

Епифан Окатов долго крестился в передний пустой угол, а затем, приблизившись к Левкину, заявил:

— Я — свидетель.

— В чем дело?— с притворной строгостью спросил его милиционер.

— Заноси в протокол мои показания. Дело было так: Архип увидел зарево. Мы шли с ним вместе от моего зятя Бутяшкина. Точно. В руках покойного была пустая фляга. Покойник ходил к гражданину Бутяшкину за рыбьим жиром для смазки сыромятных тяжей...

— Совершенно точно. Покойник ко мне приходил с этой флягой,— подтвердил Аристарх Бутяшкин.

— А ты погоди. Не суйся!— прикрикнул на Бутяшкина Левкин.— Пущай сначала даст показания гражданин Окатов. Придет время — тебя допрошу.

Поджав тонкие, бескровные губы, Бутяшкин покорно опустился на лавку. А Епифан Окатов, не поднимая век, продолжал:

— Итак, мы шли с покойником по улице. И подтверждаю факт — в руках у Архипа была пустая фляга.

— Гражданин Окатов,— прервал его Левкин,— не покажете ли вы, почему была вышеупомянутая фляга пустой?

— Потому что рыбьего жира Архип не добыл.

— Так и запишем.

— Мы шли по улице,— продолжал Епифан.— И мы увидели пламя. «Пожар!»— крикнул покойник и бросился со всех ног к амбару. Я, конечно, бежать на слабых своих ногах вслед за ним не мог, а покойник был резвым на ногу. И вот спустя минут десять прогремел роковой выстрел.

— Он врет!— крикнул Аблай.— Он все врет!

— В чем дело? Я тебя не допрашиваю. Молчать!— строго прикрикнул на него милиционер.

— Я отвечаю за свои слова перед богом и властью,— сказал Епифан Окатов.— И прошу не сбивать меня с моих показаний. Я прошу вас, гражданин милиционер, спросить означенного киргиза: почему находится в побегах один из подпасков?

— Потому что он испугался,— ответил Аблай.

— Ага, испугался?! Вы слышите, гражданин милиционер. Вы понимаете, что это значит?

— Я все понял. Кончаю допрос!

— Все ясно,— сказал Епифан Окатов.— Все ясно как божий день. Покойник — случайная жертва.

Покинув Совет, Епифан пошел по улице вслед за Аблаем и вполголоса сказал ему:

— Ты, варнак, подержал бы язык за зубами. Понял?

— Я все понял,— отвечал, не глядя на Епифана, Аблай.— Я все хорошо понял. Я все вижу и все знаю про вас.

— Что же ты можешь знать, выродок?

Но Аблай молчал. Епифан долго шел за Аблаем сле-

дом и, наконец остановившись среди дороги, озадаченно спросил шепотом:

— Что же ты можешь знать про нас, выродок?

Подпаска Ераллу нашли в тридцати пяти километрах от хутора, в ковыльном стогу. Он похудел, почернел и одичал. Привезенный на хутор, Eралла просидел целый день на печке в избе Романа, не отвечая ни на один вопрос. Напрасно пытались с ним разговаривать Роман, Аблай, Линка и Мирон Викулыч. На все их осторожные и пытливые вопросы отвечал Eралла тупым взглядом да едва уловимым покачиванием головы. Ничего не добился от него и старый Койча, нарочно оставленный наедине с подпаском. И только когда Ераллу оставили одного, он мысленно стал разговаривать с Кенкой:

«Где же ты, мой товарищ Кенка, и что теперь сделают с нами? Зачем ты стрелял в Архипа Струкова? Как все было бы хорошо, если бы ты так не сделал. Мы поехали бы с тобой на пашню, стали боронить. Мы были бы с тобой бригадой бороноволоков, как говорил Аблай. Я подарил бы тебе седло. Хорошее седло. Оно мне досталось от отца в наследство. Мне было три года, когда умер мой старый отец. Его убил горбатый и злой бай Турсун за то, что отец загнал на байге гнедого байского иноходца... Ах, Кенка, Кенка! Зачем ты не стрелял мимо?!»

...А Кенка лежал в бреду. И в бреду он тоже часто звал приятеля Ераллу.

Вряд ли бы выжил Кенка, едва ли удалось бы поставить парнишку на ноги, не ухаживай за ним ночью и днем Арсентьевна. Отзывчивая на чужую беду, суетливая, тут она и совсем потеряла покой. Ни на минуту не отлучаясь на первых порах от страдающего паренька, Арсентьевна меняла ему повязки, поила остуженным молоком, успокаивала теплым словом. Вся ушла она в неусыпные заботы, запустив даже невеликое, но требующее хлопот хозяйство. Ни в кухне, ни в горнице не было у нее обычной чистоты и порядка. Ни до чего, кроме Кенки, не доходили трудолюбивые и нетерпеливые руки Арсентьевны, решившей выходить, выручить парня из беды.

Мирон Викулыч, видя неустанную заботу старухи, убежденно говорил:

— Все образуется. Поднимется парень. Выживет.

И Кенка, чувствуя трогательное, участливое отношение к нему четы Карагановых, проникался верой в свое

выздоровление. Материнская забота Арсентьевны вызывала в Кенке прилив бурной нежности к ней. Он готов был назвать Арсентьевну матерью, но стеснялся выразить словами свое чистое чувство. Чуткая, умная Арсентьевна и без Кенкиных слов знала о сыновней его благодарности, и это было самой бесценной и дорогой наградой для нее, вообще души не чаявшей в детях, а в Кенке — в особенности.

На четвертые сутки Кенке стало легче. Он несколько раз садился на кровать, смотрел в окно. Заглянув в крошечное, обсиженное мухами зеркало, висевшее в простенке, Кенка замер: на него смотрело незнакомое, похудевшее, точно обуглившееся лицо.

Мирон Викулыч, застав Кенку на ногах, пробасил:

— Ну как, живем, говоришь, кандидат?

— Живем, дядя Мирон,— виновато ответил Кенка.

— Ну вот и слава богу,— сказал Мирон Викулыч.— Говори спасибо, что надежное средствие нашлось под руками. Квашеное молоко при ожоге — лекарство лучше некуды. Я в детстве тоже ноги ошпарил кипятком. Только этим лекарством и спасся.

Кенка, беспричинно улыбаясь, смотрел на бородатое доброе лицо Мирона Викулыча и радовался тому, что он разговаривает с ним, как со взрослым человеком. Парнишка простил ему даже самое обидное — насмешки и шутки Мирона над Кенкиным кандидатством. «Эй, ты, кандидат!— покрикивал Караганов.— Кандидат еще не настоящий комсомол».

А вечером, когда выздоравливающего пришли проведать Роман, Линка и Аблай со старым Койчей, Кенка рассказал им о той злополучной ночи, которая сделала бывшего батрачонка на голову выше и сильнее в глазах взрослых.

— Я все видел. Я видел, как он подпалил амбар. И тогда я выстрелил,— говорил Кенка.— А потом я стал тушить пожар, мне обожгло руки. Мне было больно, и я упал. Огонь стал тушить Ералла. Потом я плохо помню, что было дальше. Не помню...

Линка не сводила потемневших глаз с обожженного паренька. В ней разгоралось чувство ненависти к Пикулиным, Окатовым и Куликовым. Вчера еще она с робостью прислушивалась к полным темного смысла библейским словам Епифана Окатова, сейчас он казался ей омерзительным и жалким.

18

Целый день около колхозной сеялки толпился народ. Продавец Аристарх Бутяшкин, проходя мимо мироновского двора, бросил, презрительно улыбаясь:

— Тоже мне — машинизированное коллективное хозяйство!.. Смех!

— А как же! Они теперь этой сеялкой весь белый свет засеют. Пропали мы, старые хлеборобы!— вторил ему Силантий Пикулин.

— Это верно. Только неизвестно, кто за этих бесшабашных колхозников кредит государству за подобную машину выплачивать будет. Станет она им, эта машина, в копеечку!— кричал трахомный Анисим.

А между тем бывшие аульные пастухи и батраки из хутора Арлагуля радовались новенькой машине, как дети. Многие в сотый раз любовно ощупывали блестящий корпус сеялки, передвигали ее рычаги и внимательно разглядывали высевающий аппарат. Осмелевший Ералла, вооружившись тряпкой, старательно вытирал диски и загрязнившиеся спицы колес. Каждому из этих еще вчера обездоленных бесправных людей приятно было думать, что они стали хозяевами машины. Выходит, с ними считаются, если доверили такую машину.

Мирон Викулыч принес из амбара новые сыромятные постромки, пропитанные дегтем. Надевая их на новенькие, необтертые вальки сеялки, он, хитро прищурив глаз, сказал:

— Заветные. Для особого случая берег. Вот, слава богу, и пригодились.

В сумерках открылось общее собрание артели. На повестке дня стояли вопросы производственного порядка: об организации полеводческих бригад, о дне выхода в поле, о выборе посевных участков. Бобыль Климушка и Михей Ситохин пришли на собрание навеселе. Они успели обмыть новоприобретенную артельную машину, выпив поллитровку водки, и держали себя на собрании словоохотливо. Роман огласил список бригады плугатарей.

Михей Ситохин протестующе закричал:

— Что же это такое, мужики, делаете? Разве это порядок? У Мирона Викулыча мерин куда справнее моей Гнедухи, а идет в борону.

— Мерин у дяди Мирона начал припадать на заднюю ногу,— возразил ему Роман.

— А почему обе лошади Бектургана третий день в отгуле?— не унимался Михей Ситохин.

— На этих лошадях два раза на станцию сгоняли. Понял?— строго прикрикнул Мирон на Михея.

— Ну, тогда возраженьев не имею,— сказал Ситохин.

На бобыля Климушку и комсомольца Бектургана возлагался присмотр за рабочим скотом.

— Вот это здорово!— заорал появившийся в воротах полупьяный Капитон Норкин.— Был Климушка никем, а в коллективе его в пастухи производят. Ничего себе, высокая вакансия!

И Климушка отрезал:

— В пастухи я не пойду.

— Это почему же?— строго спросил Роман.

— А ты что же, Клим, думал легкую работу в артели найти?— осуждающе спросил Мирон Викулыч.— Нет, брат, записался в артель — работай.

— Работа работой. А вот с вашими киргизами я из одной чашки хлебать в жисть не стану!— запальчиво крикнул Климушка.

На мгновение во дворе воцарилась тишина. Выручил Аблай, крикнув:

— Товарищи! Это не Климушка такую речь говорит. Это за Климушку кулак говорит...

— Вот именно,— поддержал его Роман.

— Правильно. Кулацкие речи!

— Разрешите,— подняв руку, сказал Михей Ситохин.— Хоть мне Климушка и заветный друг, а не одобряю я такие речи. Не своим он голосом тут говорит.

— Правильно!— откликнулись русские и казахи.

«Да, это, конечно, кулацкая работка!— подумал Роман.— Вот с каких козырей пошли: хотят русских с казахами поссорить. Ну, это им не удастся...»

И тут колхозники, перебивая один другого, дружно насели на Климушку:

— Ты что же это, против артели пошел?

— А коли против — нам с тобой не по дороге.

— Да что с ним разговаривать — уволить его из колхоза, да и баста,— гудели колхозники.

Кончилось собрание тем, что члены артели, разгневанные поведением Климушки, выпроводили его со двора.

Этим же вечером, в сумерках, когда Роман возился около своей избы с ремонтом покосившейся калитки, Кли-

мушка робко подошел к нему и, опустившись рядом на дровосек, несмело спросил:

— Ну, как там решили насчет меня, Роман? Небось исключат теперь из артели?

— Небось исключат...— сказал Роман.

— Ага. Стало быть, беднейшее сословие мое ни при чем?— заносчиво спросил Климушка.

Роман помолчал, постучал без нужды заржавленным ключом по закрепленному болту, вытер тыльной частью ладони вспотевший лоб.

— Дело не в беднейшем сословии, дорогой товарищ. А вот кулаков бы поменьше тебе надо слушать да выпивать пореже. Ясно?

— А я что, на твои пирую?— обиделся Климушка.

— Нет, не на мои, дядя Клим. Но я тебе вот что скажу. Хоть ты и в отцы мне годишься, а слово мое послушай, я ведь тебя насквозь вижу. Неплохой в тебе человек пропадает. Наш человек. И обидно мне за тебя, что ты на старости лет в кулацкие подголоски попал. Это я тебе по-свойски скажу, от всего сердца.

Климушка слушал спокойную речь Романа и мысленно соглашался с ним. Он готов был раскаяться в своем поступке не только перед Романом, но перед всеми членами артели.

19

Непогода и мелкие производственные неполадки задерживали день ото дня выезд на пашню. Начали перепадать дожди, и земля в низких местах как следует не просыхала.

На хуторе поговаривали, что год будет засушливым. Страшился этой засухи, ревниво присматриваясь ко всяким недобрым приметам, и Мирон Викулыч. Целые дни — от зари до зари — проводил он теперь в поле, приглядываясь к земле и прикидывая, на каком из участков можно раньше начать весеннюю пахоту.

Но вот наконец наступил долгожданный день. Бригада плугатарей во главе с Михеем Ситохиным выехала на распашку бывшего окатовского участка. Девять однолемешных плугов вышли в степь на рассвете. Тайком от людей торопливо осенив себя крестным знамением, Мирон Викулыч взялся за поручни плуга и первым провел прямую, как луч, борозду. Черные пласты жирного черно-

зема, поднятые остро отточенными лемехами, ложились на выжженных пустошах. На пахоту собрались почти все колхозники, и в первую упряжку от плугатарей не было отбоя. Кони шли бойко и дружно. Сбивался на первых кругах не знающий борозды коренной мерин Бектургана, но и он обошелся, обтянув постромки, и не отставал от старых лошадей, отлично знавших борозду.

Подпасок Кралла подрался с комсомольцем Санькой Ситниковым. Санька против уговора пошел в шестой объезд. Ералла вырвал у него на завороте плуг, но не успел вовремя забросить его в борозду. Пугливая пристяжная кобыла Михея Ситохина рванулась в сторону, а свернувшийся набок плуг потащился по целине вхолостую. Санька вцепился, как беркутенок, в острые плечи Ераллы, ловко смял его под себя и начал бить. Однако Ералла, вывернувшись из-под него, поддал несколько тумаков, и вот, крепко вцепившись друг в друга, ребята катались по меже под озорное улюлюканье артельщиков. С трудом разнятые Аблаем, ребята разошлись в стороны, и каждый из них втайне наревелся вдоволь злыми слезами.

Мирон Викулыч то выравнивал постромки, то регулировал ключом глубину лемехов, то поправлял на ходу сбрую.

Бригада принялась за распашку второго заезда. Куцая кобыленка однолошадника Игната Бурлакова начала уставать. Озлобившийся Егор Клюшкин, выскочив из борозды, хотел сорвать досаду на выбившейся из сил лошади, норовя ударить ее черенком кнута по переносице. Но Роман успел схватить Клюшкина за руку. Народ столпился около Романа. Кобыленка тяжело дышала, а в подведенном ее паху судорожно бились мышцы. Игнат Бурлаков бестолково крутился около лошади, зачем-то заглядывал ей в кривые ветхие зубы и матерился. Игнат знал, что лошадь устала. Но ему стыдно было в этом сознаться. Как же он мог признать свою доморощенную лошадь столь жидкой и малосильной, что она сдала на первой же упряжке?! Совсем недавно хвалился он на собрании артели выносливостью кобылы, а она возьми да и подведи в первый же день пахоты. И Игнат костерил ее на чем свет стоит. А старый Койча, осмотрев кобылицу, просто сказал:

— Пристала.

— Ну, ясно, понятно...— подтвердил Роман.

— Отстрадовалась, хвост набок!

Игнат сбросил с валька постромки, отвел кобылицу в сторону и начал ожесточенно хлестать лошадь по морде концом недоуздка.

— Да ты с ума спятил, дядя Игнат! При чем же тут лошадь?!— закричал Роман и, бросившись к нему, вырвал из рук повод недоуздка и отвел в сторону нервно подрагивающую телом кобылицу.

Кобыленка стояла, жалко поджав куцый хвост, косясь на хозяина испуганно округлившимся глазом. А тот, осатанев от обиды и гнева, заорал на всю степь:

— А ты, Ромка, моему коню хозяин?!

— Так точно. Хозяин,— заявил Роман.

— Мужики! Граждане!— крикнул Игнат.— Вы слыхали? Он хозяин! А мы кто ему — батраки, работники?!

— Факт! Обыкновенное дело!— поддакнул толкавшийся среди артельщиков Филарет Нашатырь.

— Нет, я спрашиваю тебя: мы батраки тебе? — наступал Игнат на Романа.

— Ох, какой ты крутой, дядя Игнат. Ох, какой ты горячий! При чем тут батрак? При чем тут хозяин?— улыбаясь, сказал Аблай, пробуя угомонить раскипятившегося Бурлакова.

— Ну ты, азиат, лучше помолчи. Ты тут пока ничем не пострадал. Твоего скота в артели пока не видно,— огрызнулся Игнат.

Толпа вокруг понуро стоявшей поджарой кобылы Игната Бурлакова все росла. С дороги сбегались на полосу случайно проезжавшие мимо хуторяне. На меже стоял подбочась Силантий Пикулин и трясся от злорадного смеха. Откуда-то появился с двустволкой на плече Аристарх Бутяшкин.

А Игнат метался среди толпы и хрипло орал:

— Моя воля! Моя! Захочу — убью и в ответе ни перед кем не буду. А то, видишь, хозяева нашлись! Больно много вашего брата, хозяев, на чужую животину.

— А ты думал как, дядя Игнат? Это правильно, много хозяев. Все мы хозяева,— сказал Роман.

— Правильно! Друс!— хором поддержали Романа русские и казахи.

Михей Ситохин кричал:

— Что такое конь! Конь — он первейший союзник, граждане. Без коня во дворе жильем не пахнет. Куда мы денемся без коня? Никуда. А за конем догляд нужен справедливый, я к чему это говорю?

— Вот именно — к чему?— улыбаясь, спросил Роман.

— Я к тому говорю, что и в артели нам нужно дружно за лошадь стоять. Чужого коня обижать не смей и своего также.

— Так точно. Правильная твоя речь, дядя Михей,— сказал Роман.

— Правильно! Друс!— опять хором подтвердили русские и казахи.

Старый Койча, знаток конских кровей и лекарь, деловито осмотрев кобылу, сказал, что ее следует отправить в отгульный табун дня на три на подножный корм. Роман приказал Ералле забрать кобылицу и отвести ее в табун.

Ералла, взяв из рук старого Койчи повод недоуздка, провел кобылу мимо Игната и сказал ему, улыбаясь:

— На курорт пошлем, дядя Игнат, твою кобылу...

Обескураженный Игнат отошел в сторону. Поразмыслив, он пришел к выводу, что обижаться ему не на что. И в полдень, когда колхозные пахари, закончив первую упряжку, ушли с массива на стан, Игнат долго сидел на меже, любуясь вспаханным полем. Вспахано было много. Прикинув на глаз, Игнат решил, что за упряжку бригада Михея Ситохина подняла полтора гектара. Стало быть, за две упряжки в день эта бригада вспашет добрых три десятины. А ведь кроме этой бригады в колхозе еще две — бригада плугатарей Егора Клюшкина и бригада Аблая. И Игнат ахнул от удивления, представив, какую огромную площадь могут поднять они артелью за время весеннего сева. Выходило, что на каждый артельный двор падало около двенадцати десятин. А ведь ни один из членов этой семьи, живя единолично, не сеял прежде больше трех десятин, а иногда и борозды своей не видели. «Нет, стало быть, есть расчет в артельном труде. Есть расчет»,— решил Игнат, не отрывая глаз от вспаханного, черного, как вороново крыло, колхозного поля.

20

В самый разгар сева неожиданно появился на хуторе вернувшийся с действительной службы в армии Иннокентий Окатов. По его словам, отпущен он был досрочно из-за ревматизма ног.

После возвращения с военной службы выглядел Иннокентий еще стройнее, собранней, выше, и бойкие хуторские девки на выданье заглядывались на него. В синих

кавалерийских галифе, в добротном, ладно сидевшем на нем каштановом френче, в малиновой фуражке, заломленной на висок, он выглядел молодцом.

По случаю неожиданного возвращения Иннокентия в доме Куликовых зашумела пирушка. Продавец Аристарх Бутяшкин танцевал с женой Лушей тустеп. А Епифан Окатов напялил на себя вышитую по вороту гарусом косоворотку, старинные прасольские сапоги с гамбургскими передами, и глаза его засветились былым огнем, озорным и ехидным. Не по годам подвижной и деятельный, он торжественно обносил гостей водкой, разливал по граненым бокалам пиво и то и дело твердил:

— А сынок-то у меня, Иннокентий Епифанович, видите — картинка.

Иннокентий не пил. Засунув руки в карманы галифе, он важно бродил по хутору, приглядывался к девкам, держал голову гордо и строго. Столкнувшись около Совета с группой односельчан, Иннокентий сразу же бойко и ловко вступил в разговор о колхозе. Прислушиваясь к шумному спору мужиков о колхозном труде, Иннокентий сказал, небрежно играя черемуховой веткой:

— Ну, от карликовых колхозов, дорогие сограждане, пользы мало. Против карликовых колхозов вся наша партия и рабочий класс. Мы не против колхозов. Наоборот. Нам нужны настоящие коллективные хозяйства — в них вся сила. А что вот, к примеру, колхоз «Интернационал»? Ну какой это колхоз? Колхоз без трактора! Да разве это не насмешка над нашей Советской властью?

— Факт!— подтвердил Филарет Нашатырь.— Не колхоз — умора. У них на первой борозде кони попадали.

— У Игната Бурлакова кобыленка уже сдыхает. А до колхоза какой ишо конь-то был!— подал голос Силантий Пикулин.

— Вот видите, дорогие сограждане, какой толк из карликового колхоза,— сказал Иннокентий Окатов.— Какой же это, с позволения сказать, коллективный сектор, если в нем ни тягла, ни машин...

— Ну, они при машине. Сеялку заимели. Всю Европу перепашут!— издевательски хихикнул Силантий Пикулин.

— Факт! Обыкновенное дело!— подтвердил Филарет Нашатырь.

— Да, дорогие сограждане. Подобные карликовые ар-

тели — позор для нашей Советской власти,— заключил Иннокентий, уходя от ошеломленных мужиков.

Силантий Пикулин, провожая глазами рослую и статную фигуру Иннокентия, сказал:

— Слыхали! Умные речи человек говорит. Это тебе не Ромке с Аблайкой чета!

— Факт,— подтвердил Нашатырь.

— У этого башка на плечах. Он, брат, все насквозь видит. Недаром Красную Армию досрочно прошел. Нам только покрепче за него обеими руками держаться надо,— продолжал Силантий Пикулин.

Линка сидит у раскрытого окна и переписывает наряды работ по бригаде Аблая. Увидев ее, Иннокентий замедляет шаг, останавливается и, молодцевато стукнув каблуками, виновато улыбаясь, говорит:

— Извиняйте, ежели помешал...

Слегка запрокинув голову, Линка внимательно смотрит на Иннокентия.

— Нет, отчего же? Пожалуйста,— говорит она с едва уловимой улыбкой.

Ловко перепрыгнув через обветшалую изгородь палисадника, Иннокентий подходит бравым шагом к окну и, протянув Линке руку, вполголоса называет свое имя. Небрежно облокотясь на резной наличник и еще небрежнее играя черемуховой веткой, он говорит:

— Могила. Тошная жизнь для культурного человека в данной местности. Вернувшись из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я увидел: все здесь — как было. Все по старинке. Глухо. Темно. Бескультурно. И как же вы, извиняйте, выносите данную жизнь?

Линка вздыхает, слабо улыбаясь в ответ.

В степи за хутором кто-то пел:

Когда будешь большая,
Отдадут тебя замуж
В деревню большую,
В деревню глухую.
Мужики там дерутся,
Топорами секутся...
Деревня большая,
Деревня глухая.

— Слышите, какие жуткие песни поются?— спрашивает Иннокентий.

— Это хорошая песня. Я знаю ее. Правда, немножко страшная...— отзывается Линка.

— Нет, знаете ли,— говорит Иннокентий,— больше

подобной жизни я выносить не могу. Пора взяться здесь за настоящую культуру.

— Да, вы правы. В этом смысле работы тут много.

— Уйма. Прямо скажем — непочатый край. А я человек крутой на руку. Я даже от родного папаши отрекся.

— Навсегда?— спрашивает Линка, пытливо приглядываясь к надменно строгому и красивому лицу Иннокентия.

— Странный вопрос. Конечно, вчистую.

— Интересно, что же заставило вас сделать такой шаг?

— Абсолютное непонимание моим папашей фактических интересов жизни. Я отрекся от моего отца и ушел в ряды Красной Армии.

— Что же он сделал вам плохого?

— Это мой классовый враг. Он хотел утащить меня за собой в индивидуальное болото. Я всю жизнь был против его позорного ремесла. Я презирал его прасольство. Он торговал баранами и хотел заставить меня считать его нетрудовые доходы.

— Да, вы, должно быть, решительный человек,— говорит вполголоса Линка, незаметно вытягивая из рук Иннокентия черемуховую ветку.

— Да, я очень решительный человек...— отвечает Иннокентий, изумленно глядя на Линку, взявшую из его рук ветку.

— Я это чувствую,— говорит Линка.

— Я очень решительный человек,— повторяет Иннокентий с наигранной строгостью.— Это же я надел на папашу суму нищего. Это я настоял на передаче дома под школу. Дом-то выстроен на его нетрудовые доходы. И я настоял пожертвовать этот дом на вечное благо общества.

«Да, смелый и сильный это, должно быть, человек!»— подумала Линка и спросила:

— Позвольте, неужели вы так ничего нового не видите здесь?

— Абсолютно. Как пить дать — ничего-с...— отвечает со вздохом Иннокентий Окатов, раскуривая папиросу.

— А колхоз, например? Разве это не новость?— осторожно спрашивает Линка.

— Колхоз?!— брезгливо улыбаясь, переспрашивает Иннокентий.

Но Линка начинает с увлечением рассказывать Иннокентию о колхозе «Интернационал». Сидя на подоконнике, обхватив руками колени и чуть покачиваясь, она говорит о неполадках, о том, как трудно сколачивать артель из казахской и русской бедноты. Затем, развернув перед Иннокентием производственный план артели, она начала уверять его, что все будет прекрасно, что введут сдельщину и это поможет более совершенной организации труда и закрепит в артели трудовую дисциплину...

Иннокентий молча выслушивает ее и замечает:

— Все это прекрасно, сударыня. Только, извиняйте за выражение, ведь вы имеете дело не с колхозом, а с карликом. Какой же это колхоз, скажите на милость, если в нем ни машин, ни тягла нет?

— Мы уже получили сеялку. По производственному плану мы думаем довести посевную площадь до...

— Я извиняюсь,— перебивает ее Иннокентий.— Что такое сеялка? И кто собрался в этом карлике? Я знаю членов этой артели наперечет, и я со всей красноармейской совестью заявляю: это лодыри.

Линка удивленно смотрит на помрачневшее лицо Иннокентия. Иннокентий, приблизившись к Линке, продолжает говорить слегка приглушенным, мягко звучащим голосом:

— Сызмальства я мечтал о новой жизни. Мои помыслы были таковы: настоящих людей согнать в коммуну, а лодырей, вроде бобыля Климушки, выселить на необитаемый остров Мадагаскар.

— Послушайте, вы очень много читаете?— неожиданно спрашивает Иннокентия Линка.

— Про что?

— Ну, вообще...

— Да, я много читал и люблю сочинения о красивой жизни...— бойко отвечает Иннокентий и тут же сводит разговор на погоду, на приближающийся вечер, на ущербную луну...

Наконец Иннокентий уходит, вежливо пожав ее трепетную и теплую руку.

А Линка еще долго сидит на подоконнике, погруженная в думы. Странно, наговорил этот человек много такого, что было отвергнуто ею, а тем не менее слова его как-то взволновали, встревожили ее. В самом деле, может быть, и прав Иннокентий. Какой же это колхоз, если он объединил одни маломощные хозяйства? И выйдет ли

толк в колхозе из бобыля Климушки — незадачливого хозяина, хвастуна и гуляки?

В воображении погруженной в раздумье Линки возникает то образ всегда возбужденного, порывистого в движениях Романа, то облик спокойного и рассудительного Мирона Викулыча, то фигура непоседливого Аблая,— и вот, странное дело, все эти люди кажутся ей какими-то другими. Но какими именно, она не может сказать. Запутавшись в противоречивых суждениях, она говорит вполголоса:

— Ах, господи, какая я дура! Ничего еще толком, наверное, сама не понимаю. Ни черта...

Соскочив с подоконника, она наспех прибирает в комнате и зажигает лампу. Затем вновь садится за переписку нарядов, и первое, что бросается ей в глаза, это размашистая, грубоватая подпись Романа. Неожиданно нахлынули сомнения. «Как же это случилось, что я вдруг отдала себя, беспечную, наивную Линку, в крепкие, грубые руки этого парня?» Она не нашла в своем сердце прямого и ясного ответа на этот вопрос. И, может быть, потому дала полную волю горячим, обильно хлынувшим из глаз слезам...

Наплакавшись, она вновь деловито принялась за работу. Закончила списки, аккуратно подшила в тощую папку колхозных дел какие-то циркуляры из районного центра и, погасив огонь, подошла к окну.

Над хутором стоял высокий и тонкий ущербный месяц. Было слышно, как где-то перекликались подростки. Линка узнала по голосам двух неразлучных друзей — Ераллу и Кенку. И ее опять потянуло туда, к Роману и ребятам, к Мирону Викулычу, которые опять казались ей родной и привычной семьей.

Вдруг сквозь неясный дремотный шелест тополей в палисаднике послышались далекие, такие же полусонные и неясные звуки гармони. Они — эти звуки — напомнили Линке печальный голос флейты, которую нередко слышала по вечерам она в годы своей учебы в педагогическом техникуме. И сложное чувство душевного просветления, грусти и неопределенных желаний охватило ее, когда она, прислушиваясь к вкрадчиво-нежному лепету отзывчивых ладов далекой гармоники, вдруг уловила до боли знакомую мелодию старинного вальса. Так мог играть только один человек на свете — Роман!

Лошади выбивались из сил. Надрывая костлявые горбы, все в белой пене, еле-еле тянули они плуги. Нелегко было поднимать полувековую залежь предназначенного под выпас окатовского участка. Неподатливо жесткой была земля, густо проросшая ковыльной щеткой. Пахарей, с трудом державшихся за поручни плугов, бросало из стороны в сторону, точно ходуном ходила под ними земля. Измордованные кони обрывали постромки, сбивались с борозд. И пахота шла не так стройно и ладно, как в первые дни,— с большими огрехами. Хоть бросай вожжи, садись на межу да плачь!

Сюда, на неподатливый окатовский участок, стянули теперь три бригады. Но уж на пятый день полевых работ пришлось отпустить в отгул трех пристяжных лошадей. Даже паре самых упитанных и добротных меринов Мирона Викулыча не под силу было тянуть однолемешный плуг — такой твердой была залежавшаяся земля. Волей-неволей пришлось сократить шесть плугов и пахать тройками. Но и это не спасало. Выработка на один плуг за упряжку снизилась против прежних дней почти наполовину. А дни стояли сухие, ветреные, горячие.

Мирон Викулыч с утра до вечерней зари не уходил с пашни. Вооруженный деревянным циркулем, он вымерял новые полосы и заезды, таскал на горбу вязанки соломы, выжигая окрестные пустоши. Осунувшийся, в выцветшей от грязи и солнца рубахе, в опорках, суетился он то на полосе, то на стане, строго покрикивая на плугатарей и на зазевавшихся бороноволоков. Никто не знал, когда он засыпал и в какую пору просыпался. Проходил день, полный беготни, беспокойства, а вечером Мирон Викулыч, когда замертво спали утомленные дневными работами артельщики, долго корпел над починкой сбруи, перетачивал притупившиеся лемеха. Утром, чуть свет, он был уже вновь на ногах. Весело покрикивая, Викулыч поднимал шутками и прибаутками свое разноязыкое становище, и народ, ободренный его словом, проворно принимался за нелегкую работу.

Роман шестые сутки не отходил от сеялки. Упрямо шагая за нею, он пытливо следил за правильной регулировкой высевающего аппарата, больше всего боясь просевов или перегущенной подачи зерна. Систематическое недосыпание и это бесконечное кружение за машиной по

взрыхленной пашне — все это теперь сказывалось на нем. По окончании вечерней упряжки он с трудом передвигал непослушные ноги. Как и Мирон Викулыч, Роман похудел за эти дни, почернел в лице и осунулся. За ужином деревянная ложка валилась из его рук. Но зато какое счастье, какое блаженство испытывал он, засыпая после трудового дня в кругу утомленных ребят, вблизи костра, под открытым небом!

Сроки весеннего сева подходили к концу, а работы у артели оставалось еще немало. И Мирон Викулыч совместно с Романом и Аблаем ломали по вечерам головы над тем, каким образом вернее и проще преодолеть эти великие трудности. Они без конца перекраивали предварительные производственные наметки, перераспределяли инвентарь по бригадам. Приходилось мобилизовывать последние силы, всю смекалку и опыт природных земледельцев, для того чтобы уложиться с планом сева в жесткие сроки, не попасть в лапы засухи, успеть, пока еще не вытянуло солнце последние жизненные соки земли, высеять весь семенной запас. Но всем им было ясно: что ни гадай, а на одних подсчетах и перераспределении тягла не отыграться. Именно в тягле и была вся беда.

С каждым днем сдавали замордованные кони. Было ясно, что через два-три дня на выбившихся из сил лошадях невозможно будет вспахать одним плугом и загона. Роман, Мирон Викулыч и все остальные хозяйственные и рассудительные члены артели думали: «Хорошо бы поставить коней на хлебный подкорм. Но легко это сказать — поставить. Ежели лошадям мучную мешанину давать, то ведь народу придется зубы положить на полку. Правда, каждый хозяин, доведись это дело до единоличного хозяйства, в такую пору лучше бы сам недоел, чем коня голодным оставил. Но свое хозяйство — одно дело. А артель — другое...»— рассуждали мужики, однако ни один из них не решился высказать этих мыслей вслух.

Однажды в полдень — это было уже к концу упряжки — упала в борозде, запутавшись в воровинных постромках, сивая кобыленка пастуха Клюшкина. И Егор Клюшкин, до сего самый тихий и исполнительный член артели, рассвирепев, заорал:

— Что же это такое, ребята? До каких пор мы будем здесь коней мордовать? Всю матушку-степь не засеешь. И так, слава богу, оторвали — по три десятины на двор

приходится. Вполне и этого на первых порах хватит. А то погубим последних коняшек, а потом от своих же хлебов снова к кулакам в батраки пойдем!

— Это ты правильно, парень, говоришь,— поддержал Клюшкина однолошадник Игнат Бурлаков.

— Дело, дело, парень, толкуешь,— загалдели мужики.

— Шутка ли, на конях двести га такой земли поднять! Конь — не трактор. Ты нам трактор подай, вот тогда с нас и спрашивай!— запальчиво кричал Игнат.

— Наше правление за другими артелями гонится. Да разве нам за теми артелями угнаться! Там народ собрался с машинами, а у нас не только коней кормить, а и самим жрать нечего!— колотя кулаками в тощую грудь, кричал Проня Скориков.

— Правильно. Мы раньше по полдесятины на душу имели — и ничего, жили. Нам своего хватало.

— Мы не кулаки — за большим гнаться.

— Лучше бы остаток семян на муку размолоть да народ поддержать. А то до страды-то не только кони, мы сами ноги протянем.

К борозде, где лежала пластом обессиленная кобыленка пастуха Клюшкина, сбежалась уже вся бригада. Но вот в толпе появился Роман, и галдеж тотчас же прекратился. Люди, окружив председателя, хмуро, исподлобья смотрели на него, видимо ожидая решающего слова.

Но и Роман тоже заговорил не сразу. Нелегко было, видно, и ему смотреть на павшую в борозде лошадь. У него был усталый, измученный вид путника, только что преодолевшего дальнюю, трудную дорогу. Он строго спросил, обращаясь к Егору Клюшкину:

— Это ты тут опять митингуешь, орел?

— При чем тут я? Чего это ты на меня-то с бухты-барахты набросился?— заносчиво откликнулся Клюшкин.

— Не Егора — народ надо спрашивать,— угрюмо проговорил Проня Скориков.

— Спрошу кого надо. Всех спрошу...— глухим, срывающимся от гнева голосом заговорил Роман.— Что ж, товарищи колхозники, может, это самое, хватит? Отстрадовались, так сказать? Отсеялись? По домам, что ли? На печку? Оно, конешно, и хорошо на печи пахать, только заворачивать круто!

Кто-то из парней хихикнул в ответ на ехидное присловье Романа. Но мужики угрюмо молчали.

— Я вас, товарищи колхозники, спрашиваю,— сказал Роман.— Может, прекратим посевную? Давайте проголосуем. Кто против сева — поднимай руки!

Люди стояли не шелохнувшись. Роман ждал.

Наконец Егор Клюшкин глухо пробубнил:

— Не люди — кони против!

— Животные против голосуют,— подхватил Игнат Бурлаков.— И у меня вон мой Воронко совсем обезножел...

— И моя лошадка совсем худой стала,— сказал Бектурган.— Она совсем у меня плохо ходит. Совсем худая. Кабы хлеб кушала, веселая бы ходила...

— Хлеб! Хлеб!— передразнил его Игнат.— Скоро и самим жрать будет нечего, не только лошадей кормить.

— Самим можно потерпеть маленько. Лошадь терпеть не будет,— сказал Бектурган.

— Кому как,— подал голос Проня.— Кому как, граждане мужики. Вот, например, казахи — они перетерпят. Они к уразе — посту — сызмальства привышны. Они могут и на одном кобыльем молоке пробиться. А нам, мужикам, без хлеба невмоготу.

— Это ты дело говоришь,— поддержал его Бурлаков.— А потом, ведь степные кони куда слабее наших. Их и хлебом-то кормить нет расчета. На казахскую лошадь и пуда муки в день не хватит, а толку на грош.

С соседней полосы нагрянула молодежь из комсомольской бригады. Ребята, узнав в чем дело, дружно закричали:

— Даешь сев!

— Даешь хлеб лошадям!

— Правильно! Пора и о наших конях подумать, если выполнить надо...

— Конечно, лошадей на паек надо ставить. Обыкновенное дело...

— А где ты им возьмешь этот паек? Где?!— хором закричали мужики.

— Можно найти, если хорошо подумать,— ответил Роман.

— Правильно. Правильно, Роман,— дружно поддержали его комсомольцы.— Разделить производственный хлеб пополам: половину на людей, половину на подкормку тягла, и вопрос исчерпан.

И мужики, невольно прислушавшись к резонным со-

ветам комсомольцев, притихли. Каждый из них знал, что права была молодежь. Только бобыль Климушка не сдавался, не хотел покориться единодушной воле артели. Ткнув в бок Кенку, Климушка крикнул:

— А ты хочешь, чтоб я половину пайка твоей худоногой животине скормил? Ну, извиняйте меня на этом,— не согласен. Я свои пайки никому не отдам!

— Отдашь, дядя Клим. Отдашь, если собрание постановит,— убежденно сказал Кенка.

— Нет, не отдам. Не отдам, хоть убей!— запальчиво кричал Климушка.

— Отдашь, гражданин!

— Куда ты попрешь против воли артели?— сказал Роман. И, обратившись к артельщикам, проговорил:— Словом, я ставлю этот вопрос, товарищи, на голосование. Кто за то, чтобы выделить часть продовольственного хлеба на подкормку артельных коней, прошу поднять руки.

Подняв свою руку, Роман увидел, как взметнулись руки комсомольцев, а затем один за другим начали поднимать руки и остальные мужики.

Воздержался от голосования Климушка. Но и он сказал вполголоса Роману:

— Что ж, Роман, ежели все люди за, то и я против не буду. Запиши меня тоже согласным...

— Давно бы так, дядя Клим...— сказал Роман, примирительно улыбаясь.

А вечером, примостившись около костра на полевом стане, Роман оформлял протокол стихийно возникшего артельного собрания.

«Слушали:

О выполнении посевного плана на все сто и выделении хлебного пайка трудовым коням «Интернационала».

Постановили:

Выполнить на все сто. Для чего единогласно выделить всеобщим трудовым коням хлебный паек и урезать норму для каждого едока, памятуя, что без лошадей мы срежемся и пропащее тогда наше дело. Единогласно постановили мешать коням крутую мешанину на подлинной муке, что и поручается гражданину Мирону Викулычу. Поручить таковому гражданину крепко следить за кормежкой коней означенным фуражным продовольствием».

После многократных и угрожающе настойчивых предписаний начальства Роман вынужден был выехать в район. А в день его отъезда вдруг занемог и слег прямо на меже Мирон Викулыч. Болезнь подсекла его на ходу. Он долго не поддавался хвори, стараясь преодолеть недомогание, томившее его дня три кряду. Но на четвертый день, почувствовав сильный озноб, он прилег на меже и уже не в силах был сам подняться. Потом, в бреду, он беспрестанно бормотал о вальках и постромках, о плугах и сеялках, понося то плугатарей, то бороноволоков.

Перед выездом в район Роман, оседлав диковатого колхозного жеребца, решил еще раз объехать производственные участки, дать наказы бригадирам и передать Аблаю полномочия Мирона Викулыча.

Сдерживая озорного и капризного конька, Роман ехал межой вдоль вспаханного массива. Только теперь, сидя в седле, почувствовал он большую усталость во всем теле и тупую боль в стертых ногах. Слегка откинувшись корпусом на заднюю луку седла, он, умиротворенный непривычным покоем, жарким блеском полдневного солнца, полудремал. Впадая в короткое забытье, он на секунду забыл обо всем на свете. Нечеловеческая усталость последних дней начала сказываться. Проезжая мимо массива, на котором работала вторая бригада, Роман вдруг услышал, как глуховатый, простуженный голос сказал:

— Нашел тоже время для верховой прогулки!

— Как же — хозяин!— насмешливо прозвучал другой голос.— Тут работай, пот проливай, а они на вершной разгуливают.

— Комиссаров нынче развелось — ужас!

Роман, резко повернув жеребчика, наметом поскакал через пустошное поле. Перерезав пустошь, он наткнулся на Климушку. Климушка лежал на меже навзничь, вольно раскинув руки. А чуть поодаль от него мирно дремали в запряжках кони. Роман, оглядевшись, увидел, что в стороне от Климушки беспечно валялись на меже еще несколько мужиков. Резко осадив жеребца, Роман выпрямился в седле и, слегка привстав на стременах, с недоумением спросил:

— В чем дело? Почему не пашете?

Мужики молчали. Климушка, лениво приподнявшись на локтях, посмотрел на Романа равнодушными, сонными

глазами, потом почесался и, снова блаженно растягиваясь на траве, ответил:

— Не видишь — почему? Отдыхаем.

— Это от каких же таких трудов, спрашивается?

— От тех самых. От праведных...— откликнулся сквозь ленивый зевок Климушка.

Нарочито-равнодушный, издевательский тон Климушки взбесил Романа, и он раздраженно заметил:

— Что-то я не вижу трудов-то ваших праведных. А солнце-то ведь еще далеко не на обеде!

— Это так точно — до обеда еще порядочно...— согласился один из мужиков, нехотя приподнимаясь с межи.

Роман, спешившись, зло скомкал в руках повод и, не находя больше слов, вплотную подошел к привставшему с межи Климушке. Поймав на себе злой, требовательный взгляд председателя, Климушка беспокойно заерзал, делая вид, что ищет что-то. А затем, не выдержав недоброго председательского взгляда, он вскочил как ужаленный и, ни слова не говоря больше, деловито направился к плугу. Следом за Климушкой — старшим в этой бригаде пахарей — поплелись к своим плугам и все остальные.

— Вот дьяволы-то!— вслух выругался Роман. И, не сводя строгих глаз с плугатарей, удалявшихся от него, подумал: «И смех и грех с ними! Как малые дети. Шагу не шагнут без догляду. Что же это такое? Неужели они тут без меня и без Мирона Викулыча совсем выпрягутся?»

Подождав, пока пахари, разобрав спутанные постромки и вожжи, снова начали пахоту, Роман побрел прочь от них, ведя за собой в поводу озорного своего конька. Он шел по меже, охваченный глубоким раздумьем о судьбе новой, только что зарождавшейся сельхозартели. Нелегко давалось становление артельного хозяйства, и Роман понимал, какие немалые трудности ждут его как вожака и организатора в будущем, там — впереди. До сих пор, как-то не замечая значения личной роли в создании этого коллектива, Роман видел только одно: два взаимно непримиримых, взаимно враждебных начала, расколовших с виду мирный хутор на два воинственно настроенных лагеря. С одной стороны была маленькая интернациональная артель из батраков, безлошадных мужиков, степных пастухов и подпасков. С другой — хорошо сплоченные, волевые, единые в своей черной злобе и ненависти хуторские воротилы, матерые прасолы и хлеботорговцы. Роман хорошо понимал, где были друзья, где — враги.

И только об одном он не задумывался — о том, что и в лагере сплотившейся в невеликой сельхозартели бесправной и обездоленной бедноты были, по сути дела, разные по сознанию, по навыкам, по характеру люди. Одни от природы трудолюбивые, другие — с ленцой. Одни по наитию верили в силу артельной жизни, другие не очень охотно сживались с новизной и, больше того, побаивались ее.

Но сегодняшний случай открыл Роману глаза на нечто новое, чего он не заметил прежде. Впервые задумавшись о своей роли в коллективе, он понял всю глубину личной ответственности, к которой обязывало его положение вожака и организатора людей, смело пошедших за ним к новой жизни. Он отвечал не только за исход смертельно-жестокой борьбы с умным, сильным врагом, но и за судьбу любого из доверившихся ему людей молодой артели.

Все эти дни, упрямо шагая по зыбким, взрыхленным пашням за сеялкой, обливаясь соленым потом, изнемогая от боли в стертых до крови ногах, Роман держал в таком же трудовом напряжении и весь коллектив.

«Нет, личный пример — великая сила в общем и целом...— думал Роман.— И пока ты вместе с народом, все будет хорошо. Зорко смотрят они за мной. Правильно делают. И нельзя мне сдавать, отступаться. Нельзя!»

После долгих раздумий и колебаний Роман пришел к выводу, что надо отложить поездку в райцентр, собрать комсомольцев, поделиться с ними заботами, обстоятельно и строго продумать единый руководящий план действий, план, который выдвинула перед ними жизнь и без которого Роман уже не мыслил дальнейшего укрепления и роста артели.

Синие, акварельно-нежные сумерки.

Роман вернулся к полевому стану следом за сеялкой, у которой в его отсутствие кто-то успел выкрутить из гнезда один посевной рукав. Вслед за Романом из степи потянулись люди, пропитанные запахами земли и ветра.

Под бричкой, накрывшись зипуном, глухо стонал сквозь стиснутые зубы измотанный приступом лихорадки Мирон Викулыч.

Народ, возвращавшийся к стану с полей, был угрюм и несловоохотлив. Угрюм и несловоохотлив был и Роман. Вооружившись молотком и зубилом, он с ходу взялся за ремонт сеялки. Долго возился он, закрепляя вырванный

из гнезда посевной рукав, и, ударив с глухим остервенением молотком по зубилу, промахнулся, сбив себе ноготь. Стиснув от боли зубы, он все-таки закрепил рукав и отрегулировал подъемный рычаг. Пока он возился с ремонтом поврежденной кем-то сеялки, люди, наспех поужинав чем бог послал, повалившись вповалку вокруг костра, тотчас же заснули тем мгновенным, мертвецким сном, каким могут спать под открытым небом только здоровые, предельно усталые люди.

Не спал только один кривоглазый козлинобородый мужичонка, по бабьему прозвищу — Луня. Грызя кусок черствого калача, он запивал еду теплой болотной водой.

Не без удивления присмотревшись к помрачневшему Луне, Роман сказал:

— Хлеб да соль, старина! Ты что же это — постуешь, что ли? Почему ужинаешь всухомятку, один?

Луня ответил не сразу. Исподлобья оглядел свой черствый кусок и только потом пробормотал глухо:

— А что ж будешь делать, как не постовать, ежели колхоз епитимью на нашего брата наложил...

— Не пойму, что ты говоришь,— сказал с раздражением Роман.— Какая епитимья? Ведь у нас как будто продукты для артельного питания были...

— Были, да сплыли,— прозвучал из темноты ехидный старческий голос.

— Напитали сегодня — ног не потащишь,— добавил другой, более молодой голос.

— Это правильно,— подтвердил Луня.— Нынче суп с топором, завтра щи со щепкой...

— Черт знает что вы городите! Ведь у нас и картошка и рыба налицо... Ничего я не понимаю,—еще более раздраженно проговорил Роман.

— Сам кушай картошку без соли, если лихо не станет!

— Ну, сам он не станет. Знаешь, начальству карась — не харч, картошка — не блюдо.

— Факт. Начальство на блинах перебьется. Обыкновенное дело.

Школьная сторожиха Кланька, исполняющая обязанности артельной поварихи, безмятежно спала под телегой, скрестив на полной груди здоровенные руки. Разбуженная Романом, она долго протирала заплывшие глаза, а затем сбивчиво рассказала ему, как ни с того ни с сего вдруг расстроилось, рухнуло с таким трудом налаженное на полевом стане общественное питание артели. Ро-

ман понял только одно — вчера вечером на стане произошло целое побоище. За ужином не хватило соли. Посылать за солью на хутор было уже поздно. И вот Кланька решила в отсутствие Луни самовольно взять две пригоршни соли из его незакрытого сундука. Однако случилось так, что невесть откуда взявшийся Луня застиг артельную повариху у раскрытого сундучка.

— И назови он тут меня, варнак, воровкой!— рокотал негодующий Кланькин бас.— Ну, слово за слово, зуб за зуб, загорелся сыр-бор. Знаешь, какой народ мужики. Ни с того ни с сего озверели. Орут. Дескать, прав тебе не дано чужой солью распоряжаться. Я туды, я сюды. Я им резоню в ответ: ешьте, черт бы вас не видал, малосольную похлебку! Пошла бы я от греха подальше прочь. Ан, гляжу, они на меня, на такую нервную, с кулаками!..

— Кто с кулаками?

— Первый он — Луня,— презрительно сплюнув в сторону Луни, гневно проговорила, передернув могучими плечами, Кланька.— Ну да ведь я не из робких. Налетел он на меня, а я его — в замок да об пол! Он у меня и глаза в поднебесье увел. Пусть теперь сами управляются. Вот мой хомут и дуга, а я им, варнакам, больше не слуга!

Хорошо зная характер столь же сварливой, сколь и отходчивой поварихи, Роман понимал, что сейчас бесполезно разубеждать или уговаривать ее. «Утро вечера мудренее»,— решил он, отходя от раскипятившейся Кланьки.

Был поздний час задумчиво-тихого весеннего вечера. Богатырский сон царил над полевым станом бригады. Слабо мерцали в сиреневых сумерках угасающие костры. Роман долго еще бродил по объятому сном полевому стану. Вот он подобрал и положил на место брошенный каким-то беспечным пахарем разводной ключ. Потом связал разорванный повод, ловко срастил обрывки веревочных постромок. Затем, оглядев хозяйским взглядом весь посевной инвентарь и сбрую, он неслышно подошел к глухо стонавшему под бричкой Мирону Викулычу и долго стоял над ним.

Далеко на хуторе кричали петухи. Над степью плыл горьковатый запах далеких аульных кизячных костров. И вспомнил Роман в эту минуту глубокой ночной тишины о Линке. Милый сердцу его девичий образ на мгновение возник в воображении.

Долго не спал в эту короткую весеннюю ночь Роман.

События, случившиеся за время его отсутствия на пашне, убеждали его в необходимости создания крепкого руководящего ядра артели. Роман знал теперь, что тут должен быть всегда начеку строгий и бдительный организатор-вожак, вожак, которому бы доверились, на которого бы смело положились эти разные по характеру люди. «Нельзя мне ни минуты дремать»,— думал он. Роман глубоко почувствовал, что от его личной сноровки, хозяйской сообразительности и умного руководства во многом будет зависеть преодоление внутренних неполадок и трудностей, которые возникали в молодом коллективе на каждом шагу.

На другой день, когда чуть свет поднялись плугатари и бороноволоки, готовясь к утренней упряжке, Роман решительно объявил:

— Питаться будем по-прежнему — из общего котла, товарищи. Всем ясно?

— Ясно, товарищ председатель,— с присущей ему живостью откликнулся Кенка.

— Ясно!— поддержал его Ералла.

— А если ясно, то подходи и получай свою порцию. Каша у меня нынче мировая,— пробасила Кланька и, засучив могучие руки, вооружилась черпаком.

Люди потянулись гуськом к огромному артельному котлу за горячим варевом, протягивая котелки и миски притворно строгой и гордой поварихе.

Последним подошел к котлу Луня. Кланька, торжествующе оглядев его с ног до головы, щедро наполнила вместительный котелок кашей. И Луня, присев на войлок рядом с аппетитно завтракающими артельщиками, вздохнул, почесал бороду и протянул руку к вороху пышных хлебных ломтей.

По окончании трапезы повеселевшие люди, ободряя друг друга незлобными шутками, начали извлекать из сундучков туго набитые солью мешочки...

— Жертвую на общее благо...

— То-то, давно бы так,— сказала подобревшая Кланька.

Однажды в яркое воскресное утро жители хутора Арлагуля были озадачены неожиданным событием. Внимание хуторян привлекла огромная фанерная доска, появившаяся над карнизом резного пикулинского крылечка.

На доске, обведенной затейливой рамкой, были намалеваны алой масляной краской громадные буквы:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЗДЕСЬ
Контора колхоза
«СОТРУДНИК РЕВОЛЮЦИИ»

Хозяин дома — Силантий Пикулин, вырядившийся в новую сатинетовую рубаху, переминался с ноги на ногу на крылечке, держа в руках огромную папку, туго набитую бумагами.

На хуторе только и было теперь разговору:

— Слышали, новый колхоз объявился?!

— Вот это артель — не «Интернационалу» чета!

— Что там говорить. Самостоятельные люди объединились. Обоюдные. Не с бору да с сосенки, как у Ромки.

— Факт. Тут народ подобрался фартовый — я те дам! Не мужики — короли! Обыкновенное дело...— подпевал в тон окатовцам и пикулинцам Филарет Нашатырь.

А Антип Карманов, шныряя по дворам единоличников, почтительно раскланиваясь с каждым из них, говорил елейно-вкрадчивым голосом:

— Присоглашаю вас, дорогие хуторяне, в новый, настоящий колхоз. Душевно присоглашаю. Кто желает честно работать, быть в союзе с самостоятельными гражданами, тех покорнейше прошу пожаловать в контору колхоза «Сотрудник революции» и подать устное прошение товарищу Окатову.

— Какому Окатову?— спрашивали удивленные хуторяне.

— Бывшему бойцу Красной Армии, Иннокентию Епифановичу Окатову,— объяснял с улыбкой Антип Карманов.

— Во как!

— Так, так, дорогие хуторяне и гражданы. И опять же скажу, у кого нехватка в муке или в семенах, покорнейше прошу в нашу контору. Всему беднейшему классу окажет подмогу наш пролетарский колхоз «Сотрудник революции»— и фуражом и хлебом. У нас и того и другого в полном достатке. В нашей новой артели, сказать по секрету, одной только живой воды разве нету, а остальное все налицо.

Растерянный народ не очень-то доверял Антипу, но тем не менее валом повалил в пикулинский дом. Всех опередил Капитон Норкин. Первым явившись к Иннокентию Окатову, он вручил ему письменное прошение о принятии в колхоз, а полчаса спустя и в самом деле вез домой на своем коньке мешок муки-сеянки. Бойкий конек Капитона, выгибаясь под неуклюже долговязым хозяином, весело похрапывал и косился на людей озорным глазом. А Капитон Норкин, высоко задирая мерину голову, ехал по улице надменный и торжествующий. Бабы с изумлением смотрели на Капитона, и каждая из них спрашивала:

— Неужели и впрямь муку отпускают?

Капитон, осадив коня, отвечал:

— Отпускают, гражданки бабы. Отпускают действительно, если вы есть сознательные коллективисты...

— Это как так — сознательные?— недоумевали бабы.

— А вот такие, как я, например,— отвечал Капитон.— Подал прошение в колхоз и получил сполна свою порцию — три пуда сеянки. Не мука — пух пухом! Валяйте, пока не поздно, записывайтесь в нову артель. Там — все сыром в масле будем кататься. Там у нас круглый год будет масленка!

— Да что ты говоришь, Капитон?

— Богом клянусь, гражданки бабы!— божился, крестясь, Капитон.

А тем временем на просторный пикулинский двор свозились со всего хутора машины состоятельных хуторских мужиков. Здесь были собраны сенокосилки и двухлемешные плуги, сноповязалки и сеялки, самосбросы и лобогрейки.

Анисим приволок молотилку с чугунным приводом, выставив ее напоказ под окнами пикулинского дома.

Приволок во двор к Пикулину новый однолемешный плуг и Капитон Норкин. Плуг этот он выиграл в прошлом году на районной лотерее общества «Долой неграмотность» по полтинничному билету.

Весь день с утра до вечера толпился у ворот возбужденный народ. А под вечер появился на резном крылечке сам председатель новой сельхозартели Иннокентий Окатов. На нем были голубая майка и роскошные кавалерийские галифе с зелеными чешуйчатыми подтяжками. Преувеличенно низко раскланявшись с мужиками и снисходительно улыбаясь зевавшим на него бабенкам, он

выпрямился, как в строю по команде «смирно», и, подняв над головой руку, строго проговорил:

— Все вы очень хорошо даже знаете меня, дорогие сограждане, сызмальства моей жизни...

— Что там говорить — весь налицо!

— Факт, все знают. Обыкновенное дело...— с восторгом подтвердил Филарет Нашатырь.

— К порядку, дорогие сограждане. К порядку. Прошу выслушать мою речь,— продолжал Иннокентий Окатов.— Все вы знаете, что я вернулся в родимый хутор из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Я вернулся и ахнул. Ахнул потому, что сразу насквозь увидел, как плохо вы жили на сегодняшний день. Разве это жизнь, дорогие хуторяне?! Нет, это не жизнь, а драма!

Иннокентий Окатов говорил так выспренне-пышно, что дедушка Конотоп, открыв пустой, беззубый рот, даже прослезился. Ничего не поняв в речи Иннокентия Окатова, Конотоп сказал стоявшему рядом с ним Капитону Норкину:

— Вот говорит, сукин сын, как по бумаге пишет. Ничего не поймешь, а складно!

— Оратур!— сказал Капитон.

А Иннокентий Окатов, театрально размахивая руками, продолжал речь. И толпа хуторских мужиков, стариков, девок и баб молчаливо, почти что благоговейно, слушала его, стоя как на молебне.

Из глубинной степи, из аулов уже слетались сюда всадники в дорогих лисьих малахаях. Впереди всех бойко кружился на пегом в яблоках иноходце бай Наурбек.

Когда Иннокентий, взмахнув малиновой фуражкой, умолк, милиционер Серафим Левкин крикнул:

— Внимание, граждане хуторяне! Внимание. Я сейчас произведу салют в честь нового колхоза «Сотрудник революции» посредством троекратной пальбы из данного револьвера системы наган. Прошу не пужаться. Я выпалю в воздух.

И Левкин, взмахнув вырванным из кобуры наганом, трижды выстрелил вверх, а затем объявил народу:

— Митинг закончен.

Сбитые с толку речью Иннокентия, мужики и бабы разбрелись по домам. Много неясного наговорил им этот оратор, которому и верил и не верил народ. По словам

Иннокентия, он на хутор пришел из армии, чтобы помочь мужикам выбраться на справедливую дорогу. Беспокойное время. По всей округе шли разговоры о новых формах хозяйства — о коллективизации. Но нигде еще, говорил он, не было пока настоящего колхоза. А Иннокентий Окатов заявил мужикам, что он решил организовать настоящую, образцовую сельхозартель. Он говорил, что-де, мол, все мужики одинаковы, что всем свое добро дорого и враждовать им не к чему. В образцовый, самый правильный колхоз «Сотрудник революции» лодырей он не допустит. Объединятся в этом колхозе самые деловые, работящие мужики, люди со строгой хозяйской сноровкой, люди расчетливые и самостоятельные. Вот это будет колхоз! Это тебе не карлик «Интернационал» с одной сеялкой на три десятка голодранцев. Тут от одних машин земля застонет. Интересно, что после этого скажут Мирон Викулыч с Михеем Ситохиным, единственные состоятельные мужики в «Интернационале»? Пожалуй, и они теперь готовы будут бежать от Романа к Иннокентию.

Капитон Норкин целый вечер гонял по хутору на своем коньке и, размахивая пустым шкаликом, кричал:

— Я себя в обиду никому не дам. Я теперь равноправный член в настоящем колхозе.

Ночь.

В доме Силантия Пикулина неуютно, непривычно голо. Обнаженные, без скатертей, столы. В одном из простенков висит в грузной позолоченной раме из-под иконы портрет Карла Маркса.

Тишина.

Наглухо захлопнуты ставни. Жарко пылает под потолком висячая лампа-молния. Пахнет луком, клопами и новой кожей.

Трахомоглазый Анисим жмется к печке. Взгляд у него вороватый, вид пришибленный. Похоже, что застали его за каким-то непристойным, потайным делом, и вот он, пристыженный, застигнутый врасплох, не знает, куда деть длинные руки: то он прячет их за спину, то зябко потирает ладони, то нервозно почесывает всей пятерней жиденькую бороду.

Иннокентий Окатов сидит на обитом медными обручами сундуке. Он молча и жадно докуривает замусоленный окурок.

В переднем углу, рядом с потемневшим, суровым, как

облик благочестивого монаха с лубочных монастырских картинок, Епифаном Окатовым сидит плечом к плечу Силантий Пикулин. Он барабанит тупыми пальцами по подоконнику и, потупясь, пристально смотрит на покрытые пылью стоптанные сапоги.

— Я вас всех умней. Поняли?— говорит жестко и зло Иннокентий Окатов.— Вот именно. Всех вас умней. И вы ни бельмеса не смыслите в данном вопросе. Да какой же дурак сейчас на рожон прет? Нет, кануло в вечность то время, чтобы обрезами орудовать. Точка. Эта пора прошла. Настало время выискивать хода мудрые, потайные. Работа секретная.

Присутствующие молчат, поникнув в глубоком раздумье. Помедлив, Иннокентий повторяет как бы про себя:

— Да какой же дурак на рожон прет в такое время?! Это только Лука Бобров совсем с ума спятил — ни черта, ни бога не признает. Но и он — погоди — дорискует, допляшется. Покажется и ему небо с овчинку! Ну хорошо, одного, допустим, втихую из обреза убрали. А их — сотни, их — тыщи против нас подымутся. Вот какое на сегодняшний день у меня понятие...

— Эх, сынок, сынок!— скорбно вздыхая, говорит Епифан Окатов.— Твое-то понятие скоро год у меня сидит вот здесь — ярмо ярмом!— хлопает себя по затылку Епифан Окатов.— И я прямо, не таясь, здесь скажу: надоело мне дурака корчить. Я жить хочу!

Иннокентий срывается с места и начинает метаться по горнице, крепко стиснув громадные, увесистые кулаки. А затем, остановившись как вкопанный посреди комнаты, начинает истерически кричать:

— Дурака, говорите, корчить... А на кой вы мне черт сдались? Я плюну на все это и уйду к чертовой матери. Мне дорога кругом открыта, и все семафоры передо мной подняты, только пары развивай! Это вы в западне. Это вас раздавят они, придет время, вашими же машинами! Чуете вы это или тупо? Слушаете вы меня или нет?

— Иннокентий Епифанович! Милый,— бормочет, подобострастно улыбаясь, трахомоглазый Анисим. Он тянет его за локти к себе и, с умоляющей робостью заглядывая в его холодные от бешенства глаза, упрашивает:— Ну, погоди, погоди. Не обижайся на нас. Помолчи ради бога. Слухаем мы тебя, милый. Слухаем и ни шагу без твоего приказа не ступим.

Иннокентий вновь садится на сундук, жадно курит короткими злыми затяжками. Наконец, после длительной паузы, приказывает подать ему выпить. Тогда Силантий Пикулин с поспешной угодливостью подносит молодому Окатову граненый стакан водки. Иннокентий пьет ее сначала мелкими, неторопливыми глотками, но затем, словно отчаявшись, опрокидывает все сразу и, не хмелея, говорит с холодной рассудительностью:

— Нет, никто не знает, как мне здесь горько. Я пришел на пустырь. Я одинок, как телеграфный столб в пустынных пространствах данной местности. А вы, папаша, в самом деле чудак. Вы ходите и скрипите: «Сынок, ты обездолил меня, ты надел на меня суму, ты дал в мои руки посох». Вот погодите, придут они и выставят вас как совершенно чуждый элемент. Вас выгонят. Вас раздавят. Вас пошлют разводить кроликов на остров Мадагаскар. Ох и липовые же вы контрреволюционеры!..

Уронив взлохмаченную голову, Иннокентий долго раскачивается из стороны в сторону, точно после оглушительного удара, затем, очнувшись, подходит к Анисиму и строго спрашивает его:

— Сколько у тебя пудов хлеба в ямах осталось?

— В ямах?— как бы не понимая, переспрашивает Анисим.

— Ну да, в ямах.

— Пудов пятьсот наскребу.

— Врешь!

— Ну, может быть — пятьсот пятьдесят...

— И опять не верю.

— Ну, шестьсот. Это уже край. Клянусь богом, крестом, божьей матерью, Иннокентий Епифанович.

— Ты вот что, Анисим,— говорит Иннокентий, грубо ударяя его по плечу могучей ладонью.— Ты вот что, друг, не виляй передо мной. Я ведь тебе не районный хлебозаготовитель!

— Вникаю, вникаю, Иннокентий Епифанович,— испуганно бормочет, вбирая голову в плечи, Анисим.

— А вникаешь — говори внятно: сколько хлеба припрятал?— наседает на него Иннокентий.

— Каюсь, каюсь,— признается наконец Анисим.— Под печью еще пудов полтораста с третьего года замурованы. Придется печь перекладывать.

— Придется, придется, друг, перекладывать,— гово-

рит Иннокентий и переводит свой взгляд на Силантия.

И Силантий Пикулин, встретившись с этим взглядом, поспешно вскочив на ноги, еще поспешнее объясняет:

— Я ничего не таю. Ничего не скрываю. Мой хлеб в прошлом году на гумне Капитона Норкина был зарыт. Зерно к зерну.

— Говори кратко — сколько?— перебивает его Иннокентий.

— Не могу знать. Не мерил.

— Приблизительно?—не унимается Иннокентий.

— Ну как вам сказать,— жмется Силантий Пикулин.— Ну, может быть, пудов триста будет.

В ту же ночь, по приказу Иннокентия, в горнице Анисима была разломана печь, из-под которой бабы выгребали сухое, звонкое, золотовесное зерно отменной пшеницы. Силантий Пикулин выгружал свой потайник на гумне Капитона Норкина. На рассвете весь хлеб был сгружен в просторном окатовском амбаре. Однако Силантий Пикулин не удержался и по сговору с Капитоном Норкиным отгрузил пудов пятьдесят пшеницы в норкинский амбар.

А на другой день тронулся с хуторской площади обоз в шесть бричек. На бричках лежали туго набитые зерном мешки. На передней бричке было водружено огромное малиновое знамя, спешно сшитое по приказу Иннокентия. Рядом со знаменем багровел, колыхаясь на ветру, алый плакат, на котором красовались разрисованные рукой Иннокентия буквы:

ВСЕ ИЗЛИШКИ — ГОСУДАРСТВУ!!!
ПЕРВЫЙ ШАГ — ПОДАРОК СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
ОТ КОЛЛЕКТИВА «СОТРУДНИК РЕВОЛЮЦИИ»

Силантий держал в руках плакат, натянутый на два древка. Лицо его было торжественным и смиренным. Он то и дело высовывал из-под плаката клинообразную голову, поглядывая на хуторской народ. А ребятишки, сбежавшиеся к обозу из школы, громко читали вслух стишок, написанный рукой Иннокентия масляной краской на оборотной стороне транспаранта. Это были стихи, сочиненные в минувшую ночь Иннокентием в честь организованного им красного хлебного обоза. Один из самых бойких школьников, прыгнув на бричку, размахивая руками и как бы приплясывая, читал иннокентиевские вирши:

Стали все в одном понятье —
Из индивидуалов сделали колхоз.
Ничего живем, не тужим
И везем красный обоз!
На элеватор Союзхлеба —
Не спекулянту мы сдаем.
Кулаков средь нас уж нету.
Голосуем за заем!

Иннокентий Окатов сидел в одной из бричек верхом на мешке. Он сидел прямой и вызывающий, как подобает сидеть в седле врожденным лихим кавалеристам. На околыше его фуражки пылал огромный малиновый бант. Когда обоз проходил мимо Совета, Иннокентий развернул мехи гармони. Гармонь взревела во всю стобасовую глотку, и далеко разнеслись замысловатые вариации бравурного марша. Иннокентий Окатов играл марш «Под двуглавым орлом».

23

Линка сидит на полу. Она укладывает в ракитовую корзинку перестиранное и переглаженное белье. Белье пахнет ветром и солнцем, а корзинка напоминает ей почему-то об одном из вечеров в техникуме. И Линка отдает себя во власть светлых воспоминаний.

Она раскрывает пожелтевшую клеенчатую тетрадь с методическими записями, и ей на глаза попадается острый и размашистый почерк самой близкой по техникуму подружки и сверстницы Любы Скворцовой: «Родная моя Линка, милая, золотая! Подумай, какая радость — весна. Весна! Я слышу, как шумят за окном ручьи, как поет вода под ярким весенним солнцем. Это значит, скоро конец учебы, это значит, что скоро осуществится давнишняя наша мечта — мы станем с тобой учительницами, педагогами и уедем в деревню. Вот когда настоящая жизнь начнется!..»

— Да, настоящая жизнь!..— повторяет со вздохом вслух Линка.

И она представляет себе стройную золотоволосую Любу Скворцову. Сколько было в этой девушке жизни, непосредственности, обаяния и чистоты! Как горько и грустно было расставаться Линке с милой, горячо преданной подругой в тот холодный весенний вечер на перроне городского вокзала, когда, покидая город и тех-

никум, разъезжались они на работу в глухие, неведомые им места. Люба Скворцова уехала в небольшое русское село под Каркаралы. Она работала там учительницей в только что открывшейся школе. А в канун нового года нашли ее около школьного крылечка с простреленной головой. В окоченевшей маленькой руке Любы Скворцовой торчала записка, написанная безграмотно и злобно: «Это тебе, активистка, за хлебозаготовки. Не разевай пасть на чужое добро. Не суйся туда, куда тебя не просят. Аминь!»

...Линка сидит над распахнутой тетрадью и с нежностью думает о том, каким другом была для нее эта девушка. Да, была. Но и ей не успела Линка рассказать обо всех обидах и бедах, которые пришлось ей пережить за недолгую жизнь. Она не успела раскрыть перед подругой ту смутную боль прошлого, которая, в сущности, тяготела над ней долгие годы. Она не рассказала об этом Любе, не рассказала и Роману, с которым столь случайно и неожиданно свела ее судьба. А ей теперь, как никогда, хотелось поведать кому-то о своих сокровенных думах. Но кому? Роману? Да поймет ли он ее? Что она может рассказать ему о своем прошлом, о своем отце, который был коллежским регистратором. Что такое коллежский регистратор? Ведь это, в сущности, был забитый, знакомый с нуждой, безобидный канцелярист. Но почему же Линка должна была отвечать за него и скрывать свое прошлое?

...С тех пор как ее мать, знакомая ей только по выцветшим старинным фотографиям, утонула в Днестре, он, отец Линки, затворившись в крошечном, скупо обставленном кабинете, безвыходно просидел дома неделю, а потом начал выкрикивать дикие, бессмысленные слова и петь бравурные марши. Линка не понимала тогда, что случилось с отцом. Но ей сказали, что он нездоров. Отца увезли в загородную больницу, а девочку взяла к себе на воспитание дородная тетя Ира. Линка помнит, как она приходила к отцу по золотистой песчаной дорожке в больницу и угощала там робкого, необыкновенно тихого отца свежими вишнями. Но вот однажды тетя Ира сказала, что им незачем больше туда ходить, что отец Линки уехал. Вскоре тетя Ира увезла девочку из приднестровского городка в далекие, пепельно-голубые от полыней ковыльные акмолинские степи. Там тетя торговала на рынке кружевами, а Линка строила на

берегу Ишима песчаные крепости в содружестве с новым своим приятелем и погодком Ермилом. Потом, с годами, она забыла о Ермиле, как забывают о дорожных друзьях и покинутых полустанках. Но вот однажды она вспомнила о нем на заседании мандатной комиссии техникума.

Ермил! Ведь только он мог бы рассказать тогда членам мандатной комиссии о том, как вместе с Линкой они ловко воровали у зазевавшихся степных людей вяленую рыбу и тем утоляли голод. Тетя Ира была доброй, сердобольной женщиной. Но ее скудных заработков не хватало на пропитание, и она не могла позволить своей воспитаннице съедать за вечерним чаем больше трех сухарей. Но члены мандатной комиссии техникума не знали ничего этого. Они знали только, что отец Линки был коллежским регистратором. И вот, посоветовавшись между собой, они строго сказали девушке:

— Послушайте, у вас довольно запутанное, не совсем для нас ясное социальное прошлое. Однако до выяснения мы в техникуме вас все же оставим. Но на стипендию вы рассчитывать не можете...

Подруги Линки — студентки техникума, узнав об этом, в один голос заявили:

— Ничего, ничего. Оставайся. Проживем как-нибудь всем коллективом, а там будет видно.

И вот двадцать четыре порции гречневой каши с тех пор всегда беспечно и весело делились между двадцатью пятью первокурсницами педагогического техникума. Эту довольно сложную операцию всегда безукоризненно производила Люба Скворцова, отличавшаяся изумительными успехами в области точных наук. Но так никто из Линкиных подруг за четыре года учебы и не узнал о том, что ее отец был всего-навсего не очень грамотным канцеляристом — коллежским регистратором, а мать — дочерью польского офицера Витольда Бжезинского. Иногда Линка испытывала чувство глубоко запавшего ей в душу беспокойного страха. Она целыми днями ждала, что вот-вот ее вызовут на бюро комсомольской ячейки, потом — в профком, потом — в учебную часть техникума и там ей покажут свадебную фотографию родителей. Затем в студенческой стенгазете «Путь просвещенца» непременно появится разоблачительный фельетон второкурсника Афанасия Косинуса и карикатура Кузьмы Протоплазмы — псевдонимы двух студентов. В такие

минуты Линка готова была пойти и начистоту рассказать о своем прошлом. И однажды она действительно пришла к секретарю комсомольской ячейки Яше Стрельникову с намерением честно и просто рассказать о родителях все, что она знала о них. Но, встретившись с Яшей, Линка вдруг вспыхнула и, ни слова не сказав ему, убежала в интернат, наплакавшись потом вволю.

Первый год работы на хуторе прошел для Линки почти незаметно. Приехав сюда, она с увлечением принялась за организацию комсомольской ячейки. Она первая из учительниц отдаленного, малообжитого района открыла на хуторе Арлагуле ликбез, работала техническим секретарем комиссии содействия хлебозаготовкам. Все больше захватывала, увлекала и окрыляла Линку работа в школе. Ей некогда было скучать, думать о своем одиночестве. Не оставалось времени придирчиво и ревниво следить за внешностью, как это она делала вместе с подружками там, в техникуме. Но она вовсе не стала от этого выглядеть хуже, непривлекательнее. Наоборот, она почувствовала себя похорошевшей, здоровой и сильной. Она не ощущала усталости, и любое дело легко и весело спорилось в ее руках. Но нынешняя весна ворвалась в ее деятельную жизнь, грубо и дерзко перековеркала все ее замыслы и планы и выбила из-под ног привычную, проторенную тропу. Она не понимала, что же, в сущности, произошло, но почему-то вдруг почувствовала себя не на месте. Опять все чаще и чаще начинала томить ее беспричинная, неясная тревога. Все было складно и мирно на хуторе до этой весны. Но вот с появлением Романа, а затем и Иннокентия Окатова начала двоиться хуторская жизнь, и многое из того, что происходило на хуторе, казалось Линке непонятным, загадочным. Странно, но все чаще и чаще она испытывала чувство раздвоенности, какого не знала прежде. Ее не покидало ощущение, что она находится между двух огней.

Сгущаются сумерки короткого вечера.

Линка сидит, поникнув над раскрытой тетрадью. Погрузившись в раздумье, она грызет карандаш и прислушивается к каждому шороху. Затем, точно очнувшись после долгого забытья, она встряхивается, поправляет легким движением руки корону золотистых волос и с замирающим сердцем смотрит на дверь. Линка уже знает, чувствует, что тревога, томившая ее весь день,

была не чем иным, как мучительным ожиданием прихода Иннокентия. Она еще боится признаться в этом самой себе, но ждет Иннокентия и рада этой встрече.

24

В полдень, когда Роман, ползая под сеялкой, закреплял гаечным ключом ослабевшие болты у высевающих аппаратов, к полевому стану артели подъехал на злом, как черт, чубаром пикулинском жеребце Иннокентий Окатов. Резко осадив разгоряченного, взмыленного коня, Иннокентий, пренебрежительно прищурившись, внимательно обвел холодным, насмешливым взглядом спавших во время дневной передышки колхозников «Интернационала». Заметив копошившегося под сеялкой Романа, Иннокентий обратился к нему:

— Я извиняюсь. У меня дело к вам, гражданин председатель колхоза.

— Слушаю,— сухо сказал Роман, вылезая из-под сеялки и в упор глядя на молодцевато сидевшего в седле Окатова.

Иннокентий извлек из кармана каштанового френча довольно помятый клочок папиросной бумаги и молча протянул его. Роман, приняв бумажку, старательно разгладил ее на своей широкой шершавой ладони и стал внимательно читать. На его высоком, бронзовом от загара лбу тотчас же сомкнулись две вертикальные морщинки и сошлись, потемнели густые брови. Роман не заметил даже подошедшего к нему Мирона Викулыча и других членов артели: он молча, заметно волнуясь, читал написанное. Обветренные, потрескавшиеся губы его слегка дрожали. Он читал, спотыкаясь на каждом слове, и никак не мог уловить на первых порах смысла прочитанного. В бумажке, отпечатанной на пишущей машинке, значилось:

Срочно

Председателю правления колхоза «Интернационал»
тов. Каргополову

Ввиду того, что в данный момент на хуторе Арлагуле по инициативе бойца Красной Армии товарища Иннокентия Окатова организована крупная сельскохозяйствен-

ная артель с мощной экономической базой — «Сотрудник революции», благодаря чего на вышеуказанном хуторе будут коллективизированы основные слои упомянутого населения, и памятуя, что только через такие формы коллективного труда мы придем на всех парах к социализму как к таковому,— предлагается, согласно решению кустового объединения колхозов, влиться вышеупомянутому колхозу в указанный колхоз «Сотрудник революции», за исключением тех хозяйств, кои окажутся против. В противном случае наше кустовое объединение не будет иметь возможности располагать соответствующей помощью в смысле машиноснабжения, а также и по линии кредитов данному колхозу, относясь к нему как к карликовому хозяйству, не дающему соответствующего производственного эффекта, а посему, в случае отказа с вашей стороны в стопроцентном выполнении данной директивы, выданные вам в кредит сельскохозяйственные машины, как то: сеялка, а также дисковая борона будут немедленно переданы в распоряжение указанного колхоза «Сотрудник революции»; и кроме того, предлагается немедленно освободить незаконно захваченный участок бывшего гражданина Окатова, предоставив «Сотруднику революции» данные площади земельных угодий на основании безвозмездного их использования на предмет производства для посевов социалистического сектора.

Председатель кустового объединения

С. Сечкин.

Кустовой агроном

Г. Нипоркин.

С трудом осилив путаную директиву, Роман оглянулся на комсомольцев, на Мирона Викулыча и вдруг почувствовал, как ком горечи и гнева подкатил к его горлу. Бросив беглый, полный нескрываемой ненависти взгляд на картинно подбоченившегося в седле Иннокентия Окатова, Роман хотел было крикнуть. Но, до боли стиснув зубы, он чуть слышно процедил:

— Так вот оно чем тут пахнет...

За спиной Романа наперебой зазвучали тревожные голоса членов артели:

— Какая опять оказия?

— Читай, что нам пишут!

— Не томи душу, Роман!

Вместо ответа на все эти вопросы Роман вдруг злобно скомкал бумажку в могучем кулаке, подошел вплотную к Иннокентию и, показав ему фигу, сказал:

— Вот на-ко — выкуси!

— Я извиняюсь, гражданин. Я прошу не оскорблять моей личности при исполнении служебных обязанностей!— заносчиво крикнул Иннокентий, выпрямляясь в седле.

— Пошел отсюда к чертовой матери, пока цел!— глухо проговорил Роман.

Иннокентий Окатов, тотчас же пришпорив злого коня, рванул с места в карьер и галопом пошел от стана.

Подпасок Ералла пустил вдогонку Иннокентию горящую головешку.

Полевой стан «Интернационала» загудел, как растревоженный улей. Роман стоял с крепко стиснутыми кулаками в центре плотно обступившей его толпы членов артели.

— Ну вот, ребята, и отстрадовались, отсеялись,— сказал со вздохом Роман; печальная мимолетная улыбка на мгновение осветила его запыленное, усталое лицо.

— Как так? Что такое, Роман Егорыч?— испуганно спросил Мирон Викулыч.

— А вот так, дядя Мирон,— проговорил Роман, участливо положив руку на его плечо.— Вот так... Тяжело нам было. Ты все на поясницу мне жаловался. Ну вот и дождался отдыха. Ложись теперь на межу, упрись в небо пятками, да и похрапывай.

— Ну, эти шутки брось, Роман. Я тебя всурьез спрашиваю...— обиженно проговорил Мирон Викулыч.

— В самом деле, что такое случилось, Егорыч?— спросил старый Луня, с тревогой заглядывая в изменившееся лицо Романа.

— А вот что случилось, товарищи,— сказал Роман, расправляя на ладони скомканную в кулаке бумажку — предписание кустового объединения.— Приказ через окатовского выродка поступил. Сеялки нас лишают. Колхоз наш не признают.

— Как так — отбирают?!

— Колхоз не признают?!

— Ты что, с умом, Роман, в самом деле?— закричали

вплотную обступившие своего председателя члены сельхозартели.

Но вместо ответа на градом посыпавшиеся вопросы Роман, присев на дышло фургона, стал вслух читать бестолковое предписание кустового объединения. Но как ни было чудовищно путаным это послание, а все же все слушавшие поняли его смысл. И когда Роман кончил чтение, Аблай крикнул:

— Жок — нет! Не отдадим сеялку!

Юношески звонкий голос Аблая потонул в дружных криках членов артели:

— Не давать!

— Пошли они к чертовой матери вместе с этой бумагой! Дух вон, не отдадим!

— Кровная она!

— Наша! Наша!

И Роман увидел, как над опаленными зноем, взлохмаченными головами русских, над бесцветными тюбетейками казахов поднялись и заметались крепко сжатые бронзовые кулаки. Они поднялись, как лес обнаженных кавалерийских клинков у всадников, готовых к смертельной атаке.

— Ого! Хозяева на чужое добро нашлись!— кричал громче всех Луня.— Не на тех нарвались, прости меня господи...

— Не на тех нарвались. Обыкновенное дело!— горячился Егор Клюшкин.

— Мы им покажем, где раки зимуют...

— Давай пиши, ребята, свой приговор в ответ на эту бумагу.

— Правильно. Приговор пиши. Все, как один, подписи поставим.

— Мы им что — зря коней уродовали! Мы им что — задаром эту землю пóтом полили?!

— С конями последний кусок пополам делили...

— Слава богу, сто двадцать десятин своими горбами подняли!

— Падки, подлецы, на даровщинку!

— Зря мы этого варнака отсюда, ребята, отпустили. Сбить бы его, подлеца, с рысака да отделать бы тут в лучшем виде!— запальчиво кричал Егор Клюшкин.

Прыгнув на ящик фургона, Михей Ситохин (он любил говорить непременно с какой-нибудь возвышенности) сорвал с себя пыльный картузишко и крикнул:

— Этого не может быть, граждане мужики, а также трудящиеся казахи! Так я постановляю — не может этого быть. Не отдадим мы им ни бороны, ни сеялки, ни участка. У нас кони в борозде падали? Падали. Последний паек мы с тяглом пополам делили? Делили. Семь потов с нас сошло, ребята? Сошло. Не семь, а семьдесят семь потов. А посеяли мы уже сто двадцать десятин знаменито. Ишь ведь, как они быстро хайло на наше артельное добро разинули. Не бывать этому, граждане мужики, трудящиеся казахи, а также комсомольцы! Не бывать! Не дадим! Хватит, на нас теперь ярмо не наденешь. Мы сами с усами. Так я постановляю. Правильная моя речь?— спросил Михей Ситохин, испытующе поглядывая вокруг.

— Правильно, дядя Михей!

— Друс, Михей,— дружно поддержали его казахи.

Повеселевший Роман крепко пожал руку Михею Ситохину.

— В таком случае точка, товарищи,— сказал он.— Вижу я, нас голыми руками теперь не возьмешь. Давай запрягай лошадей. Солнце-то уже эвон как высоко. Пора и за вторую упряжку.

И люди, точно по команде, бросились разбирать приведенных с пастбищ лошадей и как-то особенно деловито запрягали их в бороны и плуги.

Роман проследил за загрузкой сеялки семенным зерном. А позднее, глядя, как дружно работали члены артели, с удовлетворением думал о маленьком коллективе. «Нет худа без добра, в общем и целом...— мысленно рассуждал Роман.— А здорово разожгла наш народ эта дурацкая бумажка кустовых бюрократов. Нет, брат, теперь и в самом деле голыми руками нас не возьмешь! Значит, мы за эти дни выросли, встали на ноги. И как там ни петушимся, ни спорим промеж себя, а вот задели за общую душу, все, как один, поднялись,— и это сила».

Но чувство внутренней тревоги не давало покоя Роману. Он понимал теперь, как хитро начинают обходить их маленькую артель искусно маскирующиеся классовые враги, подготавливая нападение со стороны, на первый взгляд совершенно безопасной.

Дело близилось уже к вечеру. Работа шла на сей раз на редкость споро и дружно.

Мирон Викулыч, нагнав Романа, шагавшего за сеялкой, участливо сказал:

— А ты ведь, Роман, не обедал сегодня!.. На-ка вот, хоть на ходу перекуси...

И он протянул ему извлеченный из-за пазухи ломоть пшеничного калача и кусок свиного сала.

— Благодарствую, дядя Мирон. Я и в самом деле забыл пообедать...— ответил Роман, улыбаясь одними глазами.

— Давай ешь на здоровье. Набирайся силы. Она, брат, теперь тебе особо нужна,— дружески хлопнул Романа по плечу Мирон Викулыч.

25

«Суббота, 15 апреля

Говорят, что в дневниках люди глупеют, я — тоже. Впрочем, я дура вообще. Когда же я в конце концов повзрослею? Подумать только, ведь мне уже двадцать два года, а я еще не понимаю самых элементарных истин. Просыпаясь по утрам, я не знаю, зачем должна каждое утро видеть сквозь окошко одно и то же: кривой колодезный журавель, наскучившие мне скирды соломы и жалкую избушку Романа. Зачем, зачем я должна жить на этом заброшенном, всеми забытом хуторе? Отчего я должна обманывать себя, принимая заведомо чужих мне людей за близких или даже любимых? Вот так неумно, так дико вышло у меня, должно быть, с Романом...

Вторую неделю без почты, без писем, без теплого слова,— одна, одна и одна. Милая, прелестная моя Любушка! Где же она, новая жизнь, о которой с таким пафосом ты говорила мне в голодном и холодном нашем общежитии техникума на Пушкинской? Увидела ли ты ее перед трагической смертью? Боже мой, у кого мне учиться понимать все, что происходит сейчас вокруг меня и со мной?

Роман — грубоватый, неотесанный, полуграмотный человек. Он не понимает даже простых человеческих чувств. Ага, он батраков держал, он барыши считал за нашей спиной, значит — кулак, значит — непримиримый классовый враг! Об этом, по мнению Романа, надо кричать везде и всюду: на улице, в Совете, в кооперации. Такова его логика. Но не слишком ли это все упрощенно, схематично, мой друг? Не слишком ли, милый? Жалкого, обездоленного старика Окатова он тоже

называет классовым врагом. И в этом я, пожалуй, со сверхбдительным председателем «Интернационала» никак не могу согласиться!

Вторник, 18 апреля

Сторожиха моя Кланька — самая безобидная женщина в мире, не в пример Роману. Она батрачила, гнула всю жизнь спину по поденщинам, но в бывших хозяевах врагов не видит. Вчера она мне говорит: «Я, Линушка, ни на кого не в обиде. Робила — платили, а где и обижали, так бог с ними — у меня от этого не убудет, а с них за это бог спросит». Конечно, подобное непротивление в наше время звучит уже невежеством. Но и упрямство, с помощью которого думает бороться с ненавистными и якобы классово-чуждыми ему по природе людьми Роман, на мой взгляд, не менее невежественно, грубо и эгоистично.

Вечер. Роскошный закат в окне. Тревожные крики галок. Далекая безмолвная степь за озером. Кланька, воротясь с полевого стана, наводит в своей конуре порядок, подметает пол и поет густым басом:

Эх, барин, барин, добрый барин,
Уж вот как с год ее люблю,
А нехристь староста-татарин
Меня бранит, а я терплю.

Я слушаю Кланьку, смотрю на порозовевшую от заката степь, и мне хочется написать кому-нибудь нежное, сентиментальное письмо.

Четверг, 20 апреля

Ночь.
Девки поют:

Напишу я милому:
Приезжай, соскучилась.

Иннокентий! Хотелось бы придумать для него более теплое, ласковое имя... Какое же — Кеша, что ли? Тьфу, как это скверно звучит — Кеша! Впрочем, дело, наверно, не в имени... В общем, сейчас был он. Только что вернулся из района. Веселый и, как всегда, необыкновенно

самоуверенный. Воду пьет скупыми благородными глотками. Говорит — каждое слово вприкуску! В нем что-то есть такое, что порою смешит меня. Но в то же самое время меня что-то в нем и волнует. А что — не пойму... В райцентре очень хорошо отнеслись к его инициативе. Народ на хуторе ему верит. Я смотрела на него, слушала и думала, что это, должно быть, идеально счастливый человек, с повышенными потребностями, с задатками культуры и большой жаждой к новому. Он не упрощает все и не сводит к голой классовой вражде, как это любит делать Роман. Я поняла, что Романа он считает наивным, неумным парнем. Не больше. Наивным. Неумным. И только. Но — не врагом!

Среда, 26 апреля

С утра лупит нудный холодный дождь. Ребят сегодня у меня было немного. Занималась я с ними вяло. Не думалось. Не читалось. Все валится из рук. Что же в конце концов со мной происходит?..

Сейчас, отпустив ребятишек, сижу сложа руки и жду его. Он обещал зайти вечером. Сейчас еще нет пяти. Кстати, о часах. Сторожиха заводит их с невероятной бранью, с грохотом по десять раз в день. Но они все же безнадежно врут и через каждые полчаса останавливаются. При чем тут часы? Зачем я пишу об этом? Сама ничего не пойму, ничего не знаю... Пятый день я не занимаюсь канцелярскими делами «Интернационала». Да и желания нет заниматься. Даже и на папку с замысловатой и грубоватой росписью Романа на обложке смотреть не хочется. Забросила ее в шкаф: лучше, глаза не мозолит. Васенка, шестилетняя Кланькина дочка, откуда-то притащила потрепанную книжку со странным названием —«Четыреста правил молчаливого мудреца Хео Тзы». Перевод с китайского.

...Дописываю ночью. Заходил И. Он очень спешил. На рассвете состоится организованный выход в поле «Сотрудника революции». Я показала ему странную книжку молчаливого мудреца. Он повертел ее в руках и сквозь зубы сказал со вздохом: «Это что-то похожее на моего папашу...» Прощаясь, он по-мужски сильно и в то же время нежно пожал мне руку. Честно скажу, что, заглянув ему в глаза, я подумала: «Все равно, с тобой так с тобой. Я и на это готова...»

Но опять обманчив вечер,
Снова ветер неудач
На руках несет навстречу
Одинокий детский плач.

Откуда эти стихи?
Не знаю».

Роман шел по дороге, наслаждаясь ночной тишиной, покоем и одиночеством. Он шел, далеко выбрасывая вперед себя посошок, точно стараясь укоротить этим лежащие впереди версты. Погруженный в раздумье, он даже не заметил, как приблизился к потонувшему во мгле хутору. Было уже поздно. Но в другом конце хутора очень хорошо пели девки:

Бережком гуляет
Матросик молодой.
Сам он некрасивый,
Да богат собой!

«Хорошо поют девки!»— подумал Роман и вдруг ощутил такой прилив нежности к Линке, что на секунду замедлил шаг и прикрыл глаза от волнения. Увидев неяркий, дремотно мерцавший вдали огонек, он понял, что огонек этот светился в школе. Значит, там, за этим окном, не спала она, поджидая его. Может быть, она сидит за столом в светленькой батистовой кофточке и напевает любимую песню о гусях, прилетевших из далекого края и помутивших воду в озере... Может быть, она думает о нем, о Романе, столь же тепло и нежно, как думает он сию минуту о ней. И Роман, охваченный волнением, направился к школе. Он уже не шел, а почти бежал. Но вот, достигнув школьного крылечка, он остановился, чтобы перевести дух и немного унять волнение. Сердце по-мальчишески буйно билось. Странный звон стоял у него в ушах и в голове, точно шумели золотые шмели легкого опьянения. Наконец с трудом овладев собой и весь подобравшись, он на цыпочках подошел к окну и негромко постучал в раму. Но никто не ответил на его стук. И тотчас же от только что пережитого им необъяснимого волнения не осталось и следа. Немного помедлив, Роман уже более громко и требовательно постучал в окно.

— Ну, что тебе надо?— прозвучал из-за окошка грубоватый заспанный голос Кланьки.

— Это ты, Клаша? А я к Линке. Разбуди ее, пожалуйста, поскорее,— сказал Роман.

— Жок, нету Линки,— ответила Кланька, любившая к месту и не к месту щегольнуть казахским словом.

— Как нет?— тревожно спросил Роман.

— А очень просто — нету.

— Куда же она могла деться?

— Ну, я об этом ее не спрашиваю. И она мне не сказывалась,— не совсем ласково ответила Кланька.

— Интересно! Очень даже интересно,— бормотал Роман.— Ведь она знала, что у нас сегодня бюро.

— Ну, уж это не моего ума дело — знала она там или не знала... Да что ты пристал ко мне, как банный лист, ей-богу? Я-то тут при чем?

— А ты не крути, Клавдия. Я с тобой тут не шутки пришел шутить. Говори толком, куда она могла деться?— грубовато прикрикнул на сторожиху Роман.

— Да что это ты на меня орешь-то, на сонную?— возмущенно пробасила Кланька.— Я в сторожах у твоей зазнобы пока не состою. Ты бы лучше не меня, а ее кавалера спросил, куда он ее по ночам водит.

Кланька не назвала имени Иннокентия, но Роман понял, о ком она говорила. Весь похолодев, он, не отвечая на злые реплики заспанной Кланьки, круто повернулся и пошел прочь от школы. Но не успел он сделать и трех шагов, как из переулка навстречу ему вынырнула шумная стайка хуторских девчат. Столкнувшись с ними, Роман так растерялся от неожиданности, что, сам не зная как, выпалил:

— Слушайте, девки, вы учительницу нашу не видели?

Не у них, зубоскалок, было спрашивать такое Роману. Но вопрос сорвался с его языка непроизвольно, и жалеть о нем было уже поздно.

— Ах, вот ты о ком печалишься?— с притворной горечью в голосе откликнулась на его вопрос самая рослая и красивая из девчат.

И девки, замкнув Романа в глухое кольцо, защебетали:

— Ну, как не видать. Было такое дело — видели!

— Замечали...

— Как не заметить? Хороша зазноба! Ухажер — на пашне мантулит, а она — хвост витком да с другим на свиданьице!

Фу-ты... Ну-ты. Ножки гнуты.
Тонкая калиночка.
Поводила Рому за нос
Неверная Линочка.

А другая, звонкоголосая, не узнанная в потемках Романом, тотчас же подхватила:

Ночи Романька не спит,
Маетою мается,
По учительше тоскует,
А с нами не знается!

И девки, как бесы, кружась вокруг настигнутого среди переулка Романа, дурачась, хватали его за рваные рукава пропитанной потом и пылью рубахи и кричали:

— Почище вас зазнобушка ваша кавалера заимела.

— Поаккуратнее. Не чета вам, Роман Егорыч!

— Там не ухажер — загляденьице!

Роман отшучивался, как умел, от злых на язык хуторских пересмешниц. Но наконец не выдержал и, с силой прорвавшись сквозь глухое кольцо обступивших его девок, прикрикнул на них:

— Да замолчите вы, вертихвостки.

С трудом отвязавшись от зубоскалок, Роман ускользнул от них в темноту. Пробравшись переулком на площадь, он остановился и перевел дух. «Что же это такое? Неужели все правда? Неужели и тут стал мне поперек дороги этот человек?» — думал он об Иннокентии. Нет, нет, все это досужие сплетни, девичьи выдумки. Разве могла поступить так Линка? Разве способна она была столь жестоко насмеяться над ним? Разве обманывала, порывисто целуя его? Нет, не верил Роман ни сторожихе, ни девкам. Не верил никому, кроме нее, столь бесконечно дорогой, близкой, желанной. Все это вздор. Но куда же могла она уйти из дому, не дождавшись его?

Тут он вдруг подумал, что она могла быть в Совете. Ну да, где, как не в Совете, быть ей сейчас. Окрыленный надеждой, Роман бросился туда.

В Совете горел огонь.

Роман побежал на него. Поравнявшись с Советом, он на секунду замедлил шаг, заглянул в окно и стал как вкопанный. Там за окном, в ярко освещенной двумя лампами комнате, Роман увидел сидящего за столом

председателя Корнея Селезнева и Иннокентия Окатова. Засунув руки в карманы галифе, Иннокентий ходил из угла в угол широкой походкой и, оживленно жестикулируя, громко говорил что-то, обращаясь то к Корнею Селезневу, то к сидевшему на корточках около печки Пикулину.

Роман, неслышно приблизившись к окну, приник к ставне и, весь превратившись во внимание, стал прислушиваться к разговору этих людей. Он тотчас же позабыл обо всем на свете и даже о Линке. Ничто теперь для него не существовало в этом полуночном мире, кроме трех людей, собравшихся под крышей хуторского Совета. Весь уйдя в слух, Роман отчетливо слышал теперь глуховатый голос Иннокентия:

— Извиняюсь, у нас в руках законное основание. Я возьму представителя власти — и вопрос исчерпан. Против закона они не попрут. Я найду на них расправу!

И Роман все понял. Теперь ему уже незачем было прислушиваться к дальнейшему разговору. Речь шла о них — колхозниках «Интернационала». «Ну, все ясно, понятно, в общем и целом. Если вы, сукины дети, готовы на нас в лобовую атаку ринуться, то и мы станем во фронт. Нас врасплох не застанешь!» — мысленно заключил Роман и отпрянул от окошка. Все еще не теряя надежды на встречу с Линкой, он вновь направился решительным шагом к школе. Однако и на сей раз не застав Линки дома, он после некоторого душевного колебания повернул прочь от школы.

Выезд на пахоту «Сотрудника революции» был обставлен Иннокентием Окатовым торжественно и парадно. Силантий Пикулин, сидя на передней бричке, запряженной парой откормленных гнедых меринов, держал над головой алое, расшитое гарусом знамя. На знамени затейливыми буквами был вышит лозунг:

СТОЙ, ГРАЖДАНЕ ХУТОРЯНЕ!!!
ДОРОГУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ КОЛХОЗУ
«СОТРУДНИК РЕВОЛЮЦИИ»!!!

Впереди длинного обоза шли многочисленные сеялки, двухлемешные плуги и бороны. Тройка куликовских темно-карих лошадей, запряженная в дорогой фургон,

была щедро украшена алыми лентами. Плоские — печь печью — крупы сытых лошадей лоснились под яркими лучами солнца.

Сам Иннокентий Окатов ехал верхом на чубаром пикулинском жеребце. Подобно командующему парадом, он, рисуясь и гарцуя на холеном коне, обводил орлиным взглядом обоз и изредка отдавал распоряжения.

А в самом хвосте обоза тащились спаренные, запряженные в незавидные ржавые плужишки худоногие и тощие лошаденки переметнувшихся на сторону «Сотрудника революции» однолошадников — Филарета Нашатыря, дедушки Конотопа, Капитона Норкина, Прони Скорикова и еще некоторых малоустойчивых мужиков, соблазнившихся хорошими харчами и даровой сеянкой, отпущенной им безвозмездно из пикулинского амбара.

В канун выхода в поле Иннокентий Окатов объявил членам своей артели, что вся работа на пашне будет проходить по бригадам. Крепкие хозяйства сколотились в одни бригады, а те, что послабее и похудосочнее,— в другие. Возмущенный Филарет Нашатырь не вытерпел и хотел подать прошение о выходе из артели.

— Несправедливая гнется тут линия. Факт, одно надувательство. Обыкновенное дело...— заявил Филарет.

— Ну, это ты брось, Фита. Без нас, дураков, знают, что с нами делать!..— прикрикнул на него Капитон Норкин.

Но и Капитон, да и прочие мужики победнее были в душе недовольны такой подозрительной распорядительностью Иннокентия. Однако ни один из них не решился открыто протестовать против столь явной несправедливости. Неловко было сразу вступать в спор с председателем, щедро наградившим каждого мужика отличной сеянкой. Но вот сейчас, понуро шагая в хвосте обоза за жалкими лошаденками с их бедной сбруей, мужики, почесывая затылки, переговаривались:

— Разве это дело? У их по бригадам не кони — звери, а у нас дерьмо на дерьме!

— Факт, не кони у нас — пропастина. Обыкновенное дело...— подтвердил Филарет Нашатырь.

— Тоже мне — спарили хрен с редькой,— ворчал дедушка Конотоп.

Проня Скориков мимоходом шепнул на ухо Конотопу:

— Слышь, дед, а вот в батрацкой артели другие порядки. Там таких, как наши, коней хлебушком кормят.

— Ну, хлебушком?! Лошадей хлебушком, а сами — зубы на полку?— недоверчиво щурясь на Проню, говорил Конотоп.

— Насчет самих — не скажу. А лошадей, ей-богу, на паек определили,— божился Проня Скориков.

— Факт,— подтвердил Филарет Нашатырь.

— А это резон, если так,— согласился дедушка Конотоп.— Да рази на наших одрах без хлеба-то упряжку вспашешь?

— Факт, обыкновенное дело, не вспашешь,— говорил Филарет Нашатырь.— Нет, гляжу я, гражданы мужики, в той-то артели порядки не чета нашим. Зазря я оттуда вгорячах ушел...

Мужики вздыхали и, шагая в хвосте обоза, косились в ту сторону степи, где чернели обработанные пашни интернациональной артели.

Посудив-порядив, мужики начали пахать твердую залежь.

И на первом же заезде Капитон Норкин, озверев от досады, обломал о костлявый зад Прониного мерина черенок своего кнутовища. Мерин был не только стар, но на редкость ленив и хитер. Едва плетясь в парной запряжке, он, то и дело наваливаясь боком на норкинского конька, выталкивал его из борозды, и тогда старый плужишко начинал плясать и подпрыгивать в руках плугатаря Капитона Норкина, делая на каждом шагу огрехи. Разгневанный Капитон не выдержал и набросился на Проню Скорикова:

— Ты что же это, варнак, с такой клячей в порядочную артель прешь?

— А чем мой конь хуже твоего!— заносчиво задрав бороду, огрызнулся Проня.

— Ого! Видали вы его, мужики? Он ишо под защиту своего одра берет!— завопил Капитон Норкин.— Нет, брат, шабаш. Я на такой кляче пахать не стану. Собрались тоже — Тюха, Пантюха да Колупай с братом!

Иннокентий Окатов, проезжавший мимо верхом, осадил рысака и, прислушавшись к мужичьей перебранке, строго прикрикнул:

— Я вот что вам доложу, дорогие сограждане. Я в своем коллективном секторе подобных конфликтов не допущу. Ясно?

— Понимаем...— потупясь, откликнулся Капитон Норкин.

— Факт. Нельзя этого допустить. Обыкновенное дело,— с угодливой поспешностью подхватил Филарет Нашатырь.

— Чья эта старая кляча?— презрительно спросил Иннокентий Окатов, показывая плетью на мерина Прони Скорикова.

— Мой конь...— глухо ответил Проня.

— Выпрягай,— коротко приказал Иннокентий.

И Проня, подскочив к мерину, точно стараясь заслонить его спиной, сбивчиво забормотал:

— Да ведь это он у меня так... Он у меня, правда, маленько с норовом. Никого, понимаешь, кроме меня, не признает. Он за мной без узды ходит. Он меня по одному посвисту узнает.

— Выпрягай, тебе говорят. Не рассусоливай!— повторил строгое приказание Иннокентий Окатов.— Нам тут с тобой разводить десятую воду на киселе из-за твоей клячи недосуг. Я не потерплю во вверенном мне колхозе тому подобного безобразия!

Между тем Проня, обескураженно крутясь около лошади, пытался еще что-то сказать, защитить себя и мерина от обид и оскорблений. Но кто-то уже успел сбросить с вальков постромки, отцепить повод и так съездить кнутом Прониного коня, что мерин, ослепленный яростным ударом в переносицу, встал на дыбы, а затем полетел на полном карьере прочь с пашни, в сторону хутора.

Надвинув на глаза залатанный картузишко, втянув в плечи голову, Проня побрел неверной, пришибленной походкой вон из бригады.

Иннокентий, глядя вслед Проне, презрительно ухмылялся. Мужики понуро молчали.

Вечером сидел Проня Скориков в избе под образами, тупо смотрел на порозовевшее от заката горлышко полуопорожненной им поллитровки. В кути на лавке примостилась долговязая Пронина жена Арина. Глубоко вздыхая, она зудила:

— Эх ты, чадушко ты мое, горюшко мое луковое!

Проня знал, что эти слова относятся к нему. Арина монотонно, нудно бормотала обидные, злые слова. Но Проня сидел, не возражая жене ни словом, ни жестом. Скучно было ему сидеть в неприветливой избе за пол-лит-

ровой бутылкой. Скучно было смотреть сквозь оконное стекло на захламленный навозом двор, на печально поникшего головой под навесом мерина. Только что прошел озорной грозовой дождь, и в разбитое оконное стекло тянуло запахом свежих арбузов — ароматной свежестью прогретой за день солнцем и обмытой дождем земли, и запах этот томил хлеборобную душу Прони.

Он думал о том, что ведь всю жизнь мечтал удивить мужиков, растревожить их зависть, доказать, что он, Проня Скориков, не такой уж заурядный, обездоленный человек, как о нем думают на хуторе. Всю жизнь ему хотелось сказать мужикам: «Вот смотрите на меня, какой я, Прокопий Сидорыч Скориков, необыкновенный мужик. Не вам чета. И у меня жизнь с изюминкой!» Но где и в чем таилась эта его изюминка — он так и не смог разгадать за всю свою полувековую, скупую на удачи и милости жизнь.

В прошлом году отекли у старого мерина ноги, и аульный коновал Муратбек, осмотрев коня, отказался его лечить. Проня всю ночь напролет с душевным рвением и трепетом молился на гумне богу. Он дал богу обет навсегда бросить пить, если поднимется обезноженный конь, первым на хуторе отсеяться весной на собственной пашне. «Вот уж тут-то я тогда докажу мужикам, какой я природный пахарь! Тут они поймут, в чем изюминка моей жизни!»— думал тогда Проня. Мерин мало-помалу повеселел и окреп. Однако и тут не суждено было Проне осуществить свой заветный замысел. Дернул его черт связаться на мельнице с подгулявшей компанией мукомольцев из соседнего хутора Белоградовского. Прогуляв с ними, он опять опоздал опередить хуторян с выездом на пашню.

— Чадушко ты мое! Чучело ты пеньковое...— не переставала Арина пилить равнодушного ко всему на свете Проню.

Проня, не обращая внимания на нудные бабьи причеты, с горечью думал, как давно не пахал он, не жал и не сеял на собственной пашне! Три года назад Епифан Окатов отобрал у него последний пятерик семенной кубанской пшеницы. Долгую зиму, недоедая, ревниво берег Проня эту семенную пшеницу в своем сусеке. Но Корней Селезнев, призвав его через понятого в Совет, приказал вернуть пшеницу Епифану Окатову — в зачет за потраву

окатовской полосы овса мерином Прони. Напрасно пытался Проня, ссылаясь на верных свидетелей — а такие у него действительно были,— доказать председателю сельсовета, что и потравы-то, в сущности, никакой не было, что нельзя лишать его последних семян только за то, что лошадь стоптала не больше квадратной сажени зеленого овса. У него отобрали семенное зерно, и Силантий Пикулин вдобавок обозвал его и вором, и жуликом, и пьянчужкой. А однажды спьяна тот же Силантий ни с того ни с сего ударил его по лицу на глазах у всего народа. И вот в памяти Прони начали вспыхивать злые огоньки больших и малых бед и обид. И в душе его, растравленной хмелем, горем и гневом, занималась неукротимая, горячая ненависть к Окатовым и Пикулиным, к Корнею Селезневу и трахомоглазому Анисиму — ко всем тем, кто целый век безнаказанно издевался над ним, унижал его на людях, вгонял в беспросветные, горькие запои, в недоимки, в голодовку. Проня всю жизнь молча сносил издевательства и обиды. Всю жизнь он старался казаться безропотным, безответным мужичонкой, давно свыкшимся с непосильной чужой работой, с оскорблениями и побоями, с голодной и холодной избой и с вечно причитавшей по нему, как по покойнику, пилившей его душу тупой пилой Ариной.

— Ты, мать, лучше замолкни. Ты мне лучше не досаждай!— вдруг крикнул Проня, ударив пудовым костлявым кулаком по столешнице.

Изменившийся в лице, почерневший от гнева Проня ринулся из избы. Не успела Арина опомниться, как Проня уже исчез из глаз, поглощенный темнотой весенней безлунной ночи.

Отдышавшись, он завернул в шинок Полинарии Пикулиной — двоюродной сестрицы Силантия, осушил там еще один шкалик чугуночного самогона и вышел из шинка снова притихший, твердый на ногу, как будто даже протрезвевший.

Проня долго бесцельно бродил по сонному хутору и вдруг у самых ворот пикулинского дома наткнулся на трахомоглазого Анисима. И не успел Анисим прийти в себя, как Проня, цепко схватив его за ворот сатинетовой рубахи, с силой тряхнул, а затем, прижав мертвой хваткой к забору, жарко дыша в похолодевшее лицо перепуганного Анисима, прошептал, задыхаясь от ярости:

— Ты знаешь, сукин сын Анисим, что я тебя могу в один момент сей секунд жизни решить!

— Что ты, что ты, бог с тобой, опомнись, Прокопий! Ты что, белены объелся?!— бормотал Анисим.

— Молчи. Все равно я тебя, как собаку, убью, вражина. Все равно моментально жизни тебя решу,— твердил, как в бреду, Проня, не выпуская из железных рук пригвожденного к забору Анисима.

— За что же ты меня можешь убить, Прокопий Сидорыч?— спросил похолодевшими губами Анисим.

— Не чуешь, варнак?

— Ни сном ни духом, Прокопий Сидорыч...

— Врешь, выродок! Врешь. Все ты знаешь,— хрипел Проня.— Я вам покажу, как надо мной всю жизнь издеваться. У меня и до Силантия с Иннокентием руки дойдут! Я враз за все отомщу — за себя и за мерина! Понял?!

Подкосившиеся, ходуном ходившие ноги Анисима вдруг сдали совсем, и он упал перед Проней на колени. Но Проня, тут и сам почувствовав вдруг противную дрожь в ослабевших коленках, отпрянул от полузадыхавшегося уже Анисима и медленным шагом пошел прочь.

Прислушиваясь к тишине и убедившись, что Прони поблизости не было, Анисим вскочил на ноги и заревел во всю глотку:

— Караул! Меня убили!

Месяц всходил поздно, перед самым рассветом, и потому даже в полдень торчал он бельмом в зените. Зато по ночам стояла над степью глухая, кромешная мгла. Дули жаркие ветры-сухоросы.

Не спалось в эти ночи Климушке. Лежа на залатанном зипунишке около угасающего костра, он чутко прислушивался к мирному всхрапыванию пасшихся неподалеку коней, строго прикрикивал на злого ситохинского мерина, пущенного в отгул, и снова затихал, отдаваясь своим думам. Все эти дни и ночи, одиноко проведенные на отшибе от артели, на вольном пастбище пущенных в отгул коней, Климушка горько думал о том, что все нарочно, по уговору, подстроено так, чтобы подсовывать ему в артели самую недостойную и обидную работу. «Как же это я теперь глаза на божий мир покажу?— размышлял

Климушка.— Спросют: «Это кто идет?»—«Разве не видите — кто? Конский пастух Климушка!» Он, привыкший доселе считать пастухов за последних людей, сам на старости лет уподобился им при новой артельной жизни, и это угнетало его. Он мечтал о должности колхозного завхоза, или кладовщика, или, на худой конец, о месте старшего возчика семенного материала. А тут — в пастухи!

Однако нет худа без добра. Было и некоторое преимущество в должности Климушки. Круглое одиночество пастуха конских косяков не мешало отроду склонному к мечтаниям Климушке размышлять о своей судьбе. И он, целыми днями обдумывая и так и этак незавидную свою бобылью жизнь, пришел к выводу, что по осени уйдет из артели, ежели ему не доверят другой, более достойной его работы в колхозе.

Но, размышляя о будущей своей единоличной жизни, Климушка представлял себе, какая же это будет жизнь. Он, конечно, отдаст Мирону Викулычу полтора пуда муки, которую задолжал ему с прошлогодней весны, затем переделает саманный амбаришко на избу, сколотит по-хозяйски около нее двор, ну а там можно будет подумать и о бабе. Не всю жизнь оставаться ему бобылем!

В десятый, сотый раз перебирал он мысленно хуторских бобылок, припоминал всех вдов по соседним хуторам и селам. Но вот беда — ни одну из них не считал он для себя подходящей. Та слишком нехозяйственна, другая — выпить не дура, третья — не в меру богомольна. Климушка сокрушенно вздыхал, так и не находя достойной себе невесты.

Среди таких помыслов и раздумий и проводил Климушка вешние дни и темные теплые ночи, сторожа отгульный табун лошадей далеко в степи, на отшибе от артели. И вдруг однажды неожиданно опрокинулись, провалились в тартарары все его планы и расчеты.

Это случилось в то утро, когда, оседлав ситохинского меринка и доверив табун отгульных коней пришедшим проведать старика подросткам — Ералле и Кенке, отправился Климушка на хутор поговорить по душам с Романом, надеясь, что председатель отпустит его, Климушку, с этой обидной для него должности.

Стоял теплый весенний день. Купаясь в потоках жаркого солнца, заливались в небе неугомонные жаворонки.

Климушка ехал межой, напевая с наслаждением, от всего сердца:

— Скажи ты мне, фартовая,
Из двух любишь которого?
— Конечно, жаль мне первого,
Теперь люблю последнего...
Последний друг, бедняжечка,
Склонил на грудь головушку,
На правую сторонушку,
На правую, на левую —
На грудь мою, на белую...

Жила в Климушке крепкая любовь к земельному участку, которым награжден был он обществом в результате последнего передела хуторской земли незадолго до революции. Правда, земля его ходила всегда по рукам арендаторов, а затем, чахлая, истощенная, пустовала целыми годами. И хоть Климушка почти никогда не имел собственного посева, однако он любил свою пашню и нередко проводил на ней летние дни, взирая со скорбью на пустынные посевы. В такие минуты он думал, что через год, через два непременно поднимется он, Климушка, на ноги, посеет с полдесятины собственного хлеба.

Но не везло Климушке. По-прежнему скупа была на радости неудавшаяся жизнь. Так, например, два года тому назад, получив из семфонда четыре пуда чистосортных семян, подрядил Климушка Силантия Пикулина посеять ему с полдесятины пшеницы. Но Силантий подменил чистосортные семена сорной, наполовину невсхожей кубанкой, и вместо пшеницы снова вырос на пашне у Климушки один сорняк. А Силантий Пикулин, надрываясь, кричал потом: «Вот какими семенами снабжает Советская власть свое беднейшее сословие! Любо посмотреть, ерунда какая на пашне у Климушки выросла!» Но и последний Климушкин хлеб, наполовину задавленный сорняками, был вскоре стравлен на корню пикулинскими лошадьми. Климушка сошелся с обидчиком без суда на двух литровых бутылках скверного самогона и восемнадцати целковых, полученных им за потраву из рук Силантия.

Климушка в это утро решил завернуть на пашню. Поравнявшись со знакомым курганом и с одинокой березой, сиротливо гудевшей шелковыми ветвями на ветру, он с недоумением огляделся вокруг:

«Али я сбился с пути, али ошибся?»

Слегка приподнявшись на деревянных казахских стременах, с тревогой огляделся он вокруг. Но и вправо и влево от него простиралось, уходя к горизонту, сплошное вспаханное и заборонованное поле черной бархатистой земли. Климушка вновь посмотрел. Нет, не ошибся. Вот он, тот самый старый, поросший ковылем и бессмертником курган. Вот не менее древняя, сиротливо похилившаяся береза. Здесь и знакомые с детства низкорослые кусты таволожника. Не было лишь его заросших сорняками полос. «Что за наваждение?! Уж в своем ли я уме?»— подумал Климушка и, спешившись с лошади, присел на корточки, зачем-то растер на ладони комок земли. Только тут все ему стало понятно: да ведь часть его полос была запахана!

— Ах ты, боже мой! Ах ты, господи, в самом деле!..— забормотал Климушка, и повеселевшие глаза его засверкали огнем, свойственным только молодости.

Заметив вдали цепь плугов и борон — там на краю массива копошилась одна из бригад «Интернационала»,— Климушка, вдруг привскочив на стременах, припугнул плетью конька и поскакал намётом к бригаде. Сердце его по-молодому буйно колотилось в груди. В ушах стоял звон. Радостный, он вихрем летел на резвом коньке вдоль межи и почувствовал себя так, как чувствует всадник во время степной байги, далеко оставив позади себя соперников — участников скачки.

...Целый день не уходил затем Климушка из бригады. Удивляя всех хозяйственной распорядительностью и деловитостью, Климушка суетился около плугатарей. Он измерял глубину пахоты, строго прикрикивал на бороноволоков, держал себя по-хозяйски сурово и строго. Он ревниво присматривал теперь за каждым из плугатарей и все боялся, как бы не оставили они где огрехов на бывшей его полосе. Он почему-то особенно не доверял Бектургану, который пахал двухлемешным плугом. Климушка подбегал к Бектургану, поправляя на ходу сбрую на лошадях, и наставительно говорил плугатарю:

— Ты у меня смотри, гражданин, как следует землю паши. Ты у меня как следует робь на моей пашне...

— Постараемся, дед. Постараемся,— говорил, улыбаясь ему, Бектурган, отлично понимавший причину Климушкиного волнения.

Пахота шла теперь круглые сутки. Поставленных на хлебный откорм поправившихся лошадей перевели на три сменные упряжки. Но если не подводило тягло, то начали сдавать люди. Все чаще и чаще валились с ног недоедавшие и недосыпавшие ребята из комсомольской бригады Егора Клюшкина. Заснул как-то и сам бригадир, присевший среди борозды переобуть стертые ноги. Заснул и чуть было не попал под борону Кенки. И только степные пастухи и подпаски удивляли всех нечеловеческой выносливостью. Сутулые и неторопливые, упрямо ходили они за плугами, цепко вцепившись в поручни. Веяло от них силой и здоровьем. Люди, пропитанные потом и пылью, с воспаленными от бессонницы глазами, продолжали трудиться тем более исступленно и зло, чем ближе они были к заветной цели — к завершению пахоты.

Мужики, крадучись друг от друга, таскали по ночам коням скупые хлебные объедки, пригоршни ржаной муки и отрубей. Не знал покоя и Луня, повеселевшая кобыленка которого вернулась с отгула в бригаду. Поправившись на вольном выпасе, кобыленка бойко ходила в бороне. Однако старик по-прежнему побаивался, как бы она не подвела и не опозорила его. Вот почему Луня зачастую лишал себя за обедом и ужином последнего куска хлеба.

И Климушка, выпросив у Романа дневную подмену, тоже целые дни проводил в бригаде, возвращаясь к своим коням в степи только после вечерней упряжки. Сменив на посту дневного конского пастуха, старого Койчу, Климушка стерег по ночам табун отгульных лошадей. Засыпая в траве коротким, отзывчивым на побудку сном, старик чутко прислушивался к малейшему шороху и звуку. Голова его гудела от беспокойных, горячих мыслей. Даже в минуты короткого сна и отдыха не переставал думать Климушка о перепаханной и засеянной артелью пашне. Не понимал еще разумом Климушка, но чувствовал сердцем, что завершился какой-то этап в невеселой его жизни и что в новую полосу вступил он теперь, неожиданно обнаружив свою пашню перепаханной и засеянной.

Непривычное чувство владело Климушкой, впервые в жизни испытывал он то, что, кажется, можно было назвать незнакомым ему смолоду счастьем.

26

Смеркалось.

Над степью тянуло горьким дымком кизячных костров. Ни на минуту не умолкал самозабвенный перепелиный бой в траве, тронутой вечерней росою.

Плугатари бригады Егора Клюшкина кружились на последнем заезде, допахивая участок. Измотанные, еле-еле двигавшиеся лошади заступали на поворотах в постромки, храпели и, выбиваясь из последних сил, тянули за собой глубоко взрыхлявшие целину плуги. А утомленные пахари, крепко вцепившись в поручни плугов, упрямо шагали глубокими бороздами, с трудом волоча тяжелые, точно налитые свинцом ноги.

Климушка, сменив занемогшего Кенку, боронил следом за плугом Аблая. Запряженный в борону усталый жеребенок Аблая то и дело останавливался, готовый в любую минуту повалиться на землю. Климушка, дав немного передохнуть коньку, ласково хлопал его по взмыленной холке и тепло говорил:

— Ну, ничего, ничего, дружок. Давай поднатужимся. Совсем немного осталось. Ишо круг-два, и бабки с кону!..

И жеребенок, точно вняв ласковым словам старика, покорно брел по взрыхленному полю, волоча непосильно тяжелую борону.

Уже совсем поздно бригада, закончив упряжку, возвращалась с пашни к полевому стану. Роман, как всегда, хлопотал около сеялки, регулируя рычаги, подтягивая ослабевшие за день работы болты и гайки.

Увлеченный работой, Роман вздрогнул от знакомого окрика:

— Гражданам колхозникам мое почтение! Сорок одна с кисточкой, так сказать!

Резко обернувшись, Роман увидел перед собой четырех точно выросших из-под земли всадников. Пламя весело бушующего рядом костра освещало их. Впереди красовался прямо сидевший в новеньком кавалерийском седле Иннокентий Окатов. Позади него милиционер Левкин, Силантий Пикулин и подслеповатый Анисим.

Климушка услышал поднявшийся на стане необычайный гвалт и шум. Уловив гортанный, пронзительный крик Аблая, Климушка тотчас же бросился к стану и увидел ярко озаренную костром плоскую, ненавистную спину

Силантия Пикулина. Ему сразу все стало ясно. Он понял зачем пожаловали сюда незваные гости. Вне себя от озлобления против этих людей, Климушка, бросившись с разлета в толпу товарищей по артели, заорал не своим голосом:

— Что вы на них смотрите, варнаков? Гоните их, ребята, ради Христа отсюда в хвост и в гриву!

Но гневный крик Климушки потонул в не менее гневном гуле разноязыкого хора артельщиков «Интернационала». Роман стоял около сеялки и, крепко вцепившись руками в колесные спицы, тяжело и отрывисто дыша, молча смотрел на окаменевшего в седле Иннокентия Окатова. Луня с бригадиром Егором Клюшкиным, взобравшись на корпус сеялки, кричали каждый свое, потрясая в воздухе кулаками. Другие члены артели окружили сеялку.

— Не дадим!

— Костьми ляжем.

— Катитесь отсюда, пока целы, подобру-поздорову!

— В драку пойдем, кулаки чертовы!..

Климушка, прорвавшись вперед, подлетел к всадникам и в мгновение ока сдернул с седла оторопевшего Силантия Пикулина.

— Ага, подлецы! Сеялку у нас отбирать приехали?

Михей Ситохин, прижав к бричке Силантия Пикулина, допрашивал его:

— Ты что, кулак чертов, в колхозные массы зашел? Отвечай мне кратко!..

— Все там будем, Михей...— бормотал Силантий Пикулин.

— А контролку платить не хочешь?! А на выселки с хутора не пойдешь? Я тебя спрашиваю?!

Роман попытался угомонить разбушевавшуюся толпу. Но люди плохо его слушались. Они, обступая зажатых в глухое кольцо Иннокентия Окатова и милиционера Левкина, наседали на них.

— Всю жизнь наскрозь на нас, сукины дети, ездили и опять оседлать хочут!

— Нет, крышка — хватит!..

— Нас голыми руками не хватай — обожжешься!

— Мы сами — самостоятельная сила!

— Артельная!

— Не давать им, ребята, сеялку!

Милиционер Левкин вдруг заерзал в седле, расстег-

нул кобуру, пытаясь обнажить наган. Но Егор Клюшкин, подпрыгнув, ловким ударом выбил из рук побледневшего милиционера оружие и закричал:

— Что-о, стрелять в нас собрались? Бей их, кулацкое отродье!

Иннокентий Окатов, привстав на стременах, попытался перекричать толпу:

— Вы идете против вышестоящих органов?! Против законных распоряжений власти?! Я вас...

Но, не закончив фразы, Иннокентий поставил жеребца на дыбы и, пришпорив его, прорвал разомкнувшееся кольцо толпы. Мгновенно, как привидение, он исчез в вечернем сумраке. А милиционер Левкин, пронзительно взвизгнув, мигом вылетел из седла и закрутился, как волчок, в ногах набросившихся на него артельщиков.

Роман, увидев, какой неладный оборот принимает дело, лихо работая локтями, прорвался сквозь толпу и, заслонив собой присевшего на корточки, трепетавшего, как осиновый лист, Левкина, властно крикнул:

— Не сметь, товарищи, трогать его! К порядку!

Толпа слегка отступила и выжидающе замерла. На минуту стало так тихо, что послышалось потрескивание сухого хвороста в костре и порывистое дыхание все еще не пришедшего в себя милиционера. Немного помедлив, Серафим Левкин несмело поднялся на ноги, поправил сбившуюся кобуру и, вытянув руки по швам, стал, как в строю, перед Романом. Стояли навытяжку перед колхозниками и Силантий Пикулин, и подслеповатый Анисим.

Наконец Роман глухо проговорил:

— Вот что я доложу вам: сеялки нашей вашему брату не видать как своих ушей. А потому сидайте на рысаков и улепетывайте, пока целы...

Серафим Левкин, нерешительно потоптавшись на месте, бросился к покорно стоявшему в сторонке коню. Второпях Левкин долго не мог попасть ногой в стремя и, наконец кое-как взобравшись на лошадь, сначала шажком, а потом в карьер помчался прочь от озаренного мятежными кострами полевого стана.

Следом за Левкиным поскакали Силантий и Анисим. Колхозники «Интернационала» проводили беглецов торжествующим улюлюканьем и озорным свистом.

Подпасок Ералла поднял оброненную Иннокентием Окатовым роскошную фуражку с малиновым околышем

и, лихо нацепив ее набекрень, спрашивал в сотый раз Кенку:

— Джексы я — джигит, хороший я парень, Кенка, или нет?

— Джексы. Джексы. Парень на все сто процентов!— уверял его Кенка.

27

Епифан Окатов бродил по хутору как будто чем-то обиженный. Поник он головой, замкнулся, опустил очи долу и выглядел — словно сломленный недугом. Хуторяне при встрече кланялись ему и робко осведомлялись:

— Ну, а как колхоз-то новый живет-может? Небось заворачивает — колеса трещат!

Епифан скреб пятерней пепельную, давно не чесанную бороду и говорил со слабоватым, глухим смешком, какой бывает нередко у престарелых людей, утративших былые радости в жизни:

— Ах, колхоз? Да ничего, бог с ним. Ничего колхоз. Колхоз в силе...

— Спорится дело, значит? В гору идет?

— В гору — не под гору, гражданы хуторяне. В гору!— глухо бубнил Епифан.— Да и как не спориться делу, скажите на милость? Там тыщи машин — разных садилок, сеялок, веялок. Там же — страшная у людей в руках сила!

— Сила...— поддакивали некоторые мужики.

А Епифан, словно спохватившись, скороговоркой бубнил:

— А ведь я тут совсем ни при чем, гражданы хуторяне. Да. Совсем ни при чем. Я ведь — отрезанный ломоть. Это сынок орудует. Сынок!— повторял он, делая ударение на последнем слове.

Пикулинские снохи, заводя разговор с Епифаном Окатовым об Иннокентии, завистливо говорили:

— Ну и сынок! Это не сынок, а просто клад.

— Клад с золотом...

— Да, да,— подтверждал Епифан.— Молю за его здоровье господа бога. Да, бабы. Послал мне господь чадо...

Все чаще и чаще заглядывал теперь вечерами Епифан Окатов к Линке. Он подолгу засиживался на широкой кухонной лавке, о чем-то сосредоточенно думал.

Линка, сидя напротив него, тоже молчала. Во время окатовских визитов она бралась за рукоделие и, бойко работая длинной металлической иглой, занятая вязаньем сложных узорчатых кружев, изредка искоса поглядывала на старика, словно пытаясь прочесть на его бесстрастном лице сокровенную тайну.

Однажды Линка, подняв на притихшего в углу Епифана Окатова серые задумчивые глаза, неожиданно спросила его:

— А вам не жалко дома?

Епифан встрепенулся, удивленно огляделся вокруг и как будто внутренне вспыхнул. Но, вспыхнув, тотчас же погас и глухо ответил:

— Нет. Помилуй бог. Ничуть. Нисколько.

Линка не ожидала такого ответа и почему-то несколько оробела от него. Она испытывала такое чувство, точно ее кто-то зло исподтишка уколол под самое сердце. И странно — вновь ощутила она чувство глухой неприязни к этому человеку. Убежденная в его двойственности, она совсем по-иному, чем прежде, принимала каждое слово Окатова. А Епифан, точно заметив ее подозрительные и недоверчивые взгляды, начал резко меняться у нее на глазах и, как Линке казалось, с каждым днем становился все циничней, грубей, язвительней.

И вот случилось так, что оба они — Епифан и Линка — прониклись чувством взаимной вражды и взаимного недоверия. Но старик по-прежнему навещал Линку по вечерам, подолгу просиживал, молчаливый, то в классе, то в Линкиной комнате. Визиты молчаливого старика были неприятны Линке, но она не находила мужества сказать ему об этом. Она знала, что он приходил в собственный дом, и в присутствии его робела, не чувствуя себя под крышей школы полновластной хозяйкой.

В самый разгар сева, когда опустел хутор,— все от мала до велика были в поле, на пашне,— пожаловал Епифан Окатов однажды к местному кузнецу Лавре Тырину с литровой бутылкой водки. Кузнец, прозванный хуторянами «регентом»,— он искусно совмещал кузнечное ремесло с руководством церковным хором — обрадовался даровому угощению Епифана. Выпив стакан свирепого первача, Лавра Тырин начал шумно клясться Епифану в любви, смутно догадываясь, чего от него хотел старик. В разгар их пирушки в кузницу влетел

пыльный, запыхавшийся Михей Ситохин с поломанным рычагом от сеялки и начал умолять кузнеца как можно скорее сварить рычаг.

Лавра Тырин объявил Михею:

— Недосуг. Закрываю кузницу, во имя отца и сына!

— Что ты, бог с тобой, Лавра Никитич,— взмолился Михей Ситохин.— Поимей божеску милость... У нас дело не терпит. Сам понимаешь — страда... Сев в разгаре, а у нас сеялка стала...

— Ну, не единым делом тварь живуча...— пробормотал кузнец, вывешивая на двери пудовый замок.

Напрасно Михей Ситохин гнался потом за кузнецом по улице и просил, молитвенно прижимая к тощей груди обнаженные загорелые руки:

— Лавра Никитыч! Да мы тебя век не забудем. Уважь, регент! Богом клянусь, мы тебя после сева как подлеца напоим. Ведро первача поставим. Не наводи на грех, ради бога, наш бедняцкий «Интернационал». Посочувствуй пролетарско-батрацкому нашему классу. Ты ведь и сам от нас недалеко ушел, хоть ты и регент...

Но кузнец был неумолим. Он шел вдоль улицы рядом с Епифаном Окатовым и даже не отвечал на полуслезные просьбы Михея.

Наконец убедившись в чудовищном вероломстве вчера еще как будто преданного и верного артели кузнеца, Михей Ситохин, отстав от него, злобно погрозил вслед кулаком и сказал:

— Ну ладно, сволочь! Будет и на нашей улице праздник. Придет такое время. Мы тебе все припомним! И тебе, регент, и всем этим выродкам!

Михей Ситохин отлично понимал, с какой целью явился к кузнецу Епифан Окатов с даровым угощением. Он легко и просто соблазнил жадного на выпивку регента. Ясна была Михею и та роль, какую играл изворотливый и хитрый Епифан на хуторе, выдавая себя за безобидного, смирного старика.

Полдня, до самого вечера, бродили по хутору в обнимку подвыпившие Епифан и Лавра Тырин. Затем к ним примкнули Аристарх Бутяшкин и председатель Совета Корней Селезнев. Вчетвером, примостившись на церковной паперти, они долго горланили излюбленные кузнецом церковные песнопения. Корней Селезнев, не

знавший ни слова из этих духовных песен, то и дело кричал, разбивая нестройный хор:

— Хватит духовные. Давай заводи, братцы, мирскую! Вот, например, «Ехал с ярманки ухарь-купец»! А?!

Но кузнец грозил кулаком и, выпучив глаза, тянул:

— Иже, херувимы, тайно образующе...

Затемно вновь пожаловал Епифан к Линке. Линка приготовилась уже ложиться спать.

Епифан Окатов, как всегда — не постучавшись, шумно распахнул дверь.

— Мое почтение, сношка!

— Вы — что?!— удивленно спросила Линка.

— Здравия желаю, говорю, сноха!— еще развязнее повторил Епифан.

Затем, покачнувшись на неверных ногах, он прошел вперед, опустился на табуретку и, не сводя с Линки наглых глаз, произнес:

— А что ты дивуешься на меня? Да. Я пришел к будущей снохе, в собственные хоромы!..

— Простите, но вы просто пьяны!— проговорила возмущенная Линка.

— Ну нет, брат, сударыня. Меня не скоро споишь,— сказал Епифан, продолжая разглядывать Линку остекленевшими глазами.

— Нет, вы очень пьяны. Очень. И я прошу оставить меня в покое. И вообще, вы забываете, гражданин Окатов, что здесь школа!— твердила в смятении Линка.

— Нет, врешь, сударыня!— крикнул Епифан Окатов, вскакивая с табуретки.— Врешь, сударыня. Не школа — мой собственный дом. Он мне встал в одну тысячу восемьсот пятьдесят два рубля золотой монетой в довоенное время! Его мне строил знаменитый курганский подрядчик Ксенофонт Куркин. Понятно? Это он построил церковь архистратига Михаила в станице Пресновской и четыре крестовых дома скотопромышленнику Афоне Боярскому. Жулик! Но мастер-золотые руки! Да и как мне его забыть? Ведь он увез в город Екатеринбург мою волчью доху с касторовым верхом. Э, какая это была доха! Я ездил в ней от Каркаралов до города Петербурга в самую лютую стужу. Это в ней я гонял тысячные гурты рогатых и имел великие барыши...

С грохотом, зацепив пустое ведро, спрыгнула с печки Кланька. Заспанная, в одной грубой холщовой рубахе,

разодранной на спине, она ринулась с пудовыми, как кувалды, кулаками на Епифана.

— Выдь отсюдова, жаба!— крикнула Кланька громоподобным басом.

Отпрянув от косяка, Епифан поднял указательный палец и проговорил:

— Не пугай меня, дама в исподней рубахе!

— Выдь отсюдова, жаба, пока я через поганый твой рот за твоей душой не слазила!— загремел еще сильнее Кланькин бас.

— Не играй на слабых нервах моих, Клавдия!— проговорил Епифан.— Ты забываешь, что я под собственной крышей стою. Я сим хоромам хозяин или не я?!

— Нет, не ты! Не ты! Не ты, выродок!— хрипела Кланька, надвигаясь на него могучей грудью.

— Ах так!— кричал Епифан, невольно пятясь от Кланьки.— Ах так, бездомные шлюхи! Я покажу вам, чей это дом. Я обратно приношу его в жертву под контору колхоза «Сотрудник революции». Бескорыстно, как Иисус Христос! Вам это, дурам, понятно?!

Но Кланька с такой силой съездила кулаком по багровому от гнева и хмеля лицу Епифана Окатова, что тот, не охнув, задом вылетел в распахнутую дверь и, прогрохотав по крылечку, в мгновение ока очутился на улице.

Только тут Линка немного пришла в себя. Перевела дыхание. Зло покусывая конец косынки, она мысленно рассуждала с собой: «Как он смел? Как он смел назвать меня снохой?! Откуда он взял это? Что он обо мне думает?!» Она не знала, что ей делать — пойти ли в Совет и пожаловаться там на непристойное поведение Епифана Окатова или набраться решимости — броситься со всех ног в степь, туда, к Роману, рассказать ему обо всем. Но о чем она могла рассказать теперь ему? Как рассказать? Какими словами поведать ему, что пережила она за полные смятения и тревоги дни?

Линка долго стояла в полузабытьи, так и не решив ни одного из этих сложных для нее вопросов.

28

Нелегко было боронить ребятам поднятую целину. Деревянные бороны, скользя поверху, только слегка, как гребешками, причесывали тяжелые пласты, не взрыхляя

как следует землю. Тогда решено было боронить сперва вдоль, затем поперек — в четыре следа. Вот уж нет ничего утомительнее и скучнее на свете, как кружиться бороноволоку день-деньской по одному и тому же следу! Ездишь, ездишь взад-вперед, отекут, одеревенеют согнутые в стременах ноги, наберешь полный рот пыли и земли, перепоешь все на свете знакомые песни, передумаешь все думы, а взглянешь на противоположную межу — по-прежнему далека еще она от тебя, далека и недоступна.

Подпасок Ералла, занятый боронованием поднятой целины, то и дело деловито поглядывал на поворотах назад, по-хозяйски следя за передвижением «барашка» на бороне и весело перемигиваясь со своим напарником Кенкой. Кенка ездил на куцей Луниной кобыленке следом за Ераллой. Давным-давно наскучило обоим бороноволокам это утомительное дело — продольное и поперечное боронование в два следа. И вот они договорились схитрить, ускорить работу. Вместо того чтобы повернуть во второй раз по старому следу, они шли новым следом. Но тут, как на грех — на беду, принесла нелегкая вездесущего бригадира Луню. Заприметив жульничество подростков, старик налетел на них коршун коршуном.

— Вы что это надумали, варначье, колхоз без хлеба оставить?! Я вам покажу, как на артельной пашне мухлевать! Вот погодите, донесу на вас председателю, он с вас, лиходеев, подштанники-то на меже снимет!— шумел на смущенных ребят Луня.

Разоблаченные в плутовстве бороноволоки, прикусив языки, поспешили исправить свои грехи, побожившись перед придирчивым бригадиром не хитрить. Луня пообещал не выдавать их проделок Роману.

Ребята не рисковали больше жульничать с боронованием. Но обидевшийся на своего бригадира Ералла не преминул тут же сочинить про него бесхитростную частушку-побаску. И когда Луни на глазах у ребят не было, они лихо напевали, покачиваясь в стареньких седлах:

Ай, кудай, кудай, кудай,
Худой Лунюшка бабай,
Сам он песни не поет,
Нас ругает и дерет!

А Луня, с трудом передвигая ноги по взрыхленной пашне, то и дело подбегал к своей выбившейся из сил кобыленке, ласково хлопал ее по взмыленной холке и уговаривал:

— Подбодрись, подбодрись, голубка. Ты только погляди — пшик боронить нам осталось. Ей-богу, пшик. Это ведь только на глаз кажется много, а на самом-то деле чепуха...

И, тяжело раздувая ноздри, обливаясь потом, кобыленка натягивала в струну постромки, волоча за собой тяжелую борону. А Луня, вытрясая на заворотах забитые сорняком бороны, вновь принимался подсчитывать число оставшихся заездов. Впрочем, подсчитывал не только один бригадир. Подсчитывали это и все бороноволоки. И всем им казалась эта последняя полоса бесконечно огромной, а поднятая плугами целина — на редкость черствой и неподатливой.

Между тем Игнат Бурлаков во время этого тяжелого боронования залежей вторые сутки слонялся от межи к меже и, окидывая взглядом сплошные черные массивы поднятых залежей, никак не мог определить, где же среди них была собственная его земля? Сколько ни присматривался Игнат к сплошному, отлично разборонованному массиву, а определить свою маленькую полосу, перепаханную вместе с соседними чужими полосами, он так и не мог. Жалко было Игнату свою полосу! Немало трудов положил он на ее разработку в позапрошлом году. Хороший надеялся снять хлеб с этой полосы и нынче. И вот нет теперь его полосы. Потерялась она в огромном, сплошном массиве.

Вечером, посасывая около костра трубку, Игнат не утерпел и завел с Климушкой разговор про землю.

— Как ты думаешь, сосед, отыщу я теперь, как поднимется хлеб, заветную полоску?— спросил Игнат.

— Трудное это дело...— уклончиво ответил Климушка.

— Я тоже думаю — нелегко. Только, не поверишь, как мне ее, Христовую, до слез жалко. Сердце горит!

— А чем она у тебя знаменита, твоя полоса?

— Как так — чем! Да у меня ж — залежная жнива. На ней хлеб стеной встанет, ежели урожай бог даст. А по другим землям такого хлеба в артели не будет.

— Ну и что же потом?

— Как что же потом?! А как мы хлеб делить станем?

На твоей полосе, к примеру, сто пудов, а на моей двести ахнет!

— Ну, цыплят по осени считают,— философски заключил Климушка.

— Это правильно — по осени считают. Только непорядок урожай на всех поровну делить, раз земля у нас разная...

— Ну, ты мне эти побасенки про землю оставь! Знаешь, дело теперь артельное, и наши с тобой полосы ни при чем. Понял?— строго взглянув на Игната, сказал Климушка.

— Вникаю...

— А вникаешь — помалкивай. И греха из-за своей полосы в артели не заводи. Мы с тобой тут равные члены. Вот как.

Климушка готов был уже произнести длинную нравоучительную речь насчет равноправия членов артели. Но, завидев проходившего мимо Романа, он, встрепенувшись по-птичьи, бросился к председателю. Настигнув Романа, Климушка, виновато улыбаясь, заглянул в его утомленное, черное от пашенной пыли лицо и сказал:

— В ножки к тебе, председатель.

— Что такое?

— Меня, слышь, всей артелью уполномочили словесное прошенье тебе подать. Ведь сев-то идет к концу.

— Да, кончаем,— удовлетворенно проговорил Роман, озираясь на чернеющие вокруг массивы посевных площадей артели.

— Ну вот видишь. Выходит, что мы именинники!

— Правильно. Так, дядя Клим, выходит...

— Не мы именинники, посев именинник,— поправился Климушка.

— Ну, факт...

— А раз посев именинник, то и смочить его нам не грех. Прадедами и дедами заведено. Не резон и нам нарушать вековые обычаи хлеборобов!

— Ах, вот ты о чем!— сказал, улыбнувшись, Роман. Но тут же строго добавил:— Нет, уж на этом вы, дорогие товарищи, извиняйте. Расходов на артельную выпивку в нашей смете не значится.

— Ну это, председатель, не твоя забота. Тут артельные дивиденты ни при чем. Мы уж как-нибудь и без артельной кассы обойдемся. У нас, брат, тут все чисто

уже обдумано...— сказал Климушка, выжидающе заглядывая в улыбающиеся глаза Романа.

Напрасно Роман, отнекиваясь и отмахиваясь, старался отвязаться от Климушки. Бобыль, ни на шаг не отставая от Романа, продолжал донимать его:

— Ты уж не перечь, председатель. Поимей снисхождение к трудящимся массам... Не ломай дедовского закона. Нарушишь обычай — добру не бывать.

— Дурных обычаев много...

— За дурные мы не стоим. Мы — за хорошие. Сам знаешь, через какую каторгу прошли. Имеем мы право попраздновать?

— Не знаю я, дядя Клим...

И Климушка понял, что председатель не станет перечить воле колхозного народа. Вот почему он, тотчас же отстав от Романа, незаметно ускользнул от него к притаившимся за соседним стогом прошлогоднего сена мужикам, дожидавшимся здесь результатов его дипломатических переговоров с председателем.

— Ну как? Уломал?— шепотом спросил его Михей Ситохин.

— Запрягай поживее коня. Ставь на телегу флягу да на хутор.

— А не мало будет одной фляги?

— А я еще кроме фляги пару ведерных лагунов прихвачу. Не беспокойся. Соображаю...— проговорил Михей Ситохин, деловито засуетившись около телеги.

29

Сеялка кружилась на последнем заезде. Таял на глазах незасеянный квадрат поднятой целины. Охватывало Романа непривычное, все возрастающее волнение. Громче, возбужденнее обыкновенного покрикивал он на лошадей, на плугатарей, на бороноволоков. И вместе с тем Роман чувствовал какое-то смущение, не осмеливался оглядываться на шагающих за ним по пятам свободных уже от дел членов артели. Сюда, на массив, где заканчивался посев, собралась почти вся артель — от мала до велика. И люди, точно не веря своим глазам, кружились окрест массива поднятой и засеянной целины, дивясь отличной обработке его и размерам.

Над степью шумел весенний день. Казалось, звонче обычного звенели жаворонки, жарче горело, играя пото-

ками света, солнце. И мнилось, что не будет конца этому дню и этим, таким уже близким к завершению работам.

Роман, неотступно шагая за сеялкой, на ходу регулировал ее рычаги и по-хозяйски строго следил за работой высевающего аппарата.

И вот пробил заветный час! Мгновение, о котором так нетерпеливо думали Роман, Мирон Викулыч, Аблай и Клюшкин, и все члены артели,— это желанное мгновение настало!

Над степью прозвучал певучий и гулкий, как колокол, крик команды:

— Сто-ой!

И Роман вскочил с проворством акробата на корпус остановившейся сеялки, сорвал с себя запыленный рваный картуз и победно закричал:

— Все! Конец, дорогие товарищи! Отсеялись! Поздравляю вас с первой колхозной пашней, с первой нашей большевистской весной! Ура, товарищи!

Толпа окруживших Романа членов интернациональной артели, на мгновение всколыхнувшись, как вздыбленный морской вал, откликнулась на призывный клич председателя дружным торжествующим ревом:

— У-р-ра-а!

Над степью, над порозовевшими вдали от заката озерами, над черными, как вороново крыло, массивами поднятой целины, над невнятно синеющими вдали курганами и березовыми перелесками плыл, разрастаясь, могучий гул этого победного крика:

— Ур-ра-а!

— Ур-ра-а!

Над обнаженными головами утомленных, но счастливых людей мелькали подбрасываемые кверху потрепанные картузы хуторян и не менее жалкие тюбетейки бывших степных кочевников.

Вдруг чьи-то упругие, сильные руки легко подхватили Романа, и вот он взлетел высоко в воздух. Все выше и выше взлетал, как на крыльях, Роман над толпой, бережно принимавшей его молодое тело на простертые руки и снова легко и радостно подбрасывающей его кверху.

Потом Егор Клюшкин и еще несколько подоспевших к нему на помощь казахов подхватили Мирона Викулыча.

— Качать дядю Мирона!

— Мирона! Мирона!

— Викулыча! Викулыча!— снова, подобно взрыву, грянули дружные голоса.

Но Мирон Викулыч, вырвавшись из цепких рук Егора Клюшкина, бросился наутек с несвойственной ему резвостью. Однако его тотчас же нагнали около соседней межи Ералла с Кенкой и еще несколько подростков. Ребята, окружив Мирона Викулыча, пытались схватить его. Но старик стойко, не даваясь им в руки, твердил с напускной угрозой:

— Не подходи, варнаки! Вот напали на старика! Да я-то тут при чем?!

— Мы тебя качать будем высоко, как самого председателя!— сказал Ералла, продолжая наступать на растерявшегося Мирона.

— Не подходи. Не лезь лучше, а то ударю,— сердился Мирон Викулыч, обороняясь от назойливых ребят.

Вблизи сеялки уже качали Аблая. Он взлетал над ликующей толпой, похожий на огромную птицу в ветхом своем чекмене, полы которого трепетали, как распростертые крылья. Ему казалось, что он взмывал под самые облака. И у него захватывало дыхание, замирало сердце, кружилась в жарком хмелю голова.

А к вечеру, когда все члены интернациональной артели собрались вокруг весело полыхающего костра на полевом стане, Михей Ситохин торжественно поднес Роману жестяную кружку водки. Низко поклонившись председателю, Михей сказал:

— Покорнейше прошу, Роман Егорыч, уважь честную нашу компанию.

Роман, смущенно озираясь вокруг, не решался взять кружку. Но члены артели вновь заговорили сразу все, хором:

— Пей, председатель!

— Не ломай стола...

— Не нарушай исконных порядков...

— Выпей за именинников, за наш артельный посев!

— Да ведь я ее, граждане, не очень-то уважаю,— пытался отнекиваться Роман.— Пусть пьют старики. А мы, комсомольцы, повременим. Мы — напоследок...

— Нет, извиняйте на этом. Извиняйте. Возражаю, — говорил с притворной строгостью Михей Ситохин, наступая с кружкой на Романа.

И наконец подчинившись воле коллектива, Роман принял из рук Михея кружку.

Наступила тишина.

Роман приподнял кружку над головой, и широкая улыбка осветила его усталое, запыленное лицо.

— Так с чем нас поздравить, дорогие мои товарищи?— спросил он.

— С именинником,— снова низко в пояс поклонившись Роману, ответил Михей Ситохин.

— С дорогим праздником,— в тон Михею Ситохину подсказал Климушка.

— Ну, тогда будем здоровы. Пью за вас, верные друзья и товарищи. За такой народ, за его труд выпить не грех. Это, в общем и целом, я хорошо понимаю. Спасибо вам за все, дорогие мои товарищи!— сказал Роман и при всеобщем выжидательном молчании членов сельхозартели легко осушил кружку до дна. Он выпил водку, не почувствовав неприятного запаха сивухи, которого до сих пор не мог переносить даже на расстоянии. А выпив, ничем не закусывая,— да закуски-то, кстати, никакой и не было,— тотчас же присел на тележный одер, сброшенный с передков, и в то же мгновение почувствовал, как качнулась, поплыла под ногами земля. Он смотрел на мужиков, толпившихся около брички, на казахов, на хуторских ребят-комсомольцев, шумно чокавшихся железными кружками, и сердце его пело от неслыханной радости, от гордости за себя, за этот оборванный, усталый, полуголодный, но не унывающий народ. Все его тело, скованное усталостью, вдруг обрело привычное ощущение легкости, здоровья и молодости. Но в голове его зашумели золотые шмели. Мысли путались. «Вот хватил на голодный желудок — и пьянею, как собака. Пьянею...»

Все веселее, все яростнее полыхал на стане, точно тоже охваченный хмелем, костер. Кругом стоял возбужденный, беспорядочный говор и шум. Кто-то уже клялся крестом, богом и матерью в любви. Кто-то пробовал завести песню. Где-то глухо завыла, зарокотала старая степная домбра. Над полевым станом поплыла печальная песня кочевника. А Роман, сидя на тележном одре, медленно покачиваясь из стороны в сторону в такт этой песне, слушал ее с закрытыми глазами. И почему-то напомнила Роману эта протяжная, гортанная песня, исполняемая старым Койчей, о том, как падали в запряжке истощенные, выбившиеся из сил лошади артели, как

валились с ног после вечерних упряжек полуголодные люди, замертво засыпая у вечерних костров.

Егор Клюшкин выволок откуда-то старенькую с колокольчиками тальянку и, примостившись на перевернутом кверху дном ведре, развел мехи. Гармошка взвизгнула, зазвенев колокольчиками, и на круг выскочил Михей Ситохин. Подвыпив, он раскраснелся и казался помолодевшим. Молодецки топнув, а затем присев, Михей трижды обошел вприсядку гармониста. Затем на круг вихрем вылетели Ералла и Кенка и лихо прошлись под одобрительные возгласы зрителей в такт плясовой музыке. Не удержался и Луня. Он, по-бабьи хлопнув в ладоши, тоже прошелся, подпрыгивая, вокруг костра.

А минуту спустя ударилось в неудержимый, озорной пляс, ходуном заходило все становище. Мирон Викулыч, подсев на корточках к гармонисту, выбивал пальцами плясовую дробь по дну подвернувшегося под руку ведерка и прикрикивал, подзуживая пляшущих веселой скороговоркой:

Пошла плясать —
На ногах опорки.
Дома нечего кусать —
Сухари да корки!

Михей Ситохин сразился в азарте пляски с подпаском Ераллой. Выбившись из общего круга, они уже на отшибе один на один разделывали самые замысловатые, головокружительные коленца. То они плашмя падали на животы, то стремительно мчались по кругу вперегонки на коленках, то колесом вертелись через голову. Когда-то все эти молодецкие приемы замысловатой пляски были по силе молодому и подвижному Михею. Но сейчас он заметно сдавал, срывался. А подпасок, как назло, повторял за ним все его плясовые выкрутасы с непостижимой, завидной ловкостью, и Михей, видя это, даже трезвел от зависти.

Бойко перекликались лады старенькой гармони. Звенели озорные ее колокольчики. Лихо ударяя в ладоши, подпевал скороговоркой, прохаживаясь вприсядку вокруг костра, Кенка:

Чепуха, чепуха,
Это просто враки;
Лаял бай с кулаком,
А я думал — собаки!

И только старый Койча не принимал участия в буйном веселье. Он сидел у костра, отрешенный и мудрый. Запрокинув обнаженную седую голову, смотрел он на розовое предзакатное небо и, покачиваясь, вполголоса распевал печальные, как осенний ветер над степью, песни, у которых не было конца, как не было, казалось, и начала.

30

Роман приехал на хутор в сумерках. Вез его на своей кобылке Луня. Стоя в передке телеги, свирепо размахивая вожжами, захмелевший Луня орал:

— Милашка, ветер! Грабят!

И кобыленка, боявшаяся этого тревожного хозяйского крика, мчалась что было сил, словно пыталась выскочить из коротких оглобель. Временами на крутых дорожных скатах передняя ось била ее по ногам, и лошадь, шалея, летела сломя голову. Колеса лунинской тележонки то и дело выскакивали из колеи, точно норовили сорваться с осей и раскатиться по степи в разные стороны.

С диким свистом и гиком влетел Роман на улицу, всполошив весь хутор столь шумным появлением.

У крыльца Совета толпился народ. На резных перилах сидел щеголеватый парень в пестром шелковом кашне, перекинутом через плечо. Это был агитпроп райкома комсомола товарищ Коркин. Завидев мчавшихся на жалкой телеге явно подвыпившего седока и оравшего не своим голосом еще более нетрезвого возницу, Коркин, близоруко приглядываясь к ним, спросил с ухмылкой:

— Это, собственно, что за дивертисмент на колесах?

— А это наш комсомольский актив запировал в союзе с отпетым гулякой и лентяем,— ответил, хихикнув, Аристарх Бутяшкин.

— Позвольте, как комсомольский актив?!— вскакивая с перил, крикнул запальчиво районный агитпроп.

— Ну да, комсомольский актив. Секретарь местной комсомольской ячейки товарищ Роман Каргополов.

— Лыка не вяжет, бедняга. Ни тяти, ни мамы не выговорит,— вставил Корней Селезнев.

— Вот именно. Пьяным-пьяно. Хоть, понимаешь, выжми! Видали, как у нас на хуторе социализм строят!—

сказал, вежливо улыбаясь Коркину, Аристарх Бутяшкин.

— Интересно...— глубокомысленно сказал Коркин, небрежно поправляя перекинутое через плечо кашне.

На повороте Роман выпрыгнул на ходу из телеги и удержался на ногах, инстинктивно ухватившись за изгородь. Его заметили стоявшие на перекрестке бабы.

— Батюшки, комсомол-то наш нализался!..

— Вдребезги!

— На ногах, христовый, не держится.

Роман отлично слышал издевательские бабьи слова и насмешки, но не подал вида, что слышит. Сосредоточенно глядя себе под ноги, он шел, стараясь шагать ровнее и тверже.

Нет, не совсем прочно и уверенно держался он сейчас на ногах! А ведь ему надо было идти к Линке, в школу. Да, да. Именно туда он должен идти сейчас. Именно за этим он и приехал на хутор. Он непременно должен увидеть ее. Ведь он заслужил, выстрадал право на эту давно желанную встречу с девушкой. И Роман направился к школе.

В комнате Линки горел свет. Но, странное дело, Роман вдруг перестал испытывать былую радость и тревогу, какие испытывал он прежде, когда видел этот знакомый огонек в окне Линки. Неимоверная, нечеловеческая слабость вдруг овладела им.

Однако спустя минут пять Роман вошел в комнату, поклонившись испуганно взглянувшей на него девушке, и устало опустился на табурет. Так он сидел безмолвно и неподвижно минуты две-три.

Линка, забыв о своем рукоделье, уронила наперсток и удивленно смотрела на Романа. Боже мой, как он был грязен, неряшлив и жалок! Удивительно, как мог волновать ее раньше — даже вчера еще — этот грубоватый и, в сущности, бесконечно чужой человек...

Наконец Роман, как бы очнувшись, неясно, сонно улыбнулся и сказал:

— Знаешь, мы кончили. На все сто, в общем и целом, кончили, Линка! Орлы мы? Орлы!

— Что именно кончили?— спросила чужим, равнодушным голосом Линка.

— Все кончено, в общем и целом. Отсеялись мы наконец. Понимаешь, отстрадовались. И вот, ты видишь,

я пьян,— проговорил Роман совершенно трезвым голосом.

— Да, да. Пьян. Это я вижу...—сказала Линка. Она зло перекусила длинную нитку, которую держала до сих пор в руках, затем, резко поднявшись со стула, озабоченно поглядела вокруг.

Роман смотрел на нее уже почти совсем трезвыми, печальными и в то же время как будто невидящими глазами. Ему казалось, Линка старается что-то вспомнить: такой у нее был отрешенный, рассеянный вид.

Роман смотрел на Линку и, любуясь ею, думал о том, как похорошела она за дни их разлуки. Неожиданно он обнаружил в ней какую-то иную, незнакомую прелесть, иное, новое очарование.

Линка круто повернулась к Роману, взглянула каким-то отчужденным, холодным, поразившим Романа взглядом и, запрокинув отягощенную тяжелыми косами голову, начала хохотать. Смех ее, похожий на рыдания, полоснул Романа по сердцу острой бритвой.

Роман, протрезвев, не сводил глаз с Линки. Ее беспричинный, столь ненужный сейчас смех до того поразил его, что он не в силах был двинуться с места.

Но Линка так же неожиданно умолкла, как и расхохоталась. Она подошла к Роману, положила маленькую теплую руку на его плечо.

— Таким красавцем я тебя не представляла.

— Линка,— чуть слышно проговорил Роман, ощутив прилив нежности к ней.— Я устал, понимаешь, Линка. И я пьян, в общем и целом...

— А в частности?— спросила с недоброй улыбкой Линка.

— Народ меня соблазнил. Не сумел отбояриться. И вообще в таком виде мне идти к тебе не надо было,— проговорил с грустной улыбкой Роман.

— Да, ты прав. Идти тебе ко мне было незачем,— глухо сказала Линка, отворачиваясь от Романа.

Он не понял прямого значения этих слов. Он хотел рассказать Линке о тех муках, какие претерпели они за последние дни там, на пашне. С детской доверчивостью протянув к ней широкую потрескавшуюся от земли, от солнца, от ветра мозолистую ладонь, он сказал с виноватой улыбкой:

— Посмотри. От этих чертовых мозолей у меня сов-

сем одеревенели руки. Не веришь? Ну посмотри, посмотри. Вот видишь, какие тут волдыри!

— Ну, такие подробности можешь мне не рассказывать!— сказала Линка, одергивая батистовую кофточку.

— Да нет, я не об этом,— спохватясь, сказал Роман.— Ты понимаешь, мы целых шесть га сверх плана посеяли. В общем и целом... Ты знаешь, сами сидели голодом, а лошади у нас были до последнего дня на хлебном пайке,— говорил Роман все увлеченнее, все трезвее.

Но вот он умолк, услышав, как тихо, чуть слышно Линка запела какую-то знакомую песню. И не то поразило его, что она не слушала того, что он ей рассказывал, а его поразил голос ее — сочный голос.

Линка, стоя спиной к Роману, смотрела в настежь распахнутое окно, за которым молчала весенняя ночь, и вполголоса пела:

Прилетели гуси из далекого края
Замутили воду в тихом Дунае...

Затем, когда умолк, словно погас далеким огоньком в степи, Линкин голос, Роман сказал:

— А ты знаешь, Линка, ведь они у нас и сеялку хотели отобрать.

— Кто это — они?— резко спросила Линка.

— А все эти сволочи...

— Кто-о?!

— Сволочи,— твердо и трезво повторил Роман.— Кулаки проклятые. Враги наши. Выродки!

— Что ты сказал? Как ты сказал?!— шепотом проговорила, вспыхнув, Линка, с такой ненавистью наступая на него, что ему вдруг стало все ясно.

Роман уже стоял перед Линкой. Плотно сжав обветренные, потрескавшиеся губы, он отвечал ей уже не словом, а взглядом, который и для Линки был тоже теперь яснее всяких слов.

Минуту спустя Роман поспешно вышел из комнаты Линки, как выходят из чужого дома люди, хорошо знающие, что им навсегда заказана обратная дорога.

31

Поднявшись наутро чуть свет, Роман шел по хуторскому переулку. Шел он, широко размахивая руками, внешне спокойный и старался мысленно убедить себя,

что ничего с ним плохого за минувшую ночь не случилось. «Подумаешь — беда какая! Ну, выпил. Ну, с кем этого не бывает? Все выпили... Ведь не в рабочую пору запировали — на отдыхе. Потрудились на славу и выпили. Кто запретит? Ей-богу, чепуха это все. Честное слово, чепуха».

На повороте он неожиданно столкнулся с Полинарьей Пикулиной и сразу вспомнил, что это была одна из баб, глазевших на него вчера. Полинарья поджала бескровные губы и пропустила мимо себя Романа, вытаращив на него выпуклые глаза. «Дура»,— равнодушно подумал о ней Роман.

На улице, среди пыльной дороги, уже возились ребятишки, занятые строительством земляных городищ. Завидев Романа, ребята вдруг примолкли, с живым любопытством уставившись на него. «Неужели и они видели меня вчера пьяным?»— подумал Роман.

— Эй вы, орлы!— крикнул детям Роман. Подойдя к присмиревшим ребятам, он спросил:— Строите, мастера?

— Строим, дядя Роман,— ответил белоголовый Тарас Кичигин.

— Ага. Хорошее дело. А что за строительство?

— Колхозный баз,— ответил Тарас.

— Колхозный?!

— Колхозный, дядя Роман.

— Вот это молодцы. За это хвалю. Стало быть, колхозники?— серьезным тоном расспрашивал Тараса Роман.

— Конечно, колхозники,— охотно отвечал Тарас.

— Ну молодцом. А ты, Тарас, небось председатель?

— Председатель, — кивнул Тарас.

— Хорошее дело, орлы. Хорошее дело. Только смотрите в оба, кулаков в свою артель не допускайте,— строго сказал Роман.

Он направился на хозяйственный двор артели. Двор был забит телегами. В беспорядке валялись хомуты, дуги, постромки и шлеи. В притворе Роман увидел втоптанные в лошадиный помет новые ременные вожжи. Под телегами храпели еще не проспавшиеся после вчерашнего сабантуя мужики.

Роман, с тревогой оглядевшись вокруг, тотчас же бросился собирать хомуты, постромки и вожжи, разбросанные по двору. «Перехватили малость вчера ребята»,— думал он, оглядывая спавших на дворе колхозников.

Собрав раскиданную вокруг сбрую, Роман развесил ее в строгом порядке под навесом. Вспоминая в мельчайших подробностях минувшую ночь, он снова испытывал все возрастающую душевную тревогу. И для того чтобы побороть, подавить в себе это чувство, он старался найти на хозяйственном дворе то одно, то другое заделье.

В это время в воротах показался Мирон Викулыч. Пройдя под навес и внимательно оглядев развешанную в строгом порядке сбрую, он сказал, здороваясь с Романом:

— А тебя тут, парень, давно искали. Чуть свет явился какой-то суслик с портфелем и давай допрос с меня снимать.

— Что за допрос?

— А черт его знает, что ему от меня было надо. Дерзкий, варнак. Все насчет вчерашнего нашего сабантуя меня пытал. Да я с ним долго толковать не стал. Выпроводил его из своей избы. А он потом мне сунул вот эту бумажку и приказал передать тебе.

Роман взял из рук Мирона Викулыча мятый клочок бумаги и, бегло прочитав написанное, проговорил:

— В район меня, дядя Мирон, вызывают.

— Это зачем?— с тревогой спросил Мирон Викулыч.

— Не могу знать. Приказано срочно явиться,— уклончиво ответил Роман.

Затем, присев в тени под навесом рядом с Мироном Викулычем и обстоятельно потолковав о разных предстоящих хозяйственных делах артели. Роман отправился седлать коня, чтобы не мешкая выехать в неблизкий от хутора районный центр по срочному вызову райкома комсомола.

32

Шумным было заседание в райкоме комсомола. Докладывал агитпроп Коркин. Потный, взъерошенный, без пиджака, он суматошно метался за столом и чуть ли не каждую свою фразу запивал теплой мутной водой. Хмуря с актерской строгостью женственно-тонкие, точно подведенные сурьмой брови, он на мгновение умолкал, а затем, высоко запрокинув голову, продолжал речь. Яркий в искорку галстук ходил на воробьиной груди оратора, как сбитый с толку маятник. Кашне сползло с шеи. Звучно ударив ладонью по кромке стола, оратор фальцетом крикнул:

— Авторитетно констатирую...

— А ты факты давай!— требовательно подала голос веснушчатая девушка Ганя Нежданова — член бюро райкома.

— К порядку, к порядку, товарищи,— стуча карандашом о чернильный прибор, строго говорил секретарь Андрей Зорин — горожанин, только что присланный окружным комитетом комсомола для укрепления отдаленного станичного райкомола.

— Факты?! Вот они, факты!..— кричал, подпрыгивая, Коркин.— Факты все налицо. Извольте...— И, с шумом развернув перед собой лист желтой оберточной бумаги, нараспев прочитал: «Мне, как бойцу Рабоче-Крестьянской Красной Армии, абсолютно больно и невозможно смотреть на данные явления в данной местности. Мне, как...»

— Брось трепаться. Ты нам эту шпаргалку не зачитывай. Ты нам очки не втирай...— кипятилась Ганя Нежданова.

— Прошу выслушать документ до конца!— кричал Коркин. И, перескочив глазами несколько строк, вновь стал читать нараспев.— «В ячейке вышеозначенного хутора никакой работы на уровне в буквальном смысле данного слова не производится и расцвело кроме того беспробудное пьянство членов комсомола, а также связь с чуждым элементом и совершенно вредным индивидуумом. Секретарь аульной комсомольской ячейки Аблай женился на дочери бая Наурбека, заимел классово-враждебную жену. Бай Наурбек разбазаривает скот и помышляет вступить в карликовый колхоз под названием «Интернационал».

— Ох ты, подумаешь, какие страсти — собирается! Да кто его, выродка, туда еще пустит — вот вопрос!— снова подала возмущенный голос Ганя Нежданова.

— Иду дальше,— проговорил агитпроп, запивая свою речь глотком воды и словно не слыша реплики Гани Неждановой.— Иду дальше. Вот слушайте, о чем говорится в данном документе. А говорится здесь так: «Он оскорбил представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Он надругался над работником рабоче-крестьянской милиции товарищем Левкиным, каковой возбудил против последнего судебное дело и привлек такового к административной ответственности».

— Ребята! Дайте мне слово!— запальчиво крикнула

Ганя Нежданова.— Я вот что скажу. Заткнись ты, товарищ Коркин, со своим акафистом. Я и слушать не хочу этой кулацкой дребедени. Все враки! Все! Я знаю Каргополова. Свой он. Наш! В доску! Я знаю Романа...

— Не отрицаю. С вашей точки зрения, он вам, может быть, и по вкусу...— намекающе сказал Коркин.

— Ты не трепись. Ты дело говори!

Но секретарь райкомола Зорин снова прервал Ганю —предложил до конца выслушать заявление Иннокентия Окатова, оглашаемое агитпропом Коркиным.

— «И вот он вместо дружной совместной работы на благо стопроцентного социализма на вышеуказанном хуторе Арлагуле,— торжественно-певучим голосом продолжал читать Коркин,— все время идет в перпендикулярный разрез моего авторитета и, собравши вокруг себя малую кучку, среди коей имеются и почти чуждые хозяйства, как, например, Мирона Викулыча Караганова, каковой сам нанимал прошлым летом поденщину на уборку единоличного сектора и, кроме того, пьет запоем, а в данный колхоз затесался как совершенно чуждый индивидуум и ведет свою вредную линию против моего красноармейского авторитета, невзирая, что сам я такой же пролетарий на все сто процентов, поскольку я не имею ничего и давно отказался от собственного папаши, и еще прошел школу Рабоче-Крестьянской Красной Армии и с высоко поднятой головой смело иду теперь дальше...»

Переведя дыхание и глотнув из стакана воды, Коркин сказал:

— Я констатирую. Красноармеец товарищ Окатов — симпатичная личность, порвавшая со своим отцом всякую связь и вынудившая последнего передать дом под школу, как новую культурную единицу в нашем районе. Я констатирую, что отец товарища Окатова — буквально безвредный человек, неимущий, нищий...

Бросив беглый взгляд на Ганю Нежданову, Коркин продолжал упиваться чтением пространного окатовского заявления:

— «Обе комсомольские ячейки, как-то: русская, как-то: казахская, попавши под его вредное влияние, также не сознают задач Советской власти и генеральной линии Коммунистической партии в данном вопросе колхозного строительства. И факт налицо, в нашем колхозе «Сотрудник революции» почти все бедняцкое сознательное на-

селение вышеуказанного хутора, тогда как из карликового «Интернационала» ушли бедняки, от которых пользы в буквальном смысле коллективному сектору мало. А председатель карликового колхоза занял командные высоты, как на маневрах, и верховодит всеми, желая добиться своей карьеры на предмет означенных операций и, подорвавши авторитет всей Красной Армии, хочет вывести свой карликовый колхоз на большую дорогу...»

Заявление было длинное, и чем дальше — тем путанее. Особенно торжественно огласил Коркин тридцать две подписи членов артели «Сотрудник революции», выведенные каллиграфическим почерком Иннокентия Окатова.

В прениях поднялась беспорядочная словесная перепалка. Гане Неждановой не давал говорить агитпроп Геннадий Коркин. Размахивая желтым листом пространного окатовского заявления, он кричал:

— Я констатирую...

— Погоди, погоди,— остановил его секретарь.— А собрание там провел?

— Какое, собственно говоря, собрание?— недоуменно покосился на секретаря Коркин.

— Ну ясно — комсомольское.

Бегло взглянув на агронома, Коркин прыснул. Нипоркин тускло улыбнулся и сокрушенно покачал головой.

— Вы говорите — собрание,— обращаясь к секретарю, сказал агитпроп Коркин.— Но я извиняюсь. Какое же можно было там провести собрание, дорогие мои товарищи, члены бюро, когда в день нашего приезда на хутор вся означенная ячейка во главе с секретарем Каргополовым была еле можаху. В дым...

— Это совершенно верно. Подтверждаю — в дым! И я был свидетелем того вопиющего факта,— сказал, привскочив со стула, агроном Нипоркин.

— Ну, этого я, товарищи, что-то недопонимаю. Трудно верится,— покачал головой Зорин.

— А вы дайте мне слово. Я все расскажу,— засуетилась Ганя Нежданова.

Но ее перебил агроном Нипоркин. Он подошел к секретарскому столу и положил на него огромный, туго набитый бумагами портфель.

— Я понимаю, что вам, товарищ Зорин,— сказал он, обращаясь к секретарю,— трудно тут разобраться во всех этих безобразиях. Вы, товарищ Зорин, человек здесь новый. И вам трудно, конечно, вообразить, что представляет из себя означенный хутор. А хутор Арлагуль — самый захудалый, отдаленный населенный пункт района и, фигурально выражаясь,— наша Камчатка. Вы меня поняли?..

— Плохо что-то...— сказал, тяжело вздохнув, Зорин.

— Я свидетель всех этих вопиющих фактов,— не обращая внимания на реплику секретаря, продолжал Нипоркин.— Как агроном я могу заявить, что в карликовом колхозе «Интернационал» я не вижу никакого производственного эффекта. Артель! Что заработают, то и съедят! Совсем другое дело «Сотрудник революции»! Вот настоящий остров социализма в безбрежных равнинах Казахстана! Тут и машины, тут и рабочая сила, тут и хозяева, тут и двенадцать центнеров хлебных излишков, сданных нашему государству в канун сева. Вообразите, что будет из этого мощного колхоза в будущем! У меня дух захватывает, когда я подумаю о перспективах этой мощной сельхозартели. Я говорить не могу спокойно об этом...

...Голосовали за три предложения.

Первое — агитпропа Коркина:

«За дезорганизующую работу по коллективизации, за антикомсомольское поведение и недопустимые выпады против организатора крупного колхоза «Сотрудник революции», бывшего красноармейца тов. Иннокентия Окатова, за оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей, милиционера тов. Левкина,— председателя колхоза «Интернационал» тов. Каргополова Романа Георгиевича из рядов комсомола исключить».

Второе — секретаря райкомола:

«Объявить строгий выговор с последним предупреждением члену ВЛКСМ Роману Каргополову. Проработать вопрос на комсомольском активе двух объединенных ячеек хутора Арлагуля и аула Аксу о слиянии колхоза «Интернационал» с колхозом «Сотрудник революции», если это будет продиктовано соответствующими производственными выгодами и причинами политического порядка».

Третье — Гани Неждановой:

«Сделать более глубокое обследование работы обеих ячеек, изучить социальный состав колхозов и доложить об итогах обследования на ближайшем бюро районного комитета партии, а также на бюро райкомола. Причем от каких-либо конкретных и практических выводов пока воздержаться, считая доклад т. Коркина совершенно неудовлетворительным».

...Большинством против двух и одного воздержавшегося прошло первое предложение с добавлением, требующим поставить на объединенном активе ячеек вопрос о слиянии двух колхозов.

Роман пришел на бюро уже в конце заседания, когда шло голосование. Появившись в дверях, он увидел, как против него поднялись неумолимые и прямые, как штыки, руки.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Не без горя и радостей, не без трудностей и противоречий деятельно и порой до предела напряженно жил в дни бурной весны тысяча девятьсот двадцать девятого года вновь организованный на целинных землях зерносовхоз.

Позади осталась памятная — и старожилам и новоселам этих степей — зима с ее сатанинскими вьюгами и арктическими морозами. Туговато порой приходилось молодым рабочим совхоза коротать зимние ночи в тесных, битком набитых времянках — в земляных и камышитовых хижинах, сооруженных на скорую руку минувшей осенью. Кузьма Андреевич Азаров в душе грешным делом побаивался, как бы молодежь, не выдержав трудностей полубивачной малоуютной жизни, не подалась к весне по домам. И в тесноте зимовал народ и в обиде: то зарплаты вовремя не получат, то с харчами в немудрой совхозной столовке нелады. Все было внове, в непривычку, в диковинку. То там прорыв, то тут — неувязка...

Но прошла зима, и люди тотчас же позабыли о пережитых бедах и обидах. С наступлением оттепели всех волновала первая весна на целине, как волнует природного пахаря первая борозда, проложенная на новой пашне.

Как ни трудно зимовал в совхозе народ, но никто не сидел сложа руки ни в лютую стужу, ни в чудовищную метель. Трудовой ритм жизни напряженно и четко бился здесь и в зимнюю пору. Одни из рабочих заняты были на транспортировке горючего, другие — на сортировке семенного зерна, третьи — учебой на курсах трактористов и шоферов, агротехников и строителей.

Рассчитывать на присылку извне трактористов и водителей автомашин не приходилось — их подготавливали из вчерашних батраков и пастухов.

Попасть на курсы механизации и стать к весне трактористом или шофером — это была заветная мечта любого из молодых людей, попавших в совхоз, и от желающих учиться не было отбою. Да не всем повезло. Многие вынуждены были временно смириться с профессией чернорабочих — грузчиков или сторожей, возчиков горючего или сортировщиков семенного материала. Фешка Сурова, Любка Хаустова, Морька Звонцова — бывшие бобровские батрачки — были зачислены на курсы трактористов. Позднее на эти же курсы попала и Катюша Кичигина. А Иван Чемасов с Митькой Дыбиным, окончив такие курсы, были посланы в городскую школу тракторных механиков, которую оба окончили к весне с отличием, о чем свидетельствовали их внушительные дипломы.

Словом, к выходу в поле, к битве за целину зерносовхоз подготовился за зиму по-хозяйски. Тракторов на первое время было достаточно. Семенного зерна хватало. Горючее с пристанционной нефтебазы завезли не только на центральную усадьбу, но и по всем раскиданным на десятки километров пяти отделениям. Тракторные бригады в канун выхода в поле были полностью укомплектованы. И только одно тревожило руководство совхоза, и в первую очередь его директора,— это молодость и неопытность трактористов.

Трактористы и в самом деле были один к одному — молодежь. Почти все они, судя по дипломам, показали отличные результаты в теоретическом освоении новой, сложной по тем временам сельскохозяйственной техники. Но диплом — дипломом, а практика — практикой. И Азаров с тревогой думал, как справятся с работой ребята и девушки — пионеры освоения целинных земель — там, в степи на пашне, не подведут ли?

Волновало директора и другое: специалисты. Если рядовые механизаторы были сплошь и рядом безусыми новичками, то командные посты в механизации хозяйства занимали представители старой технической интеллигенции. И Азаров не был уверен, можно ли в полной мере рассчитывать на их знания и опыт.

«Тут мне придется съесть еще не один пуд соли!» — думал Азаров, имея в виду техническую интеллигенцию, которой он не то чтобы не доверял, а которой просто-напросто пока еще не знал в той мере, в какой положено

было знать, по его убеждению, всякому уважающему себя руководителю.

Лишенный всякого недоброжелательства к специалистам старой школы, Азаров, не забывая об элементарной бдительности, ратовал за полное доверие к ним, за их широкую творческую инициативу и самостоятельность. Вот почему он, вопреки необоснованным подозрениям Увара Канахина в недобросовестности инженера Стрельникова, отдал приказ о назначении его главным инженером зерносовхоза с правами своего заместителя по технической части.

— Права у вас немалые, а еще больше — обязанностей,— сказал как-то Азаров инженеру.

— Понимаю, Кузьма Андреевич. Благодарю за доверие,— ответил тот, почтительно склонив лысеющую со лба голову.

Работал Стрельников с явной охотой, с творческим огоньком, с азартом. Но одно у него никак не клеилось — конструкция прицепных рам для тракторных сеялок. Прицепы приходилось в ту пору мастерить на месте. И Стрельникову они никак не давались. Сделанные по его чертежам и расчетам прицепные рамы то не выдерживали нагрузки и рвались в узлах автогенной сварки, то в них возникала такая вибрация, что это отражалось на нормальной работе высевающих аппаратов тракторных сеялок, и агрономы вынуждены были приостанавливать сев. Стрельников садился за новые конструкторские чертежи и расчеты, по которым в механических мастерских центральной усадьбы делали новые рамы. А весна шла своим чередом, и золотые агротехнические сроки сева по поднятой целине жестоко нарушались.

Шестые сутки на целинных массивах зерносовхоза шла пахота. Далеко-далеко разносился в полуночную пору приглушенный рокот моторов, гулкие залпы газующих тракторов, грохот и лязг тяжелых прицепов.

Ревниво и чутко слушали в сумерках коренные степные люди-кочевники, как тревожно гудела земля, как могуче вздыхала она под лемехами, обнажив пропитанные соками многолетних трав древние пласты.

2

Катюша Кичигина прибыла в отделение зерносовхоза с большим запозданием. Дней пять без толку слонялась она вместе с партией трактористов по центральной усадьбе.

Задержка вышла из-за отсутствия прицепов. Прицепы не были своевременно изготовлены мастерскими по вине Стрельникова, вконец запутавшегося со своими конструкторскими расчетами.

Дни ожидания выезда на производственный участок были самыми мучительными в жизни девушки.

Хоронясь от чужих глаз, заглядывала она в наизусть заученный паспорт, открывший ей доступ к рулю новой, толком еще не обкатанной машины. Потом, бережно завернув дорогую путевку в носовой, вышитый гарусом платок, некогда приготовленный для Митьки, прятала ее на груди, за вырезом кофты.

Застенчивая, густо краснеющая от чуть пристального взгляда незнакомого парня, Катюша сама удивлялась тем переменам, которые происходили в ее характере и привычках.

Робко, с запинками, но все смелее и азартнее выступала она теперь на производственных летучках, спорила с Уваром Канахиным, не сторонилась ребят, бойко выбивая в досужую минутку замысловатые фигуры «казачка» перед самыми отчаянными плясунами.

В один из мучительных дней безделья над массивами центральной усадьбы прошел бреющим полетом почтовый самолет и сбросил пачку листовок-молний, в которых говорилось, что производственный план Степного зерносовхоза поставлен под угрозу срыва.

Это плеснуло масла в огонь. Во время коллективного чтения листовок главбух Полуянов, находившийся в палатке, улыбаясь, заявил трактористам и прицепщикам, что зарплата им будет выдана в половинном размере, хотя тракторы простаивают и не по их вине.

— Здравствуйте! А при чем тут мы, рулевые?

— Вот именно. Трактора у нас на ходу, хоть сейчас на пашню. А где прицепы к сеялкам?— прозвучал звонкий голос прицепщицы Морьки Звонцовой.

Все трактористы и прицепщики возмущенно загорланили, наседая на главбуха:

— Не с нас за простой надо удерживать, а с инженера — вот с кого следовало бы шкуру содрать.

— Факт — с инженера.

— Пятый день по его милости баклуши бьем, а он ни мычит, ни телится...

— Одно слово — вредитель!

— И что только дирекция, понимаешь, смотрит.

Тракторист Ефим Крюков вспрыгнул на табуретку.

— Братцы! Это что же выходит — тут не совхоз, а каторга? Хуже табаков Луки Боброва!

— Эк ведь какой, молодой, да ранний!— насмешливо заметил главбух Полуянов.— Совхоз сравнил с каторгой. Люди за социализм кровь проливают, а тебе для Советского государства лишнего трудового гроша жалко.

— Нет такого закону, чтобы за простой по чужой вине деньги с нас брать!— сказал Ефим.

— У Советской власти на все законы найдутся. Ты бы лучше политграмоту на досуге почитал, молодой человек, чем глотку драть,— все в том же нравоучительно-насмешливом тоне продолжал Федор Федорович Полуянов.

— Читали. В политграмоте про подобные законы ничего не написано,— сказала с усмешкой Катюша Кичигина.

— А за социалистический рай, так сказать, за светлое будущее,— точно не слыша ее, говорил главбух,— не грех поработать и бесплатно. Настанет время — и совсем безвозмездно в зерносовхозе трудиться придется. Всех сознательным элементом сделают... Так что, милые мои, обижаться не приходится,— скорбно вздохнул он и мгновенно исчез из палатки.

Озлобленные незаконными требованиями дирекции, от имени которой главбух заявил об удержании с рулевых половины месячного оклада, ребята долго отмалчивались, подумывая о том, как бы незаметно податься на табаки, к Боброву.

Катюша, не зная, куда деться от щемящей тоски, обиды и гнева, заломив руки, пошла в степь. Вот в этот-то предзакатный час и столкнулась она близ заправочных баков со Стрельниковым.

Одетый в светлый костюм, тщательно выбритый, инженер, осторожно ступая, точно крадучись, вел под руку одетую в красивое алое, как пламя, платье женщину.

Катюша пошла вслед за ними. И по гибкой, кошачьей походке, по характерному подрагиванию согнутых локтей она сразу же узнала Кармацкую.

Прислушиваясь к глуховатой, переходящей в шепот речи собеседников, Катюша поняла, что разговор велся скрытый, таивший что-то враждебное.

Она вспомнила ночь, проведенную в доме Кармацкой, назойливую ее трескотню, косые, беглые взгляды и вновь ощутила смутную неприязнь к этой женщине.

«Чистая ведьма!— подумала Катюша.— Да и ты-то тоже — одного поля ягода...— заключила она о Стрельникове.— Нашел времечко для прогулок с кралями!»

Заметив Катюшу, Стрельников испуганно переглянулся с Кармацкой.

Катюша, покосившись на его спутницу, сказала, обращаясь к Стрельникову:

— Вы к нам в бригаду? Вот слава богу! А то там ребята совсем из себя выходят.

— Нет, мы едем в райцентр. Остановились у озера покормить лошадей. А в чем дело?— спросил Стрельников.

— Пойдемте на стан — ребята вам скажут.

— К сожалению, я очень спешу. Лошади уже в запряжке.

— Ничего! Успеете!

— Позвольте, что это за тон?— сказала с возмущением Кармацкая.

— А я ведь не с вами разговариваю, дама,— резонно заметила ей Катюша.

Стрельников, взяв Кармацкую под руку, направился было прочь. Но Катюша перегородила им дорогу.

— А я говорю — постойте! Сейчас кликну ребят. По душам потолкуем.— И она, повернувшись в сторону полевого стана, крикнула.— Ребята-а, сюда-а!

И не успел Стрельников оглянуться, как перед ним и его явно струсившей подругой словно из-под земли выросла внушительная орава хмурых ребят и девушек — трактористов и прицепщиков из тракторного отряда Ивана Чемасова. Замкнув Стрельникова и его спутницу в кольцо, ребята завели разговор о прицепах.

— Долго мы будем баклуши бить?

— Стары люди говорят, весенний день год кормит...

Стрельников растерялся, почувствовал себя беспомощным и жалким, не находя в этот момент нужных

слов. За все время работы в зерносовхозе он впервые очутился лицом к лицу с людьми, которых прежде не замечал. Оскорбительно рассуждать с ними о чем-либо, а тем более о личной творческой практике! Он искренне не понимал, что заставило этих парней и девушек окружить его среди дороги и так властно потребовать от него ответа на вопрос, которого он, инженер-механизатор, мог ожидать от кого угодно, но только не от этой серой и, как ему до сего времени казалось, безликой, невежественной массы деревенских увальней.

Сознательно запутывая конструкторские расчеты прицепов, Стрельников глубоко и четко продумал все мельчайшие детали неизбежных объяснений по этому поводу с Азаровым, наизусть запомнил ряд сложных фраз и технических терминов, убедительно оправдывающих все его промахи и перерасчеты. Но ему и в голову не приходило, что так неожиданно и нелепо настигнут его эти технически беспомощные люди. Вот они стояли теперь перед ним могучей прочной стеной, и минутное выжидающее молчание их казалось таким грозным и требовательным, что Стрельников сдал, мгновенно обмяк, заискивающе улыбнулся Катюше. Он понял, что ему не вырваться из этого кольца, пока не придумает он убедительных слов и примиряющих оправданий.

Инженер вытер платком обильный пот со лба и сказал с напряженной улыбкой:

— Видите ли, дорогие мои! Конструкция прицепов — задача сложная, требующая от инженера большого творческого напряжения. Несчастье наших зерносовхозов в том, что они не обеспечены подсобным видом орудий производства. Государство поскупилось приобрести вместе с тракторами заграничные прицепы. А эта, я бы сказал, не совсем разумная экономия дурно сказалась на практике. Вместо немедленного включения наличного тракторного парка на подъем целины мы совершаем с вами вынужденные простои. И я понимаю вас: простой дорогих машин — великий грех перед государством. Но где же выход? Во всяком случае, не мы тут повинны во всех этих по сути вопиющих фактах. Не мы! — театрально поднял руку Стрельников.

— Кто же? — инстинктивно не доверяя ни одному его слову, запальчиво спросила Катюша.

И не успел Стрельников ответить на этот вопрос, как снова поднялся глухой, протестующий ропот.

— Почему скрозь на самодельных прицепах сеют? Вот именно!— приподнявшись на цыпочки, заголосила подоспевшая Морька Звонцова.

— Вишь, чем оправдываться вздумал!

— Лиса на свой хвост не наступит...

— Америку ему выпиши!

— Одну секунду. Разрешите завершить...

— Шабаш! Хватит. Не верим.

— Секундочку, дорогие друзья! Прошу понять... На днях я заканчиваю перерасчеты. Мы не имели дутого железа...— бормотал Стрельников.

Но его уже никто не слушал.

Долговязый парень в войлочной шляпе, казавшийся таким неправдоподобно высоким в толпе трактористов, будто стоял на ходулях, неуклюже размахивая длинными руками, вопил:

— Берите его за костюмчик да в дирекцию!

— Мы и без дирекции расквитаемся с ним в момент!— кричал, воинственно размахивая трехструнной балалайкой, Ефим Крюков.

— В рабочком! К Увару его. К Увару!

— У того он вмиг заговорит практически...

Стрельников, неожиданно припертый к стене, пришибленно глядя на черномазых, до предела распаленных парней, понял, что малейший неосторожный шаг может разрушить все его сокровенные замыслы, вызвать подозрительную настороженность совхозного руководства и этим лишить его возможности продолжать строго продуманную плановую работу, ради которой он и торчал в этом зерносовхозе, затерянном в целинных просторах Казахстана.

«Да-с, жидковаты вы, сударь, оказывается. Жидковаты!»— мысленно упрекал себя Стрельников. В то же время он старался казаться абсолютно спокойным, немножко недоумевающим человеком, который давным-давно знает всех ребят наперечет, запросто держится с ними, а сейчас вот, терпеливо выслушав их, даст примиряющий всех ответ.

Он приосанился, небрежно поправил галстук, заискивающе посмотрел вокруг и сказал проникновенно, вкрадчиво:

— Как мне приятно! Какие вы великолепные люди! Дорогие мои! Именно такого напора и ждал я от вас, товарищи трактористы. Отлично действуете. Теперь я ви-

жу, что не только наше руководство плюс мы, беспартийные старые специалисты, кровно болеем за советское хозяйство, но и вы, рядовые представители, так сказать, рабочей массы...

— Я готова стихи писать на такую тему. Чудный народ, ей-богу!— воскликнула, жеманно улыбаясь, Кармацкая.

— Ты, мадам, нам стихами голову не морочь!— грубо оборвал ее Ефим Крюков, угрожающе брякнув по струнам балалайки.

— Нам акафисты читать нечего!— крикнул кто-то.

— Товарищи!— еще проникновенней молвил Стрельников.— Горячитесь вы по молодости вашей, а вот уважать беспартийных честных специалистов не хотите...

— Тоже — честный нашелся!..

— Была у него честь, да волку продал...

Но Стрельников, делая вид, что не слышит этих реплик, продолжал:

— Я могу усмотреть во всем этом нехорошую демонстрацию против беспартийных специалистов.

— Ведь это же политический скандал! Об этом вся центральная пресса кричать начнет!— с возмущением сказала Кармацкая.

— Однако я не обижен,— убеждал Стрельников.— Я понимаю вас. Вместе с вами я глубоко огорчен вопиющими беспорядками в зерносовхозе. Возмутительные простои машин; неразумная трата государственных средств на ветер; скверные условия для рабочих — ни сносного жилья, ни добротной одежды, спецовками и то не всех снабдили — позорные факты! Товарищи! Да разве мыслимо при такой ситуации мечтать о рентабельности или о прибыли данного предприятия?— скорбно вздохнул он и на мгновение задумался: не сказал ли чего-нибудь лишнего? Затем, выдержав полуминутную паузу, продолжал осторожную, щекотливую беседу.

И по словам Стрельникова все выходило иначе, чем это думали до сих пор трактористы. В простое тракторов виноват, оказывается, был отнюдь не он, инженер-механизатор Стрельников, задержавший прицепы, а высокое начальство из центра, и дело-то не клеилось в зерносовхозе только потому, что не по плечам взяла Советская власть задачу — зря сорятся народные деньги, ни к чему затеяли эти зерносовхозы!

Говорил Стрельников так горячо и взволнованно, что Дашка Канахина с тревогой подумала:

«А может, и впрямь не стоит овчинка выделки?!» Как и мужа ее, Увара Канахина, втайне страшил Дашку размах хозяйства. Как же это можно будет справиться с махиной? Ведь немыслимо усмотреть за каждым колоском, за каждым болтом и гайкой, а без такого присмотра враз может рухнуть, пойти прахом все — от дорого стоящих машин до десятков тысяч гектаров целины, поднятой в степи. И не напрасно, видимо, приходило по ночам тревожное раздумье к Дашке, если даже такой образованный, начитанный человек, как инженер Стрельников, явно сомневался в успехе и был убежден — ничего путного из этой затеи не выйдет...

Слушая Стрельникова, чувствуя его гибкие лисьи увертки и ложь, которой начинал он заволакивать сознание некоторых, легко податливых на красное словцо ребят, Катюша вновь ощутила непоборимый гнев. Ей хотелось крикнуть во весь голос самые оскорбительные слова. Но она понимала, что вряд ли кто из товарищей, зачарованных речью краснобая, поймет и услышит ее в этот миг. И потому, кусая запекшиеся на степном горячем ветру губы, крепилась, молчала она, сжимая до хруста в суставах маленькие кулаки.

— Крайне печальная ситуация. Плохие с зерносовхозами у нас дела,— скорбно вздыхая, говорил Стрельников и вдруг, осекшись на полуслове, смолк.

...Позднее Катюша никак не могла припомнить подробностей происшедшего. Знать она могла об этом потом только со слов ребят. А случилось, наверное, не совсем ладное. Горячо убежденная в лживости Стрельникова, Катюша сорвалась с места, ринулась на инженера, дала ему пощечину. Побледневший от позора и гнева Стрельников прикрыл лицо ладонями. А Катюша как ни в чем не бывало пошла быстрым, решительным шагом от расступившейся перед ней толпы ребят к полевому стану.

Придя в себя, Стрельников хотел что-то сказать...

Но в этот момент толпа заметила приближающегося на рысях Увара Канахина.

Все почтительно и безмолвно расступились перед всадником.

Спешившись, Увар крутым, решительным шагом при-

близился к Стрельникову и стал против него, стукнув пятками так, словно примкнул по команде к строю.

Стало так необыкновенно тихо, что слышно было, как гудела на предзакатном ветру вскинутая на Ефимкино плечо балалайка.

Узнав о случившемся и понимая, что оправдать поступок Катюши нельзя, Увар все же подумал: «А молодец Катька, поступила практически... Этим гадам массово не растолкуешь!» Но, прочно запомнив внушительные наказы в райкоме, в парткоме, в дирекции, Увар, напрягая волю, пытался казаться спокойным и даже вежливым.

Стрельников, подавляя последним усилием воли стыд и робость перед трактористами, заглянул с притворным изумлением в чуть косившие глаза Канахина и четко, торжественно, как с трибуны, отрапортовал:

— Перед лицом всех собравшихся здесь, перед лицом передовых трактористов нашего зерносовхоза, позвольте мне рапортовать вам, председателю рабочего комитета, что после длительных творческих неудач и поражений найдены мною наконец верные расчеты. Не позднее завтрашнего вечера весь наличный тракторный парк зерносовхоза будет обеспечен прицепами моей конструкции!

Увар, просиявший и радостный, изумленно оглядел вплотную обступивших его ребят. Потом старательно вытер пыльную руку о свой френч и протянул ее инженеру.

— Чувствительно благодарствуем вам на этом!

Через сутки все трактора вышли в степь — на пахоту.

3

Катюша Кичигина получила наряд на участок, где работали соревнующиеся бригады Митюшки Дыбина и Ивана Чемасова. Это волновало и радовало девушку.

«До чего же обидно, что не в твоей бригаде работать мне придется!» — с досадой и нежностью думала она о Митьке. Но тут же успокаивала себя тем, что, в сущности, в этом беды большой нет,— все равно она будет работать по соседству с ним, дорогим ей человеком.

И решительно все — небо, степь, одинокие холмы могил, сонный беркут над курганом, сверкающие шпоры колесных тракторов — всеь этот мир стал особенно мил и дорог девушке, обрел особенную значимость. Еще бы!

Как не чувствовать радости и полноты жизни, если Катюше девятнадцать лет, а она уже трактористка, и прочно лежат на руле ее черные от загара руки, если милый ее сердцу Митька живет и работает бок о бок с ней.

Стояла глухая ночь.

Издалека наплывал ритмичный рокот тракторных моторов. Осторожно, чуть внятно перекликался в жемчужно-зеленоватом от полнолуния небе запоздалый косяк казарок. Вполголоса тянул гортанную песню блуждающий в степи кочевник.

Катюша лежала в палатке с открытыми, отяжелевшими от беспричинных девичьих слез глазами и впервые мысленно говорила Митьке нежные, бережно выношенные за дни разлуки слова.

«Золотой мой! Хороший! А какой ты чудак, ей-богу. Встретился вчера на заправке — и совсем как чужой. И заглохший трактор не помог мне завести. Глянула я на тебя, и руки у меня чуть не отнялись. Спасибо, бригадир Чемасов выручил... Серчаешь ты на меня, дорогой? А зря, а напрасно! Я без тебя не могу. Сердце мое болит».

Во сне, в дымчато-голубоватой ковыльной дали увидела она Митьку. Он бежал к ней навстречу с распростертыми руками, и точно не бежал, а плыл над темно-бархатистыми камышами дремучих займищ.

А она, босая, с замирающим сердцем, бежала к нему. Митька приблизился к ней, рывком подхватил ее, и она, согретая его горячим порывистым дыханием, вдруг поднялась с ним на такую головокружительную высоту, что утратила собственную тяжесть. С непривычки было это и страшно и приятно. Слова замирали на устах. Катюше хотелось рассказать ему обо всем пережитом за время разлуки, почему чуть было не ушла она от него, просватанная матерью за немилого, чужого ей человека — старого Татарникова, которого она боится и ненавидит.

Обо всем этом давно надо было рассказать Митьке, но у нее вдруг омертвел язык... Она касалась ладонью Митькиных прихваченных загаром щек, ощущала прикосновение мягких требовательных губ, чувствовала всего его, большого, властного, и не в силах была сказать ему тех двух несложных, давно заученных слов, которые звучали в замирающем ее сердце. И Катюше казалось, что, подхваченные каким-то могучим потоком, кружась,

подымались они все выше и выше. А под ними внизу, точно расшитая красочным гарусом, плыла сказочная земля, потонувшая в цветущих садах, в диковинно-ярких полевых цветах и буйно шумящих травах. И по безмолвному движению Митькиных губ, по умиротворяюще голубому, безоблачному небу, по опаловой дымке на горизонте поняла Катюша, что летели они над той счастливой солнечной страной, над тем выдуманным ими миром, о котором не раз мечтали они, полуголодные, отягощенные предчувствием близкой разлуки, хоронясь в камышах и оврагах за хутором!

Но даже в мечтах не представляла она такого покоя и великолепия на этой обретенной ими обетованной земле!

Проснулась Катюша, разбуженная собственным изумленно-радостным криком.

Но по-иному встретились Митька с Катюшей наяву.

В сумерках секретарь совхозного парткома и заместитель директора по технически-производственной части Ураз Тургаев принимал с бригадирами пятого отделения вновь прибывшие тракторы. Одновременно Тургаев проверял и молодых, допущенных к пахоте трактористов. Катюша тоже приготовилась к смотру. Неподвижно и немножко парадно сидела она за рулем и, скрывая от подруг нарастающее волнение, нетерпеливо поджидала своей очереди на выезд. Она отлично знала, что в числе прочих бригадиров присутствует на приеме тракторов и Митька, и хотя ни разу не взглянула в сторону задержавшихся у дальней машины людей, все же чувствовала его приближение, слышала каждый его медлительный, непохожий на другие, особенный шаг...

В новом коричневом комбинезоне, с непривычки стесняющем ее движения, в кожаной кепке, щеголевато сдвинутой на висок, с озорным завитком упавших на щеку черных как смоль волос, с лицом неестественно-напряженным и строгим, Катюша выделялась среди трактористов. Полуприщуренные глаза ее настороженно и чуть хитровато косили по сторонам. А в уголках плотно сомкнутых губ подрагивала готовая выпорхнуть и мгновенно озарить миловидное девичье лицо улыбка. Все это придавало ее лицу наивное и трогательное выражение.

При первом же взгляде на нее едва сдержал улыбку приблизившийся к Катюшиной машине Тургаев. На се-

кунду он даже опешил и вдруг, потеряв один из привычных контрольных вопросов, смущенно потупился, оглянулся на бригадиров. Но потом более чем всегда строго спросил:

— Ваша фамилия, рулевой товарищ?

— Фамилия Кичигина, зовут Катя,— суховато, в тон ему, ответила Катюша и впервые в упор глянула на Митьку.

Митька стоял за плечом Тургаева рядом с улыбчивым и еще более почерневшим за эти дни бригадиром Чемасовым.

Он смотрел на Катюшу так отчужденно и равнодушно, точно и впрямь перед ним была чужая девушка, никогда не говорившая ему глупых и ласковых слов, никогда не касавшаяся его губ.

— Номер машины?— вскользь осматривая трактор Катюши Кичигиной, продолжал беглый опрос Тургаев.

— Сорок шесть два нуля,— четко отвечала Катюша.

— Инструмент в порядке?

— Весь — налицо.

— Например?

— Ключа два. Один — разводной. Второй — картерный. Шприц для заправки,— без запинки отвечала Катюша.

— Ну, ну, джаксы — отлично, сказать по-русски...— тепло улыбнулся Катюше Тургаев. Потом он повернулся к Митьке и, одобрительно кивнув в сторону Катюши, сказал:— Очень джаксы. Очень отлично. А в вашей бригаде, товарищ Дыбин, не все рулевые номера машины помнят.

Катюша была приписана к бригаде Чемасова. Поощренный лестным отзывом Тургаева о Катюше, Чемасов хвастливо заметил:

— Я, товарищ Тургаев, разгильдяев не переношу. У меня рулевые один к одному, хоть сейчас на выставку в город Париж можно отправить...

— Только таких красоток городу Парижу недоставало!— съехидничал — явно по адресу Катюши — Митька.

— По своим рулевым на сегодняшний день судишь?!— задористо спросил Чемасов.

— Что-о-о?!— подражая родителю, развернул широкие плечи Митька.— Не хвались, идучи на рать. У тебя уж двое на черепахе сидят, а к концу пахоты мы всю вашу бригаду посадим. Видели мы таких трактори-

стов!— насмешливо покосясь на Катюшу, сказал Митька.

Встретив порицающий взгляд Тургаева, Митька понял, что запал не ко времени. С трудом подавляя в себе дерзкое настроение, прямой виновницей которого являлась Катюша, Митька добавил примирительно, обращаясь к Чемасову:

— Там шути не шути, а переходящее знамя парткома будет в наших руках!

— Будет ваше, когда рак свистнет!— прозвучал иронический голос Катюши.

Даже не взглянув на нее, Митька с притворным равнодушием отвернулся.

— Дур-рак!— к немалому изумлению Тургаева презрительно отрезала Катюша и тоже демонстративно отвернулась. Так и просидела она боком ко всем членам комиссии до тех пор, пока приемщики не перешли к осмотру другого трактора.

И с тех пор за шесть суток работы на смежных массивах — при случайных встречах на пахотных клетках, на таборе — Катюша ни разу не перебросилась с Митькой ни взглядом, ни словом. Точно не замечая друг друга, одинаково шумно вели они себя на межсменных производственных летучках. Они даже вместе ездили както в отделение номер четыре для проверки соцдоговоров. Но, несмотря на это общение, по-прежнему были они подчеркнуто безучастными друг к другу. И хотя Катюша отлично понимала, что отчужденность эта наигранная, ее начало пугать и тревожить жестокое и оскорбительное безразличие Митьки, с которым относился он к ней, а главное — к ее производственным успехам.

А о первых победах Катюши Кичигиной знали уже во всем зерносовхозе. Ведь это по ее предложению ликвидировали на пятом участке заправочный пункт, и все потом удивлялись, как это никому не пришло в голову додуматься до такой нехитрой вещи!? А бывало, тракторы, снятые с борозды, шли на заправку в тридевятое государство, транжирили дорогое время на холостой перегон, на томительные очереди у баков, без толку палили горючее и потом зачастую не выполняли контрольных заданий на пахоте.

— Горючее надо подвозить на клетки!— требовательно заявила Катюша на производственном совещании обеих бригад.

«И верно!— мысленно поддержал ее вместе со всеми

Митька и восхищенно подумал:— А ведь дело говорит Катька. Молодец, ей-богу!»

Подвозка горючего на клетки так резко подняла выработку участка, что несложное мероприятие это было проведено специальным приказом дирекции и дало отличные показатели по всем отделениям зерносовхоза.

В сумерках, у багрового костра на стане, Катюша в кругу трактористов и прицепщиков — членов чемасовской бригады, собравшихся после смены, отчитывалась о дневной вспашке. Говорила она нарочито громко, чтобы обратить внимание маячившего неподалеку Митьки.

— Много дала за смену? Как ухитрилась?— повторяла она явно льстившие ей вопросы трактористов, и лицо Катюши на мгновение обретало полупугливое выражение. Потом, торопливо перекрестившись, она азартно клялась:— Да, ей-богу же, шесть га за десять часов покрыла. Помереть — правда!

Митька, делая вид, что не обращает на Катюшу ни малейшего внимания, на самом деле ревниво прислушивался к каждому ее слову. И Катюша, чувствуя это, переходила на более спокойный и рассудительный тон:

— Сами посудите, ребята, едешь, допустим, полем. Перегрев в радиаторе и — стоп машина посредь гона. Что ты будешь делать? Воды доливать? А где она? Да на меже. Почти с версту за ней чесать надо. Ну и вот, пока мотаешь с ведром туда-обратно, плакали впустую тридцать минут...

Трактористы обеих бригад слушали Катюшу с ревнивым вниманием.

— В нашей смене таких простоев не бывает. Раскинула я мыслями и догадалась. Чем мне посредь гона становиться, так я лучше через каждые три круга — стоп на меже!— напою машину, а через две минуты газую — и горюшка мало!— чуть хвастливо говорила она, косясь на Митьку.

Чутко прислушиваясь к рассудительным речам Катюши, Митька — его волновал даже звук ее голоса — все чаще и чаще думал о том, как вернуть былую нежность и близость ныне непокорной, подчеркнуто чужой и временами, казалось, даже враждебной к нему Катюши.

И не раз с болезненной яркостью вспоминал он

последнюю встречу с ней. Казалось, что вновь звучал где-то в сумрачном небе высокий, с надрывом, плач чибиса. Блестели невыплаканными слезами глаза Катюши.

Однажды вечером, закончив перетяжку трактора, Митька бросился к себе в палатку, наспех сменил пропитанный маслом и копотью комбинезон на новую, еще ненадеванную юнгштурмовку. Впервые за дни пахоты свирепо и шумно умылся туалетным мылом, старательно выскреб застаревшую под ногтями грязь. Наконец, опрятный, подтянутый, с тревожным блеском в глазах, решительно направился он в палатку трактористок.

Девки, завидев непривычно нарядного бригадира, изумленно вытаращили на него глаза, а потом подняли на смех. Окружив Митьку, они цеплялись за его новенькую портупею, дергали за рукава, насмешничали.

— Уж не на блины ли к теще собрались, товарищ бригадир?

— Симпатия у него именинница — сто один годок ей брякнул!

— Ничего себе девочка, с походом...

— Крепкая — шилом не возьмешь...

Митька, ошарашенный визгом озорных девок, сокрушенно покачивая головой, бубнил:

— Ведьмы на помеле!

— Ах, какой вы у нас шикарный! Картинка!

— За таким кавалером — ударишь карьером. Вот именно!— звенел серебряный голос Морьки Звонцовой.

В палатке трактористок Катюши не было. Сопровождаемый девчатами Митька вышел из палатки.

В стороне от костра стояла Катюша. Словно не замечая Митьку и не слыша девичьих голосов, поникнув, задумчиво заплетала она темную, как осенняя ночь, косу. Но пальцы, точно одеревенев, не слушались ее. Чувствуя, зачем пришел приодетый, похорошевший Митька, для кого обулся он в поскрипывающие шагреневые сапоги, Катюша готова была броситься ему навстречу, обвить его шею смуглыми трепетными руками и покорно пойти за ним, куда он захочет...

Митька, бесцеремонно расталкивая окруживших его девок, направился было к Катюше. Но в это время из-за березнячка, ослепив Митьку белым накалом фар, бесшумно подкатила директорская автомашина. Резко затормозив, с глухим сердитым рычанием машина остановилась.

В распахнутой дверке кабинки показался слегка сутулый, близоруко прищурившийся Азаров.

— Катюша?!— негромко окликнул Азаров.

— Я, товарищ директор,— робко отозвалась она и, оглянувшись на Митьку, нерешительно шагнула к машине.

Азаров, легко выпрыгнув из машины, протянул девушке руку и, скупо улыбаясь, сказал:

— Ну вот, а нас на массив нелегкая понесла: сказали, что ты в ночной смене.— Он неловко взял ее под руку и, приказав шоферу заглушить мотор, повел Катюшу от костра в подернутую вечерним сумраком степь.

Не веря глазам, не понимая случившегося, Митька стоял как вкопанный. Он долго видел в озаренной последними отблесками заката степи удаляющиеся фигуры Азарова и Катюши, слышал приглушенный говор — и вдруг ощутил такую смертельную тоску, такое безразличие, что, не обращая внимания на девок, безвольно и тупо побрел к своей палатке.

И опять в стороне, над глухим и дремучим займищем, кричал чибис да угрюмо гудела на сонном озере выпь.

Девки, дурачась близ костра, напевали:

Завлеку — любить не буду,
Пусть тоскует обо мне!

Прислушиваясь к песне, Митька остановился и горько подумал: «Нет, стало быть, не судьба. Уйдет она от меня. Потеряю я ее. Потерял уже, на факте!..»

Раскурив береженную целых три дня для встречи с Катюшей папироску, Митька огляделся кругом. Вправо лежал массив поднятой целины, на котором работала ночная смена его бригады. Встречный ветер глушил гулкий клекот тракторных моторов.

Беседа между Азаровым и Катюшей была немногословной. Сначала, пока шли они от табора темной степью, директор расспрашивал Катюшу о пахоте, о бригаде, о трактористах. Но и по тону его рассеянных, беспорядочных вопросов, и по тому, как бережно вел он ее под руку,— по всему чувствовала Катюша, что главное впереди, и потому отвечала на вопросы директора односложно, бессвязно и скупо. То, что Азаров на глазах подруг,— а главное на глазах у Митьки,— взял ее под руку и увел в степь, и льстило Катюше, и пугало ее.

Они прошли несколько шагов молча.

Оглянувшись назад, Азаров увидел далекий, мерцающий во мгле костер на таборе и, убедившись, что их уже никто не услышит, остановился. Он слабо сжал маленькую теплую кисть Катюши в сильной своей ладони и, как бы раздумывая, проникновенно сказал:

— Вот я о чем, Катюша. Девушка ты у нас молодая, замечательная. Да. Трактористка отличная, на лучшем счету. И бригадир Чемасов тобой дорожит и управляющий отделением тобой не нахвалится. Все это так. Но мне, видимо, придется отдать приказ о твоем увольнении.

— Как?!— встрепенувшись, глухо спросила Катюша.

— Уволить,— твердо сказал Азаров. Он не спеша выбил из трубки пепел, набил ее табаком и, позабыв раскурить, продолжал:— Я вынужден буду сделать это...

— За что, товарищ директор?— чуть слышно спросила Катюша.

— По соображениям сугубо политического порядка... Скандальный случай на вашем полевом стане с инженером Стрельниковым помнишь?— спросил Азаров.

— Помню!— отозвалась Катюша.

— Ты действительно дала ему пощечину?

— Был такой грех.

— Ну вот видишь...

— Я отрекаться, товарищ директор, не буду — съездила. Такого бы гада надо всей бригадой отвалтузить.

— Ну-ну-ну...— дотронувшись до ее плеча, примирительно молвил Азаров.— За что же?

— Ах, не знаете?!

— Не знаю.

— Ну и слава богу... Что ж, увольняйте. Я и сама уйду, если так...— кусая губы, сказала Катюша.

Мысль о том, что директор снимает ее, Катюшу, с трактора, что суждено ей, изгнанной из зерносовхоза, расстаться со всем привычным и близким,— эта мысль так ошеломила девушку, что, судорожно уцепившись за руку Азарова, Катюша, точно задыхаясь от раскаленных обидой слов, сказала:

— Господи, али я виновата? Товарищ директор! У нас трактора пятеро суток стояли. У меня сердце изныло... Я к нему сначала добром, а он с этой дурой Кармацкой — со смехом... Да, ей-богу же, мы бы и по сию пору без прицепов сидели. Ну каюсь, грешна, понимаете, вдарила. Такая я уж, дура, горячая... Ну, как же теперь?..— И Катюша, пришибленно поникнув, умолкла.

Изумляясь ее непосредственности, искренности и простоте, Азаров даже слегка растерялся. Потом, осуждающе покачав головой, ответил:

— Как же теперь? В том и вопрос, Катюша... Нехорошо получилось. Оскорбление специалиста — это, говорят, политический скандал. Стрельников поспешил сделать из этой истории необходимые для него выводы... что ни говори, а прицепы-то ведь в конце концов он сделал. Видишь ли, надо понимать, друг мой, что специалист он старой закалки и...

— Враг он, товарищ директор!— убежденно сказала Катюша.— А уж ежели верите вы в него больше, чем в меня,— увольте. Что же, ладно. Уйду. Прощайте...— прошептала она и, рывком выдернув из ладони Азарова руку, круто повернулась и пошла прочь.

— Катюша, куда ты на ночь глядя?

Но она не отозвалась на его окрик и мгновенно исчезла в тяжелой аспидной мгле.

«Ну как тут быть?! Увольнять глупо, и не уволить нельзя»,— медленно шагая к машине, озадаченно думал директор. Лишиться в такую горячую пору единственного инженера-механизатора тоже было рискованно, да по сути и невозможно, ибо рассчитывать на получение в ближайшее время равной технической единицы было трудно. И хотя поведение Стрельникова не сулило ничего утешительного и явно противоречило тем многословным и сугубо положительным характеристикам, которыми снабдил его трест, Азаров все же считал, что делать какие-либо выводы о работе инженера пока рановато. «Черт его знает, а может, пооботрется... такие, как Катюша, скоро, пожалуй, собьют с него спесь. Усилим контроль. Ну, а пакостить станет — никуда не уйдет, обнаружим...» Но внутренне Азаров не доверял ни подозрительно-восторженным отзывам о Стрельникове, ни самому ему, приторно вежливому, словоохотливому...

Садясь в машину, Азаров припомнил недавнюю беседу с секретарем райкома Чукреевым и, огорченно вздохнув, поморщился.

Вызвав Азарова к себе в кабинет, Чукреев утомительно длинно говорил о тяжком проступке Катюши Кичигиной, о проблеме перевоспитания кадров старых специалистов.

Азаров, раздраженный высокомерным, поучающим то-

ном секретаря, едва было не вспылил. Но, взяв себя в руки, твердо сказал Чукрееву:

— Хорошо! Трактористку Кичигину я уволю.

— Этого мало, Азаров.

— А именно?

— Отдать под суд! Судить в показательном порядке. Поднять шум в краевом масштабе. Словом, ты не мальчик, ты понимаешь...

— Под суд?! В показательном порядке? Эге... Ну-ну! Ну хорошо. Подумаем и об этом. А пока — будь здоров. Не обессудь, спешу очень. Трактора из-за нехватки горючего простаивают. Тут на станционной нефтебазе лимиты, говорят, вышли. Черт знает что — голова кругом!— сказал прощаясь Азаров и в мгновение ока исчез из секретарского кабинета.

«Нет, уж на суде-то вы нас, да еще на показательном, товарищ Чукреев, не увидите, извините!»— прикорнув, по привычке, у плеча шофера, мысленно отвечал Азаров Чукрееву. И, предчувствуя, как все это может запутать и осложнить и без того напряженные взаимоотношения между дирекцией зерносовхоза и районным комитетом партии, нервно стал потирать виски и, чтобы подавить нарастающее, близкое к сердечному припадку волнение, закрыл отягощенные бессонной усталостью веки.

Катюша вернулась на стан только к полуночи. Долго, без цели, без мыслей, пришибленная, бродила она близ клетки, на которой заканчивала пахоту массива ночная смена ее бригады. Но ни гулкий рокот тракторных моторов, ни свет сигнальных огней костров и фар, ни озорные переклички девчат — ничто уже не волновало, не радовало ее. Потускневшим и даже враждебным вдруг встал перед нею мир, и люди, до сего близкие, тоже казались бесконечно чужими.

Отчаяние, овладевшее ею, перерастало в лютую ненависть к Стрельникову, в презрение к Татарникову, в злобу к Кармацкой, которую Катюша тоже считала своим врагом, хотя и не видела от нее ничего дурного...

В темноте невесть как набрела Катюша на сонный полевой стан своей тракторной бригады. Никем не замеченная, тихо скользнула она в палатку. Не раздеваясь, легла, ткнулась лицом в жесткую подушку и только тут дала волю слезам.

В разгар весенней пахоты целины бригада Ивана Чемасова вышла по производственным показателям в число передовых тракторных бригад в Степном зерносовхозе. Однако и бригадир и его трактористы не были уверены в том, что им удастся победить бригаду Митьки Дыбина. Напрягая все силы, они за последние трое суток все же не смогли перекрыть той выработки, какую давал со своей бригадой Дыбин. И хотя по количеству поднятых гектаров целины шли чемасовцы пока еще впереди, но угроза остаться не сегодня-завтра позади Дыбина была явной.

Виной всему, по мнению чемасовских трактористов, являлся Ефим Крюков. Плетясь в хвосте бригады, он с поразительной изобретательностью оправдывал свои систематические простои. Ребята после каждой смены, собравшись на производственную летучку, точили Крюкова как могли, и стыдили, и уговаривали, и грозили избить. А он, терпеливо выслушав гневные упреки товарищей, величественно поднимал руку и торжественно обещал:

— Товарищи! Разрешите заявить, что сегодня всю норму скрозь выпашу. Довольно стыдно, конечно, мне седьмой день бригаду позорить!

В борозду он въезжал всегда первым, с шиком, на третьей скорости, и часа полтора, оглушая массивы звучным ауканьем, песней и свистом, пахал без остановок. Но уже к полудню на крюковской клетке наступала тревожная тишина — ни звука, ни шороха не доносил оттуда залетный ветер.

Бригадир Чемасов, яростно потрясая тяжелыми, как кувалды, кулаками, наседал на тракториста:

— Опять стоишь? Сукин ты сын!

— Стою, понимаешь ли, Ваня...—сторонясь на всякий случай распаленного бригадира, скорбно признавался Ефим.

— Почему же ты стоишь, лодырь?

— Опять заедает...— опасливо пятясь от Чемасова, объяснял, разводя руками, Ефим.— То, понимаешь, питательная трубка засорилась — продувал, мучился. Потом, обратно, плуг как в лихорадке затрясло — регулировал. То картерный ключ как на грех забыл — на стан за ним бегал. А тут вот, понимаешь ли, вторая свеча опять не тянет...

— Убить тебя, Крюков, надо,— с холодной рассудительностью говорил Чемасов, точно речь шла о чем-то незначительном и побочном. И, осмотрев машину, он твердо

и убежденно обещал Ефимке:— И убью, будь в надежде. А как ты думал?! Через десять ден кончаем подъем целины — великое дело! Почетное знамя лучшей бригаде директор вручать будет. Неужели мы через тебя на весь СССР опозоримся — дорогую награду эту прохлопаем, другим отдадим?! Нет уж, извиняй, дорогой товарищ, подкачаешь — семь шкур с тебя живьем снимем!

— Товарищ бригадир, заверяю!..— стремительно прыгая на запущенный Чемасовым трактор, вопил Крюков. И, переключаясь в пылу на незаконную скорость, орал что есть мочи:— Дух из меня вон, товарищ Чемасов! Да я за свою бригаду в огонь и в воду!

Круга три пахал Ефим без оглядок, бойко, уверенно. Но на четвертом у него непременно что-нибудь да случалось: то глох мотор, то перегревался радиатор, то не тянули свечи...

И вновь сломя голову бросался к Крюкову бригадир и яростно потрясал кулаками.

А в сумерках, устало шагая по рыхлым массивам, Чемасов невесело думал: «Неужели сдадимся?! А вдруг да перехлестнет меня Митька Дыбин?! Укуси его тогда, сукина сына! А ведь все из-за бандуриста — Ефимки!»

До окончания весенних полевых работ оставались считанные дни. Из оперативных сводок дирекции всем было ясно, что первым из шести план подъема целины и весеннего сева завершит пятое отделение. Но Чемасов не хотел быть одним из лучших, он хотел быть лучшим. Отлично зная, с каким напряжением следили теперь во всем зерносовхозе за решающим поединком двух соревнующихся в пятом отделении передовых бригад, он глубоко верил в превосходство своего коллектива над бригадой Дыбина. Но в то же время Чемасов был убежден, что, не подтянись в эти дни Крюков, в тылу у дыбинцев рискует оказаться и вся бригада. Потому-то и не находил себе места бригадир. Он не мог примириться с мыслью, что не ему, не его ребятам и девушкам будет суждено выпить с Азаровым по стакану хорошего вина, на глазах у всех поднять над полевым станом бригады почетное искусно расшитое шелком и золотом красное знамя.

«Нет, товарищ,— говорил он себе,— ежели будет грех, отобьет у нас Дыбин переходящее знамя, я тогда из зерносовхоза убегу! Вот только с Любкой расстаться невмоготу!..»

Но, как назло, был в эти горячие дни Иван Чемасов

лишен возможности поделиться горьким своим раздумьем с Любкой. А ведь только она умела и слушать и понимать его с полуслова! Ведь второй такой девушки не отыщешь в мире! Да дернуло же, скажите на милость, какого-то дурака приписать ее к дыбинской бригаде! А теперь вот попробуй, погорюй, посоветуйся с нею, как тяжко ему, бригадиру Ивану Чемасову, уронить из рук боевое почетное знамя.

«Нет, об этом ей лучше и не заикайся — на смех подымет. Она за свою бригаду дерется, явно побить меня норовит!»— ревниво думал Чемасов.

И он избегал встреч с Любкой. Но она чутьем догадывалась о причинах его непривычного поведения и упорно стремилась к разговору с ним. Укрыться Чемасову от Любки не удалось.

Вечером, возвращаясь со своего массива на полевой стан, Любка, присев близ кургана, терпеливо поджидала, когда усталый, хмурый бригадир поравняется с нею. Пропустив его вперед шагов на пять, она легко и бесшумно шагнула вслед за ним, и не успел он опомниться, как она обвила руками его шею.

Чемасов опешил, растерянно улыбнулся.

Открыв в улыбке частые белые зубы, Любка на мгновение покорно и преданно заглянула ему в глаза, а потом, отпрянув, осуждающе покачала головой.

— Ну как, зашиваешься, мальчик? И тебе не совестно? Эвон какой ты у меня хороший, и музыкант: гармонь растянешь — степь плывет! А вот знамя удержать не можешь. Жар-птицу из рук выпускаешь, Ванюша!..

— Не выпущу...— пытаясь ухватить Любку за руку, глухо ответил Чемасов.

Она, ловко вывернувшись из его рук, притворно строго сказала:

— Лишиться знамени, да еще такому бригадиру,— ведь это же стыд и позор. Ну, уж я бы в жизни никому не отдала. Сама хочу победителем быть. Пусть полюбуются тогда на меня, какая я красивая да боевая. Пусть влюбляются тогда все в меня — знаменитую бригадиршу!

— Смейся! Смейся!— сказал угрюмо Чемасов.

— А что ж тут смешного? Нет, я нисколько не смеюсь. Убей меня матерь божья, сурьезно. Лучше всех хочу быть, миленький. И любить хочу самого лучшего. Вот я какая!

Потом порывисто прижалась к Ивану молодым, упругим телом.

— Ой, какой ты у меня опасный! Очень уж ты рисковый. Ведь с тобой и впрямь согрешить недолго. Ей-богу, не устою. Колдун! Музыкант ты мой!

— Люблю. Ни на кого не променяю. Умру я без тебя. Хорошая моя. Беда моя. Моя птица...— бормотал, как в бреду, Иван, подняв ее на руки... Он стоял ни живой ни мертвый. Боясь вспугнуть ее, он, затаив дыхание, любовался смуглым ее лицом, тревожным блеском лукаво полуприкрытых глаз. Горячая волна нежности подступала к бешено стучавшему сердцу.

Чувствуя, что Иван теряет рассудок, что земля горит и плывет у него под ногами, Любка, глядя ему в лицо и жмурясь, точно от солнца, говорила какие-то ласковые бессвязные слова притворно-испуганным, вкрадчивым полушепотом.

...Дорого стоили Ивану Чемасову такие мимолетные, сводившие его с ума встречи с Любкой. Позднее, остыв, опомнившись, он никак не мог понять толком — шутила ли с ним насчет первенства его бригады Любка или говорила всерьез. «Разве поймешь ее такую?»— с нежностью и отчаянием не раз думал без памяти влюбленный в нее бригадир. И он, расставаясь с нею, все же твердо решал добиваться высокой трудовой чести своей бригаде!

К концу первой декады бригада Ивана Чемасова стала изо дня в день перевыполнять нормы.

На диво всем, помрачневший и тихий, пахал теперь целину без простоев даже Ефим Крюков. Поразил он весь участок и тем, что нежданно-негаданно вдруг утратил пагубную для дела страсть к балалайке. То, бывало, не успеет с трактора соскочить, как, глядишь, в руках у него балалайка, и не расстается он с ней до зари. Даже по утрам, перед сменой, время урывал: под шумок какой-нибудь немилосердно перевранный марш отхватывал! А тут не успеет смениться и сдать машину — шмыг в палатку, и никакой музыкой его оттуда не вытянешь. На перекрестные расспросы ребят, что с ним случилось, отвечал:

— Животом маюсь. Не до бандуры тут, понимаешь...

— Да, как же ты пашешь-то хворый?

— Как пашу? А так и пашу, что высокое, понимаешь, сознание имею.

— Эк ты! Давно такое заимел, товарищ?

— Вторые сутки...— серьезно отвечал Ефим.— Може-

те проверить, второй день на все сто норму выдаю. Чисто любо посмотреть, как я работаю! Аж двадцать четыре кила горючего сэкономил. Самого себя не признаю, чисто. И как это только я переродился?! Удивительный номер вышел со мной. Каюсь, с ленцой был раньше, симулянтничал и волынил. А теперь — эвон какой я ударный!..— искренне восторгался собою Ефим Крюков.

Трактористы чемасовской бригады поощрительно улыбались Ефимке, бурно хвалили его и только из опасения, как бы не сорвать крюковского запала, мужественно умалчивали о той тайне, которую поклялись они Увару Канахину до поры до времени не выдавать Ефимке.

Тайна же эта заключалась вот в чем.

Систематическая недовыработка Ефимкой сменных заданий грозила сорвать производственный план всей бригады. Ни товарищеский суд, ни угрозы, ни порицания, ни злые карикатуры в листовках — ничто не помогало, не подтягивало явно лодырничавшего тракториста. Некоторые даже требовали с позором выгнать его из бригады. Но Чемасов решительно воспротивился этому.

— Выгнать мы его всегда с треском успеем — дело немудреное, а вот заставить работать честно — это потруднее. Надо попробовать,— резонно сказал бригадир на летучке.

— Вот именно!— поддержала его Морька Звонцова.

— Массовую обработку над ним провести, председателя рабочкома Увара вызвать!— предложил кто-то из ребят.

— Вот это резон.

— Увар его вышколит — я те дам!— дружно поддержали это предложение все трактористы.

Явиться в бригаду Увар не замедлил и, выслушав жалобу бригадира, убежденно заявил:

— Проработаю. Я с него завтра же норму выжму. Будьте покойны!

А на рассвете, когда тракторист, беспечно насвистывая замысловатую польку, нехотя копался около ставшего среди борозды трактора, Увар, проникнув в палатку Крюкова, сорвал с крючка его балалайку, а затем, явившись с ней на пахотный массив к Ефиму и свирепо ударив пятерней по струнам, спросил:

— Слышишь, малохольный, подобную музыку?

— Слышу...— почуяв неладное, промычал Ефимка.

— Слушай... Вникай, лодырь...— молвил вполголоса

Увар Канахин.— Слушай и плачь, рыдай под таковые последние звуки. И как пред рабочего комитета зерногиганта, я тебе массово разъясняю: ежли, случись грех, подгадишь ты боевой нашей бригаде товарища Ивана Чемасова и замочишь его авторитет — плакала твоя трехструнная бандура!

— О-о!— изумленно разинул рот Ефимка.

— Замри. Я тебе массово разъясняю,— прервал его властным жестом Увар Канахин.— Как позорного лодыря лишаю тебя фактической бандуры сроком до конца пахоты на данном участке. Предлагаю тебе ликвидировать личный прорыв и выпахать полную норму. Заверяю, что за такие и тому подобные показатели пожертвую тебе несчастную твою трехструнку обратно...

— Отдай!— осмелев с перепугу, хрипло крикнул Ефимка.— Я директору просьбу подам. Я товарищу Азарову пожалуюсь...

— Так он тебе, дураку, и поверил!— усмехнулся Увар Канахин.— Да товарищ Азаров с таким позорным лодырем и разговаривать-то не станет. Кто видел, что я тебя бандуры лишил? Чем ты докажешь? Неужели ты думаешь, в мой авторитет не веруют? А?

— Ясно, все веруют...— признал Ефимка.

— То-то, дорогой товарищ! Помолчи лучше. Меня в кавэскадроне товарища Каширина не так почитали. Я за боевые отличия против барона Унгерна дарственную саблю с серебряной насечкой от комдива имел. Как сейчас помню, в ноябре двадцать второго числа тысяча девятьсот девятнадцатого года наш боевой эскадрон, имея задание прорвать левый фланг противника и атаковать беляков с тыла, шагом двинулся в направлении Баян-аула. На рассвете мы числом в одиннадцать сабель вышли в разведку. Туманило. Коней накрыл куржак. Я шел в головном дозоре. Вдруг встретился нам на пути вершный киргиз и доложил, что в хуторе Полуденном ночует сотня белопогонника атамана Дутова, а дозоров на нашей пути не имеется. Ну и что ж, мы — шашки наголо да с гиком на хутор!..— на мгновение забыв обо всем прочем, увлеченно пустился в волнующие воспоминания Увар Канахин.

Но глуховатый ли клекот степного орла над головой, далекий ли гул трактора, остолбеневшая ли фигура Ефимки вернули Увара к действительности и, помолчав, он пообещал...

— Ну, ты у меня не горюй, станешь ударным, как-

нибудь доскажу я тебе скрозь всю историю... А теперь предлагаю выполнить мой завет, перекрыть к вечеру норму по вспашке. Эх ты, дурак, дурак!— сокрушенно покачал головой Увар.— Да ведь за тому подобные ударные факты тебе весь СССР благодарствие вынесет: был, мол, тракторист Ефим Крюков шкура и злостный лодырь, а теперь превратился в мирового ударника. Про тебя аж сам Михаил Иванович Калинин в одно прекрасное время может такую речь в Кремле сказать: «Наградить его, понимаешь ли, золотым орденом и вернуть бандуру!» Бандуру я, конечно, ежели ты заслужишь, и без директив председателя ЦИК верну... Да я бы на твоем месте за одну пахоту всю грудь медалями разукрасил. И — что там бандура!— целую бы гитару или там духовой контрабас бы купил! Уразумел или тупо?— спросил Увар.

— На том я вам, товарищ рабочком, вполне сочувствую,— косясь на свою балалайку, пробормотал Крюков.

Забросив за луку повод, Увар взметнул с казачьей ловкостью на дрогнувшего под ним коня и, привстав на стременах, добавил:

— Итак, вопрос о бандуре как таковой считаю исчерпанным. Возражать, надеюсь, не будешь? Станешь сознательный и ударный, получишь изъятую музыку обратно. Симулянтничать будешь, пеняй на себя — трахну об березу твою забаву и прах ее на огне спалю. Это я тебе массово разъясняю!— заключил Увар и, пришпорив норовистого жеребца, мгновенно исчез с раскосых Ефимкиных глаз.

Минуты через две Ефимка очнулся от столбняка. Покосясь на заглохший трактор, он, сокрушенно вздохнув, сказал:

— Думай не думай, а балалаечку-то придется выручать!..

4

В разгар пахоты, в решающие страдные дни весеннего сева, Увару Канахину прихворнулось. Бледный и немощный от бессонницы и недуга, суток трое рыскал он, с трудом удерживаясь в седле, по отделениям зерносовхоза, по тракторным бригадам, по пахотным клеткам, а на четвертые — слег.

Болезнь на ходу подкосила Увара, и он, не в силах подняться, лежал на жесткой неубранной кровати пластом, со

спекшимися губами, в поту и в жару. Мучила жажда. Не было под рукой глотка воды, и подать ее было некому. Так, плашмя, разметавшись, и валялся Увар в смятой постели. Канахин отлично понимал, что в зерносовхозе в эту горячую пору не до него — люди дневали и ночевали в степи, по участкам. С соседями же издавна был он не в ладу, чурались они его нрава, и на внимание их он не рассчитывал.

«Скрутит, помрешь, как бирюк, и люди не враз тебя заметят!..»— пристально глядя на низкий бревенчатый потолок, невесело размышлял Увар Канахин.

В хате было тихо. Даже сверчок, без умолку верещавший, бывало, в запечье, теперь молчал. А как хорошо было лежать в постели на теплой женской руке и слушать, сумерничая, мирный дремотный верезг!.. По-иному выглядела изба при Дашке — уютной, опрятной, во всем чувствовалось присутствие женщины, хозяйки. Но вот с тех пор как, отбившись от дома, принялась она за учебу на курсах, а потом и совсем перекочевала в степь, опустела, одичала канахинская изба. Целыми днями висел на двери огромный замок, и Увара, как прежде, не манили домашние сумерки, не влекла избяная дремотная тишина...

Спал он урывками, где попало: то около таборных костров на бригадных полевых станах, а то и просто в открытой степи, на горячем ветру, на солнцепеке. Все это напоминало ему былую фронтовую жизнь и отнюдь не утомляло, не выматывало, а наоборот, молодило, бодрило его, и чувствовал он себя всегда так, точно готовился к рукопашной схватке.

И вот неожиданно шальной недуг выкинул его из седла. А валяться всеми забытым, жалким и немощным, в нежилой и постылой избе в столь жаркую пору, когда наступали в степи решающие сражения за каждую борозду поднимаемой целины, валяться и чувствовать себя беспомощным было обидно и глупо. И Увар, упрямо сопротивляясь недугу, не сдался бы, пожалуй, ежели не сломил бы его вчерашний случай.

Дня три тому назад, в полдень, после объезда пятого отделения, почуяв обострившееся недомогание, Увар, спешившись близ дороги, стреножил коня, а сам прилег было передохнуть в ковыль. Но не успел он забыться, как его поднял верховой нарочный из центральной усадьбы. Он вручил Канахину коротенькую записку.

Крупным размашистым почерком на косо выдранном из блокнота листке директор писал:

«т. Канахин, требую немедля и безоговорочно явиться ко мне.
К. Азаров».

Трижды перечитав записку, Увар сразу же уловил недобрый ее тон и, покосясь на нарочного, подумал: «Факт, опять мне товарищ директор головомойку готовит — чую!..» И, мигом упав на коня, Увар погнал карьером в центральную усадьбу. Тщетно пытался он вспомнить дорогой, каким же проступком навлек на себя директорский гнев, но так ничего предосудительного в практике своей рабочкомовской работы за последние дни и не нашел: наганом никому не угрожал, собственных резолюций нигде не зачитывал, проводить внеурочные собрания и летучие полевые митинги среди трактористов остерегался...

Спешившись на полной рыси у здания дирекции, Увар наскоро привел себя в порядок: одернул френч, вытер лицо рукавом, причесался — как-то ему от Азарова за неряшливость попало — и осторожно постучался в директорский кабинет. На стук никто не отозвался. Подождав, Увар постучал снова, более решительно — тишина. Тогда, осмелев, Канахин распахнул двери и замер.

За столом, склонив тронутую легкой проседью голову над кальковой картой, сидел Азаров. Щурясь, он напряженно разглядывал пунктирные клочья разбросанных в степи земельных массивов зерносовхоза, делал бегло пометки в блокноте, резко чертил кальку граненым карандашом.

Канахин смущенно крякнул.

Точно очнувшись, Азаров поднял чуть влажные от напряжения глаза и на секунду задержал жесткий, проницательный взгляд на Канахине.

— Садись. Закрой двери.

Почуяв недоброе, Увар с великим трудом захлопнул за собою неподатливые половинки дверей и, приблизившись к директорскому столу, присел на кромку шаткого, обитого голубеньким репсом кресла.

Но Азаров, точно не замечая Канахина, снова занялся картой. Потом резко отодвинулся от стола, устало смежил глаза и, тяжко передохнув, спросил Увара:

— Ну-с, расскажи, каковы дела в пятом отделении?

— Очень даже великолепные, Кузьма Андреич!— мгновенно оживился Канахин.— Я только что, согласно вашей записке, с пятого отделения...

— Какие за вчерашний день показатели?

— Дыбин с Чемасовым идут как хорошие рысаки на скачках — ноздря в ноздрю! Обе бригады нормы на все сто дают ежедневно.

— А за работой отдельных трактористов ты следишь?

— Днем и ночью, Кузьма Андреич!

— Ну и как же — все отлично работают?

— Как вам сказать...— замялся Канахин.— На данный момент ни на кого обижаться не могу. Правда, на первых порах попадались мне под руку неподобные элементы. Встречались лодыри...

— А теперь? Лодырей нет?

— Никак нет. Таковых в наличии не имеем...

— Куда ж они делись?— криво улыбнувшись, пытливо пригляделся к Увару Азаров.

— Как куда?!— изумился Увар.— Политическое сознание при себе заимели. Перестроились. Переродились. Я им лично массово разъяснял, каждого, согласно директивам ВЦСПС, проработал.

— Так, так, так...— отозвался, вставая, Азаров. И, вплотную приблизившись к Увару, спросил:— А тракториста Крюкова ты не знаешь?

У Канахина похолодело во рту.

— Как не знать. Передовой лодырь в зерносовхозе! Я с ним всю душу вымотал...— ответил, вспыхнув, Увар.

— Ну, а сейчас как он работает?— допытывался Азаров.

— Как часы. Пятые сутки полторы га сверх нормы пашет!

— Да что ты говоришь?!— притворно изумился Азаров.— И это в результате твоей разъяснительно-массовой обработки такое чудо свершилось?

— Натурально... Чисто на глазах у меня человек переродился. На него теперь и бригадир не нарадуется — герой!

Лицо Азарова подернулось меловой белизною, округлились глаза, раскаленные до сухого блеска в зрачках. Наотмашь кинув на стол блокнот, он вцепился рукой в дрогнувшее плечо Увара и сказал:

— Эк ведь лихо как сочиняешь, Канахин, и не краснеешь! Кого ты обманываешь? Напакостил втихомолку, а честно покаяться мужества у тебя не хватает. А еще кичишься на каждом шагу боевыми заслугами. Партизан, коммунист когда-то, говорят, из тебя неплохой был...

Тебе из уважения к твоим прошлым подвигам доверили целую армию. На тебя положились, как на честнейшего, глубоко преданного партии командира,— а зря! Не следовало бы рисковать... Мы собрали неорганизованных, малоразвитых, забитых в прошлом людей. Наша задача перевоспитать, вырастить из вчерашних бобровских и окатовских батраков сознательных сельхозрабочих зерносовхоза. И как ты не понимаешь, дурная твоя голова, что мы не только обязаны дать в кратчайшие сроки стране миллионы тонн высокосортного хлеба, но и подготовить не меньшее количество передовых в государстве людей! А ты чем занялся? Грубым администрированием?! Дискредитацией партии?! Партизанщиной?!

— Никого я не насильничал...— подавленно отозвался из кресла Увар. Он беспомощно скривил спекшиеся от обиды губы, судорожно погладил щетинившиеся на обнаженной голове волосы. Никогда никто так жестоко и незаслуженно не оскорблял его, не попрекал боевым прошлым, как этот человек, к которому прислушивался всегда Канахин с ревнивым вниманием и за которым пошел бы очертя голову под любой смертоносный огонь, как, бывало, ходил за покойным комдивом...

— Не криви душой, Увар. Не криви,— переходя уже на более спокойный, ровный тон, продолжал Азаров.— Кого ты обманываешь? Меня? Партию?

«И чего это только он вспылил? Стоило из-за какой-то поганой бандуры сыр-бор поджигать! Разбушевался, а того и невдомек, что оплошай, не лиши я этого лодыря вреднейшей его забавы — он бы всю боевую бригаду мог собой замарать, в пахоте бы из-за этого выродка на весь СССР подкачали... Вот еще черт-то меня с ним попутал! Не ровен час, за этого дурака перед партией пострадаешь! Ну, погоди же, сопляк, обидят меня — я с тобой тогда не так поквитаюсь!..»— мысленно пригрозил Увар Ефимке.

Притулившаяся в кресле молчаливая фигура Увара злила директора, но он, стараясь подавить в себе вспышку лютого гнева, спокойно спросил:

— Стало быть, ты убежден, что поступил правильно?

— Ежли человек симулянтничал по причинам злостной бандуры...— начал было издалека Увар Канахин.

— Не «ежли», а отвечай прямо!— одернул его Азаров.

— Я напрямик и ответствую: велика, понимаешь ли, корысть мне в паршивой трехструнке! Попадись под ру-

ку контрабас — ну, еще туда-сюда, может быть, покорыствовал. Потому сам сызмальства подобной музыки добиваюсь. Я на этом инструменте в дивизионе любой марш и в походе и на привале выдувал. А к бандуре, прямо говорю вам, никаких корыстей за душой не имею. Уж не усумнились ли вы, что я для себя прибрал балалайку — крыс ей пужать ночью, что ли?! А раз человек симулянтничал, не вылазил с прорыва, позорил бригаду, как нам быть? Пока ему политику разъясняешь, хвать — и сев пройдет. Горевал я, горевал и надумал. Дай, думаю, пужну его в слабое место. Изъял на временное хранение вышеупомянутую его музыку — оказалось на пользу: и простои у парня как рукой сняло, и полторы га встречь нормы начал давать. Одним словом, на глазах переродился лодырь в ударника. Это же — факт. А бандуру я после сева завещал обратно ему пожертвовать. Мне она ни к чему. Что же тут худого?! Для меня государственный хлебушко, товарищ директор, покровней, подороже подобной собственности! Я и своим барахлом не подорожу...

— Своим ты можешь не дорожить, а вот к чужому не прикасайся!— раздраженно оборвал его Азаров.— Ну, мы еще с тобой потолкуем об этом в известном месте. Мы тебя проучим! А вещь, принадлежащую трактористу Крюкову, приказываю тебе сейчас же, немедля и безоговорочно, вернуть. Понял?!

«Достукался! Точно с классовым врагом разговаривают... Да-а, надсмехается над тобой, дорогой мой товарищ Канахин, судьба, ежли там за злостного кулака чуть-чуть не пострадал,— потемнев, вспомнил Увар Луку Боброва.— А тут вот за лодыря последнюю кровь в тебе портят!..»

С трудом поднявшись с кресла, Увар подошел неверной, шаткой походкой к двери директорского кабинета. Взявшись за дверную скобу, он с минуту стоял спиной к Азарову, с низко опущенной головой, точно пытаясь что-то припомнить. Потом, прислонившись к двери, ощутил тошнотворное головокружение, томительную слабость в руках. Словно наливалось свинцом, становилось чужим, непослушным все его тело. Увар понял, что недуг, с которым он так упрямо и долго боролся, вдруг одолел его.

Странное, доселе непривычное чувство обуяло Канахина: оттого ли, что так не к месту и не ко времени схватила его болезнь, оттого ли, что впервые так тяжело и зло обидел, разбередил его давние раны Азаров, но страш-

ные, как удушье, спазмы перехватили горло, и едкой соленой влагой подернулись, набухли узкие глаза. Будь он один — слезы бы жарко хлынули, омыли его суровое, покрытое степным загаром, иссеченное морщинистой рябью лицо. Увар заставил себя повернуться к Азарову, открыто посмотреть ему в глаза.

— Ежели, допустим, я и повинен — судите. Мне за всякие злостные элементы страдать не впервые. Только за боевую мою биографию, товарищ директор, меня не корите! Я идейную путь красного партизана скрозь все сибирские степи прошел, и попрекать меня за таковые года — шабаш — больше вам не дозволю! Я пять ранений в себе имею. Меня дважды в рукопашном бою рубали. Не имеете права!..— хрипло сказал Увар.

— На руках теперь тебя за эти ранения носить?— грубовато заметил Азаров и тут же, смягчившись, скороговоркой добавил:— Ну ладно, Увар. Ты извини, я тоже ведь не чурбан. Погорячился... Езжай...

Покусывая обметанные жаром губы, Увар вышел. Во дворе он с трудом отвязал от коновязи заржавшего при виде его жеребца, но, вложив ногу в стремя и придерживаясь ослабевшей рукой за луку, подняться в седло уже не смог. В ушах стоял тупой, надсадно ноющий звон. Зябко нудели, подкашивались ноги. От тошнотного головокружения тяжело и медлительно плыла, каруселила, покачиваясь, земля. Было тяжко дышать. Страшно хотелось прохлады, покоя и маленького глотка воды.

Конь, кося огненным округленным оком, недоуменно смотрел на хозяина и, упруго перебирая тонкими, вороненно лоснящимися ногами, горячо раздувал влажные замшевые ноздри.

Увар выронил повод и, равнодушно отвернувшись от коня, едва передвигая непослушные ноги, побрел по пустынной улице центральной усадьбы к дому. Беспокойно похрапывая, конь покорно ступал за хозяином.

Поздним вечером этого дня Азаров, воротясь в центральную усадьбу с отдаленного отделения зерносовхоза, решил заглянуть на минутку к Увару Канахину. Войдя в хату, неярко озаренную одинокой электрической лампочкой со слабым накалом, Азаров остолбенел: распластавшись на постели, Увар судорожно цеплялся руками за спинку кровати, метался и буйствовал в бреду.

5

На второй день после разговора с Азаровым Катюша, к великому изумлению всего отделения, впервые за время работы на массивах зерносовхоза оказалась в глубоком прорыве: за всю смену она не смогла вспахать и одной трети дневного задания. Еще на рассвете, когда она принимала от подсменного тракториста Пунды машину, заметил Чемасов, что с девушкой творилось что-то неладное. Была она непривычно мрачна, рассеянна. Нерешительны, вялы были ее движения, и с трактором она обращалась так, точно человек, которому только вчера доверили рулевое управление.

От бессонной ночи, от пролитых жарких слез, от тоски и горькой обиды больно колотилось Катюшино сердце. Потускнели обведенные сиреневой тенью глаза. Запеклись сурово замкнувшиеся губы. Глянув в осколок зеркала, припрятанного в нагрудном кармане комбинезона, Катюша беззвучно ахнула: таким чужим показалось ей осунувшееся за ночь лицо. Надломленная неожиданно свалившейся на ее хрупкие плечи бедой, сидела она за рулем как пришибленная. Трудно было узнать в ней вчерашнюю озорную трактористку, бойко перекликавшуюся со встречными рулевыми.

Дул свирепый северный ветер. Массив подымался в гору. Но Катюша при выезде на увал забывала регулировать заслонку, и потому так пронзительно завывал, аукал и гулко хлопал мотор. Теряясь, она прибавляла газу, отчего машина шла резкими толчками. А прицепные плуги, вибрируя, то и дело вырывались из борозды, оставляя немалые огрехи.

С трудом владея доселе послушным трактором, Катюша, спалив по недогляду одну свечу, едва не подплавила подшипники. Все больше и больше нервничая и стыдясь своих грубых промахов, она уже готова была бросить трактор среди борозды и бежать куда глаза глядят с пахотной клетки. В то же время Катюша отлично понимала, что теперь, когда наступили решающие дни борьбы за честь передовой бригады в зерносовхозе, будь на ее месте кто-нибудь другой, бригадир немедля снял бы его за такую работу с трактора, а товарищеский суд исключил бы и из бригады.

Катюша пахала чем дальше тем хуже. День был сухой, до звона прозрачный. Ярко сверкали, словно перемиги-

ваясь с солнцем, шпоры работавших на вспашке целины тракторов. Теплый пьянящий аромат шел от переворачиваемой стальными лемехами целинной земли.

Но ничто больше не волновало, не радовало Катюшу. Знала она, что в последний раз видит разбуженную, облегченно вздыхающую под лемехами землю, что последний раз вдыхает ее крепкий хмельной аромат, что последний раз нажимает она ногой на педаль сцепления. Оттого-то и обессилели и дрожали руки, оттого и не слушался ее руль...

О разговоре с Азаровым Катюша не сказала даже Чемасову. Еще на рассвете, за час до смены, она наскоро затянула в узел свои пожитки и твердо решила, не дожидаясь директорского приказа, ночью, крадучись, скрыться из отделения. Ей хотелось перед уходом встретиться с Митькой, рассказать ему обо всем. Она понимала, что ничто теперь не сможет задержать ее здесь, но сгинуть невесть куда, не предупредив его, не сказав ему, как он дорог и близок ей, она не могла.

И вот целый день, бесконечный, мучительно долгий, терпя неудачу за неудачей, обессиленная и измученная, жадно ждала она этой встречи.

Медленно, как бы нехотя, угасал ветреный весенний день. Все смутнее и прозрачнее казались неверные очертания далеких курганов. Все ярче выступала по горизонту обручальная позолота заката. И чем ближе был хмуро прищуривший синие очи вечер, тем тоскливее и горше было на душе у Катюши Кичигиной.

Наконец наступила смена. Стыдясь посмотреть в глаза подсменному, Катюша наспех сдала в присутствии Чемасова трактор напарнику и поторопилась уйти с массива. Она подозревала, что Чемасову, видимо, было уже известно о предстоящем ее увольнении, и только этим оправдывала его молчаливое, почти безучастное отношение к ее позорнейшей, непростительной даже для новичка работе. Катюша думала, что это из сострадания к ее горю был так притворно равнодушен и до поры до времени молчалив бригадир и что сегодня же на вечерней летучке вынужден будет он объявить директорский приказ о ее увольнении.

Вот почему являться на полевой стан бригады, прежде чем утихнет у костра обычное сумеречное оживление и добрая половина ребят завалится спать, она не хотела и,

выбравшись из пахотины, медленно побрела в подернувшуюся мглистой дымкою степь.

Но на повороте к придорожному кургану Катюшу настиг Чемасов. Дружески обняв ее за плечи, он спросил:

— Что с тобой сегодня, Катюша?

Не сопротивляясь слабым его объятиям, не подняв поникнувшей головы, Катюша промолчала.

— Тебе прихворнулось? Я же вижу... Я еще утром перед сменой заметил. Заметить заметил, а к трактору допустил,— упрекнул он себя.— И понимаешь, была машина из центральной усадьбы, а направить тебя в больницу у меня толку не хватило...

— Никуда бы я не поехала,— сухо отозвалась Катюша.

— Почему?

— Не приставай. Вот почему...— И легким незлобным движением локтя она оттолкнула Чемасова от себя.

— Да я же знаю, что ты бы не поехала. Чудачка! Сама понимаешь, время страдное, Дыбин нас зашивает. А прогул такого работника, как ты, встанет бригаде дорого. Вот я и думал, авось выдержишь, обойдешься...

— Просчитался. А я вот взяла да и подвела. Небось в другой раз не понадеешься!..— искоса взглянув на Чемасова, злорадно сказала Катюша.

Идя рядом с бригадиром, она злобно покусывала кончик косынки. Шаг девушки был неровен, точно ступала она с закрытыми глазами, ощупью. Что с ней творилось? Чемасов не знал этого, но чувствовал, что ей не по себе.

— Ну вот видишь, я же знаю, что тебе нездоровится. Я же говорил... Потому и работала ты сегодня у нас не ахти как. Ну да невелик грех! Ерунда. Зря убиваешься. Не горюй — показатели в нашей бригаде неплохие. Ребята у нас выравнялись. Вот помяни меня, мы еще дыбинцам пить дадим — по всем пунктам!.. А тебя мы на высшую премию перед дирекцией выдвигаем. Ну да. Заслужила. Ведь ты у нас самая замечательная. И потом, какой праздник, какой пир после сева закатим, и-и-их!— мечтательно смежил Чемасов глаза, воспаленные от ветра, пыли, недосыпания.— Какой праздник, Катюша! Боевое знамя над нашим шатром подымем! С нами сам Кузьма Андреич, товарищ директор, по стакану вина трахнет! Обещал. Я ему верю. Ежели только мы устоим на верном слове своем и выйдем победителями, Азаров выпьет с нами обязательно!..— увлеченно говорил бригадир Чемасов о предстоя-

щем празднике, даже не подозревая, какой мучительной болью отзывалось в сердце Катюши каждое его слово.

Поникнув, молча слушая Чемасова, Катюша видела шумный и яркий праздник первых покорителей целины, праздник, в котором она уж не примет участия как полноправный член родного ей коллектива.

Шагая нога в ногу с Чемасовым, Катюша, погруженная в горькие думы о своей судьбе, теперь уже не слушала бригадира. А он, встревоженный ее состоянием, решился во что бы то ни стало задержать ее и хоть силой вернуть к стану.

Но в эту минуту из-за кургана показался Митька. Бездумно поигрывая картерным ключом в руках, устало брел он с отдаленного массива своей бригады к полевому стану. Делая вид, что не замечает встречной пары, небрежно жонглируя ключом, он негромко напевал:

Когда б имел златые горы
И реки полные вина...
Все отдал бы за ласки, взоры,
Лишь ты владела б мной одна.

Завидев издали Митьку, Катюша насторожилась и вдруг точно вся напружинилась. Потом, резким движением острого локотка оттолкнув от себя Чемасова, стремительно бросилась навстречу Митьке.

Чемасов смутился. «Вот дурак так дурак! Девчонка на свидание к бригадиру шла, а я привязался!.. А уж не нарочно ли она у меня сегодня симулянтничала?! Хоть и в моей бригаде состоит, а в победителях-то небось хочет видеть своего Митьку!»— ревниво заключил Чемасов и обескураженно повернул к полевому стану.

Подлетев, как на крыльях, к Митьке, Катюша доверчиво тронула его за локоть. Митька с притворным равнодушием посмотрел на нее и остановился. С минуту они стояли друг против друга, не проронив ни слова. Наконец все так же поигрывая ключом, Митька спросил надменным тоном:

— Ну, что скажете, товарищ Кичигина?

На мгновение лицо Катюши просветлело от смутной, тут же погасшей улыбки. Потом она, протянув ему маленькую, точно литую из бронзы руку, сказала:

— Прежде всего, товарищ бригадир, скажу — здравствуй!

— Здравствуй, если не шутишь,— сказал с легкой усмешкой Митька, рывком пожав ее руку.

— Ну-с... что в вашем царствии новенького? Каково порабатываете?— стараясь перейти на более строгий, деловой тон, спросила Катюша.

— Ничего... Спасибо вам за такие вопросы. Работаем, слава богу, не худо. Подшипников не плавим. Свечей на моторах не жгем. Огрехов не оставляем...— ответил с презрительным спокойствием Митька.

— Молодцы,— в тон ему отозвалась Катюша.

— Рады стараться...

Разговор оборвался. Катюша, покусывая концы косынки, беспокойно озиралась по сторонам. Митька продолжал поигрывать картерным ключом, ловко перебрасывая его из руки в руку.

Катюшу подмывало на ответную дерзость. Но в то же время она сознавала, что это, может быть, последняя встреча с Митькой, что судьба, разлучив их сегодня, вряд ли сведет когда-нибудь вновь. Расставаться такими чужими, почти враждебными друг другу, какими были они теперь, она не хотела и не могла. И, примиряюще взяв его за руку, Катюша тихо, будто про себя, сказала:

— Совсем я измучилась здесь без тебя, Митя. Только во сне и было мне с тобой хорошо.

При эти словах Катюша порывисто обняла Митьку за плечи и преданно, с нежностью заглянула ему в глаза.

— Ах, во сне только?! Правильные слова говорите!— отстранив от себя девушку, холодно отозвался Митька.— Понимаем. Наяву тебе не до нас. Наяву ты с разными инженерами да директорами милуешься. Наяву-то ты и налево и направо гуляешь... А во сне ко мне, стало быть, приходишь?

— Это неправда. Ничего ты не знаешь... Никого мне, кроме тебя, не надо, Митя...— взволнованно сказала она, несмело касаясь ладонью его щеки.

— Ладно, ладно...— хмуро пробормотал Митька, уклоняясь от ласкового ее прикосновения.

— Неужели ты думаешь, что я...

— Замолчи!— грубо оборвал ее Митька.— Ты меня не дурачь. Я тебе не махонький. Хватит... То-то засыпалась, говорят, сегодня! Али после директорской свиданки и работа на ум не идет? Небось в любовницах-то у него служить выгодней, чем машиной руководствовать! Уж с ним-то, наверно, нормы перекрыла?!.

— Не смей!— чужим голосом крикнула Катюша и, пятясь от Митьки, с таким изумлением посмотрела на него, точно признала в нем кого-то другого.

— Поздравляю! Ты у нас теперь первая по любовным делам ударница!— жестоко сказал Митька.

— Ну и что же? Премию получу!— едва сдерживаясь от кипевших на сердце слез, рывком сдернув с себя косынку, вызывающе ответила Катюша.

— Дело понятное — товарищ директор не поскупится!

— Факт. А ты думал, дарма я гулять по ночам с ним стану?

— И бригадира своего тоже, видать, не обижаешь?

— Меня на всех хватит!— с циничным бахвальством сказала Катюша.— Не знаешь ты меня, что ли?.. Правильно, и бригадира надо уважать. Как там никак — начальство! Вот я и решила, понимаешь, пень колотить да день проводить. Слыхал, как пахала сегодня? То-то, золотой мой! Поумнела...

— Уйди,— почернев от бешенства, прорычал вдруг охрипшим голосом Митька.— Уйди! Я... мы не дадим тебе позорить боевой наш участок! Слышишь? Мы потребуем уволить тебя. И тебя уволят в два счета. За это я тебе ручаюсь.

— Это меня-то уволят? А умнее ты ничего не придумал? Только попробуй заикнись, тебе Азаров первому голову отвернет. Будь уверен, голубчик, он за меня — в огонь и в воду! Да и я его ни на кого не променяю. Тем более — на тебя. Понял? Вот и все,— сказала с усмешкой Катюша и, смерив Митьку надменно-презрительным взглядом, пошла прочь.

Митя растерянно смотрел ей вслед. В темноте он едва различал ее маленькую, хрупкую, как у подростка, фигуру.

На полевой стан бригады Катюша пришла за полночь. Чуть мерцали вдали от шатров таборные костры. Глубоким, мирным сном спал трудовой лагерь трактористов. Где-то поодаль тихо, как бы сквозь сон, замирая на полутонах, лепетала гармошка — это бригадир Чемасов варьировал на трехрядке грустный степной напев.

Катюша остановилась, прислушалась. Удивительно пусто было теперь у нее на душе! Сколько раз, просыпаясь глухими ночами, жадно прислушивалась она к этим мягким и стройным, как далекое курлыкание журавлей, волнующим переборам! Как больно и радостно билось

крылатое девичье ее сердце под эти печально и нежно щебечущие в ночи лады! А сейчас вот, глядя на багряно рдеющие уголья полупотухших костров, на смутно и призрачно белеющие в темноте остроконечные шатры полевого стана, слушая привычный и робкий говор трехрядки, Катюша не испытывала уже ни былой радости, ни светлой печали, и не покой овладел теперь ею, а равнодушие, близкое к отупению.

Никем не замеченная, Катюша бесшумно нырнула в свою палатку. На круглом низком столике тускло светил фонарь «летучая мышь». Три подруги — Зойка Мерцалова, Анка Кубышка и Морька Звонцова,— тесно прижавшись друг к другу, спали крепко, без сновидений.

«Может, разбудить девчат, рассказать им все и остаться мне с ними, не уходить?»— нерешительно подумала Катюша. Но, вспомнив о разговоре с Азаровым, о бесталанной своей сегодняшней пахоте, о встрече с Митькой, твердо решила: «Нет, надо уйти, теперь же, не медля!» И, бросившись к постели, она выдернула из-под подушки заранее стянутые в узелок нехитрые пожитки и, оглянувшись на сонных подруг, осторожно вышла из палатки.

Через час Катюша была уже далеко от бригадного полевого стана. Шла она первое время быстро, почти бежала. Долго ее преследовал гул тракторных моторов. Слышна была перекличка занятых на ночной пахоте ребят. Катюша, все ускоряя шаг, напрягала последние силы, старалась как можно скорее убежать, скрыться от всех этих неудержимо влекущих ее назад звуков... Пугливо озираясь, она видела позади прощально мигающие ей огни тракторных фар, и сердце ее сжималось от приступа острой физической боли.

6

Ежегодно, под осень, в глубинной степи, верстах в ста пятидесяти от линейных станиц и редутов, на стыке древних караванных дорог Туркестана, Персии и Китая, открывалась знаменитая Куяндинская ярмарка.

В первой половине прошлого века заглянул как-то в эту первобытную, населенную кочевыми ордами степь уральский купец Серафим Ботов. Расположившись с торговым обозом близ урочища Куянды, Ботов бойко распродал кочевникам имевшиеся в его палатках товары, сколотил за баснословно дешевые цены пятитысячный гурт скота и увел даровые табуны к Екатеринбургу. А на следующий

год подошли к Куяндам три груженных красным товаром ботовских каравана, и, согласно цареву указу, была там открыта ярмарка. С легкой руки Серафима Ботова потянулись сюда и другие купцы Зауралья; не минуло десяти годов, как выжженный июльскими суховеями куяндинский увал закипел громкоголосым, вертлявым и ловким разноплеменным людом. Понагрянули в эти края казанские бакалейщики, ирбитские шорники, каркаралинские конокрады, тучные прасолы, купцы из Санкт-Петербурга.

С трех сторон потекли сюда караваны с пряностями Бухары и неувядаемыми коврами Тегерана, тюки шанхайских шелков и бурдюки с вином Туркестана, разбойничьи кистени и гирлянды разноцветных китайских фонариков, опиум и ситец — всем этим колониальным товарам нашли купцы просторный и вольный сбыт среди полудикого народа.

Еще минуло несколько лет, и шальная слава о Куяндах прошла по всему дикому краю, загуляла в монгольских степях, по Ирану, Индии и Афганистану.

По великим торговым путям, по древним караванным дорогам и тропам лихо казаковала, чиня грабежи и разбои, пришлая с Дона, поднявшаяся с прииртышских станиц и линейных редутов казачья вольница. Хищно озоровали близ скотогонных трактов, рыскали денно и нощно в степи неуловимые конокрады. И немало голов положили в ту пору вокруг Куянды купцы, скотопромышленники и водители иноземных караванов. Однако ни открытый разбой казаков, ни зловещая удаль конокрадов— ничто не могло помешать шальному размаху великого торжища. Точно на богатую золотую жилу, из года в год бросались сюда каждое лето большие и малые хищники: беглые с сахалинского поселения фальшивомонетчики, ускользнувшие с каторги шулера, государевы слуги, сборщики ясачных податей и миссионеры. И каждый из них в меру сил, ловкости рук и ума норовил поднажиться на простоте «инородцев», набить ассигнациями мошну и, ограбив доверчивого кочевника, выбиться в люди. А так как большого ума и таланта в таком деле было не надобно, то редкий из этих людей терпел неудачу, возвращался домой без диковинной прибыли, точно так же, как редкий кочевник возвращался в аул без пригоршни фальшивых, грубой чеканки монет...

К предстоящему выезду в Куянды готовился Лука

Бобров нервно и долго. Не осталось в душе и следа от былого покоя. Не было на этот раз и той трезвой расчетливости, которая помогала ему составлять торговые планы, упорядочивать перед отъездом на ярмарку большие и малые в хозяйстве дела. Не радовали Луку Лукича и те вольности и увеселения, кои разрешал он себе только один раз в году и только на этой ярмарке.

По ночам, сгорбясь, часами просиживал он у старой, закапанной воском конторки, перелистывая негибкими заскорузлыми пальцами запущенные приходно-расходные книги, и сколько ни ломал голову, а решить о продаже чего-либо из хозяйства так и не мог. Собственно, надо было бы размотать с маху все — от орловского, дымчатой масти, рысака до последнего барана, ибо чуял Лука Лукич, что не за горами был срок рокового крушения, знал, что близился черный его, накарканный ему воронами день, когда прахом в тартарары пойдет все нажитое грехом и неправдой добро, когда нищим и сирым выйдет Лука Бобров за ворота и уже не посмеет поднять отягощенных тоскою и злобой глаз на свои покинутые владения...

Однако, несмотря на предчувствие такого конца, решимости спустить за бесценок даже ненужную в хозяйстве безделушку у Луки Лукича не хватало. То ему становилось жалко расстаться с квохчущей на подворье курицей, то вдруг сидел он объятый таким равнодушием ко всему на свете, что не в силах был думать ни о предстоящем торге, ни о самых обыденных мелких делах в хозяйстве.

В минуты такого душевного оскудения ему было решительно все равно: останется ли в стойле любимый рысак, сдохнет ли белый, как кипень, английский боров, будут ли проданы с молотка дом, табаки и косяк кобылиц. Но состояние такого душевного упадка обычно длилось у Луки Лукича недолго. Внезапно сменялось оно приливом звериной жажды новой наживы.

И вот, в пору этих душевных потрясений, не ведая, как обрести былую твердость духа, глухими ночами, в комнате, чуть озаренной шафранным светом неугасимой лампады, денно и нощно горевшей перед темным ликом Спасителя, бросался Лука Лукич на колени. Размашисто, почти злобно крестясь на позолоченный грузный киот, Лука Лукич требовательно просил бога:

— Господи! Утешитель скорби моя! Владыко! Вижу в оке твоем страшный огонь. Вижу — нечисть моя в ка-

рающей твоей деснице... Вот он я — в проказе тяжких грехов, в струпьях житейского блуда! Вот он я, падший и немощный, стою, преклонив колена перед тобою... Пятый год неугасимо теплю нерукотворному образу твоему я лампаду. Тебя я не раз молил, судия, о милости твоей к земным моим злодеяниям. Грешный, падаю ниц перед суровым челом твоим, вопия к тебе, избавитель: всех убогих, сирых и нагих, всех отверженных, всех обманутых, всех обсчитанных и убиенных рукою моею помяни, владыко, во царствии твоем!.. Внемли же, господи, и молитве моей, подыми же карающий перст твой, занеси десницу твою, помоги мне сразить врага моего, огради от грядущих бедствий кров мой и даруй победу. Внемля гласу твоему, молю — уготовь мне в небесных чертогах твоих достойную мя страшную кару, но обороні от скорби и лиха на грешной земле...

Так, объятый угаром моления, просил Лука Лукич бога и, сжимая до боли в суставах сложенные в крестное знамение персты, исступленно стонал от скорби и страха к тому, кто грозил ему часом близкой расплаты.

Неладное за последние дни творилось в доме Боброва, и все было полно теперь для Луки Лукича грозного смысла. Все чаще и чаще начал впадать в доселе несвойственное ему буйство слабоумный сын его Сима. Просыпаясь ночами, дурак сначала безмолвно, а потом по-собачьи скуля и лая, носился на четвереньках по комнатам, бил подвернувшуюся под руку посуду, срывал кружевные гардины с окон, ломился в закрытую спальню мачехи. Тогда, погруженный в тихий полуночный сумрак, бобровский дом наполнялся зловещими стонами, грохотом, свистом, и разбуженные его обитатели, холодея от ужаса, не в силах были тронуться с места.

И только одна бесстрашная Софья гонялась за идиотом и, смирив ошалевшего Симу ударом по темени, закрывала его в чулан. Потом она, полусонная, полураздетая, словно захмелевшая, бесшумно, на цыпочках входила к Луке Лукичу. Заставши Боброва безмолвно лежащим ниц у киота, она осторожно приподымала его за плечи и, глядя зелеными, с чуть приметными искорками в зрачках глазами в посеревшее, осунувшееся лицо его, требовательно говорила:

— Ну, хватит. Простит тебе бог. Встань.

Однажды ночью, в канун отъезда на Куяндинскую ярмарку, утомленная ласками Луки Лукича, Софья, при-

стально глядя лихорадочно блестевшими глазами в его лицо, слушала тихий говорок Боброва:

— Не к добру бушует в дому дурак! Чую, близок час — все пойдет прахом. Нету, милушка, былого покою во мне. Вот и пробую найти утеху в молитве. Но тут и молиться мне не дают спокойно. Бога о милости здесь без греха не упросишь...

— Ушел бы ты куда-нибудь. В святую пустынь или скит, например,— не то шутя, не то серьезно сказала Софья.

— В пустынь?!— изумленно спросил Бобров.

— Ну... в степь,— смущенно поправилась она.

— В скит?! Что ты сказала — ушел бы?— дрогнувшим голосом переспросил, приподымаясь в постели, Лука Лукич. И, спрыгнув с кровати, босой, в одних подштанниках, замер над испуганно отпрянувшей к стене Софьей. Она, почти не дыша, смотрела на Луку Лукича остекленевшими от страха глазами.

— Ушел бы?!— шепотом переспросил Лука Лукич, озираясь.— Так вот оно что-о! Из родного дома ушел бы?! От кровных своих володений отрекся бы ты, Лука Бобров?! Все нажитое добро, все дивиденды любовнице в дар оставил?! А-а-а, понимаю. Все понимаю! Благодарствую за подобное предложение!..

И он, криво усмехнувшись, подошел к побелевшей, точно распятой на стене женщине и, схватив ее за руку, с силой дернул к себе. Софья, увлекая за собой покрывало, плашмя рухнула на пол и, как мертвая, распростерлась у широко раздвинутых босых ног Боброва.

С минуту Лука Лукич стоял над ней, дико кося по сторонам замутившимся взглядом. Потом, стиснув ладонями виски, заметался затравленным зверем по комнатам.

— Знаю!— грозя перстом, злорадно кричал Лука Лукич.— Вижу! Всех насквозь вижу! В родном доме враг на враге, злодей на злодее! Не верю! Ни жене, ни любовнице, ни родному чаду — никому не верю... Это не дом: гефсиманский сад — за каждым древом по Иуде!

Пробушевав до рассвета, перевернув в доме все вверх ногами, разогнав в страхе забившихся по углам домочадцев, Лука Лукич затем провалялся целые сутки на софе, закрывшись на крюк в полутемной комнате, служившей ему конторкой.

А через день, никому не сказавшись, наспех оседлал Лука Лукич застоявшегося рысака и, упав на степное, с

серебряной насечкой седло, поддал ногой в екнувший пах жеребца. Конь наметом пронес седока по станице и, промчавшись, как полуденный июльский смерч, погас на куяндинской дороге.

7

На вторые сутки великого торжища в Куяндах о Боброве знала вся ярмарка. Сразу же стал известен Лука Лукич расточительностью, диким буйством и шальными кутежами с цирковой наездницей Эльбиной Кук.

Окруженный толпой цыган, певцов, конокрадов и ярмарочных бездельников, носил он средь бела дня на руках по торговым рядам, по харчевням маленькую, затянутую в оранжевое трико женщину. А оставшись наедине с нею, ставил ее перед собой на стол и изумленно разглядывал неправдоподобно игрушечную фигурку актрисы. Называл он ее ласково Машей, хмурясь, кричал:

— Это что там — твои лошади! Вот я скоро фокус покажу — ослепнешь, Маша! Собственный цирк в родимой степи открываю. Чертову арену завожу. У меня тыщи артистов по канату пойдут! Полки наездников заказакуют! Смертные петли проделывать будем... Лихое затеяно представление. И не только в Куяндах, по всей степной округе.. Ал-еа!— выкликал, подражая наезднице, Лука Лукич, грубо хлопая тяжелой и потной ладонью по упругому телу актрисы. Размахивая пустой бутылкой, как саблей, он, загадочно подмигивая полунагой, похожей на статуэтку женщине, вполголоса напевал:

Как сибирские купцы
Едут с соболями,
А мы, хваты-молодцы,
Налетим орлами!
Всю добычу разнесем,
Сядем попируем,
Песни вольные споем,
Все горе забудем.
Наш товарищ — вострый нож,
Сабля-лиходейка,
Пропадаем ни за грош,
Жизнь наша — копейка!

Так в шальных кутежах, в непристойных публичных забавах с наездницей и прошла вся ярмарочная неделя. Владелец бродячего цирка, частный антрепренер, лишившись гвоздя ярмарочной программы, изо дня в день тер-

пел убытки. После неоднократных, но безуспешных попыток вырвать из цепких рук Луки Лукича похищенную им актрису антрепренер горько запил, пытался повеситься на трапеции во время представления, но был спасен: вытащил его из петли собутыльник Луки Боброва — конокрад и факир из омских грузчиков — Спиря Сироткин, известный по рукописным ярмарочным рекламам как неустрашимый канадский чародей Зерро.

Только на девятые сутки, проснувшись в дорогой, шитой шелками, сумрачной от ковров, перин и подушек, откупленной на ярмарочный сезон юрте, вспомнил Лука Лукич наконец о деле. Наотмашь выбросив актрисе пригоршню скомканных червонцев, он бесцеремонно выпроводил ее, и целые сутки, опухший, злой и подавленный, опохмелялся кумысом — готовился к встрече с собравшимися в Куяндах по взаимному уговору людей своего пошиба.

Еще с самой весны задумал Бобров использовать ярмарку для совещания с влиятельнейшими людьми из окрестных станиц, сел и аулов, потолковать о задуманном, кровно волнующем всех их деле. Были тут бывшие владельцы спасских каменоломен свояки Рудаковы, арендаторы соляных озер братья Заикины, состоятельные хлеборобы, владетели паровых мельниц и лучших галантерейных магазинов в степных городах — Немировы, Кубрины, Ястребковы.

Прибыл на ярмарку и нелегально проживающий близ Куяндов один из крупнейших феодалов Казахстана, потерявший в тысяча девятьсот двадцать восьмом году имущество, конфискованное у него декретом республиканского правительства,— Альтий Тимурбеков. Терлись тут и прочие, глухо роптавшие в заугольях, недовольные властью люди.

Но больше всего волновала Луку Лукича обусловленная встреча с инженером Стрельниковым. Недолюбливая этого всегда внутренне настороженного, не в меру нервозного человека, Лука Лукич после последнего разговора с ним проникся к нему недоверием и, усомнившись в его преданности, решил еще раз проверить наметанным глазом и слухом этого человека. Лука Лукич понял, что успех замыслов будет зависеть от того, насколько умело и тщательно сколотит он вокруг себя группу надежных, глубоко преданных ему людей.

«В человека надо веровать, как в самого себя!»— мысленно рассуждал Лука Лукич и, как бы продолжая не-

давний разговор со Стрельниковым, доказывал: «А ты вот со своей интеллигентской душонкой в колебания не к месту ударился. И не ровен час, завертишь хвостом, брякнешь, каючись, что-нибудь сдуру!»

Осуждая себя за преждевременное доверие к этому человеку, долго ломал себе голову Бобров, как бы распутаться с ним, развязать руки. Наконец вспомнив о последних событиях в зерносовхозе, вызванных столкновением Стрельникова с трактористкой Кичигиной, Лука Лукич уцепился за эту мысль. Момент показался ему исключительно благоприятным, и использовать его он решил тотчас же. У Луки Лукича возник четкий, строго продуманный во всех мелочах и случайностях план. И, окрыленный неожиданно распахнувшимся перед ним выходом, Лука Лукич разом оправился от похмельного недуга и, точно помолодев, вновь ощутил в себе силу и мощь человека, готового ринуться в единоборство с самим чертом.

На десятый день шумного, яркого торжища прибыл в Куянды Стрельников. Принял его Лука Лукич на редкость радушно. Как никогда прежде, был он почтителен, угловато-вежлив и гостеприимен, как какой-нибудь степной князек. Чуть озаренные кровавыми бликами слабо тлеющего среди юрты костра, сидели они, поджав ноги, друг против друга на шитой кошме и с достоинством знающих себе цену людей попивали из недешевых фарфоровых пиал кумыс, глотали прокипевшие в масле баурсаки и чуть внятно, полушепотом, вели разговор.

— Тяжкие времена подошли,— скорбно вздыхая, горевал Лука Лукич.— Мнится, отжили мы свое, отхозяевали. А слезать с лихого коня посреди перепутья не хочется. Только чую — судьбы не миновать, от написанного на роду далеко не ускачешь. Без бою сдаваться аль с клинком наголо счастья в родимой степи попытать? Сколько темных ночей передумал я над этим вопросом, ан ответа в душе не нашел... Ты же вот, Николай Михалыч,— впервые назвал его по имени и отчеству Лука Лукич,— человек дальновидный, грамотный, рассуди меня, ради бога, как же тут быть?

— Не знаю,— ответил Стрельников.

И, глянув на него, Лука Лукич понял, что сказано это было искренне.

С минуту оба молчали.

Шурясь, Стрельников смотрел на дымящиеся под та-

ганком угли и, вороша их обгорелым ракитовым прутиком, повторил:

— Не знаю, Лука Лукич. У меня теперь ум за разум заходит. Вот я — сын пострадавшего от революции мелкопоместного дворянина. Мой отец потерял разорившееся, пришедшее в ветхость имение, старый, запущенный сад под Воронежем да пару дряхлых борзых... Старик не вынес удара и вовремя умер. По слухам, в отчем гнезде неплохо орудует теперь сельскохозяйственная коммуна. Но меня мало трогает все это. Так или иначе, а я не сидел бы, уподобясь родителю, в глухой, обнищавшей усадьбе. Я мечтал стать хорошим инженером. Я хотел найти выход творческой энергии. Мне было больно за эту огромную, бескультурную, варварскую страну, за утопающую во мгле Россию. Я мечтал стать изобретателем. Я мечтал о конструкциях чудесных машин, при помощи которых можно было бы совершить переворот в сельском хозяйстве, в быту, в технике... И вот, как это ни странно, возможность осуществить мечту дала только революция.

— Эк ты!— участливо изумился Лука Лукич.

— Да — революция!— утвердительно кивнул Стрельников и, ощутив в себе прилив страстной откровенности, увлеченно продолжал рассказывать слушавшему его с напряженным вниманием Боброву:— В чине прапорщика тянул я лямку на передовых позициях в последние годы мировой войны. Позднее в частях Юденича дрался на подступах к Петрограду и, попав в плен, был даже в рядах Красной Армии. Поистине неисповедимы пути русского интеллигента! Ну а потом, после некоторых мытарств по советским учреждениям, после скромного удела юрисконсульта — Высшее инженерно-техническое училище. Я окончил советский вуз по факультету механизации и остался при кафедре ассистентом. Завязались знакомства с определенной, не так уж лояльно настроенной к советскому режиму группой старых специалистов. Полуофициальные встречи, а потом и просто конспиративные явки привели к тому, что идея господства технической интеллигенции в стране глубоко увлекла меня. На субсидии иностранного капитала, на деньги бывших русских заводчиков и фабрикантов, рассчитывающих на возврат потерянных ими в России предприятий, мы пытались развернуть свою работу в стране. Я вынужден был оставить институт, кафедру механизации, богатые творческие пла-

ны, близких друзей, город, любимую женщину, и судьба забросила меня в эти полудикие азиатские степи...

— Эк ведь какой грех! Оказия...— скорбно вздыхая, отозвался Лука Лукич.

А Стрельников, словно в каком-то угаре раскаяния, продолжал выворачивать душу наизнанку, не стесняясь подчас и таких подробностей, вспомнить о которых не всегда б он решился наедине с самим собою.

— Признаться,— продолжал он, беспокойно вороша подернувшиеся матовой пленкой угли,— едучи сюда, я отнюдь не сомневался в той справедливости, ради которой без малейшего колебания стал на этот путь. Не интересовали меня и деньги. Я страстно хотел взяться за порученное мне опасное дело. А теперь вот затрудняюсь даже сказать, за кого, собственно, безоговорочно рискнул я сражаться? Кого пошел защищать? Однако на первых же порах моей работы в зерносовхозе ощутил я душевный надлом, все чаще и чаще начал тяготиться мучительной пустотой. Поймите же, Лука Лукич, что все это тяжко, ужасно, мучительно... Страшно почувствовать вдруг себя ничтожным, беспомощным и жалким врагом для тех, кому ты, в сущности, обязан и развитием своего дарования и, если хотите, даже разумной жизнью на этой земле... Надеюсь, вы понимаете, что я хотел сказать?

— Вникаю, конешно... Невеселая песня!— жадно затягиваясь махрой, сказал Лука Лукич.

— Я же почувствовал себя с некоторых пор именно таким вот, случайным для Советской страны врагом...— продолжал после минутной передышки Стрельников.

— Да-а, одна печаль и воздыхание!..— молитвенно смежив очи, сказал Лука Лукич и, немного помолчав, спросил, придвигаясь к Стрельникову:— Что же теперь делать-то будем, Николай Михалыч? Куда вертать? Ась?

Стрельников молчал. Он сосредоточенно, с таким ребяческим, непритворным изумлением смотрел на мерцающий под таганком ворох углей, точно видел огонь впервые. Потом, помолчав, сказал:

— Вот, оказывается, как просто! А я трое суток мучился. Следовало бы только устранить поперечное перекрытие плюс на двадцать градусов срезать углы — вот тебе и облегченная конструкция прицепа! Удивительно, как это я сразу до этого не додумался...— осуждающе покачал он головой и, словно забыв про Луку Лукича, выхватил из внутреннего кармана спецовки потрепанный блокнот и,

развернув его на колене, мгновенно начал набрасывать карандашом какой-то чертеж.

Не дождавшись ответа, Лука Лукич сказал:

— Человек вы умственный. Вашему брату загодя все окрест видать. Вник я в речи ваши, и ажно сердце от жалости замирать стало. У вас в руках всякое дело горит. И на кой же вам черт, прости меня господи, грех на душу мотать? Ни за что ни про что башку положить можно, коли вовремя не опомнишься. Я хоть высших заведениев и не проходил, в больших городах и на море не бывал, а чужой душе вполне сочувствую. Совет же мой вам таков. Томить себя больше сомнениями не стоит, прыгать с середки на половину — тоже. Отрешитесь-ка вы враз и навсегда от всякого нечистого действия, если способствия к этим делам за душой не имеете, и займитесь честным трудом на общее благо. Это и вам к лицу, и властям пользительно...

— То есть?— не понял Стрельников.

— Трудитесь честно — верой и правдой — себе на здоровье в зерносовхозе...— ответил Лука Лукич.

— Трудиться? Честно?! Это теперь не так-то просто,— с чуть приметной горькой усмешкой сказал Стрельников.— Я слишком много напакостил. На раскаяние у меня, пожалуй, не хватит мужества... Знали бы вы, какими глазами смотрят на меня сейчас некоторые рабочие! Девушка, оскорбившая меня, убеждена, что я враг, да и одна ли девушка?!

— Эк ты, какие страхи! Да тебе что, с этой девкой ребят крестить?— загудел возмущенно Лука Лукич.— Нет, хоть ты и умственней меня, а советую тебе поступить согласно моей науке. Шаркни-ка просьбу Азарову, сошлись, как водится теперь у специев, что тебя травят, жизнь не мила и тому подобные выражения. Не мне этой словесности тебя учить... Поверуй, после такой просьбы во всех газетах про тебя напечатано будет. Доверие завоюешь. Ты только пострашней слог составь... К тому же,— перешел на шепот Лука Лукич,— слух есть, что сам секретарь районной партии Чукреев стоит за твою защиту! Поимей в виду, Николай Михалыч, непременно сегодня же напиши. Сам знаешь, худого не желаю...

— Не знаю...— уклончиво ответил Стрельников.

— Ну что же теперь с тобой делать?— озадаченно развел руками Лука Лукич.— Чую, душа в тебе не на

месте, истомился ты, а разумного совету принять не хочешь. Уже не руки ли на себя наложить надумал?

— Руки? Нет, что вы, что вы!— так испуганно отпрянул от Боброва Стрельников, точно тот занес над ним нож.— Что вы! Наоборот. Выдумали тоже — руки наложить! Наоборот, очень хочется жить. Очень! Я никогда еще не испытывал такой огромной, звериной жажды к жизни, какую испытываю теперь. Странно. Иногда вдруг почувствуешь себя так, точно ты только что родился,— такими изумленными глазами смотришь на мир — хорошо!.. И потом, у меня необычайный прилив творческой деятельности. Я сейчас произвожу сложнейшие математические расчеты по конструкции чудесной машины — механического оросителя. Эта машина произведет революцию в сельском хозяйстве, в подвергнутых засухе местах страны. Я разрешаю проблему искусственного дождя!.. Что вы, бог с вами, разве можно умирать в наше время? Подумайте, ведь я, в сущности, еще ничего не сделал. Я занялся в расцвете сил и возможностей преступным разрушением человеческих ценностей, тогда как призван созидать их. И разве мыслимо умереть, не утвердив себя в жизни?! Нет, я еще хочу стать знаменитым. Я еще хочу изобретать, радоваться, скучать, разочаровываться, любить, ненавидеть. И не хочу лишиться этих священных человеческих прав, и никто не посмеет лишить меня их!..— убежденно заключил Стрельников.

Он говорил как подсудимый, которому дано последнее слово. И, слушая его, Лука Лукич подумал: «Уж не зачуял ли он, собака, опасность?» И, подумав так, поторопился, сославшись на неотложное дело, прервать разговор и тотчас же покинул юрту.

Оставшись один, Стрельников долго сидел в раздумье, точно стараясь припомнить что-то или, внутренне насторожившись, прислушаться к чему-то, слышному ему одному.

Костер погас.

Жарко тлел под голубым пеплом ворох углей.

Однообразно-глухой, медлительно замирающий доносился издали рокот — это затихало в степи дневное торжище. Потом пронзительно, с надрывом проплакала где-то верблюдица, и от ее гортанного, по-человечески скорбного вопля у Стрельникова так заболело сердце, что он, ухватившись за грудь рукою, закрыл глаза.

Спустя некоторое время Стрельников прилег возле по-

лупогасшего костра и скоро забылся тем тревожным, неспокойным сном, когда отрывочно-беспорядочные сновидения, утомляя мозг, физически изматывают человека. То ему снились стада диких джейранов, то — табуны лошадей, гонимых куда-то в степи черной бурей, то за ним долго гналась с горящей, как факел, головней Катюша Кичигина, и Стрельников, холодея от страха, чувствовал, что ему не уйти от этой погони. Очнулся он с томительной слабостью во всем теле, усталый и потный. Во рту было сухо и горько. Опять зябко горели виски, и ему становилось не по себе в этой темной пустой юрте. Он подбросил в костер хворосту, и веселый огонь несколько унял волнение.

Усевшись у костра, Стрельников раскрыл на коленях блокнот и, вспомнив о приснившейся Катюше Кичигиной, подумал: «Как она ненавидит меня, наверное! И как отвратительно держался я с нею в тот вечер, когда потребовала она от меня немедленной выдачи прицепов!.. Может быть, написать ей толковое, хорошее письмо? Но как написать? Что написать?» Потом, после некоторого раздумья, он, придвинувшись еще ближе к пылающему костру, стал писать в блокноте с такой поспешностью, точно боялся, что его вот-вот прервут и он не успеет высказать того, что было так необходимо высказать этой девушке.

Он писал:

«Милая Катюша!

Я отлично понимаю Ваш гнев. Я чувствую, как велики презрение Ваше и Ваша ненависть ко мне. Но, ради бога, выслушайте меня до конца. Вы нанесли мне публичное оскорбление, и за это, по слухам, собираются Вас судить. Я готов публично простить Вам все, и не только простить, но и извиниться перед Вами, ежели Вы поймете меня. Знали бы Вы, как тяжело мне сейчас! Иногда мне кажется, что мне не выбраться из заколдованного и страшного круга, в который втянули меня... Не удивляйтесь, не презирайте, не клеймите меня, ежели я не выдержу этого мучительного надлома... Вот я сижу и думаю, какая Вы удивительная, чудесная девушка! Хорошо бы встретиться с Вами в этот глухой полуночный час. Я бы взял Вас за теплые Ваши руки, я бы рассказал Вам все, все...»

«Собственно, что я мог бы рассказать ей?— неожиданно прервал себя изумленным вопросом Стрельников.— Какая чушь! Зачем нужна этой девушке моя пока-

янная лирика? Сентиментально и глупо!»— раздраженно подумал он и, швырнув блокнот, вновь устало повалился около костра на кошму.

На этот раз заснул он как убитый — сразу, без сновидений.

А на рассвете спешился около юрты Лука Бобров. По запотевшему в пахах, отрывисто дышавшему его рысаку можно было судить, что проскакал седок путь немалый. В поводу он привел шустрого, золотой масти, под потертым армейским седлом стрельниковского иноходца. Спешившись, Бобров связал коней за поводья и направился в юрту. Войдя в юрту, Лука Лукич насторожился.

Стрельников спал. В призрачном предрассветном полумраке, царившем в юрте с открытым верхом, лицо его казалось вылепленным из серого воска.

Оглядевшись, Лука Лукич заметил валявшийся на кошме блокнот и, схватив его, опустился на корточки. Подбросив в костер хворосту, он, примостившись поближе к огню, до боли напрягая слезившиеся от дыма глаза, принялся читать стрельниковское послание к Катюше.

«Складно писарит!»— насмешливо подумал Лука Лукич и, покосившись на Стрельникова, осторожно выдрал письмо из блокнота. Потом, бережно свернув листок вчетверо, Лука Лукич сунул его во внутренний карман своего чесучового пиджака, а блокнот, придерживая за кромки, начал жечь на костре. Однако сгореть дотла ему не дал. Старательно затушив обуглившиеся корки, Лука Лукич сунул их в теплую золу и подумал: «Ежели, не ровен час, очнувшись, инженер и спохватится, то подумает, что спалил свою книжку нечаянно... А теперь, благословясь, приступим к делу». Зорко оглядевшись, Лука Лукич приблизился на цыпочках к Стрельникову и, наклонясь над ним, слегка прикоснулся к его плечу рукой.

Вздрогнув, как от искры электрического тока, Стрельников испуганно открыл глаза и тотчас же приподнялся, с тревожным недоумением глядя на Луку Лукича.

— Вы что?!— спросил Стрельников полушепотом.

От неожиданности Лука Лукич даже растерялся.

— Вы зачем сюда?— снова повторил Стрельников, как бы не узнавая Боброва.

— Бог с тобой, Николай Михалыч! Никак заспался маленько...— мягко ухмыляясь в бороду, укоризненно ска-

зал Лука Лукич.— А все оттого, что уснул неловко. Как на спине спишь, непременно спросонок дичаешь.

— Это верно. Спал я, кажется, не очень удобно,— сказал с виноватой улыбкой Стрельников.

— Я же чую...— дружески хлопнув его по плечу, отозвался Лука Лукич и вдруг, суетливо закружившись вокруг инженера, скороговоркой, вполголоса сообщил:— А ведь я за тобой, Николай Михалыч... Срочный вопрос. Верстах в десяти отсюда собрались в ауле у одного надежного моего тамыра — дружка-приятеля — наши люди. Дело одно надобно бы разрешить немедля. Коня я твоего из табуна прихватил. Едем!

— Я никуда не поеду,— твердо заявил Стрельников.

— Как это так — не поеду?!— опешил Лука Лукич.

— Очень просто. Не могу. Не поеду,— вновь твердо заявил Стрельников.— Мне нечего больше делать на этом вашем полутайном сборище. С меня хватит... Я решил совсем уехать из зерносовхоза. Мне думается, что вы отлично понимаете, чем вызвано такое решение. Не так ли? Вот я и вернусь в институт. Займусь научной работой. А там с годами постараюсь на деле загладить свои грехи...— тем же спокойным, твердым тоном сказал Стрельников.

— Эк ты! Ну што ж, рыба ищет где глубже...— озадаченно потупясь, вздохнул Лука Лукич.— Неволить не могу. Не осуждаю. Не осуждаю,— повторил Бобров и, растерянно озираясь, подумал: «Вот ишо не чаял оказии. Как же теперь быть с ним? Все мои планы нарушил. А мешкать не след, пожалуй. Упустишь огонь — не затушишь! Нет уж, ежели грешить, так сразу, без дум, без оглядок...»— жестко решил он и, нащупав в кармане кольт, крепко стиснул его горячей, потной ладонью.

С минуту они стояли молча. Ни тот, ни другой не знали, о чем теперь говорить, и, точно стыдясь друг друга, не смели поднять опущенных глаз.

У Луки Лукича заметно побагровели виски, вздулись на лбу жилки, мелко подрагивала засунутая в боковой карман пиджака рука.

Стрельников, поникнув, не то о чем-то сосредоточенно думал, не то ждал каких-то решающих слов Луки Лукича.

Заметив на лбу инженера бисерную россыпь выступившего пота, Лука Лукич решил: «Ага, догадался, наверно, зачуял, понял. Прости мне, владыко, невольные грехи моя!»— мысленно взмолился он. Потом, отступив на по-

лушаг от встрепенувшегося Стрельникова, выхватил из кармана тускло блеснувший в предрассветном сумраке кольт и, приставив взведенный револьвер к виску инженера, властно сказал:

— Молчи! Теперь — мое последнее слово!

На скуластом лице Стрельникова вспыхнул и тотчас погас румянец. Глаза широко раскрылись.

— Ну вот...— прошептал Лука Лукич.— Выслушай приговор. Иначе с тобой поступить не могу — прости меня за ради бога... И осуждать тебя некогда, и из рук выпускать опасно. Вот я и решил взять грех на душу. Не обессудь...— сказал Бобров и, зажмурясь, спустил курок.

Выстрела Стрельников не слышал.

В полдень оседланный жеребец Стрельникова был перехвачен рабочими зерносовхоза в открытой степи и приведен на центральную усадьбу.

А на вторые сутки, верстах в сорока от первого отделения Степного зерносовхоза, близ большой куяндинской дороги, среди развалин древнего ханского мавзолея обнаружили труп инженера Стрельникова. Лежал он на боку, прижавшись простреленным виском к могильному холму, сиротливо поджав ноги. Чуть поодаль, в кустах голубого полынка, валялся заржавленный кольт с единственным пустым патроном в барабане.

Районный следователь Голун констатировал при осмотре трупа самоубийство.

8

На другой день после загадочного самоубийства инженера Стрельникова и не менее таинственного исчезновения из зерносовхоза Катюши Кичигиной мгновенно был поднят на ноги весь район. На экстренном заседании бюро районного комитета партии, в отсутствие Азарова, после того как бюро заслушало информацию следователя Голуна и краткое сообщение Тургаева, райком принял решение о немедленном всестороннем обследовании партийной и административно-хозяйственной организаций зерносовхоза. Особой комиссии, возглавляемой Чукреевым, было поручено тотчас же приступить к работе и о результатах обследования доложить на внеочередном пленуме районного партийного комитета.

Через четверть часа, связавшись по прямому проводу с окружным центром, Чукреев вызвал представителя

окружкома. К аппарату подошел редактор окружной газеты Опарин. После того как беглая информация Чукреева о событиях, развернувшихся в зерносовхозе, была передана, беседа закончилась следующим разговором:

Опарин. Сенсация! Дело это необходимо поднять на принципиальную политическую высоту. Если самоубийство специалиста явилось результатом травли, которую, может быть, объективно поддерживал и директор, то надо будет сделать соответствующие выводы.

Чукреев. Обилие фактов, имеющихся в распоряжении райкома партии, говорит за это.

Опарин. Действуйте. Сегодня я посылаю к вам с почтовым самолетом своего сотрудника. Обеспечьте его подробнейшей информацией. Обещаю в ближайшем номере полосу или даже разворот. Пока!

Чукреев. Спасибо. Будет сделано. Корреспондента ждем. До свидания.

И в полдень спецкор окружной газеты прибыл.

На аэродроме корреспондента предусмотрительно встретил на своей машине Чукреев. И не успел самолет приземлиться, как из открытой кабинки, чуть ли даже не на лету, выпрыгнул человек отнюдь не летного вида и ошалело заюлил, разыскивая кого-то посверкивающими на солнце совино-очкастыми глазами.

Это был сухопарый, необычайно подвижный и юркий молодой человек. Пенсне без оправы, потертая велюровая шляпа, восковой клювообразный нос — все это придавало веснушчатому, худому его лицу птичье выражение. Он не ходил, а метался из стороны в сторону, точно человек, которого только что обокрали.

Чукреев сразу узнал в нем поджидаемого спецкора и поспешил навстречу. Они преувеличенно учтиво пожали друг другу руки, назвали свои имена, обменялись приветствиями.

— Ах, машина?! Где? Ах, вон она? Благодарю!— встрепенувшись, скороговоркой выпалил спецкор и, опередив Чукреева, стремглав бросился к автомобилю. С разбегу шмыгнув в переднюю кабину, корреспондент, как ни в чем не бывало, уселся рядом с шофером.

Чукреев смущенно покосился на гостя, но ничего не сказал, покорно усевшись позади.

Спецкору не сиделось и в автомобиле. Беспрестанно юля и ерзая, он вел себя так, точно намеревался выпрыгнуть на ходу из машины.

Шофер озабоченно и весьма недружелюбно косился на своего соседа. И едва раскрыл Чукреев мельхиоровый портсигар, как рука газетчика бесцеремонно, с поразительной ловкостью выхватила из него папиросу.

Чукреев опять смутился и, позабыв закурить сам, поспешно протянул юноше спички. Спецкор, раскурив папиросу, сунул хозяйским жестом спички себе в карман и, не оборачиваясь к Чукрееву, сказал:

— Да, панамка. Сенсация! С шапкой на разворот! Полагаю, что буду иметь от вас, товарищ секретарь, самую полную информацию?!

— К вашим услугам!— живо ответил Чукреев.

— Ах, так?! Отлично! Интервью с вами. Несколько вопросов директору! Три-две беседы со специалистами — полоса?! Телеграф у вас круглые сутки? Ах, так? И машинистка к услугам?! Благодарю. Порядок!

Беседа с Чукреевым продолжалась часа полтора, при закрытых дверях, в его кабинете. Примостившись на углу письменного стола, спецкор, сбочив голову, как закусившая удила пристяжная, лихо строчил в блокноте, записывая беседу с секретарем со скоростью стенографиста. Корреспондент захлебывался от восторга:

— Ах, так?! Великолепно! Здесь полосой не объедешь. Разворот! Специальный выпуск!.. Имеются дополнительные материалы? Превосходно!

В полдень корреспондент сидел уже в квартире Федора Полуянова и интервьюировал главбуха. Полуянов выдавал себя за человека тихого, безобидного, отрицал какую бы то ни было близость к Стрельникову. Но потом, изменив тактику, сказал, отвечая на наводящие вопросы корреспондента:

— Вас интересует — в достаточно ли благоприятные условия поставлены дирекцией в нашем зерносовхозе специалисты? Право, затрудняюсь, как вам сказать. Может быть, и стоило бы пожаловаться на некоторую несправедливость, но еще лучше, пожалуй, промолчать.

— Ах, так? Следовательно, вы боитесь? Самокритика на задворках? Такие я должен сделать выводы?— насел на него корреспондент.— Даже мне, представителю печати, вы не осмеливаетесь назвать вещи своими именами. Я понимаю, что вы запуганы, возможно, терроризированы, однако...

— Нет, что вы, что вы!— протестующе перебил его

Полуянов.— Помилуйте, кому-кому, а советской печати я в любую минуту доверю самые сокровенные мысли. Постараюсь быть объективным. Но прошу вас, не разглашайте моего имени! Помните мое глубочайшее уважение к руководству и, в частности, к Кузьме Андреичу Азарову. Я не хотел бы оказаться в глазах столь авторитетных людей...

— Ах, так? Ну вот видите, я уже чувствую — боязнь начальства!— опередил его спецкор и молниеносно сделал пометку в блокноте.

— Нет, это, может быть, даже и не боязнь, а... ну, известный такт, что ли...— поправил Полуянов.— Как хотите, а все же неудобно мне, хоть и глубоко честному, искренне преданному делу партии и Советской власти, но все же пока беспартийному специалисту, публично развенчивать старого, уважаемого коммуниста, такого значительного хозяйственника, каким является Кузьма Андреич Азаров... Правда, дела в зерносовхозе идут не блестяще. Мы переживаем финансовую катастрофу. У нас не сегодня-завтра арестованы будут в банке счета. Мы не в состоянии выкупить давно полученную для рабочих спецодежду. С благосклонного разрешения дирекции я занимаюсь преступной перекачкой средств. Но это не спасет нас от близкого краха. Я вынужден расходовать фонды заработной платы на горючее, а средства, предназначенные на горючее, мною были переброшены на другие цели... В результате этакого жонглирования у нас нередки перерывы с питанием. Отсюда — законные недовольства со стороны рабочих, угрозы в срыве производственных планов на подъеме целины, и прочее, и прочее...

Полуянов умолк, присмотрелся к спецкору, записывающему его речь, продумал дальнейшие ходы и продолжал:

— Виноват, о Стрельникове... Что я скажу вам о нем? Покойный был инженером незаурядных масштабов, человеком одаренным, творческим. Энтузиаст. Ради работы в зерносовхозе он оставил столицу, институт сельскохозяйственного машиностроения, кафедру... Конечно, со стороны Кузьмы Андреича в данном случае было проявлено не совсем тактичное, недостаточно чуткое, мягко говоря, отношение к этому человеку. Публичное, к тому же незаслуженное, оскорбление, нанесенное инженеру трактористкой Кичигиной, не могло не обескуражить его.

Дальнейшая травля его малосознательными рабочими, дикие подозрения во вредительстве — все это не получило со стороны дирекции должной оценки. А для человека с такой тонкой душевной организацией, какая была у Стрельникова, подобных обстоятельств было уже достаточно для столь печальной и столь трагической развязки...

Так, разохотясь, говорил бы в пылу увлечения Федор Федорович Полуянов еще, вероятно, долго. Но спецкор спешил: он боялся прозевать директора и потому, неожиданно закрыв блокнот, заявил:

— Извините, но я уже удовлетворен. Для меня теперь все ясно. Мы еще встретимся? Потолкуем? Ах, так? Благодарю вас...— и, взмахнув на ходу велюровой шляпой, даже не прикрыв за собой распахнутую с разбегу дверь, мгновенно исчез.

Ждать директора пришлось недолго.

В кабинете, увешанном проектными чертежами и планами совхозных усадеб и мастерских, среди обширных коллекций почв, зерновых культур и семенных материалов, в этой маленькой комнатке с громоздким, грубой работы, до отказа забитым бумагами письменным столом было тесно, сумрачно, неуютно. На полу и по подоконникам — везде и всюду были расставлены машинные поршни, прокладки, подшипники, кольца. И все это скорее напоминало сельскохозяйственный склад, чем кабинет управляющего зерновым гигантом. По всему чувствовалось, что хозяин редко бывает здесь.

Юрко осмотревшись, к чему-то принюхиваясь птичьим носом, спецкор облюбовал себе место в углу за печкой и, уединившись, принялся редактировать первую телеграмму для газеты. «На поводу у классовых врагов точка Жертва возмутительной травли точка Георгиевский кавалер в роли управляющего образцовым отделением зерносовхоза»,— стремительно занес он в блокнот первые строчки разоблачительной «шапки» и только было приступил к тексту сенсационной депеши, как в шумно распахнутую дверь кабинета почти вбежал явно взволнованный чем-то Азаров. Не заметив присмиревшего в углу корреспондента, он бросился к телефону и, зло сорвав трубку, хриплым, простуженным голосом крикнул:

— Партком? Алло! Тургаев? Это я — Азаров. Привет. Я только что с третьего отделения. Ты слышишь? Возмутительные вещи. Мы накануне производственного

краха. Срываем план. Что? При чем тут паника? С утра остановилась работа в трех тракторных бригадах. Не сегодня-завтра у нас может стать весь тракторный парк. Да, да, да. Горючее на исходе. Представь себе этакий номер! Что? Нефтесклад?! Но ты понимаешь, что при мне вернулись автомашины: нам отказали в горючем. Оказывается, бухгалтерия задержала дополнительную заявку — раз, ни гроша не погасила по предыдущим счетам — два. Суммы, ассигнованные на горючее, произвольно перечислены главбухом на другую статью, и куда, ты думаешь? На строительство дома специалистов! Сделано то, понятно, без моего ведома... Как? Основания? Будь покоен, мой друг,— очень веские! Я решительно убежден, что сделано это явно умышленно. Что? Да, именно так квалифицирую: саботаж, вредительство! Что делать! Немедленно отдаю приказ об отстранении главбуха. Дело в срочном порядке надобно передать соответствующим органам... Ась? Ну да, это, конечно, не выход из положения. Но согласись, что это решительно резонная предупредительная мера...

Умолкнув на какое-то время, Азаров, беспрестанно перекладывая порывистым жестом телефонную трубку от одного уха к другому, слушал с полузакрытыми глазами незримого собеседника. Потом с досадой сказал:

— ...Ну вот опять, здравствуйте, я вас не узнал! Помилуйте, какая травля? Какое гонение? Что за вздор? У меня имеются специалисты, которым я доверяю, потому что это честнейшие, безоговорочно, глубоко преданные нам люди. О чем разговор? Тебе они не менее известны... А Стрельникову я не верил. Это — точно. И в самоубийство его — убейте меня — не верю. А вот Елизару Дыбину — да. Тут — доверяю. Безоговорочно. Это — факт. И ни его, ни трактористку Кичигину в обиду не дам!.. Что? Близорукость? Ну, об этом, милый мой, давай потолкуем в другой раз и без помощи телефона... А Чукреев, ей-богу же, зря растрачивает время на внеочередные заседания и пленумы по такому вопросу... Словом, вот что: как хотите, а остаться на пленум райкома я не могу. Сегодня же ночью вылетаю на самолете в край. Рассчитываю вернуться суток через двое. Пойми, что это будет куда разумнее телеграфной перестрелки. Без нажима крайкома горючего нам не получить. Попутно разрешу там ряд других производственных вопросов. Ты слышишь? Все... как, как? Против отлучки моей будет про-

тестовать Чукреев? Ну и бог с ним!.. Ась?.. Ну, какие же тут шутки! Вполне серьезно... Что? Могут быть сделаны оргвыводы? Да брось ты меня стращать, Тургаев! Ты же хорошо знаешь, я не из пугливых. Вот именно... Ну хорошо. Бывай здоров. Нам бы только сев не сорвать. Остальное все — полбеды. В остальном на досуге разберемся. Сейчас не до этого... Пока. Пока.

Положив телефонную трубку, Азаров на секунду о чем-то задумался. Потом, точно очнувшись от мгновенного забытья, поднял глаза.

Перед ним с блокнотом в руке стоял человек, профессию которого Азаров определил с первого взгляда.

— Простите, не помешаю? Я прибыл к вам в зерносовхоз по поручению окружной газеты «Смычка». Спецкор Мак-Кэй!— отрекомендовался он Азарову и, не зная, протянуть директору руку или нет, впервые за всю свою корреспондентскую практику растерялся.

— Мак-Кэй?— с оскорбительным равнодушием спросил, глядя на спецкора, Азаров.— Почему же именно Мак-Кэй? Вы что же, простите, иностранец?

— То есть как почему? И при чем тут иностранец?— обиделся корреспондент.— Мак-Кэй — это мой псевдоним. Мое, так сказать, литературное имя!

— У вас есть литературное имя!

— Как видите!

— Извините за невежество, и что вы написали?

— В данный момент исполняю важнейшие поручения редакции. В основном специализируюсь на разоблачительном материале. Подаю информацию в художественной форме. Задумал большой роман...

— Ага! Так, так... Удивительное совпадение!— с притворным изумлением сказал, откинувшись на спинку кресла, Азаров.— А вы знаете, что однофамилец ваш — негритянский поэт Клод Мак-Кэй великолепные стихи пишет? Я его читал в английском оригинале. Как видите, нетрудно и спутать!

— Ах, так? Ну, у нас с ним различные жанры!— заносчиво заявил спецкор и, осмелев, сел, не дожидаясь приглашения, к столу Азарова и, раскрыв блокнот, приготовился к беседе.

Но директор опередил его вопросом:

— Позвольте, вы, кажется, заметили, что специализируетесь на разоблачительном материале? Стало быть,

визит ваш ко мне надобно рассматривать в этом плане? Не так ли, молодой человек?

Веснушчатое лицо спецкора тревожно порозовело. Не ожидая такого вопроса, он растерялся, смущенно шмыгнул носом, беспокойно заерзал на стуле. Потом вскочил на ноги и забормотал:

— Ну да. Но это не совсем так. Понимаете, в распоряжении редакции имеются некоторые факты. Я прибыл к вам в зерносовхоз в связи с самоубийством инженера Стрельникова...

Но и о цели приезда спешно прибывшего в зерносовхоз спецкора и о длинной беседе последнего с Чукреевым Азаров был уже отлично осведомлен и потому сказал:

— Я не газетчик, однако методы вашей корреспондентской работы решительно осуждаю. Помилуйте, у вас имеются сведения, порочащие директора. Тут и травля специалистов. Тут и голое администрирование. Тут и связь с классово чуждым элементом, и прочие, прочие грехи и пороки. Короче говоря, некие бдительные люди показали вам на человека перстом и молвили: «Ату его, это негодяй и мерзавец!» А вы, наивный мальчик, являетесь к этому же человеку и хотите добиться у него истины. Нехорошо! Ежели икс поступает дурно, уверяю вас, он не признается вам в этом. Следовательно, надобно действовать по-иному. Как? Отправляйтесь-ка, батенька, в наши отделения, в полевые станы, в тракторные бригады. Потолкайтесь с недельку среди трактористов, прицепщиков и прочих рабочих зерносовхоза — пионеров освоения целинной земли, присмотритесь, потолкуйте и, если проницательность бдительных людей будет оправдана, тогда-то уж не поскупитесь на присущие вам таланты неистового разоблачителя, выведите на свежую воду проходимца и негодяя! Вот тогда-то вы оправдаете свое литературное имя!.. Так-то, мой друг. Хотите, я устрою вам легковую машину?— спросил спецкора Азаров и тут же, взяв телефонную трубку, сказал:— Алло! Гараж? Дайте завгара. Товарищ Рюшин? Послушайте, дорогой, на время моей отлучки закрепите мою машину за спецкором окружной газеты. Ясно? Договорились? Отлично!

Азаров посмотрел на корреспондента добродушно прищуренными глазами, протянул ему руку и, устало улыбнувшись, сказал:

— Вот так. Поезжайте. Материал соберете обильный

и острый. Вы увидите там не только дурных, но и чудесных, удивительных, понимаете ли, людей. От души желаю всяческих успехов в работе вашей. Пишите. Будем ждать. Бывайте здоровы.

— Будьте здоровы. Благодарю за содействие...— сухо, скороговоркой пробормотал спецкор и, рывком пожав руку Азарова, прытко нырнул в двери.

Выскочив от директора, корреспондент покосился на кабинет, наспех протер очки и, мрачно усмехнувшись, подумал: «Ах, так? Машиной купить меня хочешь? Нет уж, оревуар, бон ами! Нас вы не перехитрите!..»

А минуту спустя, лихо поблескивая пенсне, мчался спецкор на рысях к почтово-телеграфному отделению центральной усадьбы зерносовхоза закончить и поскорей передать начатую в директорском кабинете депешу.

9

К высокому назначению на пост управляющего отделением зерносовхоза отнесся Елизар Дыбин внешне спокойно. Он не выразил ни удивления, ни восторга, ни страха перед той громадной и весьма ответственной работой, которую неожиданно доверила ему дирекция. В разговоре с Азаровым Елизар держался так непринужденно и просто, точно ничего особенного не случилось, и даже явно обиделся, когда, добродушно прищурив глаза, осторожно спросил директор — справится ли он, Елизар Дыбин, с доверенным ему крайне сложным и большим делом.

— А как ты думаешь, Кузьма Андреич?— ответил ему Елизар.

— Ну как?! Я в тебя, Елизар, верю, конечно...

— А ежели веруешь, так зачем же спрашивать?!

— Это верно. Но спросить я все же обязан...

— Елизара Дыбина можно было бы и не спрашивать, товарищ директор!..— осуждающе сказал он.— Ну, а ежели из веры я у вас вышел, сомневаетесь во мне — что ж, тогда греха таить нечего, так прямо и доложите...

— Да что ты, ей-богу? Не то ты, не то говоришь. Помилуй, как я могу в тебя не верить? Наоборот... Сердечно рад, что смел ты и дерзок по-прежнему. Знаю, знаю, Егорыч, есть у тебя еще порох в пороховницах. Есть!— с

горячей убежденностью сказал Азаров, дружески хлопая по могучему дыбинскому плечу.

— В силе пока. Этого отрицать не приходится...— без тени смущения запросто признался Елизар.

До приезда в зерносовхоз Елизар Дыбин не видывал трактора. Однако, появившись во вверенном ему пятом отделении совхоза в качестве управляющего, он делал вид, что знаком с устройством любой машины не хуже любого механика, и механизаторы верили ему.

На первых порах, когда Елизар Дыбин принял пятое отделение, Азаров заглядывал к нему раза по два в сутки. Внимательно наблюдая за Елизаром, Азаров осторожно давал ему кое-какие хозяйственные и технические советы, старался, не задев обостренного дыбинского самолюбия, всячески помочь ему освоиться с непривычной для него обстановкой, овладеть техникой управления производством, заручиться доверием коллектива. Но скоро, убедившись во вдохновенной сноровке, в решительности, в умных, практических расчетах и действиях Дыбина, Азаров решил дать ему больше самостоятельности, простора для личной смекалки, для творческих поисков и инициативы. Директор все реже и реже стал появляться в дыбинском отделении.

Первое, о чем одобрительно заговорили рабочие с появлением Елизара Дыбина в роли нового управляющего,— это о полном отсутствии доселе обильных, многословных приказов. Прежний управляющий отделением общался с коллективом только через приказы. Стремительно облетев, бывало, на жеребце пахотные массивы и заметив или огрех, или длительную остановку в борозде тракториста, зачастую даже не выяснив причин вынужденного простоя, мчался он во весь опор к полевому стану и собственноручно отмечал в приказе все уловленное его недремлющим оком.

Писал он эти приказы от руки, с поразительной быстротой, но весьма неразборчиво и, заклеив ими решительно все специально воздвигнутые по его распоряжению огромные щиты из фанеры, потом оклеивал своими сумбурными сочинениями даже брезентовые полевые палатки. Когда находчивый управляющий ухитрился заклеить очередными приказами доску производственных показателей, Азаров публично, в присутствии всего коллектива, назвал его бюрократом и здесь же объявил ему, что он отстранен от работы. Но даже и при столь бесславном

конце не мог обойтись ретивый службист без соответствующего официального оформления.

Он нацарапал куриным почерком на блокнотном листке:

Приказ

«С сего числа сего года я отстраняюсь от вверенной мне должности управляющего отделением № 5, как не соответствующий, согласно мнению директора, своему прямому назначению, и посему вышеуказанную должность освобождаю.

Основание: устное заявление директора Степного зерносовхоза т. Азарова.

С подлинным верно. Подписал:

Денис Сироткин».

Елизар начал было впадать в другую крайность: он не хотел признавать в практике своей работы решительно никакой канцелярии.

— А зачем, скажите на милость, мне эти бумажки?! — искренне недоумевал он.— С рабочим я словесно договорюсь. Дирекции вместо письменности любые цифры наизусть, когда угодно, докладать буду. Я в бумагу, как в бабу, не верю! Письменность и стереть, и дождиком намочить, и вообще потерять можно. А вот в башке у меня ничего не сотрешь. Тут риску меньше. Голова-то понадежней — ее ты не так скоро обронишь!

И он действительно с поразительной четкостью запоминал проценты и цифры выработки по декадам, по сменам, по отдельным индивидуальным заданиям каждого тракториста. Он отлично знал, лучше любого тракториста, где, когда и сколько тот сэкономил или пережег горючего, и производственные сводки в дирекцию подавал только устно, пока не приставил к нему Азаров личного секретаря — управляющего канцелярией отделения.

И вот впервые за всю свою малоуютную в прошлом жизнь очутился Елизар Дыбин в положении человека, которого уважал и которому подчинялся целый коллектив. С каждым днем все острее и больше ощущал Елизар новое, доселе не ведомое ему чувство. Это было чувство огромной, все нарастающей радости общения с молодыми, здоровыми, сильными, работящими людьми. Просторней казались теперь Елизару окрестные горизонты, и чув-

ствовал он, как молодел теперь с каждым новым днем не только телом, но окрыленной, просветлевшей душой.

А ведь еще совсем недавно, там, на родимом хуторе, все чаще и чаще подумывал он о незаметно, исподволь подкравшейся к нему старости. «Неужели все?!— не раз мысленно спрашивал он себя с усмешкой и тут же заключал:— Выходит, так. Близок срок. Отбурлачила, отколесила по белому свету бесприютная моя жизнь — шабаш!» И было горько думать, что прошла, отмерцала незавидная его жизнь неудачника, как мерцает текучее марево в жаркий летний день над опаленной суховеями степью...

Что заметного, необыкновенного совершил он в ушедшей в прошлое жизни? Зашиб насмерть броском через голову знаменитого степного борца-богатыря? Свирепых цепных кобелей с пьяных глаз смирял для потехи?! Только-то?!

А между тем всю жизнь влекло Елизара Дыбина к такому полному напряжению всех сил, которое мыслимо только в труде и деянии, равном подвигу. Но ему не везло. Худо уживался он с его сварливым характером с хуторскими мужиками и, прослыв среди них нелюдимым, ни с кем не водил дружбы, хотя его всегда влекло на люди и тяготило одиночество.

А теперь, вдруг нежданно-негаданно очутившись, по воле судьбы, среди коллектива дружных, отважных, влюбленных в свой труд, в машины молодых людей, Елизар и сам воспрянул душой, ощутил за плечами былые крылья. Ему страшно было уже вновь оказаться не у дел, утратить обретенную связь с этим коллективом. В душе Елизар, правда, побаивался полноты ответственности за доверенное ему руководство, а главное — не хотел осрамить себя в глазах Азарова. Зорко приглядываясь к подчиненным ему механизаторам отделения, чувствовал он, что все они, несмотря на молодость, во многом разбираются уверенней, лучше его, хотя никогда и никому не признавался в этом. Но чутье и сознание подсказывали Елизару, что многое еще надобно будет ему узнать, многому надобно будет здесь поучиться у этой озорной, любознательной и смекалистой молодежи.

И Елизар решил призвать на помощь собственного сына. Первое время держался он с Митькой отчужденно, подчеркнуто холодно, хотя и ревниво следил за его работой, радовался его производственным успехам. Елизар всей душой хотел, чтобы первенство на весеннем севе в

совхозе осталось за бригадой сына, и, как мог, косвенно стремился в этом помочь ему.

Но в канун окончания работы на участке случилось с Митькой неладное: неожиданно он исчез из бригады. Целый день сбившиеся с ног трактористы не могли найти своего бригадира — ни в палатках на полевом стане, ни на окрестных массивах. А вечером, когда заступала вторая смена, приплелся он на стан таким пьяным — хоть выжми! Это до того поразило ребят, что ни один из них не улыбнулся, не отпустил обычной в этих случаях шутки. Трактористы, недоуменно переглянувшись между собой, молча разбрелись по палаткам.

А Митька, едва держась на ногах, одиноко кружился в сиреневом сумраке по притихшему стану и унылым голосом не то напевал, не то с болью рассказывал кому-то:

Ах, встретит ли за хутором
Меня моя любимая?
Ах, встретит ли и скажет ли:
«Я очень вас люблю...»

Здравствуй, моя родина,
Степь моя родимая,
Каждый звук и шорох твой
Я сердцем уловлю!

Елизар Дыбин впервые видел сына пьяным. И при первом же беглом взгляде на непристойно-развязного и жалко улыбающегося Митьку он пришел в бешенство, хотел было показать власть отца. Но потом, наблюдая за ним из палатки, чуть прислушиваясь к печальным его напевам, растроганно подумал: «Как на меня, однако, похож! Песни поет сердечные и степь без ума, без памяти любит. Моя кровь. Моя!»

Вдоволь накрутившись по пустынному, точно вымершему в этот вечерний час полевому стану, Митька устало присел возле костра. Поджав под себя ноги, он, свесив голову, горько о чем-то задумался. Мерно, как маятник, раскачиваясь из стороны в сторону, чуть слышно бормотал он какие-то невнятные слова. И Елизару вдруг стало жалко сына. Глядя на его сиротливо сгорбившуюся во мгле фигуру, вспомнил Елизар Дыбин далекую молодость, вспомнил бесприютные скитания по свету, все былые обиды и беды. Он встал и, подойдя к сыну, сказал:

— Пойдем ко мне в палатку. Разговор будет...

Митька с тревожным удивлением посмотрел на роди-

теля, но тотчас же поднялся и покорно побрел вслед за ним.

Они сели на кошму друг против друга и долго молчали.

Наконец Елизар строго спросил:

— Сколько выпил?

— Полторы литры зараз!— хвастливо ответил Митька.

— Силен для началу,— с насмешливым одобрением отозвался Елизар Дыбин.— Это что же — с радости али с горя?

Помолчав, Митька взял из отцовских рук недокуренную папиросу, глубоко затянулся, смежил глаза и с тяжелым вздохом трезвого человека сказал:

— Друга я хорошего потерял, отец. Больше такого ни во сне, ни наяву не сыщешь! Был у меня такой, понимаешь. Цены ему не было. Единственный. А теперь вот один я, как беркут в степи на кургане, сижу и горюю. Сам не свой. Сердце горит. Потому и напился... Эх, да разве тебе растолкуешь?! Стар ты стал. Все равно не поймешь...— безнадежно махнув рукой, сказал Митька.

— Что-о? Я — старик?!— с вызовом переспросил Елизар.

— Правдой не задразнишь — не моложавый!

— Корить меня старостью тебе бы, сынок, грешно, рановато. Бог миловал, из ума я еще, как видишь, не выжил, силы не потерял. Двухпудовыми гирями креститься покуда не разучился... Стало быть, с вами, молодыми да ранними, силой ишо потягаюсь!

— Эх, при чем же тут, папаня, твои гири?— усмехнулся Митька.

— Не в гирях суть. Не махай руками. Молчи,— сурово оборвал его Елизар.

— Слушаюсь, товарищ начальник...

— Зубы ты надо мною не скаль. Я сейчас пока тебе не начальник. Я — твой кровный родитель. А достукаешься — заговорю в кой миг и как начальник!— пригрозил Елизар.— Я, как родному дитю, скажу тебе вот что. Никогда не заводил я с тобой этакие речи, а теперь вынужден. Мыкали мы с тобой горя немало. Горек был у нас с тобой прежде хлебушко, солона водица! Страшную я науку в жизни прошел от Пинских болот до Охотского моря, да чуть было так в дураках и не остался... Сам-то

уж был я отпетый; сорвался — туда и дорога! Да за тебя вот боялся. Тебя было до́ смерти жалко...

Помолчав, пожевав сухими губами, Елизар сказал:

— Хоть ты и укорил меня старостью, а напрасно. Сердце мое такой обиды не принимает.

— Я же шутейно...— улыбаясь, сказал Митька.

— Ну ладно! Я не об этом... Словом, выходит, выбились мы с тобой на большак. И теперь, если башка у нас не закружится, людьми станем, планиду свою определим... Я на тебя в эти дни нарадоваться не мог. Тебя хвалят, а у меня в сердце отдается... А ты вдруг на тебе: взял да и свихнулся! Друга, говоришь, потерял? Один на белом свете как перст остался? Тогда слушай мою притчу. Когда мне было девятнадцать лет, я тоже друга потерял и тоже один, как сыч, на белом свете остался. Это, дорогой мой товарищ бригадир, у всех так бывает... А друг, ежли он настоящий, никогда не потеряется. Потерять можно недруга, друга не потеряешь!

Польщенный и растроганный небывалой родительской нежностью и участием, Митька, даже не подозревая, что отец очень хорошо знает, о каком друге шла речь, смущенно признался:

— Ее ведь все потеряли. Она же крадучись ушла куда-то. Наверно, домой. На хутор.

— Э-э, да это ты про нашу землячку — про Катьку? А мне и невдомек,— широко улыбаясь сыну, отозвался с притворным изумлением Елизар Дыбин и, приятельски хлопнув его по плечу, серьезно и убежденно сказал:— Найдем. Слово даю. Ей на роду написано быть моей невесткой. Что?! Голову на дровосек — наша будет! Вот свадьбу закатим! На автомобилях! Нет! Лучше на лошадях, с лентами, с шеркунцами! Самого директора Азарова в дружки посадим.

— Посмотрим...

— Тут и смотреть нечего. Я загодя все вперед вижу. Катька от нас никуда не уйдет. Поверуй... А вот ежели амбицию мы с тобой уроним, дыбинскую породу в глазах у добрых людей осрамим, будет хуже. Я-то держусь, а ты себя и меня мараешь. Запомни слово родителя, сын. На первый раз я тебе все прощаю. Было и мне девятнадцать лет. По-отцовски, с глазу на глаз с тобой, как на духу говорю. Но случись грех, встречу тебя в подобных видах вторично — не пощажу! Помни только: сейчас вот — дите ты мое, когда мы с тобой одни, у меня в палатке; а вый-

дешь за двери — равный со всеми, и разговор у меня с тобой будет равный. Насрамишь — выгоню. Отец я тебе отцом, а начальник начальником! Вот так-то, мой дорогой. Заруби себе на носу. В слове своем я пока был верный. Не знаешь ты меня, что ли?!

— Слава богу. Што бы не знать!— трезво подтвердил Митька.

— А знаешь, так за отца почитай, за начальника чествуй!— наставительно и сурово сказал Елизар.— Раз меня партия на такую вакансию поставила, стало быть, вся она в меня верует. И ты изволь своему управляющему отделением за номером пять Елизару Дыбину подчиняться! Вот и весь мой сказ...

Умолкнув, Елизар Дыбин свернул папиросу, но, ощупав карманы, не нашел спичек. Попросить спички у впервые курящего у него на глазах сына Елизар постеснялся. Он долго жевал папиросу, звучно покусывал ее кончик и наконец несмело протянул Митьке свой кисет.

— Что уж там робеть-то, давай угощайся, ежели вырос. Покурим из одного кисету. Табак у меня с вишняком, ароматичный...— сказал Елизар со смущенной теплой улыбкой.

— Благодарствую...— тоже с улыбкой ответил ему Митька и, приняв кисет, долго, с наслаждением крутил и набивал козью ножку.

Прикурив от услужливо зажженной Митькой спички, отец и сын мирно затягивались некрепким, пахнущим вишневыми листьями дымком.

— Никак, светает,— сказал Елизар.— Мне еще надобно будет на заправочный пункт сходить. Должны машины с центральной усадьбы прийти с горючим... А потом и твою беспризорную бригаду навестить надо.

Простые, рассудительные слова отца окончательно протрезвили Митьку, и ему вдруг стало совестно перед утомленным заботами стариком — и за то, что так жестоко напился в столь горячую пору, и за то, что так развязно держался в беседе с ним, и даже за то, что спьяну курил с отцом из одного кисета. Но еще зазорнее было Митьке вслух признаться в этом. Уйти из отцовской палатки запросто, молча, он тоже не мог.

Елизар, делая вид, что занят поисками фуражки, выжидательно молчал, надеялся, что сын все же скажет что-нибудь ему в ответ.

Митька собрался с духом и, покраснев, глухо сказал:

— Ты прости меня, отец, что было. Это так. По молодости. Сдуру... Я тебе душевное слово даю: больше меня таким ты никогда не увидишь. А теперь пойду в свою бригаду, на пашню.— И Митька поднялся.

Елизар приблизился к сыну вплотную и, положив могучую руку на его плечо, глядя в лицо, молвил:

— Я в тебя верую. Кровь в нас едина... Погоди, заживем мы с тобой, придет время, на славу! Вот, дорогой бригадир, сын мой, товарищ...— и неожиданно, сильным рывком притянув к себе сына, он крепко поцеловал его.

А когда взволнованный Митька вышел из палатки и размашисто, вразвалку зашагал к массивам своей бригады, долго, со смутной, блуждающей по большому усталому лицу улыбкой смотрел ему вслед Елизар Дыбин.

10

План подъема целинных земель и весеннего сева был завершен в намеченный срок почти одновременно по всем пяти отделениям зерносовхоза. Трудно было определить, за чьей бригадой осталось первенство на пятом отделении совхоза: и у Ивана Чемасова и у Митьки Дыбина тракторы одновременно вышли из борозды и почти одновременно стянулись с пахотных массивов к стану. И как только заглохли моторы и погасли огни факелов и фар, впервые опустилась над степью великая, непривычная тишина.

Высокие, призрачно белеющие в жемчужном сумраке шатры тракторной бригады и шеренги тракторов, выстроившихся поодаль от них развернутым строем, придавали полевому стану вид раскинувшегося в степи, задремавшего после марша воинского бивака. Словно одетые в броню и кольчуги сказочные всадники, неподвижно стояли на страже тракторы, охраняя сон утомленных сражениями воинов. И алое, как мятежное пламя, знамя победно реяло на флагштоке над шатрами.

Было тихо.

И вдруг из дальней, раскинутой на отшибе палатки донеслась высоко поднятая подголосками хоровая песня:

Товарищи его трудов,
Победы, громозвучной славы
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы!

Никому не спалось в эту ночь — ни в тракторных бригадах, ни во всех пяти отделениях, ни в центральной усадьбе зерносовхоза. Не спали и механизаторы дыбинской и чемасовской бригад.

В просторном высоком шатре, где размещалась чемасовская бригада, собрались механизаторы всего пятого отделения. Сюда же сошлись и все трактористы с прицепщиками из дыбинской бригады.

В палатке тускло горели фонари «летучая мышь». Было тесно и душно.

На столе, на опрятно заправленных топчанах, в руках и на коленях у многих ребят и девушек — везде и всюду лежали помятые, слегка влажные, остро пахнущие типографской краской экземпляры только что полученной с самолета окружной газеты «Смычка».

Трое девчат-прицепщиц, тесно прижавшись друг к другу, напряженно щуря глаза, молча читали одну газету. Вместе с ними читал этот же номер присоединившийся к ним с балалайкой в руках Ефим Крюков.

Номер газеты лежал и перед бригадиром Иваном Чемасовым. Облокотясь на стол, Чемасов смотрел в развернутый лист злыми глазами, но, кроме мелко рябящих, сливающихся в сплошной серый поток строчек, ничего перед собой не видел.

Рядом с Чемасовым сидела Любка. Как и всегда в свободное от работы время, была она принаряжена — в ярком цветастом платье, подобранная, опрятная, посвежевшая, точно после купанья. Но не было в лице ее присущего ей выражения невинности и лукавства. Потемневшая, строгая, сидела она за столом и, беззвучно шевеля губами, тоже читала молчком, как и все прочие, ту же газету.

Наконец Иван Чемасов, исподлобья оглядев насторожившихся ребят, сказал, вставая из-за стола:

— Нашему брату-механизатору, ребята, сегодня положено пировать. Мы это заработали. Заслужили. Но не до пиров нам теперь, не до песен. Все прочитали эту брехню?— спросил Чемасов, потрясая зажатой в могучем кулаке газетой. И, не дожидаясь ответа, продолжал:— Но я думаю, что никто из нас в эту злую клевету не поверит. Думаю, что верных людей, руководителей наших, позорить и клеймить с бухты-барахты врагами мы никому не позволим! А коли уж на то пошло, все стеной встанем, но в обиду Кузьму Андреича с Елизаром Егорычем не

дадим. Мы покажем единую нашу силу! Нас Азаров вон на какие штурмы водил! Мы с ним дикие степи приступом брали! Он нас в победители вывел! А теперь вот ни за что ни про что на весь округ боевых командиров наших последними словами срамят. Нет, враги хлеборобного класса! Мы порочить и шельмовать нашего директора с управляющим никому не дадим. Вот наша резолюция!..— крикнул в заключение Иван Чемасов.

— Товарищи!— прозвенел заливистый, как бубенец, голос Морьки Звонцовой.— Когда я прочитала в газете эти песни-басни про директора и дядю Елизара, у меня язык отнялся. Их шельмуют тут, как самую злостную контру. Что это такое, товарищи? У меня даже слов никаких нету. Правильно говорит бригадир. Стеной встанем. Вот именно. А в обиду наших людей никому не дадим!

И тут занялся огнем сыр-бор. Вмиг заговорили, протестующе замахали руками все сразу:

— Навели тень на плетень, сукины дети!

— Набуровили — в три короба не складешь!

— Дописались до заковыки!

— Маху дали: вместо «ура» «караул» скричали!..

Ефим Крюков слезно допытывался у всех:

— Кто это набрехал, ребята, скажите?

— И что ты пристал, как банный лист?! Ведь там же подписано: Мак-Кэй. Иностранный сочинитель, видать, какой-то.

— Видал я этого сочинителя. Длинноногий — глиста глистой. Сразу видно — не нашей породы!

Собрание бушевало, как степной пожар в бурю. Но никто не знал толком, что же теперь делать, как защитить от тяжких обвинений Азарова, какими путями выгородить из беды Елизара. По заключительным строкам газетного разворота, «посвященного,— как говорилось в передовой,— нарыву в Степном зерносовхозе», по грозному тону крикливых заголовков, по развязному тексту длинной корреспонденции Мак-Кэя — по всему этому можно было судить, что оборот делу дан суровый.

Как быть, не знал и Чемасов. Но, подумав, перебросившись беглым советом с Митькой Дыбиным, с Любкой, он, едва угомонив разбушевавшихся трактористов, сказал:

— Стало быть, так. Мнение наше у всех единое. Ни Кузьму Андреича, ни Елизара Егорыча мы срамить не дадим. Это — во первых строках. Во-вторых — завтра у нас

ввиду окончания работ должен был состояться праздник. Но я думаю, что нам пока не до этого. Прежде всего надо дождаться приезда Кузьмы Андреича. Он обещал завтра прилететь из Алма-Аты. А приедет Азаров, тогда все с ним по форме и рассудим. От праздника же есть предложение пока отказаться. Не красен он выйдет без директора.— И, помолчав, спросил:— Возражениев не имеется?..

— Согласны!— дружно поддержали бригадира трактористы.

И летучее, бурно прошедшее без президиума, без протокола и резолюций собрание закрылось. Но тревога за судьбу опороченных в газете людей не утихла — единственный волнующий всех вопрос остался открытым...

Полевой стан не спал. Не смыкал в эту ночь глаз и Елизар Дыбин. Уединившись от всех в наглухо закрытой палатке, понуро сидел он за столиком с развернутой газетой в руках.

Щурясь при тусклом свете «летучей мыши», Елизар несколько раз принимался читать газету, но неизменно натыкался на одно и то же место: «Поразительно уродлива, между прочим, и внешность этого георгиевского кавалера. Он неуклюже высок, плечист, с яркими, по-азиатски раскосыми глазами, и надо полагать, что благодаря своим физическим данным занимал он некогда в авангардной колонне царских опричников почетное место!..»— читал о себе Елизар Дыбин.

В ногах Дыбина сидел, не спуская с хозяина покорных ореховых глаз, кобель Верный. Собака следила за каждым движением угрюмого хозяина.

Долго сидел в отупении над газетным листом Елизар, потом поднялся из-за стола и брезгливо швырнул скомканную газету в сторону. Он насторожился, замер, к чему-то прислушиваясь. Но было так тихо, что звенело в ушах. Лишь где-то далеко-далеко простонала выпь. Елизар, горько усмехнувшись чему-то, встряхнул головой и затем с деловитым спокойствием, не спеша снял с крюка плетеные ременные вожжи. Так же деловито и не спеша отмерив локтем около трех метров, он перерезал вожжи ножом, а из оставшегося у него обрывка стал мастерить петлю. Петля получилась добротная. Он дважды испытал на руках ее действие — работала безотказно! Елизар, приподнявшись на цыпочки, стал прикреп-

лять петлю к металлической перекладине палатки мертвым калмыцким узлом.

Но спокойные вначале, строго расчетливые движения его лихорадочно ускорялись, и большие сильные руки начали дрожать. Елизар торопился. Озираясь, он судорожно цеплялся пальцами за скользящий конец веревки и долго не мог затянуть второго узла.

Возбуждение хозяина передалось собаке. Кобель беспокойно шнырял по палатке, перескакивал с одного места на другое и, точно почуяв близкую опасность, готовился броситься на защиту хозяина.

Наконец узел был стянут.

На высоком лбу Елизара выступил пот. Потом он зажмурил глаза и быстро на ощупь уцепился за качающуюся над его головой веревку. Приподнявшись на цыпочки, зябко дрожа от озноба, Елизар Дыбин надел на шею петлю.

Придерживая веревку рукой, Елизар поднялся на нары и, изогнув корпус, приготовился к прыжку. Но вдруг он выпрямился и замер: в одном из соседних шатров поднялась и забушевала в ночи дружно подхваченная многоголосым хором старинная казачья песня:

Зацвела ль черемуха?
Бел ли пал туман?
Ты о чем задумался,
Старый атаман?
Меньше ль в тебе удали?
Туп ли стал булат?
Не согрела ль ладушка ночью твой халат?..
Верные дружинники у тебя лихи:
У них кони быстрые, вострые клинки!
У них кони быстрые,
Сабли — наголо!
Кликнешь клич, и на сердце — горя не было!
Кликнешь клич, поднимутся — степи загудят!
Травы заколышутся,
Леса заговорят!
Там ребята — хваты!
Кудри — жги, что хошь!
Руки — как булаты,
А язык — как нож!..
Расцветай, черемуха!
Расступись, туман!
Прикажи коня подать,
Старый атаман!
Беркутами ринемся
За тобой в полет,
В жилах кровь запляшет,
Сердце запоет!

Елизар Дыбин слушал песню, и лицо его светлело, обретало прежнюю выразительность и ясность. И когда в могучем светлом потоке песни послышался до боли знакомый, высокий, мягко замирающий на выносе голос сына, Елизар встрепенулся. Запрокинув голову, он вдруг, точно размахнувшись для смертельного удара, одним могучим рывком разорвал петлю и, брезгливо откинув обрывки в сторону, бросился вон из палатки.

11

Отделение зерносовхоза, где работала Фешка со своей тракторной бригадой, было самым отдаленным от центральной усадьбы, а еще дальше — больше чем за сто километров — находилось оно от пристанционной нефтяной базы, откуда получал совхоз горючее. Это обстоятельство не было учтено при подписании социалистического договора по соревнованию между отдельными тракторными бригадами и отделениями совхоза. А между тем отдаленность эта причиняла механизаторам во время весеннего сева немало неприятностей, являлась прямым и косвенным виновником многих производственных неполадок.

К началу пахоты на этот участок не успели забросить достаточного количества горючего. Автомобильный парк совхоза едва успевал отгружать с неблизкого пристанционного элеватора запоздало прибывшие с Кубани сортовые семена пшеницы, с ходу развозя их по всем тракторным бригадам — к месту высева. А из-за нехватки горючего и смазочных материалов нередко часами простаивали тракторы, и больше всего этих вынужденных простоев было в пятом отделении — в бригаде Фешки Суровой.

Большинство трактористов в Фешкиной бригаде были новичками — со школьной скамьи краткосрочных курсов механизаторов. Но ребята подобрались дошлые, один к одному — расторопные, влюбленные в технику, со смекалкой, и Фешка не могла пожаловаться на них. Работали все на славу, и, не режь их горючее, они, безусловно, не уступили бы первенства ни одной из совхозных тракторных бригад. Но и при этих условиях ребята к концу сева опередили бригаду Чемасова.

Трактористы чемасовской бригады продолжали еще сеять, а бригада Фешки, завершив сев в своем отделении,

переключила часть посевных агрегатов на выручку попавшего в прорыв четвертого отделения зерносовхоза, а пять тракторов разошлись по окрестным колхозам, помогая вновь созданным маломощным сельхозартелям в коллективной обработке обобществленной земли.

Проводив всех своих трактористов, сеяльщиков и прицепщиков, Фешка осталась на участке в одиночестве, и это тяготило ее. За год работы в совхозе она настолько сроднилась с ватагой озорных ребят, что и дня не могла прожить вне коллектива, заменявшего ей семью, которой она — круглая сирота — никогда прежде не знала. Увлеченная освоением новой, невиданно сложной техники, напряженным ритмом трудовой жизни в громадном государственном хозяйстве, размахом полевых работ на осваиваемой целине, Фешка стала со временем забывать о далеком родном хуторе, где так несладко жилось ей по чужим людям и где горек и черств был батрацкий ее кусок. Но, редко вспоминая о хуторе, она не забывала о Романе, о Капитоне Норкине, о бобыле Климушке, о добряке Мироне Викулыче, о чудаковатом, взбалмошном пономаре Филарете Нашатыре и о многих других хуторянах — людях одной с ней судьбы.

Часто собиралась написать кому-нибудь из них о себе, расспросить и об их житье-бытье. И в первую очередь ей хотелось написать Роману. Но все не доходили руки: не до писем ей было теперь — в первую большевистскую посевную страду, как называли эту весну все газеты.

Но, оставшись в одиночестве на полевом таборе бригады, Фешка, не привычная к ничегонеделанию, не находила места ни в степи, ни на стане. Правда, оставили ее тут одну неспроста. По поручению партийного бюро совхоза она должна была подготовиться к докладу о первомайском празднике на общем собрании механизаторов. Это было почетное поручение, и Фешка очень волновалась, думая об этом первом в жизни докладе.

Секретарь парткома Ураз Тургаев заботливо снабдил Фешку популярной первомайской литературой. Но Фешка не могла читать — не было у нее к усидчивому чтению навыка, и она, рассеянно глядя в брошюру, думала о чем-нибудь другом: то о своих новых друзьях — трактористах и прицепщиках, то о Митьке Дыбине, который напоминал ей чем-то Романа, то о Романе, неизвестная судьба которого не переставала волновать Фешку...

Однажды дошли стороной до Фешки смутные слухи

о жизни на хуторе, и они не обрадовали, а лишь встревожили и ожесточили ее. Иная обстановка, в которой она находилась в течение этого переломного в ее судьбе года, иной ритм жизни, иные интересы, которыми она жила, очутившись в зерносовхозе,— все это до того увлекло, захватило ее по-юношески порывистую, крылатую душу, что обиды и беды прошлого не столь часто тревожили и терзали ее.

И вдруг дошедший до нее слух о досрочно возвратившемся из армии ненавистном ей Иннокентии! Во-первых, Фешка не могла смириться с тем, что кулацкому сынку удалось пролезть в ряды Красной Армии. Во-вторых, подозрительной показалась Фешке и его досрочная демобилизация. «Явно, выгнали негодяя, и он объявился на хуторе небось с фальшивым отпускным билетом в кармане!»— убежденно думала Фешка. Но больше всего изумило и ожесточило Фешку то, что Иннокентий Окатов затевал, по слухам, организацию сельхозартели. Фешка понимала, что за артель задумал создать хитрый, изворотливый проходимец — в ней, конечно, не будет места хуторской бедноте или мужикам средней руки. А если окатовцы и затянут в свою ловушку некоторых бедняков и середняков, так только для маскировки неглупой, хитро задуманной ими затеи. Это для Фешки было ясно как божий день!

Прослышав о наглых, шитых белыми нитками замыслах окатовского отпрыска, Фешка была вне себя от ненависти к волчьей стае былых хуторских заправил, отравивших ей юность. Злые, скупые слезы готовы были брызнуть из ее лихорадочно блестевших глаз, слезы гневной ярости и решимости человека, готового к последней смертельной схватке с лютым, кровным врагом!

И Фешка была готова к такой схватке! Повзрослевшая за этот год нелегкой работы и жизни в новом целинном зерносовхозе, окрепнув физически и духовно, Фешка многое поняла и увидела в мире такого, чего она не понимала и не видела там, в глухом, как стоячее болото, хуторе Арлагуле. Там ее выручало природное чутье, которое помогало ей разобраться в трудную пору в сложных переплетах жизни. Сейчас пришли некоторые знания и опыт. Вот почему, прослышав о замыслах Иннокентия Окатова, Фешка сразу же разгадала подоплеку этой вражеской затеи и истинные цели лжеколхозников, придумавших но-

вый ход в жестокой борьбе за былое благополучие и могущество.

«Нет, дудки! Этот номер не выйдет. Этого нельзя допустить. Тут в большой колокол надо бить, как при пожаре! Да вот беда — есть ли кому там в набат-то ударить?!» — с тревогой, с болью думала Фешка. И, думая так, она уже готова была, подав в дирекцию заявление об увольнении, немедля отправиться в Арлагуль.

Но заявление Фешка не подала. Начался сев — первая битва на целине за совхозный хлеб, и у Фешки дух захватило от радости, когда повела она за собой колонну тракторов доверенной ей бригады на штурм вековой целины, не знавшей плуга! Ни днем, ни ночью не умолкал в степи гулкий рокот тракторных моторов. И от этого богатырского рокота стальной конницы, ринувшейся в атаку в развернутом строю, от медово-горьковатого аромата взрыхленной лемехами влажной, прогретой весенним солнцем земли, от веселого возбуждения, царившего среди трактористов и прицепщиков — первых покорителей целины,— от всего этого у Фешки кружилась, как во хмелю, голова и билось юное сердце!

Теперь же, когда умолк в степи шум битвы и Фешка осталась на полевом стане бригады одна, когда улеглось ее волнение, она снова все чаще и чаще начала вспоминать о родном хуторе, о Романе и порою опять готова была улететь на крыльях.

И вдруг — письмо от Романа!

Фешка скорее почувствовала, чем определила это по почерку, взглянув на прошитый крест-накрест суровыми нитками треугольник из газетной бумаги. С замирающим, глухо стучащим сердцем разорвала она самодельный конверт и, опустившись на колени около костра, стала бегло, с жадностью читать косые, неровные строчки.

«Феша! Дорогой наш друг и товарищ! Здравствуй! Если ты не позабыла меня, то во первых строках моего письма шлю я тебе пламенный мой комсомольский привет и низкое мое почтение. Такой же горячий комсомольский привет тебе шлют и все наши боевые ребята, которые тебя хорошо помнят и не могут забыть.

Феша! Дошел до нас слух, что будто бы ты находишься в настоящее время в новом Степном зерносовхозе и что ты там на все сто трактористка и даже тракторный бригадир. Вот это да! С чем мы все, как один, и поздравляем тебя от имени молодого нашего колхоза «Интер-

национал»! Вот, представь себе, у нас на хуторе — и колхоз! Представь себе, сколотили мы нашу артель хуторских батраков и приняли единогласно в наш коллектив многих бывших байских пастухов, безлошадных джетаков — аульную бедноту и разных подпасков.

Ты думаешь, легкое это было дело? Ого! Ты думаешь, кулачье наше не совало нам палки в колеса? Как же! Ну, народ у нас подобрался не робкого десятка, и драться с вражьей сволочью нас не учить! И мы дрались и деремся не на жизнь — на смерть! Сама знаешь, какое хозяйство в нашей артели. Десятка полтора пароконных однолемешных плугов. Около этого допотопных борон плюс одна конная сеялка. Вот и вся механизация! Кони у бедноты нашей тоже не ахти: не успеешь одну клячу с межи поднять, другая, смотришь, в борозде ложится! Не пахота была — слезы! Ну, ничего. Выстояли. Не сдались. Не опустили рук. Шесть га пшеницы сверх плана посеяли. Если верить старым людям, год нынче будет урожайным. А при урожае наш народ будет с хлебом и на поклон, как прежде, к Окатовым и Пикулиным не пойдет. Это факт, Фешка!

Теперь дальше. А дальше песня у меня пойдет не шибко веселая, дорогой товарищ бригадир. Злая песня, Фешка! В драку с озверелым кулачьем бросились мы с братвой с засученными рукавами и дрались — не робели. Да вот силы, выходит, у нас не совсем равные. Голыми-то руками эту банду не скоро возьмешь: они, как волки, стаями на нас нападают и норовят за горло схватить. И хватают. Где — в открытом бою. Где — втихомолку. Из-за угла. Обходом. Мы в посевную еле на ногах держались: харчи-то у нас известные — с хлеба на воду! А они, сукины дети, подкулачников начали даровой сеянкой прикармливать. А потом что придумали? Организовались, в пику нам, в свой лжеколхоз и тут совсем уже распоясались. Последней нашей механизации — сеялки нас хотели лишить. Да мы стеной встали — не дали. Только правда говорится, что беда в одиночку не ходит. Не успеешь одну с порога прогнать, другая стучится в ворота! Так и с нашей артелью. Одну атаку отбили, с другого фронта лавиной на нас пошли. Эти отпетые классовые вражины даже и в райцентре одних одурачили, других купили. У них от припрятанного зерна ямы ломятся. Они тут теперь показательные красные обозы организуют. Хлеб под музыку государству сдают. А нашу

артель — что пока с нее взять — и в райцентре ни в грош не ставят, карликовой зовут. Ликвидировать нас собирались, слить с этими проходимцами из «Сотрудника революции». Мы уперлись. Меня — к ответу. В райкомол потащили. Я и там не поддался — стоял на своем. Тут мне и досталось,— долго этого не забуду! С недисциплинированными комсомольцами разговор короток — исключить из рядов ВЛКСМ! Голосуем, товарищи! И проголосовали...

Вот тебе и с комсомольским приветом! Выходит, что я теперь вроде и не имею права даже и этих слов писать в письме тебе, Фешка... Билета меня лишили, но комсомольского сердца из груди моей пока не вырвали. Оно по-прежнему горит огнем ненависти к проклятому кулачью и их прихвостням. А если, не ровен час, погаснет оно от пули кулацкого обреза, помни, Феша, что до последнего вздоха я оставался все-таки комсомольцем и ненавидел вражин — иуду Епифана Окатова с его сынком Иннокентием — так же люто, как горячо любил комсомольскую нашу братву — орлят из маленькой хуторской нашей артели!..

Ну, хватит. Расписался — не остановлюсь! Соскучился шибко я без тебя. Теперь буду дожидаться твоего письма. А еще бы лучше — дождаться тебя. Вот бы здорово получилось, если бы ты взяла да и нагрянула к нам как снег на голову, а?! В самом деле, Фешенька. Я не шучу. Мне в данный момент не до шуток...

За всем тем пока до свидания, и все же — с комсомольским приветом!

Остаюсь твой старый друг *Роман*».

Трижды подряд перечитав взволнованное послание Романа, Фешка долго потом не могла успокоиться. «Боже мой, боже мой, что же это там у нас делается!?»— с тревогой, близкой к душевному смятению, со все возрастающей злобой против Иннокентия думала она.

Позднее, несколько успокоившись, она, обстоятельно обдумав и взвесив все, решила показать это письмо Азарову и просить его отпустить ее по завершении посевной на хутор, если не совсем, то хотя бы на время. В том, что директор поймет ее и не откажет, Фешка была уверена.

И это окончательно успокоило ее. А наутро, чуть свет поднявшись, она коротко ответила Роману на его письмо, пообещав быть в скором времени в Арлагуле.

12

Под троицу девки ходили в березовую рощу, плели венки и всю ночь пели хором грустные песни. Хутор зацвел, покрылись зеленым пламенем ветки березок, щедро посаженных под окошками земляных избушек бедноты и деревянных крестовых домов зажиточных. Даже Луня украсил избушку роскошной веткой березы, хотя накануне и голосовал на общем колхозном собрании против варварской вырубки леса в канун троицы.

Но сам праздник не так волновал хуторян, как волновало необычайное объявление, которое вот уже второй день висело на дверях сельского Совета. Весть о нем успела облететь все соседние хутора, переселенческие отруба и аулы. В хуторе говорили, что из районного центра прибудет сюда чуть ли не все ответственное начальство.

Автор объявления, продавец Аристарх Бутяшкин, сотый раз лично перечитывал его толпившимся вокруг бабам и мужикам. Подражая агитпропу Коркину, Аристарх Бутяшкин читал объявление нараспев торжественно-приподнятым голосом:

«Да здравствует свободная семейная жизнь
по новому быту во всем мире!
Граждане хуторяне!

Послезавтра в здании школы данного хутора состоится небывалая рабоче-крестьянская красная свадьба без венцов, без попов, без опиума религии и в присутствии всех интересующихся вышеуказанным фактом граждан местной, а также и районной власти, на коей меж женихом — бывшим бойцом Красной Армии и председателем колхоза «Сотрудник революции» товарищем Иннокентием Окатовым — и его невестой — честной работницей культурного фронта на ниве народного просвещения, товарищем Еленой Крониной — состоится взаимный договор на свободную, счастливую семейную жизнь, согласно новому быту во всем мире, по добровольному выбору обоих полов и по приветствию от разных организаций и от частных лиц по поводу вышеизложенного события!

Рабоче-крестьянский красный дружка
Аристарх Бутяшкин».

Народ в школу набился еще с утра. А девки, даже не выстояв обедни, побросав свои венки, с визгом про-

бирались в класс, туго набитый задыхающимися от спертого воздуха и жары ребятишками, бабами, мужиками.

Вскоре из соседних хуторов и отрубов толпами повалили пешие и конные, а из аулов скакали на хутор казахи — молодые джигиты и сребробородые аксакалы.

Продавец Аристарх Бутяшкин в сиреневой сорочке при малиновом галстуке несколько раз поднимался на пожарную бочку и, придерживая ладонью пышный махровый бант на лацкане пиджака, вопил рыдающим голосом минаретного муллы, обращаясь к толпе, запрудившей школьную площадь и пытавшейся прорваться внутрь битком набитой народом школы:

— Дорогие товарищи, вас, как сознательных, просят не переть сломя башку. Там и так яблоку некуда упасть. Категорически вам повторяю, граждане, стойте смирно на месте. Это рабоче-крестьянская свадьба по новому быту, а не Куяндинская ярмарка! Наберитесь терпения. Подождем до прибытия районных представителей. А потом начнем обряд бракосочетания по новому быту!

— А угощение будет?— крикнули в один голос близнецы Куликовы.

— Угостят чем ворота запирают!— прозвучал чей-то до звона высокий, насмешливый голос.

— Должны всех угощать, если по новому быту...

— Новый там тебе быт со старыми дырами...

— Говорят, потом спектакуль показывать будут.

— Эта свадьба почище всякого спектакуля!

— Не свадьба — цирк!

Стоял знойный, пропитанный полынным запахом день. Душно было не только в школе, где народ, одурев от тесноты, выбил в рамах все стекла, нестерпимо жарко было и на улице. Народ томился в ожидании районного начальства.

Аристарх Бутяшкин, сидя верхом на пожарной бочке, не спускал зорких крысиных глаз со степной дороги, по которой должны были прибыть запоздавшие районные представители.

Подвыпившие близнецы Куликовы уже несколько раз подстрекали народ побить дружку Аристарха Бутяшкина за обман и на этом покончить дело.

Между тем районные представители прибыли только к вечеру. Лихо подлетев к школе на взмыленной паре вороных, франтоватый агитпроп райкомола Коркин и

унылый, долговязый, как сухостойная жердь, агроном Нипоркин, выпрыгнув из ракитового кузовка рессорной пролетки, приветливо помахали притихшей толпе руками.

Высокие районные представители, без смущения проникнув внутрь школы через выбитое вместе с рамой окно, поднялись на сцену.

За столом президиума, покрытым махровой скатертью, неподвижно и прямо сидел рядом с Аристархом Бутяшкиным посаженый отец невесты — Силантий Пикулин, а рядом с Пикулиным — скорбный и тихий Епифан Окатов. Несколько поодаль от них восседал явно хмельной кузнец — церковный регент Лавра Тырин. Ни жениха, ни невесты, к великому удивлению всех присутствующих, здесь пока не было.

Заняв почетное место в президиуме, агитпроп Коркин, подозрительно приглядевшись к битком набитому людьми залу, позвонил в колокольчик, видимо по привычке призывая к тишине и порядку и без того неподвижных, страдальчески безмолвствующих зрителей. Затем, метнувшись на украшенную полевыми цветами и геранью трибуну, он залпом выпил стакан воды и с ходу начал доклад на тему «О новом быте, целях и задачах красных свадеб и культурной революции». Говорил он долго, усыпляюще, словно читал длинную резолюцию. Монотонно бубня затянувшуюся, как церковный акафист, речь, агитпроп то и дело с беспокойством озирался на два чопорных кресла, пустовавших за столом президиума. Все знали, что кресла эти были взяты напрокат у попа Аркадия и предназначались для молодых во время их торжественного бракосочетания. И всех удивляло немало, что свадьба как будто бы уже началась, а молодых до сих пор не было. По всему было видно: удивляло и тревожило это обстоятельство и агитпропа Коркина.

Народ на первых порах слушал его с покорным и стойким терпением. Но вскоре люди, сидевшие в передних рядах, начали проявлять уже ярко выраженное, протестующее беспокойство по поводу непонятного отсутствия молодых. Явное недоумение и растерянность были заметны и в президиуме.

После полуторачасовой речи агитпроп Коркин начал сдавать. У него заплетался язык, как у пьяного. Он то и дело повторял одни и те же лозунги. Ни к селу ни к городу ввернул под конец новое стихотворение о мировой революции.

Стихи никто не понял, но все повеселели и даже похлопали просиявшему агитпропу в ладоши.

В это время из дверей смежной со зрительным залом комнаты показались молодые. В новом с иголочки шевиотовом костюме, с красной геранью в петлице лацкана, в модных — с утиным носом — лаковых туфлях выглядел Иннокентий под стать всякому знавшему себе цену жениху: хоть сейчас с него картину пиши, хоть немного позже! Полусмежив темные глаза, медленно, почти торжественно поднялся он на сцену, не ведя, а будто волоча за собой неуверенно ступавшую за ним Линку.

Парадно-картинный вид жениха поразил всех, но еще более смутил всех будничный вид точно подневольно выведенной к венцу невесты. В сереньком ситцевом платьице, с неизменной алой косынкой, небрежно перекинутой через плечо, Линка мало походила на невесту этого рослого, красивого и надменного жениха. Спотыкаясь на ступеньках шаткой лесенки, ведущей на сцену, Линка шла за Иннокентием точно слепая — ощупью.

Поднявшись на сцену, Иннокентий подвел Линку к столу президиума, и она покорно опустилась в чопорное поповское кресло, тупо уставившись как будто незрячими глазами в притихший зрительный зал.

Иннокентий решительным шагом направился к трибуне. Бесцеремонно выдворив заболтавшегося докладчика, он поднялся на утопающую в цветах трибуну, выпрямился во весь рост как в парадном строю, и, выдержав небольшую паузу, сказал, обращаясь к залу:

— Дорогие граждане хуторяне! Советская власть дала нам абсолютную свободу вероисповедания и полную свободу любви по взаимной договоренности между полами. И сегодня вы видите перед собой первую рабоче-крестьянскую красную свадьбу. Вот я перед вами стою сейчас в роли жениха, который отказался от всяких темных обрядов и заменил таковые на современные торжества. А вот и моя невеста,— сказал Иннокентий, указывая на притихшую в кресле Линку.— Перед вами невеста как совершенно новый индивидуум! Такового индивидуума вы днем с огнем не нашли бы в прежние времена. А на сегодняшний день — нате вам — она налицо, новая рабоче-крестьянская невеста!

Линка сидела в кресле, похожая на испуганную птицу. Она слышала речь Иннокентия, но не понимала, о чем он говорил,— слова его пролетали мимо ее сознания.

Приглядываясь к потонувшему в сумраке, битком набитому народом залу, думая в эту минуту о чем-то глубоко своем, сокровенном, она явно искала кого-то в зале. Все это видели, но никто не знал, что искала она того, кого тут не было и не могло быть,— Романа.

Иннокентий, театрально жестикулируя, продолжал свою сумбурную речь под одобрительные возгласы пришедшего в восторг агитпропа Коркина.

В зале хихикали и повизгивали по углам девки. Часть зрителей выбралась через разбитые окна на улицу. Филарет Нашатырь, примостившись на подоконнике, бодро поддакивал Иннокентию:

— Факт! Обыкновенное дело...

«Господи, скорей бы все это кончилось!»— подумала Линка.

Но вот агитпроп Коркин, вежливо тронув Линку за локоть, сказал ей:

— Я извиняюсь, конечно. Но сейчас — ваша очередь свадебную речь говорить. Разрешите предоставить слово?

От Коркина нестерпимо пахло тройным одеколоном. Линка невольно отпрянула от галантного агитпропа и, отрицательно качнув головой, сказала:

— Нет, нет, я не буду. Ничего я не буду здесь говорить. Я уйду сейчас отсюда. Мне плохо...

Тогда к ней подсел агроном Нипоркин и тоже принялся убеждать произнести речь. Однако Линка продолжала упрямо качать головой и, не поднимая опущенных ресниц, твердила:

— Нет, нет. Оставьте меня в покое. Ничего я не скажу. Ничего я не знаю. У меня болит голова. Понимаете? Болит голова...

В зрительном зале возникло заметное оживление. Сидевшие в переднем ряду бабы, неспокойно ерзая на скамейках, шептались:

— Невеста-то, похоже, выпряглась...

— По всему видно — гужи рвет!

— Стало быть, без особой охоты на такую карусель пришла.

— Вот те Христос, не пойдет она за него — откажется,— убежденно сказала Полинарья Пикулина.

— Да, взгляд у молодухи не прилежный. После такой свадьбы любая девка головой взвернет — дива будет мало,— философски заключил дедушка Конотоп.

Иннокентий, стоя на трибуне, уловил горячий, протес-

тующий полушепот Линки, упорно отказывающейся от речи, и, чтобы ее не услышали зрители, стал еще громче выкрикивать в заключение всякие лозунги о новом быте.

Линка выступать отказалась наотрез. Тогда находчивый Коркин, выскочив на трибуну, объявил ошеломленным зрителям, что сейчас начнутся дивертисмент и мелодекламация.

— Будут читаться стихи собственного сочинения рабоче-крестьянского поэта товарища Нипоркина, под аккомпанемент на баяне, в исполнении жениха Иннокентия Окатова,— пояснил зрителям Коркин.

В школе снова началась давка. Народ с улицы хлынул валом в окна. Трещали скамьи. Снова визжали девки.

Все стихли, когда на сцену вышел с баяном в руках Иннокентий Окатов. Сев на венский стул, Иннокентий прошелся для пробы по всем ста двадцати басам, а потом, взяв два-три аккорда, заиграл рыдающий вальс «Оборванные струны».

Агроном Нипоркин, стоя посреди сцены, чуть покачивался на носках лимонно-желтых выходных ботинок в такт вальса.

В зале послышались смешки. Зашептались:

— Он проснуться не может, что ли?

— И правда, бабы, ни мычит ни телится!

— Да он, должно быть, того — припадочный!

Дедушка Конотоп, весь уйдя во внимание, грозно прицыкнул на зубоскалящих бабенок.

Но вот агроном Нипоркин вдруг, точно и в самом деле проснувшись, встрепенулся, раскинул длинные руки, словно готов был подняться в воздух, и, закрыв глаза, нараспев начал читать собственное произведение под тихий аккомпанемент окатовского баяна:

Я помню миг, как ты стояла
С серпом в руках, с улыбкой на устах.
И трепетно луна на небесах сияла,
И соловьиный свист не умолкал в кустах.

Усталый, шел я узкою тропою
Из города, где шум и блеск царят,
И снился трактор мне над быстрою рекою
И молодых колхозов целый ряд.

Так я мечтал, усталый и влюбленный,
И вдруг — увидел синие глаза:

Стояла ты, как лен зеленый,
Невинная девичья красота!

Ты выронила серп у золотого стога,
Меня за шею тихо обняла,
И мы пошли по солнечной дороге
В зеленые колхозные поля!

Когда, закончив мелодекламацию своего сочинения, Нипоркин принялся манерно раскланиваться перед публикой, пятясь со сцены, зрительный зал вдруг взревел, бурно захлопал в ладоши, засвистел, затопал ногами, требуя новых стихов.

— Извиняюсь, граждане. Извиняюсь...— почтительно раскланиваясь перед восторженными слушателями, говорил агроном Нипоркин.— Но я больше не могу! Все! Сегодняшний репертуар, так сказать, вышел...— агроном, скрестив на груди руки, поник головой перед пришедшим в восторг зрительным залом.

Мужики, бабы и девки, перебивая друг друга, требовательно кричали:

— А мы просим. Сыпь дальше!

— Потешь нас, грешных.

— Ты давай оторви что-нибудь повеселее — со свистом!

— Выдай стишок с припляской — под «казачка» или «барыню»!

— Правильно. А то — свадьба, а он завел «панихиду с выносом»!

Но Нипоркин, довольный своим успехом, предпочел, раскланявшись перед благодарными слушателями, вовремя убраться со сцены.

Дальше пришлось выступать одному Иннокентию. Он сыграл затем «Польку с комплиментами», марш «Под двуглавым орлом» и «Пускай могила меня накажет за то, что я ее люблю!»

Зрители и слушатели были в восторге, и жениха-баяниста долго не отпускали со сцены, отрезав ему путь через все двери и окна.

...Кузнец Лавра Тырин приволок на школьное крыльцо заспанного попа Аркадия. К ним присоединились мужики. Появилась литровка, вторая... Кузнец кричал, дергая попа за рясу:

— Я тебя спрашиваю, отец Аркадий, скинешь ты свое облачение к чертовой матери или нет? Скидывай! Я тебя

в кой миг кузнечному ремеслу обучу. Молотобойцем поставлю. Мы с тобой колесные скаты перетягивать будем. Лошадей ковать. Сымешь свой сан?

— Сыму,— скорбно мычал отец Аркадий, принимая из рук кузнеца стакан с первачом.— Сыму и напишу об этом в газетах.

Позднее Епифан Окатов, сидя с попом в обнимку на крыльце бывшего своего дома, назидательно говорил ему:

— Правильно, отец Аркадий, правильно. Сымай свои облачения, пока не поздно. Учись у меня. Кто я был? Ты помнишь, мы ездили под Каркаралы? Мы закупали гурты по тысяча девятьсот двадцать пять рогатых. Екатеринбургский прасол обсчитал меня на восемьсот двадцать пять целковых. Но я тоже перед ним в долгу не остался. Знаешь, поп, ведь я тогда сбыл ему своего бурого иноходца с глистой...

Аркадий тупо молчал. Из состояния этого тупого равнодушия вывела попа внезапно возникшая в компании драка.

На кузнеца неожиданно бросился Силантий Пикулин. Поп Аркадий расчетливым ударом сбил с ног Пикулина, сел на него верхом и принялся ожесточенно дубасить.

— Аркашка! Отец благочинный... Ты кого бьешь, сукин сын? Ты на ком ездишь?— ревел рыдающим голосом, извиваясь под попом, Силантий Пикулин.

— Сомкни презренные уста, раб! Не порочь служителя церковного культа...— хрипел поп со злобой, стараясь вырвать космы своих волос из цепких пальцев Силантия.

Кончилась эта драка тем, что у отца Аркадия разорвали рясу и он едва унес ноги.

Близнецы Куликовы прилетели со своими дубинками уже к шапочному разбору: свадебная потасовка закончилась. Братьям смерть как хотелось обработать дубинками попа, на которого давным-давно оба они точили зубы за то, что тот — спьяна ли, по злобе ли — наградил их первенцев недостойными, по их мнению, именами: одного — Акакием, другого — Спирькой.

Не застав попа на месте междоусобной свадебной свалки, близнецы в смятении озирались по сторонам в поисках достойной жертвы.

— Мужики, а поп-то в церкви укрылся!

— Врешь?!— в один голос крикнули близнецы.

— Клянусь богом — тама!

— Подумаешь — в церкви! Дураков и в алтаре бьют. Айда, брат, в божьем храме его и достанем!

Близнецы ринулись со всех ног к церковной ограде.

Но осада церковных дверей успеха не имела. Поп закрылся на все засовы. Срывать железные двери на паперти полупротрезвевшие братья не решились. Дело кончилось короткой словесной перепалкой между осажденным попом и сторожившими его у дверей близнецами.

— Ну, молись богу, отец Аркадий, что успел в божий храм скрыться...

— Я так и делаю. Молюсь, олухи царя небесного!

— Погоди, варнак, скоро отмолишься! Дай нам дождаться успенья пресвятой богородицы — престольного праздника нашего. Тогда поминай, как тебя, расстригу, звали!

— В успенье я к архиерею в гости в город Павлодар уеду.

— Подождем до крещенья — в Иордани живьем тебя утопим. Это — как пить дать, батя!

— Выплыву! Я по плаванью все армейские призы — было дело — брал.

— Полупудовое точило к ногам привяжем, попробуй-ка выплыви!

— Анафеме вас предать, от святой церкви, как графа Льва Толстого, отлучить мало!

— Не лайся — в божьем храме находишься!

— Меня бог простит за вас, выродков!

— А нас и подавно за тебя, расстригу!

Неизвестно, чем закончилась бы эта словесная перепалка, не подоспей тут с наганом в руке Серафим Левкин.

— В чем дело? Я в момент могу выстрелить!— крикнул участковый милиционер, размахивая револьвером.

— А он у тебя заряженный?— деловито поинтересовался один из братьев.

— Факт — не реклама!— сказал милиционер, крутнув на глазах у всех открытый барабан и извлекая из него при этом пулю за пулей.

Близнецы не рискнули принимать бой с не на шутку вооруженным милиционером. Пообещав ему, однако, поломать при случае ребра, братья, положив на плечи

дубинки, покорно отступили от церковных дверей. И участковый, поднявшись на паперть, стал как на страже.

На этом свадьба по новому быту и закончилась.

На хуторе вскоре стало тихо. Только где-то далеко-далеко звучал надтреснутый тенор кузнеца и церковного регента, заблудившегося, должно быть, в степи. Кузнец, дирижируя незримым хором церковного клироса, выводил:

— Иже, херувимы, тайно образующе...

13

Линка ускользнула из школы незамеченной. Быстро перебежав площадь, она остановилась в нерешительности около дома Пикулиных, который казался в ночи огромной каменной глыбой.

Постояв некоторое время около ворот своей новой квартиры и чувствуя, как ее тело начинает сковывать лихорадочный озноб, Линка вошла в дом.

В доме было пусто и тихо. Пройдя через две смежные комнаты, освещенные семилинейными лампами, Линка остановилась на пороге просторной горницы, ярко озаренной полыхающим пламенем висевшей под потолком лампы-молнии.

Линка огляделась. Прежде всего поразила ее громадная, похожая на катафалк кровать под кисейно-розовым балдахином, высокие деревянные спинки которой были размалеваны ярко-голубыми и кроваво-пунцовыми цветами. Громоздкая перина под вишневым пикейным покрывалом. Пирамида огромных подушек в разноцветных наволочках поднималась над кроватью до самого потолка.

Рядом с кроватью стоял на тумбе граммофон с огромной оранжевой трубой. И все здесь — от этой нелепо размалеванной кровати до старомодной софы с фигурной спинкой — все дышало затхлым миром угрюмого, кондового быта.

От пылающей под матицей висячей лампы-молнии по полу рассеивались желтые колеблющиеся круги света. В переднем углу лежал на столе красноармейский шлем и рядом с ним старая казачья фуражка с малиновым околышем. В простенке Линка увидела косо повешенную фотографию старца в духовном облачении, а чуть повы-

ше — большой портрет Карла Маркса в позолоченной раме из-под иконы.

Линка осторожно, словно боясь оступиться, прошла через всю просторную горницу и присела на старинную резную софу. В комнате было тихо и душно. Пахло сосной и жженой шерстью. Где-то позвякивали незримые ходики.

Скрестив на коленях тонкие руки, Линка долго сидела на софе как неживая.

Она, все больше холодея и робея душою, ждала Иннокентия. Ее томило противное, тошнотное ощущение, и были холодные как лед руки. Почувствовав озноб во всем теле, она поднялась и заглянула в потускневшее от времени зеркало в грузной ореховой раме, висевшее в простенке. Печально улыбнувшись своему отражению, Линка вздохнула. Затем, приподнявшись на цыпочки, она увернула фитиль лампы, настороженно огляделась и, прислушиваясь к мертвой тишине полуночного дома, принялась раздеваться с какой-то нетерпеливо-вороватой поспешностью.

Оставшись в одной сорочке, она, сорвав с кровати пикейное покрывало, юркнула под стеганое пуховое одеяло и утонула в перине, согнувшись калачиком. Притихнув в постели, она почувствовала себя спокойнее и подумала: «Ну, ничего, завтра же наведу тут порядок, все уберу и расставлю по-своему! Все образуется. Все образуется...»— мысленно утешала она себя.

Но затем вспомнила о сегодняшнем вечере, о неумной, болтливой речи Иннокентия, о том, что там не было никого из комсомольских ребят, что все вышло как-то неожиданно плохо, фальшиво, как в неудавшемся спектакле,— и злая обида тронула ее сердце. И в эту минуту снова она ощутила нечто похожее на чувство жалости к Роману. Теперь она упрекнула себя за то, что у нее не хватило решимости открыто и честно сказать ему обо всем случившемся, сказать так, чтобы он понял ее, не сердился и, во всяком случае, не считал ее виновницей своих личных неудач. В то же время она чувствовала себя виноватой и в другом: в том, что на хуторе резко обозначился раскол между враждовавшими не на жизнь, а на смерть мужиками, в том, что Роман из-за врожденного упрямства и болезненного самолюбия занял вредную, непримиримую позицию по отношению к сторонникам Иннокентия и поэтому заранее обрек себя на отрыв от тех, за кем

было большинство. «Может быть, написать ему?— подумала Линка.— Ну конечно, надо написать. Говорить мне с ним трудно, почти невозможно. Стало быть, надо написать. И я напишу, напишу ему...»— твердо решила она, тотчас же внутренне насторожившись при скрипе калитки.

Линка скорее почувствовала, чем услышала, тяжелые поспешные шаги Иннокентия.

Вот он вошел в горницу.

Линка притворилась спящей.

Иннокентий осторожно, на носках, подошел к кровати.

Линка затаила дыхание. Было так тихо, что ей показалось, будто она слышит частые, упругие удары своего сердца...

Светало.

Иннокентий сидел на кровати, свесив большие волосатые ноги. Обжигаясь крошечным окурком, он торопливо докуривал его, хватая дым жадными глотками.

Линка сидела позади Иннокентия, прислонившись к стене, подобрав под себя ноги, и тупо смотрела в угол, ничего там не видя.

Казалось, бойчее и торопливей, чем ночью, тикали все те же незримые ходики.

Вдруг Иннокентий схватил Линку за руку, с силой рванул ее к себе. Затрещала, как старая карусель, кровать, и на пол вслед за Линкой повалились подушки.

Слабо вскрикнув от тупой боли в предплечье, Линка умолкла.

— Убить тебя мало — распять надо!— сказал Иннокентий, не глядя на Линку.

Линка сидела на полу посреди комнаты. Желтый, немощный в час рассвета огонек лампы слабо мерцал над ее головой. В смятой сорочке, с опущенными худенькими плечами, с поруганно поникшей головой казалась она в эту минуту подростком. Оглядевшись вокруг, она хотела было подняться, но Иннокентий снова рывком пригвоздил ее к полу и тихо спросил, склоняясь над ней:

— Говори — кто?!

Линка молчала.

— Говори — душу из тебя выну!— тем же разбойничьим полушепотом прошипел он, вцепившись всей пятерней в ее обнаженное худенькое плечо.

— Ничего я вам не скажу,— тихо, но твердо проговорила Линка, закрывая лицо руками.

— Заставлю — скажешь!— самоуверенно пообещал Иннокентий и, криво улыбнувшись, сел на кровать и закурил новую папироску.

Линка, стремглав вскочив на ноги, выпрямилась, напряглась струной.

— Не смейте трогать меня!

Иннокентий невольно отпрянул от Линки — настолько был для него неожиданным этот повелительно-властный, почти угрожающий ее тон.

А Линка, как бы не замечая больше Иннокентия, быстро сдернула со стула ситцевое платье, торопливо натянула его на себя, а затем уже более спокойно обулась, привела в относительный порядок нехитрую прическу.

Иннокентий сидел не двигаясь. Жуя в губах мундштук папиросы, он с деланным равнодушием смотрел на одевающуюся Линку. Он ждал, чем это все кончится, как она впредь с ним себя поведет. Иннокентий считал, что она теперь в его власти, и не спешил проявлять эту власть, уверенный, что для этого впереди у него еще много времени и он сумеет, помучив ее, выведать то, в чем она не хотела признаться.

Но того, как повела себя Линка дальше, Иннокентий никак не ожидал.

А повела себя Линка очень просто. Одевшись, она набросила вольным привычным жестом на плечо аленькую свою косынку и, ни слова не сказав больше, даже не взглянув на вскочившего Иннокентия, твердым шагом вышла вон из горницы.

Остолбенев, Иннокентий не остановил ее, не спросил, куда она пошла, почти побежала. А когда, спохватившись, выскочил вслед за ней на крыльцо, то увидел, что Линка была уже так далеко от пикулинского дома, что гнаться за ней было бессмысленно — так стремительно улетала она прочь, точно птица, вспугнутая выстрелом.

По лицу опешившего Иннокентия промелькнула черная, как грозовая туча, тень. Сомкнув дремуче-густые брови, он долго стоял неподвижный, как надгробный памятник, зло покусывая подрагивающие губы.

Линка плохо помнила, какими окольными путями добежала она до школы. Заспанная Кланька, точно не спрыгнув, а с грохотом упав с печки, долго таращила на

неожиданно раннюю гостью глаза, не решаясь спросить ее, что случилось.

— Закрой, пожалуйста, Клаша, покрепче двери на все засовы. Я спать хочу,— сказала Линка, устало валясь на свою узкую кровать.

Кланька послушно закрыла дверь на два надежных крючка — прочны были внутренние запоры в бывшем окатовском доме!— потом, подойдя к Линке, заботливо накрыла ее старенькой шерстяной шалью и, осенив сиротливо сжавшуюся в комок учительницу крестным знамением, ласково прошептала:

— Спи, Христос с тобой! Утро вечера мудренее.

Кланьке все было ясно.

14

Каждый вечер бабы собираются на выгоне. Линке хорошо их видно из школьного окна. Она знает, о чем они говорят. Ломают они головушку над одной и той же загадкой, и с каждым днем калмыцкий узел сплетен и наговоров становится все запутаннее, все туже.

Двери парадного школьного крылечка в бывшем окатовском доме покрылись черными подтеками. Раза три уже по темным, безлунным ночам кто-то ухитрялся обливать их то дегтем, то смолой, и никого не удалось поймать с поличным, несмотря на бдительность не смыкавшей глаз Кланьки.

Бабы жмутся на выгоне к огородным плетням, тычут пальцами в сторону школы, и Линка чувствует злорадное их шипение.

— Вот вам, бабоньки, и учительша — благородное воспитание — страму не оберешься!— рычит старуха Пикулина.

— И-и, матушка, они, образованные-то, ишо нашему брату пить дадут!

— А слыхали вы, бабы, что она с пастухом-то жила?— ловко подхватывает разговор раскосая Василиса.

— Врешь?

— Да провались я сквозь тартарары! Чтоб глаза мои лопнули. Чтоб мне и с места не сойти. Жила — правое слово!

— С пастухом?!

— С пастухом.

— Это с каким же?

— С киргизом — немаканой душой. С Аблайкой!

Только одной Кланьки и боялись как огня все досужие хуторские сплетницы. При встрече с Кланькой зубоскалки предупредительно низко раскланивались с ней, заискивающе вытягивали в улыбку ехидно-тонкие губы и норовили скорей скрыться с ее острых, насквозь пронизывающих глаз. Однажды Кланька случайно подслушала болтовню Полинарьи Пикулиной. Схватив Полинарью за горло, Кланька, почернев от гнева, зарычала на нее:

— Признавайся, жаба, смерти тебе али живота за такие твои поганые речи?! Запомни, ежели ишо раз разинешь на Линку свое хайло — убью и каторгу с легкой душой за тебя, тварь, отбуду!

— Что ты, что ты, Христос тебе встречи, Клаша! Да рази я со зла?! Ведь это я просто так, на досуге язык почесала. Ведь это я ненароком, шутейно...— в смятении бормотала Полинарья Пикулина.

— Ты Христа всуе не поминай, жаба, коли с самим сатаной в ладу живешь. А мои слова запомни. Попадешься мне под руку в другой раз — не пеняй. Живой не выпущу. С выносом тебя похоронят!— пообещала, отпустив ее из железных своих объятий, Кланька.

Каждое утро чуть свет Кланька старательно смывала кипятком и щелоком облитые ночью дегтем или смолой парадные двери школьного крылечка. И однажды, занятая этим делом, она заметила проходившего мимо Корнея Селезнева — председателя сельсовета. Окликнув его, Кланька сказала:

— Ну, мотай на ус, председатель. Поймаю жабу с мазилкой, уготовлю же я ей, с места не сходя, царствие небесное!..

— Хе-хе-хе,— плутовато сверкая округлившимися глазами, хихикал председатель Совета.— Ежели поймаешь, можешь расправиться. Да ведь только нелегкое это дело, Клавдея Петровна!

— Не я буду, ежли не укараулю. Не на такую нарвались, подлецы, глаз не сомкну. Найму да дойму. Вот увидите!— убежденно заявила Селезневу Кланька, зная о том, что ему хорошо известно, чьих рук было это грязное дело.

А Корней Селезнев, отводя от Кланьки плутовски бегающие глаза, отшучиваясь и похихикивая, спешил как можно поскорее уйти от злой и сильной, как черт, бабы — унести ноги от греха подальше!

15

Болезненное отупение и равнодушие ко всему на свете наконец покинуло Линку. Оно вдруг сменилось острым желанием как можно скорее увидеть Романа, честно рассказать ему обо всем случившемся с ней. Она хотела предупредить Романа, чтобы он не верил сплетням досужих баб. Росла тоска по утраченному комсомольскому коллективу, по всей той деятельной и озорной жизни, которой так полно и счастливо недавно жила она среди молодежи этой отважной, маленькой, но дружной интернациональной артели.

Как могло случиться, что она откололась от этих близких ее сердцу людей? Раздумывая в одиночестве о своей беде, она не могла вспомнить без брезгливости постыдную комедию свадьбы с Иннокентием, весь ужас и стыд брачной ночи в пикулинском доме. «Нет, это было какое-то колдовство, наваждение. И этого никто никогда не поймет!»— с отчаянием думала Линка.

Спустя дня четыре после бегства от Иннокентия Линка снова вытащила из шкафа заброшенную папку с канцелярскими делами «Интернационала». Папка покрылась густым слоем пыли. И Линке приятно было возиться с несложным канцелярским хозяйством. Разложив многочисленные конверты и циркуляры районных организаций, Линка сидела среди комнаты, рассматривая сложные формы отчетов, и перечитывала длиннейшие, трескучие циркуляры за подписью агронома Нипоркина. Бумаг было великое множество. Они ежедневно поступали в адрес артели, а Кланька, принимая их из рук почтальона, добросовестно складывала в шкаф. Циркуляров этих в «Интернационале» никто не читал и никто ими не интересовался. Жизнь в маленьком коллективе шла своим чередом. Людям некогда было заполнять многочисленные анкеты — они работали в поле!

И, перечитывая накопившуюся за дни весеннего сева официальную почту, Линка тоже убеждалась в том, что все эти анкеты, бесчисленные отчетные формы, циркуляры и отношения далеки от жизни и никому не нужны. Линка подшивала их в новую голубую папку, на которой собственноручно вывела тушью «Дела сельхозартели «Интернационал».

Однажды подвернулась ей в руки обыкновенная ученическая тетрадка в косую линейку, густо испещренная —

вкривь и вкось — неустойчивым почерком. Линка увидела, что это был производственный план «Интернационала», некогда написанный под диктовку Романа ее рукой. Местами на полях тетради были видны пометки Романа, и крупный грубоватый почерк его трогал ребячески наивной непосредственностью. Внимательно приглядываясь к разбросанным на полях тетради заметкам Романа, Линка поймала себя на том, что опять с былым тревожным волнением думает о нем, что он по-прежнему не безразличен ей...

«Как все было хорошо тогда и как все это дорого для меня и теперь!»— с грустью думала Линка, разглядывая старенькую тетрадку, воскресившую в ее воображении те дни, когда была она в дружной хуторской комсомольской ячейке своим человеком и никто не чурался ее... Но как ни горько было Линке признаться в своем малодушии, граничившем с вероломным предательством, как ни велика была ее вина — все же в глубине души она верила; что они не отвернутся от нее в трудную минуту жизни.

«Нет, нет, медлить больше нельзя. Надо идти к ним туда — на покос, в бригаду. И пойду. Завтра же. А там — что будет!»— твердо решила Линка, и это сразу же успокоило ее, вернуло к былому душевному равновесию.

А в сумерках, когда повеселевшая Линка гладила любимое ситцевое платьишко — голубенькое в ромашках, в дверях ее комнаты появился неслышно вошедший Иннокентий. Линка при виде его едва не выронила из дрогнувших рук утюга с горячими углями.

Сделав несмелый шаг от порога к невольно отпрянувшей Линке, Иннокентий сказал:

— Я извиняюсь...

— Что вам здесь нужно?— холодно и нарочито громко, чтоб ее услышала Кланька, спросила его Линка.

— Я извиняюсь,— повторил деревянным голосом Иннокентий, не двигаясь больше с места.— Я, конечно, погорячился тогда — это факт. К тому же был выпивши, как известно... А теперь хочу объяснить вам стрезва все по порядку.

— Избавьте меня от ваших объяснений. Мне все ясно,— сказала Линка, с вызовом глядя в темные, тускло мерцавшие глаза Иннокентия.

— Нет, не все, извиняюсь. Я не мыслю без вас семейного очага, в котором нуждаюсь в данный момент. И надеюсь, что вы как вполне культурная личность поймете

мои к вам чувства. Это — один вопрос на повестке дня нашей с вами семейной жизни. Второй вопрос...

— Клаша!— перебив Иннокентия, громко позвала сторожиху Линка.

— Погоди, не шуми. Я сейчас все скажу. Без дураков...— смятенно, скороговоркой забормотал, перейдя на «ты», Иннокентий.— Зря ты ломаешься. Ну, нагремел на тебя спьяна, сгоряча — прости. Словом, вертайся. Поставим точку на нашей семейной драме — и в бой! Рука об руку —единым фронтом!

— Это — против кого же?— спросила Линка.

— Против общих наших врагов, которые...

— Клаша!— еще громче крикнула Линка, опять перебив Иннокентия.

Иннокентий, метнувшись к Линке, молча протянул ей руку.

Линка стояла перед ним не шевелясь, со скрещенными за спиной руками. Внешне спокойная, собранная, волевая, она выглядела в эту минуту старше юношеских своих лет.

В это время в дверях со сковородником в руках появилась Кланька. Заметив грозную сторожиху, Иннокентий сразу как-то обмяк, опустил плечи, забормотал в замешательстве:

— Ну хорошо. Поговорим в другой раз. Я извиняюсь...

— Вон отсюдова, жаба, пока я с тобой вот этим сковородником не заговорила!— басом сказала Кланька и, став у косяка настежь распахнутой двери, жестом показала обескураженному Иннокентию путь-дорогу.

Помявшись, потоптавшись в смущении и нерешительности, пожав с притворным недоумением плечами, Иннокентий бочком подался к двери и, опасливо глядя на стоящую возле косяка сторожиху, запнувшись о высокий порог, едва не растянулся плашмя в довершение конфузливого ухода из этого дома.

Вооруженная сковородником Кланька проконвоировала Иннокентия до парадного крыльца, а вдогонку незваному гостю пообещала:

— В другой раз заявишься, одним сковородником на тебе не отыграюсь. Жердь об тебя, подлеца, обломаю!

16

Все свои сенокосные угодья приписал колхоз «Интернационал» в одном займище. И в первый же день, когда застрекотала отремонтированная в кузнице единственная в артели старенькая сенокосилка и когда бригада косарей, вооружившись косами, вышла на ручную косьбу травы, Филарет Нашатырь, оглядев целое море густого и ароматного, как сотовый мед, травостоя, ахнул:

— Да ее нам до покрова не выкосить, такую оказию, граждане колхозники! Это же факт. Обыкновенное дело...

Бобыль Климушка, прыгнув на телегу, приложил ладонь козырьком ко лбу и, закачавшись из стороны в сторону, тоже заахал:

— Батюшки-светы! Целое море-океан травы! Да разве мы ее выкосим? Разве такое дело голыми руками осилишь?!

— Нахватали больше глаз, а теперь майся. Ишо бы харчи подходящие — туды-сюды. При добрых харчах не грех и вручную покосить. Вон в окатовской артели. Там все любо-дорого. И сенокоски — одна к одной. И кони у них — звери. А народ — сыр в масле. А у нас что? Так себе. Собрались Тюха, Пантюха да Колупай с братом и тоже туда же — в колхозники!— ворчал, ожесточенно отбивая на бабке молотком свою косу, Михей Ситохин.

Прислушиваясь к разговорам, приглядываясь к выехавшим на сенокос членам артели, Роман видел, что, несмотря на ворчание, народ в душе был доволен хорошим травостоем и радостно готовился к нелегкому, но преисполненному веселой удали труду на покосе. С радостью готовился к косьбе вручную и Роман, отбивая на бабке и свою косу. Радовал его на редкость богатый травостой, доставшийся их артели по жребию при общественном разделе хуторских сенокосных угодий.

Кипящее разнотравьем займище и в самом деле шумело, как море, под жарким июньским ветром. Зеленые зыбкие волны травы, искрясь изумрудными брызгами, убегали вдаль, пропадая где-то под самым горизонтом. И одинокая сенокосилка, бойко и весело стрекотавшая невдалеке, напоминала утлое суденышко, терявшееся среди перекатных волн шелковистой травы.

Роман, отбивая косу, не мог оторвать глаз от займища — так пленила душу его неповторимая красота поле-

вого раздолья. Размышляя о предстоящем покосе, он думал: «Нет ничего краше на свете косьбы, да к тому же — артельно! Вот где русская удаль наша! Вот где сила и красота!» Вспомнив про покойного отца, лучшего, говорят, косаря на хуторе, Роман с гордостью подумал о том, что если во многом он — его сын — удался в родителя, то не уступит ему и в этом труде.

— А ну, ребята, за мной. Пошли! — скомандовал Роман косарям, и шумная бригада хлынула за своим вожаком — председателем.

Выстроившись развернутой цепью, косари с ходу приступили к работе. Ослепительно сверкающие на солнце косы с визгом сметали густую траву, и она, как зеленое пламя, ложилась к ногам наступающих на займище косарей, подбадривавших друг друга азартом, шуткой.

Косьба первый день шла дружно и ровно. Всем, даже малоопытным косарям работа казалась удивительно легкой и веселой, а трава — невесомой, податливой и мягкой, точно косы ходили, не ощущая сопротивления. В этот день поголовно все — от старого до малого — были захвачены запалом трудового соревнования. Каждый стремился, вырвавшись вперед, первым закончить очередной заход, похвастаться удалью, уменьем.

Но уже на следующий день первыми стали сдавать старики. Некоторые из них жаловались на боль в пояснице, на немилосердный зной, на плохо отбитые косы. Заметно ослабев, они теряли вчерашнее равновесие в рядах косарей, нарушали слаженный ритм работы. И через день бригада Михея Ситохина отстала от комсомольской бригады Аблая, недовыполнив норму на два гектара. Дня через три сдал Игнат Бурлаков — косарь не последней руки. Теперь он с трудом проходил до обеда пять-шесть заходов вместо десяти, легко и проворно выкошенных им в первый день.

Поглядывая на Игната, не очень-то поторапливались и остальные мужики. Они курили, валялись на солнцепеке, уверяли друг друга, что руками займище все равно не осилить, а потому, мол, и спешить особенно некуда.

А тут как снег на голову новая беда свалилась на руководство артели. Барахлила старенькая сенокосилка. То рвалась коса, то — косогон. То разлетались в прах втулки, то выяснилось — надо менять стершиеся от времени вкладыши в зубьях рамы.

Мирон Викулыч, внимательно осмотрев машину, ре-

шил, что ей необходим ремонт. Роман отправил Михея Ситохина с сенокосилкой в кузницу. Но Михей, проторчав свыше двух суток на хуторе впустую, вернулся на стан со строгим предписанием председателя Совета Корнея Селезнева, в котором говорилось, что отныне, согласно контрактационному договору, хуторская кузница будет обслуживать ремонтом только артель «Сотрудник революции» и с горе-машиной «Интернационала» по горло занятому кузнецу возиться не с руки. Так черным по белому и было написано в бумажке предсельсовета, скрепившего замысловатую свою подпись голубой печатью.

Решили отправить сенокосилку в кузницу на ближайший переселенческий отруб, расположенный в тридцати километрах от займища. Иного выхода не было.

И снова в дни жаркого сенокоса Роман испытывал такое напряжение нервов, что, как и в дни весеннего сева, утратил и сон и аппетит. Но он крепился, скрывая от членов артели незавидное физическое и душевное свое состояние. Напрягая последние силы, он с утра до вечера косил, ободряюще покрикивая на зазевавшихся ребят, на ходу перешучиваясь и переругиваясь с членами комсомольской бригады. А по вечерам, возвращаясь с покоса на стан, Роман, едва волоча словно налитые свинцом ноги, охотно подхватывал вслед за такими же усталыми, как и он, комсомольцами песню:

Орленок, орленок,
Взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В степях я остался один!

Глядя на утомленных ребят и мужиков, Роман приходил к выводу, что с такими первобытными орудиями производства, как допотопные дедовские косы, сколько ни бейся, сколько ни надрывай сил — все равно в люди артель не выведешь. Он понимал, что все спасение в технике, в машинах, которых у них пока не было.

И, словно угадывая мысли Романа, Аблай часто говорил ему:

— Почему так, Роман,— кулаку и баю везде дорога, а нам в артели — кочка на кочке?

Казахи сидели вокруг вечернего костра с поникшими головами. Печальными, еще более темными казались их скуластые лица, озаренные бликами костра. Роман, ощу-

щая на себе их зоркие, спрашивающие взгляды, чуял сердцем один и тот же обращенный к нему вопрос:

— Почему?

Но что мог ответить им на это Роман? Он и сам готов был спросить: «За что меня исключили из комсомола? Почему отбирают у нас последнюю сеялку? Почему Иннокентию верят, его слушают в районном центре, а нас — нет?»

Впрочем, он знал, он чувствовал, почему все это происходит. Убежден был он и в том, что кулацкому произволу, всем проискам хитрых врагов наступит — рано или поздно — неизбежный конец. Но как, какими словами убедить в этом своих товарищей?

17

Было жарко.

У самой дороги Егор Клюшкин и трое казахов копнили сено. Линка увидела их еще с дальнего кургана. Ярко сверкали на солнце рожки железных вил и обнаженные спины бронзовых от загара казахов. И Линку охватило такое волнение, точно впервые после долгой-долгой разлуки очутилась она среди родных людей. Легко бежала она по дороге, поднимая босыми ногами горячую, нагретую солнцем пыль, бежала и радовалась всему: и жаркому солнцу, и густому медовому запаху трав, и печальному крику чибиса, и текучему мареву, призрачно мерцающему над степью.

Чудесный, счастливый день! Все утро пела она с Кланькой радостные песни, а потом они напились чаю с первой, зеленоватой еще, но на редкость ароматной земляникой. Неожиданно почтальон принес письмо от подруг по техникуму, и так была возбуждена и радостна Линка, что трижды перечитала письма Кланьке. А затем, босая, в майке, с непокрытой головой, с неизменной алой, как пламя, косынкой на плече, отправилась на сенокос, в бригаду.

В степи стоял густой запах опаленного зноем ковыля. Подорожники — юркие, озорные серые птички,— весело подпрыгивая, стремительно бежали ей навстречу по пыльному тракту. В камышах, по ту сторону ослепительного озера, кричали дикие гуси. В добела раскаленном от зноя небе кружили беркуты. Величественно покачиваясь на неподвижных, широко распростертых, рыжих с подпали-

нами, крыльях, хищные птицы словно дремали на лету.

Линка шла, запрокинув голову, беспричинно улыбаясь. Звучно ударяя в ладоши, она вспугнула из придорожного таволожника каких-то маленьких птичек.

И вот сейчас, когда она увидела ребят, занятых копнением сена, и узнала Егора Клюшкина, ей вдруг захотелось крикнуть ему, чтобы он обернулся, узнал ее и так же громко и радостно засмеялся, увидев ее, как громко и радостно смеется она, завидев эту проворно работающую вилами компанию.

Но ребята, должно быть, не видели Линку. Увлеченные своей работой, они легко работали вилами, вороша пахучее сено.

А когда они оглянулись, Линка сразу же умолкла. Она не понимала, что случилось. Почему так недружелюбно, почти враждебно смотрели на нее ребята, только что возбужденные и веселые?

Клюшкин долго возился с вилами, насаживая их на черенок. Казахи тоже деловито, строго и молча принялись за работу. Ни один из них точно не заметил стоявшей девушки.

— Ребята,— проговорила Линка.— Ребята, я — к вам. Вы слышите?

Ребята молчали.

Егор Клюшкин, искоса взглянув на Линку, тотчас же отвернулся и вновь занялся своим делом, проворно укладывая зеленое и пахучее сено в копну. Он вполголоса глухо обронил какую-то фразу. Но слова не сразу дошли до ее сознания. Линка поняла одно — здесь не желают с ней разговаривать! И, выйдя с межи на дорогу, она отчетливо услышала слова Клюшкина. Он сказал: «За каким чертом она опять явилась к нам, ребята? Не понимаю!»

Уходя по пыльной, нагретой солнцем дороге в степь, Линка еще раз оглянулась на ребят — они продолжали работать с невозмутимой поспешностью и задором. Неподалеку от колхозного стана Линка столкнулась с Мироном Викулычем.

Он скоблил стеклом новый черенок грабель и тоже сделал вид, что не замечает Линки. Проскользнул мимо, гремя связкой уздечек, Кенка. Прошел с косой на плече Аблай. И даже Тараска Кичигин посмотрел на нее исподлобья.

Линка стояла как вкопанная. У нее начала кружиться

голова, и глаза заволакивала мутная, колеблющаяся дымка. «Это, должно быть, от зноя»,— подумала она.

Нерешительно приблизившись к Мирону Викулычу, Линка перевела дыхание и вполголоса проговорила:

— Дядя Мирон! Мирон Викулыч, знаете, я решила... Я пришла к вам. И я не могу уйти больше от вас, отсюда...

— Ага. Ну что ж. Это дело такое...— неопределенно проговорил Мирон Викулыч, недоверчиво взглянув на Линку.— Это дело такое, голубушка. Надо спросить народ. Я за всех не ответчик.

— Как хотите, дядя Мирон, а я никуда не уйду отсюда. Ни за что на свете. Делайте со мной что хотите. Не уйду. Мне некуда больше идти. Вы понимаете это — некуда?!

Мирон Викулыч молчал. Он снова принялся скоблить стеклышком и без того отлично выструганный и гладкий черенок грабель.

А Линка, ощутив вдруг неимоверную, нечеловеческую усталость, с трудом добрела до телеги и, уронив на нее позолотевшую на солнце голову с короной заплетенных в косы пшеничных волос, горько заплакала.

Мирон Викулыч встрепенулся, отбросил в сторону грабли и, подскочив к Линке, засуетился вокруг нее. Положив тяжелую, огрубевшую от работы загорелую руку на хрупкое плечо девушки, старик бормотал по-отцовски трогательно и строго:

— Ну, ну, хватит... Ну что ты на самом деле, право... Я давно, я спервоначалу Роману толковал. Надо же, говорю, чувство в себе поиметь... Ну, будет, голубушка, будет. Я попытаю ребят... Уж я их как-нибудь уломаю. Усовещу.

Но Линка не успокаивалась. Захлебываясь рыданиями, она кусала губы, не в силах подавить в себе плач. Она ощущала на плече шершавую теплую ладонь Мирона Викулыча и боялась поднять воспаленные, заплаканные глаза на его спокойное и доброе лицо.

И Мирон Викулыч неслышно отошел от девушки. Постояв еще несколько минут у телеги и наплакавшись вволю, Линка выпрямилась, вытерла концом косынки залитое слезами лицо и пошла к озеру. Она забрела в воду по колени и долго с наслаждением умывалась теплой, нагретой солнцем водой. Освежившаяся и успокоенная вышла она из воды и увидела подпаска Ераллу. С прутом

в руках Ералла стоял возле распутанной лошади и пристально глядел на Линку.

— Здравствуй, Ералла,— сказала с улыбкой Линка.— Здравствуй, мой хороший!

— Здравствуй,— угрюмо проговорил Ералла.

— Ералла,— сказала Линка, подходя к подпаску,— ты знаешь, что я совсем к вам пришла?

— Нет, не знаю,— по-прежнему угрюмо ответил Ералла.

— А я совсем, совсем пришла, Ералла. Я хочу быть вместе с вами. Ты знаешь, я косить умею. Я на конных граблях сено буду грести. Вы меня примете?

— Не знаю.

— А почему же?

— Не знаю почему. Ты туда ходила, сюда ходила. Зачем так? Нехорошо так, товарищ,— строго сказал Ералла.

Взобравшись на лошадь, он поскакал прочь от Линки, ни разу не оглянувшись на девушку.

Линка долго стояла среди пустынного луга, усеянного ромашками. Белесые пряди волос ее, как ковыльные султаны, трепетали на легком ветру. Печальная, трогательная, она походила в эту минуту на ту гибкую трепетную березку, что растет в одиночестве в открытой степи, вблизи таких же одиноких курганов.

Проводив жалобными глазами скрывшегося за увалом подростка, Линка опустилась на землю, и вдруг горячие, чистые, как родниковые капли, слезы брызнули из ее глаз, прикрытых узкой ладонью.

Плакала она долго, навзрыд, и слезы эти очищали, облагораживали ее душу, омраченную острым чувством тоски, одиночества и потерянности.

Плакать она перестала так же внезапно, как и начала. Подняв серые, омытые слезами глаза к небу, она увидела в его бирюзовом мерцании невесомое, похожее на распростертые белоснежные крылья чайки облачко и невольно улыбнулась ему. «Не грусти, а то жизнь так и пробежит между страхом и надеждой!»— вспомнились ей в эту минуту когда-то вычитанные слова.

Она встала, женственным движением обнаженных по локоть смуглых рук поправила небрежно собранные в узел волосы и с таким изумлением огляделась вокруг, точно видела впервые залитый потоками света степной простор. Непросохшее от слез, освещенное солнцем юное

лицо ее с золотисто-нежным пушком на висках, с полугрустной улыбкой на пухлых губах вдруг обрело волевое, строгое выражение. Она выпрямилась во весь рост и, одернув простиранное ситцевое платьице, пошла легкой походкой к полевому стану.

18

Меркнет сухой, пропитанный полынным запахом и степной гарью вечер. Стога свеженакошенного пахучего, как зеленый чай, сена поднимаются над чистой и ровной степью, как юрты кочевников. Густым ароматом браги и меда веет от них. Весело и буйно бушуют костры на полевом стане.

Комсомолец Санька Сенькин вдвоем с бобылем Климушкой гоняются вокруг становища за вырвавшейся лошадью. Климушка все время наступает на конец высунувшейся из стоптанного опорка портянки и падает. Падая, Климушка незлобно вполголоса ругается. А напуганная лошадь продолжает метаться вокруг стана.

Линка смотрит на Климушку. Втайне она посмеивается над его беспомощностью и жалеет старика. Озорная и капризная лошадь, поравнявшись с Линкой, на секунду останавливается в нерешительности, словно раздумывает, куда ей броситься. Линка, разбросив руки, кидается ей навстречу и полутребовательно-полуласково говорит ей:

— Тпру! Погоди, не дичись, моя глупая. Тпру! Тпру!

Вспугнутая криком и взмахом девичьих рук, лошадь бросилась со всех ног в сторону. А Климушка, ринувшись вслед за нею, снова упал, наступив на свои портянки. Поднявшись, Климушка зло покосился на Линку и не менее зло проворчал:

— Тоже мне птица! Гостья непрошеная... Ходют тут, только коней колхозных пугают...

Линка стоит в сторонке, покусывая горький стебелек лабазника. Мимо нее проходят колхозники. Идут они устало, вразвалку. Они искоса поглядывают на Линку, но ни один из них не говорит ни слова. Только Луня, коснувшись драного своего картуза рукой, как всегда, низко и почтительно поклонился учительнице.

Линка ждет Романа. Она то надевает косынку на голову, то торопливо сдергивает ее. Над степью сгущаются сумерки. Рыдает на озере выпь. Тихо, чуть внятно звенят мечи прибрежной осоки. И Линкино сердце до боли сжи-

мается от глуховатых и скорбных криков незримой птицы.

Но вот идет и Роман. Идет он мучительно медленно. И Линке кажется, что он нарочно замедляет шаг. Уж не хочет ли обойти ее? Роман несет на плече деревянные вилы, косу, двое грабель и какие-то палки. Вот он совсем близко, рядом. Вот он прежний, родной, хороший парень — с длинными ресницами, с непокорным чубом, усталый, загоревший, в выцветшей ситцевой рубашке с продранными локтями.

Линка не выдерживает, бежит к нему навстречу. Заметив ее, Роман останавливается.

— Ну?— глухо спрашивает он, встретившись с ней взглядом.

— Роман, послушай...

— Ну, ну! Слушаю...

— Ты понимаешь, Роман...

— Нет, ничего пока не понимаю.

— Ты понимаешь, я пришла...

— Это я вижу. А зачем?

— Ну как я тебе скажу? Я не знаю, как я скажу тебе обо всем, Роман.

— Я этого тоже не знаю.

— Но я все скажу. Я только прошу тебя, выслушай ради бога меня. Выслушай и пойми. А понять — это многое. Это значит — простить, говорят... И потом, я хотела бы остаться. Навсегда. Бесповоротно. Я не могу отсюда уйти.

— Да,— говорит как бы себе самому Роман.— Нынче здесь, а завтра там. Как в песне. Песня, правда, хорошая...

Затем они идут рядом, плечо к плечу. Линка, покусывая горький стебелек лабазника, твердит:

— Нет, я никуда не уйду отсюда.

— А кому ты нужна здесь? Ты об этом подумала?

Они молчат.

Трава мягко шелестит под ногами. Над займищем оседают туманы. А там, в камышах на озере, слышен страстный трепет птичьей любви. В криках гагар звучит неугасимая, ненасытная радость. Захлебывается глухими печальными воплями выпь.

Линка идет рядом с Романом. Ее локоть временами слегка касается локтя Романа, и Линка не знает, о чем ей говорить. У нее до боли сжимается сердце. Слегка до-

тронувшись рукой до плеча Романа, она вполголоса говорит:

— Я знаю, ты плохо думаешь об мне, Роман. Я все знаю...

— А мне не до тебя,— жестко произносит Роман, отмахиваясь от Линки.— Не до тебя мне. Ты ушла — иди. А возвращаться сюда не стоит. К чему это?

Линка не отвечает ему. Молча они подходят к колхозному стану. Оживленный говор у костров сразу смолкает. На Линку — она это чувствует — косятся недоверчивые, злые глаза людей, вчерашних ее друзей и товарищей.

Тихо вокруг. И подавленная враждебной тишиной, настороженностью всего полевого стана, Линка стоит в нерешительности, опустив руки. Пламя костра освещает ее недоуменное растерянное лицо. Она стоит, не зная, что делать ей, что сказать. Затем она отходит к дальней телеге, медленно опускается на траву и, уронив голову в колени, сидит так, не двигаясь, час, другой...

19

Конные грабли оказались сложной и непослушной машиной. Линка изо всех сил нажимала ногой на подъемник, давила рукой на рычаг, но выбросить из-под зубьев сгребенное сено там, где следовало, не могла. Валки получались ломаными, неряшливыми, в беспорядке раскиданными по скошенному полю.

Лошадь билась в коротких оглоблях. Вожжи то и дело вылетали из Линкиных рук. Стоял немилосердный полуденный зной, раскалились железные части машинных грабель. Тучи гнуса и овода бились над окровавленным крупом лошади. Пауты обжигали открытые, почерневшие от загара плечи девушки. Смертельно хотелось пить. Но вода, нагретая солнцем, была мутна, безвкусна, противна. Стучало в висках. В ушах стоял нудный звон.

— Но... Но... Да иди же ты, господи!— с отчаянием выкрикивала Линка, беспрестанно работая вожжами. Она то и дело со страхом оглядывалась назад и никак не могла нажать на подъемник на том месте, где следовало.

Первая упряжка показалась Линке вечностью. С утра до обеда кружилась она на граблях среди мертвого, наглухо замкнутого ракитником круга. Здесь было светло, глухо, жарко. За это время трижды выскакивала из оглобель вместе с гужами дуга, и Линка подолгу мучи-

лась с запряжкой непослушной, капризной лошади, с величайшим трудом, обжигая ладони, затягивала супонь.

Когда она остановила лошадь, для того чтобы расправить и очистить грабельные зубья, из кустов ракитника с шумом вывалилась на поляну ватага ребят во главе с пастухом Клюшкиным.

— Ого! Вот это — да! Вот это работка!— пронзительно закричал, оглядывая луг, Егор Клюшкин.

Ватага ребят вдруг смолкла. Оглядевшись вокруг, комсомольцы переглянулись, и взрыв дружного громкого хохота огласил доселе глухой луг, окольцованный кустами ракитника.

Линка стояла опершись на колесо рукой и не могла сообразить, над чем они смеются. Затем поняла, что смеются они над ней, над ее работой. Должно быть, что-то ужасное натворила она на лугу, нахвастав Мирону Викулычу, что отлично знает конные грабли.

Следом за комсомольцами появился Михей Ситохин. Он тоже, удивленно посмотрев на гребь, подпер бока кулаками, и густой, зычный хохот загремел на поляне.

Егор Клюшкин злобно крикнул:

— Отыскали работничка!

— Вот именно. Я говорил — не связывайтесь!..— крикнул, размахивая руками, комсомолец Саня Сенькин.

— Результат налицо, не надо было принимать...

— А кто ее принимал?

— Ну кто, как не Роман?! Тоже, понимаешь, спутался с интеллигенцией. Не развяжется...

— Только ночь с ней провозился, сам наутро бабой стал.

Егор Клюшкин подбежал к Линке, выдернул из ее рук вожжи, ловко вспрыгнул на грабельную беседку и погнал лошадь по кошенине, проворно работая рычагом грабель.

Сено пришлось перегребать заново. Линка поняла свою неудачу. Жалкая, стояла она посреди поляны, с завистью поглядывая на Клюшкина и дивясь тому, как он умело, проворно работал подъемником, как послушно и бойко сновала покорная его понуканиям лошадь, как безукоризненно ровно ложились валки сена.

Между тем группа ребят, сидевшая в тени под кустом ракиты, о чем-то серьезно и строго разговаривала между собой. А Михей Ситохин изредка косился на Линку, скорбно вздыхая, скреб выцветшую бороду да покрикивал, поторапливал Клюшкина.

И Линка поняла, что делать ей тут нечего. Да, ей надо было уходить отсюда. Накинув на плечи яркую косынку, она молча пошла прочь с луга. Но не успела она сделать и трех шагов, как вдогонку посыпались негромкие, но до боли обидные выкрики:

— Краля! Трефей!

— Нет, она — бубновая, ребята!

— Одним словом — интеллигенция!

— Белоручка!

— Больше ее сюда не поманит!

Линка, как слепая, брела по знойной степи и удивлялась, что не было в ее сердце ни обиды, ни злобы. Наоборот, она чувствовала какую-то непоправимую вину перед этими людьми, вину, которая после сегодняшней неудачи нависла над нею. «Ну что ж, права была Любка, когда говорила мне, как личные отношения иногда перерастают в общественные. Права. Права...» Теперь она сознавала всю правоту ребят, неоспоримую правоту всех членов невеликой, но воистину героической артели. Поняла всем существом и ясно видела, отчего так холодно и враждебно отнеслись к ее возвращению эти люди. «Боже мой, какая я дура! Какая я дура...»— мысленно твердила Линка.

Она шла по ослепительно яркой степи, сама не зная куда. И вдруг ее осенила мысль, за которую она с жадностью ухватилась, мысль о немедленном отъезде с хутора. «Да, да. Надо уехать. Уехать немедленно, навсегда. Добьюсь перевода в другой район. Позабуду обо всем, что причинило мне столько бед и обид, так безжалостно исковеркало, изломало меня и теперь вот выбросило на берег всем чужую, одинокую и беспомощную... Уехать. Уехать»,— твердила Линка.

Босая, усталая, брела она по пыльной дороге и думала только о желанном отъезде. Она живо представила себе, как уложит в корзинку скудные вещи, как уедет с попутной подводой на станцию и как ей будет хорошо на новом месте, в какой-то неведомой деревне.

В мечтах об иной, новой жизни, которая непременно должна начаться где-то там, бесконечно далеко отсюда, незаметно добрела Линка до школы. Зной спадал. Из степи повеяло благотворной прохладой и горьковатым дымом кизячных костров. Никого и ничего не видя перед собой, Линка торопливо перебежала пустынную площадь хутора и, охваченная беспричинной тревогой, вошла в

школу. Но, распахнув дверь в комнату, она изумленно отступила и замерла на пороге.

Навстречу ей поднялась с табуретки незнакомая девушка. Прямая прядь жестких, чуть порыжевших от солнца волос ниспадала на ее большой выпуклый лоб. Большие глаза смотрели на Линку из-под густых, слегка загнутых кверху ресниц. Синий замасленный комбинезон, плотно облегавший стройную фигуру девушки, делал ее похожей на подвижного и озорного мальчишку.

С минуту они стояли друг против друга молча.

Девушка в комбинезоне протянула Линке руку, перетянутую бинтом в запястье. Щурясь, словно от солнца, и улыбаясь, девушка проговорила:

— Ну, здорово, здорово, учительница! Здравствуй, товарищ.

— Это... это ты?!— воскликнула изумленно Линка, пристально вглядываясь в улыбающееся знакомое лицо неожиданной гостьи.

— Ну да, я...— сказала все с той же улыбкой девушка, все крепче сжимая в руке горячую руку Линки.

— Ну да, это ты! Ведь я же знаю тебя. Я узнала тебя по фотографии. Я нашла твою фотографию в делах бывшей хуторской комсомольской ячейки, Фешка!

20

Было уже совсем темно, когда девушки, обогнув хуторские гумна, прямиком через выгон, проворно, в ногу, зашагали по скотопрогонному тракту.

Шли они первое время молча, не проронив ни слова. Около заброшенного казахского кладбища Линке почудился явственный стук конских копыт, она внутренне похолодела, приняв в темноте одинокую придорожную березку, бесприютно шумящую листвой, за мчавшегося за ними по пятам всадника. Она опасалась возможной погони Иннокентия. Линка искоса поглядывала на Фешку, и ей казалось, что они были неразлучными с ней чуть ли не с детства — так безоговорочно, сразу вторглась в Линкину жизнь пришедшаяся ей по сердцу девушка в синем комбинезоне. С нескрываемой завистью смотрела она на ладно сидевший на трактористке комбинезон. Решительно все нравилось Линке в Фешке. И лукавое прищуривание черных глаз. И заразительно-звонкий, похожий на колокольчик смех. И даже легкая походка — точно Феш-

ка не шла, а плыла над землей на незримых крыльях. Суровая в прошлом жизнь батрачки никак не вязалась в Линкином представлении с хрупкой фигурой девушки, со всем ее милым, застенчивым обликом юной цыганки.

До сих пор Линка представляла себе трактористку нескладной, мужиковатой девицей с атлетическими плечами, с голосом, по крайней мере, не слабее Кланькиного! Линке запомнился красочный плакат, когда-то виденный ею. На плакате красовалась грудастая, богатырского вида девица, крепко сжимавшая в могучих руках руль трактора. Эта пышная плакатная трактористка с тех пор в представлении Линки была воплощением не только здоровья, молодости и физической силы, но и женской красоты. Фешка противоречила этому плакатному образу: самая обыкновенная, будничная девчонка, и только разве этот красивый, почти щегольской комбинезон, туго обтягивающий ее тонкую талию, выгодно выделял ее, возвышал в представлении Линки.

Линка рассказывала Фешке, как она, сбитая с толку, жалко и беспомощно крутилась здесь меж двух огней, как решилась сегодня, возвращаясь с покоса, на последнее, что ей пришло в голову,— бегство с хутора. Линка была уверена, что Фешка поймет ее. Не стыдясь, ничего не утаивая, она обнажила перед новой подругой все события — от случайной, неосмысленной связи с Романом до пошлого свадебного обряда в школе и брачной ночи под крышей пикулинского дома.

— Стыдно мне, Фешка. Стыдно и горько. Никому я не говорила об этом, а тебе скажу. Если бы знала ты, как я ненавижу себя! Какая-то безвольная, взбалмошная дура...

Фешка слушала Линку с настороженным вниманием. Изредка перебивая спутницу кратким вопросом, трактористка давала понять Линке о своем внимании и сочувствии.

Но вот неожиданно, вне всякой связи с предыдущим доверительным их разговором, Фешка сказала:

— Теперь послушай, Линка, и мою притчу. Невесела она. Предупреждаю. Да что ж, из песни слова не выбросишь. Так ведь? Ну вот. Было это в канун праздника покрова. Есть такой праздник по осени. В батраки до этого праздника всегда в деревнях у нас нанимались. Батрачила в ту пору я на каторге у Луки Боброва. Была одна там как перст. Заимка глухая. Куда ни глянешь — степь.

Ни деревца, ни живой души. Особенно жутко было зимой. По неделе — метели. По ночам — стаи волков под окнами заупокойные псалмы, бывало, на все лады распевают. Словом, страсти! Было на моих руках восемнадцать дойных коров. От одной дойки пальцы деревенели. Морозы в ту зиму стояли ранние, лютые. Ну вот...

Помолчав, переведя дыхание,— было видно, как нелегко давались ей несладкие воспоминания,— она продолжала:

— Ну и вот, была на моих руках одна породистая корова — холмогорка. Не корова — капризная барыня! Ты ее доить, а она, стерва,— биться. Никак, понимаешь, не стояла. Уж я ее на привязь пыталась брать и теплой пойлушкой на сыворотке поила — бьет задом, и баста... Дою я раз эту корову. А дело было под вечер, и пальцы мои изошлись, заледенели... И вот в эту пору прикатил на заимку сам хозяин — Лука Лукич. Ехал он с прасолами с Ирбитской ярмарки да и завернул по пути на заимку. Вижу — прасолы навеселе. Я дою корову, а они обступили меня и любуются. Я дою, а Лу́ка уставился на меня, как сыч, смотрит за мной в оба. Вдруг корова как хватит ногой по трехведерному подойнику, а молоко-то все на пол, в навоз!

— Все пролила?— спросила Линка.

— Дочиста... И вот берет меня тогда озверевший Лукич за шиворот и лицом в молочную лужу — раз, два,три. А прасолы — все, как один, в красных опоясках,— я их как сейчас вижу — прыгают вокруг меня, бьют в ладоши, хохочут. Только я поднимусь, понимаешь, только проведу ладонью по лицу, только передохну, протру глаза, а он меня опять в лужу! У меня начали слипаться и мерзнуть ресницы. Сердце окаменело. Я не могла, понимаешь ты, ни кричать, ни плакать. Он меня тычет мордой в навозную жижу, а я молчу. Потом он поднял меня за косы и приказал: «Пей, сука! Я давно примечаю — пал у холмогорки удой. Пей!» Что делать? Давай я собирать молоко ладонью и всю жижу — в рот. А прасолы в красных кушаках ржут вокруг меня, понимаешь, как жеребцы...

— Господи, какой ужас! Какой ужас...— проговорила Линка.— И ты не ушла от Боброва?

— Ночью я убежала на хутор. Убежала без платка. А от заимки до нашего хутора было двенадцать верст. Зима. Мороз. Вьюга. Не знаю сама, как я не сбилась с дороги, не замерзла. Не знаю... И нанялась я тогда бат-

рачить к Епифану Окатову. Дело это было около святок. А ты знаешь, в эту пору ягнятся овцы. Тут нашему брату, батракам, спать некогда — карауль. Ну, а я измучилась и уснула, как на грех. Приморилась в тепле и спохватилась только под утро. Вскочила, кинулась в овчарню, смотрю — а там двенадцать штук ягнят как лед застыли. Шестерых кое-как отходила, оттерла снегом, остальные сдохли... Наутро явился хозяин. Приехал он на заимку тоже во хмелю. Дело было под праздник. Не успела я спрятать концы в воду. Ну что ж, пришлось и тут отвечать. Раздел меня хозяин догола и — к стойке!

— Фешка?!— вырвался непроизвольный, полный скорбного отчаяния крик Линки.

— Взял он мокрое полотенце...— точно не слыша вопля спутницы, продолжала бесстрастно жестокую свою повесть Фешка.— Бил он меня, должно быть, очень долго. Так мне показалось. И сколько дней я потом не могла поднять головы — не помню... И опять убежала я с окатовской заимки в ночь, в пургу, в лютую стужу. И тогда привела меня лихая судьба на заимку к Силантию Пикулину. И опять — из огня да в полымя! По кругу!

— Боже, что ты пережила — у меня сердце заходит,— сказала Линка упавшим голосом.

— Было время, и у меня оно останавливалось. От обиды. От боли. А то и огнем горело от гнева, от ненависти. Не знаю, поймешь ли ты, Линка, это?..

— Понимаю... Не пойму только одного. Тогда что, не было на хуторе Советской власти? Ведь это же что — разбой?! Это же ужас, что они с тобой творили. Похлеще всякого крепостного права. Не понимаю, как это можно было позволить, если была тогда у вас Советская власть,— с искренним возмущением сказала Линка.

— А ты мне вот что лучше ответь, дорогая,— дружески тронув Линку за локоток, сказала после некоторого молчания Фешка.— Ты вот мне что ответь: здесь, на хуторе, сейчас тоже Советская власть?

— Ну да... А то как же?

— Ошибаешься, милая. Определенно тебе говорю: нет и на сегодняшний день на нашем хуторе настоящей Советской власти. Не приметила я что-то ее и на сегодняшний день в наличии...— строго сказала Фешка.

— Ну, не знаю... Вот тут ты, мне кажется, уже и лишнее говоришь,— тихо возразила Линка.

— Нет здесь Советской власти, Линушка,— убежден-

но и веско повторила Фешка.— Епифан Окатов со своим сынком-проходимцем — вот пока власть. Плюс — Силантий Пикулин, трахомный Анисим. А Корней Селезнев — это так, для модели, чтобы люди глядели, как говорится...

Приветливо замерцали в ночной степи веселые костры полевого стана артельных косарей. Фешка, дружески обняв Линку за плечи, ласково продолжала:

— А тебе я вот что скажу, товарка, на все твои речи. Хорошая, вижу, ты, душевная. Только вот беда —доверчива очень. А встречному-поперечному доверяться — худое дело. К хорошему это не приводит, сама убедилась. Это — раз. Второе — без толку кукситься и походя руки опускать тоже не след, не по-комсомольски это...

— Какая там из меня уж комсомолка!— досадливо махнув тонкой рукой, с горечью усмехнулась Линка.

— Возьмешься за ум — увидишь какая. Думаю — не последняя. Тут не нюни распускать — драться надо. Врукопашную, как в бою. А бои на носу у нас жаркие — как пожар. Забушуют — в сторонке не отсидишься. Хочешь быть в строю, держись поближе к нашим ребятам, ко мне — я не подведу. Будь уверена!

— Спасибо, Феша!— с горячим порывом откликнулась Линка.

— Тогда — по рукам!— сказала Фешка, и спутницы горячо и крепко пожали друг другу руки.

Над степью вставал рассвет. Страстно гоготали в камышах дикие гуси. Свежий ветер приятно освежал разгоряченные от ночной ходьбы лица девушек. Линка шла рядом с Фешкой с таким ощущением, точно она впервые в жизни увидела, как неповторимо прекрасен ранний рассвет в степи, полной чудесных, пьянящих запахов, звуков и красок.

Сенокосилку отремонтировали, и дела на сенокосе пошли веселее. А тут еще удалось пустить в дело бросовую лобогрейку Михея Ситохина. Подлатав, как умели, своими силами, приспособили и ее для кошения травы. Артельщики теперь едва поспевали за двумя бесперебойно работающими машинами убирать вовремя и метать в стога душистое сено.

Фешка на пару с Линкой копнили сено в бригаде метальщиков Аблая. Работала Фешка граблями, точно иг-

раючи, на диво легко, красиво, проворно, и на копны, заправленные ее руками, было любо-дорого посмотреть.

Линка, завидуя мастерству и ловкости подруги, старалась подражать ей во всем. И два дня спустя Линка не так уже неумело и неуверенно, как прежде, владела нехитрым орудием и тоже проворно и чисто сгребала сено вокруг копен небольшими и легкими деревянными грабельками.

За Фешкой ревниво и зорко поглядывали все члены артели, поглядывали — и дивились ей. Она вела себя на сенокосе так, как будто давным-давно была вместе со всеми членами сельхозартели. За работой она напевала грудным сочным голосом песню времен гражданской войны, песню о разбитом комсомольском сердце, и ребята хором охотно подпевали ей. Как-то сразу запросто вошла Фешка в неспокойную, напряженную жизнь коллектива и сразу же сроднилась с ним, стала своим человеком, без которого, казалось, и работа-то не так спорилась.

Но больше всех Фешка удивляла Романа. Поглядывая на нее и втайне любуясь ее расторопной и ловкой работой, Роман думал: «Не девка — огонь. Золото! Хорошо, что она к нам вернулась. Но ведь граблями наш народ не удивишь. Сено грести — дело нехитрое. Другая помощь нам от тебя нужна, трактористка!»

И он втайне досадовал на то, что Фешка до сих пор не удосужилась по-деловому поговорить с ним. Целыми днями крутилась она среди членов артели; в сотый раз терпеливо выслушивала рассказы о том, как пытались кулаки отнять у них сеялку, как трудно было весной поднимать целину, как падали в бороздах истощенные лошади. Фешка часами просиживала с Климушкой, Луней, Аблаем, даже с Кенкой и Ераллой и не находила времени только для разговора с Романом. Обиженный этим, он даже однажды пожаловался Мирону Викулычу:

— Ну вот, ждали мы ее, дядя Мирон, как говорится, будто Христова дня, а дождались Ивана постного!

Но старик промолчал, и это еще больше обидело Романа. К тому же по-прежнему не переставала волновать и тревожить его Линка. Роман был с ней сух и скуп на слова, не очень-то доверял он ей и подозревал, что наговорила она, должно быть, Фешке немало несправедливого и лишнего, тем не менее он все же чувствовал, как какая-то необъяснимая сила по-прежнему тянет его к

ней. И ему хотелось остаться с ней и поговорить начистоту, откровенно, так же просто и хорошо, как говорили они когда-то наедине в дни первых встреч...

Роман был твердо уверен, что все личное, связывавшее их когда-то с Фешкой, теперь уже обоими ими забыто. Но в то же время он ощущал нечто похожее на глубокую вину перед девушкой.

Как-то вечером, когда Роман дометывал со старым Койчей последний стог, Фешка, проходя мимо, неожиданно остановилась и, воткнув грабли черенком в землю, стала наблюдать за их работой, подсказывать, с какой стороны следует положить на стог еще один навильник сена, где убрать лишний клок и как лучше округлить вершину. Роман молчал, он добросовестно и старательно делал то, что советовала Фешка. Когда стог был заметан и старый Койча поплелся на полевой стан, Фешка подошла к Роману и, запросто взяв его под руку, повела в степь, в противоположную от стана сторону. Роман покорно последовал за ней.

Удалившись от стана версты за полторы, они сели на вершину невысокого, поросшего ковылем кургана. Вздохнув, Фешка заговорила вполголоса, словно продолжая оборванный разговор:

— Он, понимаешь ли ты, поумней нас с тобой. Его, подлеца, протестами не проймешь. Подумаешь, тоже герои, смылись тогда со свадьбы!— укоризненно сказала Фешка.

— А что же нам было делать?— спросил Роман, не глядя на Фешку и отлично понимая, о чем и о ком вела она речь.

— Выступить и разоблачить прохвоста! Уж кому-кому, а вам-то тут все козыри в руки. Вот, например, у нас в совхозе...

— Эх, да брось ты совхозом глаза колоть!— с плохо скрытым раздражением проговорил Роман, отодвигаясь от Фешки.

Но Фешка, примирительно коснувшись его плеча рукой, строго сказала:

— Не обижайся, Роман. Начистоту с тобой хочу говорить. Не дуйся.

— Я не из таких...— угрюмо буркнул Роман.

— Знаю, что правда глаза колет. Но придется тебе потерпеть. Ничего не попишешь. Быль молодцу не в укор!

— Ну, ну. Стерплю. Коли злее — выдюжу!

— Уколю. Уколю. Мне вот девки еще на тебя жаловались.

— Эвон — девки! А бабы не жаловались?

— От баб не слышала,— строго, без улыбки, ответила Фешка.— А о девках — не в шутку. Подумай, вот ты ни разу не удосужился даже заглянуть вечерком на молодежную завалинку. Разве это дело? Ты ни разу не пришел, не потолковал по душам с ребятами и не знаешь, чем они живут, о чем думают.

— Только у меня и делов было, что по завалинкам шататься.

— Ну, для этого можно было время найти. А ты сторонишься, чураешься ребят и девушек. Не дело это, Роман...

— Вот как! Ты что же это, учить меня приехала?— зло и насмешливо спросил Роман.

— Не учить — помогать, как сумею...

— Языком брехать — дело нехитрое!

— Не подкусывай. Я пока не шибко отстала от тебя и в деле...

— Это другой вопрос... Я говорю про другую помощь. Не на такую помощь я, Фешка, надеялся. Это не помощь — с грабельками прыгать вокруг копешек да сплетни по хутору собирать. Подумаешь, девки ей жаловались! Да девки-то из зависти языки чешут.

— Чему же они позавидовали?

— Вот прокурор еще нашелся!

— Не прокурор я тебе, по-дружески спрашиваю.

Помолчав, Роман глухо сказал:

— Все за нее, за нашу учительницу, они на меня в обиде. Интеллигенткой меня корят. Вот, мол, лезет парень не в свои сани. А я тут совсем, может быть, ни при чем. Моя хата тут с краю...

— Глупости говоришь, Роман. Только и дел у девчат, что думать о твоей учительнице!

— Тебя, я вижу, это тоже задело...

— Что — это?

— А вот то самое...

— Ах, вот как!— сказала Фешка, расхохотавшись.— Ну и дурак. Ты что же, думаешь, что я тебя к ней ревную?

— Ничего я не думаю. Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая,— ответил, неожиданно смягчаясь, Ро-

ман, сводя не очень приятный для него разговор к шутке.

Они помолчали. Потом, вздохнув, Фешка сказала:

— Ну, точка, Роман. Не об этом я хотела с тобой говорить. Не время заводить речи про личные наши с тобой обиды и беды. Об этом в другой раз — на досуге... Одно мне скажи: товарищ ты мне?

— А то классовый враг, что ли?!— удивленно посмотрев на Фешку, сказал с усмешкой Роман.

Придвинувшись к Роману плечом к плечу, Фешка участливо заговорила, касаясь маленькой горячей рукой тяжелой грубой его ладони:

— Вот что, дружок. Я ведь давно знаю тебя. Знаю, какой ты нетерпеливый, горячий. Загорелся — вынь да положь! Все рывком! Все — сразу. Все — с маху. А тут вот, выходит, наскоком ничего не сделаешь. Тут, понимаешь ли, выдержка нужна — и железная!

Затем Фешка не спеша извлекла из бокового кармана комбинезона свернутый вчетверо лист бумаги и, развернув его, расправила на коленях.

— Знаешь, Роман, я вчера всю ночь не спала. Всю ночь напролет у костра мозговала. И вот составила план нашего наступления. Смотри, что тут у нас получается...— и она принялась читать вслух написанное.

Напряженно и чутко вслушивался Роман в слова, которые звучали для него неожиданным откровением.

21

Вторую неделю бушевал над степью горячий, пропитанный зноем далеких прибалхашских пустынь, не затихающий ни днем, ни ночью ветер. Увядали и никли травы, овеянные огнеподобным дыханием суховея. По парам, по степным дорогам и трактам бесновались, угасая и вспыхивая, словно повитые траурным крепом смерчи. Грозные колеблющиеся столбы пыли стремительно мчались к горизонту. То извиваясь жгутом, то уподобляясь сраженным птицам, замертво падали они в травы, накрывая их аспидно-черными крыльями.

Редкие всадники скакали теперь по степи. И глух и тревожен был в эту пору рокот некованых конских копыт. А в полдень начинали сгущаться над горизонтом тяжелые грозовые тучи, готовые вот-вот разразиться громовыми раскатами и освежить потрескавшуюся от зноя землю обильным и шумным дождем. Но тучи рас-

сеивались. Замирала где-то вдали глухая гроза. И дождя по-прежнему не было.

Человек в опорках, в дырявом, выцветшем картузишке стоял посреди дороги. Он стоял среди желтого искрящегося зноя и, запрокинув голову, долго следил за грозовой тучей, встающей у горизонта. Его губы были крепко стиснуты и опалены. Он стоял неподвижный, одинокий, как верстовой столб при пустынной дороге. Неотрывно следил он слезящимися от напряжения глазами за тучей. Но туча, постепенно светлея и расплываясь, неотвратимо и медленно уходила все дальше и дальше к горизонту. И наконец там, где-то далеко-далеко, за чуть приметной цепью курганов, расстилала она молочно-белые холсты града. Тогда человек, неподвижно стоявший среди дороги, вновь тяжело опираясь на посох, трогался в путь, поднимая опорками горячую пыль на дороге. Он шел туда, за курганы, за цепь ослепительно-синих озер и наконец терялся в море шафранно-желтой пшеницы, огромный массив которой, казалось, уходил под самый горизонт.

Это был Проня Скориков. Пятые сутки кряду приходил он сюда, на массивы хлебов «Интернационала». Пятые сутки, озираясь вокруг, бережно разнимая руками впереди себя тяжелые пряди рослой, тяжелоколосной пшеницы, он осторожно пробивался все дальше и дальше туда, в глубь массива, где, по его предположениям, находилась собственная его полоса, единолично посеянная им яровая пшеница. Но поиски были тщетными. Теперь Проня припоминал, что на второй день после ухода из артели «Сотрудник революции», после пьяного угара, в котором он едва не задушил ненавистного ему Анисима, после всего этого состоялся уговор со старым степным тамыром — приятелем Муратбеком. Проня подрядил тогда Муратбека засеять ему полдесятины хлеба по паровой жниве. Да. Именно — полдесятины по паровой жниве! Проня помнил все до мелочи. Муратбек, согласно их уговору, пахал Пронину полосу, и она в окружении колхозных полей походила на крошечный островок среди огромного степного озера. Кругом лежала черная, как вороново крыло, гладко причесанная сеялкой земля «Интернационала», а у самой дороги колхозники допахивали в пять плугов последний заезд сплошного массива.

Проня отлично помнил, как кто-то из колхозных ребят крикнул тогда ему: «Будет тебе, гражданин, народ-

то смешить. Присоединяйся к нам. Мы и твою полосу заодно перепашем!» И тогда Проня, хитро усмехнувшись в ответ на их предложение, подумал: «Вот пахари, господи боже мой, отыскались. На коней смотреть тошно — скелеты скелетами, а меня в эту шарашкину артель приглашают!»

Муратбек пахал, согласно уговору, Пронину полосу, а Проня валялся на меже и на чем свет костерил себя за то, что даже вот тут, должно быть, прогадал он, переплатив казаху за пахоту. В общем, все это было так, как в сотый раз припоминал Проня. Все было так, а вот полосы его как и не было! Ему казалось, что он крутился на том самом месте, где проползла узкой змейкой межа, некогда отделявшая его полосу от колхозной пашни. Но сейчас не было ни межи, ни его полосы — кругом просторно и вольно разливалось сплошное шафранное море хлебов. И чем пристальнее, чем пытливее приглядывался Проня к этому морю, тем все больше и больше его охватывала робость, перерастающая в смятение, в страх. Он растерянно кружился на одном и том же месте, вытягивался на носках, но разгадать, куда же могла исчезнуть его собственная полоса, так и не мог. В голову лезло всякое. И Проня даже усомнился: уж не приснилось ли ему по пьяному делу, что подрядил он Муратбека засеять паровую жниву и действительно ли Муратбек засевал ее?!

Каждый вечер возвращался Проня домой запыленный, усталый, обгоревший на знойном июльском солнце. А на вопросы жены о том, каков хлеб, с притворным довольством неизменно отвечал одно и то же:

— Ничего себе хлебушко. Хороша пшеничка. Бога гневить нечего. Нынче мы, мать, с хлебом! У добрых людей, слава богу, не занимать!

— Не сорная?

— Сорная, сорная!— передразнивал Проня.— Это у тебя все лыком шито. У меня, брат, на пашне всегда порядок. Али я не хозяин?! Откуда ему, сору-то, взяться на такой доброй земле!

— Да кто же это ее, землю-то, тебе выходил?

— Добрые люди. Господь бог с девой Марией. Вот кто!

— Надейся, надейся на добрых людей. Они тебе выходят! Они тебя, придет час, под монастырь подведут! Ох, господи боже ты мой! Целый век горе мыкаю! Век

по веки с тобой, бесхозяйственным человеком, страдаю,— заводила старые песни жена.

В таких случаях Проня, сорвав со спицы неказистый картузишко и нахлобучив его на взлохмаченную, никогда не чесанную голову, пулей бросался вон из избы на улицу. Он спасался бегством от нудных бабьих причетов и затем долго шатался по сонным улицам и переулкам, погруженный в горькие думы. У него останавливалось похолодевшее сердце при мысли о том, что сейчас страда: Арине может взбрести в башку отправиться на пашню полюбоваться собственной пшеницей. А ведь это могло статься каждый божий день, каждый час, каждую минуту! Вот тогда-то уж ее не уймешь, не объедешь никакими уговорами, вот тогда-то придется признаваться Проне во всем, выкладывать жене всю правду!

Шутка сказать — сознаться перед Ариной в потере собственной полосы! Проня знал, что на это у него не хватит ни сил, ни смелости. И после мучительных раздумий он решил, если полоса так и не будет найдена, постараться не пускать жену на пашню, а самому каждый день уходить в поле и, возвращаясь к вечеру, хвалиться перед неразумной старухой на редкость хорошим хлебом, который того и гляди поспеет!

Проня так и делал. Врал каждый вечер Арине о добром хлебе.

В один из таких вечеров Проня, вконец истерзанный горькими размышлениями о потерянной полосе, выкрал из подполья припрятанную старухой сороковку горькой и залпом выпил ее, уединясь в чулане. Захмелев и несколько успокоившись, Проня ушел со двора, а затем долго кружился на бесприютном гумне, пересчитывая в беспорядке валявшиеся колесные спицы. За этим занятием и застал Проню проходивший мимо Роман. Было светло от полной луны, поднявшейся над хутором.

— Здорово, дядя Прокопий! Ты чего это тут колдуешь?— сказал Роман, свернув с дороги на гумно.

— А, это ты, Роман Егорыч?! Да это я так, по нужде вышел. Хозяйство! За ним догляд нужен...— бессвязно забормотал Проня.

— Ну как, дядя Прокопий, живем?

— Ничего, слава богу. Ничего. Живем не тужим.

— Тогда порядок.

— Порядок порядком, кабы беды одной не было...

— Это что опять у тебя за беда?— участливо спросил Роман.

— Лучше не спрашивай...— сказал с горьким вздохом Проня.

— А все же?— допытывался Роман.

— Не знаю, как и сказать! Грех — утаить, совестно открыться...

— А ты — как на духу. Все останется между нами — могила!

Подумав, почесав затылок, Проня сказал, переходя на полушепот:

— Слушай, Роман Егорыч! Сделай ты таку божеску милость. Откройся мне, ради бога. Не утаи.

— Что такое, дядя Прокопий? Мне не в чем таиться перед тобой. Сказывай — в чем дело.

— Богом прошу. Не утаи... Я вот с горя даже хватил маленько. А как не хватишь? Ведь у меня все сердце по ней изболело. Разве мне ее, кровную, не жаль? Разве я не хозяин ей? Скажи мне по чести, молю тебя богом, не видал ты ее?

— Кого, дядя Прокопий? Ничего не пойму...

— Ну, ее самую — мою полосу.

— Твою полосу?!

— Мою. Собственную! Ту, которую, стало быть, я весной сеял.

— Ах, вот ты о чем!— понял наконец Роман. И поняв, все припомнил. Припомнил, как копошился весной Проня вместе с Муратбеком там, на маленьком островке своей жнивы, как посмеивались над ним ребята, да и сам Роман не раз пытался перетянуть Проню в артель. И, вспомнив об этом, Роман тотчас же догадался о проделке ребят. Это они наверняка запахали межу, умолчав о рискованной шутке. И вот теперь, когда над огромным массивом колхозного поля заколосилась пшеница и слилась с пшеницей, выросшей на участке Прони, трудно, конечно, отыскать мужику в сплошном разливе хлебов бывшую свою полосу. Роману все было ясно. Однако рассказывать об этом Проне он сейчас не хотел, а успокоил старика:

— Ну, это все ерунда, дядя Прокопий. Ты не горюй. Никуда твоя полоса не денется. Придет время — найдем. Слово даю — отыщем.

Сказано это было так, что у Прони тотчас же как рукой сняло всю его горькую боль. Старик поверил Рома-

ну, понял, что он его в обиду не даст и без хлеба не оставит.

Обменявшись на прощание с председателем артели крепким рукопожатием, Проня вернулся домой. Вошел он в избу уже без опасливой настороженности, уверенно; нарочно, без всякой к тому нужды, шумно шаркал по земляному полу опорками, кряхтел, ворчливо бормотал что-то, гремя в кути заслонкой, и все это только для того, чтобы показать проснувшейся на печи Арине, что он ее ничуть не боится.

22

Всех однолошадников артели «Сотрудник революции» по распоряжению Иннокентия Окатова, как и во время посева, так и в дни сенокоса, сбили в одну бригаду. Им дали старую пикулинскую сенокосилку с погнутой рамой, а под сенокосное угодье отвели гнилое Кашкарлинское урочище. Травы в этом урочище были буйные, местами превышали рост человека, а местами поднимались подобно камышам, в которых впору было прятаться всаднику. Сена тут в прежнюю пору накашивали зажиточные мужики помногу и затем продавали его заезжим скотопромышленникам, избегая кормить этим сеном собственный скот, так как и лошади и коровы почему-то ели кашкарлинское сено неохотно, худея при этом и теряя в весе.

Перед выходом на сенокос Силантий Пикулин объяснил мужикам, что до распределения урожая все расходы по ремонту сельскохозяйственных машин, согласно решению правления, должны производиться за счет той бригады, в которой будут работать эти машины. Мужики погалдели, но скрепя сердце приняли эти условия, несмотря на то, что еще весной на общем собрании артели было договорено, что весь ремонт должен производиться кузницей за счет артели.

В первый же день сенокоса в бригаде однолошадников случилась беда: из перекошенной рамы сенокосилки вылетели два зуба и семь вкладышей. Перепугавшись и пошумев, мужики отремонтировали сенокосилку. Однако и после ремонта машина не стала брать жесткой густой осоки. Чуть ли не на каждом кругу рвался косогон. Наконец плюнув на машину, мужики после долгих споров и перебранки решили было взяться за покос вручную. Но однажды вечером уморившийся дедушка Конотоп,

всадив косу в замшелую болотную кочку и поломав черенок, закричал не своим голосом:

— А ну бросай, ребятушки, к чертовой матери таку работу! Хватит. Пострадовали!

Вокруг Конотопа тотчас же образовалась толпа. Вооруженные косами мужики наперебой загорланили:

— Правильно — хватит! Шабаш!

— Айда по домам!

— В батраки мы к ним нанялись, что ли?! Подряд мы им, живодерам, сняли?!

— Хуже батраков — каторжаны!

— Подобралась там верхушка — варнак к варнаку, прасол к прасолу, и измываются над нами!

— Одно слово — кулачье!

— Хватит с нас — помолчали. Что мы им — лишенцы какие, рты нам затыкать!— протестующе кричал громче всех Капитон Норкин.

Тут вдруг кто-то крикнул:

— А вот и председатель летит — легка душа на помине!

Мужики разом притихли. Повернув головы вправо, они увидели скакавшего к ним с увала на всем маху всадника на вороном пикулинском рысаке. То был Иннокентий Окатов.

С ходу врезавшись в расступившуюся толпу мужиков, Иннокентий резко осадил жеребца и, грозно привстав на стременах, подозрительно приглядываясь к угрюмым лицам косарей, строго спросил:

— В чем дело, граждане! Что все это значит?

— А то и значит, что пристяжная скачет, а коренная не везет...— сказал кто-то, совсем невесело хихикнув при этом.

И тут как плотину прорвало. Бурный поток яростных выкриков обрушился на побледневшего Иннокентия.

— Погляди, ребята, барин приехал — ваше сиятельство!

— Господин председатель!

— Поглядите, каким фертом в седле сидит — козырь козырем!

— Ему не привыкать над беднотой командовать!

Иннокентий сидел в седле, как памятник. Лицо его вытянулось, окаменев, глаза настороженно и плутовато шныряли вокруг. Жеребец злобно грыз удила, нетерпеливо танцевал под всадником.

Толпа мужиков, замкнув Иннокентия в глухое кольцо, продолжала кричать:

— Привыкли на батраках ездить да барыши считать!

— Чужими руками жар загребать!

— Тоже нас в западню заманили, в кулацкую коммунию.

— От такой коммунии без штанов останешься.

— Окатовы оставят!

— Такие прасолы как пить дать донага пролетарское сословие разденут. Последнюю шкуру с нашего брата готовы содрать.

Дедушка Конотоп, обреченно поникнув, сказал:

— Были мы беднота, беднотой и остались.

А Капитон Норкин, ринувшись вперед, вцепился в гриву пикулинского жеребца и закричал, не спуская налившихся кровью глаз с побледневшего Иннокентия:

— Вы долго будете издеваться над нами?! Отвечай! Почему себе и траву лучшую и машины позабрали, а нас с голыми руками в болото загнали? Вы — сила. А мы вам кто?

— Мы — кто?!— грозно подхватили мужики и еще теснее зажали в кольцо и всадника и злобно храпевшего с перепугу жеребца.

— Граждане! Товарищи!— стараясь перекричать толпу, воззвал было охриплым голосом Иннокентий.

— Волки в лесу твои товарищи, выродок!

— Я, граждане, собственно говоря, готов признать перед вами данную ошибку...— улучив момент, крикнул Иннокентий.

— Ага, ошибки?! Об ошибке заговорил?! Не слушай его. Не верь ему, ребята!

— Я, граждане, заявляю...— пытался продолжать свою речь привставший на стременах Иннокентий. Но голос его потонул в новом гулком взрыве озлобленных криков. Крепко стиснув поводья, белый как полотно Иннокентий сидел в седле, не решаясь ни двинуться, ни раскрыть рта. А толпа все плотней, все тесней сжималась вокруг него в кольцо. Надсаживаясь от крика, грозно потрясая бронзовыми кулаками, косари готовы были выбить всадника из седла, растерзать, растоптать его под ногами.

И Иннокентий растерялся, оробел, ослабил поводья в

руках. Злой, как черт, жеребец, почуяв тревогу, горячился под ним все больше и больше. Вдруг он закусил удила, взмыл на дыбы. Иннокентий инстинктивно вцепился руками в косматую гриву, и жеребец, весь напружинясь, рванулся из круга, перемахнул через попавшего под ноги человека, а потом как-то боком понес седока в глубь поросшего густыми и рослыми травами урочища.

Проскакав версты две, Иннокентий осадил жеребца и, спешившись, подтянул ослабевшую подпругу. Руки его дрожали. Ноги подкашивались. И, сатанея от приступа черной злобы и ненависти к взбунтовавшимся косарям, он со всего размаху ударил увесистым кулаком по красивой морде коня, косившегося на него огненно-жарким оком. «Ах, сволочи! Ах, подлецы!»— прошипел Иннокентий. Затем, ловко взметнув в седло, он пришпорил коня и поскакал во весь дух на хутор.

А мужики, вдоволь натешившись гневными криками и проклятиями по адресу Иннокентия, вдруг бросились, как по команде, к лошадям и, разобрав их, торопливо, как на пожар, стали запрягать телеги. Не прошло и пяти минут, как полевой стан опустел. Наскоро собрав весь нехитрый свой скарб, мужики погнали лошаденок с опостылевшего урочища домой, на хутор.

Остался на стане только Капитон Норкин. Он тоже привел бойкого своего конька, надел на него хомут и замер в раздумье. Капитон долго еще без нужды топтался вокруг коня. Наконец покончив с запряжкой и сбросив в тележонку свое барахлишко, он, не спеша, шажком, тоже поехал со стана к хутору. Однако, не отъехав и с полверсты, снова остановился. Он слез с тележонки, поправил тяж, потрогал рассохшиеся колеса, затем, сев на бровку телеги, долго крутил козью ножку, набивая ее крепким самосадом. Нет, и на этот раз не знал Капитон, как же ему поступить: ехать ли вслед за мужиками на хутор или же повернуть обратно на стан, забрать брошенную там сенокосилку и отвезти ее в другую сенокосную бригаду артели «Сотрудник революции»? Нелегко было старику решать с маху такой вопрос. Вот почему он и сердился сейчас на конька. И хотя тот мирно стоял средь дороги, лениво помахивая хвостом и полузасыпая, Капитон беспрестанно передергивал вожжами, строго прикрикивал:

— Стой, тебе говорят! Тебе бы все только хвостом вертеть да в беги бегать!

Все двоилось теперь у Капитона. С одной стороны, как и все прочие члены бригады, он считал себя кровно обиженным, что правление артели наделило их никудышными машинами. С другой стороны, ему казалось, что на месте того же Силантия Пикулина или Иннокентия Окатова всякий расчетливый хозяин поступил бы именно так, как поступили они, объединившись вокруг собственных машин, подобрав в свою бригаду самые надежные рабочие руки и лучшие травостои...

Да, нелегко было Капитону Норкину рассудить это дело. И вновь, как всегда, потянуло его в разные стороны. «Ежели, скажем, пойти мне на хутор — к Иннокентию на глаза не кажись,— рассуждал он.— Ежели пойти обратно на стан — от мужиков нашей бригады проходу не будет».

Выкурив подряд три самокрутки, Капитон принялся было вертеть четвертую, но вдруг, злобно выплюнув прилипшую к губам бумажку, резко повернул задремавшего в оглоблях конька назад и, огрев его изо всей силы кнутом, поскакал к полевому стану бригады.

23

С утра кузнец немножко выпил и теперь, раскаливая в огне переломанную деталь сенокосилки, испытывал знакомое ему блаженное состояние. Вперемежку с проклятиями, когда не попадалась под руку нужная вещь— клещи или молоток, кузнец напевал вполголоса:

Воссияше лица ангельские,
И вопияша они песнь аллилуйя!..

Праздничный день. Но на хуторе пусто. Изредка выглянет на улицу нарядная девка: вспыхнут в ее косе и тотчас же исчезнут яркие, как радуга, ленты.

Мало-помалу кузнеца-регента Лавру Тырина начинает тяготить одиночество. А тут железо попалось на редкость хрупкое, крошится и никак не держит навара. Как ни бьется опытный мастер, а не может к нему приноровиться — то недокалит, то перекалит. Наконец кузнец бросил неподатливую деталь в груду обломков и, присев на порог кузницы, долго курил новый саксонский табак, которым угостил его сегодня за обедней поп Аркадий. Затягиваясь ароматным и крепким табачком, кузнец раз-

мышлял, с кем бы сегодня вечером выпить. Очень досадно, но не с кем. Продавец Аристарх Бутяшкин уехал на охоту. Председатель Совета Корней Селезнев вторые сутки путается где-то по аулам — вершит темные делишки со степными конокрадами. Близнецы Куликовы уехали на хутор Белоградовский — к тещам в гости. Руки у них зудят — с шуряками драться поехали!— заключает кузнец. Остальной хуторской народ в поле, на сенокосе, даже бабы, даже девки. Скучно кузнецу!

Но вот как из-под земли вырос перед ним Проня Скориков. Он все время поддергивает домотканые, голубые в полоску, портки и виновато, смущенно улыбается кузнецу. Кузнец, заметив Проню Скорикова, радостно гогочет. Вслед за Проней семенит дедушка Конотоп и еще двое мужиков. Все они навеселе. Идут гуськом и будто слегка все прихрамывают. Босой безбровый мужичонка Иван Осипов, завидев кузнеца, прищурившись, нараспев выкрикивает:

Богородица по речке шла,
Дева, радуйся, пятак нашла!

Мужики, почтительно кланяясь кузнецу, приветствуют его:

— Лавре Никитичу!

— Золотых дел мастеру!

— Регенту!

— Сорок одна с кисточкой!

— Ай гуляем, хуторяне-миряне?— кричит им кузнец.— С каких это таких радостей обратно запировали, гражданы колхозники?

— Извиняйте, Лавра Никитич! На единоличную жизнь перешли. Добровольно уволились, слава Христу, из колхоза. Вольные мы теперь казаки. Куда хочу, туда ворочу!— говорит безбровый Иван Осипов.

— Как так? Опять из колхоза удалились?— спрашивает, недоуменно взметнув бровями, кузнец.

— Удалились, регент. Ушли,— махнув рукой, откликается дедушка Конотоп.— Мы теперь обратно единоличники. Обратно самостоятельные граждане хутора Арлагуля! У нас теперь воля!

— Правильно. Обратно — теперь мы свободная нация,— подтверждает Иван Осипов.

— На господ-прасолов горба гнуть не желаем.

— В отдел ушли от варнаков и мошенников. Ясно?

Кузнец молчит и долго не может сообразить, в чем дело. Он крутится около подвыпивших мужиков как на иголках и все косится при этом на подоконник кузницы, где стоит давно опорожненная им поллитровка.

Проня Скориков, схватив кузнеца за руку, строго спрашивает его:

— А ты за кого, регент?

— В самом деле, откройся нам, как на духу, какую сторону держишь?

— За какую нацию голосуешь, за нас али за прасолов?— строго спрашивает его дедушка Конотоп.

— Я голосую?— переспрашивает кузнец.

— Именно ты, регент. За какое сословие?— говорит дедушка Конотоп и продолжает:— Вон там, к примеру, тоже робит колхозная артель. Один к одному — бедная нация. А посмотри, как работают,— любо да дорого. Крепко, варнаки, работают. Дружно живут. Вот против такого колхоза я возраженьев не имею. Не отрицаю такого колхоза.

— Ну, там не колхоз, там одна печаль и воздыхание, как поется в одном псалме — глас пятый...— говорит кузнец, охотно принимая из рук дедушки Конотопа щербатую чашку с водкой.

Кузнец быстро пьянеет от мутно-желтой самогонки. Выпив с мужиками по маленькой, он идет впереди их по улице так, словно под ногами у него узкая тропка над насыпью: идет, балансируя, опасаясь, как бы не свалиться. За кузнецом по-прежнему гуськом тянутся мужики,

Вполголоса кузнец напевает:

Хоры ангельские тя славословят,
И отверзнутся уста твои!

Вечером того же дня подлетел к кузнице на пикулинском жеребце Иннокентий Окатов. Он привез на сварку две порванные косы от сенокосилки, сломанный косогон и передаточную шестеренку. Спешившись и привязав к коновязи жеребца, Иннокентий бросился к кузнице и замер около двери. Дверь кузницы была на замке. На двери — развернутый газетный лист. По газетному листу громоздились друг на дружку полупечатные русские и церковнославянские буквы, разрисованные углем. Зло покусывая губы и щурясь, Иннокентий вполголоса прочел:

«Стой! Не куем!

Кузница совсем закрыта и не принимает и не починяет всяким, которые хочут что-то доказать из себя, кулачье чертово! Они жмут и думают, что у бедноты нет никаких выходов! Теперь посмотрим: кто кого! А в кузницу лучше не суйтесь! Не выйдет!»

Осатаневший от ярости Иннокентий, сорвав с двери газету, сунул ее зачем-то в карман галифе. Оглядевшись вокруг злобным, затравленным взглядом обложенного волка, он не увидел вокруг ни одной живой души.

— Стрелять их надо! Втихомолку. Из обрезов. В темные ночи. В затылок. Из-за угла!—убежденно сказал он, садясь на коня.

24

Мужики сидят на завалинке около избушки дедушки Конотопа. Перед ними стоит Иннокентий. Упираясь ногой в бревно, Иннокентий беспрестанно курит. Он злобно отплевывается и глухо, точно сквозь зубы, говорит:

— Предлагаю вернуться в двадцать четыре часа! А кто не подчинится моему словесному приказу, будет исключен к чертовой матери из артели. А вы понимаете, граждане, что значит: исключен? Это значит совершенно лишен всяких благ — и покоса и пашни,— как за измену колхозному строительству, и будет отвержен как совершенно классово чуждый индивидуум в данной местности! Так предлагал сам Карл Маркс поступать с дезертирами колхозного фронта.

Мужики молчат, переглядываясь, беспокойно ерзают на бревнах.

— Итак, моя речь короткая, граждане. Я кончаю на этом. Ваше дело подумать и решить, за социализм вы или против такового?— цедит сквозь зубы Иннокентий и, по-армейски козырнув мужикам, уходит прочь строевым маршевым шагом.

Мужики, оставшись одни, молчат, переглядываются, вздыхают. Затем Капитон Норкин снова принимается за прерванное чтение устава сельскохозяйственной артели. Читает он скверно, по-церковному, нараспев. И очень часто, не закончив одной фразы, вдруг умолкает и, передохнув, спрашивает:

— Ну как?

— Ничего...

— Поняли али тупо?

— Ничего, Капитон, крой дальше. Оно, может, дальше понятнее будет,— откликаются мужики.

Капитон Норкин снова начинает читать, как дьяк, нараспев, с выносом. Мужики слушают и не слушают. Никто из них не вникает в смысл прочитанного. Над каждым из них тяготеют злые, назойливые думы. Протрезвевший дедушка Конотоп мысленно раскаивается: зря он, должно быть, погорячился и выскочил из артели. Ведь, чего доброго, и впрямь останешься без куска хлеба, без клочка сена, а тут еще, гляди, и под суд попадешь. Недаром же грозил им судом Иннокентий!

И, словно угадывая тайные мысли Конотопа, Иван Осипов говорит:

— А что вы думаете, мужики, и засудят... Им недолго. У них все законы супротив нас в руках.

— Это за что же, за какую такую дыру?— озлобленно спрашивает ершистый мужичонка в драной соломенной шляпе набекрень.

— За ту самую... Али не слышал, о чем председатель здесь говорил. Одно слово — измена!

— Слово-то дурное, мужики,— задумчиво говорит Капитон Норкин.— Нехорошее слово, граждане. Как бы и в самом деле в острог не упрятали вас за такую провинку. Вот я, к примеру, за себя в покое. Моя совесть чиста. Я не увязался за вами сдуру!

Проня Скориков по-прежнему держится непримиримо-воинственно. Перемешивая бранные слова с молитвенной клятвой, Проня уверяет мужиков, что никто их судить не будет. В пример ставит себя. Вот вышел же он из колхоза и живет себе, как сыр в масле катается! Но тут же, вспомнив о бесследно сгинувшей своей полосе, Проня, поджав губы, умолкает.

Протрезвевший кузнец Лавра Тырин бойко работает в кузнице. Двери в кузнице — настежь. Ловко, вприпляс перестукиваются молотки над звонкой наковальней. Трахомный Анисим и Корней Селезнев помогают кузнецу: один раздувает мехи, другой работает за молотобойца.

Кузнец оковывает вальки для машинных грабель артели «Сотрудник революции». Привычно и ловко работая молотом, он бубнит, не поднимая припухлых глаз:

— Разве я, допустим, пес али какая бессмысленная тварь, чтобы этого дела не понимать? Я все понимаю. Мне все едино, на кого работать. Я мужик обоюдный!..

Сегодня чуть свет Корней Селезнев и милиционер Левкин подняли кузнеца с постели и, пригрозив ему протоколом, приказали открыть кузницу. И кузнец, боявшийся больше всего на свете милиции, покорно явился сюда и работает с азартом, без передышки.

Иннокентий Окатов, стоя в дверях кузницы, как на часах, курит. Исподлобья глядит на кузнеца зоркими, ястребиными глазами.

25

То, что годами копилось, бродило и зрело где-то в глубинах народной души и порой находило свое выражение то в тревожных иль грустных, берущих за душу песнях, то в драках, затеянных односельчанами от глухой тоски, от горькой на жизнь, на судьбу обиды,— все это вдруг обрело теперь, в эти тревожные дни весны, некое новое выражение.

Подобно вешним «палам» — мятежному морю очистительного огня, грозно бушующего в открытом просторе и пожирающего мертвый бурьян прошлогодней травы,— подобно очистительному пожару забушевало в эти весенние дни пламя народного гнева против воочию увиденных врагов.

Так, или примерно так, осмыслила Фешка события последних дней в бурной хуторской жизни, и так поняла она тот внутренний распад артели «Сотрудник революции», который происходил в последнее время. Фешка понимала, что настала пора для жестокой, непримиримой, решительной схватки с теми враждебными силами, которые мешали влюбленному в землю и работу, трудолюбивому и честному народу дышать полной грудью.

Взбунтовавшиеся косари, отбившиеся было от артели «Сотрудник революции», вновь всем скопом явились наутро в кузницу. Кузнец злобно отбросил в сторону молот. Искоса поглядев на столпившихся в дверях мужиков, он спросил:

— Что вы ко мне, в самом деле, пристали? Да я за кого хочешь проголосую. Мне все едино!

— Он — середка на половине,— безнадежно махнув на кузнеца рукой, говорит со вздохом Иван Осипов.

Проня Скориков, суетясь около кузнеца, старается объяснить ему:

— Ты раскинь умом, регент. Ты подумай, кузнец.

Ведь собрались у них там одни, слышь, прасолы, одни варнаки, живодеры да конокрады!.. Это шайка грабителей, а не артель!

— Одно слово, оторви да брось!— подтверждает дедушка Конотоп.

— Одно слово, контры, регент!— подхватывает Проня Скориков.

— Не люди — вороны!

— По ним остроги давным-давно плачут, кузнец. Пойми, Христа ради, ты это!

— Кому ты продался регент? Иудам?

— Затвори от их кузницу на замок, гони их отсюда в три шеи!

Кузнец, улучив удобный момент, начинает уверять мужиков:

— Не могу я, гражданы хуторяне, пойти на попятную. У меня ж контрактация с ними подписана. Договор на гербовой бумаге. Со штемпелем! За семью печатями! Это тоже понимать надо.

— Все печати сорвем!

— Правильно. Свои поставим...

— Мы с тобой новую бумагу, регент, подпишем.

Проня берет кузнеца за бороду и спрашивает:

— Говори, ты их руку держишь или нашу, регент?

— Да мне что, мужики. Мое дело подневольное. Я человек мастеровой. Я мужик обоюдный...— мнется кузнец, не давая прямого ответа.

— Нет, ты скажи, кузнец. Скажи прямо, без дураков. За нас ты или за прасолов?— настаивает Проня.

Кузнец, потупя глаза, переступает с ноги на ногу. Он решительно не знает, что ему делать. Но, не теряя надежды выпить с мужиками, он вдруг говорит:

— Разве я, допустим, пес али какая там другая тварь, чтобы после таких их пакостей машины им чинить?! Да ежели я, допустим, захочу, всю их контрактацию на козьи ножки изверчу. Я несправедливостей не терплю. Сами знаете, какой у меня характер. Я крутой на руку!..

Ничуть не удивившись такой внезапной перемене в поведении кузнеца, мужики тотчас же успокаиваются, удовлетворенно вздыхают — уговорили!

Тогда Проня Скориков, подмигнув Конотопу, потихоньку извлекает из-за широкого сапожного голенища

припасенную поллитровку второсортного самогона и торжественно ставит ее перед кузнецом на наковальню.

Достает из-за пазухи шкалик с горькой и Конотоп. Раскошеливаются один за другим и остальные мужики.

Кузнец изнутри закрывает кузницу на железный крюк и, принимая из рук Конотопа жестяную ржавую кружку с угощением, говорит:

— Благодарствую. А на окатовского выродка я плевал с колокольни. Мне он не сват и не брат. Мне с ним детей не крестить. Я — за бедную нацию, не за кулачье. Я — за пролетарию всех стран. А с кулачьем нам не по пути. Так я, граждане хуторяне, свою политику понимаю!

— Пей на здоровье, регент!— хором, наперебой упрашивают кузнеца повеселевшие мужики.

26

Весть об уходе из «Сотрудника революции» бригады косарей-однолошадников взволновала и окрылила Фешку. Не смыкая ночью глаз, она думала: «Значит, пора. Созрел нарыв. Теперь на них можно двинуться в лобовую атаку. Это факт. Только вот беда: без надежной подмоги со стороны нам не осилить их в открытом бою. И помощников надо искать по верному адресу — у партии. У Азарова с Тургаевым. В зерносовхозе!»

У нее были основания надеяться на такую помощь со стороны дирекции и партийной организации Степного зерносовхоза. Разрешив месячный отпуск Фешке, Азаров просил ее писать ему или Уразу Тургаеву о положении на хуторе, пообещав даже в случае нужды взять шефство над молодым хуторским колхозом. Примерно то же самое говорил на прощание и Ураз Тургаев.

И вот однажды, поднявшись среди ночи, Фешка вздула огонь, села писать письмо, адресованное одновременно двум лицам — Азарову и Уразу Тургаеву. Но письмо выходило длинное, бестолковое, и ей казалось, что главного она не сказала. Так и не закончив письма, она, уронив на стол голову, заснула перед самым рассветом.

Все эти дни, проведенные на хуторе, Фешка видела, что колхозники молодой бедняцко-батрацкой артели переживали такое же чувство, какое испытывала она, когда впервые стала самостоятельно управлять трактором. С такой же жадностью, с таким же тревожным

любопытством приглядывались они к новой, во многом еще непонятной, пугающей их жизни и, несмотря на это, все же инстинктивно тянулись к ней. Хуже было другое. В маленьком коллективе, сколоченном Романом, не наблюдалось еще должной сплоченности и единства. В этом убеждали Фешку многие факты, и особенно убедил разговор, затеянный ею с колхозниками артели по поводу принятия в члены колхоза бедноты, отколовшейся от «Сотрудника революции».

— Вот ишо новости — приживальщиков принимать! У нас не богадельня!— прозвучал протестующий голос Игната Бурлакова в ответ на Фешкино предложение.

Игната дружно поддержали другие колхозники:

— Правильно! Никого не пускать. Никого нам не надо!

— Без них проживем. Обыкновенное дело...

— На даровые харчи рот разевают — не выйдет!

— Тихо! Тихо, товарищи!— призывая к порядку, сказала Фешка.— Не то вы говорите. Не с того голоса песню начали... Это ж не кулаки какие-нибудь и не подкулачники. Это же наш народ. Нельзя нам чураться своих людей. Не вправе мы им отказывать. И прибыли в нашем полку нам только надо радоваться.

— Мало мне радости с Капитоном Норкиным в одной артели быть. Он у меня воз соломы в прошлом году с гумна украл. Саманы бил из моей соломы...— сказал Михей Ситохин.

— Да ведь солома-то у тебя, Михеюшка, была все равно никудышная — прелая,— заметил с усмешкой Климушка.

— Мало ли что прелая. Зато моя!

— А от Конотопа в артели какая польза — чужих кур щупать?!

— Вот кузнеца Лавру Тырина к нам в артель заманить — это да!

— Насчет кузнеца и разговору нету. Там — золотые руки!

— Правильно. А трень-брень нам нечего в артель собирать, своей хватит...

Так ни до чего толком и не договорилась Фешка на этом собрании артели. Но комсомольцы единодушно ее поддержали. На ячейковом собрании они приняли решение принять всем активное участие в широкой агитации и пропаганде среди единоличников хутора и соседнего с

ним аула в целях вовлечения в свою артель новых хозяйств бедноты и мужиков среднего достатка.

В письме к Азарову и Тургаеву, которое Фешка набрасывала урывками,— ее беспрестанно отвлекало не то, так другое неотложное в артельном хозяйстве дело,— она подчеркивала: «Трудности переживает молодая эта артель немалые. Куда ни сунься, кругом нехватки. Да и это еще полбеды. Беда — в другом. Враги распоясались на хуторе — спасу нету! Умно работают, гады,— не вдруг раскусишь. Бедноту, середняков к своим рукам прибирают — под завязочку! А на хуторе — ни одного коммуниста. И комсомольская ячейка варится в собственном соку. Ребята, правда, мировые, ничего не скажешь. Но опыта — кот наплакал! Я помогаю, как могу и умею. И все-таки мы тут одни. Нас горстка. А кулачья с подкулачниками — как воронья! Они одним своим карканьем глушат нас, затыкай уши! Вожак маломощной артели Роман Каргополов — парень что надо. Но и он один в поле не воин. Крепкая ему партийная рука позарез нужна. Был бы тут хороший коммунист, куда веселей бы пошли дела со сплошной коллективизацией на нашем хуторе! А потом механизация здесь нужна. В тракторе все спасение. Пароконными плужишками и артелью с кулачьем трудно тягаться. А за трактором беднота пойдет, и кулачью тогда каюк! Так я это все своим умом понимаю. Если в чем промах имею, не то говорю и не так делаю, подскажите, дорогие товарищи. Я никогда не забуду, как меня в свое время на ноги вы поставили, в комсомол воротили, в люди меня вывели. Вот и мне смерть охота в люди вывести наших ребят, всю артель нашу. Помогите!»

Письмо это Фешка писала, как дневник,— по нескольку строк ежедневно. И все равно ей казалось, что она не высказала в нем и сотой доли того, что пережила здесь за это короткое время, перечувствовала. Она хотела, чтобы Азаров с Тургаевым поняли ее тревогу за судьбу дорогих, близких ее сердцу людей, за судьбу молодой, нестойкой еще артели на родном хуторе. Потому так подробно и обстоятельно писала она руководителям Степного зерносовхоза обо всем, что ей казалось наиболее важным, значительным в бурно кипящей жизни деревни.

После комсомольского собрания, на котором Кенка и Ералла присутствовали на правах кандидатов в члены

комсомола, ребятишки были снаряжены с полевого стана артели на хутор с нехитрым поручением — доставить в бригаду три пары сыромятных постромок, хранившихся в амбаре Мирона Викулыча, да попутно купить в кооперации для общего котла артели килограмма три соли.

Хорошо запомнив то, о чем говорилось на комсомольском собрании, Кенка решил использовать поход на хутор для той самой пропаганды и агитации, которую решили вести комсомольцы среди хуторских и аульных единоличников. И Кенка решил, что им надо поагитировать кого-нибудь из мужиков, убежавших из «Сотрудника революции».

«Вот возьмемся да и сагитируем дедушку Конотопа. Вот возьмем и докажем Роману с Фешкой, какие мы с Ераллой настоящие кандидаты комсомола!» — думал не без некоторого тщеславия вихрастый, веснушчатый Кенка. Побаивался он в душе только одного — как бы не подвел его Eралла. Этот друг еще не ахти как хорошо калякал по-русски и в агитаторы, по мнению Кенки, пока не годился. А у агитатора язык должен быть хорошо подвязан. Так сказал на комсомольском собрании Роман, и Кенка это запомнил!

Поэтому, когда пареньки, беспечно пыля босыми ногами, как резвые жеребята, катились колобки колобками по торной степной дороге от полевого стана к хутору, Кенка, вдруг остановившись как вкопанный и остановив за руку Ераллу, спросил его, часто дыша от бега:

— Слушай, а язык у тебя хорошо привязан?

Вместо прямого ответа сообразительный Ералла, широко раскрыв рот, бойко потрепал языком, глядя в упор на Кенку, и рассмеялся.

— Дурак. Я насчет пропаганды. Слышал, о чем Роман говорил на комсомольском собрании?

— Слышали мала-мала, — как всегда, во множественном числе отозвался Ералла.

— То-то и беда, что мала-мала. И понял — середку на половине. А нам с тобой пропаганду и разную агитацию говорить надо. Единоличников к себе в артель звать, которые еще без сознания. Тут, брат, за словом в карман лазить недосуг.

— В какой карман? — опять не понял Ералла.

— Тьфу, бестолочь! Толмачить, значит, надо побойчее — без запинки. Может, ты по-своему, по-казахски, чешешь, как районный оратур. А вот по-русски у тебя шиворот-навыворот выходит. Беда мне с тобой, Ералла!— сокрушенно вздохнув, сказал Кенка.

— А твой по казахский язык ни шута не знай наша. Твой по казахский язык какой тратур-оратур? А?— подкусил в свою очередь и Кенку находчивый Ералла.

— По-казахски я ни туды ни сюды. Не ученый я до сих пор по-казахски был, потому что до тебя совсем ни бельмеса не калякал. А пропаганду на хуторе нам с тобой разную говорить надо по-русски. Правильно, друг-тамыр?

— Друс — правильно,— живо согласился Ералла.— Давай твоя работай по русский язык на хутор. Наша по казахский родной язык работаем — аулом. Джаксы — хорошо?

— Вот это ты правильно придумал. Тут у тебя ловко сварил котелок,— похвально откликнулся Кенка, щелкая по наголо выбритой, круглой, как арбуз, голове Ераллы.— Правильно. Я буду агитировать наших мужиков на хуторе по-русски. А ты валяй тарабань у себя в орде по-казахски. Давай в соревнование войдем обратно, как на бороньбе. Кто больше заагитирует в нашу артель: я — русских, или ты — разных казахов. Ударили по рукам? Согласен?

— Давай бей наша!— сказал Ералла, протягивая Кенке свою ладошку, и опять засмеялся, обнажив мелкие, жемчужные зубы.

И ребята, ударив по рукам, довольные и счастливые сговором, вновь засверкали пятками, взапуски пустившись по пыльной степной дороге.

Кенка на бегу говорил Ералле:

— Если я начну агитировать, ты воды в рот набери — помалкивай. А то брякнешь не то слово, кусай потом себя за лопатки! Уговор — дороже денег, товарищ! Я оратур — в хуторе. Ты — в своем ауле. Правильно?

— Друс, друс,— лихо кивая в ответ бритой головой, подтверждал Ералла, ходко работая босыми ногами.

Около кооперативной лавки они наткнулись на дедушку Конотопа. Был полуденный час. На дверях лавки висел замок. И старик дремал в ожидании продавца Аристарха Бутяшкина, сидя на нижней ступеньке кры-

лечка. Очнувшись при приближении ребят, Конотоп удивленно посмотрел на них и приободрился.

— Здравствуй, дедка!— ласково поздоровался с Конотопом Кенка.

— Аман, ата!— повторил за ним по-казахски Ералла, приветствуя деда.

— Милости просим, милости просим, орлы! Подсаживайтесь рядком — поговорим ладком,— сказал в ответ Конотоп тоже добрым, ласковым тоном.

— Нам рассиживаться, дедунюшка, недосуг. Нас на полевом стане народ ждет с солью, с постромками,— сказал Кенка, все же присаживаясь на приступку крыльца по одну сторону Конотопа, а Ералла присел по другую.

— Ну, сказывайте, как живется-можется, артельщики!— охотно первым завел с ребятишками разговор Конотоп.

— А живем мы, дедуня, на все двести! Отсеялись вовремя. Хлеба у нас — камыш камышом. А густые — мышь не пролезет. Ох и урожай же будет в нашей артели — засыпься! Старые люди говорят, по сто пудов с га брякнет,— живо, взахлеб затараторил Кенка.

Ералла, поджав губы, помалкивал, посверкивая темными, как ночь, глазами. Ему тоже явно не терпелось вставить доброе слово про свою артель, про хорошую их пшеницу. Но он помнил об уговоре с русским другом и скрепя сердце держал свое слово.

А Кенка продолжал тараторить:

— У нас артельщики — народ дружный. Никто ни на кого не в обиде. Один за всех, все за одного, потому что это тебе не кулаки какие-нибудь разные, дедуня. У нас — сплошь одна пролетарская нация. И ты зря, дедуня, с чертовым кулачьем связался!— выпалил Кенка.

— С кулаками-то я развязался, сынок. Я теперь — казак вольный!— сказал Конотоп.

— А какая тебе воля в единоличных без сознания жить?— наступал на деда Кенка.— Скоро вся беднейшая нация валом в нашу артель повалит. Может, нам и принимать всех некуда будет. А которые пораньше заявление подать успеют, те — пожалуйста!

— И меня бы приняли?— сомнительно покосившись на агитатора, спросил Конотоп.

— Успеешь загодя попроситься хорошенько, и тебя запишут. Это факт, дедуня. Честное комсомольское...

— А какую должность у вас мне, старику, дадут?— осторожно поинтересовался Конотоп.

— А — любую. Хошь — в сторожа на гумно, хошь — в подводчики.

— И в подводчики?

— И в подводчики, раз ты старик потому что...

— В подводчики — это бы хорошо. Я кучерить сызмальства люблю. У меня покойный родитель, царство ему небесное, ямщину гонял. Так на облучке и замерз на святках. Заблудился в степи в страшенную бурю.

— Ну у нас в бурю тебя никуда не пошлют. Не пужайся. Пиши заявление Роману,— запальчиво, с места в карьер сказал, наседая на Конотопа, Кенка.

— Вот беда-то мне с вами, орлы. Да ведь я неграмотный,— ответил встрепенувшийся Конотоп.

— У-у, нашел о чем горевать, дедунюшка! А мы что — не писаря тебе? Я даже Ераллу вот и то русской азбуке научил. Говорить он по-русски не шибко ишо наторел, а печатные буквы назубок вызубрил... Заявление в артель написать — это нам раз плюнуть. Ералла, давай карандаш!— властно прикрикнул на приятеля Кенка, доставая из-под козырька своей затасканной фуражонки вчетверо свернутые листочки линованной в клетку тетрадной бумаги.

Ералла с расторопной услужливостью сунул в руки Кенки крошечный карандашный огрызок, присел возле своего сверстника на корточки и стал следить за неторопливым движением Кенкиной руки.

Не так, правда, скоро, как грозился, и не совсем складно, как полагалось бы писать настоящему писарю, но заявление для Конотопа Кенка все же состряпал. Потом, когда Кенка торжественно, с выражением прочитал это заявление вслух, старик взял у него листок, близоруко присмотрелся к косым строчкам детского Кенкиного почерка, точно проверяя, так ли все тут было написано, как читал Кенка, а затем сунул листок под себя и сказал недоуменно глазевшим на него ребятишкам:

— На всяком прошении, чтобы толк был, маленько посидеть полагается. Примета такая.

С минуту все помолчали. Затем Конотоп, добыв из-под себя листок со своим заявлением, протянул его Кенке:

— Держи, орел. Передай в личные руки вашему

председателю. А как там решат у вас, дайте знать. Да шибко-то не мешкайте.

— У-у, дедунюшка, мы с Ераллой в бригаду пулей слетаем. Как иноходцы!— сказал сияющий Кенка, торжествующе поглядывая на Ераллу.

— Ну, спаси вас Христос, орлята. Уговорили ведь меня, старика. Пойду подам весть старухе. Не знаю, то ли казнить она будет меня за вашу артель, то ли миловать. Ей ведь как взглянется. Она у меня такая — маленько с норовом...— сказал Конотоп, тяжело поднимаясь с крылечка.

— А ты, дедуня, и тем весть дай, которые с тобой от кулачья убежали. Мы с Ераллой заявление в нашу артель любому в кой миг напишем. Это нам с руки потому что,— предложил Кенка.

— Наша по казахский язык пошел, его — по русский язык,— не утерпев, вставил-таки свое слово и Ералла.

— Потолкуешь с вашими беглецами, дедуня?— не отставал Кенка от Конотопа.

— Выходит, придется потолковать. Выходит, придется...— подумав, сказал старик и побрел, так и не дождавшись продавца, к дому.

А к вечеру, воротясь на рысях с хутора в полевой стан, ребята вручили Роману в присутствии Фешки сразу три написанных Кенкиной рукой заявления о приеме в колхоз. Одно — от дедушки Конотопа. Второе — от середняка Кирилла Прахова. Третье — от Ивана Осипова.

— Вот это я понимаю — агитаторы!— сказал Роман, кивая на ребят Фешке.— За такие дела хоть завтра же их в комсомол из кандидатов принимай, а?!

— Сильны!— подтвердила, не спуская сияющих глаз с ребятишек, Фешка.

27

Ночь.

Подслеповатый Анисим все время увертывает фитиль лампы. Но словно какая-то неведомая сила тотчас же вытягивает фитиль из коронки, и багровый язык огня опять начинает лихорадочно полыхать под десятилинейным стеклом, озаряя прокуренный сумрак горницы.

Как всегда, Епифан Окатов сидит в переднем углу, неподвижный, сгорбившийся, с потемневшим лицом.

Силантий Пикулин подпирает косяк плечом и лениво,

меланхолично оплевывает подсолнечной кожурой редкую козлиную бороденку.

Иннокентий стоит посреди комнаты. Френч на нем нараспашку. Слегка покачиваясь на носках, он вполоборота поворачивается к отцу и говорит приторно-ласковым голосом:

— Понимать это дело надо, дорогой мой папаша!

— Боже мой! Боже мой!— восклицает, скорбно вздыхая, Епифан Окатов. Затем, помедлив, он поднимает глаза на сына и злобно бросает:— Сначала ты, сынок, надел на меня суму, теперь до петли доводишь. Долго ты будешь меня казнить? Какую новую завтра для меня уготовишь голгофу?!

— Не понимаю,— цедит сквозь зубы Иннокентий.— Диву даюсь, как это тебя не одурачивали петербургские прасолы. Удивляюсь, папаша!

— Нет, извиняй, сынок, меня ишо, слава богу, никто не дурачил. Все в свое время было наоборот. Я кой-кого в городе Петербурге дурачил. Все было наоборот!

— Тогда воображаю, папаша, с какими же ты оболтусами дела имел. Воображаю!—говорит Иннокентий все с тем же недобрым смешком и устало опускается на софу, вытягивая длинные ноги.

Анисим не отходит от лампы. Ему все чудится, что кто-то приоткрывает ставню, льнет ухом к окну, и он с подозрительной настороженностью поводит маленькой головой, чутко прислушивается к чему-то, не переставая в то же время ревниво поглядывать воспаленными глазами на фитиль жарко пылающей лампы.

Силантий Пикулин, стоя в притворе двери, старательно очищает рукой заплеванную подсолнечной кожурой бороду. Потом он снова подпирает косяк плечом и снова молча принимается щелкать подсолнухи. Он смотрит на всех присутствующих тупым, отчужденным взглядом человека, которому как будто бы нет никакого дела до всего того, что происходит здесь.

Тишина.

Иннокентий, развалившись на софе, вяло жует папиросу и ломает на мелкие части пустой спичечный коробок. Стараясь сохранить спокойствие, он говорит глухим, бесстрастным голосом:

— Все вы плохо понимаете создавшуюся обстановку. Вот не будь здесь меня, вас бы давно раздавили на мелкие части, как давлю я этот спичечный коробок!—

И вдруг, вскочив на ноги, театрально заложив руку за борт наспех застегнутого на все пуговицы френча, он останавливается посреди комнаты и, уставившись на Силантия Пикулина, продолжает:— Нет, шалишь! Пусть сначала раздавят вас на моих глазах. А я не таковский. Меня голыми руками не скоро возьмешь. Я за здорово живешь им в руки не дамся... А все из-за вас, оболтусов,— черт связал меня с вами. Дурак на дураке. Трус на трусе. В Соловки, на остров Мадагаскар всех вас надо сослать прямым сообщением! И вы дождетесь такого прекрасного для вас момента — сошлют. Советская власть не дура. Ликвидирует вас как класс, и бабки с кону!.. Удивительное дело: им одно говоришь, а они поперек боронят! Ну-с, тогда пеняйте на себя! Я за всех вас тогда на данном этапе не ответчик!

Силантий Пикулин, отряхнувшись от подсолнечной кожуры, вдруг кидается от дверей к Иннокентию, начинает горячо бормотать полушепотом, клятвенно скрестив на груди волосатые руки:

— Мы же тебя, Епифаныч, как атамана слухаемся. Как полководца в бою. Мы ж за тобой — слово скажи — и в огонь и в воду! Прикажи мне, кого там надо руками передушить,— передушу, не дрогну. Зря ты всех нас под одну гребенку стрижешь. Обидно мне, Епифаныч!

— Трусы вы все. Трусы,— цедит сквозь зубы и брезгливо морщится Иннокентий.

— Богом клянусь — в огонь и в воду за тебя пойду!— повторяет Силантий Пикулин, осеняя себя размашистым крестным знамением.

— А мне надоело, сынок, притворяться,— скрипит из угла подавленный голос Епифана Окатова.— Душевно, как на духу, говорю: надоело. Не в мои годы в тиятры эти играть. Я обессилел и обездолел. Не по моим плечам тяжкое сие бремя...

— А я все надеялся, что ты хоть на старости лет поумнеешь, папаша. Нет, далеко, видать, тебе до Луки Лукича Боброва. Вот мужик — палач палачом! Этот меня бы Советской власти, как родимый отец, не предал. А с вами выхода нет. С вами, слюнтяями, одна дорога — на Соловки!— говорит Иннокентий, тупо уставившись в крашенный охрой пол.

И опять мертвая, могильная тишина начинает томить всех присутствующих в этом доме.

Иннокентий тоже молчит. Он отлично знает, что лю-

ди эти, в том числе и его отец, у него в руках, что никто из них не посмеет ослушаться его воли. Но ему претит их трусость и нерешительность, и он презирает открыто всех их за это.

Все долго молчат, хотя все хорошо знают, зачем тайно собрались они по приказу Иннокентия в этом глухом, как могильный склеп, доме.

В смежной с горницей комнате бьют двенадцать раз старые, точно охрипшие от дряхлости часы.

— Добротные были когда-то часы,— словно размышляя сам с собой вслух, задумчиво говорит Епифан Окатов.— Полугодовой завод. Пятифунтовый маятник с позолотой. Я купил их на Ирбитской ярмарке у екатеринбургского купца в одна тысяча девятьсот тринадцатом году за сорок пять рублей ассигнациями.

— А ассигнации-то были фальшивые, папаша,— напоминает в тон родителю Иннокентий.

— Все может быть, сынок,— равнодушно соглашается Епифан Окатов.

Потом, после затяжной паузы, Иннокентий, будто очнувшись, подав знак пальцем Силантию, подзывает его к себе.

Силантий Пикулин, подтрусив к Иннокентию, садится с ним рядом на краешек софы. Они долго, отрывисто о чем-то перешептываются меж собой.

Наконец Иннокентий раздраженно вслух переспрашивает:

— Сколько?

— Десять червонцев посулил, не считая, конешно, кобылы. А кобыла справная — в теле.

— Не сулить, а в руки дать было надо.

— Отдам. За мной не пропадет. Коня завтра же получит. Червонцы — как дело сделает. Так договорились.

— Не подведет?

— Бог знает... Клятву перед киотом дал. Все-таки как-никак — звонарь, служитель культа!

28

Потратив впустую целый день на хуторе, Фешка так ничего толком и не добилась от остальных мужиков, отколовшихся от «Сотрудника революции», которых пыталась она уговорить подать заявление о приеме их в «Интернационал».

Фешка возвращалась под вечер на стан не солоно

хлебавши, втайне дивясь и немного даже завидуя удивительным успехам Кенки и Ераллы, сагитировавших на хуторе трех новых членов артели.

Настроение у Фешки в этот вечер было не ахти и по другим причинам. На письмо ее, адресованное Азарову с Тургаевым, что-то подозрительно долго не было никакого ответа. Молчал почему-то бригадир Ваня Чемасов, которому тоже написала про нелегкую свою жизнь на хуторе Фешка. «С глаз долой — из сердца вон! Забыли они все, к чертям, обо мне»,— невесело размышляла Фешка, возвращаясь вечером с хутора на полевой стан колхозной бригады.

Погруженная в горькие свои размышления, Фешка шла берегом озера. Тонкий, похожий на дутую золотую татарскую серьгу месяц отражался в темной воде, и зыбкая, мерцающая дорога серебристо-голубого лунного света текла через озеро.

В степи, за хутором, били страстно, до самозабвения, хоронившиеся в травах перепела. Попискивали ночные птахи. От озерной воды пахло птицей, камышом и арбузами. Чуть слышно шелестела, набегая на берег, дремотная, задумчивая волна. Идти по песку было нелегко. Но Фешка, слегка пригнувшись, будто под ношей, шла вдоль берега, зачарованная шепотом набегавших на прибрежный песок волн, сонным, чуть слышным шелестом камышей, теми неясными шорохами и звуками, которыми полна была вечерняя степь.

Миновав последние прихуторские огороды, Фешка решила свернуть на тракт и вдруг насторожилась. В это мгновение она скорее почувствовала, чем услышала, позади чьи-то поспешно-сбивчивые шаги. Было похоже, что кто-то, идя за ней по пятам, преследовал ее в ночной степи. И, оторопев, плохо соображая, Фешка сначала ускорила шаг, потом побежала. Но бежала она недолго. Чувствуя, что кто-то настигает ее, она вдруг остановилась, перевела дух, и сердце ее замерло от негромкого, торопливого окрика:

— Феша! Я извиняюсь, товарищ Сурова... Одну минуточку. Одну минутку!

Фешка, переводя дыхание, стараясь казаться совершенно спокойной, обернулась назад и вдруг, вся похолодев, узнала точно выросшую из-под земли прямую рослую фигуру Иннокентия Окатова.

— Я извиняюсь, Феша...— глухо заговорил Иннокентий, приближаясь вплотную к девушке.

— Ах, это ты!— и удивленно и в то же время как бы разочарованно протянула Фешка и, тут же отвернувшись от него, пошла своей дорогой.

Но Иннокентий, настигнув ее, схватил за руку.

— Пусти,— дрогнувшим от злобы голосом воскликнула Фешка. Но тут, мельком взглянув на Иннокентия, она заметила холодно блеснувшее в лунном свете дуло пистолета, торчавшего в боковом кармане френча Иннокентия. «Убьет он меня!»— убежденно подумала Фешка с какой-то холодной, трезвой рассудительностью. И она снова остановилась.

— Вот что, друг. Ты меня лучше не тронь. Лучше не тронь. Лучше не прикасайся ко мне. Лучше не прикасайся...— запальчиво забормотала она, плохо соображая в эту минуту, что говорит.

— Понимаю. Понимаю. Я все понимаю. Но я извиняюсь. Разрешите мне с вами поговорить...— все тем же приглушенным, торопливым голосом продолжал Иннокентий.

И Фешка, покусывая губы, решила взять себя в руки. Она поняла, что ей не годится сейчас теряться, выказывать робость, что надо держаться как можно увереннее, какой бы ценой внешнее спокойствие в этот момент ни давалось.

— Разговаривать мы с тобой будем не здесь, а в другом, подходящем месте,— сказала Фешка.

— Почему же не здесь? Именно здесь. Нас здесь никто не слышит,— шепотом настаивал Иннокентий.

— А я хочу, чтобы нас с тобой все слышали!— вызывающе проговорила Фешка.— Вот именно, чтобы все слышали. Пусть все слышат и знают, какая ты сволочь.

— Ну-ну-ну! Не кричать. Не кричать, красавица,— криво усмехнувшись, сказал Иннокентий, пытаясь схватить Фешку за руку.

Но Фешка, брезгливо отпрянув назад, спрятала руки за спину, презрительно глядя в лицо Иннокентию мерцающими в призрачном лунном свете глазами.

Внешнее ее спокойствие, видимо, обезоруживало Иннокентия. Он стоял перед ней, не смея двинуться с места. Предельно возбужденный, терявший последнее самообладание Иннокентий твердил одно и то же:

— Ты должна меня выслушать. Я должен поговорить с тобой. Только здесь, и нигде больше. Сейчас или никогда. Ва-банк иду.

— Это с битой-то картой?!
— Я своих карт тебе на открывал.
— А они у тебя крапленые, вижу!
— Не тот разговор ведете вы со мной, извиняюсь, Феша. Не за того меня принимаете вы с Романом и вообще все... ваши.
— Сам себя с головой выдаешь, голубчик. Только как ты ни крути, ни верти, а песенка ваша спета. Не удастся вам народ одурачить. Ты в меня собрался стрелять? Ну, убьешь. А потом что? Всех нас перебить у вас пулеметов нету. А с этой пушкой, что у тебя в кармане торчит, много с нами не навоюешь!— сказала с усмешкой Фешка, чувствуя, что своей волей и самообладанием она с каждым словом все больше и больше берет верх над утратившим былой злобный пыл и решимость Иннокентием.
— Поймите меня. Я остался один, как столб, в пустынных пространствах данной местности. И со мной двенадцать апостолов, двенадцать проповедников кулацкого счастья, во главе с моим идиотом-папашей. Я, как бывший боец Красной Армии, хотел перевоспитать этих дураков трудом в социалистическом секторе нашей артели. Я полагал, что коллективная жизнь в «Сотруднике революции» пойдет этим кулацким остолопам на пользу и они дружно станут строить у нас на хуторе социализм. Но я убедился, что это — волки. Сколько их ни корми, они, фигурально выражаясь, все в лес смотрят. Признаю данную свою ошибку в порядке самокритики перед вами, Феша!— сказал Иннокентий и, скорбно вздохнув, покорно поник.
— Хитер!— сказала Фешка, не сводя глаз с Иннокентия.
— Не верите мне? Понимаю. Трудно поверить.
— Верю всякому зверю, даже ежу, а тебе нет — погожу!
— Дело ваше. Только одно вам скажу на прощание. Немало воды утекло за канувшее в вечность быстротекущее время. Немало я понял и пережил, находясь в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Не таким вы знавали раньше меня, гражданка Сурова. А теперь я не тот. И сознание не то имею... Перековала меня Красная Армия. Загляните поглубже в душу ко мне — увидите!
— Уж больно темно в ней у тебя, как в бросовом колодце... И вообще хватит нести околесицу, зубы мне заговаривать на ночь глядя. Говори толком, что тебе надо

от меня. Я тороплюсь. Мне некогда,— скороговоркой проговорила Фешка.

Как хотелось ей сейчас убежать от него без оглядки прочь, в степь, туда — к своим ребятам на полевой стан! Но она не могла бежать от него, как нельзя никогда убегать человеку при внезапной встрече один на один с хищным зверем, ибо зверь не преминет тогда, ринувшись вдогонку за жертвой, в мгновение ока смять и растерзать ее. И Фешка знала, что, побеги она прочь сию минуту от Иннокентия, он не промажет, выстрелив ей в спину!

— Я извиняюсь, мне ничего от вас не надо. Просто хотел отвести душу, деликатно с вами с глазу на глаз поговорить...— растерянно пробормотал Иннокентий.

— Ну, хватит, хватит кривляться. Хорош мне деликатный разговор с пушкой в кармане!

— Пушка тут ни при чем. Это — для самообороны.

— От кого же обороняться?

— Мало ли от кого. Время, сами знаете, аховое...

— Это точно. Время такое, что без пистолетов и обрезов кое-кому и жизнь не мила. Только ненадежная это самооборона при окружении, когда ты в кольце!.. Ну, хватит. Поговорили. По душам, кажется. Пока!— сказала в заключение Фешка и, собравшись с духом, повернулась спиной к Иннокентию, неторопливой, но уверенной и твердой походкой пошла от него прочь по пустынной степной дороге.

Назад Фешка не оглядывалась — это было страшней для нее выстрела в спину, которого она все же ждала, пока не добралась часа через полтора до сонного полевого стана колхозной бригады. И только тут, вблизи беспечно спящих вокруг полуугасшего костра своих людей, ощутила вдруг Фешка чудовищную слабость в теле, градом лившийся с нее пот и лихорадочно-зябкую дрожь в спине. Пережитое душевное и физическое напряжение как-то сразу надломило силы, и Фешка, снопом повалясь возле костра, прикрыла пылающее лицо холодными, как лед, руками.

29

Безумствовал ветер. С утра до вечерней зари поднимал и гнал он над дорогами густую пыль. Летучие стаи перекати-поля мчались по степи подобно распуганным волками стаям обезумевших от страха сайгаков.

Филарет Нашатырь лежал, притаясь, в траве. Изредка приподнимая голову, он настороженно прислушивался к шуму ветра, к яростному стрекоту кузнечиков и с пытливой подозрительностью оглядывался по сторонам. Но никого не было видно среди этой желтой, знойной, искрящейся степной пустыни. И от той далекой вехи, невнятно маячившей на горизонте, которую видел острым глазом Филарет, он чувствовал свое одиночество затерявшегося в степи человека еще острее и горше.

Филарет Нашатырь лежал на меже, до одури накурившись крепкого самосада, и целый день с утра до вечера с замиравшим от тревожной радости сердцем думал теперь все об одном и том же — о бурой белоногой кобыле, которую тайно привел вчера глубокой ночью с заимки Силантия Пикулина и которая отныне была его собственностью! Правда, кобыла была в годах, припадала время от времени на передние ноги и отличалась недобрым норовом. Она, например, терпеть не могла болтающихся гужей в запряжке, а под седлом — слабой подпруги. И в том и в другом случае кобыла вставала на дыбы или била задом и, хоть ты ее убей тогда, не двигалась с места. Однако были за ней и достоинства. Славилась она не только дурным норовом, но и отборным приплодом. Вот почему не раз казахи — природные знатоки конских кровей — набивались к ее прежнему хозяину на выгодную меновую.

Погруженный в размышления о кобыле, Филарет за этот день не менее двадцати раз мысленно продавал ее на шумных степных ярмарках. Он видел себя в центре по-ярмарочному возбужденной, крикливой толпы базарных мужиков, заезжих конокрадов и странствующих барышников, наперебой торговавших у него эту кобылицу. Но тут же Филарет мысленно убеждал себя в том, что ему гораздо выгоднее будет сменять кобылу на двух диких меринов и взять впридачу махровую опояску с кистями, такую же точно опояску, в какой раньше шлялся по ярмаркам Епифан Окатов, на которую в молодости с тайной завистью поглядывал Филарет Нашатырь и мечтать о которой он не разучился даже к старости. Филарет не знал, зачем ему нужна эта самая опояска. Да и заведи он ее — он никогда не решился бы показаться в ней на людях. Однако он продолжал всю жизнь упорно мечтать о том счастливом дне, когда подпояшет он такой опояской свой желтый дубленый полушубок и отправится

в гости куда-нибудь в дальний аул или к Елизару Дыбину.

О том же, зачем он очутился на этой меже, зачем целый божий день валяется под чахлой таволгой и с таким притворным холодным спокойствием выжидает здесь сумерек, прислушиваясь к тревожному шуму степных ветров, Филарет сейчас не думал. Он не задумывался и над тем, каким образом знаменитая пикулинская кобыла вдруг стала его собственностью. Не хотелось Филарету думать об этом. Не хотел он вспоминать подробности того вечера, когда над ним, захмелевшим и полусонным, угодливо суетились то Епифан Окатов, то подслеповатый Анисим, то Силантий Пикулин, нашептывая ему в уши что-то тревожное и неясное, как заговор, как заклятие! И вот только теперь, когда начал еще сильней и звонче петь над головой предзакатный ветер, Нашатырь, жадно докурив последнюю самокрутку, словно очнулся от глубокого забытья и подумал о том, что ему предстояло сделать. Ему надо было успеть засветло выстлать межу сухой соломой, чтобы потом из-под ветра направить огонь в сторону густого, рослого, как камыш, колхозного хлеба.

Вечерело.

Еще раз зорко оглядевшись вокруг и не заметив в порозовевшей от заката степи ни одной живой души, Нашатырь взялся за дело. Подкравшись к стоявшему поодаль почерневшему от времени старому соломенному омету, он поспешно набрал охапку сухой, как порох, соломы и принялся выстилать с подветренной стороны дорогу от омета к массиву — дорогу огню. Затем, выстлав межу соломой, Нашатырь присел на корточки и поджег для пробы одну охапку. Вспыхнув, солома зловеще затрещала, и огонь злорадным жгутом мгновенно замкнулся вокруг Филаретовых ног, а потом стремительно ринулся, извиваясь змеей, к массиву пшеницы.

Какое-то мгновение или, может быть, только десятую долю его Нашатырь с тупым любопытством смотрел на огонь. А затем, подняв глаза на позолотевший от заката массив пшеницы, вдруг остолбенел и, приоткрыв рот, замер на месте.

Перед ним стеной поднималась громада сплошного колхозного поля. Ветер гонял по массиву колеблющиеся волны, расцвеченные заревом заката. С каким-то неукротимым буйством и озорством метались эти волны из сто-

роны в сторону по всему бескрайнему полю пшеницы. И куда только ни хватал глаз Филарета — везде и всюду бушевало это безбрежное море хлеба с медовым ароматом наливающихся колосьев.

И мгновенная вспышка сознания обожгла Нашатыря. Он почувствовал сразу все: и то мучительное напряжение последних сил, и то волевое, нечеловеческое упорство маленького коллектива, с которым одолевали артельщики каждую борозду, каждый заезд на этой первой колхозной пашне. Он почувствовал с острой физической болью в сердце непомерную тяжесть плуга, словно сам он, Филарет Нашатырь, вместо замученных, выбившихся из сил лошадей, падающих в запряжке, протащил этот плуг на себе. Словно впервые за всю свою жизнь вдруг разглядел он сейчас привычные, близкие лица мужиков, плечистых русских парней и приземистых, узкоглазых, скуластых казахов, руками которых вспахано было нынешней весной это громадное поле. И увидел Филарет Нашатырь себя самого среди маленького коллектива таких же, как он, мужиков, среди таких же, как он, неимущих, свыкшихся с вековой нуждой батраков, среди таких же, как и он, бесправных, обездоленных в прошлом казахов. А увидев все это, он с необычайной ясностью понял, что ведь только среди этих людей и обрел он свое заветное место...

Между тем огонь уже зловеще и весело резвился вприпрыжку на меже, словно раздумывая еще, в какую сторону ему кинуться. Наконец, словно все решив и осмыслив, пламя с ослепляющей яростью бросилось на массив пшеницы и, подобно гигантской огненной птице, затрепетало над хлебом, опаляя колосья багровыми крыльями, и обуглившиеся стебли пшеницы замертво падали ниц.

И Нашатырь, ужаснувшись, вдруг закричал на всю степь страшным, пронзительным голосом. Затем он, сорвав с головы картуз и упав, как подкошенный, на колени, начал с яростью одержимого гасить пожар. Он падал на пламя грудью и, казалось, обрывал при этом руками ослепительно яркие лепестки огня. Он обжег себе колени, опалил подол рубахи и бороду. Он ползал, крутился на четвереньках, переворачивался с боку на бок, катался по огненной меже, бормоча как в бреду, как в беспамятстве какие-то бессвязные слова отчаяния, молитв, заклинаний.

Сколько продолжался этот поединок с огнем, Нашатырь не знал потом, не помнил. Погасив грудью последний всплеск буйного пламени, опалившего пряди его волос, Филарет упал на межу, потеряв сознание.

Очнулся он от резкой боли в коленях. Было уже темно.

Над степью гарцевал ночной ветер. В воздухе все еще пахло гарью. Нашатырь открыл глаза и с удивлением посмотрел на тонкую ущербную луну, повисшую в кротком небе. Светлый серп ее двоился в воспаленных, лихорадочно блестевших глазах Филарета. В ушах стоял неумолчный звон. Во рту было сухо. Страшно хотелось пить. Приподнявшись, Нашатырь огляделся вокруг и вдруг все вспомнил. С удивительной ясностью запечатлела память все подробности случившейся с ним беды, и он обрадованно подумал о том, что огонь потушен, что хлеб невредим и по-прежнему бродят в этих пахнущих парным молоком стеблях и колосьях животворные соки плодородия. И, ощутив всем своим существом ароматный, как теплая опара, запах наливавшегося молочным соком зерна, Нашатырь готов был разрыдаться от счастья и радости, оттого что он не наделал той непоправимой страшной беды, ради которой пришел сюда, крадучись от людского ока.

Вот теперь-то, в эти минуты, Нашатырь отчетливо припомнил разговор между ним и Силантием Пикулиным в ту роковую ночь, проведенную под кровлей пикулинского дома. И чем глубже проникал он сознанием в мельчайшие подробности этого разговора, тем больше и больше ненавидел тех, кто подбил его на неслыханное преступление, как ненавидел и самого себя, продавшегося за бурую кобылицу и два граненых стакана скверного самогона.

С трудом поднявшись с межи, Нашатырь осмотрелся. Рукава и подол ситцевой рубахи были полусожжены, свисали обуглившимися клочьями. Прикоснувшись к опаленной в огне бороде, Нашатырь снова упал духом. Он понял, что ему немыслимо было в таком виде даже тайно вернуться на хутор.

Как же мог он теперь показаться на глаза членам артели «Интернационал»?! Нет, не сможет он прямо и честно посмотреть в глаза Мирону Викулычу и Роману, Фешке и Линке, Аблаю и Егору Клюшкину. Он не сможет поднять своих глаз даже на самых малых в этой арте-

ли — на Кенку и Ераллу! «Что скажу я им? Как повинюсь? Чем свой грех оправдаю?! Правду скажу — никто не поверит. Соврать — не смогу»,— подумал Нашатырь с отчаянием. Ах, подвернись ему под руку сейчас проклятый Силантий с трахомным Анисимом,— вот когда придушил бы Нашатырь того и другого на этой меже, такой же черной, дотла выжженной, какой, чуял он, была теперь неприкаянная, преисполненная лютой ненависти к этим людям его душа!

Нет, навсегда теперь заказаны Филарету Нашатырю пути на родимый хутор. И он решил скрыться. «Уйду в степь. Приткнусь куда-нибудь пастухом на дальних отрубах. Похоронюсь в чужих поселениях, повыжду. А там, глядь, приживусь и домой не потянет»,— успокаивал себя, как мог, Нашатырь.

А на рассвете, в последний раз окинув тоскливым взглядом безбрежную полосу на редкость густого и рослого колхозного хлеба, Нашатырь поклонился в пояс артельному хлебу, осенил себя крестным знамением и, опираясь на палку, пошел прочь от родимых мест.

Да разве уйдешь от них?

30

То напряжение физических и душевных сил, которое пережила Фешка после памятной ночной встречи, не прошло, видимо, для нее бесследно и во многом сказывалось и в последующие дни. Она стала как будто раздражительнее обыкновенного, еще более порывистой в движениях, менее сдержанной и последовательной в разговорах с Романом, замкнутой со многими ребятами из артели. Впрочем, виной тому было не только ночное малоприятное столкновение с Иннокентием. Были основания у Фешки нервничать и по другому, более важному поводу. Дни шли за днями, а она до сих пор не дождалась ни ответа, ни привета на пространное свое письмо, адресованное Азарову и Тургаеву. Она плохо верила в то, что письмо ее оставлено без внимания и тем и другим адресатом просто так, по рассеянности. И поэтому с тревогой, возраставшей в ней с каждым днем, думала о том, уж не произошло ли в ее отсутствие каких-либо чрезвычайных событий в зерносовхозе.

И вот однажды, после долгих раздумий и догадок, ей пришло в голову отправить в совхоз Романа. «С ним, как

с официальным лицом — председателем колхоза, там скорей посчитаются и в дирекции и в партийном комитете, чем со мной — добровольным ходатаем по делам этой далекой от совхоза карликовой артели»,— решила Фешка и, улучив подходящий момент, поделилась своими соображениями с Романом.

Роман, внимательно выслушав Фешку, охотно согласился с ней, а комсомольское собрание артели тоже единогласно поддержало предложение Фешки.

И дня через два после этого Роман, временно переложив свои председательские дела и заботы на плечи Мирона Викулыча, собрался в дорогу. В правлении колхоза единогласно решили выделить для неблизкой поездки Романа в зерносовхоз пару самых справных и шустрых коней.

Провожая Романа, Фешка строго наказывала ему:

— Ну езжай. Да смотри у меня, все вопросы ставь там по-комсомольски — на ребро! Приедешь — и прямо к директору Азарову, к секретарю парткома Уразу Тургаеву. А потом — в рабочком, Увара Канахина тоже обходить не надо. Этот хоть малость и с норовом, но редкой души человек. У нас все там ребята хорошие, боевые. Попусту болтать не любят. Я в письме им все написала, но ты тоже от себя там всю правду скажи. Требуй трактор в порядке социалистической помощи — и никаких гвоздей! Да посулами пусть не отыгрываются, а сейчас же дают. И без трактора ты нам лучше глаз не кажи на хуторе. Понятно?!— пригрозила ему в напутствие полушутя-полусерьезно Фешка.

— Ясно-понятно... Есть не казать глаз без трактора, товарищ командир!— в том же полушутливом тоне откликнулся, козыряя ей на прощание, Роман.

Эту поездку Романа в Степной зерносовхоз Фешка, по договоренности с комсомольцами, решила держать пока в тайне от хуторян и главным образом от окатовской артели. Было еще на воде вилами писано, как отнесутся к их зову о помощи в зерносовхозе, и чесать языки об этой затее комсомольцев «Интернационала» прежде времени было нечего.

О своем ночном столкновении с Иннокентием Фешка тоже пока воды в рот набрала — помалкивала. Она не рассказала об этом даже Роману. Вообще держалась она с ним строго-официально, даже суховато порой, хотя

ее и тянуло к нему, хотя она и ловила все чаще и чаще себя на том, что немного, должно быть, ревнует его к Линке...

Странно, она свободно, по-деловому строго, непринужденно держалась рядом с Романом на людях, в коллективе. Но как только оставалась с ним наедине, замыкалась, уходила в себя, смущалась, не зная, куда деть руки. Роман тоже, должно быть, чувствовал это и потому тоже испытывал некоторую неловкость, когда оставался с ней с глазу на глаз...

Когда-то — это было в самой ранней их юности — Роман шутя поцеловал Фешку во время вечерних игрищ хуторской молодежи на излюбленном месте, у старого ветряка, что стоял одиноко на отшибе от хутора. И теперь каждый из них не подавал вида друг другу о том, что помнит об этом первом поцелуе.

Ревнуя в душе Романа к Линке, Фешка тем не менее тянулась душой к этой девушке, хотя обе они и избегали говорить о Романе, оставаясь вдвоем.

Проводив Романа в совхоз, Фешка решила навестить вечером Линку, благо нашлось заделье: проверить, как та справляется с несложным пока канцелярским хозяйством артели в качестве добровольного счетовода, и, если возникнет нужда, в чем-то, может быть, и помочь ей.

Порывшись в тетрадях Линки с записями трудодней и нарядов, Фешка, вздохнув, сказала:

— Ох, горе ты мое луковое!

— Что такое?!— испуганно спросила Линка.

— Да разве так ведут трудовые ведомости? Тут черт ногу сломает — ничего не разберешь.

— Ну я-то все разбираю. И потом — я ведь не счетовод. Я бухгалтерских курсов не кончала. Я — учительница, только и всего...— обиделась Линка.

И Фешка, вдруг проникнувшись к Линке чувством нежности, граничащим с жалостью, обняла ее за хрупкие плечи, с ласковым участием сказала, заглядывая во влажные большие глаза:

— Ну ладно. Не обижайся. Я же понимаю, трудно тебе. Я же понимаю... Невеселое дело для тебя эти табели. Да куда же от них денешься? Мне вот тоже не ахти тут как весело со всякой сволочью с голыми руками воевать. А приходится... Ты знаешь, я бы сейчас на крыльях в совхоз, в тракторную бригаду улетела. Там жизнь — не чета нашему хутору, дух захватывает! Да кто же здеш-

них-то наших ребят с мужиками из беды выручать станет? Одному Роману не разорваться. Да и задолбят его тут одного эти гады, ни дна бы им, подлецам, ни покрышки! Вот я и решила остаться, где потруднее. А там видно будет — чья возьмет. Скорей всего наша, конечно!— убежденно заключила Фешка.

Тронутая неожиданной теплотой и лаской в голосе Фешки, Линка едва удержалась в эту минуту от слез и крепко пожала ей руку.

Эта порывистая доверчивость Линки еще больше расположила к ней трактористку, и ее потянуло вдруг пооткровенничать с Линкой. И тогда, заметно волнуясь, Фешка рассказала учительнице о своей ночной встрече с Иннокентием.

Выслушав Фешкин рассказ, Линка испуганно посмотрела на нее округлившимися глазами и сказала:

— Господи, а что, если он убил бы тебя, Фешка?

— Тогда он меня не решился убить. А вот за завтрашний день ручаться не стану... Может и убить. Не в лоб. Из-за угла. Ночью.

— Боже, что ты говоришь?! А главное — так спокойно! С ума ты сошла?!

— А что делать?

— Как, что делать? Надо немедленно заявить об этом.

— Кому заявить? Милиционеру Левкину?!

— Ну, я не знаю. Не Левкину — в райцентр, что ли...

Фешка вздохнула. Затем, после некоторой паузы, она вне всякой связи с предыдущим их разговором, точно думая вслух, сказала:

— Ах, только бы Роман не съездил впустую. Не вернулся бы он из совхоза с пустыми руками. Вот чего я боюсь больше, чем окатовской пули! Больше всего на свете... Ведь там, у нас в совхозе, своя горячка. Своя уборочная на носу. Двадцать тысяч га убрать — это не шутка! Но и нам без трактора завивай горе веревочкой! Кулачье нас своим лжеколхозом верной опоры нашей лишит: бедноты с середняком, и мы тогда плохие вояки с этой отпетой стаей волков, Линка!

Умолкнув, Фешка задумалась, глядя в распахнутое окно на мятежный огонь полыхавшего заката.

— Завтра опять буря будет. Смотри, как заря полыхает — пожар пожаром!— сказала Фешка, привлекая к себе стоявшую рядом Линку.

Доверчиво прижавшись холодной щекой к теплой Фешкиной щеке, Линка тоже задумчиво стала смотреть на бушевавшее море огня позолотевшими от его отблесков глазами.

31

Этот глухой, но стремительно нарастающий грозный грохот и гул первым услышал старый беркут. Спрятав каленый клюв под огромное ржавое крыло, беркут дремал на придорожном кургане. И вдруг, очнувшись, отряхнулся он и настороженно вытянул шею. Потом, подпрыгнув на пружинящих ногах, взмахнул могучими, с белым подбоем, крыльями и, чертя косые круги над степью, стал набирать высоту.

Вслед за беркутом был напуган конек Капитона Норкина, мирно пасшийся спутанным неподалеку от хутора. Заслышав рокочущий гул в степи, он задрал квадратную морду, зафыркал, точно зачуяв волчью стаю, и, порвав треног, заметался то в одну, то в другую сторону, не зная, куда податься.

Над степью вставал рассвет. Меркли неяркие звезды. А гул раздавался и поднимал с горячих, насиженных гнезд тучи птиц. В смятении трепетали они над тусклыми осколками озерных плесов, над темно-зелеными зарослями дремучих камышей. Лебеди обрывали свою недопетую предрассветную трубную песню и кружились в безмолвии над озерами, не решаясь спуститься на сонную воду знакомых плесов.

А между тем железная музыка все наступательнее, все громче и громче победно гремела над степью, и косяки не знавших узды степных кобылиц, пасшихся на вольном подножном корму, бросались вслед за своим вожаком-жеребцом в глубь степей, исчезая вдали, подобно смерчам и вихрям.

Всполошился, пришел в движение и разбуженный неслыханным странным грохотом казахский аул. Оторопевшие люди в исподнем белье толпились около юрт, спрашивая друг друга наперебой, что случилось и откуда взялись эти непонятные, бросавшие в оторопь звуки?!

Но вот на вершине холма показался джигит, и все поняли, что то был гонец из соседнего аула. Но никто не мог знать, с худой или доброй вестью скачет он. Когда всадник подлетел на взмыленном коне к аулу, толпа

аульных жителей — от старого до малого — окружила его, и самый почетный из седобородых аксакалов спросил джигита:

— Хабар бар — есть ли новости?

— Бар хабар — есть новости. В степи появилась железная арба. Аксакалы говорят: шайтан-арба. Я сам ее видел. Она идет без дороги, целиной, от урочища Карасу в сторону русского хутора Арлагуля. Она идет сама и гремит — земля стонет.

— Уй-бой! Уй-пурмой!— раздавались со всех сторон удивленные возгласы казахов.

— Зачем и откуда взялась шайтан-арба? К добру это или к худу?— допытывался у всадника аксакал.

— Есть хабар, что она идет издалека. Из-за урочища Пак-Дала, сто верст от нашего аула. Там есть, говорят, богатая фабрика зерна — так ее называют русские,— это ее железная арба. А к добру или к худу она появилась в степи, этого пока, аксакал, никто не знает,— ответил всадник.

Аульные джигиты, попадав на оседланных лошадей, полетели в карьер вслед за джигитом, принесшим весть, в глубь степи, откуда доносился грохот железной арбы. Скоро джигиты настигли целое полчище других степных всадников и присоединились к ним, разинув от изумления рты при виде тарахтевшей в степи железной арбы, двигавшейся без коней по обочине неторного степного проселка.

Это был колесный трактор с трубой над капотом — фордзон. Грохоча и дымя, шел он на третьей скорости целиной, волоча за собой на прицепе новенькую сноповязалку. За рулем трактора красовался черноволосый — волосы, как у цыгана, из кольца в кольцо — русский парень. А на высокой беседке сноповязалки сидела, беспечно побалтывая босыми ногами, светловолосая русская девчонка. То были посланцы Степного зерносовхоза — Иван Чемасов и Морька Звонцова.

Почти всю неблизкую дорогу от зерносовхоза до хутора их сопровождали джигиты. Одни из них, налюбовавшись диковинной машиной, скакали обратно в свои аулы, другие сменяли их на пути. И Иван Чемасов, и Морька Звонцова, успевшие привыкнуть к такому эскорту восторженно-шумных всадников, уже почти не замечали их.

Но вот трое оборванных пастухов и босой старик в

малахае, второпях, должно быть, надетом наизнанку, набравшись храбрости, приблизились к трактору. И когда Иван Чемасов, остановив машину, протянул большую, черную от мазута руку самому маленькому из подпасков, бойкий казашонок, к великому удивлению всадников, не отпрянул назад, а, подхваченный трактористом за руку, прыгнул на трактор. Примостившись за спиной тракториста, крепко вцепившись обеими руками в его плечи, пастушонок зажмурился и восторженно закричал:

— Уй-бой! Уй-пурмой! Джаксы арба!

Трактор зарокотал и с такой прытью рванул вперед, что зазевавшаяся Морька Звонцова чуть было не слетела с беседки подпрыгнувшей сноповязалки.

А пастушонок, примостившись за спиной Ивана Чемасова, торжествующе озирался вокруг и продолжал восторженно что-то кричать следовавшей по пятам ватаге джигитов. Его плоское скуластое лицо сияло в это мгновение такой улыбкой, какая воплощает в себе и восторг, и тревогу, и гордость, и удивление. Музыка необычайного движения захватила пастушонка. На мгновение ему показалось, будто машина не шла по степи, а летела птицей по воздуху, и у пастушонка замирало сердце, как замирало оно у него разве только на байге — во время степных скачек, на резвом скакуне. Мальчик, захлебываясь от радости, путая родной язык с русским, кричал:

— Ай, какой джаксы шайтан-арба! Уй-бой! Уй-пурмой, какой кароший русский железный телега!

— Джаксы урусский джигит! Джаксы арба!— наперебой, стараясь перекричать друг друга, вторили сияющему подпаску ликующие джигиты.

И только знатные люди степей, почетные старцы родов, чьи бороды были покрыты серебром мудрости, чья слава, почет и разум измерялись количеством их табунов не знавших узды кобылиц и несчитанными гуртами рогатых,— только они темнели в это мгновение от страха, злобы и черной ненависти к грозно грохотавшему в степном просторе стальному коню. Следуя на своих рысаках за джигитами, баи, косясь на шайтан-арбу, молчали, без нужды горяча танцующих под ними коней.

А безлошадные люди степей — джетаки, приветствуя русского тракториста и невиданную самоходную машину с гривой дыма, продолжали кричать, захлебываясь от изумления:

— Уй-бой! Уй-пурмой! Джаксы урус!

— Джаксы темир-арба. Джаксы железная телега!

Когда трактор подходил к хутору, над степью вставало огромное багровое солнце. Теплый ветер доносил из глуби степей медовый аромат разнотравья и налившихся нив, зазолотевших под брызгами солнечных лучей. И Морька Звонцова, озирая окрестный простор с высокой своей беседки, восторгалась вслух:

— Ой, боже ты мой, красота-то какая, умереть можно!

Первым из хуторян увидел трактор дедушка Конотоп. Разбуженный небывалым грохотом и шумом, доносившимся из степи, дедушка Конотоп, спавший на гумне, перелез через прясло и, заметив целую тучу конницы, с гиком двигавшуюся из степи к хутору, бросился наутек, потерял с левой ноги опорок и схоронился на всякий случай до поры до времени за плетнем.

Хутор мгновенно проснулся, как по набату. По улицам мчались сломя голову ребятишки. За ребятишками бежали сонные, растерянные, перепуганные бабы и мужики. Луня, выскочив из избы в одних портках, без рубахи и ошалело крутясь на перекрестке, кричал:

— Горим, граждане?! Где? Которо место горит?!

Кузнец Лавра Тырин, только что спозаранку опохмелившись у попа Аркадия, мчался с резвостью застоявшегося рысака по улице. Заметив наконец целую армию конных джигитов, тучей двинувшихся на хутор вслед за дымящей и грохочущей машиной, Лавра Тырин остолбенел.

— Камо грядеши?!— проговорил он, разбросив руки.

Позднее всех выскочили навстречу трактору Фешка с Линкой. Они прибежали в ту минуту, когда трактор, свернув в переулок, с разгону влетел в канаву и забуксовал в ней.

— Куда тебя черти несут?!— крикнула Фешка улыбавшемуся ей во весь рот Ивану Чемасову.

— Не видишь — куда? К вам на блины прямым маршем с Морькой прибыли!— весело сказал Чемасов.

— Морька?! Милая! И ты к нам?! Ой, господи, с ума сойти можно... Ой, как я рада! Вот уж не ждали-то...— лепетала Фешка, волчком суетясь около забуксовавшего в канаве трактора.

Из толпы кто-то крикнул:

— Вот это ловушка — до второго пришествия ему теперь из этой ямы не вылезти!

— Не каркай — вылезет!
— Вот это машина — земля ходуном!
— А самовяз-то — с иголочки! Не самовяз — ераплан с крыльями!
— Машина добра, только дух от нее шибко тяжелый. Керосином прет — угореть можно!
— Ребята, смотрите, вылазит!
— А ты думал, тебя будет дожидаться на выручку!
— Попер, попер! Тпру-у, обратно задки увязли.
— Вот тебе и трахтур — ни тпру, ни ну, ни кукареку!
— А дымища-то из трубы — как из паровозу!
— А это и есть паровоз, только по земле шпарит, без рельсов.
— Мужики, а сколько он за день спашет?
— А хоть тыщу десятин. Ему што — он железный!
— Правильно. Этот овса не запросит!
— Зато керосину жрет, на всю зиму-зимскую без свету хутор оставит!
— Не мели, Емеля, не твоя неделя!
— Правильно. Сегодня на нашей улице праздник.
— Кому праздник, кому черна пятница...
— Ур-р-ра! Попер! Поеха-ал!
Выскочив наконец из канавы, трактор, весело затарахтев на третьей скорости, пошел узеньким переулком. Народ — конный и пеший, старый и малый — валом валил за невиданной до сего машиной, галдя каждый свое:
— Вот жмет — не догонишь!
— Такого бы железного бегунца да к нам на пашню.
— Чего только на белом свете не выдумают, страсти!
— Сатана его выдумал — не человек...
Фешка, примостившись за тракторным рулем рядом с Иваном Чемасовым, тоже, ни на минуту не умолкая, тараторила, как сорока:
— Ой, Ваня, места от радости не найду! Расцеловала бы тебя, кабы не народ...
— Ничего, я потерплю до вечера, когда никого не будет...— отшучивался Иван.
— Правда, правда, Ваня... Ты подумай, трактор со сноповязалкой! Да ведь это же для нас здесь знаешь что! Ведь мы теперь — сила!.. Давай вот на эту улицу вороти. А потом — на площадь. Митинг сейчас проведем, раз такое дело... А Роман ночью только со станции вернулся. Разыграл нас с Линкой вчера, собака! Приходит, смо-

трю, кислый. Мы — к нему. Как, мол, дела? А он, глазом не моргнув, в ответ брякнул: «Худо, девчата. Отказали!» У меня сердце упало. Вот это, думаю, отстрадовались! Чуть ревака не дала со зла и досады. А Азарову с Уразом вчера поикалось, должно быть. Я им всех чертей помянула...

— Роман — это кто? Посол-то ваш? Напористый парень!— сказал Иван Чемасов.

— Ну и вот. Он только потом нам признался, что ради шутки нас подзавел,— не слушая Чемасова, тараторила Фешка.— Мы верили ему и не верили. Я всю ночь глаз не смыкала — ждала вас. А под утро забылась и чуть вот всю обедню не проспала... Ну, а как там у нас — в совхозе? Ладно, потом расскажешь. Вороти на площадь.

В это время, откуда ни возьмись, вынырнул прорвавшийся сквозь толпу хуторян Филарет Нашатырь. Прошлявшись после случившейся с ним беды дней пять по знакомым тамырам-дружкам в аулах, он не вытерпел и решил вернуться в артель с повинной. Подбежав к сидящей за рулем с трактористом Фешке, Нашатырь заискивающе спросил:

— Сказывают, митинг на площади будет, Феша?

— Будет, дядя Филарет. Будет,— живо откликнулась Фешка.

— Тогда, может, в большой колокол мне вдарить?

— Валяй, хоть во все колокола!— весело сказала Фешка.

32

Фешка твердо верила в великого своего союзника и организатора — машину. Она была глубоко убеждена, что все в конце концов может решить трактор, и исход этой жаркой классовой схватки хуторской и аульной бедноты с окатовско-пикулинским лагерем завершится в пользу «Интернационала». Но Романа очень беспокоил неожиданный и резкий упадок того подъема, который вызвал среди хуторян неожиданно появившийся совхозный трактор. На другой же день всеобщее возбуждение сменилось подозрительной настороженностью и недобрым помалкиванием мужиков.

По хутору поползли нехорошие, тревожные слухи. На вечерних завалинках, на уличных перекрестках, у ко-

лодцев, по огородам, по избам — везде и всюду говорили люди вполголоса, с оглядками.

Епифан Окатов, доселе страдавший тяжким недугом, приковавшим его к постели, неожиданно воспрянул духом, отчитал псалтырь по умершей хуторской знахарке и повитухе Соломее и вечерами стал опять появляться на улице. Чутко прислушиваясь к бабьим пересудам, он, потрясая библейским посохом, произносил загадочные, полные недоброго смысла слова:

— Мне отмщение, и аз воздам! Так сказано в Священном писании пророком Иеремией. Придет час возмездия железной пяты, и он уже близок. Надругается над святой землей идол, и распнет ее, и лишит ее злаков и трав отныне и вовеки...

На хуторе говорили о том, что приехал тракторист Ванька Чемасов на тракторе в Арлагуль неспроста, как неспроста вертелась здесь столько времени Фешка. И чем нелепее были слухи, тем, как всегда, люди охотнее верили им. Говорили, что Ванька Чемасов привез с собой кабальный договор, который рано или поздно вынуждены будут подписать арлагульские мужики. Болтали, будто Фешка составляла тайные списки, и после страды всех, кто в этих списках окажется, угонят в зерносовхоз и поставят там на непосильную даровую работу.

— Да. Да. Да. Был и мне такой слух от верного человека,— подтверждал таинственным шепотком Силантий Пикулин.

— А горе-колхозничков из Ромкиной карликовой артели забреют в первую голову. Это как пить дать, граждане хуторяне!— вторил трахомный Анисим.

— А потом опять же сказывают, что, если на трахтуре этом самом хлеб выкосить, зерно все чисто наскрозь пропитается керосином,— доверительно сообщал некоторым арлагульцам один из куликовских близнецов — Ефимка.

— То же самое и про пахоту сказывают,— подхватывал вслед за братом второй из близнецов.— От этого керосинного его духу ни одно зерно не взойдет, все семена дотла в земле выгорят. Во!

— Черт знает что барахлят на хуторе — уши вянут!— сказала как-то Фешка Ивану Чемасову.

— А ты не слушай кулацкие бредни,— заметил Чемасов.

— Я-то не слушаю. Народ прислушивается. Любую

чушь на веру принимают. Чем, понимаешь, ни глупее слух, тем в него больше верят — вот беда.

— Слухам надо отпор давать.

— Попробуй-ка дай!

— А что? Давай попробуем.

— Каким же это, к примеру, манером?

— Очень простым. Общехуторское собрание созвать надо. Вот там и карты на стол.

— А ведь это верно, Ваня. Митинг мы провели к месту. А вот до этого не додумались. Правильно, давайте соберем весь народ в школе и потолкуем по душам, что к чему. Ты, например, про совхоз наш толком расскажешь. Роман пусть доложит народу о задачах вашей бригады. Это ты дело придумал, товарищ бригадир,— с живостью поддержала чемасовское предложение Фешка.

Время для проведения общехуторского собрания, по мнению ребят, было как раз подходящее — канун страдной поры. Хлеб еще только дозревал, и народ, готовясь к жатве, весь был на хуторе.

— Только соберутся ли мужики — вот вопрос. Кулачью удалось запугать некоторую часть бедноты, да и середняков не на шутку,— напомнил Роман.

— Ну, попытка — не пытка, ребята. Попробуем,— сказал Иван Чемасов, и все согласились с ним.

После двухдневной беготни по хутору комсомольцам, хотя и с великим трудом, удалось созвать в школе бедняцко-середняцкое собрание. Иван Чемасов должен был сделать доклад о задачах рабочей бригады, прибывшей на хутор из зерносовхоза. После того как избрали президиум и председательствующий Роман Каргополов предоставил слово докладчику, в школу вдруг ворвался как угорелый Ефимка Куликов и заорал не своим голосом:

— Пожар! Горим, граждане!

Поднялась суматоха. Сорвавшиеся с мест мужики и бабы ринулись, давя друг друга, к двери. Проня Скориков, бросившись к окну, вышиб пинком раму, и многие вслед за Проней начали прыгать на улицу через окошко.

А в это время и в самом деле над хутором уже стлался шлейф густого черного дыма. Бабы с ревом и причетами бестолково метались по улицам. Из окон вылетали подушки и самовары, перины и сундуки. Мужики, взвалив попавшийся под руку скарб на телеги, гнали во весь дух лошаденок с хутора в степь.

Зловеще-частые, стонущие с подвывом удары набатного колокола плыли над хутором. Черные столбы дыма все грузнее, все выше поднимались над степью, закрывая добела раскаленное полуденным зноем небо. Все смешалось в эту минуту: и пронзительный бабий визг, и тревожные крики домашней птицы, и чьи-то грозные окрики, и леденящий душу собачий вой.

Даже всегда бесстрастный и на редкость спокойный при всех обстоятельствах Мирон Викулыч потерял себя в эту трагическую минуту. Крутясь под навесом хозяйственного двора артели, он зачем-то искал совсем ненужный ему сейчас хомут с гужами. И хотя этот хомут висел перед глазами Мирона Викулыча на стойке, растерявшийся старик все же не находил его.

— Ах, батюшки! Ах, какой грех! Ах, какая оказия! Да где же это у меня хомут-то?! А ветрища-то — как на беду. Как корова языком слизнет при таком пожаре хутор...— бормотал Мирон.

Первыми к месту пожара прибежали комсомольцы во главе с Аблаем и Егором Клюшкиным. Горело самое отдаленное от хутора гумно близнецов Куликовых. На этом гумне стояли приземистые десятилетние скирды соломы и вороха почерневшей от времени мякины. Все было сухим, как порох, и огонь дал тут полную волю своему жуткому торжеству и разгулу. Комсомольцы, беспомощно суетясь около пожарища, только теперь обнаружили, что прибежали они сюда с пустыми руками. Лишь один Иван Чемасов был вооружен подвернувшимся под руку заступом. Размахивая этим заступом, Чемасов кричал:

— Трактор надо сюда, ребята! Трактор, товарищи!

Фешка успела уже прицепить к трактору двухлемешный плуг и мчалась на третьей скорости к месту пожара. За трактором гналась стая перепуганных суматохой, но не утративших любопытства ребятишек.

Гумно стояло в полутора верстах от хутора. И хотя день был на редкость ветреный, люди, опомнившись, поняли, что угрожать хутору отсюда пожар не мог.

Егор Клюшкин, сидя верхом на пожарной бочке, протестующе закричал:

— Ну их к чертовой матери! Я возражаю. Не опахивать! Пусть сгорит прахом это кулацкое гумно — не жалко.

— Нет, нет! Опахать, обязательно опахать, ребята!—

твердил, суетясь около подошедшего трактора, Иван Чемасов.

— Факт, опахать! Что вы, с ума сошли — с огнем при таком ветре шутить?! Не в гумне дело...— кричала Фешка, торопя Ивана, возившегося возле прицепленного к трактору двухлемешного плуга.— Да что ты там возишься? Опускай рычаги живее!

— Готово. Опустил. Газуй!

И Фешка повела машину вокруг пылающего гумна. Плуг пополз вслед за трактором, глубоко врезаясь лемехами в целинную землю, переворачивая тяжелые пласты чернозема. Толпа мужиков и баб, забыв про бушевавший рядом пожар, следила за работой трактора. Украдкой поглядывая на народ, Фешка ловила изумленные взгляды мужиков и баб, ревниво следивших за работой невиданной машины. И по тому, как одобрительно покрякивали мужики, по тому, как беспокойно переминались они с ноги на ногу, почесывая затылки, Фешка почувствовала, что пахота трактором пришлась по душе природным хлеборобам, вкладывающим столько труда в каждую борозду поднимаемой ими в складчину на своих лошаденках целинной, веками не знавшей плуга земли. «Нет, трактор — это лучший наш агитатор за колхозную жизнь в деревне!»— убежденно думала Фешка, довольная в душе случаем, помогшим ей продемонстрировать на народе тракторную пахоту.

Сделав пять кругов вокруг догоравшего свечой гумна, Фешка, выехав из борозды, остановила и заглушила трактор. Толпа хуторян, сбежавшихся на пожар, окружила плотным кольцом машину, и Фешка, покосившись на стоявших рядом Романа с Иваном Чемасовым, подумала: «А ведь сорванное собрание можно и здесь продолжить. Право, самое подходящее место. Лучше и не придумаешь!» И она, легко спрыгнув с тракторной беседки на землю, подошла к Роману и Ивану Чемасову, чтобы поделиться с ними своим предложением.

Но в это мгновение внимание Фешки привлек не в меру возбужденный и взволнованный Ералла. Босоногий казашонок с длинным пастушеским бичом на плече, стоя лицом к лицу со своим неразлучным приятелем — Кенкой, о чем-то горячо, вполголоса говорил сверстнику, все время показывая при этом то кивком головы, то пальцем на подслеповатого Анисима, стоявшего рядом с Ефимом Куликовым. Анисим со скорбным выра-

жением лица смотрел на догорающее гумно, горестно покачивая головой, тяжко вздыхая.

Вдруг до Фешки, да и до всех находившихся с ней рядом донеслись слова Кенки:

— А чего ты мне-то трепешься? Ты возьми да при всех вон Роману или Феше скажи. Трус ты такой, что ли?!

И Кенка, схватив за руку Ераллу, поволок его за собой к трактору, возле которого стояли Роман с Фешкой, Линка, Морька Звонцова и Иван Чемасов.

— Вот спросите его, понимаешь. Он все сам видел. Пожалуйста,— сказал Кенка, слегка подталкивая в спину Ераллу.

— В чем дело, Eралла?

— Что ты видел?

Переведя дух, Eралла сказал, указывая на стоявшего в толпе Анисима:

— Это — она. Мы все хорошо видали. Мы табун пасли. Так? Вон у той озерка. Табуну стало жарко. Весь коров и быка побежал и стоял в озерка, ничего не думал. А наша лежал в трава и мала-мала думал, смотрел разный там всякий туда-сюда сторона. Так? А потом Анисим верхом приехал и нас не видали. А мы из высокой, большой трава все хорошо видали. Она спутала своя лошадь вон в той камыша, а сама помаленьку пришла этой гумна и потом шибко все зажигала!

— Врет! Врет он все, азият! Поклеп! Ничего я сном-духом не знаю. Не верьте этому сопляку, граждане мужики и гражданки бабы!— завопил не своим голосом Анисим и в смятении заозирался вокруг, ища у оторопевшей толпы сочувствия.

С минуту стояла гробовая тишина. Было только слышно, как потрескивала под ворохом пепла догорающая на опаханном гумне солома. И вдруг по толпе точно ток прошел, вслед за чьим-то обличительным возгласом градом посыпались гневные выкрики:

— Он — поджигатель. По морде видно!

— Парнишка не станет с бухты-барахты врать...

— Это он для смуты собрания, варнак, придумал.

— А если бы огонь на хутор переметнулся?!

— При таком-то ветре — в один секунд!

— Спасибо, трахтур годился, а то бы поминай теперь, как хутор наш звали!

— Без трахтура нам каюк!

— В Совет его, поджигателя, к протоколу!

— Правильно, приговор ему миром вынести и — на выселки!

— Туда ему и дорога! Обыкновенное дело!

Толпа шумела, все плотней, все тесней замыкая в кольцо побледневшего, насмерть перепуганного Анисима. А он, жалко съежившись, вобрав в плечи маленькую голову, продолжал бормотать нечто бессвязное в свое оправдание, клясться в невиновности, шныряя подслеповатыми быстрыми глазами по сторонам.

Возбуждение толпы дошло до такого предела, что Роман Каргополов, опасаясь самосуда, вскочил на трактор и закричал:

— Тихо! К порядку, граждане. Дайте мне слово... Так тоже нельзя, товарищи. Надо спокойно во всем разобраться...

— Вот именно. По закону надо все выяснить, мужики!— поддержала Романа Фешка.

Но их голоса потонули во взрыве новых выкриков из толпы:

— Все и так как божий день ясно!

— Голову ему отвернуть, подлецу, за это. Один ответ!

— На выселки поджигателя! Подпишемся все, как один, под таким мирским приговором — и баста!

— Правильно. Мирской приговор — вот и весь ему суд!

Роман, стоя на тракторе, старался перекричать мужиков, призывая их к порядку.

Но тут прозвенел высокий голос Фешки:

— Тихо, товарищи! Тихо!.. Я предлагаю продолжить наше собрание. Я предлагаю...

— Правильно! Открывай собрание!

— Пиши протокол!— перебили Фешку мужики в несколько голосов.

— Тогда к порядку, к порядку, граждане хуторяне. Я вам это как председатель говорю. И общее собрание хуторской бедноты совместно с сознательным середнячеством считаю продолженным,— объявил Роман.

— А ты садись на тракторную беседку и пиши протокол,— сказала Фешка Линке, державшей в руках ученическую тетрадку с начатым протоколом собрания.

— Слово предоставляется руководителю рабочей бригады, прибывшей к нам из совхоза в порядке социа-

листической помощи, товарищу Ивану Чемасову!— объявил Роман.

Но тут опять кто-то крикнул из толпы:

— Нет, сначала пущай мужики выскажутся!

— Хорошо. Ясно-понятно. Не возражаю. Пускай сначала говорят граждане мужики,— охотно согласился Роман и, обведя притихшую толпу испытующим взглядом, спросил:— Есть желающие высказаться?

Все, переглядываясь, молчали. Роман терпеливо ждал.

Наконец из толпы вышел на круг Проня Скориков. Поспешно сорвав с головы потрепанный, видавший виды картузишко, он долго мял его в руках, потом, мельком взглянув с виноватой улыбкой на Фешку и на Романа, сказал, разводя руками:

— Вот, мужики, я тут весь перед вами... Вот и Анисим опять же тут на виду у всех стоит. Бесстыжие глаза на мир лупит. А я что скажу? Прямо не знаю, к месту ли мое слово. Только сердце у меня огнем занялось — не хуже гумешка этого... А пошто так? Я в работниках у Анисима жил?

— Жил. Жил!

— Все знают...

— Из работников не вылазил — известно!— послышались из толпы мужицкие голоса.

— А платил он сполна мне хоть раз по уговору? Нет, шабаш — не платил, гражданы мужики. Это я вам как на духу говорю...— продолжал речь Проня Скориков.— Отмантулю я у него с пасхи до покрова, как водится. Ладно. А за расчетом придешь, он на тебя волком смотрит. Ты свое требовать, он на тебя — с кулаками! Было дело, Анисим? Было! Били вы меня со своим братцем-покойником? Били. Не раз. Как собаку. Походя. А в третьем году так меня отделали перед Ирбитской ярмаркой, что я едва богу душу не отдал — кровью всю зиму-зимскую харкал. Это они меня за телка. Телок ноги переломил в прясле. Вот меня за недогляд и усоборовали... Я, может, не то, гражданин председатель, говорю? Не к плану, может?

— Что ты, что ты, дядя Прокопий! Все то самое. Все ясно-понятно. Продолжай, говори. Говори!— подбодрил его Роман.

И Проня продолжал неторопливо, бесстрастно рассказывать хуторянам невеселую повесть о днях своей

скупой на радости и удачи, но не в меру щедрой на обиды и беды жизни.

Мужики и бабы, стоявшие перед ним стеной, потупясь слушали эту повесть.

Анисим застыл, точно пригвожденный к столбу, не смея поднять подслеповатых глаз, злобно покусывая тонкие бескровные губы, и каждое слово безропотного в прошлом батрака входило острым гвоздем в темную и холодную, как бросовый погреб, душу его, преисполненную звериной злобы против этого невзрачного, забитого мужичонки, которого слушали в безмолвии столпившиеся вокруг люди.

Линка, примостившись на тракторной беседке, вела протокол этого необычного, стихийно возникшего на месте пожара собрания. Она добросовестно, обстоятельно и подробно записала речь Прони Скорикова, и ей казалось, что не протокол писала она сейчас, а обвинительный акт против Анисима, Силантия Пикулина, Епифана и Иннокентия Окатовых. Нет, это был не только обвинительный акт. Это был и приговор вековому произволу и варварству уходящей в прошлое деревенской жизни.

33

На рассвете неслышно вышел Лука Лукич из своего безмолвного, точно древний могильный склеп, дома, оседлал черного, как вороново крыло, рысака и поскакал в степь по трактовой куяндинской дороге.

От плохого присмотра, от частых шальных разгонов конь за последние дни заметно похудел, поджаро втянув бока. Он не так уж, как прежде, чуял властную руку хозяина, припадал на опухшие передки и, спотыкаясь, на полном скаку едва не выбрасывал из седла угрюмо поникшего в тяжелом раздумье всадника. Тогда Лука Лукич злобно хлестал жеребца по морде витым черенком нагайки, в кровь разрывал ему удилами бархатисто-мягкие губы.

Много видывал на своем веку лошадей Лука Лукич, но никогда ни одной из них не мстил он за норов, не срывал на коне ни тоски, ни обиды. Большую любовь к лошадям унаследовал он от предков и свято чтил заветное слово родителя: «Конь — это тебе не человек, его уважать надо!..» И Лука Лукич ревностно соблюдал с малых лет эту неписаную родительскую заповедь. А теперь

вот, впервые за всю жизнь, без меры жестоко бил и мучил любимого жеребца, бил за каждый малейший отступ, бил и просто так, ни за́ что ни про что.

Выезжал Лука Лукич из дому каждое утро и целыми днями, от зари до зари, бесцельно колесил по глухому простору, часами петлял по забытым дорожкам, по полям, по неторным тропкам. Так петляет обложенный наглухо хитрый и умный зверь, норовя вырваться из смертельного круга. Низко сдвинув фуражку на лоб, затравленно-тусклым, померкшим взглядом озирал Лука Лукич былые свои владения.

Страшными и печальными в своей обреченности выглядели заброшенные на дальнем степном отлете, погибающие без надзора табачные плантации. Как на беду, выдуривший в это лето высокосортный табак был примят, перепутан, изломан ветрами.

Ни души. Ни звука вокруг. Пусты и разрушены шалаши поденщиков. Опустела настежь распахнутая, со впалыми глазницами окон, изба сторожа. Тайком от Луки Лукича покинул ее на днях последний, до сего верный и преданный ему работник, староживший несколько лет бобровские владения, Тарбаган. Он ушел, даже не потребовав расчета, и, по слухам, тоже, как все, определился в зерносовхоз.

И с тех пор как увел за собой Ванька Чемасов поденщиков, все пошло, покатилось в тартарары, рушилось прахом. Догнивали на корню табаки. Без помола стояла мельница. Осыпалась на корню озимая рожь... И страшила, бросала в озноб и оторопь Луку Лукича отныне чужая ему, враждебная степь. Но все же неотразимая сила безотчетно влекла его туда, где совсем недавно гулко и весело постукивала паровая, на два постава, мельница, где ходили, бывало, несчитанные его конские табуны и овечьи отары, где, казалось, вчера только умолкли оборванные на полуслове протяжные песни поденщиц и не остыли еще следы босых маленьких ног непокорной, навсегда потерянной Любки.

Покружив по опустевшим своим участкам и пашням, Лука Лукич стреножил близ кургана коня, а сам, навзничь повалившись в траву, слушал дремотный звон чернобыльника и, прикрыв воспаленные от тоски, от бессонных ночей глаза, гадал: вернет ли ему судьба былое могущество, обретет ли он когда-нибудь утраченный душевный покой, почет, прежнюю силу?

Но думалось худо. Гудела, как бубен, голова. Меркнул, мутился в очах белый свет. Не милы ему были в эту минуту ни родительский кров, ни рысак, ни любовница, ни овечья отара. Приподнявшись, он подолгу с презрительным равнодушием озирал гниющие табаки, одичавшие в запустении пастбища, луга, косогоры и пашни.

А в сумерках возвращался Лука Лукич домой. Затворившись в полутемной, неярко озаренной неугасимой лампадой комнате, пил он валерьянку, бром и водку, прислушивался, как бесновался закрытый в чулане дурак, и думал о том, как бы теперь поскорей да почище избавиться от весьма ненадежного человека, каким считал он Татарникова.

После убийства инженера Стрельникова страдал Лука Лукич бессонницей, подозревая в предательстве даже Софью, и страшился разоблачений. Оттого-то и не смыкал он глаз, сторожко прислушивался ночами к каждому звуку и шороху. И, опасаясь, как бы не накрыли его врасплох, держал наготове заряженный «смит-вессон» и берег как зеницу ока припрятанную от властей со времен гражданской войны забытую в его доме колчаковским сотником офицерскую шашку.

Иногда, в минуту редкого теперь душевного расположения, Лука Лукич, оставаясь наедине с Софьей, с горечью говорил ей:

— Нет, пришел шабаш. Роковой час мой ударил. Чую, стерегут меня всюду, всюду рыщут за мной, всюду ищут...

— Да полно выдумывать, беркут ты мой! Зря тебе все это мнится...— ласково уговаривала его Софья.

— Э-э, не зря! Нет, не зря!— твердил Лука Лукич с каким-то злорадным упрямством.— Сама знаешь, мне перед господом на смертном одре моем есть в чем покаяться. Страшное это будет покаяние! Да-а, грешил я в жизни немало. Осьмнадцати лет от роду вышел я вслед за родителем на грешную эту дорогу и шел по ней напрямик, ничем не гнушался, ничего и никого не страшился. «Не щади, не жалей, мое чадо, людей, ибо в час роковой они тоже тебя не пощадят и не пожалеют!»— поучал меня с детства покойный родитель... Было время, и грешил я не в меру, и небесного судию гневил ежечасно, ан спал по ночам бездумно и крепко, брому не потреблял, душевных невзгод не ведал... А теперь вот, едва осилил одного предателя, и места себе ни в собственном доме, ни в степи не могу найти...

— Это пройдет. Не томись душой. Возьми себя в руки. Ты же богатырь! Ты же сила!— страстно нашептывала ему, горячо дыша в ухо, Софья.— А я за тобой и в огонь и в воду. Давай бросим все. Подадимся тайно в город Бухару. Там у меня тетка Анфиса живет. Модистка. А до персидской державы оттуда, говорят, рукой подать. Басмачей подкупим. Они и переправят нас в Персию!

— Не буровь что не надо, дура!— грубо отталкивал ее прочь Лука Лукич, презрительно глядя дикими, округлившимися глазами на притихшую Софью.— Ишь ты, в Персию бежать собралась! Знаю я, как ты за мной и в огонь и в воду пойдешь, персиянка! Не я тебе нужен, старый дурак, золото тебе мое дрыхать по ночам не дает, наличные капиталы мои, червонцы! Ты меня еще до города Бухары трижды басмачам перепродашь. Только доверься твоему блуду, засни у тебя на руке — в родимом дому подушками задушишь!..

— Опомнись! Что ты, бог с тобой, говоришь. Креста на тебе нету!— шептала в смятении побледневшими губами Софья.

— Молчи! Все вижу. Все чувствую... С четырех сторон идет на меня беда. В кольцо меня замыкают! Я теперь, кроме сабли да пистолета, никому не верю — ни воде, ни огню! А не ровен час — встанешь мне поперек пути, и тебе пощады не будет! Я с предателями нынче крут на расправу. У меня пока рука не дрожит. Даром я и самим гепеушникам в руки не дамся!— шипел Лука Лукич, подозрительно вглядываясь в каменное лицо Софьи.

Так обычно завершался теперь каждый раз доверительный разговор Луки Лукича с Софьей. Но не так завершился он сегодня.

Весь этот памятный день провел Лука Лукич в уединении, в полухмелю, в томительном ожидании вечера. День был ненастный. Моросил мелкий, словно сеялся сквозь частое сито, дождь, и смерклось не по-летнему рано. Было уже совсем темно в тихом бобровском доме, когда Лука Лукич, неслышно войдя в спальню Софьи, провел с ней наедине с полчаса, и на этот раз мирно, без обычных упреков и подозрений ее в предательстве. Он был непривычно ласков с нею и, больше того, уходя, осторожно, полунамеками, посвятил ее в сокровенные свои

замыслы, которые твердо решил осуществить не позднее сегодняшней ночи в доме Ларисы Кармацкой.

— Вернусь ныне поздно,— предупредил он снохy.— Еще на одно рискованное дело башку очертя иду. Благослови, ежели желаешь удачи...

— Благослови тебя бог. Поезжай. Я не буду спать. Ждать тебя буду,— кротко сказала Софья, провожая свекра за дверь.

А через час, чуть не запалив застоявшегося за день в полутемной конюшне жеребца, доскакал Лука Лукич сквозь ночную дождливую мглу до усадьбы Ларисы Кармацкой.

Спешившись в старом, запущенном саду, он провел жеребца в поводу боковыми аллеями к старой, полуразвалившейся конюшне и привязал его за повод недоуздка к столбу. Затем стал пробираться на ощупь в кромешной тьме к дому. Выбравшись на полянку к опрокинутой недавним ураганом беседке, он заметил условный свет в окне, выходящем в сад,— на подоконнике горела свеча в старинном подсвечнике. Это значило: можно входить.

Лука Лукич, неслышно войдя в кухню, озаренную одинокой свечой, тотчас же погасил ее и потихоньку снял новые шагреневые сапоги: они у него сильно скрипели. Оставшись в одних носках, Лука Лукич так же неслышно прошел из кухни в смежную боковую комнату, где на столе тоже горела свеча в таком же старомодном бронзовом подсвечнике. Это была та самая комната, которая слыла у обитателей дома за гостиную и в которой так недавно и так счастливо обыгрывал Лука Лукич всех своих партнеров в покер — модную английскую картежную игру, вывезенную Татарниковым из Харбина. Везло ему здесь, как на беду, и он каждый раз, завершая азартную игру, туго набивал все карманы хрустящими червонцами.

Теперь в этой комнате не осталось ничего от былого уюта. Освещенная призрачным мерцанием одинокой свечи, она выглядела в поздний час ненастной ночи мрачной и нежилой.

На дверях, ведущих в столовую, висели плотные вишневые драпри с тяжелой бахромой. Насторожившись, затаив дыхание, Бобров услышал приглушенный разговор, доносившийся откуда-то словно из-под земли. Подкравшись на цыпочках к двери, Лука Лукич осторожно

раздвинул тяжелые пыльные половинки портьер. Припав глазом к замочной скважине, он притих.

Присмотревшись, Лука Лукич различил в глубине столовой полулежавшего на оттоманке Алексея Татарникова. Был он, к великому изумлению Луки Лукича, в ладно сидевшем на нем, хоть и немножко старомодном гражданском костюме, молодившем его, в ослепительно белой сорочке с галстуком «бабочкой», в модных остроносых туфлях «шимми», какие носили в ту пору городские щеголи.

«С каких это он радостей выщелкнулся, дурак?!» — злобно глядя на Татарникова, подумал Лука Лукич и, закусив губу, стал прислушиваться к разговору, который происходил между Татарниковым и хозяйкой дома.

Кармацкая сидела в изголовье Татарникова. Она рассеянно гладила узкой ладонью его жидкие, тронутые легкой проседью волосы, изредка бросая короткие неспокойные взгляды в сторону дверей гостиной.

Татарников, прислонившись спиной к подушке, тупо смотря немигающими глазами на мерцавшую в канделябре свечу, глухо говорил Ларисе:

— Бал окончен. Свечи погасли. И я остался, как говорится, с самим собою наедине... А одиночество располагает к раздумью. Вот я и додумался. Не знаю, поймете ли вы меня? Я — прежде всего солдат. Воин. Я приучен был драться с врагом в открытом бою. Поле битвы было для меня полем чести. И я честно дрался с большевиками. Но битву мы проиграли. Это был крупный проигрыш. Роковой. По крайней мере для меня. Впрочем, и для всех нас.

— Вы так думаете?— спросила Кармацкая так, как спрашивают только для того, чтобы что-то сказать.

— Я убежден в этом. Там, за кордоном, я еще какое-то время мечтал о реванше. Верил белому атаману Семенову, что мы вернемся в Россию победителями. Теперь, вернувшись на родину, я увидел, я понял, как мы смешны, мелки и ничтожны перед той громадной силой, которая поднялась против нас.

— Что же это за сила? Не пойму я сегодня вас, Алексей Ильич. Не пойму. И не узнаю,— сказала со вздохом Кармацкая.

— Народ — это грозная сила, сударыня. Лука Бобров этого не понимает. И никогда не поймет. А вам, с ва-

шей тонкой душевной организацией, с вашим умом и чуткостью, следовало бы держаться подальше от этого авантюриста. В нем что-то есть от Гришки Распутина. Даже во внешнем облике. Не говорю уже о его характере — авантюрист, проходимец, палач!— с ожесточением сказал Татарников.

— Не в себе вы сегодня,— проговорила с кротким вздохом сожаления хозяйка дома.

— Это определенно,— охотно согласился Татарников.

— Вижу, если отказываетесь даже выпить со мной рюмку вина.

— Увольте, голубушка. Сегодня — пас. Не могу.

«Худо дело — табак! Должно быть, зачуял недоброе, выродок, оттого и не пьет»,— подумал Лука Лукич, глядя сквозь замочную скважину на стоявшую на столе бутылку портвейна и два хрустальных фужера, до краев наполненных золотисто-лимонным вином. Лука Лукич знал, что бокал вина, стоявший ближе к Татарникову, по договоренности с любезной хозяйкой этого дома, был отравлен мышьяком, дозой вполне достаточной, чтобы разделаться с опасным есаулом без особой возни и шума...

Но Татарников упорно отказывался пригубить роковой для него бокал, и было уже ясно, что он не выпьет его. А это разрушало все планы и замыслы Луки Лукича.

Нет, к сожалению, номер явно не удавался! А послушав сегодняшние речи Татарникова, Лука Лукич еще более укрепился в своем решении поскорее, любыми средствами избавиться от этого человека. И Лука Лукич твердо знал одно: выпустить в эту ночь из своих рук Татарникова было немыслимо, невозможно!

Между тем Татарников сказал, настороженно прислушиваясь к чему-то:

— Нет, судьба покойного инженера Стрельникова никак не улыбается мне, мадам!

— Совершенно ничего не пойму. При чем тут опять Стрельников?!— досадливо спросила Кармацкая.

— Чего же тут непонятного! У меня нет охоты умирать от руки Луки Боброва.

— Странные речи, Алексей Ильич! И что за связь: Стрельников и Бобров!

— Прямая, сударыня!

— А именно?

— Да вы что, в самом деле верите в самоубийство инженера?

— Это доказано судебной экспертизой.

— Ах, эти мне районные шерлоки холмсы!— сказал с кривой усмешкой Татарников.

— Вы подозреваете Боброва в убийстве?— спросила, метнув взгляд на двери гостиной, Кармацкая.

— Если бы только одни подозрения...

— Ну, милый, вы, кажется, заговариваетесь!

— Впрочем, оставим это. Курите,— сказал Татарников, раскрыв перед хозяйкой мельхиоровый портсигар, туго набитый папиросами.

Кармацкая взяла папиросу. И Татарников заметил, что пальцы ее при этом дрожали. Прикурив от спички, услужливо поднесенной Татарниковым, хозяйка быстро поднялась с оттоманки.

— Я пойду спрошу самовар,— сказала она и вышла в двери, ведущие в кухню.

Оставшись один, Татарников снова настороженно прислушивался к чему-то. Странно, но его не покидало все это время ощущение присутствия где-то рядом постороннего человека, тайно следившего за каждым его движением. Внешне как будто ничто не говорило об этом. В доме стояла мертвая тишина. Только шумел по-осеннему частый мелкий дождь за окошками да угрюмо гудели на ночном ненастном ветру старые тополя и березы в саду. Но всем своим существом, каждым, казалось, нервом и мускулом Татарников все же чувствовал присутствие этого постороннего человека в доме, и потому напряженная настороженность не только не шла теперь на убыль, а наоборот, все больше и больше обострялась с каждой новой минутой.

«Зачем понесло меня к ней?»— подумал Татарников про Кармацкую. Он и в самом деле не понимал сейчас, зачем очутился тут в эту непогожую, темную ночь, в тишине точно вымершего дома. Татарников, придвинув к себе наполненный до краев портвейном бокал, долго крутил его за хрупкую высокую ножку, пристально вглядываясь узкими татарскими глазами в искрящееся при мерцании свечей золотистое вино. Потом он торопливо отодвинул его от себя, пролив несколько капель лимонной жидкости на белую полотняную скатерть.

Кармацкая, неслышно вошедшая в комнату, где

притаился Лука Лукич, молча увлекла его в кухню и там закрылась на крючок.

— Не пьет — вот беда!

— Это я вижу. Худо угощаешь, стало быть...

— Старалась. Не выходит. Похоже, заподозрил что-то. И вообще мне все это надоело...

— Ну, ну у меня! Не хватало ишо, чтобы ты распустила вместе с ним нюни... Как хошь, а выпускать его отсюдова нельзя.

— Это понятно и мне. Только что же теперь придумать?

— Подумай. Ты — баба!

— Я свое придумала — не получилось. За тобой очередь...

— Топор есть под рукой?— вдруг спросил Лука Лукич шепотом.

— Что ты, что ты, Лука Лукич! Топором?! У меня в доме?!— воскликнула, отпрянув от Луки Лукича, побледневшая Лариса.

— Не шуми. Не закусывай удила. Я пушку дома забыл. А потом, без пальбы сподручней...

— Нет. Нет. Этого я не могу. У меня — нервы. Я с ума потом тут в доме одна сойду...— шептала в смятении хозяйка, клятвенно скрестив на груди узкие руки.

— Не сойдешь. Одну тебя не оставлю... Вместе в Туркестан убежим. А там — в Персию подадимся... Мешкать некогда. Говори, где топор?— коротко потребовал Лука Лукич.

Тогда она, стремительно бросившись к Луке Лукичу, обвила его багровую бычью шею гибкими руками и, прижавшись к нему, взволнованно зашептала:

— Нет. Нет. Нет. Что угодно, только не это... Я придумаю. Я сама. Слышишь?!

Но Лука Лукич, рывком разомкнув окольцевавшие его шею трепетные женские руки, отбросил хозяйку прочь и тут же оторопел от приглушенного окрика за окошком:

— Счастливо оставаться, господа террористы! До скорого свидания. Там — записка.

То был голос Татарникова. И пока Лука Лукич сообразил выскочить из кухни на улицу, было уже поздно. Стоя на крылечке под ночным дождем, Бобров услышал удалявшийся за оградой дробный топот некованых конских копыт.

Лариса, метнувшись в столовую, нашла на столе

записку. На вырванном из блокнота клочке бумаги, прикрывавшем фужер с портвейном, предназначавшимся Татарникову, было написано несколько строк косым, нервным почерком. Близоруко прищурив зеленоватые глаза, Лариса прочитала:

«Я выхожу из игры. Навсегда. Но показания по делу Стрельникова оставлю. Луку Боброва ознакомят с ними в ГПУ, и в ближайшее время! Татарников».

Дважды перечитав записку, Кармацкая решила утаить ее от Луки Лукича и растерянно заметалась по комнате, не зная, куда бы ее спрятать.

Но в это время в столовую вошел Лука Лукич и сказал, опускаясь на оттоманку:

— Ну что ты кидаешься из угла в угол, как рысь в клетке? Присядь-ка вот рядом. Это полагается у русских людей перед дальним путем-дорогой...

— А что? Какая опять дорога?— спросила настигнутая врасплох Лариса, позабыв о зажатой в кулаке записке.

— Дорога неблизкая, неисповедимая...— сказал Лука Лукич и тут же спросил:— Чем он там нагрозил, в этой писульке?

Лариса протянула смятый клочок бумаги. Лука Лукич, повертев записку, сказал, возвращая ее Ларисе:

— Не при мне писано — не разберу. Читай вслух, тебе его рука знакомее...

Несколько поколебавшись, Лариса прочла с запинками, торопливо глотая слова.

— Понятно. Вяжи узлы. Да лишнего не набирай. Через час-полтора пароконную бричку за тобой пришлю с надежным человеком.

— Это что же — бежать, что ли?— спросила чуть слышно, опускаясь на венский стул, Кармацкая.

— Нет, сиди, дожидайся гепеушников сложа руки,— насмешливо проговорил Лука Лукич, поднимаясь с оттоманки и застегивая кожаную куртку на все пуговицы:

— И куда же?

— Куда глаза глядят...

— Все же?

— У кучера спросишь дорогой. Мимо не провезет. Куда надо доставит.

— А ты?

— Обо мне не горюй. Увидимся.

— Где же?

— В надежном месте.

— Ничего не пойму. Шутишь ты, что ли?

— С гепеушниками шутки плохие...

— А если я никуда не поеду?— полувопросительно, полуутвердительно сказала Лариса.

— Поедешь. Не с моим послом в бричке, так в черном вороне. Я вчера у одного аульного тайноведа на бобах ворожил. Тебе две дороги выпали. Одна беглая — на край света. Другая казенная — до острога. Выбирай!— сказал Лука Лукич и тотчас же вышел, не захлопнув вслед за собой распахнутой настежь двери.

Лариса долго еще сидела на стуле с тревожно приподнятой головой, прислушиваясь к пропадающему вдали топоту конских копыт — знакомой иноходи бобровского жеребца. Потом, вскочив как ужаленная, она раскрыла громоздкий, окованный медью старинный сундук и, с лихорадочной поспешностью роясь в нем, принялась выбрасывать из него прямо на пол груды белья и платья. Затем отобранное добро так же лихорадочно, рывками стала вязать в узлы, рассовывать как попало по дорожным кожаным саквояжам и чемоданам.

Лука Лукич не подвел. На дождливом рассвете пароконная бричка, крытая цыганским шатром, стояла у черного входа в дом, и неразговорчивый мужик торопил хозяйку грузить вещи.

Часа через два Татарников, доскакав до центральной усадьбы Степного зерносовхоза, спешился на задворках своей квартиры. Закинув за луку повод, он бросил взмыленного коня прямо посреди двора. Потом бесшумно прошел к себе в комнату, захлопнул дверь на крючок, нащупал в темноте табуретку, устало опустился на нее и, облокотившись на стол, прикрыл ладонью глаза.

У него кружилась голова, ныли натруженные стременами ноги, звенело в ушах, тоскливо сжималось сердце.

Так, неподвижно, с полуоткрытыми глазами, просидел он довольно долго, а потом зажег свечу, достал из-за печки потрепанные пыльные сапоги и осторожно извлек из них искусно заделанные в подошвы давние свои письма, адресованные в Харбин — Маше Тархановой.

Придвинув свечу, Татарников внимательно перечел эти письма и решил их сжечь. Однако тотчас же разду-

мал и, бережно свернув, вложил в большой — казенного образца — плотный конверт. Обмакнув перо и немного помедлив, он, жалко улыбнувшись, четко вывел на конверте: «Харбин, до востребования, Маше Тархановой».

За стеной трижды прокуковали старинные стенные часы.

Татарников прислушался. Было тихо. Дождь прошел. Умолк ветер. Чуть внятно потрескивала догорающая, оплывшая свеча. Татарников вынул из кармана крошечный, полированный, тускло поблескивавший при свете свечи браунинг и долго разглядывал на ладони его тупое и маленькое дуло. Затем он осторожно, точно хрупкую вещь, положил револьвер на стол, опять настороженно к чему-то прислушался и, лихорадочно закурив папиросу и жадно глотая дым, принялся быстро писать на листке, косо вырванном из блокнота.

«Директору Степного зерносовхоза К. А. Азарову.

Прежде всего прошу извинить меня за эту покаянную записку. Отнюдь не случайно обращаюсь я в такую минуту к Вам. Передо мною лежит пистолет, который совсем недавно я должен был разрядить в Вашу голову. Сначала я не сделал этого из трусости, теперь же — из-за искреннего уважения к Вам. Вы принадлежите к породе людей удивительных, называющихся большевиками. И за это я ненавижу и уважаю Вас. Ибо и ненавидеть и уважать можно только сильных!

В Ваших руках не только настоящее, но и будущее. Вы победили. Я, как и прочие люди моего класса, пытался еще сопротивляться, однако признаюсь, что всякое сопротивление с нашей стороны теперь уже запоздало. Оно неумно, бессмысленно. Собственно, это втайне сознают все люди моего лагеря, но не у всех хватает мужества открыто признаться в этом, и потому многие из нас обольщают себя нелепыми надеждами на победу над вами. Некоторые из них продолжают бороться и, вероятно, не скоро еще сложат малонадежное свое оружие. К сожалению, я не могу разделить позиций врагов Ваших, крах которых для меня, например, очевиден. И вот я сделал вывод: ежели меня пристрелит за трезвое отношение к действительности тот же Лука Бобров, пристрелит так же тайно и ловко, как пристрелил он инженера Стрельникова, это будет нелепая и постыдная смерть. Гораздо будет честнее и проще расквитаться с

собой самому. Тех же из нашего брата, у кого не хватит решимости поступить так, как поступил я — Ваш классовый враг, побежденный Вами,— тех, у кого не хватит мужества разрядить последнюю пулю в собственную башку, Вы, понятно, смирите и уничтожите по всем законам классовой справедливости.

Не судите же строго меня за возможное мое малодушие. Своим выстрелом я зачеркиваю все мое прошлое, и это не из страха перед будущим — из уважения к нему! На прощание хотелось бы крепко пожать Вашу руку, Азаров!

Алексей Татарников».

Покончив с письмом, подумав немного, Татарников сделал в конце его такую приписку.

«У меня одна последняя просьба. Хотелось бы, чтобы письма мои, адресованные М. Тархановой, если это возможно, были отправлены адресату — Харбин. Почтовый ящик 13/25.

А. Т.»

Татарников встал и так швырнул ручку на стол, точно она обожгла ему руку. Глаза его блестели. На лбу, на висках, на переносице выступил пот.

Опять один раз прокуковали часы.

Половина четвертого.

Татарников взял со стола пистолет, мгновенно выпрямился, как по команде «смирно» в строю, и прикрыл глаза. Медленным движением приставив холодное дуло к виску, он нажал спусковой крючок.

Через два дня на одной из небольших железнодорожных станций в скором поезде, идущем на Алма-Ату, работниками ГПУ была задержана Лариса Кармацкая с подложным удостоверением личности и профсоюзным билетом на имя учительницы Анны Федоровны Волковой.

Сутками позже, километрах в шестидесяти от центральной усадьбы зерносовхоза, задержали и подавшегося в степную сторону бывшего монастырского игумена Гермогена — главбуха Степного зерносовхоза Федора Полуянова.

Не удалось взять только Луку Боброва.

Темной ночью, когда был оцеплен бобровский дом, Лука Лукич оказал вооруженное сопротивление. В завязавшейся перестрелке он убил наповал тревожно заску-

лившего в саду Симу и, отстреливаясь, прорвался через сад, примыкавший к крутому озерному яру, и точно канул в воду.

Был слух, что две недели скрывался он в казахских аулах у верных тамыров-приятелей, потом с помощью тех же верных людей, промышлявших разбоем и конокрадством, ушел казаковать в глубинные степи, поближе к китайской границе, а позднее перебрался в город Урумчи — центр Синьцзянской провинции.

34

Через три дня, когда прилетевший из краевого центра Азаров прибыл в зерносовхоз, он получил пакет со штампом райкома партии, адресованный на его имя. Вскрыв пакет, Азаров прочел отпечатанное на машинке решение бюро райкома.

ВЫПИСКА

из решения внеочередного бюро Светозаровского районного комитета ВКП(б).

О нарыве в Степном зерносовхозе:

Заслушав доклад ответственного секретаря райкома ВКП(б) т. Чукреева, внеочередное бюро районного комитета партии констатирует, что факты вопиющего разложения директора вышеупомянутого совхоза К. А. Азарова, члена ВКП(б) с 1911 года, как вскрытые в разоблачительной корреспонденции окружной газеты «Смычка», а также и приведенные в докладе т. Чукреева, целиком и полностью подтвердились. Бюро признает сигнализацию окружного партийного органа справедливой и своевременной, а также целиком одобряет линию бюро районного комитета, ранее проводимую в отношении левака и перерожденца К. А. Азарова. Исходя из всего этого, постановили:

1. За сращивание с классово-враждебными элементами; за выдвижение на руководящие посты в зерносовхозе прямых в прошлом контрреволюционеров, каковым является назначенный управляющий отделением №5 белогвардеец Е. Дыбин; за возмутительную травлю советских специалистов, жертвой которой стал покончивший самоубийством инженер Стрельников, а также уволенный приказом директора главбух Полуянов; за игнорирование решений бюро партийного комитета, выразившееся, в частности, в самовольной перекройке массивов; за преступное администрирование и измену делу рабочего класса члена ВКП(б) с 1911 года Азарова К. А. из рядов Коммунистической партии исключить, снять с работы и отдать под суд.

2. Объявить строгий выговор за несогласие с настоящим решением и защиту Азарова: а) секретарю совхозпарткома т. Тургаеву; б) начальнику райотдела ГПУ т. Яркову.

3. Временное исполнение обязанностей директора зерносовхоза возложить на т. М. Шмурыгина.

4. Довести настоящее постановление до сведения всех низовых партийных организаций района.

Трижды перечитав этот грозный документ, Азаров, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Похолодевшее, упруго стучавшее сердце его, словно устав от напряженно-бешеного боя, вдруг на секунду замерло, и Азарова охватило то знакомое чувство тоски и физической слабости, которое испытывал он всегда перед сердечными припадками. Просидев минуту-другую в полной неподвижности, он, сделав усилие над собой, дотянулся рукой до настольного телефонного аппарата и, рывком крутнув раза три ручку, попросил дежурную телефонистку вызвать кабинет секретаря райкома.

Чукреев долго не отзывался, хотя Азарову было ясно, что тот снял телефонную трубку, но почему-то медлил откликнуться на его позывное «алло».

Наконец, не ответив на спокойное азаровское приветствие, Чукреев с места в карьер грубо спросил его:

— Выписку из решения бюро получил?

— Да. Вот она лежит передо мной,— тем же невозмутимо-спокойным тоном откликнулся Азаров, точно речь шла о какой-то малозначительной для него бумажке.

И этот спокойный азаровский тон, видимо, вывел из себя и без того явно взвинченного Чукреева. И он еще грубее спросил:

— Ну и что тебе от нас надо? Кажется, все ясно.

— Не совсем все.

— Остальное выяснит райпрокурор. А ты давай партийный билет. Совхоз Шмурыгин приедет принимать завтра.

Помолчав, явно испытывая тем самым терпение Чукреева, Азаров, твердо выговаривая каждое слово, точно диктуя по писаному, сказал ему:

— Партбилета, положим, я тебе не отдам. Не ты мне его вручал, не тебе я его, в случае чего, и возвращать буду. Это — во-первых. Так? Затем — дальше. С поста директора зерносовхоза меня может снять приказом только сам нарком сельского хозяйства. Это — во-вторых. А в-третьих, докладываю, что по решению бюро краевого комитета партии за успешное выполнение плана подъема целинных земель и досрочное завершение весеннего сева нашему зерносовхозу присуждено переходящее красное знамя крайкома. Плюс к тому лучшие люди совхоза — механизаторы — премированы по приказу нашего парт-

кома. По этому случаю мы решили провести завтра праздник — народное гулянье в совхозе. Покорнейше просим пожаловать!

— Ну, ты мне эти неуместные шуточки брось, Азаров. Переходящее красное знамя получает совхоз, а не ты. Его люди завоевали. Трактористы. Механизаторы!— оборвал его с предельным раздражением Чукреев.

— Не спорю. Люди у нас золотые. И я их заслуг отнюдь себе не приписываю,— сказал Азаров, умолчав о том, что персональным приказом наркома сельского хозяйства премирован и он, директор этого совхоза, и что ему объявлена благодарность.

— А что касается праздника, то мы с успехом проведем его и без тебя,— заметил Чукреев.

— Вот в этом я не уверен.

— Что-о?!

— Без меня наш коллектив никакого праздника, представьте себе, проводить не станет.

— Много берешь на себя, Азаров!

— Как тебе сказать? Что по силам...

— Не рассчитал ты своих сил. Зарвался. Точнее — сорвался. Впрочем, дальнейший разговор, повторяю, придется тебе продолжать с райпрокурором. У меня — все.

— А это — как рассудит крайком,— сказал в заключение Азаров, кладя на рычажок трубку.

Спокойствие, с которым держался Азаров во время этого короткого телефонного разговора, все же не далось ему даром. Ураз Тургаев, заглянувший полчаса спустя в директорский кабинет, нашел Азарова полулежащим в кресле почти без сознания, с чуть ощутимым пульсом, в жестоком сердечном припадке.

35

В ночь, когда телеграфное известие о решении бюро краевого комитета партии разнеслось по всему зерносовхозу, Азаров не смыкал глаз. Он решительно не знал, куда деться от возбуждения. Собственно, в том, что его восстановят, что в отношении Чукреева будут сделаны соответствующие оргвыводы, Азаров, глубоко убежденный в своей правоте, отнюдь не сомневался и прежде.

Однако теперь, когда внутренняя уверенность его была скреплена выразительно краткой, за подписью первого секретаря крайкома, полуофициальной телеграммой и

совсем уже официальной выпиской из постановления бюро, Азарова охватило такое волнение, какое пережил он разве только на заре революционной юности, в незабываемый день первого побега из зерентуйской тюрьмы.

Только сейчас понял Азаров, как дорого дались ему события последних дней. Исключенный из партии, снятый с руководящей работы в зерносовхозе, поразил он друзей и врагов тем удивительным внешним спокойствием, с каким воспринял обрушившиеся на его голову тяжкие удары. Он не отдал партийного билета Чукрееву, снятому ныне с поста секретаря райкома по особому решению краевого комитета партии, восстановившего этим же решением Азарова в партии, и в ожидании решения крайкома он все время продолжал оставаться на своем посту.

На другой же день после возвращения Азарова из краевого центра производственные будни хозяйства пошли своим чередом. Выехали на помощь окрестным аулам и селам тракторные бригады. Одна из таких бригад социалистической помощи в составе Ивана Чемасова и Морьки Звонцовой была направлена с трактором на хутор Арлагуль для шефской помощи молодому колхозу «Интернационал», где уже находилась ранее выехавшая туда Фешка Сурова.

Напряженно закипела работа на строительстве грейдированных дорог, мостов и приусадебных помещений. Спешно заканчивался монтаж местной электростанции. По-прежнему восторженно и гулко гремел по вечерам в роще духовой оркестр. Азартно резались на спортплощадке молодые футболисты. Играл в свободную минуту с трактористами в любимые городки и Азаров. И жизнь, вздыбленная событиями последних дней, постепенно входила в привычную колею.

Коллектив вновь ощутил надежную близость своего руководителя. Ни ослабления энергии, ни растерянности, ни упадка не заметил никто в Азарове, не почувствовал этого за собой и он сам. А глядя на него, подтягивались и с большим рвением брались за работу преданные ему люди.

И вот только теперь, переживая радостное волнение, почувствовал Азаров большую усталость, понял, какой немалой ценой куплено было им это предельное напряжение сил, выдержки, воли...

Вечером, как только весть о реабилитации директора

облетела все отделения и центральную усадьбу, в движение пришел весь зерносовхоз. Люди набились в партком, в дирекцию. Они толпились на перекрестках, собирались близ мастерских, около гаража и тракторного парка и обсуждали между собой, передавали из уст в уста это глубоко взволновавшее всех известие.

Кругом было заметно необычайное оживление. Азарову казалось, что даже грузовые автомашины носились по центральной усадьбе с какой-то особой, подчеркнутой удалью. И он смотрел теперь на окружающий его мир такими глазами, словно видел все это впервые. Ярко-зеленые от свежей покраски крыши ослепительно-белых жилых домиков центральной усадьбы; просвечивающие сквозь ажурную вязь лесов корпуса новостроящихся красно-кирпичных зданий; штакетная изгородь палисадничков с молодыми — вешней посадки — березками, кленами, тополями, шумящими под окошками обжитых уже совхозных домов,— все обретало ныне какой-то особый смысл, и все волновало необычайно.

Тесноватый директорский кабинет Азарова ломился от народа. Шли к директору в этот день и по делу, и с каким-нибудь пустячным вопросом, а то и просто так — выразить кстати сказанным словом или молчаливым участливым взглядом сочувствие директору по поводу столь благополучно завершившихся событий, жертвой которых едва не стали Азаров и некоторые другие лучшие люди зерносовхоза. Здесь толпились инженеры и трактористы, механики и прицепщики, агрономы и зоотехники, учетчицы и гуртоправы. И каждый из них старался покрепче пожать Азарову руку, сказать доброе слово, поздравить его с производственной победой зерносовхоза, а главное — с благополучным решением личного азаровского вопроса на бюро краевого комитета партии.

Было уже совсем поздно, когда утомленный дневной сутолокой Азаров, отделавшись наконец от прошеных и непрошеных посетителей, оставил кабинет и добрался до своей квартиры — малоуютной холостяцкой конуры, в которую он всегда возвращался с небольшой охотой. Здесь, как нигде, он острее всего ощущал свое одиночество, свою нескладно сложившуюся личную жизнь. Частые размолвки с женой, закончившиеся в конце концов разводом, не менее частые его переброски с одной работы на другую, неумение работать с прохладцей, спустя рукава, наконец врожденная его скромность, доходившая до робости пе-

ред женщинами, которые привлекали его внимание,— все это вместе взятое, видимо, и мешало ему всерьез задуматься об устройстве личной жизни. А подумать об этом в его годы пора бы! Но вот и здесь, в совхозе, где опять с головой ушел он в кипучую организационную работу, забывая о сне и отдыхе, вот и здесь не было ему времени раздумывать о том, что молодость-то, в сущности, была у него уже позади, за плечами.

Да, только в этой конурке и задумывался иногда Азаров о неустройстве личной жизни, твердо решая при этом одно и то же: «Вот дотяну до отпуска после уборки, поеду к старым заводским приятелям в Москву или в Свердловск, а там — будет видно...» Что именно «там будет видно», Азаров не знал и сам. Однако такое решение всегда успокаивало его...

— Эх, старая песня, голубчик. Старая!— сказал он вслух, иронически осудив себя на сей раз за это наивное утешение, и, не зажигая огня, прилег, не раздеваясь, на дерматиновый казенный диван.

Но ему не спалось. Он встал и, заложив за спину руки, долго ходил по комнате.

Потом, включив свет, он извлек из потертой полевой кожаной сумки потрепанный блокнот и попытался набросать конспект завтрашнего своего выступления на торжественном открытии совхозного праздника.

«Подвиг механизаторов — подвиг рядовых людей нашего зерносовхоза. Здесь бригада Ивана Чемасова. Бригада Дмитрия Дыбина. Елизар Дыбин, Катюша Кичигина, Люба Хаустова, Любка!»— занес Азаров в блокнот эти имена, дважды повторив имя Любки, и о чем-то глубоко задумался.

Затем, точно что-то вдруг вспомнив и мгновенно просветлев лицом, он подошел к висевшему в простенке телефону и, позвонив на квартиру своего шофера Васи, сказал ему, чтобы тот сейчас же подал машину.

Мысль о поездке возникла у Азарова при взгляде на висевшее на стене над кроватью двуствольное ружье, о существовании которого, будучи в душе охотником, он за делами тоже забыл. «Черт знает что, ни разу даже не выстрелил нынче!»— с досадой подумал Азаров. Сняв со стены свой «зауэр», Азаров, заглядывая в его тускло сверкающие при электрическом свете стволы, думал, тихо посвистывая: «Поеду на пятое отделение. Все равно к утру надо мне туда заглянуть — проверить, как там на-

род подготовился к празднику, и вообще... А зорьку постою на перелете. Авось и постреляю нынче!»

Но, думая так, Азаров не признавался даже себе в том, что в глубине души он рад был бы увидеть девушку, которая олицетворяла, по его мнению, неповторимую женскую прелесть, душевную чистоту и обаяние юности. Любка! Азаров не раз ловил себя на том, что он любуется этой девушкой. Но любовался он ею, как любовался неяркой красотой и прелестью полевого цветка, случайно попавшегося ему на пути в степи.

Странное, сложное чувство вызывала в Азарове эта девушка. Светлея при мысли о ней, он в то же время острей обычного ощущал одиночество, свои годы, чувствуя себя почти стариком перед этой юностью. С горечью думал он, что личное счастье его где-то прошло стороной, как проходит мимолетный косой летний ливень над пожелтевшей от зноя степью...

Сложное чувство душевного просветления и горечи испытывал Азаров и сейчас, зачарованно вглядываясь в стволы ружья, мерцающие мириадами золотистых искр. И это радужное мерцание отраженного полированной сталью огня опять чем-то напомнило Азарову лучистые, полные света глаза Любки.

— Ах, жалко двухнолевой дроби у меня маловато. Бекасиной гуся не возьмешь!— сказал Азаров, думая совсем не об этом.

В дверь робко постучали, и Азаров, узнав по стуку, что это шофер, сказал не оборачиваясь:

— Ну, ну, орел. Входи. Готов?

— Как штык, Кузьма Андреич!— весело сказал появившийся на пороге Вася.

— Сию минуту. Патронташ захвачу.

— Давно бы пора, Кузьма Андреич...

— Что — давно бы пора?— не понял Азаров.

— Да вот — поохотиться нам с вами малость, говорю,— сказал со смущенной улыбкой Вася, помогая Азарову собирать охотничье снаряжение.

— Это ты прав. Давно бы пора...— подтвердил Азаров, по-прежнему думая не об охоте.

А спустя полчаса, немного не доехав до усадьбы пятого отделения зерносовхоза, Азаров отпустил машину и побрел с перекинутой за плечом двустволкой в сторону от дороги. Скоро он вошел в березовую рощу, примыкавшую к большому, заросшему с берегов камышом озеру.

В роще было тихо и сумрачно. Пахло корой, грибами, шиповником. Тонкий, едва уловимый нежный аромат предосеннего увядания ощущался здесь на каждом шагу, и Азаров вдыхал его с упоением, наслаждаясь первозданным покоем и удивительной предрассветной тишиной, пряно-терпким ароматом лесной травы и березовых листьев. Скоро он выбрался на опушку и вдруг, точно очнувшись, остановился, отчетливо расслышав негромкий разговор, временами переходящий в страстный полушепот.

Еще не разобрав первых слов, Азаров сразу узнал грудной голос Катюши Кичигиной, недавно разысканной им на хуторе Белоградовском и восстановленной в правах трактористки зерносовхоза.

Не сразу узнал Азаров другой юношеский голос — голос Митьки Дыбина. Странно было слышать, как этот грубоватый с виду, всегда немногословный тракторист говорил с какой-то почти полудетской, ребяческой нежностью слова, никак не вязавшиеся в представлении Азарова со всем внешним обликом этого угрюмого парня.

Уговаривая взволнованную чем-то Катюшу, Митька горячо бормотал:

— Ну погоди же. Погоди. Не надо, не надо, моя ты хорошая, распригожая... Птица моя степная! Травинка! Ты — что? Кабы я тебя не любил, кабы я только так, для баловства там которого... Погоди, кончим уборку, квартиру заведем. Попросим у директора. Он у нас мировой. Он нам не откажет. Уважит. Вот и заживем с тобой мы тогда на все сто, понимаешь! Бате моему ты тоже пришлась, видать, ко двору. Он тебя хвалит. Эту, говорит, я бы признал за сноху! Вот видишь! О чем реветь-то теперь, кровинка? О чем?! О чем?! — страстно допытывался у всхлипывающей девушки Митька.

— Я и сама не знаю о чем. Просто так это я... У меня сейчас все пройдет. Ты помолчи. Не тормоши меня. Посиди со мной рядом тихонько...— говорила чуть слышно сквозь слезы Катюша Кичигина, и мягкий грудной голос ее звучал вкрадчиво, нежно.

— Не могу я молча сидеть, понимаешь, рядом с тобой. У меня сердце горит. Наружу вырваться хочет. Нако послушай, как бьется...

— У меня тоже оно как птаха в клетке.

— Перестань реветь, я тебе говорю,— строго повелительно сказал Митька.

— Не шуми на меня. Я тебе ишо пока не жена,— ответила в тон ему девушка и вдруг, перестав всхлипывать, тихо засмеялась.

Украдкой вздохнув, Азаров подумал: «Не поймешь, что тут счастливее — смех или слезы! Да, видно, и то и другое!» И, стараясь как можно неслышнее ступать на носки, он стал осторожно пробираться в глубь рощи, опасаясь, как бы не вспугнуть молодых людей, не потревожить столь неуместным вторжением в великую тайну светлого человеческого счастья...

Между тем утро уже наступило, и светлые стволы берез позолотели от восходящего солнца. Где-то совсем рядом страстно, до самозабвения били перепела, а на озере, в камышах, с тревожной настороженностью гоготали дикие гуси. Трубный зовущий клич лебедей звучал в порозовевшем от восхода высоком безоблачно-чистом небесном просторе. Все звенело, трепетало, блистало и пело вокруг, и Азарову казалось, что звенела в его душе туго натянутая серебряная струна,— так он был беспричинно, казалось, счастлив сейчас, в это раннее, погожее утро!

Довольный тем, что ему удалось уйти незамеченным от Митьки и Катюши, Азаров, миновав большую поляну, вышел из леса к высокому, крутому берегу озера. Но тут он снова остановился, инстинктивно укрывшись за стеной молодой поросли осинника и березняка: шагах в десяти от него, возле стожка сметанного сена, сидели Иван Чемасов и Любка.

«Однако мне сегодня везет на влюбленных!»— иронически подумал Азаров, не спуская глаз с Любки. В ярко-красной атласной кофте с короткими — по локоток — рукавами, с прямым пробором черных как вороново крыло, гладко зачесанных, собранных на затылке в тугой узел волос, похожая на молодую смуглолицую цыганку, она была очень хороша собой. Азаров не мог даже в эту горькую минуту налюбоваться ею.

Иван Чемасов, сидя напротив Любки, смотрел ей в лицо восторженно-покорными глазами, покусывая сахаристо-белыми зубами зажатую во рту травинку.

А Любка, косо поглядывая на него, притворно-строго допрашивала:

— Ты скажи лучше, зачем тебя черти сюда с хутора ни с того ни с сего принесли?

— Как — зачем? На праздник. Я что — хуже всех?! А главная вещь — на тебя поглядеть смерть охота...— признался, улыбаясь во весь рот, Иван Чемасов.

— Вот директор-то погладит за самовольную твою отлучку!

— А откуда ему знать, что я был тут? Прибыл неявно и отбуду таким же манером — тайно. Тут у нас чистая работка. Все шито-крыто. За ночь конь у меня отдохнул... пока я с тобой тут маялся... А сейчас нагляжусь вдоволь на тебя и — восвояси. Догоняй, ищи потом меня — ветра в поле!

— Силен! А если я возьму да и донесу Азарову на тебя?!— спросила, сверкнув агатовыми зрачками, Любка.

— Так он твоей болтовне и поверит!

— Мне-то?! Азаров?! По-ве-рит!— убежденно, нараспев произнесла последнее слово Любка.

— А тебе-то какая корысть на меня доносить?

— А что же мне тебя, дезертира, перед директором покрывать. Выдумал тоже!

— Ну, ты это брось... шутить!

— И не думала. Всурьез говорю — на все сто процентов, Ваня.

Помрачнев, Чемасов глухо сказал:

— Не любишь ты меня, видно. Вот что...

— Ах, ничего я, ей-богу, не знаю, голубчик. Не знаю, кого люблю. Вот беда моя какая. Не беда — страсти!

— Он-то... этот самый, вижу, тебе подороже...

— Кто это — он?

— Знаешь, про кого говорю. Не притворяйся.

— Ах, вон ты о ком — об Азарове!— воскликнула с заметным оживлением Любка и, подумав, сказала со вздохом:— Чем же я виновата тут, Ваня?

— Как — чем виновата?— не понял Чемасов, снова глядя тревожно расширенными глазами на Любку.

— Ничем я тут не виновата, если не знаю толком — кого люблю... А Азаров — что! Ах, будь бы он немножко не такой!— сказала задумчиво Любка.

Чемасов сидел поникнув, покусывая былинку.

Вдруг Любка, встрепенувшись, обвила его шею полуобнаженными смуглыми руками и, преданно заглядывая ему в глаза, спросила:

— А правда — я красивая?

— Сама знаешь...— угрюмо проговорил, отводя от нее глаза, Чемасов.

— Нет, правда, красивая?

— Хороша Маша, да не наша!

— А почем ты знаешь, что не твоя?

— Вижу...

— Ничего ты не видишь, дурак. Дай я тебя поцелую.

— Смеешься ты надо мной.

— А что же — плакать?

— Правду ты сказала: зачем только черти меня сюда несли!

— А вот зачем,— запросто сказала Любка и, порывисто прижавшись к Чемасову, поцеловала его дрогнувшие губы своими горячими, словно налитыми вишневым соком губами.

Тут Азаров не выдержал, отвернулся и затем быстро, все ускоряя шаг, пошел прочь от этого места в сторону видневшейся невдалеке усадьбы пятого отделения зерносовхоза. По дороге, столкнувшись еще с двумя парами явно влюбленных молодых людей, Азаров понял, что совхозная молодежь коротала здесь эту предпраздничную ночь. И точно в подтверждение этого, где-то в глубине старой березовой рощи вдруг зазвучала протяжная хоровая песня. Чистые и прозрачные, как родниковые ручейки, девичьи голоса, сливаясь с басистыми мужскими голосами запевал и озорными мальчишескими подголосками, дружно выносили плавный напев старинной, любимой и Азаровым песни:

Был я, братцы, в городе во Кронштадте,
Что там видел, я вам расскажу.
Видел девушку, братцы, во наряде
Лет семнадцати — очень хороша!

На ней тоненька, братцы, была рубашка,
Рубашоночка — кисейны рукава.
Ах, юбка нова на Маше разбордова,
Вкруг подола на юбке кружева...

Потоки тепла и солнечного света плыли над утренней степью, над шафранно-желтыми нивами совхозных хлебов, простиравшихся до самого горизонта. И от этого солнечного тепла и света и от песни, широко и вольно звучавшей в изумрудно-зеленой роще, у Азарова стало радостно на сердце.

Подходя к домику управляющего отделением зерносовхоза Елизара Дыбина, Азаров еще издали заметил, заглядывая поверх невысокого ракитового плетешка, сидящих в палисаднике людей. В одном из них Азаров признал хозяина дома — Елизара. Другого, невеликого ростом, необычайно подвижного, юркого мужичонку, он узнал не сразу, хотя характерное лицо его показалось Азарову очень знакомым. Напрягая память, он никак не мог припомнить: когда, где и при каких обстоятельствах видел он этого невзрачного, но чем-то хорошо запомнившегося ему человека.

Замедлив шаг, Азаров прислушался к негромкому задушевному разговору в палисаднике. И когда донеслись до слуха Азарова произнесенные собеседником Елизара Дыбина слова: «Факт. Обыкновенное дело!»— Азаров, невольно улыбнувшись, вспомнил «служителя культа» Фиту Нашатыря, который вез его в эти края. «Ба, да это же звонарь!»— обрадованно подумал Азаров.

— Что вы на это кулацкое отродье смотрите?! Подписали бы всем миром приговор — и на выселку их, подлецов, прямым маршем!— говорил с возмущением Елизар Дыбин.

— Факт — на выселку. Обыкновенное дело!— живо согласился с ним Нашатырь.

— Напорись на меня эта свора, я бы их, как кобелей, по одному всех передушил. Тебе нечего об этом, Фита, сказывать. Ты мой характер, слава богу, знаешь.

— Факт. Обыкновенное дело...

— Погоди, я с Кузьмой Андреевичем об этом деле по душам потолкую. Одни Ванька Чемасов да Фешка с Морькой Звонцовой там в поле не воины. Им в подмогу мы ишо с десяток наших орлов подбросим. Эх, Увара Канахина в Арлагуль бы откомандировать, этот бы ухарь-мужик показал вашему кулачью кузькину мать!

— Что — грозен больно?— испуганно спросил Нашатырь.

— У-у, не приведи господь! Его эти вражины хуже огня боятся. Крут он с ними на руку. А оратур — волосы встают дыбом, когда слушаешь его речи в мировом масштабе, дух заходит!

— Вот бы его к нам и командировали. Он у нас навел бы порядки. Факт. Обыкновенное дело...

— Увара надо откомандировать! Ему не привыкать классовых врагов ликвидировать. Давай, Фита, выпьем

теперь за Увара, раз за нашего директора уже два раза выпили...

Звучно чокнувшись жестяными кружками, они пригубили их и смачно крякнули.

— А хороша, язва! Кровь в жилах полирует!— с восторгом сказал Елизар Дыбин, вытирая губы рукавом новой голубой сатиновой рубахи-косоворотки.

— Факт, полирует...

— Ну ладно. Ты слушай дальше по существу, Фита,— продолжая прерванный разговор, сказал Елизар Дыбин.— Это я не зря тебе раньше притчу про волшебный корень жизни — женьшень, про обетованные земли, про град Вертоград и про Белые Воды не раз сказывал. Всю жизнь я и в то, и в другое, и в третье веровал. Потому и места себе не находил ни в родном хуторе, ни на краю света. Бросало меня из конца в конец, из огня — в полымя, а корень жизни не давался мне в руки. И сила была во мне, и глаз был у меня наметан — скрозь землю видел. И душа нараспашку. И за друга — голову на дровосек! А выходит, какой ты ни богатырь, один в поле не воин. Понял, к чему эта притча, Фита?

— Как не понять. Факт. Помаленьку вникаю...— робко вымолвил Нашатырь.

— А к тому вся и притча, что в одиночку корня жизни не ищут, что сила солому ломит. А сила — в миру, в народе, в артели. Это ты заруби себе на носу, Фита!

— Факт. Я от своей артели ни шагу...

— Ну, положим, не хвастай. Говорят, ты два раза уже убегал из колхозу,— напомнил ему Елизар.

— Это факт. Был грех. Увольнялся. Ну, теперь — шабаш! Поумнели мы — беднота. Обет богу дам, никогда в жизни не выпишусь из колхозной жизни,— клятвенно заверил старого приятеля Филарет Нашатырь.

Собеседники не заметили неслышно приблизившегося к ним Азарова. Нашатырь, увидев директора, обомлел и поспешно спрятал за спину бутылку с недопитой водкой. Елизар Дыбин тоже смутился при столь неожиданном появлении директора и хотел было встать с завалинки. Но Азаров сел рядом с дружками-приятелями и, здороваясь с ними, сказал:

— Что ж выходит, кто празднику рад, тот спозаранку потчуется? Порядок! Тогда налейте и мне чуток. Захотелось и мне выпить за самый корень жизни в компании с вами, товарищи!

Филарет Нашатырь вопросительно посмотрел на Елизара Дыбина, не зная, всерьез или в шутку сказал это подсевший к ним директор. Но старый дружок глянул на Нашатыря такими глазами, что тот разом понял и засуетился, разливая водку по кружкам. А Елизар Дыбин, приняв из рук Филарета наполненную кружку, преподнес ее в торжественном безмолвии Азарову.

— Ну, что ж, с праздником, дорогие товарищи!— сказал, поднимая кружку, Азаров.

— Покорно благодарствуем...

— Факт. Кушайте на здоровье...

Азаров выпил, но поперхнулся, услышав зазвучавший где-то поблизости заливисто-звонкий, как серебряный колокольчик, смех Любки Хаустовой.

36

Трактор вышел из хутора на рассвете. Над степью плыл зыбкий предутренний туман — предвестник грядущего погожего дня. И опять по скотопрогонному тракту растянулся вслед за тракторами караван телег и казахских арб, всадников и пешеходов.

Все эти дни по хутору, по аулам и переселенческим отрубам бродили тревожные слухи. Говорили о том, что в пятницу, в канун праздника усекновения главы Иоанна Предтечи, в тот самый день, когда выйдет совхозный трактор на уборку хлебов «Интернационала», появится некое грозное небесное знамение с откровением, написанным на двунадесяти языках, которое будет понятно только наиболее прозорливым и богобоязненным людям.

В аулах ждали паломника из Мекки, который прикосновением перста должен сокрушить железную арбу сатаны и перед которым падут ниц все неверные люди, покинувшие аул Аксу и ушедшие в артель русских.

С глухим гулом валом валила за трактором толпа мужиков и баб, аульные аксакалы и джигиты. И Роман и Фешка вместе с совхозными ее спутниками — членами бригады соцпомощи: Иваном Чемасовым, Морькой Звонцовой, Катюшей Кичигиной и Уваром Канахиным,— приглядываясь к народу, видели, что не очень-то верили мужики и бабы россказням о грозном небесном знамении.

Наступательный рокот тракторного мотора слышен был поутру издалека. И снова вставшие на стремена джигиты разносили хабар — длинное ухо — по аулам.

И снова самые почетные старцы в роду, встречая гонцов, спрашивали вслед за ответными приветствием:

— Хабар бар, джигит?

— Бар хабар, аксакал. Из хутора русских вышла в степь железная арба шайтана. Она пошла, говорят, косить самовязкой пшеницу на пашне русско-казахской артели.

— И-ио!— слышались со всех сторон тревожно-удивленные гортанные возгласы жителей аулов.

— А еще говорят, что на помощь русско-казахской бедняцкой артели из совхоза приехали разные мастера и подмастерья. Они привезли с собой всякие машины и какой-то волшебный ящик, который показывает народу живые картины!

— И-ио!— звучали в ответ гортанные восклицания.

Трактор шел по обочине широкой скотопрогонной дороги. Впереди огромной толпы хуторских мужиков и баб, впереди ватаги ребятишек и степных всадников шли построившиеся в колонну комсомольцы — члены сельхозартели «Интернационал».

Вела трактор Фешка.

Мирон Викулыч и Филарет Нашатырь, примкнув к комсомольцам, все время ломали строй и путали шаг.

И Кенка, шагавший рядом со стариками, то и дело покрикивал на них:

— В ногу, дядя Мирон! Не ломай, дядя Фита, шеренги!

Линка шла в передней колонне, между Романом и Уваром Канахиным. Запрокинув голову, она вместе с хором пела глубоко волнующие слова любимой комсомольской песни:

...Они ехали долго. В ночной тишине
Глухо конские били копыта.
Вдруг боец молодой вниз поник головой —
Комсомольское сердце пробито!

Все ярче и ярче полыхала, подобно вешнему полевому пожару, утренняя заря. Все громче и громче звенела над степью комсомольская песня. Все пронзительнее звучали изумленные, тревожные и ликующие крики степных джигитов, гарцующих на конях вокруг трактора. И этот разноголосый, разноязыкий гул под аккомпанемент ритмичных ударов стального сердца машины был для Романа и Линки, для всех ребят артели той неповторимой, пре-

красной музыкой, от которой замирало сердце и за плечами росли крылья!

Наконец трактор остановился около колхозных полей «Интернационала». Багровый шар солнца поднялся над степью.

Было тихо.

Толпа хуторских мужиков и баб и ватага джигитов неподвижно застыли, запрудив межу, выжидательно насторожились. Все знали: близка решительная, волнующая минута.

В толпе перешептывались:

— Подожгут этой чертовой оказией хлеб — вот это будет дело!

— Так им и надо...

— Прикуси, кума, язык — подслушать могут.

— Вполне. За такие разговоры теперь — в каталажку!

— А я што — кулачка?

— Не кулачка. Мужик твой кулак. А ты подкулачница...

— Типун тебе на язык, дура!

Между тем Фешка, не заглушая мотора, остановила трактор, подведя прицепленную к нему сноповязалку к самой кромке массива.

Увар Канахин, ловко взобравшись на самовяз, сел на беседку управления. Прямой и длинный, он казался теперь еще более смешным и неловким. Фешка суетилась около трактора, подтягивая ослабевший ремень вентилятора. Мирон Викулыч и Климушка, без нужды крутясь около самовяза, в десятый раз проверяли крепость полотен.

Со вчерашнего дня мучили Мирона Викулыча назойливые сомнения: вдруг трактор закапризничает и не пойдет? Вдруг самовяз окажется непригодным к работе?

Не смог скрыть волнения и Роман. Заметив в толпе хуторян сгорбившегося, притворно скорбного и жалкого Епифана Окатова, Роман вновь ощутил приступ гнева к этому юродствующему, глубоко ненавистному человеку.

Все смотрели на Фешку. В старенькой, выцветшей майке, в алой косынке, сбившейся на затылок, с потным, испачканным соляркой и пылью лицом, с обнаженными по локоть загорелыми руками Фешка показалась Роману такой же волнующе-близкой и милой, какой была она для него два года тому назад.

Ревниво следя за каждым смелым ее движением, Роман проникся уверенностью, что все будет хорошо: трактор не может не пойти, если им будет управлять Фешка! Но как было не волноваться сейчас до предела возбужденному Роману, когда он видел перед собой громадное без конца и края поле высокой — в рост человека — густой, как дремучий лес, пшеницы, которую настала пора убирать! И Роман, приглядываясь к морю хлебов, к толпе насторожившихся мужиков, девок и баб, положительно не знал, что ему делать, как унять это неслыханное, непривычное душевное волнение...

Между тем Фешка, усевшись за руль, подала условный знак управляющему самовязом Увару Канахину.

Гулко зарокотав, трактор пополз вперед, а за ним поплыл, заработав крыльями, и самовяз.

Толпа затихла.

На мгновение Роману показалось, что он даже услышал неровные и гулкие удары собственного сердца.

Огромные хрупкие крылья самовяза, сделав несколько резких, сбивчивых, как бы нерешительных взмахов, вдруг затрепетали в ровном и четком ритме движения, пригибая отяжелевшие колосья к зубчатой раме... Мгновение, и из железной утробы самовяза на жниву упали первые перетянутые шпагатом снопы.

Климушка, сорвав с головы шапку, торопливо перекрестился, пробормотал слова молитвы. «Не благословясь, без креста первого снопа на постать не клади!» — вспомнилась Климушке поучительная заповедь отца, когда вместе с ним не раз хаживал он в страдную пору по чужим постатям. И хотя страдовали они с отцом у чужих людей, хотя жали, вязали и складывали в крестцы тяжеловесные снопы чужого хлеба — все равно, как истые, природные хлеборобы, не отступали они от обычаев и, начиная страду, крестились с особым усердием и благолепием. И вот сейчас, пока творил Климушка молитву, пока изумленно и растерянно озирался он по сторонам, впереди выросло уже несколько сложенных крестцов, а трактор уходил все дальше и дальше вдоль массива, оставляя позади себя ровную полосу под гребенку срезанной стерни.

Все шло хорошо. Привычно и уверенно управляя трактором, Фешка прислушивалась к ровному, четкому постукиванию мотора и, раскрасневшаяся от возбужде-

ния, радостная, то и дело оглядывалась на Увара Канахина.

А тот улыбался Фешке и, кивая ей, весело покрикивал:

— Даешь, голубушка! Газуй, родная, газуй!

Между тем толпа хуторян и не слезавших с коней джигитов неотступно следовала межой за трактором, гул одобрительных возгласов заглушал рокот мотора и шум бесперебойно и бойко работающего самовяза.

Первый круг был завершен благополучно. Обе машины работали на славу. И вдруг — это случилось в начале второго заезда — трактор зачихал.

Кубарем сорвавшись со своих беседок, Фешка и Увар Канахин растерянно заметались около трактора. Мотор, сделав несколько глухих выстрелов, неожиданно заглох.

Увар Канахин, суетясь около машины, крикнул Фешке:

— Проверь карбюратор!

— Проверила. Не в нем дело...

— А в чем же?— крикнул Увар. Грубо оттолкнув Фешку, он долго и пытливо копался в карбюраторе, однако ничего не нашел в нем такого, что послужило бы помехой бесперебойной работе мотора.

Но вот Фешка, не менее грубо оттолкнув Канахина от машины, сказала:

— Не туда смотришь, дурило. Я вижу теперь, в чем дело.

— Да ну?!

— Вот тебе и ну!— ответила Фешка, и ловко орудуя ключом, быстро сняла лопнувшую пружину клапана.

Канахин тут же бросился со всех ног к меже за запасной пружиной.

Но оказалось, что ящик с запасными частями, где находилась и пружина, был по недосмотру оставлен на хуторе. Пришлось посылать нарочного.

Среди притихшей толпы на меже показался Епифан Окатов. И уже не к трактору и самовязу, неподвижно стоявшим на полосе, а к нему невольно было приковано теперь внимание людей.

Опираясь на посох, Епифан глухо проговорил:

— Ну вот, выходит — и отстрадовались! Так оно и должно получиться. От судьбы не уйдешь. Рок и на тракторе не объедешь... Слышали ли вы библейскую притчу

о божеской каре, что неминуемо падает на головы отступников?!

— Ну ты тут, пророк, притчи нам не рассказывай!— крикнула из-за трактора Фешка.

— Не хотите библейскую притчу — быль расскажу,— проговорил все тем же глуховатым, вещим голосом Епифан Окатов.— В одна тысяча восемьсот девяносто шестом году у знаменитого в наших степях скотопромышленника, ныне покойного Афанасия Ефимовича Боярского, вот так же наспели хлеба. Покойник был человеком справедливым и богобоязненным. А поднялись ветры. Грозные и буйные были в тот год ветры в наших степях. А вы знаете, граждане хлеборобы, что такое ветры, когда назрели хлеба?!

— Что там говорить — беда,— отозвался горбун Похлебкин.

— Да. Поднялись, стало быть, буйные ветры,— продолжал Епифан Окатов.— А хлеба наспели и осыпались. И вот справедливый и богобоязненный покойник, отслуживши молебен угоднику Николаю, решил согрешить. Собрался он вот так же в день усекновения главы Иоанна Предтечи косить хлеб. Ну, ничего, пустил лобогрейки и подвалил с корня двенадцать десятин. Слава богу, думает, не покарал меня господь — вовремя убрал я пшеничку. Ан, рано он по этому случаю возрадовался. Рано! В ту же ночь ударь небывалая гроза. И вы помните, дорогие мои граждане старожилы, какую стихию посеял господь на пашне грешного?

— Мы все помним!— крикнул Похлебкин.

— А что тогда было?— гневно спросил Епифан Окатов, поглядев в упор на горбуна.

— А ударила тогда страшная гроза и предала огню все наши хлеба вместе с пшеницей Боярского!— крикнул в ответ Похлебкин.

— Вы слышали, граждане хуторяне? Ударила гроза и предала огню и полымю наши хлеба. Так господь покарал перстом возмездия всех мирян нашего хутора за прегрешение одного человека. Ибо сказано в Священном писании: не начинай жатвы и не разрезай куска хлеба ножом в великий и скорбный день усекновения главы Иоанна Предтечи. А какой день сегодня, вы помните?— вновь посмотрев на Похлебкина, спросил Епифан Окатов.

— Как не помнить! Али мы не крещеные? Сегодня

и есть тот самый день Иоанна Предтечи!— ответил Похлебкин.

Толпа выжидательно помалкивала. А Епифан Окатов, продолжая говорить полные скрытого и зловещего смысла слова, чувствовал, что те самые мужики и бабы, которые вчера еще ревниво прислушивались к его речам и покорно опускали головы перед темными его намеками, сейчас смотрели на него отчужденными, холодными глазами.

— Нет, час возмездия пробил! Все прахом пойдет! Все подернется пеплом! Покарает господь нечестивых рабов за подобное богохульство над памятью Иоанна Предтечи. Покарает!— продолжал бубнить Епифан Окатов, грозя своим посохом толпившимся около трактора комсомольцам.

Фешка сказала вполголоса Увару Канахину, указывая кивком головы в сторону пророчествовавшего Епифана Окатова:

— Опять этот ворон каркает!

— А я ему сейчас рот заткну,— с живостью откликнулся Увар и, беспечно помахивая большим разводным ключом, зажатым в руке, подошел к окруженному толпой вещателю.

Увидев Увара Канахина, Епифан Окатов тотчас умолк, потупив долу глаза.

— Ну, что же ты замолчал, апостол? Крой дальше: послушаем,— сказал Увар, не спуская быстрых глаз с потупившегося Епифана Окатова.

— Аминь. Все сказано,— буркнул Епифан, опасливо покосившись при этом на разводной ключ в руке Увара Канахина.

— А коли высказался, то и с амвона долой. Отправляйся-ка ты отсюда восвояси, пророк, пока я тебя вот этим ключом не благословил за все твои кулацкие проповеди!— сказал Увар Канахин под дружный смех и одобрительные возгласы комсомольцев.

— Это что — убивством грозишь?— спросил Епифан, пятясь от Увара.

— Не прикусишь поганый язык — убью. У меня на контру рука не дрогнет!— твердо пообещал Канахин.

Епифан Окатов, торопливо осенив наступавшего на него Увара Канахина крестным знамением, сказал:

— Отойди от меня, сатана!

— Ну, этим ты от меня не открестишься, кулацкое

отродье!— теряя последнее самообладание, крикнул Увар Канахин, бросаясь с ключом на побледневшего Епифана Окатова.

Но кучка окатовских приверженцев, мигом окружив Епифана, отшатнулась вместе с ним от толпы и повела его прочь от колхозного поля.

— Ну погоди, гад! Дойдут руки, я тебе отходную за твои проповеди прочитаю,— не воскреснешь!— пригрозил вдогонку им покрасневший от приступа гнева Увар Канахин.

Люди, толпившиеся на меже, молча поглядывали на остановившийся трактор и на хуторскую дорогу. Все ждали возвращения Аблая, ускакавшего в Арлагуль за запасной деталью, из-за поломки которой прервалась работа машины.

Комсомольцы по-прежнему, суетясь возле трактора, оживленно подшучивали над Фешкой, но в душе каждого из них было сейчас не ахти как весело. « А вдруг да и в самом деле запоремся мы с трактором?.. А вдруг да и в самом деле не пойдут машины?! Вот тогда дадим им в руки верные козыри!»— втайне подумывали ребята. И в то же время каждый из них, глядя на упрямую, сутуловатую спину бригадира Увара Канахина, на проворного Ивана Чемасова, на крепкие загорелые руки Фешки, на большие и сильные руки Романа, мысленно уверял себя в том, что этого не может быть — диковинная машина покорится упрямству, смекалке и бойкой сообразительности этих надежных, смышленых ребят.

В мучительных сомнениях, в ожидании прошло не менее часа. И только тогда, когда раскаленное солнце высоко поднялось над степью, прискакал Аблай на взмыленном коньке. А минут десять спустя необходимая пружина была поставлена Уваром Канахиным и Фешкой на место, и трактор ожил. Под ликующие крики комсомольцев он вновь пополз вдоль массива, увлекая за собой бойко заработавший крыльями самовяз.

— Пошел! Ура!

— Поехали!

— Газуй, Фешка! Жми на все сто!— подбадривали комсомольцы, ринувшиеся вслед за трактором.

Бобыль Климушка бежал рядом с трактором и, размахивая руками, кричал, точно понукая лошадь:

— Ну, ну, милый... О-о-го-о-го, не подводи нас ради Христа. Но-но, Воронко!

Капитон Норкин, крутясь на коньке в толпе мужиков, твердил:

— Ну теперь пошел взаправду. Богом клянусь — не остановится. Я знаю. Не остановится...

Спешившиеся джигиты, побросав на меже лошадей, долго гонялись гурьбой за ходко двигающимися машинами. Они впервые видели не только трактор, но и сноповязалку, жавшую пшеницу и связывающую ее шпагатом в снопы.

А спустя полчаса, когда на соседнем массиве были пущены в дело две лобогрейки, джигиты, поскидав с себя теплые бешметы, с которыми не расстаются степные люди даже в пору летнего зноя, бросились вслед за колхозниками к охапкам черной осоки и принялись вместе с ними мастерить травяные жгуты для вязки снопов. Глядя на расторопных джигитов, с азартом взялись за работу не члены артели. Мужики, засучив рукава, и бабы, подобрав подолы праздничных юбок, тоже стали ловко вить из осоки жгуты, а затем и вязать в снопы скошенную лобогрейками пшеницу.

Артельная работа на жатве увлекла почти всех единоличников, до сего безучастно толпившихся на меже. И люди, захваченные азартом трудового соревнования, работали на славу, стараясь похвастать друг перед другом мастерством, расторопностью и сноровкой.

Работа кипела. И даже Капитон Норкин не выдержал: бросив своего коня на меже, он тоже ринулся на полосу и стал на вязку снопов. Вязать снопы он был мастер. Работал проворно и бойко и, увлекаясь, сам восхищался делом своих трудолюбивых рук. Быстро затянув увесистый сноп, Капитон ставил его на попа и, подмигивая работающим рядом бабам, хвастливо говорил:

— Видали? Вот это сноп! Не сноп — огурчик! Кто лучше меня свяжет? Никто. Не родились еще супротив меня мастера на белом свете!

37

На другой день жатвы колхозного хлеба бригада Аблая в составе пяти аульных комсомольцев, по распоряжению Мирона Викулыча, была поставлена на вязку снопов рядом с бригадой Луни. Отсутствие производственной сноровки у казахов, впервые вышедших на уборку, внушало серьезные опасения Аблаю. Внутренне он был даже убежден, что им трудно будет устоять про-

тив шести лучших русских вязальщиков, репутация которых твердо была упрочена долголетней практикой, полученной за годы батрачества на чужих постатях.

В бригаде Луни были отборные мастера-сноповязы. К соревнующимся с ними бывшим пастухам-казахам члены лунинской бригады относились с ехидным предубеждением: слабые и заранее обреченные на поражение соперники. Бригадир Луня косился на строгого, сосредоточенного Аблая и, перемигиваясь с преисполненными сознанием собственного превосходства членами своей бригады, кривил запекшиеся от зноя губы в иронической улыбке. То и дело поглядывая на обливающихся потом казахов, неумело, неловко затягивающих снопы, Луня мычал про себя:

— Да-а-а, незавидные вы работнички! Так себе — Тюха, Пантюха да Колупай с братом. Куда вам до нас — природных сноповязов!

Рослый, на редкость густой хлеб вылег. Это осложняло работу жатвенных машин. И Мирон Викулыч, посоветовавшись с народом, принял решение: косить лобогрейками массив только с трех сторон, так как с четвертой взять вылегшую пшеницу было невозможно — так низко, почти плашмя, лежала она на земле, что режущий аппарат лобогрейных жаток скользил поверх пластов лежавшего хлеба.

Соревнующиеся бригады вязальщиков Луни и Аблая поделили между собой все три стороны поровну. Волнение, которого не могли скрыть неуверенные в своем успехе казахи, скоро передалось и бригаде русских. Хоть и числились в бригаде у Луни отборные мастера, но все это были пожилые люди. А ведь им не только следовало успеть вслед за лобогрейками связать скошенную пшеницу в снопы, но, главное, надо было вовремя убрать с дороги перед новым заездом скошенный хлеб, сбрасываемый лобогрейщиками с платформ на жниву. А для этого приходилось гоняться за лобогрейками на рысях, что пожилым лунинским сноповязам было явно не под силу. В бригаде Аблая, наоборот, собралась одна молодежь, и казахские джигиты неутомимо гонялись за лобогрейками.

Беда бригады Аблая была в другом. Ребята действительно худо справлялись с вязкой снопов — тут не хватало им ни навыка, ни сноровки, и это немало огорчало Аблая, который видел, что снопы, связанные казахами,

выглядели жидковатыми и неряшливыми по сравнению с тугими, точно слитыми из золота, красивыми и опрятными снопами, связанными дошлыми русскими умельцами.

Работали и те и другие наперегонки. Никому не хотелось отстать, оскандалиться, стать мишенью для шуток и насмешек со стороны ревниво следивших друг за другом соперников. Все волновались.

Невозмутимо-спокойной была одна только Кланька — член лунинской бригады сноповязальщиков. Несмотря на свою полноту, она с девической резвостью летала по полосе следом за лобогрейками, подбирая и отбрасывая в сторону рядки скошенной пшеницы и на ходу ловко затягивая снопы в травяные жгуты. Управившись раньше всех, она становилась, подбоченясь, в позу победительницы, презрительно-насмешливо поглядывая на отстающих членов своей бригады. Затянув все снопы на своем участке, она иногда успевала даже свернуть огромную козоножку, набить ее крепким самосадом и закурить. Кланька стояла среди полосы, неподвижная и огромная, как памятник, и, дымя гигантской самокруткой, подтрунивала над остальными членами бригады, которым было уже не до курева...

Пронзительный свист и гортанные окрики погонщиков, приглушенное щелканье кнутов и бойкое стрекотание лобогреек — все это волновало, подбадривало увлеченных трудом людей, и они, подчиненные единому, дружному, спорому ритму артельной работы, забыв об усталости, трудились в поте лица с каким-то веселым отчаянием. Сноповязы, вытянув над головой зеленые пояса вязок, с разбега плашмя падали на сброшенные с платформы валки хлеба и, ловко перехватывая их травяными опоясками, скручивали в снопы. Было похоже, будто гонялись люди за большими трепетными подбитыми птицами, на лету схватывая их в охапку.

Члены бригады Аблая работали с молчаливым ожесточением. У них на первых порах то и дело рвались вязки. Аблай нервничал, не успевал как следует заправлять колосья в снопы, а затем, растерявшись, начал отставать от ребят и готов был от стыда провалиться сквозь землю. Но ребята, заметив его растерянность, выручили его из беды. Они помогли ему, завязав несколько снопов на его участке, и он начал работать спокойнее и увереннее.

Увлеченный жаркой работой, Луня скоро почувство-

вал тупую боль в пояснице — ведь он был уже не молод!— и втайне не прочь был присесть на сноп и затянуться папироской. Но, как на беду, лобогрейки работали безостановочно. Соленый пот заливал глаза Луне. Все больше и больше чувствовал старик, как заметно слабели, подсекались ноги, как тяжелели, словно налитые оловом, руки. Но Луня не отставал от членов бригады. Нельзя ему было отставать. Нельзя было терять достоинство бригадира и заслуженного мастера-сноповяза.

Нелегко было и Климушке. Потеряв в пылу жаркого труда оба своих опорка, Климушка носился теперь по полосе босиком, в разодранной рубахе, мокрый от пота, стремительный и даже на вид как будто помолодевший. У него тоже мало-помалу начало покалывать в пояснице, было горько во рту и тоже пересохли от жажды спекшиеся губы, а пот заливал глаза. Вот почему, поравнявшись с бригадиром, Климушка, точно угадав мысли Луни, на ходу раздраженно бросил, махнув в сторону лобогреек:

— Ну, дорвались! Косят и косят без останову. Ведь так всех коней за первую упряжку замордуют. Лошадь — не человек, ей отдохнуть надо!

Но Луня ничего не ответил Климушке, хотя и очень хотел, чтобы какая-нибудь неполадка задержала машины. Да, дело было немолодое. Старик нуждался в передышке, без которой — он чувствовал — вот-вот силы изменят ему, и через круг-два он может оскандалиться и в глазах членов бригады, и, что еще постыднее, в глазах соревнующихся с ними казахских пастухов.

Тут, вспомнив о пастухах, Луня прыгнул на сноп, вытянулся и зорко присмотрелся к мелькавшим по ту сторону полосы обнаженным до пояса телам членов аблаевской бригады. Поскидав просторные рубахи, казахи, сверкая бронзовым загаром темных от природы тел, работали до того споро и быстро, точно были заняты на редкость веселой и азартной игрой. «А здоровы, черт бы их взял, на побежку. Здоровы! Молоды!»— с завистью подумал Луня. И мысль о том, что работа идет сейчас куда проворнее и лучше, что молодежь может оказаться к концу упряжки победительницей в этом трудовом соревновании,— эта мысль привела Луню в смущение. И, как бы заранее оправдывая неминуемое свое поражение, Луня мысленно рассуждал: «Ну что ж, наше дело немолодое — за машинами на рысях гоняться. Зато снопы у нас не сравнишь с казахскими — любо погля-

деть — богатыри богатырями!» Однако на секунду подумав об этом оправдании, Луня тотчас же забыл о нем, ощутив новый прилив неслыханного трудового азарта. Бросив взгляд на неутомимую, удивительно ловко работающую рядом Кланьку, Луня, подмигнув ей, крикнул:

— Не сдадимся, гражданка! Не посрамим свою честь. Как ты думаешь, сударушка?

— А ты поменьше болтай да поживей работай!— беззлобно прикрикнула на него Кланька.

Между тем ребята Аблая с азартом, свойственным юности, продолжали работать действительно так, как будто были увлечены необыкновенной, полной огня и страсти игрой. Молодые, проворные, сильные, они не ощущали ни болей в поясницах, ни шума в ушах, быстро справлялись с тяжелыми валками скошенного хлеба. На бегу они тоже украдкой ревниво косили узкие глаза на противоположную сторону полосы, и каждый из них тоже боялся думать о своем поражении.

Нет, никогда еще не спорилась, не кипела так дружно работа в дни страды! Это чувствовали Климушка и Роман, Луня и Мирон Викулыч. Это чувствовали все члены маленькой сельхозартели, занятые вязкой снопов.

Хлеб был на славу. Огромные, туго перетянутые травяными вязками, ладно прибранные снопы лежали так густо, что со стороны казалось — на полосе негде было ступить ногой. И с замирающим радостным сердцем то и дело на бегу оглядывались люди на пройденный путь, на убранную жниву, густо усеянную трофеями этой горячей, жаркой артельной битвы за урожай.

Шел час за часом. А лобогрейки по-прежнему безостановочно, бойко и весело стрекотали, помахивая крыльями. И люди, не замечая времени, работали все с тем же ожесточением, близким к ярости. Все ниже и ниже опускалось к горизонту жаркое августовское солнце, все длинней становились косые тени от метавшихся на полосе людей. Все громче и громче стучали молоточки в висках утомленного Луни. Все острей и острей ощущалась боль в пояснице. Но сдаваться ему, старику, было нельзя, отдыхать ему было некогда.

Первым из лунинской бригады не выдержал Климушка. Второпях он разорвал пять травяных вязок и, озлобленный этим, коршуном налетел на бригадира.

— Это что за распорядки!— заревел Климушка, захлебываясь слюной.— Ты что смотришь, бригадир? Разве

это дело? Поставили азиатов на лучшую сторону, а нас — на бросовую!

— Да ты что, очумел, Клим? Чем сторона их лучше нашей?— удивленно подняв на Климушку залитые потом глаза, спросил Луня.

— А тем и лучше, что подветренная сторона у них. Понял? А раз подветренная сторона, стало быть, и валки там ложатся с платформы получше наших.

— Ну, это ты брось буровить. Всем жарко приходится...— осуждающе сказал бригадир, продолжая работу.

Климушка покрутился вокруг бригадира, но затем, спохватившись, бросился со всех ног на свою неубранную постать и, уже ни слова не вымолвив больше, вновь проворно и зло начал крутить снопы поцарапанными в кровь старческими руками.

Климушка завидовал Кланьке. Ему было до слез обидно и горько, что эта здоровенная баба справляется на своем участке вдвое быстрее его. И старик, напрягая силы, пытался догнать Кланьку, перещеголять ее удалью, расторопностью. Но как ни старался, как ни напрягал силы Климушка, а далеко ему было до Кланьки. Задержавшись в минутной словесной перепалке с бригадиром, Климушка отстал от соперницы на целых полторы постати. Сатанея от озлобления, обиды и зависти, Климушка работал, несмотря на нечеловеческую усталость, на резь в пояснице, с необычайным ожесточением. А тут еще дернул черт юркого Ераллу подзудить старика. Наспех затягивая сноп, Климушка услышал оклик подпаска:

— Уй-бой! Твоя мала-мала шибко устала, дедушка. Наша совсем нет.

Оглянувшись, Климушка увидел стоявшего поодаль сочувственно улыбающегося ему подпаска и, пригрозив ему травяным жгутом, закричал:

— Я тебе поизгаляюсь над стариком! Марш отсюдова, пока я тебя, варнака, вот этой опояской не выпорол!

— Уй-бой! Не ругай ваша наша, дедушка! Не будешь ругай, наша ваша помогай будет мала-мала,— доверительно сказал Ералла.

И Климушка опустил руку. Он хотел было выругаться, но вместо этого, переведя дыхание, пробормотал:

— Помогать, говоришь?.. От тебя, варнака, помощь мне невелика. А вот вязки раскладывать ты бы мог. Это я за тобой не отрицаю. Ну-ка попробуй...

Ералла тотчас же выдернул из-за пояса Климушки

вязку и положил на нее охапку пшеницы. Затем, отскочив в сторону, подпасок повелительно крикнул Климушке:

— Готово. Вязай его надо!

Климушка затянул в сноп положенную Ераллой пшеницу. А через несколько минут работали они уже — старый и малый — дружно и молча, и дело у Климушки стало спориться лучше, заметно подаваясь вперед. Скоро они нагнали Луню, перегнали двух стариков, путающихся в пышных валках пшеницы, и не могли настичь только Кланьку. По-прежнему шла она вдоль шеренги валков, ловко перехватывая их вязками и мгновенно затягивая в снопы.

Солнце садилось за горизонт. Багровые знамена заката полыхали над степью. Вдруг неумолчный, приглушенный стрекот лобогреек оборвался и замер. Стало так тихо, что люди услышали вечерний бой перепелов.

Затянув последний сноп, Луня с трудом выпрямил скованную тупой болью спину и огляделся. Кругом лежала обнаженная жнива, и, подобно несметной овечьей отаре, разбрелись по ней тучные снопы.

Луня внимательно оглядел сторону, на которой работали казахи. Но кругом, куда ни кинешь взгляд, везде и всюду виднелись теперь лишь одни снопы. Вдруг Климушка услышал позади себя гортанные ликующие возгласы и, оглянувшись, увидел прыгающих через снопы, стремглав несущихся по направлению к нему казахов. Возбужденно размахивая руками, казахи что-то кричали.

Оглядев постать, Луня увидел, как на ней копошились еще, довязывая последние снопы, члены его бригады. И только Кланька сидела подбоченясь на последнем затянутом ею снопе и, попыхивая огромной козьей ножкой, озиралась вокруг с видом надменной и гордой победительницы.

«Неужели они, черти, опередили нас?!» — с тревогой подумал Луня, глядя на мчавшихся сломя голову казахов.

И тут, точно отвечая на его мысленный вопрос, Ералла крикнул:

— Уй-бой! Ево победим ваша наша!

Луня опустился на сноп точно подкошенный. И только сейчас, впервые присев, почувствовал, как он, оказывается, смертельно устал и как у него дрожат руки.

Члены аблаевской бригады, ринувшись с торжествующими воплями на выручку соревнующихся с ними стариков, неожиданно опешили: они увидели, что делать им тут было нечего.

Климушка, последним из всей бригады затянувший свой сноп, сказал Ералле:

— Шустрая твоя нация, Миралла. Только зря они к нам торопились. Старый конь, как говорится, борозды не портит!

Первый страдный день на уборке колхозного поля закончен. К полевому стану тянулись с убранной полосы лобогрейки, а за ними плелись усталые, молчаливые, но счастливые люди.

Еще рокотал где-то в сумерках незримый трактор да слышались озорные возгласы неугомонных комсомольцев. Там, на большом массиве колхоза, еще продолжалась уборка пшеницы самовязом. Но вот умолк и рокот тракторного мотора, и с далекого массива артельного хлеба донеслись до полевого стана бригады дружные крики победного «ура». То ликовали комсомольцы, бурно торжествуя по случаю успешного завершения первого дня жатвы, а вместе с ними ликовали на полевом стане и обе бригады сноповязов и лобогрейщиков, тоже довольных венцом своего трудового подвига — сытным артельным ужином из общего котла под открытым вечерним небом!

38

В канун уборки на полях колхоза «Интернационал» Проня Скориков не находил себе места. Принимаясь несколько раз за какое-нибудь дело, он тотчас же бросал его и бежал на колхозный двор, где царило необычайное оживление среди людей, занятых горячей предстрадной работой. Проня смотрел на суетящихся по двору мужиков, на юрких, неугомонных казахов и еще острее чувствовал злое свое одиночество, безысходную и тупую тоску. И как будто бы только теперь понял он, что всю жизнь было ему вот так же скучно, сиро и одиноко, что всю жизнь тянуло его к людям, и всю жизнь, однако, что-то мешало ему почувствовать себя своим среди этих людей...

С горькими мыслями, со смутными, тревожными желаниями возвращался Проня с колхозного двора к себе в неуютную, сумрачную избу и принимался за нудную перебранку с женой, которая готовилась тоже отпра-

виться завтра на пашню. Она раздобыла два заржавленных серпа и сказала:

— Добрые люди на страду, а мы чем хуже? Пойдем завтра, посмотрим на наш хлебушко. Небось уже и нам матушку-пшеницу жать время.

Проня с тревогой думал о завтрашнем утре, о том, как он сядет с женой на телегу, привезет ее на пашню, а полосы-то и нет... Он несколько раз пытался заранее приготовиться к тому, как он признается бабе, что полоса их бесследно пропала еще в канун петрова дня, что все лето мучился он, Проня, искал исчезнувшую полосу и не мог найти... Но сколько ни думал об этом, сколько ни размышлял Проня, однако не мог представить себе, с чего начнет он этот нелегкий разговор. Отчаявшись, он безнадежно махнул рукой — будь что будет! Во всяком случае, решил он, срамиться на людях не следует, и в случае чего разговаривать он будет круто, пусть знают добрые люди, какую власть он имеет над строптивой своей старухой!..

Вечером, беспокойно ворочаясь на войлочной подстилке, Проня хотел было сказать ей: «А ведь полосу-то мы свою потеряли, мать. Без вести пропала наша полоса. Вот, скажи, какой грех опять с нами случился!» Но не решился на это рискованное признание.

На другой день утром вслед за колхозной бричкой, до отказа набитой народом, приехал Проня на пашню. Он наспех выпряг мерина и незаметно исчез. Он не показывался на глаза до обеда, до тех пор, пока колхозники не пустили вновь трактор после его вынужденного простоя. За это время Проня успел обежать все поля артели. Кружась около колхозных массивов пшеницы, он в сотый раз приглядывался к каждой наизусть изученной им за лето заячьей тропе, к каждой былинке и по-прежнему не находил и следа от былой своей пашни. И эта бесплодная беготня окончательно укрепила в нем горькую уверенность в том, что полосы ему теперь, вероятно, не видать как своих ушей, и потому осмеянному и освистанному мужику придется бежать, завязав глаза, невесть куда.

А когда, вернувшись к месту уборки колхозного поля, Проня услышал гул толпы, рокот трактора и бойкий стрекот лобогреек, эта уверенность перешла у него в страх и смятение. Проня почувствовал, как больно начало сжиматься его сердце от обиды за потерянную полосу.

Колхозники, охваченные всеобщим волнением, и ду-

мать забыли о Проне. Никто не замечал его, никто с ним не разговаривал, и даже Роман, несколько раз встречаясь взглядом с Проней, казалось, не обращал на него никакого внимания.

Между тем, не спуская глаз с трактора, Проня, затерявшись в праздной толпе хуторских зевак, пришедших в праздничный день поглазеть на уборку колхозного хлеба, целый день толкался около колхозной полосы вместе с прочим народом. Тихий, пришибленный, робко поглядывал он на трактор, на самовяз, делая вид, что его занимает работа этих хитрых, не виданных прежде им машин. Но, ревниво следя за работой машин, он не переставал думать с тревогой все об одном и том же — об исчезнувшей своей полосе, в чем было страшно признаться не только строптивой старухе, но даже и самому себе.

Вдруг Проня услышал звонкую, властную команду Романа:

— Стоп машина!

И Фешка, поставив рычаг в нейтральное положение, остановила трактор. Тогда Проня, точно очнувшись от забытья, огляделся и, пораженный, замер на месте. Перед ним, среди густой, рослой артельной пшеницы, лежала полдесятинная полоска низкорослого, хилого хлеба. Редкие, немощные, тощие стебельки пшеницы торчали, вытянув кверху крошечные и жалкие колосья. Проня, ринувшись со всех ног к жалкой своей полоске, сорвал колосок, поспешно растер его на ладони и долго разглядывал морщинистые, худосочные зерна, а затем, стиснув их в кулак, обескураженно поник головой. Он не знал, не помнил, долго ли, коротко ли стоял так, не шелохнувшись, не поднимая опущенных долу глаз. Но он чувствовал, что на него смотрели десятки колючих глаз окруживших его членов артели.

И не успел Проня одуматься, прийти в себя, как на его поруганно поникшую голову посыпались со всех сторон ехидные возгласы:

— Вот это выдурил хлебец!

— Не дай бог никому крещеному такого урожая...

— Это что же, чья же эта работа тут, граждане мужики?— хитро покосив глазом на поникшего Проню, спросил Климушка.

— Неужели наши колхозные огрехи?— спросил кто-то.

— Ну, нет. Такого греха на душу не берем,— возразил Роман.

И тотчас же взволнованно, запинаясь, Роман рассказал в изумлении притихшей толпе, как нынешней весной комсомольская бригада артельных плугарей опахала со всех сторон худо вспаханную и заборонованную полоску Прони Скорикова, оказавшуюся в самом центре колхозного большого массива, и вот что из этого теперь вышло! Как ни тянули они тогда в свою артель этого упрямого единоличника, как ни уговаривали Проню засеять его полудесятинную полоску колхозной сеялкой, уломать его так и не удалось. Заупрямился старик, предпочтя единоличную обработку своей полосы артельной, и результат налицо — полюбуйтесь, что из этого получилось!

— Незавидная картина, товарищи!— говорил Роман окружившим его членам артели и хуторским единоличникам.— И не я, понимаешь, агитирую за колхоз, наш артельный урожай агитирует. Наш колхозный хлебушко за новую жизнь голосует!

— Правильно!

— Наш хлеб не сравняешь с единоличным!— дружно поддержали своего председателя члены артели.

После Романа взял слово Увар Канахин, горячо доказывая еще колеблющимся хуторским единоличникам необходимость влиться в «Интернационал».

За Канахиным столь же страстно и горячо говорила о преимуществах артельной жизни Фешка.

А Проня по-прежнему стоял, не поднимая глаз, не зная, куда деться ему от стыда, от горя и обиды. Вдруг он поднял глаза на подошедшую к нему жену. Она, бесцеремонно ткнув мужа в бок, шепнула ему на ухо:

— Да что ты стоишь-то как пень? Соглашайся на то, что тебе добрые люди советуют. Пишись к ним в артель. Пусть заодно все подряд косят. Пишись, ради бога, не мешкай...

И только сейчас дошли до сознания Прони слова Романа: «Вот вам факт налицо, товарищи! То рядовой посев сеялкой, а то абы как — через пень колоду. Да разве один в поле воин? Разве один против такой артели устоит?!»

— Дай мне, дай мне, Роман Егорыч, слово сказать,— опасливо оглядываясь вокруг, несмело пробормотал Проня.

На мгновение стало вокруг так тихо, что было слыш-

но, как звенели под жарким солнцем спелые колосья пшеницы. Проня в нерешительности замялся, переступая с ноги на ногу, и, поняв, что все притихли в ожидании его слова, совсем растерялся. Но тут жена ободрила его подобием ласковой, поощряющей улыбки, на мгновение озарившей ее худое морщинистое лицо.

И Проня, часто моргая, глухо проговорил:

— Горько мне смотреть на свою полосу, граждане мужики и гражданки бабы. Горько. Не отрицаю... Вот моя полоса, вот — артельная. Небо и земля. Не отрицаю...

Растерянно оглядевшись вокруг, Проня хотел сказать еще что-то, но в это время вынырнул из толпы черный, как негр, от загара Филарет Нашатырь.

— Факт! Обыкновенное дело,— крикнул Нашатырь. Затем, сорвав с головы дырявый картуз, смахнув рукавом в клочья разорванной рубахи крупные капли пота со лба, Филарет повторил:— Факт! Я тоже, как он, говорю. Я тоже артельной жизни не отрицаю!

И, комкая в руках картузишко, Нашатырь заговорил. Все слушали его с напряженным вниманием. А он рассказывал людям, как он продался за пикулинскую кобылу, и как совсем было спалил колхозный хлеб, и как убежал он затем от стыда и позора в степь, и как блуждал по чужим, незнакомым местам,— и вот, хлебнув горького до слез, решил вернуться на хутор с повинной, вернуться и, ничего не тая, рассказать обо всем мужикам, целиком положившись на их справедливое и строгое суждение...

Говорил Нашатырь волнуясь, глотая слова, словно боялся, что его прервут и он так и не успеет сказать самого главного.

Но его никто не перебивал, и он, заканчивая свою исповедь перед колхозниками, убежденно заявил:

— А теперь я отсюда ни шагу! Ни шагу отсюда я, граждане мужики. Факт! Весь перед вами. Обыкновенное дело. Хоть убейте. Судите меня, как хотите, а я от вас не уйду!

Потрясенные жестокой исповедью Нашатыря, в глубоком безмолвии долго стояли вокруг него члены артели. Затем Роман, подойдя к Нашатырю, положил руку на худое его старческое плечо, а другую руку на плечо Прони Скорикова и, немного помедлив, сказал:

— Что ж, давайте пишите нам оба свои заявления.

Обсудим на общем собрании артели. Подумаем насчет вашей судьбы... Так, что ли, товарищи?!— спросил Роман, обращаясь ко всем членам сельхозартели.

— Правильное предложение!

— Дело тут ясное!

— Таких принять можно...

...В сумерках Нашатырь и Проня Скориков диктовали Кенке пространное заявление правлению сельхозартели «Интернационал» с просьбой принять их в члены артели. Кенка, сидя верхом на дышле и обсасывая огрызок химического карандаша, старательно выводил непокорные буквы на клочке бумаги, скупо освещенном отблеском пылающего невдалеке костра.

Ералла вертелся около Кенки и, заглядывая через плечо приятеля, что-то шептал толстыми губами, делая вид, что читает каждое слово, написанное Кенкой.

39

Все эти дни, вскоре после ареста Анисима, заподозренного в умышленном поджоге гумна с целью вызвать пожар на хуторе, Иннокентий Окатов безвыездно торчал в районе. Отсиживаясь в квартире агронома Нипоркина, Иннокентий писал с утра до вечера заявления в адреса всех районных организаций, пытаясь выставить себя человеком затравленным, взятым под огонь Романом, Уваром Канахиным и Фешкой. Собственно, он объяснял эту травлю только одним — побуждениями сугубо личного порядка, которые якобы возникали на почве взаимной ревности между ним, Линкой и этими людьми.

Иннокентий метался по районным организациям, неистово бил себя кулаком в грудь и, захлебываясь, доказывал:

— Я прошу понять меня, дорогие товарищи. Вот моя душа, вся она нараспашку, вся она настежь перед вами. Сызмальства моей жизни, отрекшись от собственного папаши, я стоял за новую жизнь, и я стою за полное построение социализма в данной местности!

Кричал он по-прежнему горячо, запальчиво, гневно. Но в то же время он все больше и больше чувствовал, как с каждым словом он обнажает свое притворство, фальшь и беспомощность. И не только один он это чувствовал. Агроном Нипоркин также осунулся, похудел, затих, забросил свои стихи и каждый день тоже писал слезные заявления на имя председателя районного исполкома с

просьбой о немедленном освобождении его, Нипоркина, от занимаемой должности.

Агитпроп комсомольского райкома Коркин все время настаивал перед райкомолом, чтобы ему разрешили выезд в окружной комитет комсомола, втайне надеясь поднять там вопрос о своем переводе.

Иннокентий Окатов не отставал от Нипоркина и Коркина, пытаясь заручиться их поддержкой. Но из откровенного разговора с Нипоркиным Иннокентию стало ясно, что ненадежную опору представляют они для него. А поняв это, Иннокентий тоже неожиданно притих, увял и ходил по районному центру уже не той нагловато-развязной и уверенной походкой, как прежде. Пришибленным, внутренне опустошенным почувствовал себя он, потеряв всякую веру и в агронома Нипоркина, и в агитпропа Коркина, на поддержку которых он до сих пор надеялся.

А между тем с хутора шли беспокойные, тревожные вести. Каждую ночь ватаги джигитов стекались из окрестных аулов в районную штаб-квартиру Иннокентия Окатова и приносили сюда печальные новости. Так, например, Иннокентию Окатову стало известно, что только в первый день уборки колхозного хлеба трактором в «Интернационал» было подано тридцать восемь заявлений бедняков о вступлении в колхоз. Он знал и о том, что присоединившиеся к колхозу «Интернационал» кочевники аула Аксу вынесли постановление о переходе на оседлый образ жизни, что уборка в колхозе проходит на редкость бойко и дружно, что бесперебойно работают трактор и самовяз и что вчера в ночь с хутора в зерносовхоз был послан руководителями «Интернационала» особый нарочный с каким-то важным пакетом...

А дело в артели «Сотрудник революции» не ладилось. Да, в сущности, Иннокентия уже вовсе и не интересовала судьба распадающейся артели и тем более судьба попавшихся с поличным его сподвижников. Он отнюдь не старался брать под защиту того же Анисима. Не об Анисиме думал сейчас Иннокентий. О самом себе. Он знал, что ответчиком за всю тонко продуманную и крайне опасную борьбу, которую упорно вел он с горсткой объединившихся батраков хутора и пастухов аула, ответчиком за все хитрые, замаскированные действия против маленького коллектива будет только он, Иннокентий Окатов. И перед ним вставала совершенно ясная, прямая, четко

сформулированная самим им задача: увернуться от нависшего над ним удара, ускользнуть так же изворотливо, как это удалось ему сделать около трех лет назад, когда он, убедив отца в необходимости временного разоружения, взял одним махом первое препятствие, очутившись в красноармейской казарме...

Размышляя о том, как ему выйти в конце концов из воды сухим, Иннокентий задумывал было свести все к личным счетам между ним и Линкой, своим соперником в этом деле — Романом и соперницей Линки — Фешкой. Но этот ход был им тотчас же отвергнут. Отлично предугадывая весь дальнейший разворот событий, Иннокентий видел, что дело принимает серьезный оборот не только в его личной жизни, что оно осложняется и перерастает хуторские границы, задевая некоторых руководящих работников рейцентра. И, подумав, Иннокентий понял, что все его оправдания, построенные на мнимых столкновениях личного порядка, крайне неубедительны, жалки и неумны, что, идя по этому пути, он окончательно выдаст себя, обнажит свои замыслы и останется в дураках. И тогда-то осенила Иннокентия удачная мысль: стать против всех своих сторонников, заявить в открытую о заблуждениях, пойти на беспощадное и жестокое разоблачение трахомного Анисима, Силантия Пикулина и собственного отца — Епифана Окатова.

«Это нелегкое дело. Но это единственный выход!» — решил ободрившийся Иннокентий. И тут же, не мешкая долго, уселся за составление нового пространного заявления, адресованного следователю районной прокуратуры, в котором подтверждал все уже имевшиеся в распоряжении следственных органов и известные ему, Иннокентию Окатову, материалы, уличающие Анисима в умышленном поджоге гумна.

В этом заявлении Иннокентий приводил перечень фактов, свидетельствующих о непримиримо-враждебном отношении арестованного поджигателя ко всем мероприятиям Советской власти. Иннокентий указывал, что на старой заимке близнецов Куликовых вот уже пятый год лежит в земле свыше пятисот пудов пшеницы. Не забыл он сказать и о контрреволюционной работе папаши — Епифана Окатова, и о связях последнего с бесследно исчезнувшим Лукой Лукичом Бобровым.

В ту же ночь Иннокентий написал и покаянную статью для окружной газеты «Смычка». В этой статье он

разоблачал контрреволюционные замыслы кулацко-байской группировки на хуторе Арлагуле, прикрывшейся вывеской колхоза. Но, беспощадно разоблачая всех и вся, Иннокентий не забывал выгораживать при этом себя. Он обвинял в бездеятельности, в примиренческих настроениях обе комсомольские ячейки — хутора и аула, указывал на политическую слепоту и притупление классовой бдительности районного руководства — от секретаря райкома партии Чукреева до председателя райисполкома Старцева, а себя выставлял затравленной, жалкой жертвой, человеком, до предела отчаявшимся, не встретившим должной поддержки руководящих работников районного центра, а также со стороны руководства Степного зерносовхоза и, в частности, со стороны директора Азарова, к которому якобы он, Иннокентий Окатов, не один раз обращался. В результате всего этого он вынужден будет покончить жизнь самоубийством.

Трижды перечитав статью, Иннокентий остался недоволен ею. Факты, приведенные в статье, казались ему недостаточно вескими и убедительными. Он с подозрительной настороженностью вчитывался в каждую строчку, в каждое слово — боялся с головой выдать самого себя. Прочитав статью, он даже хотел сделать небольшую приписку о том, что отец его, будучи агентом районного отделения Казгосторга, похитил из конторы отделения кипу бланков с печатью, клишированных залихватской росписью заведующего отделением Арси Синебрюхова. Использовав эти бланки в целях личного обогащения, отец при помощи бая Наурбека произвел какую-то сложную темную операцию по заготовке скота, реквизированного у бедноты казахского рода, кочующего в глуби акмолинских степей, где-то около Кургальджина. Но мысль об этой приписке в то же время смутила Иннокентия: ведь он вместе с отцом ездил по степям, выдавал себя за продкомиссара, брал взятки с кочевников. Нет, так забалтываться ему, ясно, не стоило. Это было равносильно перебору в азартной картежной игре — верному проигрышу, когда утрачивает зарвавшийся игрок всякое чувство меры!

Статья была отправлена Иннокентием наутро в город с одним из байских джигитов. Теперь все, что зависело от Иннокентия, было сделано. Но странно, былого спокойствия и былой внутренней уверенности у него не было. Протолкавшись по районным учреждениям весь дол-

гий августовский день, Иннокентий совсем утратил самоуверенность. А ночью, оседлав застоявшегося пикулинского жеребца, он поскакал галопом на хутор.

...Епифан Окатов в день выезда на уборку пшеницы артели «Интернационал», вернувшись на хутор, злобно скинул с себя обветшалый малиновый бешмет, растоптал ногами монашескую скуфейку, переломил через колено библейский посох и, залпом выпив два стакана водки, долго сидел в раздумье в переднем углу под киотом. Затем он нарядился в извлеченную из заветного сундука зеленовато искрящуюся, как крыло селезня, длинную шелковую рубаху, натянул на себя высокие прасольские сапоги с гамбургскими передами и касторовый картуз с потускневшим от времени лакированным козырьком. Затем, заложив за спину руки, медленно прошелся он вдоль хуторской улицы. В сумерках удивленные бабы видели, как долго он кружил около былого своего поместья и исчез в темноте, как привидение.

40

Вечером на хутор приехала с пашни Линка. Роман поручил ей составить сводку о ходе уборочной и вместе с другими деловыми бумагами немедленно отправить с нарочным в район. Кроме того, ей надо было в срочном порядке оформить протоколы общеколхозных собраний и приложить к ним списки вновь вступивших в артель хозяйств.

Линка наспех выпила кружку парного молока, заботливо припасенного для нее Кланькой, и принялась за работу.

Она спешила, нервничала и потому часто путала то имена, то фамилии новых колхозников, перевирала графы. Но, несмотря на все это, она была преисполнена радостного волнения. Удивительно светло было у нее на душе. Это душевное просветление пришло к ней после примирения с Романом, после нового доверительно-дружеского сближения с Фешкой, после участливого отношения к ней — Линке — всех членов молодой сельхозартели. Но главное тут было, конечно, в Романе. Каким-то особым женским чутьем она чувствовала, что и Роман вновь потянулся к ней, что он ищет сближения, и это тревожно волновало и радовало ее. Внутренне она готова была теперь навсегда связать судьбу свою с ним.

Нет, только сейчас — и это самое главное — почувствовала Линка себя на своем месте. Боже мой! Каких же трудов стоило ей все это! Вспоминая про мучительные, пытливые поиски места в жизни, Линка была убеждена в том, что никто и ничто не поколеблет ее уверенных и твердых шагов, и теперь она уже не собьется с пути и ни за что на свете не отстанет от ребят, не отобьется от коллектива.

Линка писала при свете свечи.

Сумеречный покой комнаты смыкался над ее головой. Темная ночь дремала за окнами. Было уже поздно. И усталость неотвратимо начала сковывать девушку. Сон окружал ее очарованием отрывочных, смутных видений.

Встряхнувшись, Линка выпрямилась, встала, распахнула створки окна, и ее потянуло в густую прохладу ночи. Она вышла на улицу.

Луна поднималась над озером, золотя искрящуюся, словно расшитую позументом дорожку. В неярком холодном свете ее весь окрестный пейзаж с хуторскими избами и крылатыми мельницами походил на рисунок, выжженный по дереву.

Глубоко вздохнув полной грудью, Линка устало опустилась на приступки крылечка и мечтательно замурлыкала что-то, но внезапно заметила, как к крыльцу метнулась чья-то воровская тень.

— Кто?— чуть слышно прошептала Линка похолодевшими губами и замерла, насторожившись всем существом.

Но вокруг было тихо. Сдержанно скрипнула под ногой приступка крылечка.

— Кто?— еще тише спросила Линка и осторожно, на носках спустилась с крылечка.

Не зная, зачем она это делает, чувствуя чье-то затаенное дыхание вблизи, Линка стала красться вдоль забора, желая во что бы то ни стало увидеть притаившегося в тени палисадника человека. Она не видела его, но чувствовала, что он был здесь.

В самом конце просторной школьной ограды под дырявым навесом стояла сложная общественная молотилка, некогда принадлежавшая Епифану Окатову, а впоследствии переданная им хуторскому комитету взаимопомощи. В неверном, тусклом свете луны эта машина казалась сейчас громадным чудовищем, поразительно напоминающим слона. Прижавшись озябшим от нервно-

го напряжения телом к забору, Линка зорко присмотрелась к молотилке и увидела сидевшего под ней человека. С минуту он сидел не шелохнувшись, а затем начал возиться, причем возился, стараясь не шуметь, время от времени прислушиваясь к чему-то и оглядываясь вокруг.

— Кто это?!— чужим, подавленным голосом крикнула Линка, бросившись к машине.

Человек тотчас же вылез из-под молотилки. Заложив руки за спину, он замер на месте.

Сделав два нерешительных шага вперед, Линка шепотом спросила, узнав Епифана Окатова:

— Что вам здесь нужно?!

Епифан молчал. Уродливо длинная его тень лежала у ног Линки. Линка смотрела на его мертвенно неподвижное, скупо озаренное лунным блеском лицо, чувствуя на себе острый, словно пронизывающий взгляд его бесцветных глаз.

— Что вам здесь нужно? Я вас спрашиваю!..— повторила вопрос дрогнувшим от гнева голосом Линка.

— Тише, тише. К чему шум? Это я,— сказал Епифан Окатов довольно мирно, почти ласково.

— Я вас спрашиваю, что вам здесь нужно? Что вы делаете с машиной?— строго спросила Линка.

— Разрубаю гордиев узел...— пробормотал Епифан Окатов.

Затем он вплотную подскочил к Линке. Она инстинктивно отстранилась от него, заметив в руках Епифана большой американский ключ, два барабанных зуба и огромную шайбу, надетую, как браслет, на запястье левой руки. «А, это новая бутафория! Опять в юродивого начал играть!»— подумала Линка и с подчеркнутым ехидством спросила:

— А вы все притворяетесь? Но не поздно ли?

— Что поздно?— спросил как бы сквозь сон Епифан Окатов.

— Играть поздно. Бал окончен. Свечи погасли. Занавес опустился...— сказала Линка словами из какой-то забытой ею пьесы.

— Ну нет. Нет, сударыня. Бал не окончен. И до занавеса еще далеко,— возразил ей Епифан Окатов.

«Вот когда он ответил мне наконец своим голосом!»— подумала Линка.

— Ну нет. Нет, сударыня. Мне все это надоело...—

продолжал Епифан, беспрестанно суча тупыми пальцами.

— Что именно вам надоело?

Епифан не ответил на вопрос Линки. Он помолчал и, бросив наотмашь зажатые в руке барабанные зубья, сказал:

— Да, мне надоело, сударыня. Я могу по секрету сказать вам все, что знаю...

— Ну что ж, говорите. Я слушаю.

— А знаю я многое. Всего не расскажешь. Вот, допустим, был я прасолом, и вот, допустим, не с руки мне была эта жизнь. Хорошо. А сынок умней меня оказался. Вместе с ним торговал я гуртами рогатых. Я учил его обсчитывать каркаралинских киргизов, и он подавал большие надежды. Мы вместе ездили в Каркаралы и скупали там тонкорунную шерсть по фальшивой монете. С нами в компании был Моисей Соломоник. Учтите, библейское имя — Моисей! Мы учились у этого коммивояжера писать подложные векселя и мастерить поддельные расписки на лошадей, за полцены скупаемых нами у ярмарочных конокрадов. И сынок мой скорей меня наторел в этом деле. Переплюнул всех самых дошлых и тертых аульных жуликов-писарей, мастеривших такие расписки, и все степные конокрады-барымтачи стали обращаться с тех пор по этим темным делам только к нему. Так было. А теперь он надел на меня суму и вручил в руки посох. Превратил в юродствующего во Христе. Но почему сам он теперь сухим из воды выходит, сударыня?

— То есть как сухим?! Вы на него в обиде?— насмешливо спросила Линка.

— Не то слово сказала голубушка. Не то, не то,— поспешно ответил Окатов.— Разве можно было сказать про господа, что он был в обиде на Иуду. Мой сын — Иуда. Он продаст меня за тридцать сребреников, прежде чем петух успеет трижды прокричать до рассвета. Но я не дурак! Нет. Я далеко не дурак! И к тому же я не Лука Бобров — в открытые двери ломиться. Тому бы не табаками и баранами торговать, а мятежными полками на поле битвы командовать — это его стихия. Ну ладно. Бог с ним, с Лукой. У него одна дорога, у меня — другая. Хотя судьба у нас с ним одна и возмездие ждет нас единое. Вот извольте-ка поинтересоваться,— сказал бойко, почти весело Епифан, протянув Линке какую-то аккуратно свернутую бумажку.

Линка с недоуменной медлительностью развернула листок и, приноравливаясь к неяркому свету луны, стала напряженно присматриваться к ровным строчкам печатной машинки. Бумажка была скреплена печатью, украшенной неправильной формы пятиконечной звездой в центре круга. Напрягая зрение, Линка с трудом разбирала написанное. Было очень трудно уловить точный смысл прочитанного, и она поняла только одно, что бумажка эта была адресована из штаба энского кавалерийского дивизиона в хуторской сельсовет и имела какое-то отношение к Иннокентию Окатову. Остальное раскрылось перед ней само собой, точно эти несколько слов, прочитанных ею, оказались для нее ключом и она, быстро расшифровав при помощи этого ключа сложный код, поняла все, что здесь было написано. Почему-то на мгновение в памяти ее вспыхнул желтый искрящийся день, настежь распахнутые створки школьного окошка, ветер с запахами степных костров, малиновая фуражка Иннокентия, заломленная на затылок, и его фальшивый, приторный голос.

— Где вы взяли все это?— спросила Линка.

— Выкрал,— просто ответил Епифан.— Я четыре года смотрел в рот этому выродку. Он ушел из-под моей власти, и я понес тридцать пять тысяч рублей убытка. Он вручил в мои руки псалтырь и посох. Я читал псалмы по покойникам и все ждал, пока опомнится выродок. Я положился на его рассудок — и прохлопал последнего козыря.

— Какие же это были козыри?— почти с участливой заинтересованностью спросила Линка.

— Козыри? Бубны козыри. Самая верная моя масть! Мне всегда на них везло. Я на них выиграл на ярмарке в Куяндах гнедого рысака и пятьсот рублей ассигнациями.

— Ну, вот что: вы дурака тут не валяйте и не кривляйтесь!— сказала Линка, ощутив приступ злобы и отвращения к этому человеку, притворство которого доходило уже до цинизма.

Глядя на стоявшего перед ней Епифана Окатова, Линка отчетливо видела не жалкого иконописного старца с библейским посохом и псалтырем в руках, а необыкновенно ловкого и сильного врага. Вот он стоит перед ней, готовый ко всему на свете. Он не остановится ни перед

чем, если решился даже на разоблачение собственного сына!

«Как же я раньше не могла разглядеть отпетого, хитрого и злобного врага под его юродивой маской?!» — с гневом подумала Линка и, ни слова не сказав больше молча и вызывающе стоявшему перед ней Епифану Окатову, демонстративно повернулась к нему спиной и пошла к школьному крылечку.

Медленно поднимаясь по скрипучим ступенькам крыльца, Линка размышляла о том, что же ей делать теперь. И, на секунду задумавшись над этим, она решила немедленно бежать на полевой стан артели, рассказать Роману и Фешке о неожиданной встрече с Епифаном Окатовым, сообщить в район о мошеннической проделке председателя Совета Корнея Селезнева, утаившего отношение штаба кавалерийского дивизиона, ставившего в известность Совет о том, что Иннокентий отчислен со службы в Красной Армии как сын крупного кулака.

— Да. Да. К Фешке! К Фешке! — вслух проговорила Линка и насторожилась, услышав знакомый голос:

— Приветствую вас, папаша!..

Тишина.

Молчание.

Затем в ответ прохрипел голос Епифана Окатова:

— Прочь от меня. Уйди с глаз моих, выродок!

Линка, воровато шмыгнув за дверь, притаилась там, не решаясь перевести дыхание. На мгновение ей показалось, что в эту минуту возник и тотчас же пропал странный звук, похожий на сдавленный стон.

Хрустнул плетень.

Чуткое Линкино ухо уловило какую-то возню, доносившуюся со двора, чье-то порывистое, учащенное дыхание. Потом она отчетливо услышала чьи-то удаляющиеся шаги. И затем все стихло.

Чувство страха вновь овладело Линкой. Она бросилась бегом по переулку в степь; бежала, крепко стиснув в руке бумажку, врученную ей Епифаном Окатовым, ничего не видя перед собой, ничего не помня. И только пробежав версты две от хутора, когда в ночной степи неярко блеснул зрачок далекого костра полевого стана артели, Линка опомнилась и перевела дыхание.

Сердце гулко стучало в груди. Отдышавшись, Линка пошла по направлению мерцающего вдали костра спокойнее и ровнее.

...А наутро нашли Епифана Окатова около озерной курьи. Он лежал плашмя на песке, подобрав согнутые колени, прикрытые подолом длинной шелковой рубахи. Каменное, серо-землистое лицо его было искажено гримасоподобной улыбкой. Его широко открытые потускневшие глаза смотрели с тупой пытливостью в хмурое небо этого малопогожего утра. На запястье вольно откинутой на песок левой руки красовался черный ржавый браслет — огромная шайба, деталь от бывшей его молотилки.

Участковый фельдшер, прибывший вместе со следователем, установил, что смерть произошла, как выразился он, «вследствие насильственного удушения со стороны неизвестного злоумышленника».

Иннокентий Окатов явился к трупу отца, когда сюда уже сбежался весь хутор от мала до велика. Зорко оглядевшись по сторонам, Иннокентий прошел торопливым шагом сквозь шеренгу расступившихся перед ним хуторян и, покосившись на мертвое тело родителя, пренебрежительно сказал:

— Невеселое место для смертного часа нашли, папаша...

Затем, заложив руку за борт френча, Иннокентий хотел было сказать еще что-то, но как-то сразу обмяк, опустил глаза.

На него смотрела в упор Линка.

41

11 сентября

Растратчица! Я ворую часы и минуты скупого сна на этот дневник. Собственно, вторые сутки никакого сна и не было. Вчера с утра до утра проторчала вместе со всеми нашими на пашне. Заканчивали уборку овса. Завтра на рассвете трактор уходит в совхоз. Вот и торопилась освоить на практике все свои теоретические познания в управлении машиной, которые успела приобрести за все это время под руководством Ивана Чемасова и Фешки. Главным образом — Фешки!

Фешка, друг мой, строгий мой экзаменатор, сейчас я вспомнила о вчерашней неожиданной остановке мотора. Дура я — растерялась. Скорее всего я была смущена твоим грубым толчком и умелым, быстрым устранением дефекта. Ах, Фешка, Фешка! Слушай же, что я скажу. Ты

знаешь, меня больше всего угнетает твое недоверие. В самом деле, ведь ты, да и все остальные ребята могут подумать, что путной трактористки из меня так и не выйдет и что доверить мне трактор еще нельзя.

Но это неправда. Это неправда, золотце ты мое, Фешка! Да. Да. Я докажу, что это неправда. Придет день, и я сяду за руль. В конце концов я обязана буду сесть, если совхоз нам выделит для вспашки зяби обещанный трактор.

Вот закрою глаза и вижу: ветер, степь в дыму и в пыли. А я сижу за рулем трактора. Сижу уверенная в себе, настоящая, знающая, опытная трактористка. Подумать только — я на тракторе! «Эй, товарищ трактористка!— кричит мне Роман.— Ваша бригада опять сдает темпы!»

Бригада Аблая связала вчера, например, тысячу двести снопов — шестьсот пятьдесят сверх нормы. А мы с ребятами не дотянули и до тысячи. И за это вчера пожурил меня Роман. Говорил он со мной без улыбки, как всегда сурово, слегка наклонив набок голову. Но в глазах его — милых, немного печальных, больших и добрых глазах — я уже заметила вчера искорку теплого, дружеского участия ко мне и доверия. Заслужила ли я его?!

18 сентября

Сегодня провожали трактор. Последний овес подкосили около полуночи и всей артелью двинулись на хутор. Ей-богу же, ни одна из самых шумных и пышных демонстраций, которые мне приходилось видеть в городе, не волновала так, не зажигала меня, как наше ночное шествие с поля за трактором!

И еще открытие: лучший оратор в нашей артели — Филарет Нашатырь. Звонарь. Вот чудак! Кипятился, кипятился, а так вчера ни одного слова сказать и не смог. Но всем было понятно, что он хотел сказать. И все были проникнуты единой волей — к упорной жестокой и непримиримой борьбе за жизнь, за крепость нашего интернационального коллектива.

И опять я вчера смотрела на ребят, на доброго, безобидного, милого старика — Мирона Викулыча, на него — на Романа, на Фешку и вспомнила о самой себе. Подумать только, какой жалкой, сентиментальной, беспомощной, ветреной и вздорной девчонкой была я совсем недавно. Совсем недавно. Минувшей весной!..

Я понимаю теперь, какой ненавистью прониклись ко мне ребята в то утро на сенокосе. Право же, это отнюдь не интеллигентское самоковырянье. Это открытое и честное признание своих ошибок поможет мне отыскать наконец свое место под солнцем... Ах, как многому-многому мне еще надо учиться у наших ребят. У Романа и Аблая. У вчерашних хуторских батраков и степных пастухов. Учиться их мужеству и душевной отваге, их воле и трудолюбию, равному подвигу! Словом, у них мне надо учиться работать и жить, любить и ненавидеть!

Грустно было мне расставаться сегодня с Фешкой, Уваром Канахиным, Иваном Чемасовым, Морькой Звонцовой — с бригадой отважных совхозных друзей, так много сделавших для укрепления интернациональной нашей сельхозартели. Немногословен, волнующе краток и выразителен был наш прощальный летучий митинг, состоявшийся в ранний утренний час,— митинг, посвященный проводам совхозной бригады. Я так волновалась при выступлении, что забыла о главном: сказать русское спасибо этим простым ребятам — членам бригады, присланным к нам совхозом. Ну ничего, они все поняли и без слов!

Вот и ушел трактор! Долго стояли мы на выгоне и молча смотрели вслед машине. И только, когда она скрылась из наших глаз в овеянной дымкой степи и рокот тракторного мотора умолк,мы нехотя побрели всем скопом на хутор.

Затем мы с Романом немного приотстали от ребят. Мы шли нога в ногу и тоже молчали. А потом, когда свернули за гумна и остались с ним совсем один на один, он взял мою руку, улыбнулся мне милой, виноватой, доброй улыбкой и, помолчав, сказал:

— А ведь все не так уж плохо у нас получается в общем и целом...

Я не знаю, что бы сказала ему, не помешай нам вездесущие Ералла и Кенка. Светлая волна невыразимой нежности подступила к моему сердцу. И многое, очень многое могла бы я ему сказать. Да разве скажешь в такую минуту? Да и нужно ли говорить?!

22 сентября

И вчера и сегодня бушует над степью неслыханный ветер. Горизонт точно выложен бурым гранитом. Говорят — это к ливню.

Сижу одна в своей чистой, опрятной, милой комнате. Смотрю на цветок герани и без конца думаю о Романе. Он — в районе. Я жду его. Сижу и жду. Нет, вру, совсем даже не сижу. Не сижу, а без толку кружусь по комнате и не знаю, за что взяться, к чему приложить руки. Не работается. Не читается.

Во мне просыпается новое, неведомое мне чувство к нему. Оно тяготит, волнует и радует меня...

Сейчас на улице тьма — глаз выколи! Ветер! Ветер! Опять вспомнилась Фешка и ее ночная встреча в степи с И., и меня вдруг охватило такое чувство, что это не ей, а мне угрожал он своим пистолетом...

Вечер. Ветер. Что же мне делать?

В Совет пойти — не видно огня. В правление? Нет, надо просмотреть новые программы. Ведь пора над учебным планом подумать. Скоро методическая конференция в районе, а там и занятия на носу.

Занятия! Почему-то — это еще с детства, должно быть,— первый день нового учебного года всегда ассоциируется у меня с запахом свежевыпеченного хлеба, с ослепительным блеском воды и неба и грустным посвистыванием синиц...

Осень!

Первые заморозки. Первые школьники, милые деревенские мои мальчишки, с грубыми, сшитыми из холста, сумками на плечах.

25 сентября

Полночь. Перепуганная, растерянная, обрадованная, я в одной сорочке сидела на постели, не понимая толком, что происходит со мной. Спасибо Кланьке — выручила, накинула мне на плечи свою юбку.

Роман залетел ко мне прямо с дороги. На минутку. Взволнованный. Сияющий. Таким я его прежде никогда еще не знала, не видела. Говорил наспех, урывками. Не речь — одни междометия!

Из его отрывочных фраз я поняла, что снимают чуть ли не все районное руководство. Это — во-первых. Во-вторых, нам дают трактор. В кредит. Это уже победа! Роман, милый, родной, хороший!

27 сентября

Пишу наспех. Кое-как. Новости — одна другой важнее. Приехал уполномоченный округа. У нас назначены

досрочные перевыборы Совета. В районе переполох. Окружком партии наконец добрался до районного начальства, которое до сих пор мало нам помогало. Кое-кого взяли за шиворот. В первую очередь погорел агроном Нипоркин, за ним — агитпроп Коркин. В районе теперь новое начальство, которое крепко берется за кулаков и подкулачников. Кажется, пробил час и для станичного воротилы Луки Боброва — это зверь лютый, из тех, что легко в руки не даются. Говорят, его все-таки задержали наши пограничники при попытке нелегального перехода им китайской границы. Где-то под Джаркентом. Скоро его доставят в станицу Светозаровскую. Дорого бы я дала за то, чтобы поглядеть на этого хищника — как он поведет себя теперь на народном суде! Новый секретарь райкома обещал приехать, познакомиться с нами, помочь. Давно бы так!

И — еще. Сегодня у нас на хуторе вновь появился агитпроп Коркин. Вид у него уже не тот. Поблек. Осунулся. Похож на мокрую ворону. Целый день приставал ко мне с какими-то справками. Его стукнули основательно — исключили из комсомола!

С утра на хутор начали съезжаться из соседних аулов казахи. Их тонконогие шустрые кони, кося озорными глазами, грызли стальные удила и нетерпеливо кружились под непоседливо-бойкими джигитами. Площадь, битком набитая народом, напоминала красочный базар. Среди нарядных хуторских девчат мелькали расшитые позументами алые и бордовые камзолы застенчивых дочерей степи — красавиц казашек. Повизгивали лихие гармоники. Глухо гудели казахские домбры. То там, то тут звучали звонкие, озорные девичьи припевки.

В это утро кузнец Лавра Тырин с попом Аркашей служили раннюю обедню и безнадежно длинный молебен с акафистом. В церкви было пустынно и душно. В начале службы на паперти и у конторки — места продажи свеч— еще толпились нарядные девки, но скоро и они исчезли. Только одни старухи, похожие на обуглившиеся пни, неподвижно стояли по углам церкви.

С грехом пополам завершив затянувшийся акафист, поп, наспех разоблачившись, тоже выскочил на улицу. С паперти ему хорошо была видна заполненная народом площадь.

В толпе мужиков и баб раздались удивленные крики:
— Смотрите, смотрите, какой маскарад!
— Здорово комсомольцы наши отмачивают!..
— Да ведь это трахомный Анисим, ребята!
— Точно — Анисим!
— И поп! Настоящий поп, граждане мужики...
— Он, бабы!
— Лить — не вылить...
— Ловко замаскировались — не узнаешь!
— А Егорка-то Клюшкин — как живой!
— Он и так живой. Ты што — ослепла, Маня?!
— А я думала, и Егорка маскированный, девки!

Поп Аркадий стоял на паперти и ошеломленно озирался вокруг, не сразу сообразив, что тут происходит. Толпа, колыхнувшись, ринулась шумным валом от церкви к Совету, вслед за казахской арбой, которую тащил одногорбый верблюд. А в арбе перепуганный поп Аркадий увидел сначала трахомного Анисима, а затем — самого себя. Да, сомнений не было, это он, самый настоящий поп Аркадий, нелепо подпрыгивая на арбе, яростно размахивая крестом и пустой поллитровкой, кричал:

— Голосуйте, миряне, за нас, Христа ради! Выбирайте нас в депутаты Совета!

Рядом с ним крутился с пучком соломы в руках трахомный Анисим, а рядом с Анисимом, обхватив огромный живот руками, тяжело раскачивался из стороны в сторону и что-то кричал по-казахски бай Наурбек. Наурбек все время пытался накинуть аркан на голову пастуха Егора Клюшкина, но пастух ловко увертывался из-под байских рук.

Люди, валом валившие за арбой, наперебой кричали Клюшкину:

— Не давайся ему, Егорка!

— Зажми ты им кулацкую глотку!— умоляюще кричал бобыль Климушка пастуху, который, стоя в арбе, ловко перехватил на лету брошенную кем-то из толпы метлу.

— Давай заметай их, подлецов, подчистую.
— В помойную яму их, вражин!
— На свалку!
— Иннокентия Окатова только им не хватает!
— Да Силантия Пикулина на придачу!
— Правильно. Все — одна связка!
— Факт — одна. Обыкновенное дело...

— Всем им точила на шею — да в озеро!

А часом позже этот необычайно шумный и красочный комсомольский карнавал, организованный по затее хуторских комсомольцев, закончился митингом. Багровые костры знамен полыхали над головами толпы, запрудившей площадь около сельсовета. После короткой взволнованной речи Фешки один за другим стали подниматься на арбу, превращенную в трибуну, комсомольцы, хуторские мужики и пастухи-казахи. Все они говорили, как всегда, горячо, запутанно, бестолково, неистово размахивая руками. Но многоликая толпа хуторян и джигитов прислушивалась к словам ораторов напряженно и чутко, бурно выражая свой гнев и восторг то взрывом дружных рукоплесканий, то одобрительными возгласами.

— Факт!— кричал Филарет Нашатырь.— Факт, граждане мужики. Не пускать кулаков и баев в Совет. Мы сами теперь с усами. Обыкновенное дело...

— Близко не допускать их к Совету, товарищи мужики,— подхватил бобыль Климушка.— Али забыли вы, как у нас по весне было дело, а? Али не помните вы, как у нас в борозде трудовые наши кони падали? А как они, подлецы, у нас сеялку отбирали?! Это разве забудешь?!

— Нет, брат, этого не забудешь!— кричал Луня.— Все мы помним то время. Все как один. Правильно я говорю, граждане мужики? Лишить их голосу, подлецов,— и бабки с кону!

— Друс! Правильно!— грянул в ответ разноголосый хор русских и казахов.

— Я прошу приговор подписать всем обществом,— подал свой голос вспрыгнувший на арбу Проня Скориков.— Давай, ребята, пиши протокол на гербовой бумаге. Мы все, как один, подпишемся. Выгнать вон из хутора всю эту сволочь — и баста!

— Друс! Правильно!

— Вон из наших аулов баев!

— На выселки! Пусть попробуют без нас покукуют!— гремели над площадью, сливаясь в сплошной грозный гул, голоса возбужденной толпы русско-казахской бедноты, единой в своем гневе, в своей решимости.

На мгновение и Фешка, и Роман, и все остальные комсомольцы хутора растерялись.

Затем Фешка, ловко вспрыгнув на арбу, подняла руку, пытаясь навести порядок:

— Тише товарищи! Тише! К порядку!..

Но в это время рядом с ней на арбе вновь очутился Луня. Не обращая внимания на призывы Фешки, Луня простер вперед загорелые руки и крикнул:

— Я так заявляю, граждане! Мы теперь с вами полные коллективисты. Мы теперь — пролетария всех стран. Мы — одна сплошная колхозная нация! И нам не мешай, стало быть, не становись поперек дороги... А они, кулачье чертово, вместе с баями на нас идут. А раз так — битва до полной победы! Нам с вражьей ордой не по пути. У нас своя дорога. Правильно я говорю? Правильно! Пиши приговор — на выселку кулаков, и баста!

— Друс! Правильно!

— Приговор! Приговор пиши!— вновь забушевал над площадью штормовой вал яростных криков.

Фешка стояла на арбе с простертой к толпе рукой. С пылавшим, как маков цвет, лицом она смотрела на единый в своем порыве, в грозной его решимости и воле народ, и сердце ее замирало от счастья.

Отлично понимая, что толпы ей сейчас не утихомирить, не унять, Фешка терпеливо ждала, пока мятежное пламя страстей постепенно пойдет на спад. Она понимала: то бушевало, как степной пожар, внезапно прорвавшееся наружу чувство извечной классовой ненависти деревенской бедноты и бесправных вчера аульных скитальцев против былых хуторских воротил и всемогущих князьков-баев. «А красив и страшен в гневе своем народ!»— думала Фешка, любуясь толпой, охваченной порывом возмездия за все свои былые обиды и беды.

А в это время Силантий Пикулин и Иннокентий Окатов, хоронясь в пикулинском дворе, воровато выглядывали из-за забора. Куда девались их былые важность и неприступность! Жалкие, съежившиеся, пришибленные, с тревогой прислушивались они к грозным голосам. Но вот шквальный гул гневных криков толпы наконец понемногу затих. И до слуха Иннокентия Окатова донесся знакомый резкий голос Романа Каргополова.

Стоя на арбе рядом с Линкой, Роман читал резолюцию общего собрания хуторской и аульной бедноты:

— «Двести двадцать пять бедняцко-середняцких хозяйств из хутора Арлагуля и аула Аксу, объединившихся в сельскохозяйственной артели «Интернационал», собравшись на общее собрание, требуют немедленного

выселения из пределов упомянутого сельсовета нижеследующих кулацко-байских хозяйств...»

Выдержав небольшую паузу, Роман продолжал оглашать общественный приговор:

— «Раскулачить и выселить за пределы хутора Арлагуля и аула Аксу: Силантия Пикулина, Иннокентия Окатова, Наурбека Аймагулова...»

У Иннокентия потемнело в глазах. Силантий Пикулин, стоя с ним рядом, стрелял быстрыми глазами по двору, словно соображая, куда бы ему спрятаться.

42

Поздней ночью, после сессии вновь избранного сельсовета, когда в школе еще шел спектакль, а на площади стрекотал аппарат районной кинопередвижки, Роман, Фешка и Аблай наспех оформили списки членов Совета, переписали протокол собрания и тут же обсудили план очередных работ колхоза. На рассвете надо было им выехать в район, чтобы успеть до открытия чрезвычайной районной партийной конференции получить и отправить на хутор выделенный для артели трактор.

Линка пришла к ним прямо со спектакля — в пышной цветной юбке и зеленом камзоле девушки-казашки. На плечах у нее лежала тяжелая коса, полная серебряных монет. Круглая бархатная шапочка, отороченная лисьим мехом, была наивна и трогательна на Линкиной голове. В национальном наряде прославленной героини впервые поставленного на хуторе спектакля выглядела Линка на редкость красивой. Во всех ее движениях, в манере щурить длинные трепетные ресницы сказывалась та наивная, полудикая прелесть, то особенное, неповторимое очарование, которое свойственно только девушкам глухих безыменных аулов, кочующих по безлюдным и знойным степям Казахстана.

Украдкой поглядывая на Линку, Фешка втайне невольно позавидовала ее красоте.

Даже Роман, глядя на Линку, испытывал нечто похожее на робость, смущение перед ее диковатой степной красотою. Он старался сосредоточиться, продумать отчетный доклад на президиуме районного исполкома, но незаметно перешел от доклада к просмотру оперативного плана колхоза и наконец почувствовал, что ни того, ни другого сделать ему сейчас не удастся. Ему мешало сосредоточиться присутствие Линки и Фешки,

Роман молча наблюдал за девушками. Сидя рядком, низко нагнувшись над столом, обе они были погружены в работу: что-то писали, и были сейчас похожи на учениц, занятых решением сложной математической задачи.

Роман видел прямую черную, как вороново крыло, прядь волос, упавшую на выпуклый лоб Фешки, и, глядя на нее, думал о том, как много сделала эта девушка для укрепления их колхоза и как все у нее выходило удивительно обдуманно, складно и хорошо. И светлая волна нежности к Фешке поднималась в Романе, заполняя своим теплом всю его душу.

Случилось так, что совместная работа в колхозе, предвыборная горячка — все это больше и больше сближало его с Фешкой. Правда, между ними ни разу не было откровенных, задушевных разговоров на личные темы, однако Роман чувствовал, что Фешка внутренне была готова к такому разговору и, втайне желая его, не решалась заговорить первой. Не решался на это и Роман.

При встречах с Линкой Роман все ревнивее, все пытливее приглядывался к ее облику, к ее безупречной, отлично сложенной фигуре, прислушивался к ее голосу и все пытался найти в ней нечто такое, что могло бы оправдать то чувство отчужденности, которое укреплялось в нем теперь все больше и больше при взгляде на эту красивую порывистую девушку. Но как ни хотел Роман найти в Линке какие-либо пороки, сделать это ему не удавалось. Наоборот, приглядываясь к ней, он со смутным огорчением думал, что она по-прежнему хороша собой и что никто не поставит ее рядом с Фешкой. И это злило его. Вот и сейчас, приглядываясь к Линке, Роман невольно любовался ею и в то же время старался убедить себя, что навсегда они чужие друг другу люди.

Линка, словно не замечая присутствия Романа, продолжала писать. Писала она быстро, размашисто и, на мгновение отрываясь от бумаги, встряхивалась, как птица, облегченно вздыхала и неясно улыбалась чему-то. Последние двое суток она вместе со всеми ребятами тоже не смыкала глаз. Дни прошли в заседаниях, в суматошной беготне по хутору, а ночи — в репетициях, в работе над стенгазетой. И удивительно — несколько минут назад, там, на маленькой, тесной и душной, наспех оборудованной из половиков сцене, она чуть было не заснула, произнося утомительно длинный монолог погибающей от байской руки, непокорной и гордой казахской девуш-

ки — героини, а тут опять вернулись к ней бодрость и волнение, которые испытывала она последние дни.

Временами Линка все же посматривала на Романа. Она была уверена, что мучительная неясность их отношений будет рассеяна и все случится так, как являлось ей в ослепительных сновидениях и мечтах, расточительных, как июльские ливни... И былые ее сомнения казались ей нелепыми и смешными. Нет, она даже и представить себе не могла, что все может случиться как-то иначе, что вдруг они с Романом разминутся, потеряют друг друга. «Дорогой мой, единственный и неповторимый друг! Ведь любовь и дружба — это те две трети, из которых складывается человеческая жизнь. Подумай же, как будет нелепо и жестоко потерять им друг друга... Тем более сейчас, когда все сложилось так хорошо и просто!»

...Перед рассветом Линка не выдержала и заснула. Заснула она сидя, уронив на стол отяжелевшую голову.

Спал и Аблай, тоже сидя за столом.

Роман и Фешка долго еще возились со списками, с подсчетом цифр, и когда где-то на окраине хутора призывно затрубил рожок пастуха и хмурое утро неясно засинело за окнами Совета, они вышли на улицу.

Было прохладно. Посеребренная первым инеем степь глухо гудела, как бубен, под ударами некованых конских копыт. Остро пахло мятой, прихваченной ранней изморозью. На окрестных озерах то замирал на мгновение, то вновь раздавался гогот диких гусей, собравшихся на утреннюю жировку.

Фешка и Роман, взявшись за руки, прошли от Совета до гумна и остановились за ветряком. Отсюда были видны пустынная дорога, осколки затуманившихся окрестных озер и строгие очертания далеких курганов.

Фешка стояла против Романа, маленькая, похожая на подростка. Оглядевшись вокруг, она подняла потемневшие, налитые сном и усталостью глаза на Романа, затем виновато улыбнулась и со вздохом проговорила:

— Ну вот и все, Роман. Мне пора уезжать. Пора...— повторила она таким тоном, точно прислушивалась — то ли она сейчас сказала.

Роман молчал.

— А ведь правда, будто мы из атаки вышли? Ей-богу, похоже. Хоть я и не была на войне, а похоже. Вот и бойцы, наверно, испытывают такую же усталость во всем теле после схватки с врагом. Правда, Роман?

— Правда. Правда, Фешка. Все правда...— ответил Роман, и подобие неясной улыбки озарило его лицо.

— А помнишь, как мы ехали с ребятами на бричке,— продолжала после некоторой паузы Фешка.— Устали, как черти, все в земле, в поту. Трое суток глаз не смыкали. И пожрать-то нам было нечего, а мы — в пляс, а мы — в песни!.. Но это еще не все, Роман. Из одной атаки вышли, а к другой пора готовиться. Много еще придется не поспать нам ночей. Очень много, Роман. Хоть мы эту сволочь из засады и вышибли, а поглядывать за ними и впредь в оба надо!

Фешка говорила долго, то повышая голос, то понижая его до проникновенного полушепота.

Роман слушал молча. Он чувствовал прикосновение ее теплого локтя и, охваченный приливом все возрастающей нежности, вдруг порывисто привлек ее к себе и спросил, заглянув в мерцающие ее глаза:

— Слушай! Может быть, ты останешься? Может быть, ты не уедешь больше от нас, в общем и целом, Фешка?

Фешка с недоумением и как бы с испугом посмотрела ему в глаза, а затем, доверчиво прильнув к нему, чуть слышно спросила:

— А ты очень хочешь, Роман, чтобы я осталась?

Ничего не ответив на это, Роман крепко прижал к себе трепетное девичье тело...

43

Во второй половине дня — ближе к вечеру — вдруг разыгралась небывалая в эту пору непогодь. В низком пепельно-сером небе мчались с бешеной скоростью, точно ринувшиеся вперегонки, разорванные в клочья, похожие на лохмотья облака. Свирепый, сбивающий с ног северный ветер перешел в ураган. Он опрокидывал войлочные юрты казахов-кочевников, вырывал с корнем вековые березы в окрестных рощах, разгонял по степи конские табуны.

На хуторе Арлагуле ждали прихода трактора. Позднее, когда набушевавшийся вволю ураган пошел на убыль, хуторяне собрались на выгоне, за перевернутой бурей старой пикулинской ветряной мельницей. До одури накурившись крепкого листового табаку, приправленного для аромата донником, мужики, усевшись в кружки, не-

хотя болтали о том о сем, невесело посмеивались над прибаутками бобыля Климушки и, напрягая слух, прислушивались, не зарокочет ли в потонувшей во мгле степи долгожданный трактор.

Мирон Викулыч обливался потом. Это бывало с ним только в минуты большого душевного и нервного напряжения. Он несколько раз уходил от хутора в степь за далекий курган, туда, на крутой изгиб скотопрогонного тракта, и приглядывался к неуютной в такую непогожую пору пустынной степи. Нервно покусывая растрепанную ветром бороду, Мирон Викулыч мысленно ругал теперь себя на чем свет стоит за свою нераспорядительность и непростительную оплошность... Как же это он, старый дурак, не догадался послать утром навстречу трактору двух-трех бойких всадников? Это надо было сделать еще и потому, что Роман и Фешка, по словам прискакавшего из райцентра Аблая, видимо, задержатся там еще на день, а трактор поведет на хутор Линка.

— Подумать только — одна! И в такой-то ураган. И в такую-то непогодь. Ах, господи...— сокрушенно вздыхая, бормотал Мирон Викулыч.

Но не только вечером, даже и позднее, в глухую, темную — глаз выколи!— полночь Мирон Викулыч несколько раз выходил один на пустынный тракт за хутор и все прислушивался, все приглядывался к кромешной мгле, не находя себе покоя и места.

Было уже далеко за полночь, когда, возвращаясь из степи к хутору, Мирон Викулыч вдруг услышал приглушенный дробный стук копыт. Конский топот то замирал, то снова всплывал и рассыпался над степью. Насторожившись, Мирон Викулыч угадал по дробным и частым ударам конских копыт, что всадников было несколько. Затем, прислушавшись к обрывкам неясных, случайно долетевших до него приглушенных фраз, он понял, что один из всадников был казах.

Весь похолодев, Мирон Викулыч затаил дыхание, но не мог уловить ни слова. Скоро конский топот заглох в ночи, и в степи снова стало тихо, как в могиле.

Так и не разгадал Мирон Викулыч, кто же были эти гарцующие в такую пору в ночной степи всадники. Но предчувствие чего-то недоброго не обманывало старика. Он это знал по опыту долгой жизни. Вот почему он бросился со всех ног назад к хутору, к мужикам, балагурившим около перевернутой ураганом мельницы.

— Что такое, дядя Мирон?— с тревогой спросил Егор Клюшкин, заметив волнение старика.

— Караулить надо, ребята, вот что,— взволнованно проговорил Мирон Викулыч.

— Как караулить? Кого караулить?— перебивая друг друга, спрашивали мужики.

— Как бы беды не было, мужики... Ночь-то эвон какая. Кромешная тьма. Глухомань. А ведь девчонка-то у нас, как на беду, там одна...

— Как одна? А Роман? А Фешка?— послышались возгласы молодых и старых артельщиков.

— А вот так — одна и одна. Аблай давеча сказал: одна, дескать, Линка на тракторе едет. Романа-то с Фешкой в райцентре задержали. Вот они и додумались проводить ее одну в такую бедовую пору на тракторе!

— Одну?

— Вот то-то и оно, что одну...— говорил со вздохом Мирон Викулыч.— А мне, старому дураку, и невдомек было утром послать ей навстречу вершных. Как бы греху не быть, мужики. Как бы вместо нас ее еще кто среди пути-дороги в эту глухую матушку-полночь не встретил. А то вон я сейчас слышал в степи конский топот. Верховые какие-то окрест дороги гарцуют. Не к добру это все, мужики. Не к добру. Так я располагаю. Да и сон к тому же вчерася я неладный видел...

Кто-то тотчас же предложил:

— Пасть на вершну кому-нибудь из ребят да во весь мах в степь — ей навстречу...

— Факт. Обыкновенное дело — навстречу!— подхватил Нашатырь. Но он тут же вспомнил, что в колхозном деннике ночуют всего три лошади, и в числе их его кобыла. Могут погнать и невесть куда в ночную пору. Вспомнил и тут же протестующе замахал руками:

— Нет, пожалуй, не надо. Не надо шуму зря поднимать. Девка-то ведь она у нас боевая. Факт. Доедет.

Мужики заспорили.

Кенка и Ералла, пошептавшись, незаметно отбились от толпы заспоривших мужиков и куда-то исчезли.

Фары разбрасывали на дорогу конусы желтого света. Дорожная колея, неярко озаренная этим светом, стремительно плыла из мглы навстречу.

После получасовой остановки на одиноком отрубе трактор шел удивительно легко, послушно. Единственно,

что волновало и раздражало Линку,— это чрезмерный перегрев двигателя: в радиаторе оставалось мало воды, а наполнить его теперь было невозможно — тридцативерстный перегон между отрубом и хутором был безозерным. Линка вспомнила о придорожной пастушьей юрте, что стояла на половине пути между хутором и отрубом, и вслух подбодрила себя:

— Ну, до юрты с грехом пополам дотяну. А там, надо думать, вода найдется. И будет порядок!

Линка вначале как будто даже и не замечала ни кромешной мглы, ни своего одиночества. Но вот, приглядевшись к ночи, она насторожилась. Там, вдали, неожиданно вспыхнул, погас и тотчас же снова вспыхнул далекий призрачный огонек, и Линка, вся встрепенувшись, инстинктивно стиснула руль. Огонек медленно разрастался, двоился, мерк, поднимался, падал и вновь поднимался. Было что-то необъяснимо-жуткое в этом призрачно-зловещем мерцании то вспыхивающего, то так же внезапно исчезающего во мгле огонька, похожего на зеленоватый зрачок притаившегося где-то поблизости зверя.

Линка не отрываясь смотрела на этот огонек возбужденно горящими, слезящимися от напряжения глазами. Почему-то вспомнились в эту минуту три бабы с отруба. Они стояли у выгона, скрестив на груди руки, и с удивлением, близким к испугу, рассматривали диковинную машину и ее водителя.

— Подумать только, какая она храбрая!— воскликнула одна из баб по адресу Линки.

— И не говори, в такую-то ночь — одна!— подтвердила другая баба.

«А ведь я и в самом деле одна!»— с тревогой подумала Линка. Но она тут же забыла и о бабах и о своем одиночестве, вспомнив о последней, такой светлой, такой всепрощающей улыбке Романа.

— Дорогой мой, хороший, неповторимый мой!— вслух проговорила Линка, ощутив прилив такой бурной нежности к Роману, что у нее как будто остановилось сердце, и от горячих потоков света, хлынувших в окрыленно-встрепенувшуюся ее душу, она почувствовала себя такой счастливой, какой никогда не была и какой уже — это она знала точно — никогда впредь не будет!

Все крепче и крепче сжимая в руках рулевое управление, она продолжала пытливо всматриваться вперед. Но

огонька, похожего на волчий зрачок, только что промерцавшего в ночи, уже не было.

Линка ревниво прислушалась к напряженному биению тракторного мотора и подумала, что по приезде на хутор надо хорошенько осмотреть машину. С затаенной радостью представляла она, как выйдет утром, поднимет капот и по-хозяйски строго станет осматривать мотор, а потом и ходовую часть трактора. Мужики и ребята увидят наконец, какая она боевая, увидят и поймут, что она вовсе не чужой им человек в коллективе.

— Господи, как хорошо!— воскликнула Линка, не зная, впрочем, откуда взялось у нее сейчас ощущение полноты небывалого в ее жизни счастья.

Вдруг она опять-таки скорее почувствовала, чем уловила ухом вначале неясный, затем все отчетливей зазвучавший, стремительно приближающийся дробный топот конских копыт.

«Никак, это наши! Ну да — наши. Ребята встречают меня!»— мелькнуло в голове Линки.

Но в это мгновение из кромешной мглы на нее налетели четверо всадников, среди которых она сразу же различила рослую фигуру прямо сидящего, слегка как бы привскочившего на стременах Иннокентия.

Инстинктивно вцепившись руками в рулевое управление, Линка хотела крикнуть, но в глазах у нее вдруг вспыхнул ослепительно яркий огненный шар, и багровые стрелы пронзили грохнувший мрак.

Чья-то жесткая рука сжала в железном кулаке маленькое сердце Линки, и тотчас же все погасло. А она, ткнувшись лицом в рулевое управление трактора, рухнула живым, трепетным комом с беседки под ноги взвившегося на дыбы коня.

Круто развернувшись, всадники взмахнули нагайками и сразу же исчезли в предутреннем зыбком тумане.

А в это время двое подростков, выскочивших из-за придорожного кургана, наперегонки бросились бежать вдоль тракта к хутору. Задыхаясь от страха и гнева, они наперебой твердили:

— Видели! Мы всех хорошо видели!

— Уй-бой, всех ваша наша джаксы хорошо видели!

Из хутора валом валил народ.

Мужики, возбужденно размахивая на бегу руками, со страхом и изумлением кричали:

— Смотрите, люди добрые! Трактор-то один идет!

— Хоть убей — один!

— Без тракториста, ребятушки...

— Факт — самоходом, братцы! Обыкновенное дело...

Старики и старухи, бабы и девки, хуторские мужики, выбежав за хутор, ошеломленно замерли на месте. Они смотрели в порозовевшую от восхода степь, откуда плыл лихорадочный рокот железного сердца машины.

Над степью вставал во всем неповторимом великолепии рассвет погожего осеннего дня. Как гигантское знамя, полыхала над древней целинной равниной заря.

А навстречу ей, озаренный багровыми бликами восходящего солнца, дерзко вздернув высокий руль, упрямо двигался одинокий трактор. Он шел целиной, по степи, прямо на дрогнувшую и мгновенно разомкнувшуюся перед ним толпу. Частые кусты полыни и хрупкие, обмытые дождями конские черепа хрустели под его блестящими шпорами, а над ним трепетало зацепившееся за баранку алое пламя до боли знакомой всем косынки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первая редакция «Ненависти» появилась в 1931 году в журнале «Октябрь». Годом позже роман был опубликован Гослитиздатом (Роман-газета, №№ 7—8) и издательством «Федерация» в серии «Массовая библиотека».

Выступая перед земляками на Пресновском районном съезде Советов, Шухов говорил: «Я не без гордости доложу съезду моего родного района, что книжка моя «Ненависть» за два года выдержала восемь изданий и тираж ее достиг за этот короткий срок 800 тысяч экземпляров» (газета «Карагандинская коммуна», 30 ноября 1934).

Мнение читателей и критиков о произведении было единодушным. В обзоре под заголовком «Что захватывает читателя» 23 июня 1933 года «Литературная газета» поместила примечательный отзыв рабочего Федора Нагевича: «Ненависть» И. Шухова — очень хорошая и очень интересная книга. Ее герои: Роман, Феша, Аблай, Линка и другие — живые люди, их чувствуешь, их переживания тебе понятны. Книга на всем протяжении читается с неослабевающим интересом...»

В той же газете критик Н. Плиско отмечал: «В ряду художественных изображений, посвященных колхозному строительству, роман Ив. Шухова «Ненависть»... бесспорно, займет да, пожалуй, и занял уже одно из первых мест. Ибо он свеж и вскрывает глубоко существо нашей деревенской действительности.

Шухов увидел и показал... новых людей социалистической страны с их клокочущей классовой ненавистью к врагу и любовью к товарищам по классу, к общей работе. Он правдиво рассказал... о живой жизни и подлинной борьбе за новую жизнь, за воплощение в конкретную реальность многовековой мечты человечества о социализме» («Заметки о «Ненависти» Ив. Шухова». 1933, 11 февраля).

Как известно, высоко отозвался о романе А. М. Горький, отметив его в ряду «наших литературных достижений» и назвав «очень значительным произведением», вместе с «Поднятой целиной» Шолохова и «Брусками» Панферова.

Сам И. П. Шухов в 1932 году писал: «Недавно вышел из печати новый мой роман — «Ненависть». Действие этого романа по понятиям

географическим относится тоже к Казахстану. Собственно, персонажи этой вещи выросли из «Горькой линии», хотя они и выступают здесь под другими именами.

Вся подготовительная работа к этому роману проводилась мною в одном из интернациональных колхозов моей родины, куда я неоднократно выезжал в качестве газетного работника и где проводил большую организационную работу по укреплению коллектива. Таким образом из моего практического участия в повседневной работе этого коллектива возникла «Ненависть». Непосредственным же толчком к написанию романа послужило убийство баями тракториста — казаха Чаглинского зерносовхоза. Убийцы сдернули тракториста с беседки арканом, а трактор прошел степью двенадцать километров и встал около одной из построек совхозной экономии. Тут сядешь писать! И я засел. Так же, как и над первым романом, сидел я над «Ненавистью» 8 месяцев без передышки. Но работа давалась уже труднее. Так, некоторые главы — собрание в юрте и на хуторе, соревнование на уборке и концовка — переделывались до 18 раз — 18 рукописных вариантов этих глав лежат в моих папках.

В смысле же стилистических приемов в этом романе я стремился к максимальной художественной простоте и выразительности образа». (Журнал «Рост», 1932, № 8, с. II).

Руководствуясь желанием довести роман до совершенства, Шухов вносил в каждое новое издание «Ненависти» различные поправки, дополнения, касающиеся структуры книги, ее образного строя и языка.

В 1948 году автор дополнил «Ненависть» новыми главами о середняке Мироне Викулыче.

Чтобы придать «Ненависти» больший размах и глубину, Шухов в 1957 году объединил его с другим своим романом «Родина», созданным в середине 30-х годов.

Как отмечают исследователи творчества писателя, работа над образами «Ненависти» шла в основном в русле углубления социальной сущности героев и обогащения их духовного мира. (К. Курова. Иван Шухов. Алма-Ата, 1960; А. Синеруков. Работа И. П. Шухова над романом «Ненависть».— Научные труды Новосибирского педагогического института. Вопросы литературы. Выпуск 36. Новосибирск, 1971, с. 173-187).

В первых редакциях ничего не говорилось, например, о чувствах Романа, вернувшегося на хутор после долгого отсутствия. С 1948 года была введена главка о том, как он идет по ночному хутору, наслаждается тишиной, запахом костров, песнями девчат, мечтает о своей любимой. Автор подчеркивал социальную обусловленность переживаний Романа и других персонажей. Например, глубоко прослеживал Шухов душевную драму Филарета Нашатыря — бедня-

ка, сбитого с толку кулаками, показывал преодоление им внутренних противоречий, рост классового сознания. Интересна авторская правка в сцене поджога Нашатырем колхозного хлеба. В редакции 1957 года Шухов расширил описание горящего массива пшеницы, уподобив пламя гигантской огненной птице, которая затрепетала, «опаляя колосья багровыми крыльями, и обуглившиеся стебли пшеницы замертво падали ниц». Это сравнение, отсутствовавшее в предыдущих вариантах романа, соответствовало смятенному состоянию виновника преступления. Прежде было сказано, что у Нашатыря после того, как он потушил пожар, отлегло, посветлело на душе: «Никогда еще в жизни не дышалось ему так легко и свободно, как дышалось сейчас». В новой редакции эта характеристика становилась более эмоциональной: «Нашатырь был готов разрыдаться от счастья и радости, от того, что он не наделал той непоправимой, страшной беды, ради которой пришел сюда, крадучись от людского ока».

Значительные изменения претерпевали в процессе работы и образы представителей враждебного мира, кулаков и их подголосков — Епифана и Иннокентия Окатовых, Луки Боброва, заострялась их ненависть к трудящимся, к Советской власти. В результате конфликт в романе становился более драматичным и напряженным.

От издания к изданию автор неустанно совершенствовал язык и стиль произведения, добивался наибольшей выразительности и точности описаний природы, в изображении которой он был большим мастером. Еще после выхода первых изданий «Ненависти» критик Г. Колесникова отмечала, что автору «удалось создать необычайно яркий, красочный, всегда новый, вечно меняющийся пейзаж», («Молодость», литературно-художественный альманах. Москва, 1935, № 2, с. 302).

Взыскательность художника проявлялась и в бесконечных поисках нужного, весомого и меткого слова, ибо «борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка,— писал Горький,— есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено,— тем оно победоносней». (М. Горький. О литературе. Москва, 1953, с. 663).

В «Ненависти» видны следы упорной работы над словом. Мирон Викулыч в первых редакциях ругал себя за «неповоротливую смекалку», в «Избранном» 1952 года — за «неповоротливость», в окончательной редакции — за «непростительную оплошность». Так было найдено необходимое выражение. Можно привести и много других подобных примеров.

В настоящем издании текст романа печатается по книге: Иван Шухов. Избранное в двух томах. Том 2. Ненависть. Алма-Ата, издательство «Жазушы», 1974.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕНАВИСТЬ

ИВАН ПЕТРОВИЧ ШУХОВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**

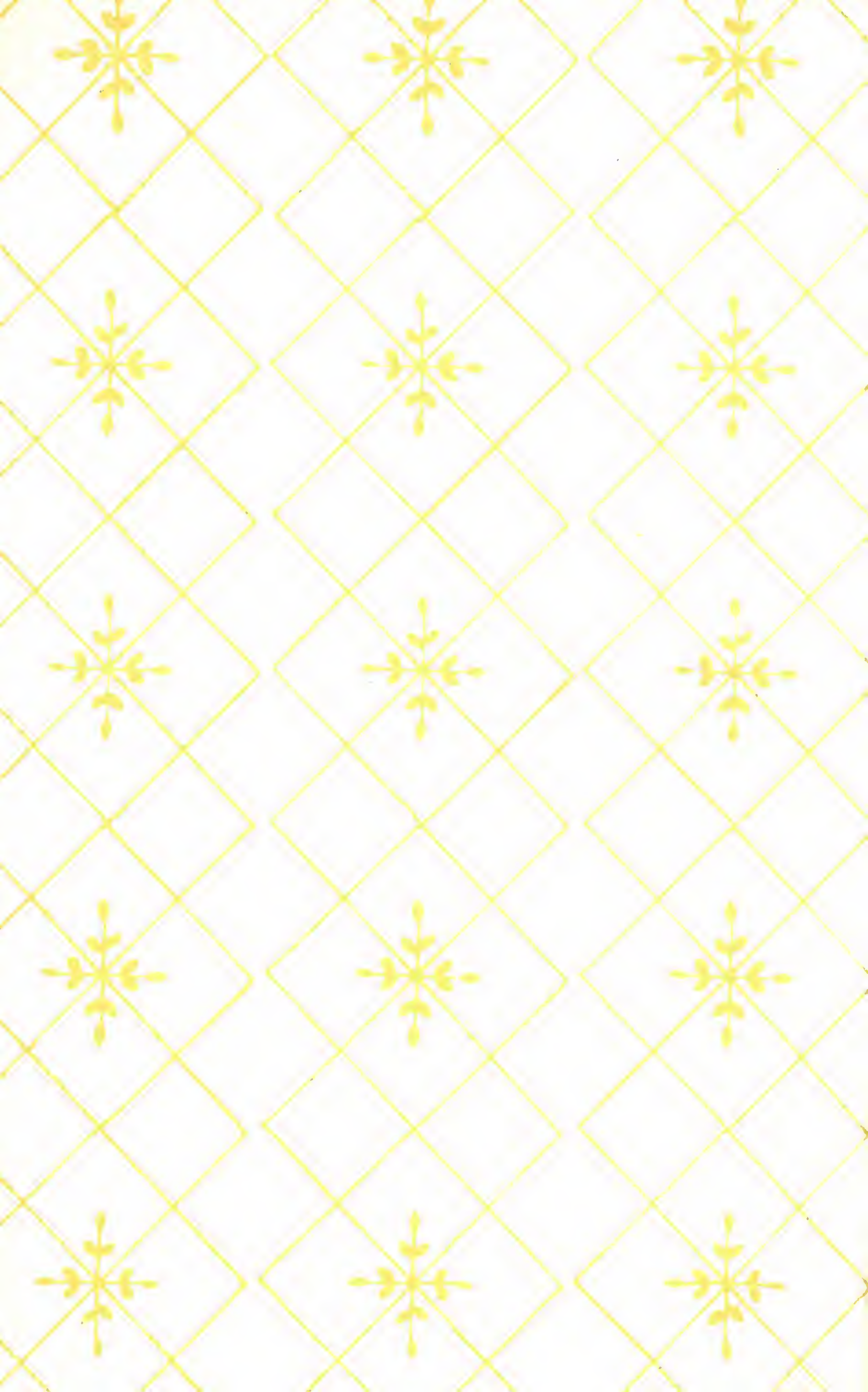
Том II

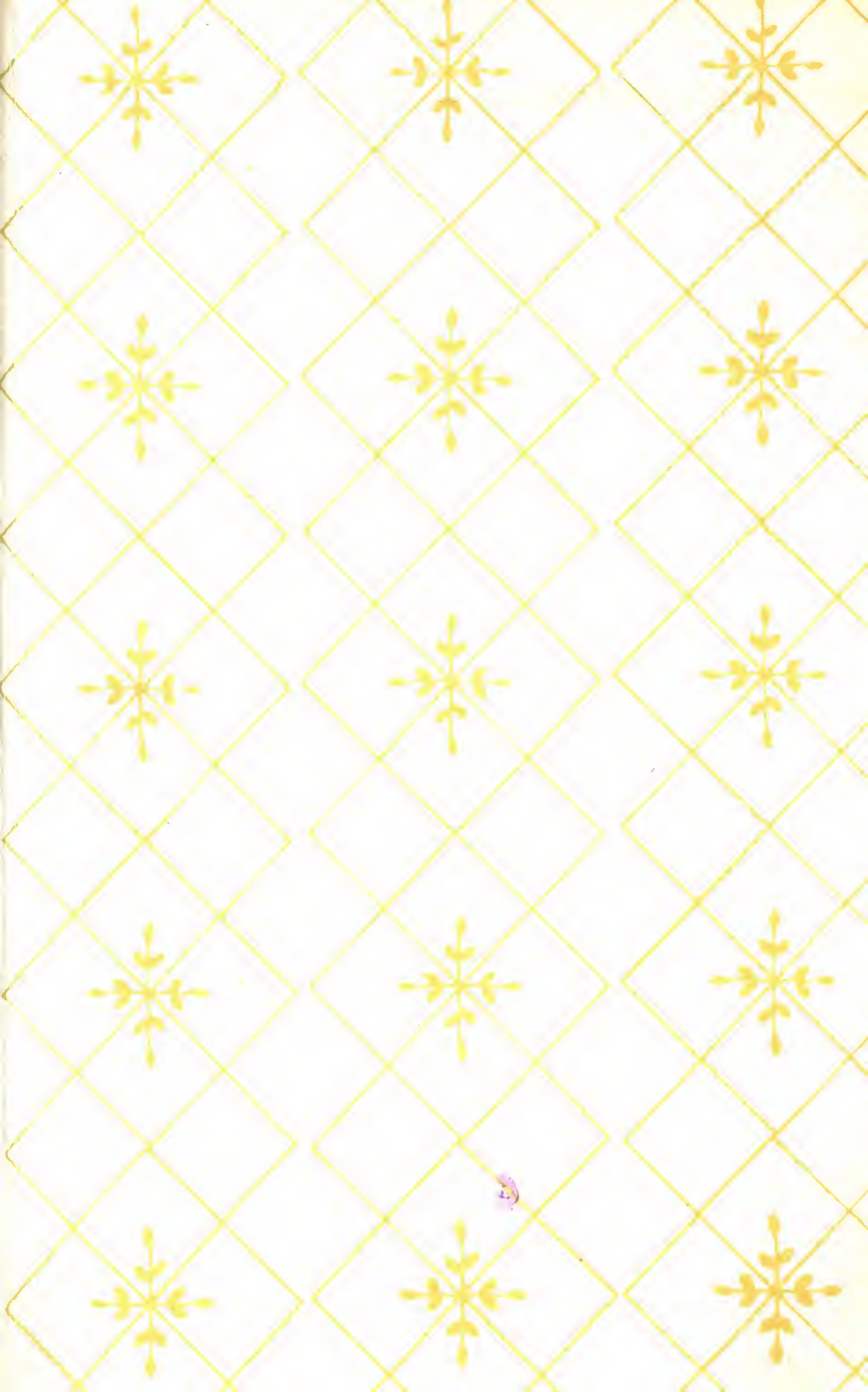
Редакторы: *Н. Муханова, А. Загородний*
Худож. редактор *Б. Машрапов*
Техн. редактор *С. Лепесова*
Корректор *А. Тимофеева*

ИБ 1729

Сдано в набор 04.02.81. Подписано к печати 17.09.81. Формат 84×108 1/32. Бум. тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 18,5. Усл. п. л. 31,1. Уч.-изд. л. 33,0. Тираж 100 000 экз. Заказ № 178. Цена 2 руб. 30 коп. Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.





ВАН
УХОВ
2